8 (С) Р
К 73
К. Г.
189672

Пр. 1955 г.

ф

лит. каб

7/X 74. 889
21/II 78 888

89672

Пр. 2010

Нестор Котляревский.
Гоголь.
8(С)Р
К 73.
Пр. 1955 г.

Павлу Игнатьевичу

ЖИТЕЦКОМУ

896/2

одинъ изъ многихъ благодарныхъ воспитанниковъ

Коллегіи Павла Галагана

СПБ, 1914 год.
Уральский государственный университет
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

Отд IV
К 73 г
Инв. № 2227

О личности Гоголя и его жизни, о заслугахъ его передъ нашимъ обществомъ и о художественной цѣнности его произведеній писано очень много. Все существенное достаточно выяснено, и все-таки тотъ, кто пожелалъ бы теперь вновь заговорить о Гоголѣ, не осужденъ всецѣло повторять старое.

*Нашъ очеркъ не ставитъ себѣ цѣлью подробно ознакомить читателя съ біографіей поэта. Гоголь уже нашелъ біографа рѣдкой преданности и еще болѣе рѣдкой добросовѣстности. Кто хочетъ знать, какъ жилъ нашъ писатель, тотъ прочтетъ всю лѣтопись его жизни въ многотомномъ трудѣ В. И. Шенрока *), и если читателю случится иной разъ устать при этомъ чтеніи, то онъ, вѣроятно, вспомнитъ, что въ жизни каждаго человѣка, даже и очень крупнаго, всегда бываютъ скучные моменты и мало интересные дни. Для В. И. Шенрока, при его безпредѣльной любви къ Гоголю, всѣ прожитые поэтомъ дни были полны интереса, и біографъ былъ правъ со своей точки зрѣнія. Нашъ очеркъ не имѣетъ въ виду стать детальнымъ жизнеописаніемъ художника. Внѣшнія условія жизни Гоголя приняты нами въ разсчетъ лишь постольку,*

---

*) *В. И. Шенрокъ. „Матеріалы для біографіи Гоголя". IV тома. Москва, 1892—1898 г.*

поскольку они прямо или косвенно вліяли на его настроеніе или на образъ его мыслей.

*Наша работа не ставитъ себѣ также главной задачей выясненіе художественной стоимости и общественнаго значенія произведеній Гоголя. Эта стоимость и значеніе уже опредѣлены. Мѣсто, занимаемое комедіями и повѣстями Гоголя въ исторіи нашей словесности, было вѣрно указано еще Бѣлинскимъ. Оцѣнка, имъ произведенная, хотя она и касалась преимущественно эстетической цѣнности созданій Гоголя, достаточно ясно намекала и на ихъ общественную роль. Общественное значеніе творчества Гоголя въ связи съ его значеніемъ художественнымъ служило затѣмъ неоднократно предметомъ изслѣдованія. Разрабатывали этотъ вопросъ Чернышевскій *), Аполлонъ Григорьевъ **). А. Н. Пыпинъ ***), Алексѣй Н. Веселовскій ****), Венгеровъ *****), Овсянико-Куликовскій ******) и другіе.*

Теперь для всѣхъ ясно, что вмѣстѣ съ Пушкинымъ, Гоголь раздѣляетъ славу истинно-народнаго великаго художника реалиста. Никто также не станетъ теперь преувеличивать гражданскихъ заслугъ Гоголя, и, съ другой стороны, никто не просмотритъ того рѣшительнаго вліянія, какое слова Гоголя оказали на наше самосознаніе.

Такъ же точно едва ли есть необходимость пересматривать вновь исторію самого процесса художественной работы Гоголя,—исторію его «пріемовъ мастерства». Примѣчанія Н. С. Тихонравова къ его классическому изданію

---

*) *Н. Г. Чернышевскій. „Очерки гоголевскаго періода русской литературы".*

**) *А. Григорьевъ. „Русская литература въ 1851 году". Сочиненія I, Спб. 1876.*

***) *А. Пыпинъ. „Характеристика литературныхъ мнѣній отъ 20-хъ до 50-тыхъ годовъ. Спб. 1907.*

****) *Алексѣй Веселовскій. „Этюды и характеристики".*

*****) *С. А. Венгеровъ. „Очерки по исторіи русской литературы". Спб. 1907*

******) *Д. Н. Овсянико-Куликовскій „Гоголь". Спб. 1907.*

сочиненій нашего автора навсегда освободили историковъ литературы отъ труда надъ такимъ пересмотромъ.

Если признать, такимъ образомъ, что и біографія поэта, и художественная и общественная стоимость его произведеній, и, наконецъ, самые пріемы его работы достаточно выяснены и описаны, то на долю изслѣдователя, не желающаго ограничиться лишь повтореніемъ, выпадаетъ пересмотръ двухъ, до сихъ поръ недостаточно разработанныхъ, вопросовъ.

Надлежитъ, во-первыхъ, возстановить съ возможной полнотой исторію психическихъ движеній этой загадочной души художника и, во-вторыхъ, изслѣдовать болѣе подробно ту взаимную связь, которая объединяетъ творчество Гоголя съ творчествомъ предшествовавшихъ и современныхъ ему писателей.

Изъ этихъ двухъ задачъ первая не допускаетъ полнаго рѣшенія. Гоголь унесъ съ собой въ могилу тайну своей души, этой загадочной души, психическія движенія которой были такъ сложны и такъ изумляли современниковъ. Внутреннія мученія этого страждущаго духа, разрѣшившіяся настоящей душевной болѣзнью — навсегда останутся полуобъяснимой загадкой. Изслѣдователь принужденъ ограничиться лишь догадками—попыткой возстановить послѣдовательную смѣну чувствъ и мыслей писателя по тѣмъ отрывочнымъ словамъ и намекамъ, какіе попадаются въ его перепискѣ и на нѣкоторыхъ интимныхъ страницахъ его произведеній.

Что же касается вопроса о томъ положеніи, какое занимаютъ произведенія Гоголя въ ряду современныхъ ему памятниковъ словеснаго творчества, то рѣшеніе этой задачи и возможно, и необходимо для правильной оцѣнки литературной и общественной роли нашего писателя.

У Гоголя были помощники,—писатели, которые своими трудами прокладывали ему дорогу или вмѣстѣ съ нимъ трудились надъ одной задачей, и даже болѣе пристально присматривались иногда къ нѣкоторымъ сторонамъ жизни, на которыя нашъ сатирикъ не успѣлъ обратить должнаго вниманія. Вотъ эта-то связь твореній Гоголя съ литературными памятниками его времени и остается пока не вполнѣ выясненной. Въ старину одинъ лишь Бѣлинскій, на глазахъ котораго зрѣлъ Гоголь, оцѣнивалъ его творчество въ связи со всѣми литературными новинками тогдашняго дня. Послѣ Бѣлинскаго, который такъ много способствовалъ укрѣпленію славы Гоголя—эта слава окончательно заглушила память о всѣхъ сподвижникахъ нашего писателя, и о нихъ забыли. Когда на смѣну Гоголя пришли его ученики—тогда еще меньше было поводовъ вспоминать о старомъ. О немъ приходится, однако, теперь вспомнить, и въ исторіи творчества нашего сатирика должно быть отведено мѣсто работѣ тѣхъ меньшихъ силъ, вмѣстѣ съ которыми ему удалось совершить свое великое дѣло.

Разсказъ объ этой совмѣстной работѣ Гоголя и его сподвижниковъ и составитъ главную задачу нашего очерка. Мы постараемся выяснить, какъ фантазія русскихъ писателей постепенно сближалась съ русскою дѣйствительностью и какъ велико было значеніе словъ Гоголя въ исторіи этого сближенія жизни и вымысла.

При выполненіи этой задачи намъ нѣтъ нужды считаться со всѣмъ, что Гоголемъ было написано.

Литературная дѣятельность Гоголя, какъ извѣстно, приняла въ послѣдніе годы его жизни совсѣмъ особое направленіе. Художникъ-бытописатель превратился въ моралиста-проповѣдника. Это превращеніе подготовлялось

издавна, чуть-ли не съ первыхъ шаговъ Гоголя на литературномъ поприщѣ: никакого рѣзкаго перелома, никакого кризиса его творчество не испытало, но общій характеръ его незамѣтно и постепенно измѣнился. Наступилъ моментъ, когда воплощеніе жизни въ искусствѣ стало Гоголя интересовать меньше, чѣмъ общій религіозно-нравственный смыслъ этой жизни и его обнаруженіе въ практикѣ общественныхъ явленій. Это случилось приблизительно въ серединѣ сороковыхъ годовъ, когда первая часть «Мертвыхъ Душъ» была закончена, вторая набросана, первое полное собраніе сочиненій издано, когда вообще было создано все, что намъ оставилъ Гоголь-художникъ.

Такое преобладаніе размышленія надъ непосредственнымъ творчествомъ въ созданіяхъ художника совпало съ повышеніемъ въ самомъ обществѣ интереса къ разнымъ практическимъ и теоретическимъ вопросамъ общественнаго характера, которые въ концѣ сороковыхъ годовъ стали овладѣвать мыслью нашихъ публицистовъ и художниковъ.

На долю Гоголя выпала, такимъ образомъ, совсѣмъ особая роль: въ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ его произведенія были самыми выдающимися литературными явленіями и вокругъ нихъ главнымъ образомъ закипали всякіе литературные споры; въ концѣ сороковыхъ годовъ тотъ же Гоголь являлся истолкователемъ разныхъ общественныхъ вопросовъ первостепенной важности. Дѣйствительно, какой бы строгой критикѣ мы ни подвергали его извѣстную «Переписку съ друзьями», мы должны признать, что появленіе этой книги оказало большое вліяніе на возбужденіе нашей общественной мысли и что сама эта книга была отвѣтомъ писателя на тѣ вопросы личной и соціальной этики, которые тогда назрѣвали,—отвѣтомъ, исчерпывающимъ или поверхностнымъ, вѣрнымъ или невѣрнымъ—это, конечно, вопросъ иной.

Такимъ образомъ, если въ творчествѣ самого Гоголя и не признавать никакихъ рѣзкихъ переломовъ или поворотовъ, то все-таки исторія его литературной дѣятельности допускаетъ дѣленіе на двѣ эпохи, изъ которой одна характеризуется расцвѣтомъ преимущественно художественнаго творчества поэта, а другая—стремленіемъ его осмыслить и понять жизнь, исключительно какъ проблему этическую и религіозную.

Разсмотрѣніе этой попытки художника стать судьей и истолкователемъ религіозныхъ, нравственныхъ и общественныхъ нуждъ его эпохи не войдетъ въ предѣлы нашей работы: оно можетъ составить предметъ совсѣмъ особаго изслѣдованія. Мы будемъ говорить лишь о тѣхъ годахъ дѣятельности Гоголя, когда онъ былъ по преимуществу художникъ-бытописатель, въ душѣ котораго однако уже подготовлялось великое отреченіе отъ творчества во имя душеспасительной проповѣди.

Много и часто говорили объ этомъ отреченіи, и, конечно, тотъ внутренній процессъ, который разлагалъ душу художника и обратилъ его съ конца концовъ въ чистѣйшаго моралиста, никогда не будетъ разгаданъ и объясненъ. Душа человѣческая имѣетъ свои тайны, которыя она никому не выдастъ.

Трагедію души Гоголя пытались объяснить его психической ненормальностью, душевной болѣзнью. Были даже подобраны медицинскіе термины, подъ которые будто бы эта болѣзнь подходила Но такое объясненіе только устраняетъ вопросъ, но едва ли его рѣшаетъ, такъ какъ эта психическая ненормальность въ сущности никогда отъ нормы не уклонялась и то, что хотятъ поставить въ счетъ болѣзни писателя, можетъ съ одинаковымъ правомъ быть отнесено къ необычной тонкости его

чувствъ, къ принципіально имъ проведенной, хотя и односторонней мысли, къ такъ называемому «романтическому» складу его души, т.-е. къ качествамъ и къ душевнымъ способностямъ, которыя могутъ быть наблюдаемы у людей совсѣмъ нормальныхъ. Пророкомъ и наставникомъ Гоголь сталъ не сразу, а родился такимъ, какъ многіе «необычные» люди, для которыхъ настоящее есть лишь намекъ на будущее и которые свое появленіе въ мірѣ подводятъ не подъ категорію причинности, а цѣлесообразности, и вѣрятъ въ свою провиденціальную роль.

Духовная природа такого человѣка всегда влечетъ его къ иному міру—міру совершенному, въ который онъ перенесъ все ему дорогое, всѣ свои высшія понятія о ненарушимой справедливости, неумирающей любви, неизмѣняющей истинѣ. Этотъ міръ идеала сопровождаетъ его по пути его жизни, свѣтитъ ему въ годы мрака. Всегда и вездѣ этотъ идеальный міръ служитъ ему и одобреніемъ, и укоризной; онъ всегда занимаетъ его умъ и фантазію; иногда всецѣло поглощаетъ его вниманіе и заставляетъ забывать о землѣ, иногда же бываетъ для человѣка главной поддержкой въ его упорномъ трудѣ надъ земной жизнью.

Какихъ бы убѣжденій ни держался такой человѣкъ, онъ всегда, либо отстаетъ отъ дѣйствительной жизни, либо опережаетъ ее. Въ немъ нѣтъ смиренія передъ неизбѣжнымъ, передъ фактомъ. Онъ почти всегда обезцѣниваетъ реальную жизнь, нерѣдко презираетъ ее; насилуетъ свое понятіе и представленіе о ней ради своей мечты, часто томится о прошломъ, которое идеализируетъ и еще чаще живетъ предвкушеніемъ будущаго: критическое трезвое отношеніе къ факту не дается ему, потому что этотъ фактъ онъ всегда наблюдаетъ съ предвзятой точки зрѣнія, подгоняя его подъ тѣ общія начала

жизни, въ которыя онъ увѣровалъ помимо всякихъ фактовъ. Свои стремленія онъ не привыкъ согласовать съ наличнымъ запасомъ своихъ силъ, и кропотливо работать въ границахъ своихъ способностей надъ задачами жизни онъ почти неспособенъ; самые труднѣйшіе вопросы кажутся ему легко разрѣшимыми, и [illegible]пость съ тѣмъ малѣйшія неудачи, неизбѣжныя въ жизни, гибельно отзываются на его настроеніи. Онъ влюбленъ въ то идеальное представленіе о жизни, какое онъ себѣ составилъ, и потому-то онъ такъ трудно уживается съ житейскою прозой, неизбѣжной и для жизни необходимой.

Такихъ людей называемъ мы обыкновенно «романтиками», пользуясь старымъ туманнымъ словомъ, которое должно указывать на перевѣсъ въ человѣкѣ чувства надъ умомъ, чаяній надъ интересомъ къ минутѣ.

Вся трагедія Гоголя, какъ человѣка и писателя, и заключалась въ томъ, что «романтическіе» порывы его души стали въ противорѣчіе съ его собственнымъ творчествомъ. Онъ былъ романтикъ со всѣми отличительными чертами этого типа. Онъ любилъ жить въ мірѣ воображаемомъ и ожидаемомъ т.-е. онъ либо разукрашалъ дѣйствительность, превращая ее въ сказку, либо воображалъ ее такой, какой она должна была бы быть сообразно съ его религіозными и нравственными понятіями. Онъ страшно тяготился разладомъ, который возникалъ между его мечтой и тѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ, и онъ никогда не могъ смягчить ощущенія тоски и томленія—здоровой критикой существующаго и неизбѣжнаго. И онъ, какъ всѣ романтики, былъ влюбленъ въ тотъ идеалъ жизни, который онъ себѣ составилъ, и—главное—онъ считалъ себя призваннымъ торопить наступленіе и торжество этого идеала на землѣ. Онъ былъ не только мечтающій романтикъ, но и борющійся.

И при всей такой романтической организаціи духа Гоголь былъ одаренъ удивительнымъ даромъ, который и составилъ всю красоту и все несчастье его жизни: художникъ обладалъ рѣдкой способностью замѣчать всю прозаичность, мелочность, всю грязь жизни дѣйствительной. Всѣ эти прозаическія стороны жизни, отъ которыхъ романтикъ обыкновенно отворачивается, которыхъ онъ не замѣчаетъ, или не хочетъ замѣтить, всѣ просились на палитру Гоголя и требовали отъ него художественнаго воплощенія. Рѣдко когда природа создавала человѣка, столь романтичнаго по настроенію и такого мастера изображать все неромантическое въ жизни. Естественно, что при такой раздвоенности настроенія и творчества художникъ былъ осужденъ на страданіе, и не могъ освободиться отъ тяжелаго душевнаго разлада, который долженъ былъ кончиться побѣдой одного какого-нибудь дара: либо способность реально изображать жизнь во всей ея прозѣ должна была въ писателѣ утишить романтическіе порывы его сердца, либо, наоборотъ, это романтическое настроеніе должно было исказить и подавить его даръ правдиваго воплощенія жизни въ искусствѣ. Чѣмъ больше въ Гоголѣ разгоралось желаніе помочь своимъ ближнимъ въ дѣлѣ нравственнаго и общественнаго воспитанія, тѣмъ труднѣе становилось ему, какъ художнику. Даръ обличителя житейской прозы казался ему недостаточнымъ для этой высокой цѣли, а романтическая способность упреждать жизнь въ мечтахъ и жить въ просвѣтленномъ мірѣ не находила для своего обнаруженія подходящихъ словъ и образовъ.

И глубокой трагедіей стала жизнь этого человѣка.

жи
то
ли
въ
он
ем
не
ел
вл
ог
из

к
д
у

к
с
С
э
о
п
о
н
л
о
о
и
в
с
п
б

I.

Народныя черты характера Гоголя.—Его настроеніе въ дѣтствѣ.—Странности этого настроенія.—Школьная жизнь.—Мечты о призваніи и планы будущаго.

Біографію Гоголя [родился 19 марта 1809 г.] принято начинать обыкновенно съ описанія той природы, среди которой онъ выросъ, и съ указанія на основныя черты характера той народности, изъ среды которой онъ вышелъ.

Малороссія безспорно оказала большое вліяніе на развитіе его характера и его поэтическаго дарованія. Гоголь попалъ на сѣверъ лишь на двадцатомъ году своей жизни. Все свое дѣтство и юность прожилъ онъ въ южной усадьбѣ и въ городѣ Нѣжинѣ, гдѣ учился.

Есть какая-то затаенная грусть въ малороссійской природѣ; въ ней нѣтъ ни строгости, ни энергичнаго величія природы сѣверной, ни жгучей, страстной красоты настоящаго юга; ея красота по преимуществу томная, мечтательная, какъ греза безъ ясныхъ очертаній и сильнаго движенія. Народъ, живущій издавна среди этой природы, одаренъ сходными съ ней чертами характера—идиллическимъ и сентиментальнымъ настроеніемъ, переходящимъ иногда въ волевую слабость, грустной мечтательностью, которая всегда споритъ съ весельемъ, и живой, но не грандіозной фантазіей. Надѣленъ малорусскій народъ, кромѣ того, особымъ даромъ—юморомъ, столь типичнымъ для всѣхъ, даже скром-

ныхъ представителей этой народности. Трудно опредѣлить точно, въ чемъ этотъ даръ заключается; иногда это просто комическая жилка—способность оттѣнить въ предметѣ или въ вопросѣ его смѣшную сторону, чтобы позабавиться—такъ, для невинной потѣхи; иногда это—своеобразный взглядъ на вещи, ищущій въ насмѣшкѣ противовѣса грусти и ограждающій себя смѣхомъ отъ слишкомъ печальныхъ выводовъ и размышленій.

Всѣ эти народныя черты характера сохраняли свою власть надъ жизнью и творчествомъ Гоголя. Сентиментальное сердце, любящее нѣжиться въ грусти, и острый, насмѣшливый умъ—вотъ тѣ двѣ силы, которыя въ немъ никакъ не могли ужиться. Сердце было всегда лирически настроено и на землѣ тосковало по туманному идеальному міру, умъ всегда былъ трезвъ, безпощадно остеръ и обладалъ исключительной способностью замѣчать въ этой земной жизни всѣ ея несовершенства, ея ложь, грязь и пошлость. Трудно было жить съ такими дарами духа, которые разрывали его единство и дѣлили его между землей и небомъ—и Гоголь заплатилъ за эти дары своимъ душевнымъ покоемъ и счастіемъ.

Но еще задолго до того времени, когда зоркость художественнаго взгляда и лиризмъ сердца стали открыто враждовать между собой — еще въ ранніе школьные годы, Гоголь сроднился съ совсѣмъ особой, ему самому мало понятной душевной тревогой.

Какая-то неотвязная мысль весьма неопредѣленная, но серьезная и грустная, шла по пятамъ за тѣмъ весельемъ и той рѣзвостью, какіе, судя по воспоминаніямъ товарищей, проявлялъ этотъ остроумный и хитрый мальчикъ. А онъ былъ хитеръ, скрытенъ и себѣ на умѣ, и таковымъ остался всю жизнь, къ немалому огорченію лицъ, которыя думали, что въ душѣ этого человѣка могли читать, какъ въ своей собственной.

Когда позднѣе серьезная сторона жизни пріобрѣла въ

глазахъ Гоголя гораздо бо́льшую цѣну, чѣмъ сторона веселая, когда задумчивость и грусть поколебали совсѣмъ его духовное равновѣсіе—трагедія его души могла быть объяснена трудностью того положенія, какое занялъ онъ—художникъ на отвѣтственномъ посту – передъ лицомъ родины, которая, какъ онъ былъ убѣжденъ, ждала отъ него нравственнаго руководительства и прорицаній. Но любопытно, что еще въ дѣтствѣ у Гоголя были проблески этого сознанія своей отвѣтственности передъ людьми и сознанія своей силы; любопытно, что уже въ его дѣтскихъ интимныхъ рѣчахъ можно по́дмѣтить въ зародышѣ ту самую мысль, которая его позднѣе такъ мучила—мысль о томъ, что на него возложена какая-то великая миссія не только художника, но почти что пророка.

Людямъ нерѣдко въ дѣтскомъ возрастѣ приходится считаться съ ударами судьбы. Эти удары на разныхъ людей разно дѣйствуютъ: иныхъ закаляютъ и дѣлаютъ жизнеупорнѣе, иныхъ разслабляютъ и заставляютъ теряться передъ минутой—но всегда они оставляютъ нѣкоторый осадокъ меланхоліи и печали въ сердцѣ человѣка. Гоголю не пришлось испытать такихъ ударовъ въ дѣтствѣ—и не они виноваты въ его ранней грусти.

Въ семьѣ царили любовь и согласіе. Ребенокъ росъ въ довольствѣ, воспитывался, какъ настоящій помѣщичій сынокъ, и былъ очень избалованъ. Шалилъ, разсказываютъ, также много. Счастливымъ условіемъ этой дѣтской жизни былъ и общій интеллигентный уровень всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя окружали ребенка. И семья Гоголя, и ея знакомые—были люди, которымъ интересы умственные и литературные не были чужды. Отецъ поэта, какъ извѣстно, былъ авторомъ нѣсколькихъ игривыхъ комедій. Особаго вліянія онъ, впрочемъ, на сына не оказалъ, такъ какъ умеръ очень рано. Если кто вліялъ непосредственно на ребенка, такъ это его мать—женщина очень религіозная. Ея вліяніе сказалось, по всѣмъ вѣроятіямъ, на томъ повышенномъ рели-

гіозномъ чувствѣ, которое, всегда, съ юныхъ лѣтъ, было живо въ душѣ ея сына. Она же, вѣроятно, болѣе другихъ и избаловала его. За эти-то попеченія, много лѣтъ спустя ей и пришлось выслушать отъ сына нижеслѣдующее наставленіе: „Я очень хорошо помню—писалъ Гоголь матери въ 1833 году—какъ меня воспитывали. Вы употребляли все усиліе воспитать меня какъ можно лучше. Но, къ несчастію, родители рѣдко бываютъ хорошими воспитателями дѣтей своихъ. Вы были тогда еще молоды, въ первый разъ имѣли дѣтей, въ первый разъ имѣли съ ними обращеніе, и такъ могли ли вы знать, какъ именно должно приступить, что именно нужно? Я помню: я ничего сильно не чувствовалъ, я глядѣлъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнѣ. Никого особенно не любилъ, выключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохнула эти чувства“ *).

Иногда школа исправляетъ ошибки семьи и излишнее баловство въ семьѣ находитъ себѣ поправку въ школьной дисциплинѣ. Школа кое-чему научила и Гоголя, но только отнюдь не дисциплинѣ. На тринадцатомъ году онъ былъ отданъ въ Нѣжинскій лицей, и веселая жизнь въ усадьбѣ смѣнилась не менѣе веселой жизнью въ корридорахъ училища, въ его саду и въ окрестностяхъ маленькаго провинціальнаго городка, гдѣ, вѣроятно, всѣ жители знали другъ друга по имени и, навѣрное, знали по имени нашего студента, который много проказничалъ.

По свидѣтельству товарищей, Гоголь особеннымъ прилежаніемъ въ лицеѣ не отличался; онъ вынесъ изъ аудиторіи мало знаній, и вина въ данномъ случаѣ едва ли падаетъ на учителей, которые, впрочемъ, также особенными талантами не блистали. Нѣжинъ оказалъ вліяніе только на общее развитіе юноши, умственный кругозоръ котораго расши-

*) «Письма Н. В. Гоголя». Редакція *В. И. Шенрока*. Спб. 1901, I. 260.

рялся въ средѣ довольно развитыхъ и частью талантливыхъ товарищей. Но надъ этимъ расширеніемъ, кажется, больше другихъ работалъ онъ самъ—кое-что онъ почитывалъ, а главное — наблюдалъ; общеніе съ весьма разнообразными классами общества, начиная съ лицейскаго начальства, кончая крестьянами городскихъ предмѣстій, куда Гоголь часто заглядывалъ, давало не мало пищи его остроумію и фантазіи. Яркій слѣдъ этой изощряющейся наблюдательности остался на его уцѣлѣвшихъ литературныхъ школьныхъ опытахъ и, вѣроятно, этотъ слѣдъ былъ еще болѣе замѣтенъ на тѣхъ, написанныхъ въ школѣ сатирахъ и памфлетахъ, которые къ сожалѣнію утрачены. Много интересовался Гоголь въ эти юношескіе годы и театромъ: онъ ставилъ пьесы и самъ игралъ на сценѣ и, говорятъ, съ большимъ успѣхомъ. Но всего болѣе онъ въ эти годы думалъ, думалъ о самыхъ различныхъ и иногда очень серьезныхъ вопросахъ, и они-то и были источникомъ его грусти.

Стоитъ только перелистать школьную переписку Гоголя, чтобы увидать, какая передъ нами сложная психическая организація. Эта юношеская переписка необычайно важна для характеристики всего склада души Гоголя. Ознакомимся же съ этими ранними признаніями, въ которыхъ мы безъ труда узнаемъ совсѣмъ еще юнаго „искателя правды“, т.-е. члена той у насъ довольно распространенной семьи моралистовъ отъ рожденія, для которыхъ жизнь—рядъ поводовъ терзать свою душу разными неотвязными нравственными вопросами. Дѣйствительно, въ раннихъ письмахъ Гоголя, передъ нами длинная вереница такихъ серьезныхъ размышленій, иногда изложенныхъ въ вычурномъ, патетическомъ тонѣ, который звучитъ подчасъ неискренно и непріятно. Но такое вычурное патетическое выраженіе бываетъ нерѣдко прямымъ слѣдствіемъ повышенности очень искренняго чувства, слишкомъ еще интенсивнаго и потому не умѣющаго изъ нѣсколькихъ выраженій выбирать наиболѣе подходящее; и у Гоголя, какъ извѣстно, эта вычурность языка всегда проступала наружу,

когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь сердцу его наиболѣе дорогомъ и близкомъ.

Одна мысль въ его дѣтскихъ письмахъ всего больше поражаетъ. Это мысль о томъ, что онъ—странная натура, иначе, чѣмъ другія, созданная, чувствующая и думающая иначе; куда идти ему и какой избрать родъ дѣятельности, соотвѣтствующій той силѣ, какую онъ въ себѣ чувствуетъ?

Это та же самая мысль, съ которой Гоголь легъ въ могилу.

Уже въ самую раннюю пору жизни созналъ онъ себя загадочной натурой и какъ будто гордился этимъ: онъ почему-то думалъ, что уже успѣлъ испить отъ житейской печали и скорби, что вообще его отношеніе къ жизни совсѣмъ иное, чѣмъ у другихъ людей его возраста. На обыкновенномъ школьномъ языкѣ такое состояніе духа иногда называютъ „ломаньемъ“, но если доля такого „лома“ и была въ ранней исповѣди Гоголя, то въ цѣломъ эта исповѣдь все-таки была правдива: что-то необычное и пока неизъяснимое сознавалъ въ себѣ этотъ странный юноша.

Вотъ что онъ писалъ матери наканунѣ выхода изъ школы: „Я больше испыталъ горя и нуждъ, нежели вы думаете; я нарочно старался у васъ всегда, когда бывалъ дома, показывать разсѣянность, своенравіе и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало былъ принижаемъ зломъ. Но врядъ ли кто вынесъ столько неблагодарностей, несправедливостей, глупыхъ, смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣнія и проч. Все выносилъ я безъ упрековъ, безъ роптанія, никто не слыхалъ моихъ жалобъ, я даже всегда хвалилъ виновниковъ моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всѣхъ; никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своенравнымъ, какимъ-то несноснымъ педантомъ, думающимъ, что онъ умнѣе всѣхъ, что онъ созданъ на другой ладъ отъ людей. Вы меня называете мечтателемъ, опрометчивымъ... Нѣтъ, я слишкомъ много знаю людей, чтобы быть мечтателемъ. Уроки, которые я отъ нихъ

получилъ, останутся навѣки неизгладимыми, и они—вѣрная порука моего счастія“ *).

Читая это письмо, бѣдная Марія Ивановна, вѣроятно, вѣрила каждому слову своего сына, тѣмъ болѣе, что и раньше онъ въ своихъ письмахъ говорилъ ей приблизительно то же, только не такъ, сразу, какъ онъ это сдѣлалъ въ этомъ признаніи. Мы можемъ быть болѣе строги и можемъ заподозрить въ этихъ словахъ Гоголя преувеличеніе, которое весьма характерно. Преувеличивать Гоголь любилъ и позднѣе: ему всегда казалось, что жизнь на него смотритъ гораздо болѣе страшными глазами, чѣмъ это было на самомъ дѣлѣ; но эти раннія жалобы на одиночество, на неловкое, трудное, страдательное положеніе среди людей—показатели, хоть и неопредѣленнаго, но все-таки весьма вдумчиваго отношенія юноши къ тому, мимо чего мы обыкновенно въ юности проходимъ, т.-е. къ общему смыслу жизни, который для большинства теряется за раздробленными впечатлѣніями отдѣльныхъ минутъ и частныхъ будничныхъ столкновеній.

Иногда въ итогѣ такого обобщенія житейскихъ встрѣчъ и явленій получался у юнаго мечтателя вызывающій и презрительный отзывъ о людяхъ. Въ письмѣ къ одному пріятелю Гоголь въ такихъ словахъ говорилъ о своей лицейской жизни: „Какъ чувствительно приближеніе выпуска, а съ нимъ и благодѣтельной свободы: не знаю, какъ-то на слѣдующій годъ я перенесу это время! [Рѣчь идетъ объ экзаменахъ]... Какъ тяжело быть зарыту вмѣстѣ съ созданіями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе человѣка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться... изъ нихъ не исключаются и дорогіе наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь.

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 97—98.

Ты теперь въ зеркалѣ видишь меня. Пожалѣй обо мнѣ! Можетъ быть слеза соучастія, отдавшаяся на твоихъ глазахъ, послышится и мнѣ“ *). Все это очень реторично и некрасиво сказано. Но во всей этой тирадѣ и тому подобныхъ, которыхъ въ письмахъ Гоголя не мало, есть и нѣчто истинное и искреннее; это—неясное пока чувство своего превосходства, чувство, ничѣмъ еще не оправданное и потому лишь патетически высказанное и взвинченное. Ставить юношѣ въ упрекъ это раннее самомнѣніе, это подчеркиваніе своего отличія отъ всѣхъ остальныхъ людей, это кокетничанье своей загадачностью—можно, но надо помнить, что этотъ порокъ вытекалъ безсознательно для самого Гоголя изъ безспорнаго превосходства его психики надъ умственнымъ и душевнымъ складомъ лицъ, съ которыми онъ встрѣчался.

Такое же неясное честолюбіе и плохо скрытая гордыня видны и въ его мечтаніяхъ о своемъ будущемъ, мечтаніяхъ, которымъ Гоголь часто отдавался въ школѣ и которыя повѣрялъ охотно своей матери. Такое темное предчувствіе славы въ грядущемъ и увѣренность въ великомъ подвигѣ,—явленія довольно обычныя въ юношеской жизни людей сильныхъ. Они не должны удивлять насъ и въ Гоголѣ. Однако, въ этихъ мечтахъ лицеиста о будущей своей славѣ, есть нѣчто опять-таки очень своеобразное.

Въ 1826 году, въ веселую и добрую минуту, Гоголь писалъ матери: „Вы знаете, какой я охотникъ до всего радостнаго. Вы однѣ только видѣли, что подъ видомъ иногда, для другихъ холоднымъ, угрюмымъ, таилось кипучее желаніе веселости [разумѣется не буйной] и часто въ часы задумчивости, когда другимъ казался я печальнымъ, когда они видѣли или хотѣли видѣть во мнѣ признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывалъ науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, какъ люди, жадные счастія, немедленно убѣгаютъ его, встрѣтившись съ нимъ. Ежели о чемъ я теперь думаю,

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 75.

такъ это все о будущей жизни моей. Во снѣ и на яву мнѣ грезится Петербургъ, съ нимъ вмѣстѣ и служба государству. До сихъ поръ я былъ счастливъ, но ежели счастіе состоитъ въ томъ, чтобы быть довольну своимъ состояніемъ, то не совсѣмъ, — не совсѣмъ до вступленія въ службу до пріобрѣтенія, можно сказать, собственнаго постояннаго мѣста“ *).

Въ другую, печальную минуту, вспоминая своего покойнаго отца, Гоголь опять писалъ матери: „Сладостно мнѣ быть съ нимъ [т.-е. съ образомъ усопшаго], я заглядываю въ него, т.-е. въ себя, какъ въ сердце друга, испытую свои силы для поднятія труда важнаго, благороднаго на пользу отечества, для счастія гражданъ, для блага жизни подобныхъ, и, дотолѣ нерѣшительный, неувѣренный [и справедливо] въ себѣ, я вспыхиваю огнемъ гордаго самосознанія... Чрезъ годъ вступаю я въ службу государственную“ **).

„Какъ угодно, почитайте меня, но только съ настоящаго моего поприща вы узнаете настоящій мой характеръ — писалъ онъ ей же, уже прощаясь съ Нѣжиномъ.— Вѣрьте только, что всегда чувства благородныя наполняютъ меня, что никогда не унижался я въ душѣ и что я всю жизнь свою обрекъ благу... Вы увидите, что современемъ за всѣ худыя дѣла людей я буду въ состояніи заплатить благодѣяніями, потому что зло ихъ мнѣ обратилось въ добро“ ***).

Итакъ, скорѣй въ Петербургъ. „Уже ставлю мысленно себя въ Петербургѣ—мечталъ Гоголь—въ той веселой комнаткѣ, окнами на Неву, такъ, какъ я всегда думалъ найти себѣ такое мѣсто. Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, буду ли я то точно живать въ этакомъ райскомъ мѣстѣ или неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпою самодовольной черни [мысль ужасная!] въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру неизвѣстности

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 58, 59.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 68.
***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 98.

въ мірѣ!“ *). Читая всѣ эти размышленія о предстоящемъ подвигѣ на благо людей и эти постоянные вздохи о Петербургѣ и службѣ, трудно отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что именно въ данномъ случаѣ такъ разжигало фантазію Гоголя. Было ли это въ самомъ дѣлѣ высокое честолюбіе, унаслѣдованное отъ предковъ, какъ утверждаетъ одинъ біографъ **)? Едва ли. Вѣрнѣе предположить, что столь популярное тогда слово „служба“ и слово „служеніе“ совпадали въ мечтахъ Гоголя о своемъ будущемъ. Дѣйствительно, нашъ художникъ всю жизнь признавалъ себя „служителемъ“ общественнаго блага и даже тогда, когда отъ всякихъ честолюбивыхъ плановъ пришлось отказаться, онъ не переставалъ смотрѣть на свою писательскую дѣятельность, какъ на „службу“ государству, и раздавалъ направо и налѣво совѣты государственной мудрости. Такъ и въ юные годы слилось у Гоголя представленіе о „службѣ“ въ Петербургѣ съ понятіемъ о „служеніи“ на благо ближняго ***).

Но самое поразительное въ этихъ мечтахъ юноши, это полное молчаніе о писательской карьерѣ: Гоголь настойчиво говоритъ о своемъ желаніи принести людямъ пользу, облагодѣтельствовать ихъ, и кромѣ „службы“ онъ не ви-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 78

**) Срав. *А. Кояловичъ.* «Дѣтство и юность Гоголя» «Московскій Сборникъ» С. Шарапова. М. 1887 г., стр. 224.

***) Это было то желаніе «осуществить свою общественную стоимость», которое не покидало Гоголя всю его жизнь. «Онъ жаждалъ быть сейчасъ, ежедневно, постоянно, въ своемъ будничномъ существованіи, опредѣленною общественною величиною, единицею [а не нулемъ] въ средѣ, гдѣ онъ живетъ, съ которою онъ сроднился, гдѣ всѣ важнѣйшіе интересы его». «Онъ стремился осуществить свою общественную стоимость не въ томъ или иномъ классѣ, не въ той или другой мѣстности, не въ опредѣленной, болѣе или менѣе узкой, средѣ, а въ громадномъ объединенномъ всероссійскомъ цѣломъ, представителемъ котораго являлось государство. Выраженіемъ этого стремленія и были его помыслы о службѣ и его взглядъ на свою литературную дѣятельность то какъ на суррогатъ службы, то какъ на особый родъ «служенія землѣ своей» равносильный «государственному». Такъ остроумно объясняетъ это раннее тяготѣніе Гоголя къ службѣ *Д. Н. Овсянико-Куликовскій.* «Гоголь». Спб. 1907, 125—137.

дитъ иного пути для достиженія этой цѣли; онъ какъ будто не желалъ замѣтить, что въ его распоряженіи находился совсѣмъ особый даръ для служенія людямъ. Нельзя, однако, предполагать, что онъ совсѣмъ не сознавалъ въ себѣ этого дара, и потому-то молчаніе о немъ такъ странно. У писателей замѣчается обыкновенно еще въ дѣтствѣ большое пристрастіе и большое довѣріе къ будущему своему излюбленному дѣлу: они дѣтьми о немъ мечтаютъ. Гоголь въ данномъ случаѣ составлялъ исключеніе. Насколько позднѣе онъ высоко цѣнилъ свою писательскую дѣятельность, считая ее боговдохновеннымъ пророчествомъ, настолько небрежно относился онъ къ ней въ ранней юности и даже, какъ сейчасъ увидимъ, въ первые годы своей литературной работы.

А между тѣмъ въ школѣ онъ трудился надъ своимъ литературнымъ образованіемъ довольно усердно и самъ пописывалъ не мало и охотно.

II.

Литературные опыты въ школѣ. — Неокопченныя историческія повѣсти.— Идиллія «Ганцъ Кюхельгартенъ».—Ея содержаніе и біографическое значеніе.—Туманные идеалы.—Впечатлѣніе, произведенное Петербургомъ. — Неудача съ идилліей. — Бѣгство за границу. — Тревожное состояніе духа и успокоеніе.—Возвращеніе въ Петербургъ и поступленіе на службу.—Работа надъ «Вечерами на Хуторѣ». — Ихъ выходъ въ свѣтъ въ 1831 и 1832 гг.

Гоголь пробовалъ свои силы и въ стихахъ, и въ прозѣ, пробовалъ въ разныхъ тонахъ, и веселыхъ, и грустныхъ, и въ различныхъ формахъ, и лирической, и повѣствовательной. Писалъ онъ сатиры и стихи на случай, наполнялъ ими издававшіеся въ лицеѣ рукописные журналы, написалъ какую-то трагедію „Разбойники“, набросалъ нѣсколько историческихъ повѣстей и много потрудился надъ идилліей въ стихахъ, которая и была первымъ его произведеніемъ, увидѣвшимъ свѣтъ. Біографъ Гоголя замѣтилъ совершено вѣрно, что въ этихъ юношескихъ произведеніяхъ нашъ писатель предпочиталъ высокій стиль низкому и отдавалъ предпочтеніе патетическимъ темамъ передъ комическими *).

Патетиченъ былъ онъ, когда въ Нѣжинѣ воспѣвалъ Италію, когда впервые, съ чужихъ словъ, говорилъ объ этой странѣ лимоновъ и миртъ, которая впослѣдствіи стала для него второй отчизной. Онъ воспѣвалъ ее въ стихахъ, не

*) *В. И. Шенрокъ.* «Матеріалы для біографіи Гоголя». I, 88.

совсѣмъ гладкихъ и звучныхъ, но зато въ мечтахъ предъ нимъ звучали и лились „октавы“ Тассо. Патетично настроенъ былъ онъ, когда писалъ свой историческій романъ „Гетьманъ“, въ которомъ разсказывалъ страшное преданіе о томъ, какъ нѣкій благочестивый дьяконъ пошелъ усовѣщевать безбожныхъ ляховъ въ ихъ гнѣздо разврата, какъ его повѣсили на соснѣ, какъ затѣмъ посинѣла эта сосна, подобно мертвецу, какъ кивала убійцѣ своей всклокоченной бородою, какъ она сквозь стѣну его спальни простерла къ нему свои колючія вѣтви, съ которыхъ капала на него невинная кровь. И уже въ этомъ романѣ, отъ котораго сохранилась только одна глава, можно было замѣтить мастерство пріемовъ Гоголя въ описаніи природы, въ реализмѣ діалоговъ, въ умѣніи пользоваться фантастическимъ и страшнымъ. Патетиченъ и страшенъ былъ нашъ молодой писатель и въ другомъ своемъ историческомъ романѣ, когда описывалъ монастырскую темницу, гдѣ „цѣлые лоскутья паутины висѣли темными клоками съ земляного свода, гдѣ обсыпавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу, гдѣ на одной изъ этихъ кучъ торчали человѣческія кости, гдѣ летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ, гдѣ, наконецъ, сова и летучая мышь были бы красавицами“. Ужасъ возбуждалъ нашъ разсказчикъ въ читателѣ, когда говорилъ о несчастномъ плѣнникѣ, котораго везли, чтобы заключить въ эту темницу, плѣнникѣ, который весь съ ногъ до головы былъ увязанъ ружьями, придавленъ пушечнымъ лафетомъ и привязанъ толстымъ канатомъ къ сѣдлу. „Освѣтить бы мѣсячному лучу хоть на минуту этого несчастнаго— и онъ бы [т.-е. мѣсяцъ], вѣрно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мѣсяцъ не могъ видѣть лица его, потому что оно было заковано въ желѣзную рѣшотку“... Не всегда, впрочемъ, нашъ авторъ писалъ въ такомъ романтически-ужасномъ стилѣ. Въ третьей своей повѣсти „Страшный кабанъ“, уцѣлѣвшей также лишь въ отрывкахъ, онъ набросалъ рядъ жанро-

выхъ картинокъ изъ малороссійской жизни, въ которыхъ былъ уже замѣтенъ авторъ „Вечеровъ на Хуторѣ“. Здѣсь была дана мѣткая, полная юмора, характеристика школьнаго учителя, тщательно вырисованыя сценки селькой жизни и разсказана очень граціозная, веселая любовная идиллія, которая потомъ будетъ такъ часто попадаться въ малороссійскихъ повѣстяхъ Гоголя.

Среди всѣхъ этихъ отрывковъ и литературныхъ плановъ „Ганцъ Кюхельгартенъ“—идиллія въ стихахъ—представляетъ наибольшій интересъ для біографа. Въ художественномъ отношеніи эта идиллія стоитъ неизмѣримо ниже прозаическихъ отрывковъ изъ недописанныхъ романовъ Гоголя, но она имѣетъ совсѣмъ иное значеніе: она документъ, важный для опредѣленія настроенія, въ какомъ находился нашъ мечтатель въ послѣдніе годы своей лицейской жизни. Эта странная греза съ ея героемъ изъ нѣмцевъ и съ обстановкой не русской, была въ сущности страницей изъ жизни самого автора, который скрылся подъ псевдонимомъ. Гоголь вложилъ много души въ эту сентиментальную повѣсть, которая причинила ему затѣмъ столько огорченій. Въ ней, безспорно, были самыя свѣжія воспоминанія и намеки на собственныя думы и впечатлѣнія, что̀ между прочимъ, подтверждается сходствомъ нѣкоторыхъ строфъ этой идилліи съ письмами Гоголя изъ послѣднихъ лѣтъ его лицейской жизни. В. И. Шенрокъ далъ убѣдительные примѣры такихъ совпаденій *) и тѣмъ самымъ рѣшилъ вопросъ и объ оригинальности „Ганца“. Давно было указано на довольно извѣстную идиллію Фосса „Луиза“, какъ на оригиналъ, который могъ служить Гоголю образцомъ для его „Ганца“ — предположеніе, которое напрашивалось въ виду общаго сентиментальнаго тона и настроенія въ этихъ двухъ разсказахъ. Сходство это однако чисто-внѣшнее, и у Фосса нѣтъ и намека на тотъ типъ, который данъ въ самомъ Ганцѣ.

*) *В. И. Шенрокъ* «Матеріалы для біографіи Гоголя» I, 159.

Но если даже и предположить въ данномъ случаѣ заимствованіе, то оно ничуть не понижаетъ автобіографическаго значенія „Ганца“. Западный образецъ надо въ крайнемъ случаѣ признать не за оригиналъ, съ котораго Гоголь списывалъ, а за предлогъ, который натолкнулъ Гоголя на мысль воспользоваться сходной внѣшней формой для выраженія своего внутренняго чувства. Припомнимъ содержаніе этой юношеской грезы.

Подъ тѣнью липъ стоитъ уютный домикъ пастора... Патріархальную жизнь ведутъ его обитатели. Старый пасторъ, среди мирной своей семьи, какъ бы предвкушаетъ вѣчный миръ небесныхъ селеній, и веселая весенняя природа улыбается ему, какъ вѣстникъ вѣчнаго свѣта, тепла и радости. Семья его не велика, но зато при немъ его Луиза, рѣзвая, свѣжая, любящая, какъ ангелъ-посѣтитель озаряющая закатъ его дней. Все бы обстояло въ этой семьѣ благополучно, когда бы только не Ганцъ. Странный человѣкъ этотъ Ганцъ! Онъ вѣрно боленъ. Онъ обнаруживаетъ всѣ симптомы романтическаго душевнаго разстройства. Въ часъ полночи, часъ мечтаній, сидитъ онъ за книгою преданій и перевертывая листы, ловитъ въ ней только нѣмыя буквы. Онъ живетъ въ вѣкахъ прошлыхъ; очарованъ чудесной мыслью, сидитъ онъ подъ сумрачной тѣнью дуба и простираетъ руки къ какой-то тайной тѣни. Онъ страдаетъ отъ прозы жизни, его тянетъ вдаль, вдаль не только пространства, но и времени. Онъ вздыхаетъ по древней Греціи, по ея свободѣ, славнымъ дѣламъ и прекраснымъ созданіямъ искусства.

И Ганцъ рѣшается бѣжать, пропѣвъ предварительно подъ окномъ своей невѣсты прошальную пѣсню. Гоголь, конечно, читалъ Байрона, такъ какъ не даромъ, когда Ганцъ, постоявъ нѣкоторое время въ раздумьи, удаляется, окутанный туманомъ, подъ вой вѣтра—

Вѣрный песъ какъ бы въ укоръ
Пролаялъ звучно на весь дворъ.

Въ эту ночь разлуки Луиза видѣла тяжелый сонъ; ей приснилось, что она въ темной пустынѣ, что вокругъ нея туманъ и глушь... По примѣру Татьяны, которая видѣла такой же сонъ, Луиза поспѣшила найти разгадку своего сновидѣнія и вообще бѣгства Ганца въ его собственномъ кабинетѣ. Вмѣстѣ съ матерью онѣ начали рыться въ его книгахъ и романтическая тайна обнаружилась.

Вотъ входятъ въ комнату онѣ,
Но въ ней все пусто. Въ сторонѣ
Лежитъ въ густой пыли томъ давній
Платонъ и Шиллеръ своенравный.
Петрарка, Тикъ, Аристофанъ,
Да позабытый Винкельманъ.

Подборъ книгъ чрезвычайно любопытный. Это—библіотека, составленная изъ сочиненій лучшихъ выразителей тѣхъ поэтическихъ мотивовъ, которые преобладаютъ въ поэзіи самого Гоголя. Платонъ и Шиллеръ, какъ пѣвцы того міра идей, тоска по которомъ не покидала нашего писателя во всѣ моменты его жизни; Петрарка, какъ пѣвецъ неземной любви, влюбленный въ воздушный женскій образъ, которымъ бредила разгоряченная фантазія нашего поэта; Аристофанъ — Гоголь аѳинской республики; Винкельманъ — восторженный жрецъ античной красоты и, наконецъ, Тикъ, средневѣковой Паладинъ, кудесникъ, живущій въ такомъ ладу со всѣмъ міромъ привидѣній.

Цѣлыхъ два года пространствовалъ Ганцъ, помышляя о жертвахъ слѣпой бренности. Старикъ тѣмъ временемъ умеръ, надъ его могильнымъ холмомъ шумятъ смиренно два зеленыхъ явора... А Луиза?.. она ходитъ на его могилу и опершись лилейной рукой на урну сидитъ долго въ раздумьи. Она въ своей томной грусти какъ серафимъ, который тоскуетъ о пагубномъ паденіи человѣка. Она по прежнему ждетъ Ганца. Наконецъ онъ возвращается. Но кто бы узналъ въ немъ прежняго Ганца? Житейскій опытъ превратилъ юношу въ старца. Его житейская мудрость свелась къ пра-

вилу, которое гласило, что если въ человѣкѣ нѣтъ желѣзной воли и силъ исполнить великое предназначеніе, то лучше въ скромной тишинѣ протекать по полю жизни, довольствоваться скромной семьей и не внимать шуму свѣта. Такъ, дѣйствительно, и поступилъ Ганцъ, вернувшись къ своей Луизѣ. Тяжкій сонъ страданій спалъ съ его души, онъ переродился живой и спокойный, женясь на Луизѣ... и потекли для нашего Ганца мирные годы счастья.

Ганцъ—портретъ самого Гоголя, конечно, идеализированный, но въ основныхъ чертахъ вѣрный. Мятежное состояніе духа, неясность желаній, стремленіе вдаль, на поиски за чѣмъ-то непонятнымъ, недовольство скромной дѣйствительностью—всѣ эти приступы меланхолической тревоги духа испыталъ на себѣ очень рано и Гоголь. Въ одномъ только идиллія не совпала съ жизнью поэта—Гоголь не примирился и не пожелалъ въ скромной тишинѣ „протекать по полю жизни"—онъ всю жизнь тосковалъ по великомъ дѣлѣ и по высокомъ идеалѣ; онъ искалъ его сначала вокругъ себя, потомъ вдали, наконецъ въ себѣ самомъ и, измученный этими поисками, умеръ.

Подводя общій итогъ всѣмъ разрозненнымъ намекамъ, которые мы находимъ въ юношескихъ письмахъ Гоголя и въ его раннихъ литературныхъ опытахъ, мы получаемъ въ высшей степени неясное впечатлѣніе о складѣ его ума и характера. Ясно только одно, что передъ нами очень сложная натура, нервная, подверженная быстрымъ смѣнамъ настроенія, склонная отъ природы къ меланхоліи; натура очень гордая и скрытная, съ очень высокимъ мнѣніемъ о себѣ и увѣренная въ томъ, что она современемъ оправдаетъ это самомнѣніе; натура богато одаренная литературнымъ талантомъ, съ умомъ рѣзкимъ, саркастическимъ и насмѣшливымъ и съ сердцемъ, полнымъ самаго расплывчатаго лиризма. Какая на его долю выпадетъ дѣятельность, юноша пока не знаетъ, и только смутное представленіе о службѣ государству окрашиваетъ въ розовый цвѣтъ всѣ его на-

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА г. Свердловск

дежды на будущее. Съ этой службой тѣсно связано у него понятіе вообще о плодотворной дѣятельности на пользу людей, которые ждутъ отъ него чего то и которыхъ онъ, очевидно, любитъ, хотя и самой неясной, чисто сентиментальной мечтательной любовью. Въ этой любви нѣтъ никакихъ положительныхъ идеаловъ, на защиту которыхъ она должна быть направлена; все сводится къ туманнымъ, но заманчивымъ словамъ „добро“ и „благо“. Ко всѣмъ этимъ чувствамъ и размышленіямъ примѣшивается кромѣ того иногда очень искреннее религіозное настроеніе, и затѣмъ нѣкоторое ощущеніе тяготы дѣйствительностью: нашъ мечтатель тоскуетъ по иному порядку жизни, чѣмъ тотъ сѣрый, будничный, среди котораго ему приходится вращаться. Это представленіе объ иномъ порядкѣ жизни не связано опять-таки ни съ какимъ опредѣленнымъ понятіемъ объ условіяхъ реальнаго существованія, это просто ощущеніе разлада между мечтой и дѣйствительностью, между туманнымъ желаемымъ и оскорбительно яснымъ настоящимъ — разлада, который особенно больно чувствуютъ натуры мечтательныя, сентиментальныя или, какъ ихъ иногда называютъ, „романтическія“.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, нашъ мечтатель и философъ болѣе чѣмъ кто-либо умѣетъ въ этой сѣрой дѣйствительности найти и оттѣнить то, что всегда помогаетъ переносить ея однообразіе—а именно ея смѣшную сторону. Многое весьма серьезное и глубокое угадываетъ онъ, этотъ еще неопытный искатель правды, и кажется только одного не подозрѣваетъ пока, это - своего призванія какъ художника. И, даже позднѣе, когда придется ему убѣдиться въ силѣ своего художественнаго таланта, онъ и тогда не съумѣетъ оцѣнить его какъ слѣдуетъ: все ему будетъ казаться, что этотъ талантъ цѣненъ не самъ по себѣ, а лишь тѣми нравственными истинами, которымъ онъ служитъ.

Такова была эта мятежная душа, когда она исповѣдывалась въ своей мирной идиллiи:

Живаго юности стремленья
Такъ испестрялися мечты.
Порой, небеснаго черты,
Души прекрасной впечатлѣнья
На немъ лежали; но чего,
Въ волненьяхъ сердца своего,
Искалъ онъ думою неясной,
Чего желалъ, чего хотѣлъ
Къ чему такъ пламенно летѣлъ
Душой и жадною, и страстной
Какъ будто міръ желалъ обнять,
Того и самъ не могъ понять.
Ему казалось душно, пыльно
Въ сей позаброшеной странѣ,
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней сторонѣ.
Тогда, когда бъ вы повидали,
Какъ воздымалась буйно грудь,
Какъ взоры гордо трепетали,
Какъ сердце жаждало прильнуть
Къ своей мечтѣ, мечтѣ неясной,
Какой въ немъ пылъ кипѣлъ прекрасной;
Какая жаркая слеза
Живые полнила глаза! [«Ганцъ Кюхельгартенъ», Картина V].

Въ такомъ восторженно-неясномъ настроеніи былъ нашъ мечтатель, когда приходили къ концу годы его школьной жизни. Тягость этого настроенія была имъ глубоко прочувствована: онъ ждалъ избавленія и примиренія, и оно рисовалось ему вдали какъ награда за всѣ его тревоги. Гоголь разсуждалъ такъ:

Благословенъ тотъ дивный мигъ,
Когда въ порѣ самопознанья,
Въ порѣ могучихъ силъ своихъ,
Тотъ, небомъ избранный, постигъ
Цѣль высшую существованья;
Когда не грезъ пустая тѣнь,
Когда не славы блескъ мишурный
Его тревожатъ ночь и день,
Его влекутъ въ міръ шумный, бурный;
Но мысль и крѣпка, и бодра
Его одна объемлетъ, мучитъ
Желаньемъ блага и добра;

Его трудамъ великимъ учитъ.
Для нихъ онъ жизни не щадитъ.
Вотще безумно чернь кричитъ:
Онъ твердъ средь сихъ живыхъ обломковъ
И только слышитъ, какъ шумитъ
Благословеніе потомковъ. [«Ганцъ Кюхельгартенъ». Картина XVII. Дума]

Благословеніе потомковъ слышалось, вѣроятно, издали и нашему мечтателю, когда наконецъ насталъ желанный мигъ и онъ садился въ тарантасъ, чтобы ѣхать въ Петербургъ на „службу".

Въ самыхъ радужныхъ цвѣтахъ рисовалась Гоголю наша сѣверная столица — арена „гражданскихъ" его подвиговъ... Тѣмъ тяжелѣе и оскорбительнѣе было разочарованіе.

На самомъ дѣлѣ, ничего особенно грустнаго и печальнаго съ Гоголемъ въ Петербургѣ не случилось; никакія бѣды на голову его не упали — произошло самое обыкновенное: холеный ребенокъ попалъ въ чужой городъ, гдѣ никому до него не было дѣла и гдѣ, ни отъ жизни, ни отъ людей, нельзя было ждать ласки, — а Гоголь въ ней всегда нуждался.

Заставимъ его самого разсказать намъ о томъ, чѣмъ ему Петербургъ такъ не понравился; мы увидимъ, что главная причина недовольства—было именно отсутствіе ласки и красоты въ его петербургской обстановкѣ и отсутствіе вообще подъема духа въ этой для него новой, сѣрой и мелко-дѣловитой жизни. Первый разъ молодому фантазеру пришлось испытать на дѣлѣ разладъ мечты и дѣйствительности, и на первыхъ порахъ этотъ разладъ явился передъ нимъ въ очень несложномъ, обычномъ и пока милостивомъ своемъ видѣ.

„Скажу вамъ—писалъ онъ матери—что Петербургъ мнѣ показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо красивѣе, великолѣпнѣе, и слухи, которые распускали другіе о немъ, также лживы. Жить здѣсь несравненно дороже, нежели думали. Это заставляетъ меня жить, какъ въ пустынѣ: я принужденъ отказаться отъ лучшаго сво-

его удовольствія—видѣть театръ. Если я пойду разъ, то уже буду ходить часто: а это для меня накладно, т.-е. для моего неплотнаго кармана...“ *)

„Каждая столица вообще характеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. На Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ обыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, всѣ служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все погрязло въ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ“ **).

Очевидно, что взглядъ на „службу“ у Гоголя нѣсколько измѣнился, и если онъ все-таки продолжалъ искать этой службы для себя, то это надо объяснять уже не прежнимъ туманнымъ увлеченіемъ „службой“, какъ средствомъ работать на благо людей, а менѣе сложными соображеніями чисто-матеріальнаго свойства.

Кажется, что отчасти эти же соображенія побудили Гоголя попытать свое счастье и на иномъ поприщѣ, чѣмъ служебное, а именно, на литературномъ. Говоримъ — кажется, потому что прямыхъ указаній на мотивы, которые заставили Гоголя печатать то, что у него накопилось въ портфелѣ, и приступить къ новой работѣ, у насъ нѣтъ. Въ письмахъ онъ говоритъ о своихъ литературныхъ планахъ неопредѣленно и не достаточно откровенно. Одно только ясно: въ этихъ письмахъ совсѣмъ не видно увлеченія литературной работой, въ нихъ нѣтъ того увѣреннаго тона, по которому мы могли бы заключить, что эта работа — истинное „дѣло“ Гоголя, его святое призваніе. И позднѣе, въ самый разгаръ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 115.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 117.

работы надъ „Вечерами на Хуторѣ“, онъ все будетъ напирать на непосредственную выгоду, которую онъ можетъ получить отъ своей работы, и будетъ очень трезво говорить о томъ, о чемъ другой — столь же даровитый художникъ, какъ онъ,—сталъ бы говорить совсѣмъ иначе. Какъ бы то ни было, но вскорѣ послѣ пріѣзда въ Петербургъ, Гоголь рѣшилъ напечатать своего „Ганца“.

Нашъ авторъ едва ли могъ ожидать матеріальныхъ выгодъ отъ продажи этой идилліи, но, можетъ быть, онъ думалъ, что ея успѣхъ облегчитъ ему вообще дальнѣйшую литературную работу. Онъ выпустилъ идиллію въ свѣтъ, однако, анонимно. На обложкѣ значилось, что она сочинена В. Аловымъ, а въ предисловіи говорилось отъ лица какихъ-то мнимыхъ издателей, что авторъ ея восемнадцатилѣтній юноша, что сама идиллія представляетъ собой лишь разрозненные отрывки, что характеръ главнаго героя не дорисованъ, но что все-таки издатели гордятся тѣмъ, что по возможности споспѣшествовали свѣту ознакомиться съ созданіемъ юнаго таланта. Какъ видимъ, это не совсѣмъ скромное предисловіе отзывалось нѣсколько рекламой. Но она не спасла идилліи.

„Ганцъ“ былъ принятъ критикой враждебно. Сначала „Московскій Телеграфъ“, а затѣмъ „Сѣверная Пчела“ расправились съ нимъ жестоко—такъ, по крайней мѣрѣ, казалось автору, который впалъ въ отчаяніе и самъ предалъ казни своего первенца: онъ отобралъ изъ книжныхъ лавокъ и сжегъ почти всѣ экземпляры. Судъ былъ нѣсколько поспѣшный, тѣмъ болѣе что критика, осудивъ этотъ юношескій опытъ, все-таки признала, что въ авторѣ замѣтно воображеніе и способность писать хорошіе стихи. Но самолюбіе Гоголя границъ и тогда уже не знало и этой суровой расправой со своей книгой онъ спасалъ себя отъ непріятныхъ намековъ и напоминаній въ будущемъ. Дѣйствительно, такъ какъ идиллія была написана и напечатана въ большомъ секретѣ отъ всѣхъ, даже близкихъ друзей, и такъ какъ съ

книжнаго рынка она исчезла, то уязвленный авторъ могъ безъ опасеній забыть о ней—что онъ и сдѣлалъ.

Но эта неудача, довольно обычная въ жизни начинающихъ писателей, произвела въ первую минуту на Гоголя самое тягостное впечатлѣніе и очень своеобразно отразилась на его жизни.

Гоголь вдругъ, совсѣмъ неожиданно, рѣшился покинуть Россію. Это было одно изъ тѣхъ мгновенныхъ рѣшеній, одна изъ тѣхъ выходокъ, на какія часто бываютъ способны нервныя натуры. Смятеніе духа въ Гоголѣ было сильное и оно ясно выразилось въ любопытномъ письмѣ, которое онъ написалъ матери, извѣщая ее о своемъ внезапномъ отъѣздѣ за границу. Въ письмѣ рядомъ съ явною ложью были и искреннія строки, очень цѣнныя.

„Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго! — писалъ Гоголь. Безумный! Я хотѣлъ было противиться этимъ вѣчно-неумолкаемымъ желаніямъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездѣйственною разсѣянностью свѣта. Онъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы я тамъ воспиталъ свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы, я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣевать благо и работать на пользу міра. И я осмѣлился откинуть эти Божественные помыслы и пресмыкаться въ столицѣ здѣшней между сими служащими, издерживающими жизнь такъ безплодно. Пресмыкаться другое дѣло тамъ, гдѣ каждая минута жизни не утрачивается даромъ, гдѣ каждая минута — богатый запасъ опытовъ и знаній; но изжить тамъ вѣкъ, гдѣ не представляется совершенно впереди ничего, гдѣ всѣ лѣта, проводимыя въ ничтожныхъ занятіяхъ, будутъ, тяжкимъ упрекомъ звучать душѣ,—это убійственно!“

„Я рѣшился служить здѣсь во что бы ни стало; но Богу не было угодно. Вездѣ совершенно я встрѣчалъ однѣ не-

удачи и, что всего страннѣе, тамъ, гдѣ ихъ вовсе нельзя было ожидать".

Гоголь разсказывалъ въ этомъ письмѣ дальше, что съ нимъ случилось великое несчастіе: онъ влюбился до безумія; все въ мірѣ стало для него чуждо, адская тоска со всевозможными муками закипала въ его душѣ; онъ въ порывѣ бѣшенства кинѣлъ упиться однимъ только взглядомъ и потому созналъ необходимость бѣжать отъ самого себя.

Вся эта пламенная исповѣдь была, однако, чистой выдумкой; послѣ тщательной провѣрки всего біографическаго матеріала оказывается, что никакой такой дамы не было, которая такъ неожиданно погнала бы Гоголя изъ Петербурга. Онъ просто подыскивалъ правдоподобный мотивъ, который могъ бы въ глазахъ матери объяснить его странное поспѣшное бѣгство изъ Россіи.

„Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! — продолжалъ онъ въ томъ же письмѣ. Этотъ переломъ для меня необходимъ. Это училище непремѣнно образуетъ меня: я имѣю дурной характеръ, испорченный и избалованный нравъ [въ этомъ признаюсь я отъ чистаго сердца]: лѣнь и безжизненное для меня здѣсь пребываніе непремѣнно упрочили бы мнѣ ихъ на вѣкъ. Нѣтъ, мнѣ нужно передѣлать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности, и если я не могу быть счастливъ [нѣтъ, я никогда не буду счастливъ для себя: это божественное существо вырвало покой изъ груди моей и удалилось отъ меня]—по крайней мѣрѣ, всю жизнь посвящу для счастія и блага себѣ подобныхъ *).

Всѣ эти восторженныя обѣщанія для насъ не новость, мы встрѣчали ихъ еще въ письмахъ лицеиста и должны признать ихъ и въ данномъ случаѣ не за рисовку, а лишь за неумѣлое выраженіе искренняго порыва восторженной души, все еще не утратившей вѣры въ возможность работать на „благо" и „счастіе" ближняго.

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 123, 129.

Врожденная сентиментальность и восторженность, не убитая петербургской прозой, а лишь обманутая и раздразненная, она-то и заставила нашего мечтателя бѣжать въ чужіе края, искать за границей Россіи желаннаго совпаденія мечты и дѣйствительности; бѣжать безъ оглядки на послѣднія деньги, унося съ собой все-таки надежду совершить нѣчто „полезное“. Это неудержимое влеченіе вдаль, которое Гоголь подмѣтилъ въ себѣ самомъ еще тогда, когда вручилъ своему Ганцу Кюхельгартену страннический посохъ, эта надежда найти за предѣлами Россіи разгадку тѣхъ вопросовъ, на которые его наводила жизнь — остались навсегда характерными чертами его психической организаціи. Онъ въ трудныя минуты жизни всегда помышлялъ о бѣгствѣ.

Такой попыткой бѣжать отъ призраковъ, обступившихъ его душу, и была его первая поѣздка за границу. Приблизительно въ этомъ же смыслѣ истолковывалъ эту поѣздку и самъ авторъ, когда много лѣтъ спустя, писалъ въ своей „Авторской исповѣди“: „Я никогда не имѣлъ влеченія или страсти къ чужимъ краямъ, я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша жадный впечатлѣній. Но, странное дѣло, даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученья, даже въ то время, когда я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что, именно для службы моей отчизнѣ, я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомъ, но видѣлъ самого себя такъ живо въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ по своей отчизнѣ; картина эта такъ часто меня преслѣдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть. Какъ бы то ни было, но это противувольное мнѣ самому влеченіе было такъ сильно, что не прошло пяти мѣсяцевъ по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ самому непо-

нятному. Проектъ и цѣль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только то, что ѣду вовсе не затѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣе, чтобы натерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея" *).

Всѣхъ этихъ мыслей о Россіи у Гоголя въ 1829 году, конечно, не было; онѣ сложились и приняли такой таинственный характеръ позднѣе, но надежда на то, что вдали ждетъ, что-то, что обѣщаетъ и проясненіе мысли, и успокоеніе взволнованнаго чувства, эта надежда могла въ душѣ Гоголя зародиться и въ очень ранніе годы.

Гоголь пробылъ за границей всего лишь три мѣсяца и поспѣшно вернулся обратно. Какъ можно судить по нѣкоторымъ весьма немногочисленнымъ письмамъ, состояніе его духа за этотъ срокъ времени было очень смутное. Его охватило знакомое намъ туманное волненіе, которое выражалось теперь въ сѣтованіяхъ на Бога, зачѣмъ Онъ, создавъ такое единственное или, по крайней мѣрѣ, рѣдкое въ мірѣ сердце, какъ его, создавъ такую душу, пламенѣющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному, облекъ ее въ такую грубую оболочку? Гоголь какъ будто угадывая, что о немъ будетъ говорить потомство, спрашивалъ Бога, зачѣмъ Онъ допустилъ въ его душѣ такую страшную смѣсь противорѣчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія?

Но смѣна впечатлѣній все-таки свое дѣло сдѣлала. Новая обстановка и новые люди заинтересовали Гоголя, и онъ въ письмахъ своихъ къ матери очень подробно и спокойно разсказывалъ о томъ, что ему пришлось видѣть новаго въ Любекѣ и Гамбургѣ, двухъ городахъ, дальше которыхъ онъ не поѣхалъ, хотя и думалъ пробраться въ Америку. Впрочемъ, мечта и въ данномъ случаѣ значительно опередила

*) «Сочиненія Гоголя. X-ое изданіе», 1889 IV, 260.

дѣйствительность. Онъ ожидалъ отъ чужихъ странъ бо́льшаго. Онъ думалъ, что любопытство его будетъ разгораться постепенно. „Ничего не бывало. Я въѣхалъ [въ Любекъ] такъ, какъ бы въ давно знакомую деревню, которую привыкъ видѣть часто. Никакого особеннаго волненія не испыталъ я“. Но въ этомъ отсутствіи волненія, быть можетъ, и заключался самый осязательный и благотворный результатъ путешествія. Гоголь самъ это чувствовалъ, когда писалъ матери, что теперь онъ въ силахъ занять въ Петербургѣ предлагаемую должность, что новыя занятія дадутъ силу его душѣ быть равнодушнѣе и невнимательнѣе къ мірскимъ горечамъ. Нашъ странникъ, повидимому, настолько успокоился, что былъ даже въ состояніи довольно трезво обсудить свой собственный поступокъ. „Вотъ вамъ мое признаніе—писалъ онъ матери по поводу своей первой поѣздки –одни только гордые помыслы юности, проистекавшіе, однако-жъ, изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ, не будучи умѣряемы благоразуміемъ, завлекли меня слишкомъ далеко *)“. Тотъ-же трезвый тонъ слышится и черезъ мѣсяцъ, когда Гоголь уже рѣшилъ поскорѣй вернуться во свояси. „Въ скоромъ времени я надѣюсь опредѣлиться на службу, писалъ онъ матери. Тогда съ обновленными силами примусь за трудъ и посвящу ему всю жизнь свою. Можетъ быть, Богу будетъ угодно даровать мнѣ возможность загладить современемъ мой безразсудный поступокъ“ **).

Онъ и загладилъ его очень скоро, возвратясь въ Петербургъ и поступивъ въ первыхъ мѣсяцахъ 1830 года, на службу въ департаментъ удѣловъ.

Этотъ годъ и два за нимъ слѣдующихъ — эпоха очень знаменательная въ жизни Гоголя: это годы созданія „Вечеровъ на Хуторѣ“, съ которыхъ началась его литера-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 136.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 138.

турная слава и вмѣстѣ съ тѣмъ первые годы сознательной выработки въ себѣ художника подъ непосредственнымъ вліяніемъ Жуковскаго и Пушкина, съ которыми Гоголь въ это время познакомился и очень быстро сошелся.

За исключеніемъ этихъ знакомствъ, кругъ которыхъ постепенно расширялся, во внѣшней жизни Гоголя никакихъ особыхъ перемѣнъ не произошло. Онъ служилъ на маленькомъ мѣстѣ, жалованье получалъ весьма скромное, порой нуждался и на эту нужду жаловался. Свои финансовые недочеты пополнялъ частью заказной литературной работой, отчасти уроками и гувернерствомъ. Во всякомъ случаѣ, сѣрая и прозаичная сторона жизни была для него ощутима не менѣе, чѣмъ прежде и, быть можетъ, она давала себя чувствовать еще сильнѣе теперь, когда, въ обществѣ Жуковскаго и Пушкина, разгорался въ Гоголѣ энтузіазмъ художника и міръ художественной мечты сталъ пріобрѣтать для него особую прелесть.

Однимъ изъ способовъ смягчить тяготу прозаической жизни была и работа надъ малороссійскими повѣстями и сказками, изъ которыхъ потомъ составились „Вечера на Хуторѣ“. Эти повѣсти, съ одной стороны, должны были принести матеріальную пользу, съ другой—дать писателю возможность позабыться въ мечтахъ.

Писались эти разсказы довольно долго — цѣлыхъ три года, съ 1829 до 1831 г.—и авторъ, созидая ихъ, на первыхъ порахъ менѣе всего думалъ объ ихъ литературной цѣнности: онъ не угадывалъ ихъ силы и значенія, и говорилъ о нихъ совсѣмъ не такъ, какъ художникъ говоритъ о своемъ любимомъ твореніи.

„Теперь, почтеннѣйшая маменька, теперь васъ прошу сдѣлать для меня величайшее изъ одолженій — пишетъ Гоголь матери въ 1829 г. Вы много знаете обычаи и нравы малороссіянъ нашихъ и потому вы не откажетесь сообщать мнѣ ихъ въ нашей перепискѣ. Это мнѣ очень, очень нужно... Я ожидаю отъ васъ описанія полнаго наряда сельскаго дьячка,

отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ это все называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ, самыхъ наименѣе перемѣнившихся малороссіянъ... Еще обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская ни малѣйшихъ подробностей... Еще нѣсколько словъ о колядкахъ, о Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ. Если есть, кромѣ того, какіе-либо духи или домовые, то о нихъ подробнѣе, съ ихъ названіями и дѣлами. Множество носится между простымъ народомъ повѣрій, страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ и проч. Все это будетъ для меня чрезвычайно занимательно... Еще прошу васъ выслать мнѣ двѣ папинькины малороссійскія комедіи: „Овца-собака“ и „Романа съ Параскою“. Здѣсь такъ занимаетъ всѣхъ все малороссійское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну изъ нихъ поставить на здѣшній театръ. За это, по крайней мѣрѣ, достался бы мнѣ хотя небольшой сборъ; а по моему мнѣнію, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать вниманіе. Если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ—къ третьему и такъ далѣе“ *).

И Гоголь неоднократно повторяетъ такія просьбы въ своихъ письмахъ. Его „отдохновеніе“, подъ которымъ онъ подразумѣвалъ свою писательскую работу, должно ему въ скорости принести существенную пользу **). Онъ проситъ мать собирать ему свѣдѣнія объ играхъ [карточныхъ], о хороводныхъ пѣсняхъ, а главное разсказываемыя простолюдинами повѣрья, въ которыхъ участвуютъ духи и нечистые. Гоголь такъ занятъ этимъ собираніемъ матеріала, что онъ не забываетъ о немъ даже во время пребыванія своего за границей; наканунѣ отъѣзда за границу, онъ извѣщаетъ мать, что въ тиши уединенія онъ „готовитъ запасъ“, который не хочетъ выпустить въ свѣтъ, пока порядочно не обработаетъ. У него мелькаетъ даже мысль издать весь этотъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 119—121.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 122.

„запасъ“ на иностранномъ языкѣ. Не успѣлъ онъ вернуться изъ-за границы, какъ опять проситъ собирать для него всякія древнія монеты и рѣдкости, старопечатныя книги, другія „антики“: онъ хочетъ прислужиться этимъ одному вельможѣ, отъ котораго зависитъ улучшеніе его участи. Ему очень хотѣлось бы имѣть старыя записки, веденныя предками какой-нибудь старинной фамиліи, стародавнія рукописи про времена гетьманщины... „Это составляетъ мой хлѣбъ“— пишетъ онъ матери.

Размѣръ и содержаніе труда или „запаса“, надъ которымъ Гоголь работалъ, недостаточно ясно опредѣляются всѣми этими указаніями. Легко можетъ быть, что онъ имѣлъ въ виду написать обширное этнографическое и историческое изслѣдованіе о Малороссіи: на это указываетъ, напр., его желаніе издать свой трудъ на иностранномъ языкѣ, который едва ли былъ пригоденъ для того, чтобы на немъ писать повѣсти. Мы знаемъ также, что мысль о широкомъ планѣ историческаго труда и позднѣе очень долго занимала Гоголя. Во всякомъ случаѣ можно предпожить, что чисто-художественная обработка собраннаго имъ матеріала, была не единственная, которую онъ имѣлъ въ виду, когда говорилъ о своихъ литературныхъ планахъ.

Первая часть „Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки“ вышла въ свѣтъ въ серединѣ 1831 г., а черезъ годъ была издана вторая. Литературная репутація Гоголя была сразу твердо установлена; его талантъ былъ признанъ и оцѣненъ по достоинству, и самымъ авторитетнымъ литературнымъ трибуналомъ, и кругомъ самой простой читающей публики.

Ученическіе годы Гоголя окончились.

Въ психической жизни художника за эти годы, какъ мы видѣли, много туманнаго и трудно объяснимаго. Удивительное чередованіе веселости и глубокой меланхоліи съ перевѣсомъ послѣдней; необычайно живо работающая фантазія и рядомъ съ ней умъ очень зоркій, острый и трезвый, мечтательное тяготѣніе къ неизвѣданному и неиспытанному, боль-

шая склонность къ размышленію и къ анализу своихъ собственныхъ ощущеній и мыслей, самолюбіе сильно развитое и очень близко подходящее къ самомнѣнію: увѣренность въ своихъ силахъ, пока еще не испробованныхъ; смутное представленіе о призваніи къ чему-то великому, но пока неизвѣстному; взглядъ на этотъ грядущій подвигъ, какъ на нѣчто весьма для людей полезное и спасительное, а потому и сознаніе своего права строго судить людей; наконецъ, великій даръ художественнаго творчества—вотъ тѣ мысли, ощущенія, настроенія и силы, которыя владѣютъ Гоголемъ одновременно.

Со всѣми этими психическими факторами его жизни мы будемъ встрѣчаться и позже, и они будутъ проявляться въ своеобразномъ, иногда весьма странномъ видѣ. Но теперь, когда Гоголь сталъ авторомъ „Вечеровъ на Хуторѣ“, мы должны на время оборвать разсказъ объ его жизни, чтобы перейти къ историко-литературной оцѣнкѣ его перваго художественнаго произведенія. Обзоръ главнѣйшихъ литературныхъ явленій конца двадцатыхъ и начала тридцатыхъ годовъ облегчитъ намъ эту оцѣнку.

III.

Наша дѣйствительность и ея бытописатели.—Отраженіе современной жизни въ творчествѣ Крылова, Жуковскаго, Батюшкова, Грибоѣдова и Пушкина.—Второстепенныя литературныя силы: Нарѣжный, Булгаринъ, Вѣгичевъ, Ушаковъ, Лажечниковъ, Загоскинъ, Марлинскій и Полевой.—Значеніе ихъ романовъ въ дѣлѣ сближенія искусства и жизни.

Прислушиваясь къ тому, что въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ говорила критика о нашей изящной словесности, можно было придти къ выводу мало отрадному.

Изъ какихъ бы точекъ отправленія критики того времени ни исходили въ своихъ сужденіяхъ, они всѣ въ конечномъ выводѣ совпадали *). Этотъ выводъ можетъ быть формулированъ такъ: содержаніе и форма наличной русской словесности не соотвѣтствуютъ тому положенію, которое Россія заняла среди цивилизованныхъ націй міра и не соотвѣтствуютъ также тѣмъ національнымъ формамъ быта и тому національному смыслу, который, безспорно, заключенъ въ нашей народной и государственной жизни. Мы—нація съ физіономіей самобытной, нація, развивавшаяся иначе, чѣмъ другія, и уже имѣющая нѣкоторыя заслуги передъ культурнымъ міромъ, и тѣмъ не менѣе отраженіе нашей жизни въ искусствѣ до сихъ поръ было и остается въ

*) Очеркъ развитія этихъ критическихъ взглядовъ смтр. въ Приложеніи I.

большинствѣ случаевъ пародіей искусства западнаго, несмотря на присутствіе среди насъ большихъ талантовъ, обѣщающихъ многое въ будущемъ. У насъ нѣтъ ни силы, ни умѣнья провести нашу національную идею въ нашемъ художественномъ творчествѣ, отлить ее въ самобытную форму.

Главное обвиненіе, съ какимъ критика выступала противъ литературы сводилось къ тому, что въ художникахъ нашихъ совсѣмъ не развито чутье „народности".

Слово „народность" было какъ будто бы ясное, всѣмъ понятное, а между тѣмъ очень неопредѣленное, способное сбить и художника, и критика на невѣрную дорогу.

Дѣйствительно, въ томъ, что говорила критика о „народности" было много правды, но не мало и несправедливаго.

Несправедливо было, напр., отнимать у писателя право на званіе „народнаго" только потому, что онъ бралъ свои сюжеты или форму своихъ произведеній у сосѣдей. Писатель могъ и подражать и все-таки оставаться народнымъ—какъ отдѣльное лицо, какъ продуктъ нашей культуры. Народенъ былъ напр. Батюшковъ, какъ выразитель чувствъ и настроеній цѣлаго опредѣленнаго кружка интеллигентныхъ „русскихъ" людей десятыхъ годовъ XIX вѣка; народенъ былъ и Жуковскій со всѣми его иноземными балладами, опять-таки какъ истолкователь думъ цѣлаго молодого поколѣнія, народенъ былъ Пушкинъ, русскій изъ русскихъ, увлекавшійся Парни, Ювеналомъ и Байрономъ. Такую *„народность" въ подражаніи* критика просмотрѣла, мало вникая въ психологію поэта и слишкомъ придирчиво относясь къ внѣшней формѣ его рѣчей.

Въ смыслѣ, который тогдашняя критика придавала „народности", крылась еще и другая ошибка, или вѣрнѣе односторонность. Само слово „народность" заставляло и поэта, и критика, прежде всего думать о „народѣ" и при томъ о простомъ народѣ, который, такимъ образомъ, являлся какъ бы единственнымъ носителемъ народныхъ традицій. Критика какъ-то забывала, что слово „народность" можно и

должно понимать въ смыслѣ болѣе широкомъ, что всѣ классы общества, даже съ простымъ народомъ разобщенные, все-таки „народны“, какъ продуктъ органической національной жизни; что всякая культура, даже заимствованная, никогда не заимствуется безъ измѣненія, что она всегда претворяется, видоизмѣняется отъ перехода въ другую среду и что, такимъ образомъ, самый ревностный ученикъ вноситъ все-таки нѣчто свое въ слова учителя, которыя онъ вытвердилъ и повторяетъ. Критика такую „интеллигентную народность“ совсѣмъ не оттѣняла и все указывала на бытъ простого народа, какъ на главный источникъ, откуда художникъ долженъ черпать свою рѣчь, свое вдохновеніе и сюжеты.

Такимъ образомъ въ игрѣ съ этимъ соблазнительнымъ словомъ „народность“ была допущена ошибка: критика, сама того не замѣчая, толкала художника на открытую и легкую дорогу „фальшивой“ народности. Въ самомъ дѣлѣ, не можетъ быть, конечно, никакого сомнѣнія въ томъ, что народный бытъ, народные обряды, пѣсни, повѣрья, миѳы, легенды, вообще вся народная старина—самый лучшій родникъ и хранитель того, что называется народнымъ „духомъ“, народной оригинальностью. Несомнѣнно также, что въ старинѣ вообще больше „самобытнаго“, чѣмъ во времени новомъ, когда нація успѣла уже болѣе или менѣе тѣсно сблизиться съ другими. Все это вѣрно, но напирать въ разсужденіяхъ о народности на возвратъ къ старинѣ, на изученіе и воспроизведеніе лишь стараго міросозерцанія и старыхъ чувствъ, хотя бы и очень оригинальныхъ, значило прививать художнику извѣстную тенденціозность. Чтобы давать художнику такой совѣтъ, надобно было быть увѣреннымъ въ большомъ его художественномъ тактѣ, въ большой поэтической силѣ, въ его способности проникаться стариной, а не поддѣлываться подъ нее. На самомъ же дѣлѣ то литературное теченіе, котораго критика такъ желала для насъ, а именно разработка старыхъ народныхъ преданій и воскресеніе исторической старины вообще—порождало лишь под-

ражанія не менѣе опасныя для истинной „народности“, чѣмъ подражанія иноземному. Художникъ корчилъ изъ себя „русскаго“—щеголялъ народными словами и оборотами, рядился въ національный костюмъ, воображалъ себя современникомъ то Владиміра Краснаго Солнышка, то царя Іоанна Грознаго, а на дѣлѣ оставался весьма посредственнымъ компиляторомъ. Между нимъ и народомъ была все та же пропасть, которую онъ напрасно хотѣлъ заполнить цвѣтами краснорѣчія. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ такая ложная народность благополучно процвѣтала и критика иной разъ сама не знала, что ей дѣлать съ этимъ растеніемъ, заглушающимъ литературную ниву, растеніемъ, которое она сама же выращивала.

Когда Гоголь выступалъ со своими „Вечерами на Хуторѣ“, на нашемъ литературномъ рынкѣ вращалась цѣлая масса разнообразнѣйшихъ произведеній словесности, въ которыхъ идея „народности“ была понята и выражена въ этомъ историко-археологическомъ и этнографическомъ смыслѣ. Существовали слабыя попытки историческихъ романовъ, были болѣе или менѣе удачные примѣры передѣлокъ русскихъ преданій на иностранный образецъ, была простая перелицовка старыхъ сказокъ и легендъ, были недурные образцы реставрированной старины, какъ, напр., двѣ три пѣсенки Жуковскаго, Дельвига и Мерзлякова, были, наконецъ, какъ исключеніе, настоящіе перлы, вродѣ сказокъ Пушкина и его „Бориса“, но въ общемъ преобладалъ литературный хламъ и мусоръ—для развитія истинно-народной словесности, пожалуй, болѣе опасный, чѣмъ столь гонимая критикой тенденція прямого подражанія и списыванія съ западныхъ образцовъ.

„Вечера на Хуторѣ“ были однимъ изъ первыхъ и относительно удачныхъ откликовъ, которыми настоящій талантъ отозвался на требованіе „народности“, понимаемой въ этомъ довольно узкомъ смыслѣ.

Помимо упрека въ отсутствіи народности критика уко-

ряла нашу литературу въ томъ, что она не отражаетъ нашей „существенности“, т.-е. дѣйствительности, и предпочитаетъ ей иные вѣка и бытъ иныхъ народовъ. Критика констатировала въ данномъ случаѣ безспорный фактъ, хотя при указаніи на него и сгущала нѣсколько краски.

Наша *тогдашняя* жизнь, дѣйствительно, не находила себѣ достаточно полнаго отраженія въ искусствѣ. Эта жизнь была очень сложна, очень пестра, характерна по разнообразію идей, чувствъ и настроеній, которыми жили разные классы и группы общества, но о всемъ этомъ разнообразіи нельзя было себѣ составить и приблизительнаго понятія по наличному литературному матерьялу.

Критика, отмѣчавшая это явленіе, была права въ своихъ жалобахъ по существу, хотя требованія, которыя она предъявляла нашей еще очень юной литературной жизни, были чрезмѣрны, а нападки ея на эту юную словесность были—какъ мы увидимъ—слишкомъ огульны: кое-что изъ „существенности“ литература всетаки успѣла схватить, и то, что она уловила, было въ достаточной степени характерно для нашей тогдашней жизни.

А жизнь тѣхъ лѣтъ могла по праву горевать о томъ, что было такъ мало художниковъ, ея достойныхъ.

Это была дѣйствительность, отливавшая самыми разнообразными оттѣнками мысли и чувства. Вѣкъ мечтательный и тревожный, за которымъ слѣдовала эпоха сосредоточеннаго раздумья—иной разъ очень печальнаго. Вѣкъ броженія идей и повышенной отзывчивости чувствъ и затѣмъ годы замиранія и притиханія ума и сердца.

Эпоха Александра I могла въ особенности дать много матеріала и красокъ для историка, психолога и художника.

Въ кругахъ высшихъ были еще живы традиціи временъ Екатерины. Обломки этого царствованія еще сохраняли обаяніе старины и выдѣлялись среди новаго поколѣнія своей запоздалой оригинальностью. Люди стараго времени не играли уже никакой общественной и политической роли, но остав-

шіеся жить въ столицахъ или разсѣянные по усадьбамъ, отходили медленно въ прошлое, унося съ собою цѣлую отжившую культуру. Опустѣвшіе ряды пополнялись новыми лицами—тої вольнодумної или вольнодумствующей аристократіей, которую такъ поощрялъ въ началѣ своего царствованія императоръ Александръ. Самъ онъ и всѣ, кого онъ приближалъ къ себѣ и кому довѣрялъ, составляли совсѣмъ особую интеллигентную группу, съ необычнымъ для тогдашней Россіи либеральнымъ міросозерцаніемъ на религіозной подкладкѣ, міросозерцаніемъ не стойкимъ и перемѣнчивымъ, а потому вдвоінѣ интереснымъ. Умственный и психическій міръ этихъ людей въ началѣ царствованія Александра и въ концѣ его могъ дать богатѣйшую пищу для наблюдателя, и тотъ же наблюдатель, столь восторженный въ 1801 году, не могъ не задуматься, когда около своего любимца увидалъ Аракчеева и его свиту. Сложность и пестрота этой жизни высшихъ классовъ усложнялась въ зависимости отъ того, протекала ли она въ столицѣ на службѣ, гдѣ нужно было умѣть плыть по вѣтру, или въ деревняхъ, гдѣ на свободѣ можно было отдаться болѣе спокойно своимъ симпатіямъ и продолжать подгонять русскую жизнь подъ иностранный образецъ или, наоборотъ, аффишировать даже до мелочей свою патріотическую и національную тенденцію.

Менѣе разнообразна, но не менѣе типична была военная среда того царствованія. Были здѣсь и военные екатерининскаго времени, болѣе свѣтскіе люди, чѣмъ воины, были питомцы павловскаго царствованія, люди суворовской школы, и, наконецъ, военная молодежь новѣйшей формаціи, столь много видавшая и столь многому научившаяся на западѣ, молодежь во многихъ своихъ представителяхъ либеральная, даже готовая ринуться въ политическую агитацію.

Это воинство съ честью вынесло на своихъ плечахъ всѣ трудности отечественной войны, шествіе его по всей Европѣ было шествіемъ тріумфальнымъ, и никогда не думало оно такъ много о самыхъ разнообразныхъ общественныхъ во-

просахъ, какъ въ эти годы, когда цивилизованныя націи встрѣчали его, какъ своего избавителя, и все-таки давали этимъ избавителямъ понять, что они полуобразованные люди.

Удивительное разнообразіе типовъ и характеровъ можно было найти въ это царствованіе и въ слояхъ бюрократіи, готовящейся стать всесильной. Кто сможетъ исчислить всѣ эти оттѣнки общественной мысли, которая, начиная отъ полной косности и полной грубости въ низшихъ инстанціяхъ, восходила иногда до очень просвѣщенныхъ взглядовъ въ инстанціяхъ высшихъ, всего чаще, однако, смѣшивая и грубость, и просвѣщеніе, и невѣжество вмѣстѣ? Любопытная эта амальгама мѣнялась, проявлялась разно въ столицахъ, въ губернскихъ городахъ и въ глухой провинціи...

Пестро и типично было также интеллигентное общество тѣхъ годовъ, общество, въ составъ котораго входили люди разныхъ сословій, слоевъ и профессій... Условія благопріятствовали росту этого интеллигентнаго круга. Идеямъ религіознымъ, философскимъ, общественнымъ и политическимъ дарована была относительная свобода развитія, по крайней мѣрѣ, въ первую половину царствованія. Этой свободой интеллигентное общество широко воспользовалось. Въ немъ можно было встрѣтить и старыхъ волтерьянцевъ, и читателей энциклопедіи, сентименталистовъ карамзинскаго типа, масоновъ, ревностно принявшихся за прерванную дѣятельность, піэтистовъ разныхъ толковъ настоящихъ сектантовъ отъ добрыхъ знакомыхъ Татариновой до скопцовъ включительно, мистиковъ всевозможныхъ оттѣнковъ, людей съ большимъ тяготѣніемъ къ католичеству, философовъ въ нѣмецкомъ стилѣ, учениковъ Шеллинга и натуръ-философіи, экономистовъ, ревностныхъ читателей Смита, свободомыслящихъ въ политическомъ смыслѣ, сторонниковъ конституціи, людей радикальнаго образа мыслей, будущихъ декабристовъ и рядомъ съ ними ревнителей православія и самодержавія и, наконецъ, форменныхъ обскурантовъ, гонителей и гасителей науки и всякаго просвѣщенія. Всѣ эти люди

высказывались довольно открыто и откровенно, говорили и дѣйствовали на виду, имѣя иногда къ своимъ услугамъ спеціальные органы печати.

Такой же пестротой взглядовъ отличалась и пишущая братія, составлявшая обширный кругъ литераторовъ въ разныхъ смыслахъ этого слова. Всѣ эти классики, сентименталисты, романтики, старики и молодежь, находились въ постоянномъ общеніи, перебранивались, договаривались, вновь ссорились, издавали цѣлыми группами журналы и альманахи, имѣли свои собранія и бесѣды, иногда съ признанными уставами и церемоніями, и опять-таки, что̀ очень важно, могли на первыхъ порахъ говорить съ относительной свободой.

Особое разнообразіе въ эту, и безъ того разнообразную, толпу вносили женщины—по образованію, направленію ума и чувствъ болѣе сходныя между собой, чѣмъ мужчины, но, тѣмъ не менѣе, все-таки очень типичныя.

Если бы изъ этой сферы привилегированныхъ классовъ мы спустились въ болѣе низкіе и темные слои общества, то и здѣсь, въ средѣ купеческой, мѣщанской и, наконецъ, крестьянской, мы могли бы натолкнуться на обильнѣйшій запасъ всевозможныхъ оригиналовъ, людей хотя и темныхъ, но, какъ психическія организаціи, не менѣе интересныхъ чѣмъ люди образованные. Богатство этихъ типовъ удесятерялось этнографическими особенностями нашей обширной родины. Каждая національность, входящая въ составъ Россіи имѣла,въ особенности въ низшихъ слояхъ, свою характерную физіономію и могла обогатить яркими красками палитру любого художника.

Когда кончилось царствованіе Александра и послѣ тревожнаго декабрьскаго дня наступило новое царствованіе, оно отозвалось сразу и очень сильно на внутреннемъ строѣ нашего общества и на его внѣшнемъ обликѣ. Нѣкоторыя теченія мысли и настроенія стали исчезать, замѣнялись другими, исчезать стали и нѣкоторые типы, и зарождались новые.

Къ началу тридцатыхъ годовъ эта перемѣна стала очень замѣтна. Религіозная, общественная и политическая мысли были приведены къ полному молчанію, и исчезли совсѣмъ тѣ кружки и общества, которые служили проводниками этихъ мыслей въ царствованіе Александра. Большее однообразіе мысли установилось въ слояхъ военныхъ и бюрократическихъ и значительно понизился уровень серьезности въ журналистикѣ и литературѣ. Интеллигентное общество стало казаться болѣе однороднымъ по своимъ взглядамъ и вкусамъ, конечно, не потому, что оно стало однороднымъ, а потому, что многое въ мысляхъ и чувствахъ не имѣло возможности всплыть наружу.

Появились и новые типы: зарождался и крѣпъ типъ тревожно настроеннаго и разочарованнаго интеллигента, которому предстояла интересная будущность: продолжалъ развиваться на университетской скамьѣ типъ сосредоточеннаго въ себѣ философа, который предпочиталъ глядѣть вдаль или въ глубь самого себя, чтобы не озираться вокругъ,—типъ въ общемъ пока смирнаго служителя науки, который однако скоро очутился въ рядахъ оппозиціи; наконецъ, надъ этими частными типами сталъ возвышаться одинъ общій и въ военной, и въ чиновной сферѣ, собирательный типъ человѣка николаевскаго царствованія, для котораго дисциплина, послушаніе, исполнительность и трепетъ испытываемый и нагоняемый, были первыми параграфами гражданской морали.

Всѣ эти видоизмѣненія произошли, конечно, не вдругъ, а постепенно, и сама метаморфоза была, пожалуй, болѣе интересна, чѣмъ тотъ результатъ, къ которому она приводила. Художникъ могъ бы имѣть въ ней тонкую канву для цѣлаго ряда психологическихъ этюдовъ.

Но какъ же воспользовался всѣмъ этимъ матеріаломъ художникъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ? Онъ, свидѣтель царствованія Александра и свидѣтель первыхъ годовъ новаго царствованія, уловилъ ли онъ смыслъ или хотя бы

только внѣшнюю форму того историческаго процесса, который передъ нимъ развернулся? Была ли критика права, когда упрекала художника въ непониманіи дѣйствительности и въ нежеланіи изображать ее, и могъ ли онъ отвѣтить ей, что и она не совсѣмъ внимательно отнеслась къ тому, что онъ по мѣрѣ силъ своихъ сдѣлалъ?

Если подъ словомъ „народность“, которое такъ часто поминала наша критика въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, разумѣть преимущественно отраженіе *современной* русской жизни въ литературѣ, то съ жалобами критики на отсутствіе у нашихъ писателей любви и чутья къ дѣйствительности придется согласиться, хотя съ нѣкоторыми оговорками.

Слишкомъ большая строгость критики находитъ себѣ въ данномъ случаѣ объясненіе въ томъ очень любопытномъ фактѣ, что наши наилучшія литературныя силы и дарованія тѣхъ годовъ, неохотно брались за изображеніе окружавшей ихъ жизни, обнаруживая очень мало склонности къ ея реальному воспроизведенію въ искусствѣ. За реальное же изображеніе этой дѣйствительности, изображеніе, которое, въ силу своего реализма имѣло больше всего шансовъ стать „народнымъ“, взялись не они, а художники второго, иной разъ третьяго ранга, въ произведеніяхъ которыхъ, конечно, цѣль и намѣреніе не покрывались исполненіемъ. Критика, видя эти эстетическіе недохваты въ повѣстяхъ и романахъ нашихъ раннихъ реалистовъ, поторопилась скинуть ихъ работу со счетовъ и потому естественно должна была придти къ выводу, что наша современность въ литературѣ почти не находитъ отзвука.

Но для историка такой строгій приговоръ старой критики необязателенъ, и малое „эстетическое“ значеніе первыхъ попытокъ нашего реальнаго романа ничего не говоритъ противъ того „историческаго“ вліянія, какое они безспорно имѣли на творчество настоящихъ художниковъ, упразднившихъ эти попытки своими истинно-реальными картинами.

Но нельзя не признать факта, что наши наиболѣе сильныя дарованія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ чувствовали очень малое влеченіе къ реальному изображенію нашей жизни въ искусствѣ. Они сторонились отъ современности, оберегая свободу своего творчества, которой и пользовались, чтобы почаще перелетать за границу нашей родины, а нерѣдко и вообще за предѣлы всякой дѣйствительности.

Это тѣмъ болѣе странно, что XVIII вѣкъ завѣщалъ намъ довольно типичные примѣры реализма въ искусствѣ. Мы хорошо помнили Фонвизина и охотно прощали ему за его реализмъ сентиментальную дидактику его комедій; мы не могли позабыть и о журнальной дѣятельности Новикова. Въ его старыхъ летучихъ листкахъ мы имѣли образцы довольно искусной жанровой живописи, образчики типовъ, можетъ быть, нѣсколько общаго характера, но все-таки живыхъ и реальныхъ; наконецъ и въ книгѣ Радищева, которую, конечно, нельзя отнести къ числу памятниковъ художественнаго творчества, были страницы такого захватывающаго житейскаго реализма, до котораго лишь много лѣтъ спустя возвысился нашъ романъ натуральной школы.

Эта тенденція сближенія искусства съ жизнью не исчезла, конечно, и въ началѣ XIX вѣка, и медленно и постепенно расширялось поле зрѣнія русскаго бытописателя. Но если не погибла сама тенденція, то все-таки ея ростъ не соотвѣтствовалъ тому приросту литературныхъ силъ, который замѣчается въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ XIX вѣка. Талантовъ народилось много и даже очень сильныхъ, но изъ числа ихъ лишь нѣкоторые, притомъ болѣе слабые обнаружили интересъ къ современности: самые даровитые откликались на эту жизнь неохотно, предпочитали заимствовать свой матеріалъ у сосѣдей, а въ большинствѣ случаевъ ограничивались художественнымъ воспроизведеніемъ своихъ исключительно личныхъ ощущеній, чувствъ и мыслей.

Представителемъ старшаго поколѣнія писателей реалистовъ былъ въ началѣ XIX вѣка Крыловъ. Авторъ сатири-

ческихъ очерковъ, во многомъ напоминавшихъ статейки Новикова, Крыловъ прославился своими баснями, которыя могли бы подъ его живописнымъ перомъ стать цѣлымъ рядомъ правдивыхъ жанровыхъ картинокъ нашей дѣйствительности, если бы авторъ не придерживался такъ послушно иноземныхъ образцовъ, откуда онъ заимствовалъ свои мысли и положенія. Басня Крылова—предметъ нашей національной гордости—была большой побѣдой „народности“ въ искусствѣ, но эта побѣда пошла на пользу не столько литературѣ въ широкомъ смыслѣ этого слова, сколько языку и стилю въ частности. Въ вѣкъ неоригинальнаго стиля и несвободнаго языка Крыловъ былъ однимъ изъ немногихъ писателей, въ которомъ русскій человѣкъ узнавалъ самого себя, со своей образной и остроумной рѣчью. Но огромное большинство басенъ Крылова всетаки не имѣло никакого мѣстнаго колорита и дѣйствующія въ нихъ лица были типы самые общіе, безъ всякихъ чертъ какой-либо народности. Во всѣхъ басняхъ мы наберемъ, можетъ быть, два-три современныхъ типа, которые во всякомъ случаѣ не позволяютъ намъ сказать, что въ лицѣ Крылова передъ нами бытописатель нашей жизни. Крыловъ—выразитель мудрости общечеловѣческой, накопившейся вѣками и выраженной въ традиціонныхъ стереотипныхъ образахъ, на которыхъ давнымъ давно стерлись всякія краски и черты тѣхъ національностей, которыя надъ выработкой этихъ типовъ потрудились. Наша критика, однако, всегда превозносила Крылова за его „народность“ и она была, конечно, права, если подъ этимъ словомъ разумѣть ту внѣшнюю форму, въ которую Крыловъ облекалъ свою мораль и сатиру, но связь этой морали со своимъ вѣкомъ была очень слабая, а иной разъ, какъ, напр., въ типахъ изъ среды крестьянской, этой связи совсѣмъ не существовало.

Большую связь со своей эпохой обнаруживала поэзія Жуковскаго—столь популярная въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ XIX вѣка. Онъ сумѣла уловить господствующее сенти-

ментально-религіозное настроеніе русскаго общества, равно какъ и патріотическій подъемъ его духа, но для выраженія этихъ народныхъ чертъ поэзія Жуковскаго почти всегда пользовалась заимствованной формой, образами и картинами, взятыми изъ какой угодно исторической жизни, но только не нашей. Чутья дѣйствительности у Василія Андреевича совсѣмъ не было, да онъ, какъ извѣстно, мало интересовался этой дѣйствительностью, всегда предпочитая ей „былое“ или туманное „тамъ“. Опредѣлить по его поэзіи, въ какой историческій моментъ она создалась, крайне трудно, хотя, если этотъ историческій моментъ опредѣленъ, то имъ объясняются легко всѣ основные мотивы этой однообразной, но задушевной пѣсни. При своей нелюбви къ житейскому факту и при стремленіи отыскать въ немъ всегда общій нравственный или религіозный смыслъ, Жуковскій избѣгалъ всякаго намека на реализмъ въ своемъ искусствѣ, и искать въ его творчествѣ какихъ-нибудь бытовыхъ чертъ—напрасно. Даже тогда, когда поэтъ съ умысломъ хотѣлъ быть русскимъ и брался за разработку русскихъ національныхъ преданій и старины—онъ никогда не могъ выдержать наивно-правдиваго тона, и пѣсня его сбивалась на иностранный мотивъ, хотя критика, обманутая ея искренностью и красотой, и признавала эту пѣсню нерѣдко за истинно народную. Случалось, впрочемъ, и Жуковскому иной разъ напасть на тему современную, но всѣ его попытки въ этомъ родѣ ограничивались совсѣмъ незначущими эскизами и замѣтками, и онъ писалъ ихъ презрѣнной прозой.

Русская дѣйствительность была, такимъ образомъ, обойдена Жуковскимъ, и онъ за своей собственной личностью просмотрѣлъ ее или, вѣрнѣе, не хотѣлъ къ ней приглядѣться. А Василій Андреевичъ имѣлъ случай изучить ее—и въ деревнѣ, и въ столичныхъ литературныхъ кружкахъ, и въ походахъ, и въ гостиныхъ, и во дворцѣ. Но онъ этимъ знаніемъ не воспользовался. Всю жизнь остался онъ юношей-мечтателемъ, и какъ поэтъ неохотно присматривался

къ повседневной тихой русской жизни, и еще менѣе прислушивался къ шуму жизни западной, среди которой ему проживать случалось.

Не существовала текущая минута и для Батюшкова—этого тонкаго эстетика, которому слѣдовало бы родиться въ Авзоніи, а не на нашемъ дальнемъ сѣверѣ. Служитель музъ по преимуществу, онъ, такъ же какъ Жуковскій, не питалъ пристрастія къ людямъ—какъ ихъ создаетъ пространство и время. Онъ любилъ человѣка въ его просвѣтленномъ образѣ.

Большой поклонникъ красоты античнаго міра и Италіи, затѣмъ ревностный ученикъ французской словесности XVIII-го вѣка, въ минуты тоски и печали романтикъ въ стилѣ Рене—Батюшковъ умѣлъ выразить съ неподражаемой граціей всѣ основныя общеевропейскія настроенія своего вѣка, подбирая для нихъ—въ чемъ и была его главная литературная заслуга—удивительно мелодичную форму. Русскій языкъ подъ его перомъ пріобрѣталъ особую эластичность и пѣвучесть. Въ этой красотѣ формальной и заключалась вся заслуга поэзіи Батюшкова передъ нашей „народностью“: „народный“ языкъ въ его стихахъ становился особенно глубокъ и пріучался выражать чувства и настроенія, для передачи которыхъ онъ раньше, повидимому, не имѣлъ подходящихъ звуковъ и формы.

Но современная жизнь не оставила никакого слѣда на поэзіи Батюшкова. Даже тогда, когда нашъ эстетикъ, въ общемъ столь равнодушный къ теченію русской жизни, начиналъ обнаруживать хотя бы слабый интересъ къ соціальнымъ и политическимъ вопросамъ, волновавшимъ наши умы, даже въ эти рѣдкія для него минуты, онъ продолжалъ оберегать свою фантазію отъ соприкосновенія съ дѣйствительностью: нѣсколько военныхъ картинокъ и нѣсколько военныхъ силуэтовъ—вотъ все „современное“, что мы находимъ въ его поэзіи. Остальное было общечеловѣческое, съ текущей минутой связанное лишь самой общей связью и по-

тому только русское, что оно было сказано русскимъ человѣкомъ и при томъ прекраснымъ русскимъ языкомъ.

Такими же русскими писателями, выразителями личныхъ чувствъ единичныхъ особей русскаго интеллигентнаго міра были и наслѣдники Жуковскаго и Батюшкова—всѣ молодые наши поэты двадцатыхъ годовъ, всѣ эти таланты разныхъ степеней, которымъ наша лирическая поэзія обязана своимъ расцвѣтомъ.

И тотъ фактъ, что Дельвигъ, Баратынскій, Рылѣевъ, Языковъ, Подолинскій, Туманскій, Веневитиновъ, Козловъ, Вяземскій и другіе были исключительно лириками, указываетъ на то, насколько трудно было даже для яркаго таланта найти въ себѣ силу для воспроизведенія реальной, живой дѣйствительности.

Среди художниковъ того времени были однако два писателя, безспорно одаренные чутьемъ дѣйствительности, но одинъ изъ нихъ едва успѣлъ высказаться, а другой, хотя и работалъ много, но не все, что онъ создалъ, попало во время въ печать и стало общимъ достояніемъ.

Грибоѣдовъ—болѣе сатирикъ, чѣмъ бытописатель—обладалъ удивительнымъ даромъ реальнаго воспроизведенія жизни, даромъ, который онъ обнаружилъ въ созданіи нѣкоторыхъ типовъ, вѣрно выражавшихъ господствующія вѣянія его эпохи. Это были не только сами по себѣ интересные типы, но, главнымъ образомъ, такіе, въ которыхъ отразился глубокій смыслъ совершавшагося на глазахъ Грибоѣдова историческаго процесса. Во всей нашей литературѣ того времени не было памятника, въ которомъ бы этотъ смыслъ былъ такъ вѣрно уловленъ, какъ въ его знаменитой комедіи.

Комедія была не безъ недостатковъ и ее едва ли можно назвать вполнѣ самобытной комедіей въ строгомъ смыслѣ этого слова. „Горе отъ ума“ все-таки носитъ на себѣ слѣды вліянія французскихъ образцовъ. Чѣмъ-то не вполнѣ русскимъ вѣетъ отъ рѣчей Софьи и Лизы—этой субретки и ея

барыни-жеманницы; да и самого хваленаго Чацкаго едва ли можно признать настоящимъ живымъ типомъ—онъ не столько личность, сколько мысль самого автора, воплощенная въ нѣсколько странной трагикомической фигурѣ. Исторія появленія этой фигуры и ея исчезновенія изъ дома Фамусова разсказана также не вполнѣ согласно съ правдоподобностью. Нѣкоторые эпизоды придуманы съ явнымъ умысломъ дать дѣйствующимъ лицамъ высказаться: [таковы, напр., эпизоды паденія Молчалина съ лошади или монологъ Чацкаго среди танцовальной залы]. Все это, быть можетъ, мелочи сравнительно съ достоинствами комедіи, но онѣ довольно характерные показатели того, какъ даже большому таланту бывало трудно обработать русскій сюжетъ вполнѣ реально и съ дѣйствительностью согласно.

Но все-таки, какъ реалисту, Грибоѣдову принадлежитъ первое мѣсто среди писателей его эпохи—именно, въ виду того пониманія историческаго смысла этой эпохи, которое онъ обнаружилъ въ своей комедіи. Важна въ данномъ смыслѣ не столько яркая типичность нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ, какъ, напр., московскаго барина, въ которомъ сановитое чиновничество соединилось съ аристократической распущенностью помѣщика, или его пріятеля, полковника аракчеевской выправки ума и тѣла, или его гостей—этихъ рѣдкихъ экземпляровъ дворянской кунсткамеры, или, наконецъ, его секретаря — чиновника изъ лакеевъ или лакея изъ чиновниковъ; важнѣе всѣхъ этихъ живыхъ портретовъ то изумительное пониманіе современной минуты, которое выказалъ Грибоѣдовъ, когда всѣмъ этимъ сложившимся обобщеннымъ и цѣльнымъ типамъ, всѣмъ этимъ олицетвореніямъ общественной неподвижности, онъ противупоставилъ типъ совсѣмъ неустановившагося молодого человѣка, выразителя стремленій и думъ молодежи. Пониманіе эпохи и выразилось, главнымъ образомъ, въ недоговоренности и нецѣльности этого молодого типа, въ которомъ соединены, какъ въ клубкѣ, всѣ нити тогдашней молодой

мысли, мысли иногда противорѣчивой и неясной, но зато дѣйствительно современной. Чацкій — и славянофилъ, и западникъ, и сентименталистъ, и человѣкъ скептическаго и холоднаго разсудка, и вмѣстѣ съ тѣмъ экзальтированный юноша, т.-е. въ немъ, какъ въ сводномъ типѣ, слиты противорѣчія, которыя въ живомъ лицѣ непонятны, но въ типѣ сводномъ могутъ быть вполнѣ допущены и соглашены. Онъ—выразитель броженія молодыхъ чувствъ и идей, поставленный среди лицъ съ установившимися неподвижно взглядами и понятіями, и этотъ контрастъ былъ, дѣйствительно, однимъ изъ самыхъ интересныхъ историческихъ контрастовъ того времени. Грибоѣдовская комедія первая его отмѣтила и первая заставила о немъ подумать.

Для вѣрнаго художественнаго освѣщенія современности Грибоѣдовъ сдѣлалъ больше другихъ, но зато его комедія и взяла у него всю творческую силу—стоила ему многолѣтней работы и высказала все, что имѣлъ сказать художникъ о своемъ времени: по крайней мѣрѣ, въ томъ, что Грибоѣдовъ писалъ послѣ „Горе отъ ума“, въ его литературныхъ наброскахъ и планахъ, онъ отъ русской дѣйствительности сталъ удаляться.

Нельзя сказать, что къ этой современности близко подошелъ и Пушкинъ. Онъ—„Петръ Великій нашей литературы“, какъ его иногда называютъ — сблизилъ русское творчество съ Европой въ томъ смыслѣ, что единственный изъ русскихъ людей умѣлъ такъ сживаться съ міросозерцаніемъ и настроеніемъ нашихъ сосѣдей, что казался какимъ-то гражданиномъ вселенной—какъ всѣ истинно міровые геніи. Его творчество было цѣлой историко-литературной энциклопедіей, въ которой читатель имѣлъ передъ собой самые разнообразные поэтическіе міры, не реставрированные съ натяжкой, а живо и глубоко прочувствованные. Пушкинъ—классикъ и сентименталистъ, Пушкинъ романтикъ и почитатель Байрона и Вальтеръ-Скотта, Пушкинъ драматургъ съ пріемами Шекспира, всегда оставался оригинальнымъ и

самобытнымъ поэтомъ, который не подражалъ, а перевоплощался въ людей иныхъ вѣковъ, иного круга мнѣній, настроеній и мыслей. И при этой рѣдчайшей способности на все въ мірѣ откликаться, онъ всего рѣже откликался, какъ художникъ, на запросы современной ему русской жизни. Говоримъ „какъ художникъ", потому что онъ рѣзко разграничивалъ свою дѣятельность, какъ художника, отъ своей работы, какъ критика, историка и публициста. Трудно было найти въ нашемъ тогдашнемъ интеллигентномъ обществѣ человѣка, который имѣлъ бы такіе разносторонніе общественные интересы, какъ именно Пушкинъ и, съ другой стороны, не легко указать писателя, съ его широтой ума и глубиной чувства, который бы такъ ревниво оберегалъ свое творчество отъ вторженія въ его область именно этихъ интересовъ. Тому были свои психологическія и иныя причины, и здѣсь не мѣсто ихъ касаться, но самый фактъ остается фактомъ: Пушкинъ избѣгалъ современныхъ темъ, неохотно брался за изображеніе дѣйствительности, его окружавшей, и всегда предпочиталъ въ своемъ творчествѣ міру реальному либо міръ личной психики либо міръ историческихъ воспоминаній и легендъ, либо, наконецъ, міръ общихъ символовъ. И это дѣлалъ онъ, одинъ изъ самыхъ яркихъ реалистовъ въ искусствѣ.

Но Пушкинъ неоднократно старался побороть въ себѣ эту нелюбовь къ современному и до послѣднихъ годовъ своей жизни все носился съ мыслью объ истинно реальномъ, русскомъ соціальномъ романѣ. Въ его бумагахъ, какъ извѣстно, осталось много отрывковъ изъ такихъ недописанныхъ романовъ, часть которыхъ относится къ самому началу тридцатыхъ годовъ. Приглядываясь къ этимъ отрывкамъ, удивляешься тому, что они остались въ такомъ неоконченномъ видѣ: въ нихъ нѣтъ ни вялости, ни натяжекъ, ни длиннотъ, ничего такого, что указывало бы на неспособность художника справиться съ темой, или на вымученность его работы. Пушкинъ въ этихъ отрывкахъ все тотъ же геніальный Пушкинъ и

тѣмъ не менѣе работа его прервана въ самомъ началѣ. Очевидно, художнику измѣняла въ данномъ случаѣ не сила, а любовь.

Во всемъ, что Пушкину пришлось обнародовать до появленія произведеній Гоголя, современность была слабо представлена. Если не считать мелкихъ стихотвореній, въ которыхъ отражалась жизнь той минуты въ формѣ ли сатиры, либеральной пѣсни, картинки изъ сельскаго быта, или вообще жанроваго эскиза, если не считать такихъ мелочей, какъ, напр., „Домикъ въ Коломнѣ“ и „Графъ Нулинъ“ то придется указать только на „Евгенія Онѣгина“ и на „Повѣсти Бѣлкина“, какъ на попытки художественнаго воспроизведенія текущей минуты. И то, и другое произведеніе—не въ одинаковой, конечно, степени—были безспорной побѣдой истинной „народности“ въ литературѣ, и странно, что критика, которая такъ настойчиво требовала тогда отъ писателя народности, отнеслась къ этимъ двумъ произведеніямъ совсѣмъ не такъ, какъ они этого заслуживали.

Въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ заинтересовала ее всего больше личность самого героя, т.-е. наименѣе жизненное лицо, въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“ ея вниманіе было сосредоточено главнымъ образомъ на фабулѣ разсказовъ, а не на деталяхъ, которыя наиболѣе цѣнны. На самомъ дѣлѣ, однако, и „Онѣгинъ“ и „Повѣсти Бѣлкина“ были рѣшительной попыткой изобразить реально нашу жизнь въ болѣе или менѣе цѣльной и связной картинѣ. Въ „Онѣгинѣ“ эта цѣль была относительно достигнута, а повѣсти Бѣлкина остались незаконченнымъ сборникомъ анекдотовъ. Тѣмъ не менѣе, и въ томъ, и въ другомъ памятникѣ читатель имѣлъ передъ глазами окружающую его жизнь—жизнь тихихъ деревенскихъ уголковъ, съ ея затаенными думами и внѣшней простой обстановкой. Въ этой обстановкѣ жили и двигались люди довольные и мирные, не ставившіе жизни никакихъ особыхъ требованій, какъ, напр., всѣ добрые знакомые старушки Ларіной и всѣ члены ея семьи, за исключеніемъ задумчивой Татьяны;

въ эту жизнь вторгались иногда пресыщенные столичные эгоисты въ родѣ Евгенія, съ ней мирно уживались восторженные юноши въ родѣ Ленскаго, привозившіе въ Россію нѣмецкую мудрость, которая однако не шла въ прокъ ихъ собственному уму; проживалъ среди этой обстановки и добрѣйшій Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, литераторъ и филантропъ, распустившій бразды своего правленія, сентименталистъ, трогательно разсказывавшій сказки о томъ, какъ баринъ полюбилъ крестьянку и готовъ былъ на ней жениться, и какъ другой баринъ увезъ себѣ для потѣхи дѣвушку, которая потомъ сама стала важной барыней. Вырисовывая съ особой любовью эту помѣщичью жизнь въ усадьбахъ, Пушкинъ въ томъ же „Онѣгинѣ“ набрасывалъ сценки изъ жизни столичной, но набрасывалъ бѣгло, вмѣсто типовъ давая лишь силуэты. Итакъ, если въ „Онѣгинѣ“ и на нѣкоторыхъ страницахъ „Повѣстей Бѣлкина“ была правдиво воспроизведена наша дѣйствительность, то это воспроизведеніе освѣщало лишь очень незначительный уголокъ нашей жизни, и при томъ самый мирный, въ которомъ было всего меньше движенія внутри и на поверхности.

„Евгеній Онѣгинъ“ и „Повѣсти Бѣлкина“ были единственными произведеніями Пушкина, въ которыхъ онъ являлся какъ настоящій реалистъ-бытописатель передъ читающей публикой. Но это было далеко не все, что къ тридцатымъ годамъ въ этомъ направленіи онъ успѣлъ сдѣлать. Многое хранилось въ его портфелѣ и только послѣ его смерти увидало свѣтъ. Такое позднее появленіе нѣкоторыхъ изъ произведеній, Пушкина, написанныхъ съ удивительнымъ пониманіемъ дѣйствительности, не вознаграждало нашъ реализмъ въ искусствѣ за ту потерю, которую онъ понесъ отъ незнакомства съ этими опытами Пушкина въ свое время, когда онъ, этотъ реализмъ, боролся за свое существованіе.

Дѣйствительно, если бы въ началѣ тридцатыхъ годовъ читатель имѣлъ въ рукахъ „Исторію села Горохина“ [1830]— эту историческую картину современныхъ крестьянскихъ по-

рядковъ, эту сатирическую лѣтопись крестьянскаго быта, богатую столь вѣрными деталями; если бы онъ прочиталъ отрывокъ изъ романа „Рославлевъ“ [1831], въ которомъ Пушкинъ такъ удивительно просто разсказалъ исторію чисто русской души, получившей не русское образованіе и сохранившей, несмотря на все подражаніе иноземному, чисто русскую самобытность ума и сердца; если бы читатель могъ развернуть „Дубровскаго“ [1832] и присмотрѣться къ этой галлереѣ типовъ дворянъ и ихъ дворовыхъ или если бы онъ могъ пробѣжать „Отрывки изъ романа въ письмахъ“ [1831]—эту интимную переписку свѣтскихъ молодыхъ людей, переписку безъ всякой тѣни условнаго сентиментализма, гдѣ всего лишь штрихами, но необычайно вѣрно очерчена была столичная свѣтская жизнь; если бы весь этотъ матеріалъ былъ во-время напечатанъ, то наши художники реалисты того времени имѣли бы передъ глазами рядъ образцовъ истинно реальнаго творчества и ихъ собственное творчество, конечно, отъ этого только бы выиграло. Но все это оставалось подъ спудомъ, и Пушкинъ какъ бытописатель русской жизни, былъ извѣстенъ лишь какъ авторъ одной поэмы и одного сборника разсказовъ, мало оцѣненныхъ. Когда заходила рѣчь о „народности“ въ его поэзіи, то указывали главнымъ образомъ на его „Сказки“ и на его „Бориса“, понимая, это слово *„народность“* въ узкомъ смыслѣ.

Такимъ образомъ можно было пожалѣть о томъ, что вся поэтическая сила истинныхъ художниковъ уходила на изображеніе либо индивидуальнаго міра писателя, либо на выраженіе самыхъ общихъ мыслей и чувствъ, для которыхъ писатель подбиралъ къ тому же образы и обстановку совсѣмъ не русскую.

На это и жаловалась критика, когда говорила съ упрекомъ о нашихъ лучшихъ литературныхъ силахъ. Но она была недостаточно справедлива къ литературѣ вообще—къ работѣ тѣхъ второстепенныхъ писателей, въ творчествѣ ко-

торыхъ за эти годы все яснѣе и яснѣе стало проявляться стремленіе къ реализму и къ выбору самобытныхъ темъ изъ русской жизни, прошлой, и — что цѣннѣе — современной.

Дѣйствительно, этотъ недостатокъ современности въ творчествѣ нашихъ первыхъ литературныхъ силъ восполнялся кое-какъ трудолюбивой работой ихъ товарищей, менѣе сильныхъ, менѣе даровитыхъ, но зато болѣе зависящихъ отъ среды, которая ихъ окружала. Эту работу писателей второго ранга, а иногда и третьяго, нельзя упускать изъ виду. Какъ бы въ эстетическомъ отношеніи ни была несовершенна ихъ работа, она въ общей сложности представляла довольно значительное литературное богатство и свидѣтельствовала о развивающейся и торжествующей тенденціи сблизить современную жизнь съ искусствомъ. При этой работѣ медленно и постепенно крѣпли пріемы истинно реальнаго творчества, вырабатывалась извѣстная техника и—что въ особенности важно—при ней замѣтно расширялся кругозоръ художника, который пріучался включать въ сферу своего художественнаго наблюденія матеріалъ все болѣе и болѣе разнообразный. Вся эта, иной разъ кропотливая, работа наблюдателей-жанристовъ и бытописателей-моралистовъ уравнивала дорогу, по которой долженъ былъ пойти истинно-сильный талантъ, призванный дать настоящую художественную форму этимъ разрозненнымъ наблюденіямъ надъ жизнью.

Перечислять всѣ ранніе опыты нашихъ бытописателей нѣтъ никакой необходимости, такъ какъ весьма многіе изъ нихъ являются лишь разновидными варіацами одного общаго образца и почти совпадаютъ и въ планировкѣ разсказа, а также и въ обрисовкѣ основныхъ типовъ. Талантовъ болѣе или менѣе крупныхъ среди этихъ второстепенныхъ писателей было немного; если назвать Нарѣжнаго, Полевого и Марлинскаго, то къ этимъ именамъ, пожалуй, другихъ добавлять и не придется. Остальные были просто люди съ извѣстной литературной опытностью, которые, конечно, не могли

внести ничего своего въ искусство, но при случаѣ могли собрать довольно любопытный матеріалъ, что̀ они и сдѣлали.

Этотъ матеріалъ изъ жизни современной подбирался нашими писателями съ разными цѣлями, не всегда только художественными.

Всего чаще писатель имѣлъ въ виду поученіе или обличеніе, задолго упреждая ту обличительную тенденцію, которая такъ восторжествовала въ нашей литературѣ послѣ Гоголя. Писатель считалъ себя призваннымъ исправлять нравы, и ему очень улыбалась эта роль художника, карающаго порокъ и награждающаго добродѣтель. Онъ писалъ свои романы и повѣсти съ добрымъ намѣреніемъ, иногда потому, что по природѣ своей былъ человѣкомъ благожелательнымъ, а иногда просто въ силу традиціи сентиментальной, которая такъ тѣсно соединяла доброту и нравственность съ творчествомъ, каково бы оно ни было. Слѣдуя этому призыву творить добро, предаваясь „мечтамъ воображенія“, писатель, конечно, долженъ былъ озаботиться о томъ, чтобы его романъ или повѣсть хоть внѣшнимъ обликомъ не напоминали сухую проповѣдь, и потому онъ запутывалъ дѣйствіе разными вставными занимательными эпизодами. Такъ какъ почти всегда планъ такого разсказа получался не какъ результатъ художественнаго наблюденія надъ жизнью, а былъ составленъ авторомъ раньше, опредѣленъ какъ извѣстная нравственная сентенція, то писателю для выполненія своего плана, оставалось лишь пригонять факты жизни къ этой основной моральной тенденціи. Дѣйствіе развивалось, поэтому, несвободно, все прозведеніе представлялось сшитымъ изъ разныхъ лоскутковъ, и авторъ, вмѣсто того, чтобы творить, занимался сортировкой и группировкой на лету схваченныхъ наблюденій. Для облегченія своей работы мозаиста и классификатора писатель прибѣгалъ обыкновенно къ очень распространенному пріему: онъ заставлялъ главнаго героя своего разсказа—личность иногда менѣе интересную, чѣмъ всѣ второстепенныя лица, которыя ее окру-

жали—путешествовать или вообще передвигаться съ мѣста на мѣсто. Этотъ главный герой или героиня, которые не сами двигали дѣйствіе разсказа, а наоборотъ, этимъ дѣйствіемъ приводились въ движеніе—имѣли, такимъ образомъ, случай сталкиваться съ самымъ разнообразнымъ контингентомъ лицъ, попадали иногда нечаянно для себя, но съ умысломъ для автора, въ самыя различныя обстановки, и писатель получалъ возможность устами своихъ героевъ раздавать „нравственно-сатирическіе“ дипломы всѣмъ встрѣчнымъ и поперечнымъ. Такіе романы и носили названіе „нравственно-сатирическихъ“ или „нравоописательныхъ“, и романистъ не думалъ скрывать своей тенденціи, потому что былъ увѣренъ, что публика, въ тѣ годы столь сентиментальная, не только не осудитъ его за это подчеркиваніе морали, но, наоборотъ, только прельстится ею. Дѣйствительно, спросъ на эти нравственно-сатирическіе романы былъ большой, и всѣ вопли истинно талантливыхъ писателей противъ нихъ ни къ чему не приводили.

Истинные таланты были, конечно, правы въ своемъ негованіи на быстрый ростъ этой литературы, смахивавшей нѣсколько на ремесло, но историкъ долженъ быть болѣе разборчивъ въ своемъ осужденіи.

Если планъ этихъ романовъ и ихъ выполненіе были иной разъ антихудожественны, то отдѣльныя детали этихъ „картинъ нравовъ“ имѣли цѣну не только историческую, но въ извѣстномъ смыслѣ и литературную. Писатель иной разъ невольно становился жанристомъ, портретистомъ, фотографомъ и даже историкомъ. Само желаніе писателя говорить о „дѣйствительности“, стремленіе держаться реальныхъ фактовъ заставляло его мало-по-малу вырабатывать пріемы чисто реальнаго творчества, и случалось нерѣдко, что онъ забывалъ свою тенденцію, увлекаясь самымъ процессомъ описанія. И то, что̀ онъ описывалъ, во многихъ случаяхъ заслуживало описанія.

Изъ всей массы романовъ и повѣстей, написанныхъ съ

этой тенденціей, мы, конечно, отмѣтимъ лишь самое выдающееся — то, что имѣло въ читающей публикѣ наибольшее распространеніе.

Передавать содержаніе этихъ романовъ нѣтъ никакой возможности—такъ запутанъ бываетъ разсказъ и такъ много всевозможныхъ интригъ произвольно въ него вплетается. Писатель запутывалъ разсказъ умышленно, для того, чтобы морализирующая тенденція не выступала наружу слишкомъ явно; но кромѣ того онъ прибѣгалъ къ этой путаницѣ—почти всегда на любовной подкладкѣ—придерживаясь также старой традиціи,—что безъ любви романъ не романъ. Тотъ, кто въ этихъ романахъ ищетъ указаній на современную жизнь, картинъ тогдашнихъ нравовъ, можетъ смѣло обойти молчаніемъ всѣ любовныя завязки, въ которыхъ нѣтъ и намека на реализмъ, нѣтъ типовъ, а одни только положенія и притомъ самыя шаблонныя.

Длинная серія этихъ „нравоописательныхъ“ романовъ закончилась въ началѣ сороковыхъ годовъ „Мертвыми Душами“ Гоголя, этой послѣдней и самой блестящей попыткой нанизать жанровыя картинки изъ современной жизни на довольно произвольную нить „похожденій“ одного человѣка. Въ первой части своей поэмы Гоголь окончательно освободилъ „нравственно-сатирическій“ романъ отъ дидактики, а смерть помѣшала ему во второй части поэмы вновь вернуться на старую дорогу. Но еще задолго до Гоголя побѣда реализма надъ дидактикой была обезпечена.

Наиболѣе ясно дидактическая цѣль сказалась на первомъ нашемъ реальномъ романѣ, который вышелъ въ свѣтъ въ первый же годъ XIX вѣка. Это былъ нѣкогда популярный романъ совсѣмъ юнаго писателя А. Измайлова—„Евгеній“ *). Авторъ въ предисловіи самъ указывалъ на задачу, которую себѣ ставилъ: онъ хотѣлъ, чтобы люди задумались надъ вопросомъ о воспитаніи и потому весь романъ—жизнеописаніе

*) «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества». Повѣсть А. Е. Измайлова, 1800 г.

юноши Евгенія Негодяева—былъ довольно искусно скомпанованнымъ разсказомъ о разныхъ опасностяхъ, вообще грозящихъ молодому человѣку. Отъ этихъ опасностей Евгеній и погибъ на 24 году жизни, запутавшись въ сѣтяхъ разныхъ Развратиныхъ, Вѣтровыхъ, Подлянковыхъ, Лицемѣркиныхъ и иныхъ, на лбу которыхъ были прописаны всѣ ихъ пороки, и которые поэтому могли представить опасность лишь тогда, когда этого хотѣлъ самъ авторъ. И авторъ умышленно сталъ знакомить читателя со всевозможными темными личностями, заставлялъ его присматриваться ко всевозможнымъ сценамъ вымогательства, къ карточной фальшивой игрѣ, къ подстроеннымъ въ цѣляхъ ограбленія любовнымъ свиданіямъ, ко всякой грязи, которую изображать онъ былъ мастеръ. Но изображать эту грязь не значило еще быть реалистомъ. Передъ нами были все-таки не люди, а ходячіе пороки. Единственно, что въ романѣ было цѣннаго, такъ это вовсе не эти общіе силуэты по всей землѣ распространенныхъ пороковъ, а извѣстное, между строками проглядывающее, пониманіе дѣйствительности, которое обнаружилъ авторъ, угадавъ причину, вызывающую такое уродливое воспитаніе и ему способствующую. На эту причину авторъ указывалъ, когда говорилъ вообще о барскомъ строѣ жизни и мимоходомъ касался вопроса о крѣпостныхъ. Конечно, Измайловъ говорилъ все это не отъ себя—многіе писатели XVIII вѣка ему его слова подсказали—но важно то, что въ эпоху, очень неблагопріятную для всякихъ такихъ намековъ, онъ рѣшился заговорить объ этомъ.

„Знаете ли вы, безсмысленныя креатуры — говоритъ герой романа своимъ крестьянамъ — что жизнь ваша принадлежитъ не вамъ, а моему отцу, по смерти же его въ эритажъ мнѣ достанется?“ — „Не будетъ пахатника, не будетъ и бархатника“—ворчитъ сквозь зубы крестьянинъ въ отвѣтъ на одну изъ такихъ выходокъ своего промотавшагося барина, который готовъ распродать своихъ „тварей“ по одиночкѣ, имѣя отъ отца довѣренность продавать людей въ

случаѣ надобности. Много такихъ мелкихъ, но мѣткихъ чертъ у Измайлова; и жаль, что, вырабатывая въ себѣ проповѣдника, нашъ авторъ не разработалъ свой талантъ реалиста.

Неразработанной осталась эта сторона и въ писательскомъ талантѣ Карамзина, который хотя и опередилъ Измайлова, какъ авторъ слезливой „Бѣдной Лизы“, но выступилъ, однако, уже послѣ него въ роли бытописателя современной ему жизни. Среди всѣхъ повѣстей Карамзина, даже тѣхъ, которыми онъ наполнилъ свою „Исторію Государства Россійскаго“, „Рыцарь нашего времени“ [1802] выдѣляется своей силой и оригинальностью. Это всего лишь отрывокъ, за который, однако, можно отдать цѣлые законченные тома сочиненій нашего писателя,—такъ силенъ въ этомъ отрывкѣ ароматъ жизни, такъ непосредственно схвачена дѣйствительность писателемъ, который всегда изображалъ эту дѣйствительность не иначе, какъ передѣлавъ ее сообразно своему сентиментальному представленію о человѣкѣ и его призваніи въ жизни. „Рыцарь нашего времени“ — уголокъ цѣлой художественной картины, въ которой должна была быть изображена наша дворянская жизнь глухой усадьбы. И если Карамзинъ когда былъ историкомъ, то именно въ этомъ отрывкѣ. Безъ шаржировки, безъ сатирической карикатурности и безъ прописной морали, т.-е. безъ всѣхъ обычныхъ для того времени недостатковъ, развертывается передъ нами эта бытовая картина, въ которой изображены старые типы провинціальныхъ дворянъ, ихъ жизнь и затѣи, и разсказана такъ трогательно исторія сентиментальнаго воспитанія дворянскаго подростка.

Изъ всѣхъ дальнѣйшихъ попытокъ реальнаго романа, которому Измайловъ и Карамзинъ положили начало, наиболѣе характерныя принадлежатъ перу Нарѣжнаго и Булгарина.

Имя Нарѣжнаго въ свое время не пользовалось широкой извѣстностью, которую оно безспорно заслуживало. Даже

въ разгаръ споровъ о нашей „самобытности“ это имя упоминалось рѣдко, и только позднѣйшая критика признала въ Нарѣжномъ прямого предшественника Гоголя. Такое невнимательное отношеніе критики къ выдающемуся писателю крайне странно, тѣмъ болѣе, что этотъ писатель удовлетворялъ ходячему тогда вкусу публики къ такъ называемымъ „романамъ съ похожденіями“. Романы Нарѣжнаго, дѣйствительно, полны невѣроятныхъ происшествій, и реальное съ придуманнымъ смѣшано въ нихъ самымъ произвольнымъ образомъ. Той или другой своей стороной они должны были бы нравиться, а между тѣмъ, критика недостаточно внимательно отнеслась къ ихъ реализму, а читатели недостаточно оцѣнили ихъ занимательность. Бываютъ иногда такія несправедливости... ихъ должно исправлять потомство, и въ отношеніи Нарѣжнаго эта поправка теперь сдѣлана. Въ исторіи нашей литературы ему отведено почетное мѣсто, и его нравоописательные романы послѣ долгаго забвенія теперь оживились въ нашей памяти.

Разсматривая ихъ, какъ историческій памятникъ, мы убѣждаемся, что Нарѣжный обладалъ большимъ чутьемъ дѣйствительности и что ему удалось освѣтить въ своихъ романахъ такія стороны нашей жизни, которыхъ не касались его современники. Изъ общаго перечня повѣстей и романовъ Нарѣжнаго намъ для нашей цѣли необходимо остановиться лишь на пяти произведеніяхъ смѣшаннаго типа, въ которыхъ, однако, „нравоописаніе“ составляетъ главную цѣль автора. Это: „Аристіонъ“ [1822], „Бурсакъ“ [1824], „Два Ивана или страсть къ тяжбамъ“ [1825] и „Черный годъ или горскіе князья“ [1829] [написанный въ самомъ началѣ столѣтія] и въ особенности „Россійскій Жилблазъ“ [1814]. Романы эти, какъ уже сказано, не однородны—въ однихъ, какъ, напр., въ „Аристіонѣ“, преобладаетъ дидактизмъ, въ „Бурсакѣ“ большая примѣсь историческаго элемента, въ „Двухъ Иванахъ“ всего больше анекдотическаго, „Черный годъ“—соціальная сатира и, наконецъ, только „Жилбазъ“—

типичный „нравоописательный“ разсказъ. Содержаніе этихъ романовъ разсказывать нѣтъ нужды, тѣмъ болѣе, что оно такъ запутано, что и послѣ неоднократнаго чтенія удержать его въ памяти нѣтъ возможности. Чтобы оцѣнить значеніе этихъ бытовыхъ картинъ для искусства и жизни, достаточно указать лишь на тѣ общіе вопросы, которыхъ Нарѣжный въ нихъ коснулся. Одинъ бѣглый обзоръ ихъ покажетъ намъ, какъ близко этотъ человѣкъ присматривался къ нашей тогдашней жизни и какой шагъ впередъ сдѣлало въ его романахъ наше общественное самосознаніе.

Въ романѣ „Аристіонъ“ *), въ которомъ авторъ преподаетъ урокъ истиннаго воспитанія, онъ, при обрисовкѣ дворянскаго быта, постоянно наводитъ нашу мысль на соціальную аномалію своего времени и пользуется каждымъ случаемъ, чтобы обосновать свои разсужденія о системѣ воспитанія на этой первопричинѣ всякой дворянской разнузданности. Если ему не удаются типы, и сами портреты сбиваются на шаблонъ, то эти художественные недочеты не вредятъ тому историческому смыслу, который вѣрно уловленъ и высказанъ въ картинѣ. Картина въ цѣломъ веселая, какъ почти всѣ разсказы Нарѣжнаго, который любилъ кончать все къ общему благополучію; картина, кромѣ того, мѣстами очень игривая и полная юмора, которымъ природа щедро надѣлила нашего автора, и вмѣстѣ съ тѣмъ картина съ возмутительными деталями въ теньеровскомъ стилѣ. Передъ нами нищенское крестьянское хозяйство, исчисленіе всевозможныхъ поборовъ, которыми помѣщикъ облагаетъ крестьянъ, экзекуціи и мужиковъ, и дѣвокъ, грубыя игры помѣщичьихъ сынковъ съ крестьянскими мальчишками, уличныя сцены, гдѣ дѣйствующими лицами является толпа голодныхъ, полуодѣтыхъ оборванцевъ, однимъ словомъ, картины съ натуры, которыя тѣмъ рельефнѣе выступаютъ наружу, чѣмъ больше авторъ старается скрасить ихъ иными

*) «Аристіонъ или перевоспитаніе». Истинная повѣсть. 2 части. Спб. 1822.

примирительнаго разсказами, напр., о томъ, какъ благодарные поселяне цѣлуютъ полу платья у благодѣтельнаго помѣщика.

Когда Нарѣжный отъ этихъ бытовыхъ картинъ переходитъ къ картинамъ историческимъ, какъ, напр., въ романѣ „Бурсакъ“ *), онъ сохраняетъ тѣ же пріемы реальной обрисовки лицъ и событій, несмотря на вторженіе иногда чисто сказочныхъ эпизодовъ въ его романъ. Онъ произвольно мѣшаетъ вымыселъ съ дѣйствительностью, съ исторической правдой обходится довольно свободно, придумываетъ имена совсѣмъ не реальныя, пользуется широко всякими разбойничьими сказками, запутываетъ интригу до крайности, но искупаетъ все это живыми и юмористическими разсказами изъ жизни бурсы, казаковъ, запорожской сѣчи — сценками, которыя иногда какъ будто напоминаютъ манеру и письмо Гоголя. Онѣ впрочемъ не совсѣмъ гоголевскія, потому что народный колоритъ въ нихъ не всегда выдержанъ и, главное, не выдержана рѣчь, которая у Гоголя болѣе естественна. Нѣтъ у Нарѣжнаго и того историческаго чутья, которое было у Гоголя, хотя Нарѣжный зналъ прошлое Малороссіи безспорно лучше, чѣмъ кто-либо изъ тогдашнихъ писателей до Гоголя.

Всего больше малороссійскихъ бытовыхъ чертъ сохранено въ романѣ Нарѣжнаго „Два Ивана“ **), который считается прототипомъ извѣстнаго разсказа Гоголя „о томъ, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ“. Мысль о междоусобной затяжной войнѣ двухъ сосѣдей, на которой построенъ разсказъ, вытекла у Нарѣжнаго изъ вѣрно схваченной имъ основной черты нашей тогдашней жизни, — черты серьезной, несмотря на то, что она нерѣдко проявляла себя въ самыхъ комическихъ формахъ. Эта страсть къ тяжбамъ и одновременно къ самоуправству была, при условіяхъ тогдашней дворянской жизни,

*) «Бурсакъ». Малороссійская повѣсть. 4 части. Москва. 1824.

**) «Два Ивана или страсть къ тяжбамъ». 2 части. Москва. 1825.

некультурнымъ проявленіемъ самостоятельности въ поступкахъ и мнѣніяхъ, проявленіемъ энергіи, уродливо развитой царящимъ вокругъ произволомъ. И Нарѣжный, задолго до Гоголя и до Островскаго, уловилъ эту черту жизни не одной только Малороссіи, но и всей нашей дореформенной Россіи. Его романъ отнюдь не былъ „забавнымъ“ романомъ, несмотря на массу истинно комическихъ эпизодовъ, даже балаганныхъ сценъ, которыми авторъ испестрилъ свою повѣсть. По основной идеѣ это была сатира соціальная, въ которой писатель гнался за правдоподобностью, за вѣрными бытовыми красками, за оригинальностью въ языкѣ. И, дѣйствительно, помимо основной концепціи темы, читатель даже нашего времени найдетъ въ этомъ устарѣломъ романѣ много страницъ, изъ которыхъ жизнь еще не выдохлась. Сцены изъ быта простонародья, сцены на ярмаркѣ, сельскія картинки, описаніе хуторовъ, шинокъ съ его хозяевами и посѣтителями, городъ, гдѣ ведется тяжба, и цѣлый рядъ судейскихъ типовъ — все говоритъ о тонкой наблюдательности автора.

Стремясь всегда уловить въ окружающей жизни не только ея внѣшность, но и ея смыслъ, Нарѣжный задумалъ еще въ началѣ своей дѣятельности нарисовать огромную бытовую картину русскихъ нравовъ, цѣлую эпопею дворянской и интеллигентной жизни своего времени. Предпріятіе было смѣлое и Нарѣжный понималъ это: вотъ почему, быть можетъ, онъ и перенесъ дѣйствіе своего романа въ XVIII вѣкъ, какъ бы желая отвести глаза слишкомъ зоркаго читателя. Ему не удалось однако обмануть этого читателя: его романъ, „Россійскій Жилблазъ“ *), былъ все-таки запрещенъ цензурой, и послѣднія три его части въ печати не появились.

Изъ тѣхъ трехъ частей, которыя передъ нами, мы видимъ ясно, какъ широкъ и глубокъ былъ замыселъ нашего писателя. Можно утвердительно сказать, что даже послѣ

*) «Россійскій Жилблазъ или Похожденія князя Гаврилы Семеновича Чистякова». 6 частей. Спб. 1814 г. [Напечатаны всего лишь 3 части].

„Мертвыхъ Душъ“ „Россійскій Жилблазъ“ остался самымъ пространнымъ реальнымъ романомъ изъ нашей старой жизни. Конечно, слово „реальный“ надо и въ данномъ случаѣ — какъ всегда, когда говоришь о Нарѣжномъ — понимать съ большими ограниченіями. Сама завязка романа и всѣ побочныя интриги, входящія въ его составъ, опять—рядъ невозможныхъ и невѣроятныхъ хитросплетеній и неожиданностей, вставленныхъ, конечно, ради развлеченія требовательнаго въ этомъ смыслѣ читателя. Но дѣло не въ завязкѣ, а въ деталяхъ, и вотъ эти-то детали въ „Жилблазѣ“ и цѣнны. Изъ самаго бѣглаго обзора ихъ можно убѣдиться въ томъ, какъ серьезно отнесся писатель къ своей задачѣ и какъ онъ умѣлъ подчасъ схватить главное и существенное во всей пестротѣ современности.

Авторъ опять пользуется каждымъ случаемъ, чтобы сорвать свою злобу на любомъ господинѣ Головорѣзовѣ, который „на досугѣ гоняется за дворовыми дѣвками, сбираетъ слугъ и велитъ имъ бить другъ друга, а самъ не можетъ налюбоваться, видя кровь, текущую отъ зубовъ и носовъ, и волосы, летящіе клоками“. Сопровождая затѣмъ своего героя въ его долгихъ и запутанныхъ похожденіяхъ, авторъ всегда готовъ высказаться по самымъ существеннымъ вопросамъ нашей жизни. Его интересуетъ, напр., наше отношеніе къ иностранцамъ и къ нашей старинѣ. Нарѣжный держится очень трезвыхъ уравновѣшенныхъ взглядовъ на это двойное направленіе нашихъ симпатій, проявившихся въ тѣ годы съ достаточной рѣзкостью: онъ предаетъ остроумнѣйшему осмѣянію фанатиковъ-любителей старины, не понимающихъ сущности національнаго и замѣняющихъ эту сущность одной внѣшностью; онъ, съ другой стороны, травитъ иностранцевъ, которыхъ мы допускаемъ такъ охотно къ себѣ въ семьи и которымъ мы готовы простить даже ихъ глумленіе надъ нашей національностью. Не менѣе любопытныя страницы посвящаетъ Нарѣжный въ своемъ романѣ карикатурной характеристикѣ русскаго „метафизика“. По-

видимому,—довольно странная выходка со стороны интеллигентнаго человѣка, которому наши умственные недочеты тѣхъ годовъ были ясны. Если, однако, Нарѣжный рѣшился заговорить объ излишествѣ „метафизики“ въ русской головѣ, а не объ ея недостаткѣ, то эту сатирическую выходку, это глумленіе надъ разсужденіями о „душѣ, гдѣ она сидитъ, во лбу или на затылкѣ?“ этотъ разсказъ о томъ, какъ нашего метафизика свезли въ домъ умалишенныхъ—надо понимать не въ прямомъ смыслѣ. Нарѣжный въ своихъ романахъ далъ не мало доказательствъ тому, какъ высоко онъ цѣнилъ науку, и въ данномъ случаѣ онъ разумѣлъ не ее, а современный ему мистицизмъ, который, если еще не успѣлъ вполнѣ заволочь русскіе умы [„Жилблазъ“ написанъ въ 1814 г.], то все-таки достаточно тогда уже обнаружился. Трезвый умъ Нарѣжнаго предугадалъ опасность, но писатель не имѣлъ еще въ своемъ распоряженіи подходящаго слова, которымъ бы онъ могъ окрестить поднимавшійся тогда туманъ мысли и онъ набросился на „метафизику“, которой, какъ извѣстно, приходится часто расплачиваться не за свои грѣхи. А Нарѣжный—юмористъ и сатирикъ—любилъ во всемъ ясность и онъ доказалъ это въ томъ же романѣ необычайно для того времени смѣлой выходкой противъ масонства. Что въ своемъ беззастѣнчивомъ глумленіи надъ масонствомъ Нарѣжный былъ опять-таки неправъ, это едва ли нужно доказывать; писатель сдѣлалъ крупную историческую ошибку: онъ частный случай разврата въ массонскихъ ложахъ изобразилъ какъ характерное для массонства явленіе. Но описаніе этихъ массонскихъ оргій и этихъ церемоній, гдѣ дѣйствуютъ разные братья Козерогъ, Телецъ и Большой Песъ, „весь скотный дворъ земной, небесный и преисподній“, гдѣ чванится Полярный Гусь и гдѣ, въ концѣ концовъ, все мистическое сводится просто-на-просто къ скабрезному—читается все-таки не безъ интереса,—такъ много въ немъ смѣлой мысли.

А Нарѣжный былъ смѣлый писатель. Еще въ самомъ на-

чалѣ своей литературной дѣятельности, въ тѣ годы, когда онъ чиновникомъ служилъ на Кавказѣ, онъ сочинилъ длинный романъ изъ жизни какъ будто „горскихъ князей". Романъ этотъ „Черный Годъ" *) вышелъ уже послѣ смерти Нарѣжнаго, такъ какъ самъ авторъ не рѣшался его печатать,—и онъ имѣлъ на то свои основанія. Подъ невиннымъ заглавіемъ романа, дѣйствіе котораго происходитъ въ горахъ Кавказа и на берегу Каспійскаго моря, дѣйствующія лица котораго всѣ вымышленныя, и обстановка никакихъ мѣстныхъ красокъ не имѣетъ, нашъ авторъ создалъ любопытнѣйшій образецъ общественно-политической сатиры, единственный въ своемъ родѣ для того времени. Какъ чиновникъ, онъ имѣлъ случай присмотрѣться къ русскимъ порядкамъ на Кавказѣ въ годы, когда Грузія вошла въ составъ нашего государства. Всю перелицованную исторію этого управленія онъ и далъ въ своемъ романѣ. Въ настоящую минуту разгадать всѣ намеки и псевдонимы трудно, да и нѣтъ необходимости. Романъ Нарѣжнаго цѣненъ не этимъ историческимъ матеріаломъ, а общими драматическими и комическими положеніями, въ которыхъ авторъ съ такимъ юморомъ выразилъ соотношеніе между разными общественными силами и властями. Князь, его министры, верховный жрецъ и его клевреты, военачальникъ и народъ—вотъ тѣ соціальныя силы, надъ которыми авторъ изощрялъ свое остроуміе, наводя насъ, однако, ежеминутно на серьезныя мысли. Рѣчь шла, конечно, не о Грузіи только и не о тѣхъ русскихъ чиновникахъ, которые въ Грузіи хозяйничали, а вообще о властяхъ и о соціальныхъ группахъ въ ихъ трагикомическихъ столкновеніяхъ между собой. Властитель, одурманенный своимъ величіемъ, капризный и своевольный, привыкшій смотрѣть на свой народъ, какъ на толпу, украшающую площадь при его выѣздахъ; совѣтъ министровъ, который не можетъ дать ни одного пут-

*) «Черный Годъ или Горскіе Князья», 4 части. Москва, 1829 г.

наго совѣта, верховный жрецъ, корыстолюбивый, торгующій святыней и желающій присвоить себѣ руководящую роль въ государствѣ, дезорганизированное войско, для котораго война и грабежъ тожественны, наконецъ, и самый народъ, который при всякомъ случаѣ служитъ козломъ отпущенія— всѣ эти общіе собирательные типы и группы, которые авторъ ни на минуту не упускаетъ изъ виду—даже въ самый разгаръ разсказа о любовныхъ похожденіяхъ своего героя—достаточно поясняютъ серьезную мысль писателя и указываютъ на мишень, въ которую онъ мѣтилъ. Въ романѣ есть страницы очень смѣлыя. Ни въ одномъ изъ нашихъ старыхъ романовъ, даже самаго сатирическаго типа, не оттѣненъ, напр., такъ рельефно принципъ „дубины", который издавна имѣлъ такое широкое примѣненіе въ нашей жизни. Нарѣжный прозрачно намекаетъ на него въ нѣсколькихъ главахъ, въ которыхъ разсказываетъ, какъ горскій князь Кайтукъ 25-й, обладатель не малой части ущелій кавказскихъ, учредилъ особый орденъ нагайки, рыцарями котораго могли быть люди только извѣстнаго привилегированнаго положенія. Имъ только присвоенъ былъ этотъ знакъ, сдѣланный изъ кишекъ бараньихъ, длиною въ аршинъ съ кнутовищемъ изъ кедроваго дерева, на которомъ былъ княжескій вензель. За награжденіе этимъ знакомъ отличія полагалось, однако, взыскивать не малую сумму для пополненія государственнаго казначейства. Кавалерамъ этого ордена были предоставлены особыя преимущества, среди которыхъ одно изъ немаловажныхъ заключалось въ томъ, что кавалеръ могъ приколотить не кавалера безъ суда и расправы, „только бы удары надѣляемы были ничѣмъ другимъ, какъ орденскою нагайкою" *).

Если вспомнить, что эти строки были писаны въ эпоху розоваго оптимизма, въ годы обѣщаній александровскаго царствованія, приходится удивляться зоркости нашего автора.

*) «Черный Годъ», часть I, стр. 53, 83, 89.

Онъ умѣлъ отличать въ нашей жизни постоянное отъ наноснаго, существенное отъ случайнаго.

Въ этомъ смыслѣ Нарѣжный былъ явленіемъ рѣдкимъ, и среди нашихъ позднѣйшихъ реалистовъ николаевской эпохи мы не найдемъ достойнаго ему по смѣлости замѣстителя...

Впрочемъ, при оцѣнкѣ дѣятельности писателей николаевской эпохи, нужно всегда помнить, что условія ихъ работы были нѣсколько иныя, чѣмъ въ предшествующее царствованіе. Литература была взята подъ строгую опеку и писатель пріучался сознавать себя прежде всего цензоромъ своихъ произведеній, а потомъ уже ихъ авторомъ.

Изъ бытописателей-реалистовъ новаго царствованія всего болѣе былъ популяренъ въ читающей публикѣ Ѳ. В. Булгаринъ.

Онъ, какъ литераторъ, имѣлъ свои безспорныя заслуги и нелюбовь къ нему, какъ къ человѣку, не должна мѣшать правильной оцѣнкѣ его дѣятельности, какъ журналиста и писателя. Для своего круга читателей,—очень широкаго, замѣтимъ—Булгаринъ былъ во всякомъ случаѣ поставщикомъ занимательныхъ разсказовъ, въ которыхъ онъ обнаруживалъ и нѣкоторую писательскую сноровку и нѣкоторый запасъ свѣдѣній историческихъ и литературныхъ и, наконецъ, даже въ общемъ приличную сентиментальную мораль, правда, истертую, но въ общественномъ смыслѣ не вредную. Конечно, все это для круга самаго средняго, который такими разсказами и увлекался.

Для роста литературы въ широкомъ и серьезномъ смыслѣ этого слова—Булгаринъ, несмотря на его плодовитость, сдѣлалъ мало, и искать въ его романахъ истиннаго пониманія дѣйствительности или освѣщенія характерныхъ ея сторонъ—напрасно. Многое въ данномъ случаѣ зависѣло отъ темперамента самого писателя: Булгаринъ былъ по природѣ своей человѣкъ трусливый, который всегда боялся сказать не у мѣста что-нибудь лишнее. Настоящаго темперамента сати-

рика въ немъ не было, не много было и чисто литературнаго таланта. Всего вѣрнѣе будетъ, если мы его отчислимъ въ группу сентименталистовъ, проповѣдниковъ обыденной несложной морали, привыкшей имѣть дѣло съ самыми будничными добродѣтелями. Въ своихъ „картинахъ нравовъ" Булгаринъ поэтому всегда избѣгалъ касаться вопросовъ острыхъ и сложныхъ, почему всѣ его романы и повѣсти и носятъ такой общій характеръ; мѣстныхъ, народныхъ красокъ въ нихъ очень мало; бытовыя черты попадаются рѣдко, но все-таки въ общемъ всѣ эти романы обнаруживаютъ тенденцію къ реализму и въ этомъ ихъ главная литературная заслуга. Они прививали публикѣ вкусъ къ литературѣ, воспроизводящей современность, и хоть слабо, но всетаки сосредоточивали ея интересъ на дѣйствительности. Въ этой погонѣ за реализмомъ Булгарину случалось кромѣ того бросать иногда свѣтъ и на нѣкоторые уголки нашей жизни, совсѣмъ мало освѣщенные.

Въ 1829 году Булгаринъ соединилъ всѣ свои фельетоны, разсказы, очерки и сказки въ 12-ти томахъ своихъ „Сочиненій *). Въ это собраніе сочиненій не вошли его романы, которые къ этому году также могли бы составить 12 томовъ. Продуктивность, какъ видимъ, была большая, но количество шло всетаки въ ущербъ качеству. Въ этомъ сборникѣ мелкихъ статей передъ нами литературный матеріалъ довольно пестрый. Въ статьяхъ замѣтны двѣ главныхъ тенденціи—моральная и патріотическая. Недаромъ, намекая на успѣхъ своихъ сочиненій въ публикѣ, Булгаринъ говорилъ въ предисловіи, что всѣ добрые и просвѣщенные люди держатъ его сторону. Онъ очень гордился тѣмъ, что сѣялъ добрыя чувства, но если мы поближе присмотримся къ этимъ чувствамъ и мыслямъ, то намъ въ глаза бросится вся ихъ незатѣйливость. Шаблонна была и патріотическая тенденція его разсказовъ, которая сводилась исключительно къ просла-

*) «Сочиненія Ѳаддея Булгарина». С.-Пб. 1829 г. XII частей.

вленію силы и стойкости русскаго оружія и къ восхваленію преданности „славянъ“ своимъ государямъ. Торжество этихъ добродѣтелей Булгаринъ пояснялъ разсказами изъ славянской старины, конечно, вымышленной, изъ русской древней исторіи, а также картинками изъ жизни реальной, которыя онъ срисовывалъ съ событій, свидѣтелемъ которыхъ былъ самъ и съ лицъ, съ которыми встрѣчался во время своихъ походовъ съ Наполеономъ. Если отбросить заключительную мораль, пришитую почти всегда на живую нитку къ самой повѣсти, то въ этихъ воспоминаніяхъ найдутся живыя странички. Изъ значительно меньше въ повѣстяхъ чисто вымышленныхъ, сочиненныхъ въ доказательство какой-нибудь нравственной сентенціи. Такія сентенціи, не идущія дальше самыхъ банальныхъ истинъ, Булгаринъ разъяснялъ и восточными апологами, и фантастическими сказками, и жанровыми сценками. Всѣ они не выше общаго литературнаго ординара того времени и въ нихъ не затронутъ ни одинъ сколько-нибудь важный вопросъ нашей тогдашней жизни. Если автору и случается на такомъ вопросѣ мимоходомъ остановиться, какъ, напр., на вопросѣ крестьянскомъ, то изъ обличителя и нравописателя, какимъ онъ себя мнитъ, онъ становится сентименталистомъ самой чистой воды и рисуетъ блаженныя идилліи. Освѣщенію дѣйствительности онъ предпочитаетъ въ такихъ случаяхъ туманный ничего не говорящій очеркъ идеала. Наиболѣе удачны въ этихъ разсказахъ сатирическія выходки противъ литературной братіи, нравы которой Булгаринъ имѣлъ возможность изучить на себѣ самомъ и на своихъ ближайшихъ пріятеляхъ.

Такую же малую литературную цѣнность имѣлъ и его нѣкогда очень популярный романъ „Иванъ Выжигинъ“ *). Задуманъ онъ былъ очень широко, по плану ходячихъ тогда „романовъ съ похожденіями“. Авторъ перекатывалъ своего героя и всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа

*) «Иванъ Выжигинъ. Нравственно-сатирическій романъ». 4 части. С.-Пб. 1829 г.

по всему пространству нашей родины, отъ Польши до киргизскихъ степей, заставлялъ ихъ жить въ самыхъ разнообразныхъ общественныхъ условіяхъ, придумывалъ невѣроятныя случайности и все это затѣмъ, чтобы дать „благонамѣренную сатиру, процвѣтаніе которой въ Россіи издавна составляло заботу нашего мудраго правительства“. Такимъ образомъ, и въ этомъ романѣ авторъ остался вѣренъ своимъ излюбленнымъ тенденціямъ—сентиментально-дидактической, которая должна изображать жизнь „благонамѣренно“, не возбуждая сильныхъ страстей, и тенденціи патріотической, которая должна укрѣпить въ читателѣ довѣріе къ правительству, а потому и уменьшить остроту его недовольства дѣйствительностью. Авторъ, такимъ образомъ, самъ себя обезоруживалъ. Онъ хотѣлъ, пользуясь похожденіями совсѣмъ незначительнаго и неинтереснаго Ивана Выжигина, дать намъ по возможности полный списокъ пороковъ нашей русской жизни и онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ изображеніи этихъ пороковъ, отнюдь не желалъ прогнѣвить тѣхъ, кто, можетъ быть, былъ больше всего виноватъ въ ихъ процвѣтаніи. Поэтому, всѣ его сатирическіе образы—тѣни безъ плоти и крови, съ традиціонными, въ тридцатыхъ даже годахъ уже устарѣвшими, фамиліями Плутяговичей, Скотенко, Плезириныхъ, Вороватиныхъ, Ножовыхъ, Безпечиныхъ или для контраста—Виртутиныхъ и Законенко. Само собою разумѣется, что и вся жизнь этихъ лицъ—одна фантасмагорія, съ русской жизнью ничего общаго не имѣющая, а между тѣмъ, ею именно заняты почти всѣ страницы романа. Заключая свой длинный романъ, авторъ устами героя высказался въ самомъ примирительномъ духѣ и тѣмъ показалъ, какъ несвойственна была ему роль сатирика и обличителя, которую онъ разыгрывалъ.

„Испытавъ многое въ жизни—говорилъ онъ—бывъ слугою и господиномъ, подчиненнымъ и начальникомъ, лѣнивцемъ и дѣльцомъ, мотомъ и игрокомъ, испытавъ людей въ счастьи и несчастьи, я удалился отъ свѣта, но не погасилъ въ сердцѣ

моемъ любви къ человѣчеству. Я увѣрился, что люди больше слабы, нежели злы, и что на одного дурного человѣка, вѣрно, можно найти пятьдесятъ добрыхъ, которые оттого только непримѣтны въ толпѣ, что одинъ злой человѣкъ дѣлаетъ болѣе шуму въ свѣтѣ, нежели сто добрыхъ. Радуюсь, что я русскій, ибо, не взирая на наши странности и причуды, неразлучныя съ человѣчествомъ, какъ недуги тѣлесные, нѣтъ въ мірѣ народа смышленѣе, добрѣе, благодарнѣе нашего". Съ такимъ оптимизмомъ было, конечно, очень трудно выполнить роль Катона, на которую претендовалъ нашъ обличитель, и въ своемъ описаніи нравовъ онъ неизбѣжно долженъ былъ пройти мимо главнѣйшихъ „нравственныхъ" вопросовъ тогдашней жизни.

И все-таки въ четырехъ томахъ своего романа Булгарину иногда удавалось уловить ту или другую характерную черточку нашей дѣйствительности. Все это были картины довольно тусклыя, но, по крайней мѣрѣ, списанныя съ натуры. Бытъ бѣлорусскаго помѣщика, его отношенія къ крестьянину и къ еврею былъ очерченъ въ романѣ довольно живо, по личнымъ воспоминаніямъ самого автора. Наблюдательность и даже нѣкоторое остроуміе обнаружилъ онъ въ обрисовкѣ нравовъ нашей древней столицы и въ описаніи разныхъ старыхъ и новыхъ типовъ московской жизни; иногда онъ поднимался и выше этихъ простыхъ наблюденій, переходилъ къ обобщеніямъ, разсуждалъ на тему о солидарности всѣхъ сословій, которая должна быть установлена просвѣщеніемъ; при случаѣ, измѣняя даже своему миролюбивому настроенію, разсказывалъ о томъ, какъ помѣщицы стригли своихъ дѣвушекъ и продавали ихъ косы на сторону; подбиралъ мимоходомъ веселые анекдоты о помѣщичьей дури; прошелся однажды на счетъ дворянъ либераловъ, которые за вкуснымъ обѣдомъ или на вечерѣ, въ толпѣ молодыхъ людей, вопіяли о благѣ человѣчества и о законахъ, а дома у себя были самовластными пашами и угодили подъ судъ за свое обхожденіе съ крестьянами. Всѣхъ такихъ не-

благонамѣренныхъ людей авторъ готовъ былъ свезти въ усадьбу нѣкоего Александра Александровича Россіянинова, чтобы научить ихъ уму-разуму и заставить приглядѣться къ жизни истинно русскаго добродѣтельнаго дворянина—совсѣмъ какъ много лѣтъ спустя Гоголь возилъ своего Чичикова по разнымъ исправительнымъ усадьбамъ во второй части „Мертвыхъ Душъ“. Этотъ булгаринскій Россіянинovъ истинный цвѣтъ культуры. Усадьба его—земной рай. Крестьяне сыты, одѣты и довольны; къ тому же всѣ они нѣжны сердцемъ и богаты умомъ. Домики ихъ обложены рѣзными украшеніями, дворы всѣ загорожены высокими заборами; стоятъ эти дома одинъ отъ другого на нѣкоторомъ разстояніи изъ предосторожности отъ пожара, между ними садики съ плодовыми деревьями, позади овощные огороды, а за ними гумны... тамъ церковь, тамъ домики для общественной пользы, въ одномъ изъ нихъ госпиталь и аптека, въ другомъ богадѣльня для безродныхъ, въ третьемъ запасный сельскій магазинъ, въ четвертомъ сельское училище и словесный судъ. Крестьянскія лошади и скотъ отличной породы, упряжъ и земледѣльческія орудія въ исправности. „Вотъ какова можетъ и должна быть цѣлая Россія!“ восклицалъ любимецъ автора Миловидинъ при этомъ умилительномъ зрѣлищѣ. Еще больше умиленъ былъ тотъ же Миловидинъ, когда онъ вошелъ внутрь дома г-на Россіянинова и ознакомился съ его библіотекой, гдѣ вмѣстѣ съ русскими книгами въ огромныхъ шкафахъ стояли книги латинскія, греческія, французскія, нѣмецкія, англійскія и итальянскія, и рядомъ съ этими шкафами другіе — съ физическими инструментами, химическими аппаратами, моделями машинъ и собраніемъ минераловъ. „Здѣсь пахнетъ Европою!“ сказалъ въ восторгѣ обозрѣватель, и, наконецъ, сама Европа явилась передъ нимъ въ лицѣ двухъ гувернеровъ, живущихъ при дѣтяхъ Россіянинова. Это были мосье Энстрюи и геръ Гутманъ, которымъ можно было безъ опаски довѣрить воспитаніе русскаго юношества... Г-нъ Россіянинovъ

былъ вообще человѣкъ не только очень благожелательный, но и достаточно либеральный: въ его имѣніи всѣ молодые люди были грамотны, такъ какъ помѣщикъ былъ убѣжденъ, что безъ грамоты невозможно посѣять ни нравственности въ народѣ, ниже возбудить понятіе объ его обязанностяхъ въ отношеніи къ властямъ для собственнаго его же блага.

Было много людей, которымъ эта прѣсная идиллія Булгарина очень нравилась, но въ кружкахъ литературныхъ она была встрѣчена насмѣшкой. Въ ней видѣли произведеніе лубочное и рыночное — и въ смыслѣ художественномъ „Иванъ Выжигинъ“, пожалуй, иной оцѣнки и не заслуживалъ; но помимо кое-какихъ своихъ достоинствъ, этотъ романъ даже своими отрицательными сторонами оказалъ извѣстную услугу русскому реализму. „Выжигинъ“ вызвалъ не мало пародій. Въ этихъ пародіяхъ, въ которыхъ совсѣмъ уже незначительные писатели изощряли свое остроуміе надъ образомъ мыслей и надъ поведеніемъ плоскаго булгаринскаго героя, попадаются опять-таки страницы очень характерныя. Авторы разнообразятъ обстановку и, оставляя въ сторонѣ тѣ круги дворянскіе и чиновные, о которыхъ говорилъ Булгаринъ, и жизнь которыхъ онъ, какъ имъ казалось, исчерпалъ, сосредоточиваютъ свое вниманіе на болѣе низкихъ слояхъ общества, гдѣ и заставляютъ вращаться либо самого Выжигина, либо его родственниковъ, жену и дѣтей, либо какую-нибудь карикатуру, съ него списанную. Въ этомъ отношеніи характеренъ, напр., романъ Гурьянова „Новый Выжигинъ“, въ которомъ дано недурное описаніе макарьевской ярмарки *). Не малый интересъ представляютъ въ данномъ смыслѣ и извѣстные романы А. А. Орлова, надъ которыми въ свое время такъ потѣшались. Этотъ Орловъ былъ человѣкъ довольно любопытный. Литераторъ безъ таланта, но съ большой любовью къ писательству, онъ выпускалъ романъ за романомъ, въ которыхъ писалъ разные

*) *И. Гурьяновъ.* «Новый Выжигинъ на макарьевской ярмаркѣ». Москва. 1831 г.

пасквили на Выжигина и его семью, производя весь ихъ родъ отъ Ваньки Каина и иныхъ личностей сомнительнаго поведенія *). Сатира въ этихъ романахъ была очень слаба, но не дурно обрисованы были нѣкоторые типы мѣщанскіе и купеческіе, очевидно списанные съ натуры авторомъ, который, какъ видно изъ его автобіографіи, былъ съ жизнью этихъ слоевъ общества достаточно знакомъ съ дѣтства **).

Къ числу „нравоописательныхъ“ романовъ нужно отнести также и ту обширную хронику дворянской жизни, которая въ началѣ 30 годовъ вышла подъ заглавіемъ „Семейство Холмскихъ“ ***). Авторъ ея С. Бѣгичевъ былъ самъ родовитый дворянинъ и зналъ о чемъ писалъ. Ему пришла странная фантазія въ голову пристегнуть свой разсказъ къ комедіи „Горе отъ ума“. Такимъ образомъ въ его романѣ дѣйствуютъ наши старые знакомые. Но отъ этого интересъ разсказа нисколько не выигралъ. Значеніе этой длинной хроники опредѣляется опять не главными типами, которыхъ нѣтъ, а довольно вѣрно схваченными деталями помѣщичьей жизни. Историкъ нашего дворянства найдетъ въ немъ кое-какія любопытныя указанія. Авторъ не пощадилъ своего сословія, и хотя въ концѣ концовъ все разрѣшилось къ благополучію благомыслящихъ дворянъ, но много коренныхъ недостатковъ ихъ жизни пришлось разоблачить писателю. Отношенія къ крестьянамъ стоятъ и здѣсь на первомъ планѣ. Сцены мрачныя: авторъ не экономитъ красокъ, и всевозможные виды крестьянскихъ страданій, всевозможныя формы расправы съ крѣпостными попадаются во всѣхъ томахъ этой длинной хроники. Жизнь помѣщика въ усадьбѣ, лѣнивая и полная самодурства, жизнь въ столицахъ, распутная и безшабашная, протекающая въ

*) *А. Орловъ.* «Хлыновскіе степняки Игнатъ и Сидоръ или дѣти Ивана Выжигина». Москва. 1831 «Родословная Ивана Выжигина» сына «Ваньки Каина». Москва. 1831 г. «Смерть Ивана Выжигина». Москва. 1831 г.

**) *А. Орловъ.* «Моя жизнь или исповѣдь. Московскія происшествія». Москва. 1832 г.

***) «Семейство Холмскихъ, нѣкоторыя черты нравовъ и образа жизни, семейной и одинокой, русскихъ дворянъ». Москва. 1830 г. VI частей.

будуарахъ и въ игорныхъ домахъ, гдѣ всякіе Змѣйкины, Вампировы, Удушьевы и Шурке заняты вымогательствомъ дворянскихъ денежекъ; покинутыя въ усадьбахъ семьи, во главѣ которыхъ стоятъ беззащитныя и слабыя женщины, живущія подъ ежедневнымъ страхомъ конфискаціи имущества за долги; описаніе всевозможныхъ формъ жизни не по средствамъ, жизни праздной, приводящей человѣка то къ пустому поверхностному разочарованію, то къ маниловщинѣ, сентиментальной и попусту мечтательной, то, наконецъ, даже къ преступленію—всѣ эти довольно тщательно выписанныя детали одной общей картины не лишены интереса, въ особенности, если вспомнить, что они вышли изъ-подъ пера человѣка, который радъ былъ бы такія сцены и не вырисовывать. Въ общемъ авторъ обнаружилъ не мало свободомыслія и смѣлости, иной разъ даже злой иронiи по адресу аристократовъ. Заканчивая свою хронику, какъ и полагалось, благополучнымъ концомъ для всѣхъ добродѣтельныхъ представителей истинно-гуманнаго дворянства, авторъ съ грустью говорилъ, что онъ не успѣлъ выполнить всей своей задачи. „Мы почти не коснулись сословія знатнаго и богатаго дворянства, писалъ онъ. А какое обширное поле! Развратные, безнравственные, безпутные старики и негодныя старухи, вѣроломные супруги, безпечные родители, филантропки и раскольницы нашего времени, молящіяся по католическимъ книгамъ, и имѣющія аббатовъ отцами наставниками. молодые, полувыучившіеся люди, тоскующіе о философіи, метафизикѣ, статистикѣ, юриспруденціи, правахъ народовъ. Весьма бы любопытно было описать общества сихъ великихъ мудрецовъ, которые за стаканомъ шампанскаго съ трубкою въ зубахъ и съ очками на глазахъ, т.-е. со всѣми признаками глубокой учености, судятъ и рядятъ о своемъ отечествѣ, не видавъ его и ничего не зная о немъ. Какую обильную жатву представятъ писателю съ дарованіемъ характеры и домашняя жизнь интригановъ или пройдохъ—придворныхъ, министерскихъ, губернскихъ, уѣздныхъ

и даже деревенскихъ! Потомъ паразитовъ, или, употребляя старинное русское названіе, прихлебателей, начиная также съ придворныхъ, продолжая потомъ наблюденія свои въ чертогахъ вельможъ и знатнаго дворянства и оканчивая въ смиренномъ соломою крытомъ домикѣ небогатаго помѣщика. Купечество? Какое пространное поле! есть гдѣ разгуляться воображенію! есть надъ чѣмъ позабавиться!"

Перечисленные нравоописательные романы — лучшее, что создала тогдашняя литература въ этомъ родѣ. Если мы къ нимъ добавимъ романъ Симоновскаго „Русскій Жилблазъ" *) — то перечень ихъ будетъ почти что полный, такъ какъ остальные романы этого типа рѣшительно ничего характернаго въ себѣ не содержатъ.

Романъ Симоновскаго особыми достоинствами также не отличается и въ большей части своихъ главъ—простое повтореніе обычныхъ для того времени положеній, размышленій и разговоровъ. Та же мораль и тѣ же мрачныя картины крѣпостной жизни. Но попадается въ этомъ романѣ кое-что и новое, какъ, напр., довольно обстоятельно разсказанная исторія домашняго воспитанія и затѣмъ школьнаго обученія дворянскаго сынка—героя этой скучной исторіи. Она оживляется, когда автору приходится говорить о нравахъ губернской гимназіи, о гимназическомъ начальствѣ, берущемъ взятки и о бытѣ самихъ учениковъ, живущихъ по квартирамъ преподавателей. Мимоходомъ обрисованы и женскіе пансіоны. Все это описано наскоро и небрежно, но вѣрно и съ натуры.

Такая живопись съ натуры вообще единственное достоинство всѣхъ этихъ „картинокъ нравовъ", и настоящихъ большихъ полотенъ вродѣ только-что поименованныхъ, и другихъ, которыя изображали лишь одинъ какой-нибудь уголокъ русской жизни.

Такихъ романовъ съ менѣе широкой программой, но

*) *Г. Симоновскій.* „Русскій Жилблазъ, похожденіе Александра Сибирякова или школа жизни", 2 части. Москва 1832 г.

съ тѣмъ же стремленіемъ уловить бытовыя особенности нашей дѣйствительности въ тѣ годы было также не мало и иной разъ въ этихъ разсказахъ былъ собранъ довольно интересный этнографическій матеріалъ. Такъ, напр., малороссійская усадьба была живо обрисована въ романѣ Погорѣльскаго „Монастырка“ *), кое-какіе нравы южнаго губернскаго города въ разсказѣ Кулжинскаго „Ѳедюша Мотовильскій“ **). Особенной популярностью пользовался романъ Калашникова „Дочь купца Жолобова“ ***)—романъ разбойничій, но съ массою бытовыхъ чертъ изъ жизни сибирскаго купечества. Къ числу такихъ бытовыхъ романовъ можетъ быть отнесенъ и надѣлавшій въ свое время нѣкоторый шумъ романъ Ушакова „Киргизъ-Кайсакъ“ ****). Этотъ довольно живо и умѣло написанный разсказъ посвященъ разбору одного соціально-нравственнаго вопроса, который нерѣдко подымался и въ сентиментальной литературѣ, а именно, вопроса о столкновеніи незаконнорожденнаго человѣка, но одареннаго всѣми дарами духа, съ общественными предразсудками. Герой романа — свѣтскій блестящій кавалеръ, счастливый любовникъ, оказывается незаконнымъ сыномъ какой-то киргизки, купленной за 100 рублей. Быстрая агонія этого несчастнаго среди свѣтскаго общества, гдѣ онъ хорошо принятъ, крушеніе всѣхъ надеждъ любви, несмотря на то, что онъ усыновленъ какой-то княгиней, сцены свиданія со своей старухой матерью, и, наконецъ, смерть его на войнѣ даютъ автору возможность написать нѣсколько истинно драматическихъ страницъ, нарисовать съ настроеніемъ картинку киргизскихъ степей и ихъ быта, а главное, при случаѣ рѣзко подчеркнуть свою собственную либеральную тенденцію. Романъ, дѣйствительно,

*) *Антоній Погорѣльскій.* „Монастырка“. 2 части. Спб. 1830—1833.

**) *И. Кулжинскій.* „Ѳедюша Мотовильскій, украинскій романъ“. Москва 1833.

***) *И. Калашниковъ.* „Дочь купца Жолобова. Романъ, извлеченный изъ иркутскихъ преданій“. 4 части. Спб. 1832.

****) *В. Ушаковъ.* „Киргизъ-Кайсакъ“. Повѣсть. 2 части. Москва. 1830.

полонъ благородныхъ рѣчей и изъявленій симпатій по адресу простого народа. Среди романовъ съ серьезнымъ замысломъ, „Киргизъ-Кайсакъ“ занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

Совсѣмъ не серьезенъ и очень скученъ былъ романъ Греча „Поѣздка въ Германію“ *), но и его должно отмѣтить, такъ какъ это была попытка набросать новыя для того времени бытовыя сценки изъ жизни русскихъ въ Германіи и нѣмцевъ въ Россіи.

Не мало было также въ тѣ годы повѣстей и романовъ изъ военнаго быта, частью вымышленныхъ, а частью написанныхъ по воспоминаніямъ о великой отечественной войнѣ. Что интересъ писателя долженъ былъ остановиться на этой эпохѣ—это вполнѣ понятно, но ожидать отъ этихъ повѣстей истиннаго реальнаго воспроизведенія дѣйствительности было уже потому трудно, что самый сюжетъ наталкивалъ на преувеличеніе, на паѳосъ и на повышенный патріотизмъ. Такое преувеличеніе и составляетъ основной недостатокъ всѣхъ романовъ этого типа.

Лучшее, сочиненное на эту тему—были „Походныя записки русскаго офицера“ **)—дневникъ, который И. Лажечниковъ велъ во время своихъ походовъ въ 1812—1815 годахъ. Написанныя при свѣтѣ бивуачныхъ костровъ, на барабанахъ и нерѣдко на конѣ, при шумѣ идущаго войска, эти записки были не чужды паѳоса и излишняго сентиментализма, но они были правдивы. Лажечниковъ записывалъ изо дня въ день свои впечатлѣнія на грудахъ развалинъ русскихъ городовъ, на поляхъ и въ лѣсахъ, гдѣ валялись непогребенные остатки великой арміи, на полѣ битвы въ предѣлахъ Россіи и за границей, разсказывалъ о звѣрствахъ голодныхъ и замерзающихъ солдатъ, набрасывалъ силуэты полководцевъ, описывалъ все, что случалось видѣть въ иноземныхъ городахъ вплоть до Парижа, лилъ слезы надъ че-

*) *Н. Гречъ.* „Поѣздка въ Германію. Романъ въ письмахъ“. 2 части. Спб. 1831.

**) *И. Лажечниковъ.* „Походныя записки русскаго офицера“. Спб. 1820.

ловѣчествомъ и взывалъ къ чувствительнымъ сердцамъ, призывая ихъ ополчиться противъ людской вражды и злобы. Что очень характерно—авторъ оцѣнилъ и понялъ ту жертву, которую въ эти тяжелые годы принесъ русскій простой народъ; и, какъ бы благодаря его за этотъ подвигъ, Лажечниковъ не упускалъ случая напомнить объ его подневольномъ положеніи, почему въ свой военный разсказъ и вставлялъ часто эпизоды изъ крестьянской жизни и пускался даже въ политическія разсужденія.

Несмотря на ту дань, которую Лажечниковъ заплатилъ своему сентиментальному вѣку, его записки даютъ гораздо болѣе правильное понятіе объ эпохѣ двѣнадцатаго года, чѣмъ настоящіе романы, которые на эту тему написаны.

Изъ этихъ романовъ выдѣлялись тогда особенно два: „Рославлевъ“ Загоскина и „Петръ Ивановичъ Выжигинъ“ Булгарина. Романъ Загоскина написанъ болѣе умѣло, чѣмъ „Выжигинъ“, но ни тотъ, ни другой художественными достоинствами не блещутъ. На развитіи дѣйствія, равно какъ и на самихъ характерахъ отражается очень невыгодно слишкомъ яркая патріотическая тенденція писателей. Она превращаетъ разсказъ въ однообразную проповѣдь любви къ отечеству, проповѣдь, которую автору приходится во что бы то ни стало разнообразить вымысломъ—что̀ и влечетъ за собой вторженіе въ реальный романъ совершенно излишнихъ романтическихъ эпизодовъ. Въ „Рославлевѣ“ *) придуманнаго очень много; едва замѣтенъ „духъ времени“ и почти нѣтъ мѣстныхъ красокъ, хотя завязка — любовь русской дѣвицы къ плѣнному французу и ея страшная гибель—кажется, взята изъ дѣйствительной жизни. Все, что относится къ этой завязкѣ, написано въ старомъ сентиментальномъ стилѣ; и офицеры, русскіе и французы, равно какъ и дамы, стоящія между ними—не люди, а страсти и чувства временно облеченныя въ тѣлесную форму. Впрочемъ, какъ

*) *М. Загоскинъ.* „Рославлевъ или русскіе въ 1812 году“. 4 части. Москва 1831 г.

въ бытовыхъ романахъ, такъ и въ этомъ—суть не въ главной интригѣ, и не въ главныхъ лицахъ, а въ деталяхъ, и въ этомъ смыслѣ кое-что уловлено Загоскинымъ вѣрно. Не лишены, напр., интереса народные типы—солдаты и партизаны; авторъ умѣетъ даже при случаѣ говорить не совсѣмъ ломанымъ народнымъ языкомъ; ему ясна до извѣстной степени психологія массы, и эта масса у него не только издаетъ одобрительные или порицающіе возгласы, она разсуждаетъ и чувствуетъ, и вообще, кое-гдѣ въ романѣ вѣетъ атмосферой войны.

Этихъ достоинствъ совсѣмъ нѣтъ въ романѣ Булгарина „Петръ Ивановичъ Выжигинъ“ *). Сынъ Ивана Ивановича Выжигина, конечно, образецъ доблести и самаго яркаго патріотизма. Рядъ неожиданныхъ приключеній ставитъ на пробу его любовь къ отечеству, и онъ выходитъ изъ нихъ побѣдителемъ, чтобы успокоиться въ объятіяхъ своей Лизы, скромной дѣвушки, выросшей въ семьѣ людей „средняго состоянія“, а посему добродѣтельныхъ, о которыхъ авторъ говоритъ вообще съ большой нѣжностью, противопоставляя имъ наше высшее общество, столь мало патріотичное. Романъ въ общемъ неудачный и не имѣвшій у публики успѣха, но всетаки съ попыткой уловить типы и описать историческія событія, не нарушая правды.

Наиболѣе живой и вѣрный типъ русскаго военнаго былъ данъ впрочемъ не наблюдателями со стороны, а человѣкомъ, который самъ на своихъ плечахъ вынесъ всю тяготу походной жизни. Въ 1832 году вышло—безъ имени и псевдонима автора — первое собраніе повѣстей декабриста Александра Бестужева, и тогда уже очень популярнаго подъ именемъ Марлинскаго **). Авторъ этихъ повѣстей былъ человѣкъ съ большимъ талантомъ и для своего времени его дѣятельность

*) *Ѳ. Булгаринъ.* „Петръ Ивановичъ Выжигинъ. Нравоописательный историческій романъ XIX вѣка. 4 части. Спб. 1831 г.

**) «Русскіе повѣсти и разсказы». 4 части. Москва. 1832 [въ 1834 году добавлены еще 4 части].

была явленіемъ очень замѣтнымъ. Создатель особаго литературнаго стиля, нѣсколько вычурнаго, но сильнаго и эффектнаго, напоминавшаго во многомъ ранній стиль Гоголя, критикъ остроумный и образованный, Марлинскій былъ вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ талантливымъ изъ нашихъ историческихъ романистовъ. Его историческая повѣсть, всегда съ занимательной интригой, полная археологически-вѣрныхъ деталей и веденная въ быстромъ драматическомъ темпѣ имѣла свою оригинальную прелесть. Несмотря на то, что Марлинскій въ этихъ историческихъ повѣстяхъ подражалъ образцамъ западнымъ, онъ съумѣлъ сочетать удачно заимствованное съ народнымъ... Отъ историческихъ картинъ Марлинскій сталъ постепенно переходить къ описанію дѣйствительности, и повѣсти, написанныя имъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, были уже наполовину очерками бытовыми. Правда, въ этихъ повѣстяхъ наиболѣе любопытна была характеристика міросозерцанія и настроенія самого автора—человѣка во многихъ отношеніяхъ замѣчательнаго, но и помимо этого въ нихъ собрано было не мало бытовыхъ чертъ изъ жизни нашего свѣтскаго общества и преимущественно военнаго. Марлинскій изучилъ этотъ бытъ хорошо, въ особенности, когда судьба забросила его на Кавказъ, гдѣ онъ тянулъ въ продолженіе долгихъ лѣтъ солдатскую лямку.

Отчасти въ Якутскѣ, куда онъ былъ сначала сосланъ, отчасти на Кавказѣ были написаны эти разсказы, въ которыхъ, вспоминая свою вольную жизнь, нашъ авторъ рисовалъ портреты съ себя самого и своихъ знакомыхъ. Нерѣдко разсказывалъ онъ и о своей личной жизни на Кавказѣ, и никто не умѣлъ такъ вѣрно, какъ онъ, схватить дикую прелесть кавказской природы и такъ живо обрисовать типы горцевъ, мирныхъ и воинственныхъ. Его „Разсказъ офицера, бывшаго въ плѣну у горцевъ“ [1830], „Амалатъ Бекъ“ [1832] и позднѣе „Мулла Нуръ“ [1835], лучшее, что до Лермонтова было у насъ написано о Кавказѣ. Тонкій, полный юмора разсказъ изъ жизни нашихъ моряковъ за

границей далъ Марлинскій въ своемъ „Лейтенантѣ Бѣлозорѣ“ [1831], и, наконецъ, въ цѣломъ рядѣ мелкихъ очерковъ, даже самыхъ фантастическихъ, онъ умѣлъ сохранить правдивость чувствъ и вѣрную психологическую мотивировку въ поступкахъ своихъ героевъ. Марлинскій, при всей романтической необузданности своей фантазіи, былъ, безспорно, хорошій психологъ и въ дѣлѣ сближенія искусства съ жизнью онъ — романтикъ по преимуществу — сдѣлалъ больше, чѣмъ многіе реалисты, его менѣе талантливые современники.

Краткій перечень русскихъ реальныхъ романовъ былъ бы неполонъ, если бы мы обошли молчаніемъ одинъ сборникъ анекдотовъ и сатирическихъ очерковъ, который былъ очень оригинальнымъ явленіемъ тогдашней обличительной литературы. Это былъ „Новый живописецъ“ Полевого *) [1832]. Въ немъ были собраны летучія статейки на разныя темы, которыя Полевой печаталъ въ своемъ „Московскомъ Телеграфѣ“. Среди всѣхъ тогдашнихъ сатиръ и обличительныхъ картинокъ нравовъ „Живописцу“ по остроумію принадлежитъ первое мѣсто. Содержаніе его необычайно богато. Почти каждый памфлетъ — живая страничка изъ русской жизни, конечно, перелицованной. Та „народность“, которая ускользала отъ Полевого, когда онъ писалъ свои повѣсти и романы, въ этихъ карикатурахъ далась ему легко и непринужденно. Злая и мѣткая шутка надъ очень серьезными сторонами нашей жизни—вотъ главное достоинство этого наслѣдника новиковскаго „Живописца“. Полевой—романтикъ и сентименталистъ передъ нами въ новой очень удачной роли юмориста.

Достается всѣмъ. Дворянамъ Тугоумовымъ, Щелкоперовымъ и Тонкосвистовымъ за то, что они просвистали свои родовыя имѣнья, за то, что либеральничали, будучи въ сущности страшными эгоистами; что толкуя о правахъ человѣчества,

*) *Н. Полевой.* «Новый живописецъ общества и литературы». 6 частей. Москва. 1832.

истязали низшую братію; торговали собой, умѣли хвастаться лишь чужими заслугами, жить не своимъ умомъ и на чужой счетъ. Досталось и дамамъ за то, что, по ихъ мнѣнію, вся жизнь создана для забавы, за то, что онѣ мнятъ себя королевами, для которыхъ существуютъ однѣ лишь прерогативы и ни одной обязанности. Градъ насмѣшекъ сыпался на голову чиновниковъ, отъ мелкихъ до высокопоставленныхъ, и если эти насмѣшки были мало оригинальны, и авторъ въ нихъ казнилъ все старые грѣхи — все взяточничество да плутовство—онѣ были чрезвычайно остры и забавны. Среди этихъ остроумныхъ шутокъ находилась и маленькая драматическая сценка, озаглавленная „Ревизоры, или славны бубны за горами“ — комическій эпизодъ изъ чиновничьей жизни, напоминающій „Ревизора“ Гоголя. [То же ожиданіе ревизора, тѣ же страхи, совѣщанія, какъ отразить грозу, торжественный пріемъ ревизора и его женитьба на дочери Цапкина—судьи, „какихъ много“].

Одни изъ лучшихъ страницъ въ „Живописцѣ“ были посвящены безпощадному глумленію Полевого надъ своими собратіями — литераторами и журналистами. Подняты на смѣхъ нѣкоторые писатели подъ довольно прозрачными псевдонимами, даны очень удачныя пародіи разныхъ литературныхъ стилей, и осмѣяны всѣ литературныя партіи, и классики, и романтики, и искатели народности, осмѣяны тонко, безъ шаржа и грубостей. Но среди этихъ шутокъ есть и серьезныя мысли: такъ, напр., цѣлый обзоръ современной литературы втиснутъ въ маленькій діалогъ, озаглавленный „Разговоръ послѣ бесѣды съ литераторами“. „Можно ли утверждать, что у насъ есть литература?—спрашиваетъ нашъ памфлетистъ. Когда литература будетъ необходимою потребностью общества, когда она составитъ часть его бытія, тогда только она будетъ имѣть право на названіе голоса общества. Наше общество совсѣмъ не въ такомъ отношеніи къ литературѣ; книга для русскаго человѣка такая же вещь, какъ часы, игрушки дѣтскія, или такое же

занятіе, какъ гулянье подъ Новинскимъ... Смѣшно, однако, требовать литературы, когда мы едва грамотѣ знаемъ... Нельзя дивиться, замѣчая у насъ мелкость литературную, не видя примѣровъ высокаго самоотверженія и находя повсюду безцвѣтность, холодность, подражательность. Отъ этихъ ли пестрыхъ куколъ, отъ этихъ ли человѣковъ на восковыхъ ножкахъ ждать высокихъ, сильныхъ порывовъ души, глубокаго восторга, самобытныхъ созданій! У нихъ всѣ дѣтскіе пороки. Самохвальство, горделивость, невѣжество, мелочная зависть, сплетни, подражательность — все это найдется въ нашей литературѣ, и ни одной добродѣтели, даже ни одного порока взрослаго человѣка... Впрочемъ, зачѣмъ говорить такимъ языкомъ? Съ литературой русской надобно шутить и смѣяться, потому что на дѣтей сердиться грѣшно и смѣшно. Пусть критика ставитъ иногда русскихъ литераторовъ въ уголъ за шалости"—и нашъ, въ данномъ случаѣ пристрастный критикъ разставлялъ въ своемъ „Живописцѣ" по угламъ русскихъ литераторовъ, даже такихъ, которые вовсе этого не заслуживали. Но Полевой, конечно, иронизировалъ и шутилъ. Не могъ же онъ въ 1832 году не видѣть, что изъ дѣтской рубашки наша литература давно выросла.

Эта литература числила въ своихъ рядахъ, какъ мы видѣли, людей съ большимъ, даже огромнымъ дарованіемъ; ей на пользу шли, кромѣ того, труды цѣлаго ряда писателей менѣе даровитыхъ, но все-таки наблюдательныхъ. Если первоклассныя силы сдѣлали въ общемъ слишкомъ мало для освѣщенія текущей жизни и ея художественнаго истолкованія, если работа второстепенныхъ силъ оставляла многія стороны нашей дѣйствительности неосвѣщенными и если, такимъ образомъ, разнообразіе нашей тогдашней жизни не находило себѣ въ общемъ достаточнаго отраженія въ искусствѣ—то всетаки, къ началу тридцатыхъ годовъ, настоящая народность, т.-е. истинный реализмъ началъ проявляться въ литературѣ достаточно ясно.

Его мало оцѣнили. Къ тому же эти попытки самобыт-

наго творчества тонули и исчезали въ огромной массѣ переводныхъ памятниковъ и чисто подражательныхъ произведеній, либо совсѣмъ ничтожныхъ, либо такихъ, въ которыхъ народность проявилась въ своей условной формѣ, архаически-легендарной или исторической. Во всемъ этомъ огромномъ количествѣ литературныхъ памятниковъ самаго смѣшаннаго типа, въ этомъ, обычномъ для каждой переходной эпохи, скрещиваніи своего и иноземнаго, стараго и новаго, трудно было услѣдить за произведеніями, которыя не были настолько талантливы и ярки, чтобы бросаться въ глаза сразу своей оригинальностью. И потому всѣ попытки реальнаго воспроизведенія нашей тогдашней жизни въ искусствѣ, несмотря на все цѣнное, что въ нихъ заключалось — остались мало оцѣненными, но свое дѣло все-таки сдѣлали: они подготовляли общество къ достойной встрѣчѣ истиннаго таланта, въ созданіяхъ котораго ихъ тенденція настоящаго реализма и народности должна была восторжествовать окончательно... и такой талантъ не заставилъ себя ждать долго.

Въ гоголевскихъ типахъ и въ завязкахъ его повѣстей нерѣдко подмѣчаютъ извѣстное сходство съ тѣми положеніями и лицами, которыя до него съумѣли уловить Нарѣжный, Полевой, Булгаринъ, Бѣгичевъ и другіе. Проводить эти параллели нѣтъ особенной надобности, такъ какъ въ данномъ случаѣ со стороны Гоголя никакого прямого заимствованія не было. Онъ писалъ съ натуры такъ же, какъ и его предшественники, и потому совпаденія были неизбѣжны. Но если не было заимствованія, то зависимость все-таки существовала. Пріемы реальнаго воспроизведенія жизни и интересъ къ бытовымъ ея сторонамъ, тенденція изображать не одну лишь лицевую сторону дѣйствительности, а также ея изнанку, отсутствіе въ писателѣ отвращенія къ житейской пошлости и грязи, стремленіе эту грязь претворить въ художественный образъ—всѣ эти черты „натуральной“ школы, отцомъ которой считается Гоголь, существовали въ нашей литера-

турѣ задолго до появленія его разсказовъ, и ему въ данномъ случаѣ пролагать новыхъ путей не приходилось.

Должно отмѣтить также, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Гоголь даже отставалъ отъ скромныхъ своихъ предшественниковъ, не какъ художникъ, конечно. Было много очень острыхъ и важныхъ вопросовъ нашей общественной жизни, о которыхъ предшественники Гоголя имѣли смѣлость говорить рѣзко, хотя и не совсѣмъ складно, и мимо которыхъ—какъ мы увидимъ—Гоголь проходилъ съ опаской или молча.

Въ 1832 г., съ выходомъ въ свѣтъ „Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки", Гоголь сталъ литературной знаменитостью.

Но по этому первому оригинальному произведенію нашего художника трудно было догадаться, какое направленіе приметъ его творчество: начнетъ ли оно уходить въ даль народной старины, исторической и легендарной, или, наоборотъ, отъ этого поэтическаго прошлаго—которое тогда такъ любилъ Гоголь—приближаться къ настоящему.

IV.

Народная старина и народный бытъ въ памятникахъ словесности.—Повѣсти Погодина.—„Вечера на Хуторѣ“; смѣшеніе въ нихъ романтизма съ реализмомъ. — Отступленія отъ бытовой правды; фантастическое; идеализація. — Отзывы критики о „Вечерахъ“. — Автобіографическое значеніе этихъ повѣстей.

Среди различныхъ путей, какими писатель того времени шелъ на розыски истинной „народности“, былъ, какъ мы знаемъ, одинъ путь, повидимому, самый прямой и удобный. Народная жизнь въ ея далекомъ прошломъ, съ ея миѳами, преданіями и обрядами, съ ея историческими воспоминаніями, давала художнику сразу обильный матеріалъ для литературнаго сюжета и готовые образы для внѣшней его отдѣлки. Писатель могъ воспользоваться также и тѣмъ матеріаломъ, который онъ находилъ въ современной ему жизни простонародья, въ міросозерцаніи котораго были еще такъ живы традиціи и воспоминанія старины. Въ обоихъ случаяхъ онъ стоялъ у самаго источника „народности“, понятой, правда въ нѣсколько узкомъ смыслѣ, но, во всякомъ случаѣ, неподдѣльной. Эти богатства, таящіяся въ жизни народной массы, были къ тридцатымъ годамъ уже достаточно разработаны, и критика такую разработку очень поощряла. Но помимо критики на эту же сторону народной жизни обратила тогда свое вниманіе и наука, еще очень не совершенная, но, тѣмъ не менѣе, авторитетная въ глазахъ общества.

Изслѣдованіе народной старины, начавшееся еще въ XVIII вѣкѣ, подвигалось успѣшно и быстро. Если пріемы этого изслѣдованія были мало научны, то результаты его оказались все-таки плодотворны. Старина воскресала подъ перомъ историковъ, юристовъ, издателей старинныхъ памятниковъ, въ особенности собирателей народныхъ пѣсенъ, повѣрій и обрядовъ. Къ тридцатымъ годамъ запасъ такихъ археологическихъ, историческихъ и этнографическихъ матеріаловъ былъ достаточно обширенъ и богатъ, и писатель-художникъ могъ имъ легко воспользоваться. Пользовались имъ, какъ извѣстно, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь—Гоголь въ особенности; и такая разработка старины иной разъ обогощала нашу изящную словесность. Но, какъ уже было замѣчено, литература могла и пострадать отъ неумѣлаго стремленія писателя поддѣлаться подъ эту старину и отъ неизбѣжной въ такихъ случаяхъ фальсификаціи „народности". И, дѣйствительно, въ нашей словесности тѣхъ годовъ существовали всѣ эти три вида разработки народныхъ древностей — и простое, весьма цѣнное, собираніе самихъ памятниковъ старины, и художественная переработка ихъ и, наконецъ, поддѣлка подъ старое—въ большинствѣ случаевъ неудачная. Рѣдко, очень рѣдко удавалось художнику реставрировать старину настолько правдоподобно, что она казалась истинно народной и старинной. Пушкинъ въ своихъ „Сказкахъ" и въ своемъ „Борисѣ" подходилъ къ этому идеалу довольно близко, подходилъ и Жуковскій также въ своихъ „Сказкахъ"—но это были исключенія. Обыкновенно въ произведеніяхъ съ такимъ народнымъ и археологическимъ колоритомъ царило полное смѣшеніе стараго съ новымъ, русскаго съ иноземнымъ, и, въ лучшемъ смыслѣ, получалась та амальгама, та мозаичная работа съ подборомъ старинныхъ образовъ и романтически-сентиментальныхъ положеній, какая намъ дана, напр., въ сочиненіяхъ Катенина—тогда достаточно популярнаго писателя.

Не лучше, если не хуже, обстояло дѣло съ попытками

нашихъ писателей изображать не историческую, а современную имъ жизнь простонародья. Изъ краткаго обзора нашихъ повѣстей и романовъ того времени мы могли видѣть, что писатель не избѣгалъ этой темы и всегда охотно привлеталъ ее къ своему разсказу. Но онъ дѣлалъ это почти всегда съ цѣлью обличительной и потому въ картинахъ народнаго современнаго быта его вниманіе было сосредоточено, главнымъ образомъ, на одной сторонѣ этой жизни, именно на столкновеніи крестьянина съ помѣщикомъ. Пересказывая эту эпопею всевозможныхъ насилій, писатель иной разъ улавливалъ ту или другую бытовую черту въ жизни простонародья, но сама психологія народа, его міросозерцаніе и размахъ его фантазіи оставались не разъясненными. Если же писатель хотѣлъ, никого не обличая, расположить читателя въ пользу униженнаго и обездоленнаго, то онъ идеализировалъ крестьянина и писалъ съ него портретъ по старому сентиментальному шаблону; изъ сатирика онъ превращался въ идиллика. Лицевая сторона крестьянской жизни выступала тогда подмалеванная наружу, а все мрачное или даже сѣрое — пряталось. Никакой „народности“ въ этихъ идилліяхъ и буколикахъ, конечно, не было, была лишь невинная благомыслящая ложь. Для истиннаго пониманія народной жизни мрачныя страницы обличительныхъ и сатирическихъ романовъ давали, во всякомъ случаѣ, больше. Но если изъ этихъ романовъ читатель узналъ, какъ велико было горе народа, то онъ все-таки не зналъ, какъ этотъ народъ чувствуетъ и что онъ думаетъ. Для того, чтобы узнать это, необходимо было либо изучать народную жизнь на мѣстѣ,—что и стали дѣлать наши писатели, но только значительно позже, уже послѣ освобожденія крестьянъ, —либо попытаться проникнуть въ народную душу не путемъ прямого наблюденія надъ ней, а путемъ изученія тѣхъ старыхъ памятниковъ народнаго быта, которые, какъ мы сказали, къ тому времени были уже въ достаточномъ количествѣ собраны. При отсутствіи непосредственнаго знакомства съ народной

жизнью, такой окольный путь къ его разумѣнію былъ, конечно, наиболѣе удобный. Народный миѳъ все-таки элементарная форма народной философіи, равно какъ и народный обрядъ—хорошее отраженіе того круга чувствъ и понятій, которымъ живетъ народъ или жилъ долгое время.

До появленія повѣстей Гоголя, въ которыхъ эта трудная задача возсозданія народнаго быта по остаткамъ старины и по наблюденіямъ надъ жизнью дѣйствительной, была рѣшена относительно удачно—въ русской литературѣ, за исключеніемъ развѣ комедіи-фарса, было очень мало памятниковъ, которые, удовлетворяя хоть нѣсколько художественной правдѣ, сближали жизнь простонародья съ искусствомъ.

Ей—этой простонародной жизни—пришлось долго ждать настоящаго бытописателя, который освѣтилъ бы ее въ неподдѣльныхъ краскахъ одинаково съ ея печальной и радостной стороны. Въ тѣ юные годы нашей словесности, о которыхъ говоримъ мы, нельзя было и разсчитывать на такое широкое пониманіе и знаніе народнаго быта у нашего еще малоопытнаго художника. Но всетаки въ этомъ направленіи были и тогда уже сдѣланы первыя попытки и среди нихъ самой удачной или, вѣрнѣе, самой поэтичной, были „Вечера на Хуторѣ“. Въ русской литературѣ эти повѣсти Гоголя прямыхъ предшественниковъ не имѣли, хотя, конечно, ихъ фантастическій, историческій и внѣшній бытовой элементъ, порознь взятый, не былъ новинкой. Новизна заключалась лишь во внутреннемъ бытовомъ содержаніи этихъ разсказовъ, т.-е. въ попыткѣ изобразить народъ дѣйствующимъ, чувствующимъ и мыслящимъ. Какія бы натяжки въ этомъ изображеніи ни допустилъ Гоголь—онъ всетаки эту трудную задачу рѣшилъ удачнѣе своихъ современниковъ.

Изъ этихъ современниковъ работали тогда надъ той же задачей—Даль и Погодинъ. Но казакъ Луганскій [Даль] въ началѣ тридцатыхъ годовъ только выступалъ съ первыми

своими разсказами, растянутыми, блѣдными и вялыми, въ которыхъ къ тому же о простомъ народѣ пока говорилось мало *). Но и позднѣе, когда Даль сталъ перелицовывать старыя сказки и набрасывать народныя сценки, онъ не пошелъ дальше внѣшняго описанія народнаго быта или инкрустацій народныхъ оборотовъ рѣчи, пословицъ и поговорокъ въ довольно незначительные разсказы. Погодинъ въ данномъ случаѣ — литературная сила несравненно болѣе замѣтная.

Въ 1832 году Погодинъ издалъ полное собраніе своихъ повѣстей **), къ которымъ онъ—тогда уже извѣстный ученый и профессоръ—былъ очень неравнодушенъ. Содержаніе сборника было довольно пестрое. Сюда вошли повѣсти, имѣющія чисто автобіографическое значеніе, писанныя Погодинымъ на зарѣ его юности, въ моменты сердечныхъ увлеченій, а потому—восторженно сентиментальныя, съ примѣсью нѣмецкой мечтательности, столь обычной въ московскомъ университетскомъ кружкѣ двадцатыхъ годовъ. Но уже въ этихъ сентиментальныхъ повѣстяхъ Погодинъ обнаружилъ талантъ наблюдателя и хорошаго психолога. Въ другихъ разсказахъ—гдѣ лиризма было меньше—этотъ даръ давалъ себя еще больше чувствовать, несмотря на романтическую канву повѣсти. Изъ числа нашихъ раннихъ реалистовъ—а Погодина должно зачислить въ ихъ группу—нашъ ученый повѣствователь былъ однимъ изъ первыхъ, который попытался въ „картину нравовъ“ включить описаніе быта низшихъ слоевъ нашего общества. Онъ сдѣлалъ больше: онъ не только описывалъ, но изображалъ этихъ намъ тогда малознакомыхъ людей, изображалъ ихъ чувствующими и думающими, а также разговаривающими и притомъ довольно естественной рѣчью. Содержаніе повѣстей оставалось въ

*) „Были и небылицы казака Владиміра Луганскаго“. Книжка первая Спб. 1833.

**) „Повѣсти Михаила Погодина“. 3 части. Москва. 1832.

большинствѣ случаевъ романтическимъ, но въ выполненіи простушалъ наружу довольно откровенный реализмъ.

Галлерея типовъ, набросанныхъ Погодинымъ, довольно характерна: избитыхъ типовъ нѣтъ, и нашъ авторъ беретъ свои образы изъ малообслѣдованныхъ общественныхъ круговъ—изъ круга купеческаго, мѣщанскаго и, наконецъ, крестьянскаго; иногда онъ знакомитъ насъ и съ той сѣрой массой, которая вербуется изъ самыхъ различныхъ слоевъ и составляетъ въ обществѣ такъ называемые „поддонки“.

Нельзя было, конечно, ожидать, что Погодинъ вполнѣ удачно справится съ такой новой и трудной задачей. Но всѣ недостатки литературной условности въ его повѣстяхъ искупаются обиліемъ вѣрно подмѣченныхъ и схваченныхъ бытовыхъ чертъ, а въ иныхъ случаяхъ и серьезностью основной идеи. Авторъ иллюстрируетъ иногда свою тему народными повѣріями, пѣснями и обрядами, какъ, напр., въ трогательномъ разсказѣ о любви бѣднаго приказчика, забитаго и скромнаго Ивана Гостинцева къ дочери богатаго купца Чужого—этой сентиментальной повѣсти, очень напоминающей излюбленныя драматическія положенія Островскаго [„Суженый“]. Авторъ вводитъ насъ также въ кругъ мелкопомѣстной провинціальной жизни, подробно описываетъ ее и съ большимъ юморомъ разсказываетъ намъ о столь обычномъ, трагикомическомъ положеніи подросшей дѣвицы, сидящей въ ожиданіи жениха, который во образѣ настоящаго Хлестакова и спѣшитъ ее утѣшить [„Невѣста на ярмаркѣ“]. Особенно много красокъ и драматизма въ повѣсти „Черная немочь“—одной изъ самыхъ идейныхъ въ сборникѣ Погодина. Это печальная исторія о томъ, какъ одинъ купеческій сынъ восчувствовалъ тяготѣніе къ знанію и наукѣ и какъ онъ тщетно рвался изъ своей среды на волю. Типъ купца-старика, который думаетъ, что женитьба исцѣлитъ его сына отъ „дури“, отъ этой „немочи“, отъ жажды знанія и стремленія къ какой-то философіи; старушка мать—безгласная передъ отцомъ, безумно любящая сына и

ищущая опоры и утѣшенія у священника и матушки; сваха, достаточно циничная, раболѣпная и хитрая, которая устраиваетъ смотрины; чучело-невѣста и рядомъ съ нею этотъ задумчивый, неизвѣстно какъ въ этотъ кругъ попавшій молодой человѣкъ, „изъ котораго могъ бы выйти Гердеръ или Ломоносовъ“; наконецъ, смерть этого несчастнаго, его самоубійство — всѣ эти типы и положенія — первый лучъ, который заронилъ въ наше темное царство наблюдательный писатель. Погодинъ попытался освѣтить и другой темный уголокъ нашей жизни. Въ повѣсти „Счастье въ несчастьи“ онъ описалъ вертепъ нищихъ, воровъ и мошенниковъ, описалъ не ради обличенія или дешевой проповѣди, какъ дѣлало большинство его современниковъ, а ради возбужденія въ насъ чувства состраданія къ несчастнымъ, которые всетаки люди съ неугасшей Божьей искрой въ ихъ темномъ сердцѣ. Коснулся Погодинъ также и жизни крестьянской. И въ этой попыткѣ изобразить народный бытъ, уловить міросозерцаніе народа и раскрыть его психику, нашъ авторъ, конечно, не избѣгъ сентиментальныхъ и романтическихъ условностей, но этотъ романтизмъ въ сюжетахъ искупался реализмомъ въ обрисовкѣ психическихъ движеній. Нѣкоторыя положенія очень трогательны. Такова, напр., идилія изъ малороссійской жизни—разсказъ о томъ, какъ Петрусь любилъ несчастную Наталку, которую отецъ не хотѣлъ выдать за бѣдняка и выдалъ за богатаго; какъ бѣдный Петрусь ушелъ копить деньгу; какъ возвратился и засталъ свою невѣсту замужемъ за другимъ, засталъ больную и разоренную; какъ онъ отдалъ имъ всѣ свои накопленныя деньги. [„Петрусь“].

Полна драматическаго движенія и разбойничья сказка, въ которой мимоходомъ оттѣнены благородные порывы крестьянскаго сердца. Есть въ сборникѣ также жизнеописаніе одного нищаго—повѣсть съ опредѣленнымъ соціальнымъ смысломъ. Авторъ разсказываетъ, какъ помѣщикъ укралъ у своего крѣпостного его невѣсту, какъ его—мир-

наго крестьянина—онъ этимъ насильемъ чуть-чуть не подбилъ на убійство, какъ за покушеніе на жизнь помѣщика его отдали въ солдаты, какъ онъ страдалъ и терпѣлъ и какъ, наконецъ, на старости пошелъ просить милостыню. [Нищій].

Изложеніе содержанія всѣхъ этихъ повѣстей не даетъ, конечно, понятія объ ихъ литературной стоимости и, если, ознакомившись съ ними, читатель поставитъ автору въ вину смѣшеніе романтизма и сентиментализма въ замыслѣ съ реальной обрисовкой быта и психическихъ движеній, то этотъ недостатокъ не умаляетъ значенія повѣстей Погодина въ исторіи развитія нашей реальной повѣсти. Этотъ обычный для того времени недостатокъ дѣлитъ съ Погодинымъ и Гоголь.

Въ „Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки“ смѣшеніе реальнаго элемента съ романтическимъ составляетъ, дѣйствительно, отличительную черту всего замысла художника. Впрочемъ, былъ ли у Гоголя замыселъ, когда онъ сочинялъ эти повѣсти? Мы знаемъ, какъ случайно онѣ возникли: авторъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ ихъ художественномъ значеніи, онъ писалъ ихъ отчасти скуки ради, отчасти имѣя въ виду матеріальную выгоду, а главное писалъ ихъ потому, что часто вспоминалъ о своей Малороссіи и находилъ отраду въ этихъ воспоминаніяхъ. Быть можетъ, эти разсказы и вышли такъ непринужденно естественны и такъ разнообразны потому, что авторъ при ихъ созданіи не преслѣдовалъ никакой опредѣленной цѣли, ни назидательной, ни литературной. Смѣшеніе же романтическихъ образовъ съ чисто бытовыми картинами произошло также невольно и неумышленно. Въ Гоголѣ мечтательный лиризмъ всегда боролся съ зоркостью наблюдателя-жанриста и по этому первому, самостоятельному и относительно зрѣлому произведенію никакъ нельзя было рѣшить, куда клонятся симпатіи автора—къ реальному ли изображенію жизни или къ символизаціи ея въ романтическихъ образахъ. И то, и другое въ „Вечерахъ“ смѣшано и слито.

Передъ нами рядъ легендъ самаго опредѣленнаго фантастическаго характера, съ совсѣмъ воздушными образами вмѣсто живыхъ людей и съ большой примѣсью суевѣрія. Рядомъ съ этими легендами—много жанровыхъ картинъ, съ реальными аксессуарами, съ относительно естественной композиціей и даже одинъ разсказъ о Шпонькѣ и его тетушкѣ, выдержанный весь, безъ малѣйшаго отклоненія, въ стилѣ строжайшаго реализма. Такое совмѣщеніе въ душѣ художника двухъ противоположныхъ пріемовъ и направленій творчества тѣмъ болѣе оригинально, что почти всегда эти направленія смѣшиваются или идутъ параллельно въ одномъ и томъ же разсказѣ. Такъ уже въ „Сорочинской ярмаркѣ“ въ реальную жизнь начинаетъ вторгаться легенда. Въ разсказъ объ „Ивановой ночи“, полный ужаса и романтическихъ страстей, вставлены живые, съ натуры списанные, портреты. Въ „Майской ночи“ сельская идиллія, веселая и живая, сплетена даже неестественно съ печальной легендой. Въ фантастическое сказаніе о „Страшной мести“ введенъ цѣлый рядъ эпизодовъ изъ казацкой жизни, нарисованныхъ необычайно правдиво и реально. Въ „Ночи передъ Рождествомъ“ фантастика совсѣмъ переплелась съ дѣйствительностью какъ и въ „Пропавшей грамотѣ“ и въ „Заколдованномъ мѣстѣ“. Въ одной только „повѣсти о Шпонькѣ“—какъ мы замѣтили—реализмъ въ искусствѣ проявился безъ всякой примѣси грезы или мечты, и авторъ далъ намъ первый примѣръ истинно художественной юмористической повѣсти. Во всѣхъ остальныхъ разсказахъ онъ одновременно и юмористъ-бытописатель, и сентиментальный романтикъ.

„Вечера на Хуторѣ“ стояли, такимъ образомъ, на распутьи двухъ литературныхъ теченій, стараго—романтическаго и новаго—реальнаго, и скорѣе принадлежали прошлому, чѣмъ открывали дорогу новому.

Романтика въ нихъ преобладала. Она проявлялась прежде всего въ обиліи фантастическаго элемента, которымъ большинство этихъ повѣстей было насквозь пропитано. Эта

фантастика была тогда очень распространена въ нашей словесности. Богатѣйшій родникъ ея имѣли мы въ нашихъ собственныхъ народныхъ преданіяхъ и сказкахъ; кромѣ того, многое перенесено было къ намъ съ Запада. Изъ дебрей преимущественно нѣмецкаго романтизма перелетали на русскую землю вѣдьмы, лѣшіе, оборотни и всякая нечисть. Повѣсти Тика, напр., читались охотно, и самъ Гоголь заимствовалъ у него завязку своего „Вечера наканунѣ Ивана Купалы“. Чудесное приходило къ намъ и съ Востока, съ горъ Кавказа. Правда, повѣсти Гоголя вносили нѣчто свое въ эту чертовщину, а именно, тотъ же малороссійскій юморъ, который по репликамъ вѣдьмъ и чертей заставлялъ всѣхъ догадываться, что они проживаютъ не въ ущельяхъ финскихъ горъ, не въ дремучихъ лѣсахъ Муромскихъ, а на Лысой горѣ подъ Кіевомъ. Но это этнографическое отличіе ничуть не мѣняло ихъ роли и ихъ участія въ людской жизни.

Читатель, еще задолго до этихъ „Вечеровъ“, любилъ, какъ мы въ нашемъ дѣтствѣ, чтобы съ героемъ повѣсти случалось непремѣнно что-нибудь необыкновенное, чтобы въ жизнь его вмѣшивались свѣтлые и темные духи—именно потому, что въ большинствѣ случаевъ русскій читатель тогда былъ еще ребенокъ.

Повѣсти Гоголя въ этомъ смыслѣ вполнѣ отвѣчали господствующему вкусу. Но это чудесное, подсказанное народными легендами, интересовало Гоголя не только какъ извѣстный рычагъ дѣйствія: оно совпадало съ одной очень серьезной стороной его собственнаго міросозерцанія. Зародыши суевѣрія и наивной вѣры съ дѣтства таились въ Гоголѣ; съ годами они окрѣпли. Эти малороссійскіе черти и вѣдьмы превратились современемъ въ настоящаго чорта, въ существованіе котораго Гоголь вѣрилъ и отъ котораго предостерегалъ Аксакова; старые народные мрачные духи, подъ вліяніемъ религіи, отожествились тогда въ его пониманіи съ

принципомъ зла и, конечно, о комическомъ ихъ вторженіи въ жизнь человѣка не могло быть и рѣчи.

Но помимо этой существенной роли, какую чудесное играло въ міросозерцаніи нашего автора, міръ призраковъ удовлетворялъ во дни его юности и другой потребности его духа, именно — жаждѣ свободы. Выворотить человѣческую жизнь на изнанку, поставивъ въ ней все вверхъ дномъ, сдѣлать ее рядомъ неожиданностей, пока въ большинствѣ случаевъ очень пріятныхъ для человѣка, значило тогда для скромнаго и нуждающагося мелкаго чиновника — испытать хоть въ мечтахъ свободный размахъ своей энергіи и воли, которая такъ была стѣснена въ жизни. Очень часто, когда обстоятельства слагаются не весело, охотно мечтаешь о томъ, какъ бы хорошо было, если бы они вдругъ по щучьему велѣнію, какъ говорятъ, перемѣнились. Такъ могло быть и съ Гоголемъ.

Таившееся въ немъ суевѣріе и страхъ передъ зломъ въ мірѣ нашло себѣ выраженіе въ такихъ повѣстяхъ какъ „Вечеръ наканунѣ Ивана Купалы“ и „Страшная месть“, а невинная мечта о благосклонномъ вмѣшательствѣ этихъ силъ въ жизнь человѣка отразилась на „Майской ночи“ и въ особенности на „Ночи передъ Рождествомъ“.

Но помимо чудеснаго, которое придаетъ этимъ повѣстямъ такой романтическій характеръ, само изображеніе малороссійскаго быта грѣшило нерѣдко излишней красотой. Конечно, сравнительно со всѣми прежними опытами въ этомъ родѣ „Вечера на Хуторѣ“ могутъ быть названы первой правдивой картиной южно-русскаго быта, написанной безъ явной тенденціи дидактической или сентиментальной. Но это отсутствіе тенденціи и даже обиліе вѣрно схваченныхъ и правдиво изображенныхъ типовъ не спасаютъ „Вечера на Хуторѣ“ отъ упрека въ идеализаціи и въ не совсѣмъ правдоподобной компановкѣ разсказа. Одно время критика очень придирчиво высчитывала разныя ошибки, которыя Гоголь допустилъ въ обрисовкѣ малорусскаго народнаго характера и въ описаніи

различныхъ народныхъ обрядовъ *); она оказалась, однако, неправой: почти все, что Гоголь говорилъ о малорусской жизни, было фактически вѣрно; онъ ничего не измыслилъ и не исказилъ; но вопросъ не въ этомъ—вѣрно ли онъ срисовалъ детали. Онѣ могли быть всѣ списаны съ натуры или взяты изъ народныхъ пѣсенъ. Если Гоголь въ чемъ погрѣшилъ противъ правды, такъ это въ компановкѣ этихъ деталей и въ привычкѣ слишкомъ оттѣнять красивую и яркую сторону изображаемой имъ жизни.

Въ компановкѣ повѣстей допущены, дѣйствительно, нѣкоторыя странности, съ реализмомъ не вполнѣ согласныя. Могла ли свадьба устроиться такъ быстро, какъ она устроилась на ярмаркѣ въ Сорочинцахъ, и могъ ли цыганъ такъ хитро спрятать всѣ нити своей интриги и своего „чудеснаго“ вмѣшательства въ ходъ сватовства парубка — это остается на совѣсти автора; могла ли майская ночь пройти такъ безумно весело, съ такимъ импровизированнымъ крестьянскимъ маскарадомъ, съ такой правильно организованной остроумной уличной демонстраціей хлопцовъ противъ начальства— это также сомнительно; какимъ образомъ вся ночь передъ Рождествомъ обратилась въ сплошную буффонаду, невѣроятно запутанную и невѣроятно смѣшную, какимъ образомъ всѣ дѣйствующія лица этого фарса могли позволить случайностямъ такъ играть съ собой — тоже мало понятно. Впрочемъ, можетъ быть, въ этой малопонятливости и заключался умыселъ художника; но, во всякомъ случаѣ, въ его планы отнюдь не входило заставлять крестьянъ иной разъ говорить совсѣмъ городской выхоленной рѣчью, а въ „Вечерахъ“ такая рѣчь въ устахъ парубковъ и дѣвчатъ совсѣмъ не рѣдкость. Послушать ихъ любовные раз-

*) См. объ этомъ статьи *Кулиша* [«Основа», 1861, кн. 4, 5 и 9]; отвѣтъ *Максимовича* [«День», 1861, № 3, 5, 7 и 9]; *Пыпинъ*. «Исторія русской этнографіи» III, 209. «Малороссійскій писатель Гоголь по гг. Кулишу и Максимовичу», «Время», 1852, I, *Н. И. Коробка*, «Кулишъ объ украинскихъ повѣстяхъ Гоголя», «Литературный Вѣстникъ», 1902, I.

говоры—и въ нихъ иногда незамѣтно даже поддѣлки подъ народную рѣчь, до того слова отборны и литературны...

Помимо этихъ довольно явныхъ отступленій отъ реализма и житейской правды, нельзя не указать и на описанія природы, какъ на образецъ художественной, но никакъ не реальной пейзажной живописи. Мы съ дѣтства привыкли благоговѣть передъ этими описаніями и учимъ ихъ наизусть; но едва ли, созерцая настоящую природу Малороссіи, мы о нихъ когда-либо вспомнимъ. Конечно, тѣ страницы „Вечеровъ", гдѣ насъ спрашиваютъ—„знаемъ ли мы украинскую ночь" и гдѣ намъ говорятъ, какъ „чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ" — эти страницы ослѣпительны по блеску метафоръ, красотѣ образовъ и торжественному настроенію созерцателя, но это не описанія того, что видишь и что желалъ бы другого заставить видѣть, это—восторгъ по поводу видѣннаго и, какъ таковой, онъ субъективенъ до крайности.

Нельзя назвать реальной живописью и тѣ портреты, преимущественно женскіе, которые нерѣдко авторъ вставляетъ въ свои разсказы. Въ нихъ очень много красоты, но жизни мало. Когда видишь, какъ на возу сидитъ хорошенькая дочка Солопія Черевика — „съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно улыбающимися розовыми губками, съ повязанными на головѣ красными и синими лентами, которыя вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣтовъ богатою короною покоятся на ея очаровательной головкѣ", то такому портрету вѣришь, хотя и не узнаешь въ немъ крестьянки. Но когда затѣмъ читаешь про дочку Коржа, какъ „ея щеки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда умывшись Божьей росою, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только-что поднявшимся солнышкомъ; какъ брови ея, словно черные шнурочки, ровно нагнувшись, какъ будто глядятся въ ясныя очи; какъ ротикъ ея кажись на то и созданъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни, какъ волосы ея

черны какъ крылья ворона, и мягки, какъ молодой ленъ"— то такому портрету уже не вѣришь, хотя и любуешься имъ, какъ любуешься и на первый выходъ Ганны, когда она „на порѣ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская ручки двери, переступаетъ черезъ порогъ; когда въ полуясномъ мракѣ горятъ привѣтно, будто звѣздочки, ея ясныя очи"...

Всѣ эти женскіе портреты — типичные образцы ходячей красоты, символы женскаго внѣшняго совершенства и убранства. Эти деревенскія красавицы не хрупки, не блѣдны, не воздушны какъ дѣвы тогдашней романтики; онѣ не разсѣиваются въ туманѣ; напротивъ того, онѣ всѣ очень здоровы, румяны, какъ былинныя красавицы, но онѣ все-таки сродни своимъ блѣднымъ сестрамъ, онѣ также съ реальной жизнью имѣютъ мало общаго, хотя и носятъ на себѣ отпечатокъ здоровья.

Такъ же точно и любовныя рѣчи этихъ красавицъ и ихъ обожателей едва ли подслушаны Гоголемъ; вѣрнѣе, что они отзвукъ народныхъ малороссійскихъ пѣсенъ *).

Такая идеализація типовъ—явленіе, однако, не постоянное. Подкрашены въ большинствѣ случаевъ только молодые типы—тѣ, вокругъ которыхъ сплетается любовная романтическая завязка. Чѣмъ дѣйствующее лицо старше—тѣмъ оно реальнѣе обрисовано. Старики и старухи иногда даже смахиваютъ на карикатуры—такъ усердно авторъ при изображеніи ихъ, не соблюдая мѣры, гнался за реализмомъ.

Такимъ образомъ, „Вечера на Хуторѣ", при многихъ вѣрныхъ бытовыхъ деталяхъ, при относительно естественномъ языкѣ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица, наконецъ, при безспорно „народныхъ" сюжетахъ историческихъ, легендарныхъ и бытовыхъ, были все-таки произведеніемъ, созданнымъ скорѣе въ старомъ стилѣ, сентиментально-романтическомъ, чѣмъ въ стилѣ новомъ, который требовалъ тѣсной связи искусства

*) *В. И. Шенрокъ* «Матеріалы для біографіи Гоголя», I, 270.

и жизни. Одна только повѣсть „объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ“ давала понять, что авторъ способенъ создать въ этомъ новомъ реальномъ стилѣ. Но эта повѣсть осталась неоконченной и застѣнчивый Иванъ Ѳедоровичъ — родственникъ Подколесина, его тетушка-амазонка и ея дворня, Григорій Григорьевичъ, хитрый плутъ, и его благонравныя сестрицы промелькнули передъ нами и исчезли, чтобы появиться, однако, вновь въ „Женитьбѣ“, „Ревизорѣ“ и „Мертвыхъ Душахъ“.

Смѣшеніе въ „Вечерахъ“ двухъ пріемовъ творчества было въ тѣ еще годы отмѣчено критикой.

Успѣхъ книги въ общемъ былъ большой: и не только интересъ публики, но и симпатіи большинства судей были на ея сторонѣ. Разногласіе критиковъ произошло отъ того, что они не хотѣли разсмотрѣть книгу въ ея цѣломъ: одинъ заинтересовался больше бытовыми чертами, которыя находилъ въ ней, другой обратилъ вниманіе на ея романтическій колоритъ, третьяго поразилъ больше всего ея веселый и смѣшливый тонъ. Каждый изъ критиковъ далъ, поэтому, оцѣнку нѣсколько одностороннюю и въ этомъ отчасти былъ виноватъ самъ авторъ.

Кто дорожилъ житейской правдой, тотъ остался недоволенъ отступленіями отъ нея. „Нарѣжный и Погорѣльскій— разсуждалъ одинъ критикъ—стояли къ жизни ближе, чѣмъ таинственный Рудый Панько. Онъ допустилъ слишкомъ много высокопаренія въ своемъ стилѣ, въ своихъ описаніяхъ лицъ и природы. Съ другой стороны, онъ изобразилъ малороссійскую жизнь слишкомъ грубо: грубы, напр., многія выраженія въ „Сорочинской ярмаркѣ“, гдѣ парни ведутъ себя совсѣмъ какъ невѣжи и олухи. Въ разсказахъ допущены также ошибки историческія, какъ, напр., въ „Пропавшей грамотѣ“, и въ особенности непріятно поражаютъ въ разговорахъ—совсѣмъ ненародные обороты рѣчи“ *).

*) *Андрій Царьинный* [А. Я. Стороженко]. «Мысли малороссіянина по прочтеніи повѣстей пасичьника Рудаго Панька, изданныхъ имъ въ книжкѣ

Такъ же неодобрительно, какъ этотъ малоизвѣстный критикъ, отнесся къ „Вечерамъ“ и Полевой—строгій гонитель всякой поддѣлки подъ народность. Полевой заподозрилъ нашего разсказчика въ настоящей мистификаціи. Повѣсти эти—говорилъ онъ—написаны самозванцемъ пасичникомъ; этотъ пасичникъ—москаль и притомъ горожанинъ; онъ неискусно воспользовался кладомъ преданій; сказки его несвязны; желаніе поддѣлаться подъ малоруссизмъ спутало его языкъ; взялъ бы онъ примѣръ съ Вальтеръ-Скотта, какъ тотъ умѣетъ просто разсказывать... У Гоголя и въ шуткахъ нѣтъ ловкости, а главное—нѣтъ настоящаго мѣстнаго колорита; куда, напр., выше его Марлинскій, который въ своей повѣсти „Лейтенантъ Бѣлозоръ“ съумѣлъ дать столь яркіе типы изъ голландской жизни. Въ заключеніе Полевой совѣтывалъ Гоголю исправить непріятное впечатлѣніе, какое получилось отъ плохого употребленія хорошихъ матеріаловъ *). Давая отчетъ о второй части „Вечеровъ“, Полевой впрочемъ нѣсколько смягчилъ свой отзывъ. Онъ въ авторѣ уже призналъ малороссіянина и хвалилъ его юморъ и веселость, но отмѣтилъ въ повѣстяхъ отсутствіе глубины замысла. Это—плясовая музыка, говорилъ онъ, которая ласкаетъ нашъ слухъ, но быстро исчезаетъ. Отмѣчалъ онъ также и скудость изобрѣтенія и воображенія и опять подчеркивалъ неопытности въ языкѣ и высокопарность слога **).

Сенковскій—редакторъ вновь возникшаго журнала „Библіотека для Чтенія“—обозвавъ Гоголя при случаѣ русскимъ Поль-де-Кокомъ и сказавъ, что предметы его грязны и лица взяты изъ дурного общества ***), отнесся, однако, достаточно милостиво къ „Вечерамъ“, когда они вышли вторымъ изда-

подъ заглавіемъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и рецензіи на оныя», «Сынъ Отечества», 1832, т. 147, 41 — 49, 101 — 115, 159 — 164, 223 — 242, 288 — 312.

*) «Московскій Телеграфъ». Часть XLI, 1831, 94—95.

**) «Московскій Телеграфъ». Часть XLIV, 1832, 262—267.

***) «Библіотека для Чтенія», томъ III, 1834. «Критика», 31—32.

ніемъ; онъ заявилъ только, что украинское забавничанье и насмѣшку не должно смѣшивать съ настоящимъ остроуміемъ и серьезнымъ юморомъ *).

Вѣрнѣе всѣхъ понялъ Гоголя журналъ Надеждина. Критикъ оченъ хвалилъ автора за печать „мѣстности“, которая лежитъ на всѣхъ разсказахъ. Прежніе писатели, какъ, напр., Нарѣжный, либо сглаживали совершенно всѣ мѣстные идіотизмы украинскаго нарѣчія, либо сохраняли ихъ совершенно неприкосновенными. Гоголь съумѣлъ избѣгнуть этихъ крайностей, и повѣсти его и литературны, и естественны **). Эти же достоинства, т.-е. отсутствіе вычурности и хитрости, естественность дѣйствующихъ лицъ и положеній, неподдѣльную веселость и не выкраденное остроуміе — оттѣнялъ въ повѣстяхъ и критикъ „Литературныхъ прибавленій къ „Русскому Инвалиду“ [Л. Якубовичъ] ***).

Хвалилъ „Вечера“ также очень Булгаринъ, называя ихъ „лучшими народными повѣстями“ и предлагая эти „хорошіе“ повѣсти поставить выше чужеземнаго „превосходнаго“. Въ лицѣ Гоголя — такъ говорилъ Булгаринъ — малороссійская литература оставила мѣстную цѣль и обратилась къ болѣе глубокой мысли — удерживать только характерное отличіе своего нарѣчія, чтобы раскрыть народность. Русскую народность пока еще не уловили и у насъ еще нѣтъ ничего равнаго „Вечерамъ“; мы еще пока учено стремимся къ народности, а не самосознательно. У Гоголя національность проявляется естественно, не такъ, какъ, напр., у Погодина, который думаетъ, что рѣшительное уклоненіе къ провинціализму и любовь къ старымъ формамъ языка есть приближеніе къ національному, или, какъ, напр., у Загоскина, которому патріотизмъ мѣшаетъ быть правдивымъ. Гоголю недостаетъ только иногда творческой фантазіи, хотя нѣкоторыя мѣста въ его повѣстяхъ и дышатъ піэтическимъ вдох-

*) «Библіотека для Чтенія», томъ XV, 1836, «Литературная Лѣтопись».
**) «Телескопъ», 1831, Часть V, 558—563.
***) «Литературныя прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1831, № 79.

новеніемъ. Онъ въ описаніяхъ менѣе смѣлъ, чѣмъ Марлинскій, но и онъ достигаетъ иногда большого совершенства. Булгарину въ особенности нравится „пергаментная“ простота въ повѣсти „Ночь наканунѣ Ивана Купала“, которую можно сравнить развѣ только съ „Борисомъ Годуновымъ“ *).

Такъ разсуждала критика, смутно улавливая достоинство этихъ разсказовъ и не сходясь во мнѣніи о томъ, насколько истинная „народность“ въ нихъ схвачена и вѣрно изображена. Разногласіе въ оцѣнкѣ было неизбѣжно. Бытописатель-реалистъ и романтикъ спорили въ душѣ самого автора, и критика свои симпатіи между ними подѣлила. Романтикъ Полевой боялся, какъ бы Гоголь не началъ поддѣлываться подъ народность и не сталъ фальшивить, а врагъ романтизма Надеждинъ привѣтствовалъ Гоголя именно за обиліе мѣстныхъ красокъ въ его разсказахъ. На одномъ, впрочемъ, сошлись, кажется, симпатіи всѣхъ читателей. Всѣхъ увлекла неподдѣльная веселость разсказчика.

„Книга понравилась здѣсь всѣмъ, начиная съ государыни“ — писалъ Гоголь своей матери, посылая ей первый томъ „Вечеровъ“; и слово „всѣмъ“ не было преувеличеніемъ. Самъ Гоголь разсказывалъ, напр., Пушкину о впечатлѣніи, какое эта книга произвела на наборщиковъ. „Любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіей — писалъ онъ **). Только-что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворотившись къ стѣнкѣ. Это меня нѣсколько удивило; я къ фактору, и онъ, послѣ нѣкоторыхъ ловкихъ уклоненій, наконецъ сказалъ, что *штучки, которыя изволили прислать изъ Павловска для печатанія, очень до чрезвычайности забавны и наборщикамъ принесли большую забаву.* Изъ этого я заключилъ, что я писатель совершенно во вкусѣ черни“. Но и самъ Пушкинъ раздѣлялъ смѣхъ этой черни. „Сейчасъ прочелъ

*) «Сѣверная Пчела», 1831, №№ 219, 220; 1832, № 59; 1836, № 26.

**) «Письма Н. В. Гоголя». I, 185.

„Вечера близъ Диканьки“ — писалъ онъ А. Ѳ. Воейкову *). Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образумился. Поздравляю публику съ истинно веселою книгою...“

Но были ли эти повѣсти на самомъ дѣлѣ такъ непринужденно веселы? Въ общемъ, конечно, да. Въ нихъ было многъ смѣшного, больше, чѣмъ грустнаго, но иной разъ грусть все-таки врывалась въ этотъ веселый разсказъ—и не потому, что тема разсказа была печальна, а потому, что печаленъ былъ самъ авторъ.

Сорочинская ярмарка, игривая буффонада, кончалась, напр., такими совсѣмъ неожиданными и какъ будто лишними строками:

„Смычокъ умиралъ. Неясные звуки терялись въ пустотѣ воздуха. Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ отъ насъ. И напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье! Въ собственномъ эхѣ слышитъ онъ уже грусть и пустыню и дико внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые други бурной и вольной юности по одиночкѣ одинъ за другимъ теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного старшаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему“.

Гоголь признавался въ своей „Авторской Исповѣди“, что на него находили припадки тоски, ему самому необъяснимой, которые происходили, можетъ быть, отъ его болѣзненнаго состоянія. „Чтобы развлекать самого себя — говорилъ онъ—я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшные лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего

*) «Сочиненія А. С. Пушкина». Изданіе литературнаго фонда, VII, 287.

и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Эти повѣсти однихъ заставляли смѣяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходить въ голову такія глупости".

Пришли же всѣ эти „глупости" Гоголю въ голову путемъ очень естественнымъ.

Мы знаемъ, что въ первый періодъ петербургской жизни ему жилось далеко не весело, мы помнимъ, какъ тревожно было настроеніе его духа, какая борьба надеждъ и сомнѣній происходила въ его сердцѣ. Все это нашло себѣ отраженіе и въ „Вечерахъ на Хуторѣ", но только отраженіе въ обратную сторону. Мечта восполняла дѣйствительность, и Гоголь бредилъ тѣмъ, чего недоставало въ жизни.

Во-первыхъ,—Малороссіей; онъ по ней тосковалъ и потому разукрашалъ и подогрѣвалъ о ней свои воспоминанія. Изъ нихъ вышли эти дивные пейзажи, совсѣмъ не реальные, выкованные въ метафоры и вырисованные съ такимъ лирическимъ подъемомъ духа.

Бредилъ нашъ писатель и весельемъ, и счастьемъ прежней привольной жизни, о которой такъ часто приходилось думать въ дѣловомъ, скучномъ и непривѣтливомъ Петербургѣ; ему хотѣлось быть веселымъ, и потому въ его разсказахъ такъ много свѣта — наперекоръ тому мраку, который въ дѣйствительности, конечно, тяготѣлъ надъ крѣпостной малороссійской деревней; поэту хотѣлось, наконецъ, за поэтической сказкой и преданіемъ, совсѣмъ забыть о гнетущей прозѣ минуты—но именно это и не удалось ему.

Онъ былъ не въ состояніи забыться; и разладъ между сѣрой дѣйствительностью и приподнятымъ восторженнымъ лиризмомъ автора сказывался на тѣхъ „лирическихъ мѣстахъ", въ родѣ вышеприведеннаго, которыя нарушали веселый тонъ его повѣстей. Странное, неопредѣленно-грустное настроеніе, подъ властью котораго находился Гоголь въ первые годы своей петербургской жизни, прорывалось на-

ружу даже тогда, когда онъ хотѣлъ шутить и смѣяться. Съ этимъ единоборствомъ смѣха и грусти мы будемъ встрѣчаться и во всѣ послѣдующіе годы его жизни.

Итакъ, въ исторіи жизни и творчества Гоголя „Вечерамъ на Хуторѣ близъ Диканьки“ должно быть отведено, несмотря на незатѣйливость ихъ содержанія, мѣсто очень видное. Эти повѣсти были первымъ оригинальнымъ произведеніемъ нашего автора, въ которомъ „народность“, понимаемая не въ широкомъ, а въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, нашла себѣ художественное воплощеніе. Гоголь являлся передъ нами и какъ бытописатель современной ему простонародной малороссійской жизни, и какъ мечтатель, творчески пересоздающій старыя преданія и легенды. Онъ смѣшивалъ въ своемъ произведеніи оба стиля, отдавая пока предпочтеніе мечтательному, въ которомъ онъ выдерживалъ даже описанія природы и характеристику многихъ дѣйствующихъ лицъ,—что̀ не мѣшало ему изображать другія лица и иныя положенія съ неподдѣльной простотой и трезвостью истиннаго реалиста. Въ этомъ смѣшеніи двухъ стилей, равно какъ и въ чередованіи веселья и грусти, смѣха и слезъ, сказывалось не только неустановившееся пока направленіе его творчества, но также та внутренняя борьба, которая происходила въ самомъ авторѣ: идеализмъ мечтателя никакъ не могъ ужиться со способностью реалиста видѣть насквозь всю пошлость и грязь той дѣйствительности, которую хотѣлось бы понять и истолковать въ иномъ, возвышенномъ и идеальномъ смыслѣ.

Послѣ юношескаго мечтательнаго сентиментализма, какъ онъ выразился въ „Ганцѣ“ и отчасти въ „Вечерахъ на Хуторѣ“, художникъ вступалъ теперь въ новый фазисъ своего духовнаго развитія; въ немъ крѣпъ все болѣе и болѣе трезвый, юмористическій взглядъ на окружающую его дѣйствительность, который и достигъ своего полнаго выраженія въ комедіяхъ и въ „Мертвыхъ Душахъ“.

Присмотримся же теперь пристальнѣе къ этой важной

эпохѣ въ жизни нашего писателя, когда въ творчествѣ его, послѣ упорной борьбы между враждебными настроеніями и послѣ частыхъ ихъ колебаній—зоркость наблюдателя и бытописателя одержала временно верхъ надъ сентиментальной и романтической идеализаціей жизни. Эта знаменательная эпоха въ жизни Гоголя падаетъ въ промежутокъ времени отъ 1832 до 1842 года.

V.

Семь лѣтъ жизни въ Петербургѣ [1829—1836]. — Религіозное настроеніе Гоголя и мысли о своемъ призваніи. — Отношеніе къ людямъ. — Гоголь на поискахъ службы: учительство и профессура. — Колебанія въ пріемахъ творчества. — Мечтатель энтузіастъ въ борьбѣ съ бытописателемъ-юмористомъ. — Гоголь въ кружкѣ Пушкина.

Гоголь провелъ въ Петербургѣ около семи лѣтъ [1829—1836]—лучшую пору своей молодости. Въ эти семь лѣтъ онъ создалъ почти всѣ свои произведенія; онъ написалъ „Вечера на Хуторѣ“, „Арабески“ и „Миргородъ“, „Носъ“ и „Коляску“, „Женитьбу“, всѣ драматическіе отрывки, поставилъ на сцену „Ревизора“ и задумалъ „Мертвыя Души“—однимъ словомъ въ 27 лѣтъ нашъ писатель высказалъ почти все, что онъ имѣлъ сказать, и затѣмъ только передѣлывалъ, передумывалъ и дополнялъ сказанное или задуманное раньше.

Годы, проведенные Гоголемъ въ Петербургѣ,—одинъ изъ самыхъ важныхъ періодовъ въ исторіи его творчества и его жизни.

Съ внѣшней стороны будничная жизнь испытала нѣсколько значительныхъ перемѣнъ. Гоголь скоро бросилъ свою скучную департаментскую службу, изъ чиновника превратился въ педагога, получилъ мѣсто преподавателя исторіи въ Патріотическомъ Институтѣ, затѣмъ былъ назначенъ профессоромъ петербургскаго университета и дважды [въ 1832 и 1835 году] ѣздилъ къ себѣ на югъ, на родину. Всѣ

эти перемѣны внесли извѣстное движеніе въ его жизнь и она текла въ общемъ совсѣмъ не скучно, даже весело, если принять во вниманіе, что число знакомыхъ Гоголя значительно увеличилось и онъ—уже признанный писатель — сталъ членомъ самаго избраннаго литературнаго круга.

Странное, однако, впечатлѣніе производятъ письма Гоголя за этотъ періодъ его литературной дѣятельности [1831—1836]. Нельзя сказать, чтобы эти письма были грустны; въ нихъ очень много подъема духа, много паѳоса, много вспышекъ самыхъ розовыхъ надеждъ на будущее; но во всѣхъ этихъ порывахъ души замѣтна все-таки какая-то скрытая, очень серьезная, порой даже грустная дума. Замѣтна въ нихъ также сильная тревога духа, но о тайной причинѣ этой тревоги приходится догадываться лишь по намекамъ, которые разсѣяны въ интимныхъ письмахъ поэта и скрыты въ общемъ смыслѣ его произведеній. Жизнь складывалась однако такъ, что должна была повидимому возбуждать въ Гоголѣ одно лишь довольство настоящимъ и полную увѣренность въ будущемъ: совсѣмъ еще молодой человѣкъ, безъ особаго труда и быстро съумѣлъ пройти въ первые ряды тогдашняго интеллигентнаго общества; его первый литературный опытъ принятъ былъ не на правахъ опыта, а былъ сразу признанъ крупной литературной побѣдой и создалъ автору имя; этого автора приласкали самые выдающіеся по уму и таланту люди; какъ близкій другъ вошелъ онъ въ общество Жуковскаго и Пушкина и сознавалъ въ себѣ силу отплатить достойнымъ образомъ за эту дружбу. Порывъ къ творчеству также не покидалъ его за все это время: выпалъ, правда, какъ-то годъ, когда ему не писалось, но въ общемъ, кто же въ такой короткій промежутокъ времени успѣлъ создать столько, сколько онъ создалъ? Одинъ литературный планъ смѣнялся въ его головѣ быстро другимъ, и всѣ эти планы, хоть съ перерывами, но близились къ осуществленію. Поѣздка въ Москву въ 1832 году расширила кругъ его знакомствъ и Гоголь встрѣтилъ въ московскихъ литературныхъ кружкахъ

не меньшее радушіе, чѣмъ въ петербургскихъ. Странная, не сразу понятная прихоть писателя стать ученымъ историкомъ и профессоромъ, также нашла себѣ удовлетвореніе, и Гоголь получилъ, вопреки всѣмъ правамъ, возможность поучать съ университетской каѳедры. Наконецъ въ послѣдній годъ его петербургской жизни, несмотря на всѣ препятствія, „Ревизоръ“ былъ сыгранъ, и впечатлѣніе, произведенное этой комедіей, показало автору наглядно, какая въ немъ таилась сила; если онъ смутно ощущалъ ее въ себѣ прежде, теперь онъ могъ воочію въ ней убѣдиться. Однимъ словомъ жизнь была полна движенія, полна борьбы, и борьба приводила къ побѣдѣ. Не было ни одной мысли, ни одного плана передъ которымъ бы Гоголь въ растерянности остановился; если нѣкоторые изъ этихъ плановъ не осуществлялись такъ, какъ ему этого хотѣлось, то такая неудача вознаграждалась общимъ сознаніемъ своего все болѣе и болѣе зрѣющаго таланта.

А между тѣмъ послѣ семи лѣтъ такой побѣдоносной литературной дѣятельности, Гоголь въ 1836 г. покидалъ Россію въ самомъ тревожномъ состояніи духа, неудовлетворенный собой до крайней степени, недовольный всѣмъ, что онъ создалъ, и съ твердымъ намѣреніемъ начать передѣлывать все сызнова.

Мы знаемъ, съ какими неяснымі планами Гоголь въ Петербургъ пріѣхалъ. Сентименталистъ и мечтатель, онъ все носился съ мыслью такъ или иначе облагодѣтельствовать ближнихъ, мнилъ себя призваннымъ совершить нѣчто великое, пріучалъ себя смотрѣть на людей покровительственно-любовно и все думалъ, что „служба“ вѣрнѣйшій путь къ достиженію всѣхъ этихъ возвышенныхъ цѣлей; мы знаемъ также, какъ скоро во всемъ пришлось разочароваться и какъ, послѣ неудачной попытки сказать свое первое слово, пришлось даже бѣжать съ поля битвы, съ тѣмъ, однако, чтобы сейчасъ же возвратиться. Это смутное состояніе духа не покидало Гоголя и въ тѣ годы, о которыхъ теперь идетъ рѣчь.

Мысль о призваніи свершить нѣчто для ближнихъ очень важное, спасительное для ихъ духа и жизни, попрежнему, прорывается въ интимныхъ рѣчахъ Гоголя. „Какъ благодарю я Вышнюю десницу за тѣ непріятности и неудачи, которыя довелось испытать мнѣ!—пишетъ онъ матери въ началѣ 1831 г. Ни на какія драгоцѣнности въ мірѣ не промѣнялъ бы я ихъ. Время это было для меня наилучшимъ воспитаніемъ, какого я думаю, рѣдкій царь могъ имѣть! Зато какая теперь тишина въ моемъ сердцѣ! Какая неуклонная твердость и мужество въ душѣ моей! Неугасимо горитъ во мнѣ стремленіе, но это стремленіе — польза. Мнѣ любо, когда не я ищу, но моего ищутъ знакомства“ *). Въ 1833 г. онъ опять пишетъ матери: „Я вижу яснѣе и лучше многое, нежели другіе... Я изслѣдовалъ человѣка отъ его колыбели до конца, и отъ этого ничуть не счастливѣе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. Толкуютъ о добродѣтели, о Богѣ, и между тѣмъ, не дѣлаютъ ничего. Хотѣлъ бы, кажется, помочь имъ, но рѣдкіе, рѣдкіе изъ нихъ имѣютъ свѣтлый природный умъ, чтобы увидѣть истину моихъ словъ“ **).

Быть можетъ Гоголь умышленно нѣсколько повышалъ свой пророческій тонъ, когда говорилъ съ Маріей Ивановной, которая намеки понимала туго, но именно съ ней то онъ и говорилъ всего откровеннѣе. Не менѣе откровенно писалъ онъ, впрочемъ, и своему другу Погодину въ 1836 году, когда, раздосадованный Петербургомъ за пріемъ „Ревизора“, покидалъ Россію: „Прощай—писалъ онъ—ѣду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь къ тебѣ, вѣрно, освѣженный и обновленный. Все, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воз-

*) „Письма Н. В. Гоголя“, I, 171—172.
**) „Письма Н. В. Гоголя“, I, 126

питаніе, и нынѣ я чувствую, что не земная воля направляетъ путь мой. Онъ, вѣрно, необходимъ для меня" *).

Эта мысль объ опекѣ Провидѣнія, избравшаго его предметомъ особыхъ своихъ попеченій,—для насъ также не новость; мы знаемъ, что она была тѣсно связана съ представленіемъ, какое Гоголь съ дѣтскихъ лѣтъ имѣлъ о своей чрезвычайной миссіи. Въ періодъ его петербургской жизни эта связь религіозной идеи съ мыслью о собственномъ призваніи не нарушается. Гоголь остается попрежнему религіозенъ. Всякое испытаніе—думаетъ онъ—посылается по чудной волѣ высшей. Все дѣлается единственно для того, чтобы мы болѣе поняли послѣ свое счастье **). Самыя простыя житейскія случайности онъ готовъ истолковать Божьимъ вмѣшательствомъ ***). „Я испыталъ многое на себѣ — пишетъ онъ матери въ 1834 году. Во всемъ, чѣмъ я только займусь съ большею осмотрительностью, хорошенько обсужу дѣло, поведу съ величайшею аккуратностью и порядкомъ, не занимаясь мечтами о будущемъ, во всемъ этомъ я вижу ясно Божью помощь" ****).

Одно признаніе Гоголя въ данномъ случаѣ въ особенности характерно: Гоголь благодаритъ свою мать за то, что она первая разбудила въ немъ религіозную мысль картиной страшнаго суда—того суда, мысль о которомъ въ послѣдніе годы жизни была для нашего писателя источникомъ такихъ страшныхъ душевныхъ мученій. „Одинъ разъ—напоминаетъ онъ матери—я просилъ васъ разсказать мнѣ о страшномъ судѣ, и вы мнѣ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшныхъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чувствительность, это за-

*) „Письма Н. В. Гоголя". I, 378.
**) „Письма Н. В. Гоголя", I, 172.
***) „Письма Н. В. Гоголя", I, 193.
****) „Письма Н. В. Гоголя", I, 311.

ронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ самыя высокія мысли" *). Такъ продолжала жить въ сердцѣ Гоголя религіозная мысль или, вѣрнѣе, религіозная „чувствительность"— въ эти годы пока затаенная, немногимъ извѣстная, но затѣмъ, къ концу его жизни, покорившая всѣ его чувства и думы.

Не измѣнилось, кажется, за это время и прежнее горделивое отношеніе Гоголя къ людямъ — не къ отвлеченной идеѣ человѣчества, ради которой, если вѣрить его словамъ, онъ готовъ былъ претерпѣть всякія униженія и страданія, а къ людямъ вообще, которые его окружали. Гоголь въ своихъ отношеніяхъ продолжалъ сохранять ту степень осторожности и обособленности, которая вообще отличала всѣ его связи. Къ чувству дружбы или вообще въ чувству расположенія онъ примѣшивалъ и теперь не мало хитрости и разсчета, а также иногда и сознанія своего превосходства. Быть можетъ, передъ Пушкинымъ и Жуковскимъ склонялся онъ съ искреннимъ признаніемъ ихъ силы и власти надъ собой,—съ другими онъ велъ себя болѣе чѣмъ независимо. За эти годы онъ завязалъ нѣсколько новыхъ знакомствъ—съ Погодинымъ, Плетневымъ, В. Одоевскимъ, Россетъ, Максимовичемъ, Аксаковымъ, Щепкинымъ—съ цвѣтомъ тогдашней интеллигенціи; и въ письмахъ, которыя онъ писалъ этимъ лицамъ, онъ всегда умѣлъ сохранить независимый тонъ, который въ перепискѣ съ людьми болѣе близкими готовъ былъ перейти даже въ наставническій [напр. въ письмахъ къ матери]. Этотъ тонъ, кромѣ того, былъ попрежнему самоувѣренъ и мѣстами вызывающе-гордъ, въ особенности когда рѣчь заходила о себѣ самомъ, о своей работѣ, своихъ планахъ или видахъ на будущее. Передъ нами и теперь все тотъ же самовлюбленный человѣкъ, какимъ онъ былъ въ его школьныхъ письмахъ — въ настоящую минуту даже еще болѣе гордый въ виду своихъ успѣховъ и своихъ связей съ пер-

*) „Письма Н. В. Гоголя", I, 260.

выми литературными знаменитостями. Какого иногда онъ былъ о себѣ мнѣнія—можно видѣть по одному очень характерному признанію. Въ одномъ письмѣ къ матери онъ, выговаривая ей за то, что она посылаетъ его на поклонъ къ человѣку, съ нимъ незнакомому, говоритъ: „Признаюсь, не знаю такого добра, которое бы могъ мнѣ сдѣлать человѣкъ... Добра я желаю отъ Бога...“ *).

Не покидалъ Гоголь и своей мечты о „службѣ“, которая такъ манила его издали въ годы ранней юности. При его стѣсненномъ матеріальномъ положеніи — тяготу котораго онъ испытывалъ въ продолженіе всей своей петербургской жизни — имѣть постоянное служебное мѣсто было необходимо, и потому не будемъ удивляться, если въ его перепискѣ мы встрѣтимся съ частыми размышленіями на эту прозаическую тему. Но при всемъ своемъ прозаическомъ и практическомъ взглядѣ на этотъ вопросъ, Гоголь все-таки не переставалъ придавать понятію о „службѣ“ прежній высоко идейный смыслъ.

Отъ службы въ департаментѣ Гоголь очень скоро отказался и былъ, конечно, радъ, что могъ бросить эти „ничтожныя“ занятія. „Путь у меня другой, дорога прямѣе и въ душѣ болѣе силы идти твердымъ шагомъ“, писалъ онъ матери, извѣщая ее о томъ, что поступилъ учителемъ въ Патріотическій Институтъ [въ мартѣ 1831 г.]. Здѣсь, на учительской каѳедрѣ, на этомъ новомъ мѣстѣ служенія онъ чувствовалъ себя хорошо и признавался, что его занятія „составляютъ для его души неизъяснимыя удовольствія“. Этому показанію легко можно повѣрить; Гоголь, дѣйствительно, на первыхъ порахъ очень увлекся своими занятіями и конечно, не потому, что былъ прирожденнымъ педагогомъ. Онъ обладалъ, правда, извѣстнымъ педагогическимъ опытомъ, который онъ пріобрѣлъ, зарабатывая деньги на частныхъ урокахъ, но если онъ такъ увлекся уроками въ инсти-

*) „Письма Н. В. Гоголя“, I, 205.

тутѣ, то потому, что и на этотъ родъ прозаической „службы" взглянулъ со свойственнымъ ему преувеличеніемъ. А такое преувеличеніе было — на что указываетъ, между прочимъ, его желаніе написать въ двухъ или даже въ трехъ томахъ цѣлый курсъ всеобщей исторіи и географіи, для котораго онъ подобралъ уже заглавіе „Земля и люди". Этотъ курсъ долженъ былъ составиться изъ его чтеній, которыя записывались институтками. Гоголь принялся за выполненіе этого плана очень ретиво; если вѣрить одному его письму къ Погодину, то даже приступилъ къ его напечатанію, но на него налетѣла тоска, корректурный листъ выпалъ изъ его рукъ, и работа была брошена. Гоголь продолжалъ, однако, служить, и еще въ 1835 г. увѣрялъ Жуковскаго, что считаетъ преподаваніе для себя дѣломъ роднымъ и близкимъ.

Съ 1838 года Гоголь сталъ помышлять о новой службѣ; и только—думается намъ—его взглядами на святость службы и можно объяснить то упорство, съ какимъ онъ сталъ добиваться профессуры, сначала въ Кіевѣ, а затѣмъ въ Петербургѣ. Гоголь шелъ на большой рискъ, становясь въ ряды университетскихъ „дѣятелей", но онъ одно время, дѣйствительно, искренно думалъ, что профессура и есть его настоящее призваніе, что на каѳедрѣ онъ сможетъ сдѣлать всего больше добра и блага.

Этотъ трагикомическій эпизодъ съ профессурой очень характеренъ для поясненія того лирическаго и приподнятаго настроенія, въ какомъ находился нашъ художникъ, все еще не увѣренный въ томъ,что роль писателя и служеніе искусству—его призваніе и все еще помышляющій о какой-нибудь обществомъ признанной опредѣленной службѣ.

Интересъ къ старинѣ проснулся въ Гоголѣ очень рано—еще тогда, когда онъ приступилъ къ собиранію матеріаловъ для своихъ украинскихъ повѣстей. Въ 1832 году исторія стала уже его „любимой" наукой — какъ видно изъ одного его письма къ Погодину. Быть можетъ, что и дружба съ Погодинымъ, закрѣпленная въ этомъ году, оказала свое

вліяніе на направленіе научныхъ симпатій Гоголя. „Главное дѣло — всеобщая исторія, писалъ онъ своему другу *), а прочее стороннее“ и, кажется, что въ эти годы [1832—1833] для Гоголя, дѣйствительно, все кромѣ исторіи, стало дѣломъ стороннимъ.

Какъ видно изъ его тетрадокъ и записокъ, онъ принялся на чтеніе, и въ самомъ дѣлѣ читалъ много. Въ концѣ 1833 года онъ сообщаетъ своему другу Максимовичу, „что онъ принялся за исторію бѣдной Украйны“. „Ничто такъ не успокаиваетъ—пишетъ онъ **)—какъ исторія. Мои мысли начинаютъ литься тише и стройнѣе. Мнѣ кажется, что я напишу ее [т.-е. исторію Малороссіи], что я скажу много того, чего до меня не говорили“.

Въ это же время, т.-е. въ концѣ 1833 года у Гоголя зарождается и мысль о томъ, какъ хорошо было бы занять каѳедру исторіи въ Кіевѣ. Ему надоѣлъ Петербургъ; ему хочется въ древній прекрасный Кіевъ. Тамъ можно обновиться всѣми силами и много тамъ можно надѣлать добра. О своихъ правахъ на эту каѳедру Гоголь также уже подумалъ: эти права въ его работѣ и стараніяхъ, но главное въ томъ, что онъ истинно-просвѣщенный человѣкъ, человѣкъ чистый и добрый—такъ, по крайней мѣрѣ, онъ аттестуетъ себя въ письмѣ къ Максимовичу, который, кажется, и подалъ ему первую мысль о кіевской профессурѣ ***).

Гоголь спѣшитъ набросать свои мысли и планъ преподаванія на бумагу, чтобы представить его министру просвѣщенія Уварову, и онъ надѣется, что Уваровъ отличитъ его отъ толпы „вялыхъ“ профессоровъ, которыми набиты университеты. Онъ вполнѣ можетъ разсчитывать на кіевскую каѳедру, такъ какъ три года тому назадъ [1831?] ему уже предлагали каѳедру въ Москвѣ [??]—такъ по крайней мѣрѣ говоритъ онъ Пушкину и слова его остаются, конечно, на

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 234.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 263.
***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 268.

его совѣсти. Въ надеждѣ на поддержку Пушкина, Гоголь довѣряетъ ему и всѣ свои надежды: „Какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ — пишетъ онъ *). Тамъ кончу я исторію Украйны и юга Россіи и напишу всеобщую исторію, которой, въ настоящемъ видѣ ея, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не только на Руси, но даже и въ Европѣ нѣтъ". „Какъ только въ Кіевъ—лѣнь къ чорту! чтобъ и духъ ея не пахъ. Да превратится онъ въ русскіе Аѳины, богоспасаемый нашъ городъ". И Гоголь, если вѣрить ему, дѣйсвительно, отрекается отъ лѣни. Онъ спокоенъ духомъ, и малороссійская и всемірная исторія начинаютъ у него „двигаться"; ему приходятъ въ голову крупныя, полныя, свѣжія мысли; ему кажется, что онъ сдѣлаетъ во всеобщей исторіи что-то необщее. Малороссійская его исторія бѣшена, слогъ въ ней горитъ, онъ исторически жгучъ и живъ... Гоголь пишетъ эту исторію отъ начала до конца и уже разсчиталъ, что она займетъ шесть малыхъ или четыре большихъ тома... Но, кажется, что все это были однѣ мечты потому, что когда Надеждинъ попросилъ у Гоголя отрывокъ изъ этой исторіи для напечатанія, Гоголь признался Погодину, что онъ не можетъ его прислать, такъ какъ эта исторія у него въ такомъ забытьи и такой облечена пылью, что онъ боится подступиться къ ней **). Тѣмъ не менѣе, онъ продолжаетъ энергично хлопотать о кіевской каѳедрѣ.

Въ 1834 году Гоголя очень обезпокоило извѣстіе объ одномъ конкурентѣ на эту каѳедру; онъ не понимаетъ, какъ это могло случиться, когда министръ ему обѣщалъ это мѣсто и даже требовалъ, чтобы онъ подавалъ прошеніе, которое онъ только потому не подалъ, что хотѣлъ быть сразу ординарнымъ, а ему предлагали только адъюнкта. Гоголь проситъ Максимовича похлопотать у кіевскаго попечителя за него, проситъ его намекнуть попечителю, что онъ, Мак-

*) «Письма Н. В. Гоголя». I, 270—271.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 285.

симовичъ, не знаетъ человѣка, который имѣлъ бы такія глубокія историческія свѣдѣнія и такъ бы владѣлъ языкомъ преподаванія, какъ Гоголь. Съ той же просьбой обращается Гоголь и къ Пушкину, прося его налечь на министра. Министръ—какъ онъ утверждаетъ—готовъ ему дать экстраординарнаго профессора, но все только кормитъ его словами и обѣщаніями; между тѣмъ, кіевскій попечитель предлагаетъ ему занять вмѣсто каѳедры всеобщей исторіи, каѳедру русской, чего Гоголь совсѣмъ не желаетъ... онъ готовъ скорѣе все бросить и откланяться, чѣмъ читать исторію русскую.

Вся эта волокита не привела, однако, ни къ чему: кіевскую каѳедру получилъ его конкурентъ, но зато въ іюлѣ 1834 г. Гоголь былъ назначенъ профессоромъ с.-петербургскаго университета по каѳедрѣ всеобщей исторіи. Съ мечтой преобразовать Кіевъ въ Аѳины пришлось проститься. Гоголь, не желая показать своего раздраженія, сталъ теперь утверждать, что онъ только ради здоровья добивался профессуры на югѣ, профессуры, „которая, если бы не у насъ на Руси, то была бы самое благородное званіе“ *).

Пришлось остаться въ Петербургѣ. Но Гоголь продолжалъ думать о Кіевѣ. По крайней мѣрѣ, уже послѣ назначенія своего профессоромъ, онъ писалъ Максимовичу, что онъ рѣшился принять предложеніе остаться на годъ въ петербургскомъ университетѣ, лишь затѣмъ, чтобы имѣть больше правъ занять каѳедру въ Кіевѣ. Онъ даже просилъ своего друга присмотрѣть въ Кіевѣ для него домикъ, если можно, съ садикомъ, гдѣ-нибудь на горѣ, чтобы хоть кусочекъ Днѣпра былъ виденъ.

Какъ бы то ни было, но Гоголь своего добился: на каѳедру онъ взошелъ. При разборѣ его историческихъ статей мы увидимъ, какъ онъ понималъ свою задачу. Отмѣтимъ пока лишь, что онъ работалъ, и работалъ много – самостоя-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 305.

тельно или несамостоятельно, это иной вопросъ, но доброе желаніе у него, безспорно, было. Онъ приступилъ теперь къ писанію исторіи среднихъ вѣковъ, которую онъ разсчиталъ томовъ на восемь или на девять. Даже на лѣтнихъ каникулахъ онъ не прерывалъ своей ученой работы. Онъ продолжалъ въ себя вѣрить, и въ оцѣнкѣ роли профессора все подчеркивалъ необходимость „благородныхъ“ качествъ души у преподавателя **).

Но ихъ оказалось недостаточно для того, чтобы устоять на такомъ отвѣтственномъ посту. Профессура готовила Гоголю жестокое разочарованіе.

Сопоставимъ нѣсколько показаній современниковъ о томъ, какъ нашъ художникъ велъ себя на этомъ мѣстѣ „служенія“.

О первой его лекціи мы имѣемъ свидѣтельство одного изъ его слушателей — Иваницкаго ***). „Гоголь вошелъ въ аудиторію—разсказываетъ онъ—и въ ожиданіи ректора началъ о чемъ-то говорить съ инспекторомъ, стоя у окна. Замѣтно было, что онъ находился въ тревожномъ состояніи духа: вертѣлъ въ рукахъ шляпу, мялъ перчатку и какъ-то недовѣрчиво посматривалъ на насъ. Наконецъ, подошелъ къ каѳедрѣ и, обратясь къ намъ, началъ объяснять, о чемъ намѣренъ онъ читать сегодня лекцію. Въ продолженіе этой коротенькой рѣчи онъ постепенно всходилъ по ступенямъ каѳедры: сперва всталъ на первую ступеньку, потомъ на вторую, потомъ на третью. Ясно, что онъ не довѣрялъ самъ себѣ и хотѣлъ сначала попробовать, какъ-то онъ будетъ читать? Мнѣ кажется, однакожъ, что волненіе его происходило не отъ недостатка присутствія духа, а просто отъ слабости нервовъ, потому что въ то время, какъ лицо его непріятно блѣднѣло и принимало болѣзненное выраженіе, мысль, высказываемая имъ, развивалась совершенно логи-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 340.

**) Перепечатано у *В. И. Шенрока.* «Матеріалы для біографіи Гоголя», II, 228—230.

чески и въ самыхъ блестящихъ формахъ. Къ концу рѣчи Гоголь стоялъ уже на самой верхней ступенькѣ каѳедры и замѣтно одушевился... Не знаю, прошло ли и пять минутъ, какъ ужъ Гоголь овладѣлъ совершенно вниманіемъ слушателей. Невозможно было спокойно слѣдить за его мыслью, которая летѣла и преломлялась, какъ молнія, освѣщая безпрестанно картину за картиной въ этомъ мракѣ средневѣковой исторіи. Впрочемъ, вся эта лекція изъ слова въ слово напечатана въ „Арабескахъ". Ясно, что и въ этомъ случаѣ, не довѣряя самъ себѣ, Гоголь выучилъ наизусть предварительно написанную лекцію, и хотя во время чтенія одушевился и говорилъ совершенно свободно, но ужъ не могъ оторваться отъ затверженныхъ фразъ и потому не прибавилъ къ нимъ ни одного слова".

Съ этимъ свидѣтельствомъ очевидца несовсѣмъ согласно показаніе другого. „На первую лекцію—разсказываетъ профессоръ Васильевъ *)—навалили къ Гоголю въ аудиторію всѣ факультеты. Изъ постороннихъ посѣтителей явились и Пушкинъ, и, кажется, Жуковскій. Сконфузился нашъ пасѣчникъ, читалъ плохо и произвелъ весьма невыгодный для себя эффектъ. Этого впечатлѣнія не поправилъ онъ и на слѣдующихъ лекціяхъ. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Образованіемъ своимъ въ нѣжинскомъ лицеѣ и дальнѣйшими потомъ занятіями Гоголь нисколько не былъ приготовленъ читать университетскія лекціи исторіи; у него не было для этого ни истиннаго призванія, ни достаточной начитанности, ни даже средствъ пріобрѣсти ее, не говоря уже о совершенномъ отсутствіи ученыхъ пріемовъ и соотвѣтственнаго времени взгляда на науку".

„Какъ ни плохи были вообще слушатели Гоголя — продолжаетъ Васильевъ — однакоже сразу поняли его несостоятельность. Въ такомъ положеніи оставался ему одинъ исходъ — удивить фразами, заговорить; но это было не въ

*) *В. И. Шенрокъ.* «Матеріалы для біографіи Гоголя» II, 231—233.

натурѣ Гоголя, который нисколько не владѣлъ даромъ слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что послѣ трехъ-четырехъ лекцій студенты ходили въ аудиторію къ нему только для того ужъ, чтобы позабавиться надъ „маленько-сказочнымъ“ языкомъ преподавателя. Гоголь не могъ того не видѣть, самъ тотчасъ же созналъ свою неспособность, охладѣлъ къ дѣлу и еле-еле дотянулъ до окончанія учебнаго года, то являясь на лекцію съ повязанной щекою въ свидѣтельство зубной боли, то пропуская ихъ за тою же болью. На годичный экзаменъ Гоголь также пришелъ съ окутанной косынками головою, предоставилъ экзаменовать слушателей декану и ассистентамъ, а самъ молчалъ все время. Студенты, зная, какъ не твердъ онъ въ своемъ предметѣ, объяснили это молчаніе страхомъ обнаружить въ чемъ-нибудь свое незнаніе“.

Съ этимъ суровымъ отзывомъ согласны отзывы и другихъ лицъ.

„Гоголь — разсказываетъ И. С. Тургеневъ — изъ трехъ лекцій непремѣнно пропускалъ двѣ; когда онъ появлялся на каѳедрѣ, онъ не говорилъ, а шепталъ что-то весьма несвязное, показывая намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ, и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены, что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи. На выпускномъ экзаменѣ изъ своего предмета онъ сидѣлъ подвязанный платкомъ, якобы отъ зубной боли, съ совершенно убитой физіономіей—и не разѣвалъ рта. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю неловкость своего положенія“.

Еще строже высказывался одинъ изъ его товарищей — А. В. Никитенко. „Гоголь такъ дурно читаетъ лекціи въ университетѣ—записалъ Никитенко въ своемъ дневникѣ—что сдѣлался посмѣшищемъ для студентовъ. Начальство боится, чтобы они не выкинули надъ нимъ какой-нибудь шалости,

обыкновенной въ такихъ случаяхъ, но непріятной по послѣдствіямъ".

Самъ ли Гоголь догадался, что онъ взялся не за свое дѣло, или ему дали понять это, но только въ концѣ 1835 года онъ университетъ покинулъ. Съ нѣкоторымъ ухарствомъ и съ большимъ самомнѣніемъ писалъ онъ по этому поводу Погодину: „Я расплевался съ университетомъ, и черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взошелъ на каѳедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года—годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говоритъ, что я не за свое дѣло взялся,—въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Ужъ не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вамъ, мои небесныя гостьи, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку: васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія; когда вы исторгнетесь съ бо́льшею силою, не посмѣетъ устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика"... *).

Такой печальной думой закончились всѣ недавніе восторги. А Гоголь, кажется, не допускалъ сомнѣнія въ томъ, что его устами глаголетъ истина, хотя, послѣ первыхъ же лекцій, онъ могъ увидать, что его перестали слушать.

„Знаешь ли ты—писалъ онъ Погодину въ концѣ 1834 года—что значитъ не встрѣтить сочувствія, что значитъ не встрѣтить отзыва? Я читаю одинъ, рѣшительно одинъ, въ здѣшнемъ университетѣ. Никто меня не слушаетъ и ни на одномъ лицѣ ни разу не встрѣтилъ я, чтобы поразила его яркая истина. Хотя бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ безцвѣтный, какъ Петербургъ". А между тѣмъ, если бы онъ могъ заглянуть въ будущее, онъ сталъ бы

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 357.

вглядываться внимательно въ лица двухъ слушателей:—передъ нимъ на студенческой скамьѣ сидѣли Тургеневъ и Грановскій.

Вся эта печальная исторія съ профессурой, отозвавшаяся очень больно на Гоголѣ, не была слѣдствіемъ лишь минутнаго налетѣвшаго на него каприза. Если матеріальныя соображенія могли входить въ его разсчеты, то все-таки они не были главнымъ мотивомъ его упорства. Это была снова мечта, мечта о служеніи ближнимъ, обманувшая нашего лековѣрнаго мечтателя. Ему вдругъ показалось, что онъ можетъ обозрѣть все прошлое духовнымъ окомъ,—и сказать свое слово о судьбахъ человѣчества.

Если во всемъ этомъ эпизодѣ съ профессурой было несомнѣнно много самоувѣренности и гордыни со стороны Гоголя, то все-таки надо признать, что все, что было въ его средствахъ, онъ сдѣлалъ для спасенія этого заранѣе пропграннаго дѣла. Къ лекціямъ онъ готовился усердно, какъ это показываютъ его записныя книги, но подготовительной работы хватило только на первыя лекціи, такъ какъ запаса знаній у Гоголя не было. Несомнѣненъ также и тотъ фактъ, что лекціи, которыя онъ приготовилъ, Гоголь читалъ хорошо и что эти подготовленныя лекціи, и стало быть въ извѣстномъ смыслѣ самостоятельныя, были несравненно выше многихъ ординарныхъ и очередныхъ лекцій, которыя читались другими профессорами въ университетѣ. Но, если отдѣльныя лекціи могли быть хороши, то цѣльнаго курса изъ нихъ всетаки не вышло *).

Съ выходомъ изъ университета Гоголь прощался съ послѣдней надеждой на „службу“. Онъ становился, дѣйствительно, вольнымъ казакомъ. Можно удивляться, что онъ не захотѣлъ стать имъ раньше и такъ долго носился съ мыслью

*) См. *С. Венгеровъ*. «Очерки по исторіи русской литературы». Спб. 1907. «Писатель гражданинъ» 186, 193. Въ этой статьѣ собраны съ большой тщательностью всѣ доводы и соображенія, выставляющія Гоголя какъ профессора въ хорошемъ свѣтѣ.

пристроить себя къ какому-нибудь оффиціальному „дѣлу“. Очевидно, что вѣра въ себя, какъ въ писателя только, какъ въ художника по преимуществу, все еще недостаточно была крѣпка въ немъ. Онъ все еще не рѣшался сказать самому себѣ, что служеніе искусству — его истинное, единственное призваніе.

Это тѣмъ болѣе странно, что какъ разъ въ тѣ годы, когда Гоголь такъ упорно стремился выработать изъ себя ученаго и профессора, онъ, какъ художникъ, обнаружилъ рѣдкую по силѣ и быстротѣ производительность. Замѣтимъ кстати, что онъ совсѣмъ не хладнокровно относился въ это время къ своей литературной работѣ. Когда въ концѣ 1832 года и въ 1833 году она временно какъ будто начала ослабѣвать, Гоголь очень былъ обезпокоенъ такимъ застоемъ въ работѣ. Онъ досадовалъ, что творческая сила его не посѣщаетъ; онъ презрительно отзывался о своихъ „Вечерахъ на Хуторѣ“: „Да обрекутся они неизвѣстности— писалъ онъ—покамѣстъ что-нибудь увѣсистое, великое, художническое не изыдетъ изъ меня!“ Бездѣйствіе и неподвижность въ творчествѣ его бѣсили. „Мелкаго не хочется, великое не выдумывается“. Онъ испытывалъ за это время настоящія муки творчества. „Еслибы вы знали — писалъ онъ Максимовичу—какіе со мной происходили странные перевороты, какъ сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я *пережегъ*, сколько перестрадалъ!“ *).

Тревоги Гоголя были, конечно, напрасны. Творческая способность его не покидала, но, наоборотъ, развертывалась съ полной силой. Въ 1835 году были напечатаны „Арабески“ и „Миргородъ“, съ 1832 года началась работа надъ комедіями и всѣ „Отрывки“, „Женитьба“ и „Ревизоръ“ были къ 1836 году закончены въ первоначальныхъ редакціяхъ. Въ концѣ 1835 года Гоголь началъ писать „Мертвыя Души“— однимъ словомъ, работа кипѣла, и странно, какъ мы ска-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 227, 237, 263.

зали, что при этой кипучей литературной работѣ онъ все никакъ не хотѣлъ разстаться съ работой ученой. Но послѣ университетскаго фіаско—сомнѣній уже не могло быть.

„Мимо, мимо все это!—писалъ Гоголь Погодину. Теперь вышелъ я на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ—прогулка. Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше. Да здравствуетъ комедія!“ *).

Настоящая дорога была, наконецъ, найдена.

Итакъ, если сравнить того Гоголя, съ которымъ мы познакомились въ первый годъ его жизни въ Петербургѣ, съ тѣмъ уже виднымъ писателемъ, который теперь передъ нами, то никакой почти перемѣны не замѣтимъ мы ни въ его характерѣ, ни въ образѣ его мыслей. Та же замкнутость и самомнѣніе, тѣ же мечты о великомъ своемъ призваніи, та же религіозность. Тѣ же мысли о томъ, какъ бы найти поскорѣе истинное дѣло, свершая которое, онъ могъ бы служить людямъ, творить имъ добро, вѣщать имъ истину—людямъ, которыхъ онъ любитъ какъ идею или мечту и съ которыми туго сближается въ жизни. Наконецъ, и прежняя грусть, и тревога духа не покинули Гоголя въ эти болѣе зрѣлые годы: старый разладъ между мечтой и жизнью, между идеаломъ, къ которому тяготѣла душа поэта и житейской грязью, къ которой онъ теперь сталъ присматриваться, давалъ себя чувствовать попрежнему тяжело и настойчиво. Иначе и быть не могло, такъ какъ за этотъ періодъ времени, отъ 1832 до 1836 года, обѣ основныхъ и главныхъ силы его духа: и романтическій лиризмъ его сердца, и трезвый взглядъ реалиста-художника, вступили въ первую рѣшительную борьбу между собой—борьбу, которая на этотъ разъ должна была кончиться побѣдой художника реалиста надъ мечтателемъ и моралистомъ.

Обѣ эти основныхъ силы крѣпли въ Гоголѣ и росли быстро.

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 357.

Способность присматриваться къ мелочамъ жизни, способность анализировать ее безпощадно, срывая съ нея иногда всѣ романтическіе покровы, талантъ трезваго бытописателя, для котораго изображеніе жизни важнѣе затаеннаго въ ней смысла, — этотъ даръ достигъ въ Гоголѣ своего наибольшаго расцвѣта какъ разъ къ началу сороковыхъ годовъ. Уже въ „Вечерахъ на Хуторѣ“ онъ былъ достаточно замѣтенъ и затѣмъ съ каждымъ годомъ сказывался все опредѣленнѣе и рѣзче. Въ 1831 году была написана „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“. Въ 1832 году начата была комедія „Владиміръ 3-ей степени“, набросано „Утро дѣлового человѣка“ и написаны „Старосвѣтскіе помѣщики“. Въ 1833 году начата „Женитьба“; въ 1834 году написаны „Невскій проспектъ“, „Записки сумасшедшаго“ и начатъ „Ревизоръ“; въ 1835 году начаты „Мертвыя Души“, написана „Коляска“; въ 1836 году законченъ „Ревизоръ“ и написанъ „Носъ“. Затѣмъ отъ 1836 до 1842 года тянулась работа надъ первой и второй частью „Мертвыхъ Душъ“.

Но и тяготѣніе къ романтическому міропониманію и къ лирическимъ изліяніямъ по поводу того, что приходилось наблюдать и видѣть, отнюдь не замерло въ душѣ художника за этотъ періодъ времени. Наоборотъ, оно отстаивало свою власть надъ его сердцемъ очень упорно. Проявлялось оно въ повышенномъ патетическомъ настроеніи духа, въ восторгахъ передъ таинственнымъ смысломъ жизни вообще и передъ красотой въ мірѣ въ частности; сказывалось оно также въ любви къ фантастическому, чудесному и религіозному, наконецъ, въ увлеченіи стариной легендарной и исторической.

Съ только-что поименованнымъ рядомъ памятниковъ, въ которыхъ Гоголь являлся трезвымъ реалистомъ, можно сопоставить такой же рядъ произведеній, обличающихъ въ писателѣ сентименталиста и романтика. Мы знаемъ, какъ много такого сентиментализма и романтизма было въ „Ве-

черахъ на Хуторѣ". Съ 1830 года эти вкусы сказываются во всѣхъ отрывкахъ изъ историческихъ романовъ, во всѣхъ статьяхъ съ историческимъ содержаніемъ, во всѣхъ стихотвореніяхъ въ прозѣ, которыя озаглавлены „Женщина" [1830] „Борисъ Годуновъ" [1830], „Живопись, скульптура и музыка" [1831], „1834 годъ" [1833], „Жизнь" [1834]. Этимъ же романтизмомъ окрашены и повѣсти „Вій" [1834], „Тарасъ Бульба" [1834] и „Портретъ" [1835].

При такой постоянной перемѣнѣ настроенія и смѣнѣ въ пріемахъ творчества работалъ Гоголь въ эти знаменательные годы своей жизни. Состояніе его духа было неспокойное и смутное. Все настойчивѣе начиналъ его тревожить вопросъ — съ какой же стороны художнику подходить къ жизни? Призванъ ли художникъ вычитывать изъ этой жизни ея таинственный смыслъ, напоминать ей объ ея идеалѣ и быть для людей маякомъ, который, возвышаясь надъ взволнованнымъ житейскимъ моремъ, ведетъ ихъ къ вѣрной пристани; или онъ долженъ быть для нихъ простымъ зоркимъ спутникомъ, смотрящимъ смѣло въ глаза опасности? Этотъ не совсѣмъ правильно поставленный вопросъ возникъ во всей его строгости передъ Гоголемъ и сталъ для него источникомъ великихъ мученій. Поэтъ никакъ не могъ рѣшить, въ чемъ его обязанность передъ людьми: въ томъ ли, чтобы только выворачивать передъ ними всю ихъ грѣшную и грязную душу, или въ томъ, чтобы, выворотивъ ее, указать имъ путь спасенія. Эта загадка должна была измучить Гоголя, уже по одному тому, что въ умѣ нашего поэта съ дѣтскихъ лѣтъ крѣпко засѣла мысль объ особенной миссіи, которая именно на него возложена.

На эти же мысли о призваніи поэта и объ его отношеніи къ мірамъ идеальному и реальному наводило Гоголя, кромѣ того, одно весьма важное обстоятельство его петербургской жизни. Это были его близкія связи съ кружкомъ Пушкина.

Съ Жуковскимъ Гоголь познакомился въ концѣ 1830 г.,

съ Пушкинымъ въ 1831 г. Отношенія установились сразу очень хорошія, несмотря на неравенство лѣтъ и положенія. Въ кабинетѣ Пушкина, у Жуковскаго, Одоевскаго, Вьельгорскаго, въ салонѣ фрейлины Россетъ протекали счастливыя для Гоголя минуты, когда онъ чувствовалъ себя въ сосѣдствѣ съ геніемъ, добромъ и красотой — съ этими тремя дарами, которые онъ цѣнилъ выше всего въ жизни.

Совершенно особаго рода вліяніе оказалъ кружокъ Пушкина на Гоголя. Онъ не нанесъ никакого ущерба его самостоятельности, но усилилъ въ немъ одну склонность, которая и безъ того была сильна въ немъ, а именно, его любовь къ отрѣшенному отъ дѣйствительности и просвѣтленному представленію о жизни и человѣкѣ.

Атмосфера пушкинскаго кружка заставила сердце Гоголя возвышеннѣе чувствовать, и пропасть между дѣйствительностью и идеальнымъ представленіемъ о ней стала нашему художнику казаться еще шире. Люди, которые теперь его окружали, противопоставляли житейской грязи и пошлости — горній міръ красоты, въ которомъ жила ихъ богато одаренная фантазія. Отъ будничныхъ волненій они стремились стать подальше. Въ своей борьбѣ за доброе начало въ жизни, они могли сравнить себя съ тѣмъ ветхозавѣтнымъ вождемъ, который въ разгарѣ битвы Израиля со врагомъ стоялъ на горѣ съ поднятыми къ небу руками: пока онѣ были воздѣты, Израиль побѣждалъ, и потому надо было высоко держать ихъ, не озираясь кругомъ и не вмѣшиваясь въ битву.

Пушкинъ былъ всесильный чародѣй этого заколдованнаго царства; и Гоголь восторженно поклонялся въ немъ удивительному полету его вдохновенія, которое умѣло надъ міромъ прозы поставить свой чудесный міръ мечты и торжествовать свою полную побѣду надъ дѣйствительностью. Это вдохновеніе было необычайно спокойно и ясно, и носило въ себѣ сознаніе своей облагораживающей и возвышающей силы.

Силы не было въ поэзіи Жуковскаго, но зато она наме-

кала человѣку на таинственную загробную даль, ласкала упованія и вѣру въ Промыслъ, который допускаетъ зло на землѣ, лишь какъ временное испытаніе, какъ предлогъ для осуществленія добра. Въ этой поэтичной вѣрѣ для Гоголя дано было великое утѣшеніе.

Все въ кружкѣ Пушкина говорило объ особомъ свѣтломъ мірѣ, куда доступъ былъ открытъ только избраннымъ и Гоголь чувствовалъ, что онъ въ числѣ ихъ. Въ этомъ кружкѣ, который такъ высоко поднимался надъ жизнью, который не вступалъ съ ней въ споръ, а только указывалъ ей на ея просвѣтленный образъ,—нѣкоторыя мысли и чувства Гоголя получили особое подтвержденіе. Въ немъ укрѣпилось убѣжденіе, что поэтъ есть истинный избранникъ Божій, которому не только дана сила возсоздать жизнь въ образѣ, но сила руководить ею во всѣхъ даже детальныхъ ея вопросахъ единственно по праву вдохновенія. Понятіе о художникѣ въ представленіи Гоголя слилось съ понятіемъ о прорицателѣ, о непосредственномъ слугѣ Божіемъ, одаренномъ свыше чуть ли не чудесной силою прозрѣнія на благо и счастье ближнихъ.

Самъ Пушкинъ и его друзья понимали призваніе поэта, быть можетъ, и не въ столь романтически-приподнятомъ смыслѣ, но обаяніе ихъ личности и творчества придали въ глазахъ Гоголя именно такой возвышенный смыслъ вдохновенію.

Тяжело было жить Гоголю съ такимъ непомѣрно-высокимъ мнѣніемъ о своемъ назначеніи въ мірѣ—ему, въ которомъ талантъ бытописателя и реалиста крѣпъ съ каждымъ годомъ, въ которомъ тоска по гармоніи идеала и жизни должна была усиливаться по мѣрѣ того, какъ этотъ талантъ развивался и все болѣе и болѣе сводилъ поэта съ высотъ лиризма, приближая его къ прозаической злобѣ дня.

Такая борьба лиризма и романтическихъ чувствъ съ трезвой наблюдательностью реалиста оставила свой ясный слѣдъ на произведеніяхъ Гоголя за этотъ періодъ его дѣя-

тельности. Въ томъ, что онъ говорилъ въ „Арабескахъ“, въ „Миргородѣ“ и въ другихъ своихъ повѣстяхъ, статьяхъ и замѣткахъ, мы находимъ своеобразное рѣшеніе волновавшихъ его вопросовъ, а также и прямое отраженіе чередующихся въ немъ настроеній мечтателя-энтузіаста и бытописателя-юмориста.

Гоголя прежде всего тревожитъ вопросъ о назначеніи искусства въ жизни. Поэтъ-художникъ—кто онъ? Для чего онъ посланъ въ міръ? Какое соотношеніе существуетъ между міромъ реальнымъ, къ которому мы прикованы, и міромъ идеала, о которомъ тоскуемъ? Какое положеніе среди этихъ двухъ спорящихъ міровъ долженъ занять художникъ?

И одновременно начинаетъ развертывать Гоголь обѣ стороны своего таланта: онъ, какъ эстетикъ и историкъ, доискивается въ жизни ея символическаго смысла, любуется на ея красоту и пытается возсоздать ея прошлое; какъ реалистъ и бытописатель, онъ приглядывается пристальнѣе къ ея прозаическимъ деталямъ, и тщательно выискиваетъ въ ней все пошлое и смѣшное. Зачѣмъ? Пока лишь затѣмъ, чтобы отъ души посмѣяться.

VI.

Статьи Гоголя по вопросамъ объ искусствѣ; ихъ лирическій тонъ.—Гоголь какъ литературный критикъ.—Жизнь и психическій міръ художника въ повѣстяхъ того времени.—Повѣсти и драмы кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Кукольника, Полевого, Тимофеева и Павлова.—Повѣсть Гоголя «Портретъ»: значеніе ея въ исторіи развитія взглядовъ Гоголя на искусство.—Разладъ мечты и дѣйствительности, какъ онъ изображенъ въ повѣстяхъ Гоголя «Невскій Проспектъ» и «Записки сумасшедшаго».

За всѣ семь лѣтъ своей литературной дѣятельности въ Петербургѣ, среди самыхъ разнообразныхъ трудовъ, Гоголь обнаруживалъ живой, все возраставшій интересъ къ вопросамъ объ искусствѣ. Философомъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова онъ никогда не былъ и къ эстетическимъ „теоріямъ", которыми тогда уже серьезно увлекались его современники, онъ относился съ достаточнымъ хладнокровіемъ, но искусство во всѣхъ его видахъ, тайна творчества, а также и вопросъ о роли поэта въ жизни не переставали его тревожить.

Гоголь свелъ въ Петербургѣ дружбу съ художниками, занимался живописью въ Академіи, много слушалъ музыки, изучалъ исторію искусствъ и вообще упорно работалъ надъ развитіемъ своего эстетическаго вкуса. Эта работа оставила ясные слѣды на его статьяхъ и разсказахъ; и всякій разъ, когда Гоголю приходилось касаться вопросовъ о прекрасномъ и о его значеніи для жизни, онъ обнаружи-

валъ бо́льшую силу чувства, чѣмъ силу мысли; искусство повышало лирическое настроеніе Гоголя, и его дума почти всегда переходила въ восторгъ и паѳосъ. По такимъ патетическимъ возгласамъ можно видѣть, какого высокаго мнѣнія былъ художникъ о томъ дѣлѣ, которому начиналъ служить, и какъ при такомъ высокомъ взглядѣ на поэзію жизни ему было трудно найти ей мѣсто среди житейской прозы.

Въ 1830 году — еще въ самый первый годъ своего робкаго служенія искусству—Гоголь привѣтствовалъ поэзію восторженнымъ диѳирамбомъ по поводу выхода въ свѣтъ „Бориса Годунова“ Пушкина. Онъ посвятилъ этой драмѣ нѣсколько интимныхъ страницъ, писанныхъ не для печати. Это было его первое словословіе искусству, мысль о которомъ затѣмъ такъ и осталась въ его умѣ и сердцѣ неразрывно связанной съ именемъ Пушкина.

Восторженный юноша Полліоръ, классическимъ именемъ котораго окрестилъ себя на этотъ случай нашъ мечтатель, выходя изъ книжной лавки, гдѣ продавалось новое твореніе Пушкина, впалъ въ торжественную задумчивость: какая-то священная грусть, тихое негодованіе сохранялись въ чертахъ его, какъ будто бы онъ заслышалъ въ душѣ своей пророчество о вѣчности, какъ будто бы душа его терпѣла муки, невыразимыя и непостижимыя для земного. Онъ не хотѣлъ высказать своего мнѣнія о великомъ поэтѣ, потому что считалъ святотатствомъ всякое свое слово. Кому нужно знать, какъ онъ о поэтѣ судитъ? Толковать и говорить о поэтѣ не то же ли самое, что, упавъ на колѣни, жарко молиться на площади, гдѣ чернь кипитъ и суетится? Смиримся передъ геніемъ въ безмолвіи! „Великій!—обращается Полліоръ, или просто нашъ Николай Васильевичъ, къ Пушкину,—Великій! Когда развертываю дивное твореніе твое, когда вѣчный стихъ твой гремитъ и стремитъ ко мнѣ молнію огненныхъ звуковъ, священный холодъ разливается по жиламъ, и душа дрожитъ въ ужасѣ, вызвавъ Бога изъ своего безпредѣльнаго лона... что тогда? Если бы небо, лучи, море,

огни, пожирающіе внутренность земли нашей, безконечный воздухъ, объемлющій міръ, ангелы, пылающія планеты превратились въ слова и буквы—и тогда бы я не выразилъ ими и десятой доли дивныхъ явленій, совершающихся въ то время въ лонѣ *невидимаго меня*". Таково чудо, творимое искусствомъ надъ душой человѣка, который способенъ его чувствовать... Всякій геній—благословеніе Божіе человѣчеству... Склоняясь подъ этимъ благословеніемъ, Гоголь восклицалъ: „Великій! Надъ симъ вѣчнымъ твореніемъ твоимъ клянусь!.. Еще я чистъ, еще ни одно презрѣнное чувство корысти, раболѣпства и мелкаго самолюбія не заронилось въ мою душу. Если мертвящій холодъ бездушнаго свѣта исхититъ святотатственно изъ души моей хотя часть ея достоянія; если кремень обхватитъ тихо горящее сердце; если презрѣнная, ничтожная лѣнь окуетъ меня, если дивныя мгновенія души понесу на торжище народныхъ хвалъ; если опозорю въ себѣ тобой исторгнутые звуки"... О! тогда пусть обольется оно немолчнымъ ядомъ, вопьется милліонами жалъ въ невидимаго меня, неугасимымъ пламенемъ упрековъ обовьетъ душу и раздастся по мнѣ тѣмъ пронзительнымъ воплемъ, отъ котораго изныли бы всѣ суставы, и сама бы безсмертная душа застонала, возвратившись безотвѣтнымъ эхомъ въ свою пустыню... Но нѣтъ! оно какъ Творецъ, какъ благость! Ему ли пламенѣть казнью? Оно обниметъ снова моремъ свѣтлыхъ лучей и звуковъ душу и слезой примиренія задрожитъ на отуманенныхъ глазахъ обратившагося преступника!" *).

Въ такое умиленіе повергало Гоголя созерцаніе красоты Пушкинскаго творчества. Это былъ чистый, почти безсознательный восторгъ.

Три года спустя, наканунѣ 1834 года, Гоголь, уже отъ своего лица, говорилъ приблизительно то же, обращаясь къ своему „генію". Теперь уже признанный художникъ, уже

*) «Борисъ Годуновъ». Поэма Пушкина.

сознающій въ себѣ своего бога, становился онъ на колѣни передъ его алтаремъ и просилъ себѣ благословенія. Всѣ его думы о святости своего призванія, о миссіи, на него возложенной, о силѣ, которую онъ въ себѣ чувствовалъ въ тѣ молодые и счастливые годы—всѣ упованія и восторги художника нашли себѣ выраженіе въ этихъ страстныхъ, порой вычурныхъ, но безспорно искреннихъ словахъ.

„Великая, торжественная минута!—писалъ, встрѣчая новый годъ, Гоголь на одномъ листѣ бумаги, который также не предназначался для читателя.—Боже! какъ слились и столпились около нея волны различныхъ чувствъ! Нѣтъ, это не мечта. Это та роковая неотразимая грань между воспоминаніемъ и надеждой... Уже нѣтъ воспоминанія, уже оно несется, уже пересиливаетъ его надежда. У ногъ моихъ шумитъ мое прошедшее; надо мной сквозь туманъ свѣтлѣетъ неразгаданное будущее... Молю тебя, жизнь души моей, мой геній! О, не скрывайся отъ меня! Пободрствуй надо мной въ эту минуту и не отходи отъ меня весь этотъ, заманчиво наступающій для меня годъ. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно! Будь дѣятельно, все предано труду и спокойствію“.

„Таинственный, неизъяснимый 1834 годъ! Гдѣ означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанныхъ одинъ на другой домовъ, гремящихъ улицъ, кипящей меркантильности,—этой безобразной кучи модъ, парадовъ, чиновниковъ, дикихъ сѣверныхъ ночей, блеску и низкой безцвѣтности? Въ моемъ ли прекрасномъ, древнемъ, обѣтованномъ Кіевѣ, увѣнчанномъ многоплодными садами, опоясанномъ моимъ южнымъ, прекраснымъ чуднымъ небомъ, упоительными ночами, гдѣ гора обсыпана кустарниками, съ своими какъ бы гармоническими обрывами, и подмывающій ее мой чистый и быстрый Днѣпръ. Тамъ ли? О!.. я не знаю, какъ назвать тебя мой геній! Ты, отъ колыбели еще пролетавшій съ своими гармоническими пѣснями мимо моихъ ушей, такія

чудныя, необъяснимыя донынѣ, зарождавшій во мнѣ думы, такія необъятныя и упоительныя лелѣявшій во мнѣ мечты! О взгляни! Прекрасный! низведи на меня свои небесныя очи. Я на колѣняхъ. Я у ногъ твоихъ! О, не разлучайся со мною! Живи на землѣ со мною хоть два часа каждый день, какъ прекрасный братъ мой! Я совершу... я совершу! Жизнь кипитъ во мнѣ. Труды мои будутъ вдохновенны. Надъ ними будетъ вѣять недоступное землѣ Божество! Я совершу... О, поцѣлуй и благослови меня! *).

Такъ молился художникъ своему вдохновенію поэта, въ которое уже начиналъ вѣрить... И всякій разъ, когда Гоголь встрѣчался съ этой небесной силой, воплощенной въ человѣкѣ ли или въ его твореніи, онъ ощущалъ подъемъ патетическаго чувства, который превращалъ его размышленія въ неудержимой порывъ восторга.

Такимъ сплошнымъ восторгомъ передъ искусствомъ, передъ тайной творчества была и его статья о „скульптурѣ, живописи и музыкѣ“, съ которой открывались его „Арабески“. Статья любопытна и своими мыслями, и силой восхищенія. Весь романтизмъ языка и чувства, на который Гоголь былъ способенъ, проявился въ этомъ гимнѣ. „Три чудныхъ сестры посланы Зиждителемъ міріадъ украсить и усладить міръ:—говорилъ нашъ мечтатель. Безъ нихъ онъ былъ бы пустыня и безъ пѣнія катился бы по своему пути. Первая—скульптура. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, а уже бѣгущая, влача съ торжествомъ за собой толпу гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служитъ алтаремъ... Она обращаетъ всѣ чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собой нѣгу и самодовольство языческаго міра... Вторая сестра—живопись. Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ богатомъ

*) «1834 г.»

своемъ убранствѣ, мелькающая сквозь переплетъ окна, увитаго виноградомъ, смиренная и обширная, какъ вселенная, яркая музыка очей—она прекрасна! Все неопредѣленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсѣкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредѣляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаетъ страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Она беретъ уже не одного человѣка, ея границы шире: она заключаетъ въ себѣ весь міръ; всѣ прекрасныя явленія, окружающія человѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь человѣка съ природою—въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ. Третья сестра—музыка. Она восторженнѣе, она стремительнѣе обѣихъ сестеръ своихъ. Она вся—порывъ; она вдругъ, за однимъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаютъ его въ свой міръ; она обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ—онъ самъ превращается въ страданіе; душа не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ, своею жизнью, живетъ порывно, сокрушительно, мятежно. Она томительна и мятежна, но могущественнѣй и восторженнѣй подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремитъ она въ одно согласное движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружитъ и несется съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звукъ, трепещущій въ углубленіи остроконечной башни...“

Разсужденія объ искусствѣ, написанныя такимъ языкомъ, конечно, мало убѣдительны, но внимательный читатель все-таки замѣтитъ, насколько вѣрны и ярки отдѣльныя мысли и опредѣленія, которыя такъ засыпаны цвѣтами краснорѣчія, и, дѣйствительно, гоголевская метафора способна иной разъ лучше всякой мысли передать впечатлѣніе, которое то или другое искусство производитъ на человѣка. Любопытна въ

статьѣ также и ея заключительная мысль—обращеніе художника къ музыкѣ, какъ единственному искусству, которое способно пробудить наши меркантильныя дущи и дремлюпія чувства. Совсѣмъ какъ нѣмецкіе романтики—Гоголь думаетъ, что музыка въ силахъ прогнать ужасный эгоизмъ, силящійся овладѣть нашимъ міромъ, и что она въ нашъ „юный и дряхлый вѣкъ“ вернетъ насъ къ Богу, который послалъ ее на землю.

Этотъ диѳирамбъ музыкѣ можетъ показаться нѣсколько страннымъ, если припомнить, что Гоголь не признавалъ себя способнымъ понимать ее и говорилъ, что у него нѣтъ „уха къ музыкѣ“ *); но такое признаніе лишній разъ убѣждаетъ насъ въ томъ, какъ нашъ писатель умѣлъ восхищаться, когда дѣло касалось искусства.

Впрочемъ, онъ умѣлъ и разсуждать, и иногда очень тонко. Характернымъ примѣромъ такихъ эстетическихъ разсужденій являются двѣ его статьи: одна объ „архитектурѣ нынѣшняго времени“, другая о знаменитой картинѣ Брюлова „Послѣдній день Помпеи“. Обѣ статьи обнаруживаютъ большую вдумчивость и пониманіе, и указываютъ на немалое количество знаній по исторіи художествъ. Статья объ архитектурѣ нашего времени есть собственно плачъ о паденіи этого искусства и краткій очеркъ развитія прежнихъ архитектурныхъ стилей—античнаго, византійскаго, романскаго, восточнаго и, преимущественно, готическаго. Авторъ видитъ источникъ паденія архитектуры въ томъ стѣсненіи, которое испытываетъ нынѣ полетъ генія. Геній удерживается отъ оригинальнаго и необыкновеннаго потому только, что предъ нимъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Соразмѣрность въ отношеніи къ окружающимъ зданіямъ мѣшаетъ архитектору быть оригинальнымъ. Онъ стремится, чтобы всѣ дома были похожи одинъ на другой, чтобы все представляло собою „гладкообразную кучу“. Однообразная

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 343.

простота, т.-е. другими словами, проза заѣла всякую оригинальность и духовность въ зодчествѣ. А въ старину ея было много и въ особенности въ готикѣ. Гоголь уже въ эти годы [1831] является рѣшительнымъ поклонникомъ и сторонникомъ готическаго средневѣкового стиля. „Готическая архитектура—говоритъ онъ—чисто европейская, созданіе европейскаго духа и потому болѣе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходитъ всѣ другія. Но готическій образъ строенія нельзя употреблять на театры, на биржи, на какія-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося или торгующаго, или работающаго народа. Нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. Но они прошли—тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра устремляла всѣ мысли, всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился возвести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и передъ нимъ, почти въ виду его, благоговѣйно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летѣло къ нему; узкія окна, столпы, своды тянулись нескончаемо въ вышину: прозрачный, почти кружевной шпицъ, какъ дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядитъ разноцвѣтный цвѣтъ оконъ, поднявъ глаза кверху, гдѣ теряются, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, и имъ конца нѣтъ,—весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святыни, которой не смѣетъ и коснуться дерзновенный умъ человѣка“.

Гоголь понималъ, что возвратъ къ старинѣ невозможенъ, но онъ стремился хоть научить людей любить эту старину во всемъ ея разнообразіи и для этого проектировалъ имѣть въ городѣ одну такую улицу, которая бы вмѣщала въ себѣ архитектурную лѣтопись: на ней должны были стоять зданія,

построенныя во всѣхъ стиляхъ—отъ первобытнаго дикаго до самаго новаго.

Статья, какъ видимъ, опять чисто лирическая, съ очень характерными для Гоголя вкусами и мыслями: ясно проступаетъ въ ней наружу—его любовь къ старинѣ и его религіозное настроеніе. Оттѣненъ въ ней также и его страхъ передъ прозой жизни, скорбь о своемъ юномъ и дряхломъ вѣкѣ.

Три года спустя, когда Гоголь писалъ свою статью о картинѣ Брюлова „Послѣдній день Помпеи“ [1834], онъ къ XIX вѣку отнесся болѣе милостиво. Восхваляя Брюлова за то, что онъ въ своемъ „всемірномъ созданіи такъ сумѣлъ сочетать идеальное съ реальнымъ, что онъ не далъ въ своей картинѣ перевѣса идеѣ; за то, что онъ разлилъ въ ней цѣлое море блеска, что ему удалось схватить природу „исполинскими объятіями и сжать ее со страстью“—Гоголь бросилъ мимоходомъ одно замѣчаніе о направленіи искусствъ въ XIX вѣкѣ—небезынтересное, если его отнести къ творчеству самого Гоголя. „Можно сказать—пишетъ нашъ авторъ—что XIX вѣкъ есть вѣкъ эффектовъ. Всякій, отъ перваго до послѣдняго, топорщится произвесть эффектъ, начиная отъ поэта до кондитера, такъ что эти эффекты, право, уже надоѣдаютъ, и, можетъ быть, XIX вѣкъ, по странной причудѣ своей, наконецъ, обратится ко всему безъэффектному. Въ живописи съ этими эффектами можно еще помириться, но въ произведеніяхъ [словесныхъ], подверженныхъ духовному оку, они вредны, если ложны, потому что простодушная толпа кидается на блестящее. Но въ рукахъ истиннаго таланта они вѣрны и превращаютъ человѣка въ исполина. Въ общей массѣ стремленіе къ эффектамъ болѣе полезно, нежели вредно: оно болѣе двигаетъ впередъ, нежели назадъ... Желая произвести эффекты, многіе болѣе стали разсматривать предметъ свой, сильнѣе напрягать умственныя способности. И если вѣрный эффектъ оказывался бо́льшею частью только въ мелкомъ, то этому виною безлюдье крупныхъ

геніевъ... Кто-то сказалъ, что въ XIX вѣкѣ невозможно появленіе генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себѣ всю жизнь XIX вѣка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается какимъ-то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ генія не былъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкѣ. И его шаги уже, вѣрно, будутъ исполинскими и видимы всѣми, отъ мала до велика".

Въ этихъ туманно и нѣсколько противорѣчиво высказанныхъ словахъ кроется любопытный намекъ. Если вмѣсто слова „эффектъ" поставить слово восторгъ и παθοσъ, а подъ словомъ не-эффектъ разумѣть правдивое, реальное отношеніе человѣка къ жизни, то въ разсужденіяхъ Гоголя замѣтно нѣкоторое критическое отношеніе къ „романтическому" міросозерцанію, а также и указаніе на совершающійся переломъ въ его собственномъ творчествѣ. Нашъ авторъ, не отрекаясь отъ „исполинскихъ" эффектовъ жизни, какъ будто хочетъ сказать, что въ XIX вѣкѣ приготовлено столько хорошихъ матеріаловъ, т.-е. сдѣлано надъ жизнью столько вѣрныхъ наблюденій, что истинному таланту дана возможность втѣснить всю жизнь XIX вѣка въ свою картину, безъ необходимости ослѣплять читателя мелкими эффектами личнаго субъективнаго воображенія.

Такъ думалъ Гоголь о сущности, границахъ и пріемахъ художественнаго творчества, не систематизируя своихъ мыслей, но обнаруживая въ нихъ при случаѣ безспорную силу теоретика.

Предметомъ теоретическаго интереса была для него въ тѣ годы и область чисто словеснаго творчества. Онъ одно время думалъ даже утилизировать свой талантъ для чисто литературной критики. Въ этой мысли его поддерживалъ и Пушкинъ, который совѣтовалъ своему другу написать цѣлую исторію нашей критики, и чутье въ данномъ случаѣ Пушкина не обмануло. Хоть иногда и приходится слышать,

что попытки Гоголя, какъ литературнаго критика—такой же капризъ съ его стороны, какъ и его ученая работа, но это совсѣмъ не вѣрно. Изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ критическихъ статей Гоголя видно, что мы въ немъ имѣли, дѣйствительно, очень тонкаго цѣнителя литературы. Несмотря на относительно слабое литературное образованіе, Гоголь въ своихъ критикахъ, а позднѣе и въ своей „Перепискѣ съ друзьями", обнаружилъ рѣдкій для поэта тактъ и вкусъ въ оцѣнкѣ сочиненій современныхъ ему писателей: и только въ оцѣнкѣ собственныхъ трудовъ онъ просчитался. Но художнику, какъ извѣстно, всего труднѣе быть судьей своей работы даже тогда, когда онъ не предъявляетъ къ ней тѣхъ высокихъ этическихъ требованій, которыя предъявлялъ Гоголь.

Первая критическая статья Гоголя относится къ 1832 году. Это была маленькая замѣтка подъ заглавіемъ: „Нѣсколько словъ о Пушкинѣ"—попытка болѣе спокойно поговорить о томъ, о чемъ съ такимъ паѳосомъ Гоголь говорилъ въ своей лирической статьѣ о „Борисѣ Годуновѣ". Статья, при всей ея краткости, очень замѣчательная. Критика тѣхъ годовъ не мало билась съ оцѣнкой творчества Пушкина и съ рѣшеніемъ вопроса о значеніи этого творчества въ исторіи развитія нашей „народности". Въ статьѣ Гоголя этотъ вопросъ рѣшенъ кратко и ясно. „Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа, — писалъ его поклонникъ. Это — русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ. Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій, и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. Онъ остался русскимъ всюду, куда его забрасывала судьба: и на Кавказѣ, и въ Крыму, т.-е. тамъ, гдѣ имъ написаны тѣ изъ его произведеній, въ которыхъ хотятъ видѣть всего больше подражательнаго. Онъ при

самомъ началѣ своемъ уже былъ національнымъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами..." Опредѣливъ истинную „народность" созданій Пушкина такъ вѣрно и понявъ ее такъ широко, Гоголь переходитъ затѣмъ къ разсмотрѣнію одного изъ любопытнѣйшихъ вопросовъ въ исторіи критическаго отношенія нашихъ читателей къ творчеству ихъ любимца. Гоголь спрашиваетъ, почему писанное Пушкинымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ нравится публикѣ меньше, чѣмъ то, что имъ было писано въ ранніе, „романтическіе" годы его творчества? И Гоголь, упреждая Бѣлинскаго, видитъ причину этого недоразумѣнія въ неспособности читателя подняться до пониманія истиннаго, простого и сильнаго реализма, т.-е. настоящей народности. Защищая Пушкина отъ нападокъ читателя, который ожидалъ въ его послѣднихъ произведеніяхъ прежняго романтическаго блеска и эффектовъ, къ которымъ пріучили читателя кавказскія и крымскія поэмы художника, Гоголь говорилъ: „Масса народа похожа на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ... Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный, какъ воля, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, притаясь въ ущельи, или выжегъ цѣлую деревню, однако же онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. Но и тотъ, и другой, они

оба—явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе...“ Слова необычайно вѣскія если вспомнить, какъ въ самомъ Гоголѣ въ тѣ годы боролись эти двѣ склонности: отыскивать въ жизни ея эффектныя красивыя стороны или брать ее таковой, какова она есть, не гнушаясь ея изнанкой. „Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства, — писалъ Гоголь въ той же статьѣ. — Я всегда чувствовалъ въ себѣ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ изъ нихъ, взглянувъ на картину, покачалъ головой и сказалъ: „Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе, хорошо растущіе, а не сухое“. Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпѣ...“ Писать такъ въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности [1832], въ годы, когда писатель обыкновенно гоняется за успѣхомъ—значило обнаружить не малую смѣлость и оригинальность.

Такую же смѣлость и даже рѣзкость въ литературныхъ сужденіяхъ проявилъ Гоголь и въ своей статьѣ „О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.“ [1836], которую Пушкинъ—съ большими оговорками и выпусками—помѣстилъ въ своемъ „Современникѣ“.

Гоголь состоялъ сотрудникомъ „Современника“ не только по беллетристическому его отдѣлу, но и по отдѣлу литературной критики. Мелкія рецензіи, которыя онъ поставлялъ въ этотъ журналъ, не представляютъ интереса *), но статья

*) Любопытенъ только отзывъ о книгѣ «Обозрѣніе сельскаго хозяйства удѣльныхъ имѣній въ 1832 и 1833 годахъ». Гоголь касается въ этой рецензіи крестьянскаго вопроса, который онъ почти обошелъ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ и на которомъ остановился лишь позднѣе въ своей «Перепискѣ». Взглядъ Гоголя на крестьянскую жизнь въ 1836 году

„О движеніи журнальной литературы“ для своего времени—явленіе замѣчательное. Вмѣстѣ со статьями Бѣлинскаго тѣхъ годовъ она самое серьезное разсужденіе на тему о нуждахъ нашей критики и о причинахъ ея упадка. Недаромъ Гоголь въ этой статьѣ говорилъ съ похвалой о Бѣлинскомъ и признавалъ въ немъ „вкусъ, хотя не образовавшійся, молодой и опрометчивый, но служащій порукою за будущее развитіе, потому что онъ основанъ на чувствѣ и душевномъ убѣжденіи“ *).

Статья Гоголя—цѣлый обвинительный актъ противъ текущей русской журналистики 1834 и 1835 годовъ. Авторъ открыто утверждаетъ, что у насъ нѣтъ настоящей критики, какъ сами критики говорили, что у насъ нѣтъ настоящей

очень характеренъ: онъ показываетъ, какъ неопредѣленно нашъ писатель объ этомъ вопросѣ думалъ. Выпишемъ изъ этой рецензіи нѣсколько руководящихъ мыслей и мы увидимъ, какъ сентиментальное отношеніе Гоголя къ дѣйствительности исказило правильное ея пониманіе, несмотря на то, что сущность вопроса была имъ все-таки уловлена. «Что такое русскій крестьянинъ? — спрашиваетъ нашъ авторъ. — Онъ раскинутъ или, лучше сказать, разсѣянъ, какъ сѣмена, по обширному полю, изъ котораго будетъ густой хлѣбъ, но только не скоро. Онъ живетъ уединенно въ деревняхъ, отдѣленныхъ большими пространствами. Лишенный живого, быстраго сообщенія, онъ еще довольно грубъ, мало развитъ и имѣетъ самыя бѣдныя потребности. Возьмите жизнь земледѣльца—скверна и вредна. У него пища однообразна: ржаной хлѣбъ и щи,—однѣ и тѣ же щи, которыя онъ ѣстъ каждый день. Возлѣ дома его нѣтъ даже огорода. У него нѣтъ никакой потребности наслажденія. Онъ способенъ перемѣнить свою жизнь, но только когда вокругъ его явятся улучшенія, а побывавъ въ городѣ, русскій поселянинъ уже бросаетъ земледѣліе и дѣлается промышленникомъ... съ помощью живости и смѣтливости онъ въ непродолжительное время дѣлается богачомъ [?]. Такимъ образомъ русскій мужикъ дѣлается рѣшительно гражданиномъ [?] всей Руси, не укрѣпляясь ни въ какомъ мѣстѣ... Во всякомъ случаѣ правительство дѣйствуетъ, руководимое глубокою мудростью, оно обращаетъ преимущественное вниманіе на земледѣліе [?]. Земледѣлецъ—добрый, крѣпкій корень государства въ политическомъ и нравственномъ отношеніи. Купецъ человѣкъ продажный; всякій промышленникъ человѣкъ подвижный: сегодня здѣсь, завтра тамъ; но земледѣльчество неподвижный элементъ государства. [«Сочиненія Н. В. Гоголя». Изд. X. VI, 363—364].

*) Этотъ отзывъ о Бѣлинскомъ не попалъ на страницы «Современника» и сохранился въ рукописи.

литературы. Критики нѣтъ потому, что нѣтъ серьезнаго взгляда на дѣло; въ судьяхъ нѣтъ ни философскихъ принциповъ, ни эстетическаго вкуса, ни даже широкаго интереса. Люди дѣйствительно образованные и эстетически развитые въ роли критиковъ не выступаютъ и предоставляютъ эту важнѣйшую область словесности людямъ мало подготовленнымъ, а эти, съ своей стороны, не считаютъ свое дѣло важнымъ и принимаются за него безъ благоговѣнія и размышленія и не имѣютъ въ виду возвышенно-образованныхъ читателей. Расхваливаютъ они безъ всякаго разбора и ругаются также совершенно безотчетно. Наши критики отличаются, кромѣ того, литературнымъ безвѣріемъ и литературнымъ невѣжествомъ; они незнакомы съ исторіей нашей словесности и не имѣютъ историческаго взгляда. Имена писателей, уже упрочившихъ свою славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдѣлались совершенно игрушкою въ рукахъ этихъ судей. У всѣхъ у нихъ отсутствуетъ чистое эстетитическое наслажденіе и вкусъ; ихъ сужденія не носятъ признаковъ пониманія и не истекаютъ изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ мертвяще-холоденъ; въ мысляхъ одна мелочность и мелочное щегольство. Таковы отличительныя черты критическихъ сужденій большинства нашихъ литературныхъ судей. Есть, конечно, исключенія, но ихъ очень мало.

Наша критика отнеслась невнимательно къ событіямъ западной литературной жизни, говоритъ Гоголь; что̀ хуже, она не съумѣла даже оцѣнить какъ слѣдуетъ наше русское національное богатство. Она просмотрѣла смерть Вальтеръ Скотта и не замѣтила, что въ литературѣ всей Европы распространился безпокойный, волнующійся вкусъ. Она не замѣтила, какъ явились опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, но часто восторженныя, пламенныя—слѣдствіе политическихъ волненій той страны, гдѣ они рождались. Но если ей и простить эти недосмотры въ области чужой жизни, то трудно извинить ея невниманіе къ рус-

скому. А оцѣнила ли она это русское? „Наши писатели—говорилъ Гоголь—отлились совершенно въ особенную форму, нежели писатели другихъ земель, и, несмотря на общую черту нашей литературы — подражанія опередившимъ насъ европейцамъ,—они заключаютъ въ себѣ чисто русскіе элементы, и подражаніе наше носитъ совершенно своеобразный характеръ, представляетъ явленіе замѣчательное даже для европейской литературы. Гдѣ вы найдете похожаго на нашего Державина? это не Горацій, не Пиндаръ: у него своя самородная, дикая, сверкающая поэзія, текущая, колоссально разливаясь, какъ Россія. Что такое нашъ Жуковскій? Это одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій, поэтъ, явившійся оригинальнымъ въ переводахъ, возведшій всѣ сильные и малосильные оригиналы до себя, создавшій новый, совершенно оригинальный родъ - быть оригинальнымъ. Возьмите нашего Крылова: и въ баснѣ у него выразился чисто-русскій сгибъ ума, новый юморъ, незнакомый ни французамъ, ни нѣмцамъ, ни англичанамъ, ни итальянцамъ. Такъ широко раскинутъ фундаментъ колоссальнаго зданія будущей русской литературы. Поняла ли все это наша критика?

„Видите ли эти зарождающіеся атомы какихъ то новыхъ стихій? — спрашиваетъ Гоголь. Видите ли эту движущуюся, снующуюся кучу прозаическихъ повѣстей и романовъ, еще блѣдныхъ, неопредѣленныхъ, но уже сверкающихъ изрѣдка искрами свѣта, показывающими скорое зарожденіе чего-то оригинальнаго: колоссальное, можетъ быть, совершенно новое, неслыханное въ Европѣ явленіе, предвѣщающее будущее законодательство Россіи въ литературномъ мірѣ, что должно осуществиться непремѣнно, потому что стихіи слишкомъ колоссальны и рамы для картины сдѣлались слишкомъ огромны?“ *).

Неумѣренный патріотизмъ, который сказывается въ послѣднихъ строкахъ этой замѣчательной статьи, составлялъ

*) „Сочиненія Н. В. Гоголя“. Изданіе X-ое, VI, 346—347.

всегда отличительную черту образа мыслей Гоголя; онъ можетъ быть названъ преждевременнымъ для своей эпохи, но въ немъ, какъ мы можемъ теперь убѣдиться, крылось пророчество: наша литература, дѣйствительно, стала міровымъ явленіемъ. Оставляя, однако, въ сторонѣ надежды автора на будущее, мы должны признать, что въ его статьѣ высказана необычайно вѣрная оцѣнка настоящаго — быть можетъ, наиболѣе полная изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ... Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ тогдашнихъ критиковъ оцѣнилъ такъ вѣрно „оригинальную“ сущность нашей подражательной литературы, кто такъ широко понялъ „народность“ въ ея обнаруженіи въ нашей словесности, кто, наконецъ, понимая все значеніе нашихъ первоклассныхъ писателей, съумѣлъ отдать должное работѣ силъ второстепенныхъ? Вѣдь критика тѣхъ лѣтъ огульно осуждала подражаніе, узко понимала значеніе „народности“, несправедливо подчасъ и сурово относилась къ Пушкину и Жуковскому и съ пренебреженіемъ обходила писателей менѣе даровитыхъ. Гоголь обладалъ настоящимъ критическимъ чутьемъ, и Пушкинъ былъ правъ, намѣчая его въ критики своего журнала.

Всѣ перечисленныя нами статьи Гоголя по вопросамъ объ искусствѣ въ широкомъ смыслѣ этого слова и по вопросамъ литературнымъ показываютъ, какъ много онъ въ эти годы думалъ о томъ дѣлѣ, которому начиналъ служить, и какъ трудно ему было придти къ какому-нибудь ясному рѣшенію въ вопросахъ, такъ повышавшихъ лиризмъ его романтическаго сердца.

Къ мыслямъ о поэзіи и ея назначеніи въ жизни предрасполагала Гоголя какъ мы уже замѣтили, и литераторская среда, въ которой онъ вращался. Что въ кабинетѣ Пушкина и Жуковскаго и ихъ друзей рѣчь неоднократно заходила о поэтѣ, о томъ, кто онъ и зачѣмъ онъ въ мірѣ, — это болѣе чѣмъ вѣроятно; Пушкина эта тема мучила всю жизнь, да и Жуковскій много надъ ней думалъ. Въ ихъ творчествѣ вопросъ о призваніи поэта былъ цен-

тральнымъ, къ которому постоянно возвращалась дума художника, и въ стихотвореніяхъ того и другого поэта можно прослѣдить по годамъ, какъ нарасталъ этотъ вопросъ и какія разнообразныя получалъ рѣшенія. Вся умственная атмосфера кружка Пушкина была насыщена мыслью объ искусствѣ, понимаемомъ и какъ откровеніе, и какъ наслажденіе, и, наконецъ, какъ „дѣло“. Гоголь не могъ остаться безучастнымъ къ этимъ разговорамъ, которые въ немъ самомъ будили старыя настойчивыя думы. И если его собесѣдники, не рѣшая вопроса о призваніи поэта въ мірѣ по существу, умѣли въ сильныхъ или трогательныхъ стихахъ говорить о немъ, то онъ умѣлъ этими стихами наслаждаться и черпалъ въ нихъ силу безотчетнаго восторга. Поэзія Пушкина и Жуковскаго учила Гоголя благоговѣнію передъ художникомъ, подымала его лирическое настроеніе на большую высоту и въ извѣстной степени разобщала его съ окружающей дѣйствительностью и съ переживаемой минутой. Онъ, призванный стать бытописателемъ этой дѣйствительности и этой минуты, страдалъ немало отъ такого паѳоса сердца, какой въ немъ всегда возбуждало искусство, но въ этомъ же паѳосѣ находилъ онъ и свою силу, какъ мы могли это видѣть по его восторженнымъ рѣчамъ о „Борисѣ“ Пушкина, „О скульптурѣ и живописи“ и по его обращенію къ своему генію. И чѣмъ величественнѣе рисовался Гоголю поэтъ и его художническая миссія, тѣмъ труднѣе ему должна была казаться его собственная задача, и тѣмъ ощутительнѣе было для него противорѣчіе поэзіи въ мечтахъ и прозы въ жизни, а также возможный контрастъ между добромъ, которое заключено въ искусствѣ, и зломъ, которое иногда изъ того же искусства можетъ родиться.

Эти мысли стали со временемъ кошмаромъ Гоголя, но въ тѣ годы, о которыхъ теперь идетъ рѣчь, онѣ были для него лишь интересной проблемой.

Кромѣ ближайшихъ друзей, творчество которыхъ за-

ставляло Гоголя такъ возвышенно думать о поэтѣ, нашъ художникъ находилъ поддержку своимъ взглядамъ и у другихъ современныхъ писателей.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ литературѣ неоднократно ставился вопросъ о призваніи поэзіи и о ея противорѣчіи и борьбѣ съ презрѣнной прозой жизни. Въ тотъ романтическій періодъ нашей словесности это была тема модная и не у насъ только, а также и на западѣ. Французскіе и нѣмецкіе романтики, которыхъ мы тогда такъ усердно читали, подсказывали намъ различныя рѣшенія этой эстетической задачи, и мы повторяли эти рѣшенія частью дословно, а иногда и съ русскими варіаціями.

Остановимся подробнѣе на нѣкоторыхъ памятникахъ, въ которыхъ говорилось тогда о психическомъ мірѣ поэта и его жизни на землѣ, въ виду ихъ родства или совпаденія съ темою, которая такъ занимала Гоголя. Мы увидимъ, какъ мысль Гоголя шла вровень съ мыслью его поколѣнія, опережая ее однако въ художественномъ своемъ воплощеніи.

Въ этихъ безчисленныхъ разсказахъ о художникахъ, ихъ вдохновеніи, ихъ жизни и почти всегда трагической смерти преобладало нѣсколько излюбленныхъ мотивовъ. Писатель любилъ говорить объ искусствѣ и о художникѣ, какъ о благой силѣ, которая послана на землю для счастья человѣчества. Онъ любилъ славословить поэта и украшать всевозможными эпитетами и метафорами его служеніе красотѣ, добру и истинѣ. Трагическая сторона этого служенія также привлекала его вниманіе: писатель стремился выяснить себѣ, въ чемъ заключается даръ вдохновенія и почему человѣкъ, одаренный этимъ даромъ, бываетъ такъ неудовлетворенъ въ жизни; отчего то, что радуетъ такъ другихъ, и что другіе такъ въ жизни цѣнятъ, отчего все это такъ обезцѣнено въ глазахъ поэта. Всего чаще авторъ останавливался поэтому на противорѣчіи, которое существуетъ между поэтомъ и средой его окружающей, на взаимномъ ихъ непониманіи и на стра-

даніи непонятаго и неоцѣненнаго художника. Иногда—но очень рѣдко — это противорѣчіе толпы и поэта пояснялось кое-какими, весьма для того времени интересными, соціальными мотивами.

Въ числѣ писателей, которые съ охотой брались за такія темы, было много людей съ талантомъ, и среди нихъ особенно выдѣлялся своимъ оригинальнымъ дарованіемъ кн. В. Ѳ. Одоевскій — добрый знакомый и Жуковскаго, и Пушкина, а потому и Гоголя. Гоголь былъ въ восторгѣ отъ повѣстей Одоевскаго, находя въ нихъ—и справедливо—кучу воображенія и ума, любилъ читать ихъ еще въ рукописи и даже завѣдывалъ ихъ изданіемъ въ 1833 году *).

Думать надъ эстетическими проблемами Одоевскій былъ пріученъ съ дѣтства. Еще въ университетскомъ пансіонѣ, гдѣ онъ обучался въ началѣ двадцатыхъ годовъ, его воспитали въ священномъ трепетѣ передъ поэзіей и художникомъ, философіей и нравственностью, т.-е. передъ красотой, добромъ и истиной, взаимное соотношеніе которыхъ осталось потомъ на всю жизнь предметомъ его размышленій. Еще въ школѣ произнесъ онъ рѣчь о томъ, что „всѣ знанія и науки тогда только доставляютъ намъ истинную пользу, когда они соединены съ чистой нравственностью и благочестіемъ **)—рѣчь, въ которой онъ провозглашалъ философію всеобщей наукой, отъ которой всѣ другія заимствуютъ свои силы, какъ планета отъ источника свѣта — солнца. Когда, затѣмъ, въ кругу московскихъ архивныхъ юношей, онъ сталъ адептомъ философіи Шеллинга, міръ искусства пріобрѣлъ для него особую идейную прелесть. То, чему онъ восхищался отъ всего своего восторженнаго сердца, было теперь оправдано его разумомъ, и красота въ жизни получила для Одоевскаго особую умозрительную санкцію. Свои мысли объ этой связи красоты и истины молодой

*) „Письма Н. В. Гоголя“, I, 228, 241.

**) „Рѣчь, разговоръ и стихи, произнесенные на публичномъ актѣ университетскаго благороднаго пансіона 1822 г. марта 25 дня“. М. 1822 г.

философъ излагалъ въ формѣ аллегорическихъ и фантастическихъ сказокъ, тогда излюбленной формѣ его творчества. Говорить о красотѣ и о геніи простымъ языкомъ — разсуждалъ Одоевскій — было бы святотатствомъ. Только иносказательно, въ формѣ аллегоріи, въ формѣ аполога, можно дать почувствовать всю таинственность ихъ земного бытія, только словами наивной, божественной сказки можно воскресить ихъ свѣтлый образъ. Языкомъ такихъ сказокъ и стремился Одоевскій пояснить великое таинство генія еще на самой зарѣ своей юности, когда издалъ маленькій сборникъ апологовъ *). Среди густого мрака — разсказывалъ нашъ философъ и моралистъ—по колючимъ терніямъ, между безднами и скалами велъ одинъ дервишъ несчастныхъ странниковъ; смѣлой ногой притаптывалъ онъ тернія, свѣтильникомъ освѣщалъ онъ ихъ путь—и что же? Многіе проклинали его и роптали, зачѣмъ не для нихъ очищаетъ онъ дорогу, зачѣмъ не имъ свѣтитъ. Холодный, безстрастный шелъ дервишъ и не примѣчалъ стона ниспадающихъ. Не для освѣщенія ничтожной толпы несъ онъ свѣтильникъ; для высокой цѣли, къ которой онъ стремился, онъ забывалъ все подлунное; если онъ подавалъ помощь спутникамъ, то только потому, что, идя къ цѣли, не могъ не освѣщать свѣтильникомъ дороги. Мудрый! Ужели добродѣтели простолюдина цѣль твоихъ дѣйствій? спрашивалъ Одоевскій. Толпа безсмысленная, приравнивая тебя къ себѣ, ищетъ въ тебѣ сихъ добродѣтелей. Но не твоя ли добродѣтель возвышеннѣе всѣхъ прочихъ... *совершенствованіе* — оно поглощаетъ и благотворительность, и милосердіе, и любовь къ ближнему. Но все-таки она—единая цѣль пламеннаго стремленія генія [„Дервишъ“]. Да! Геній—это солнце, которое пробуждаетъ, согрѣваетъ и свѣтитъ; бываетъ, что густые туманы скрываютъ его лицо, и тогда слабоумнымъ кажется, что его нѣтъ вовсе. О! сколь ничтожны въ глазахъ просто-

*) „Четыре аполога“ Москва. 1824 г.

людина возвышенныя умствованія геніевъ! Какъ солнце они гонятъ мразь и мракъ, даютъ довольство и покой, но туманы предразсудковъ иногда скрываютъ ихъ отъ людскихъ глазъ, и безпечные люди думаютъ, что они ничѣмъ имъ не обязаны [„Солнце и младенецъ“] и часто невѣжество въ прахъ обращаетъ всѣ усилія мудраго! Пусть магъ, призвавшій на помощь всѣ силы искусства и природы, день и ночь погруженный въ размышленія надъ древними свитками, пожертвовавъ всѣми наслажденіями жизни, изобрѣтетъ питіе, подающее жизнь долгую и вѣчное здравіе, найдется другой магъ, его соперникъ, который изъ зависти опрокинетъ драгоцѣнный сосудъ [„Два мага“], но не всегда отъ нечистаго прикосновенія гаснетъ божественное пламя, оно еще болѣе возгорается, клокочетъ и обращаетъ въ прахъ дерзкаго гасильщика невѣжду [„Алогій и Епименидъ“].

Такъ философствовалъ молодой „любомудръ“ на тему о великомъ призваніи генія, спасая его свободу и самостоятельность и вмѣстѣ съ тѣмъ прославляя его, какъ благодѣтеля и страдальца за ближнихъ. Геній, при всей его отчужденности и неприступномъ величіи, есть сама любовь, само милосердіе—какъ бы хотѣлъ сказать нашъ философъ и эстетикъ—только не нужно требовать отъ генія мелкой службы и повседневной будничной работы.

Такое же преклоненіе и благоговѣніе передъ геніемъ проповѣдывалъ кн. В. Ѳ. Одоевскій и въ своемъ философскомъ альманахѣ „Мнемозина“, который онъ издавалъ въ 1824 году вмѣстѣ съ другимъ восторженныхъ поклонникомъ красоты и вдохновенія—В. К. Кюхельбекеромъ. Первая книжка этого альманаха открывалась аллегорической сказкой редактора: „Старики или островъ Панхаи“. Довольно злая сатира на наше свѣтское воспитаніе, на прозаическое направленіе нашего вѣка и на излишнее увлеченіе „опытными знаніями“, этотъ памфлетъ на „стариковъ-младенцевъ“, какъ Одоевскій окрестилъ пошляковъ и филистеровъ своего вѣка, долженъ былъ научить читателя достойному преклоненію пе-

редъ поэтическимъ восторгомъ и порывомъ души къ возвышенному. Есть люди, которыхъ очи пламенѣютъ небеснымъ огнемъ—говорилъ сатирикъ,—ихъ не туманило ничтожное земное; душевная дѣятельность пылаетъ во всѣхъ ихъ чертахъ, во всѣхъ движеніяхъ, они презираютъ шумный, суетный крикъ младенцевъ—ихъ взоры быстро стремятся къ возвышенному. Кто сіи невѣдомые? можно спросить, и тайный голосъ отвѣтитъ намъ, что это безсмертные люди, которые, стремясь къ возвышенной цѣли своей, *мимоходомъ* разливаютъ съ отеческой нѣжностью свои дары на людей. Неблагодарные люди не понимаютъ ни дѣйствій, ни цѣли безсмертныхъ: одни смѣются надъ ними, другіе презираютъ, иные не обращаютъ вниманія, большая часть даже не знаетъ о существованіи сихъ юношей. Но вращаются вѣка, быстрые круговороты времени поглощаютъ въ безднѣ забвенія ничтожную толпу *стариковъ-младенцевъ*, и живутъ безсмертные—живутъ, и нѣтъ предѣла ихъ возвышенной жизни *).

Этотъ же первый томъ „Мнемозины“ Одоевскій заканчивалъ такой выпиской изъ Жанъ-Поля Рихтера: „свѣтъ исполненъ былъ болѣзни и страха, люди изъ пылающихъ селеній бѣжали въ опустошенныя: по цвѣтущей землѣ простиралось всюду горе и восходили въ голубое небо облака смерти, дымъ и стенанія; человѣкъ бѣшеный поборалъ человѣка, и кровь текла изъ ранъ его! Но посреди сего ада покоилось царство мира: жаворонокъ поднимался въ лазурь свою, соловей и другіе пѣвцы весенніе перекликались за цвѣтущими кустами и рощами или грѣли неоперенныхъ птенцовъ своихъ! О, дѣти поэзіи! и вы поете: живите же, какъ пернатые, въ веселыхъ пространствахъ высокаго, не въ бѣдномъ низменномъ мірѣ!“ **). Слова нѣсколько эгоистичныя. Одоевскій подписывался подъ ними, но не безъ оговорокъ. Въ его пониманіи возвышенность поэтическихъ помысловъ была лишь однимъ изъ видовъ тѣснаго общенія съ людьми, но только

*) «Мнемозина» I, 8.

**) «Мнемозина» I, 184.

такого общенія, при которомъ художникъ уберегалъ себя отъ всякой грязи и скверны, не приближаясь къ нимъ, а лишь издали очищая ихъ лучами того горняго свѣта, который онъ носилъ въ своей душѣ. Ученику Шеллинга, какимъ былъ Одоевскій, не трудно было устоять на этой высотѣ, не тревожась вопросомъ о томъ, на какое именно разстояніе къ житейской пошлости долженъ былъ приближаться художникъ или вообще человѣкъ съ такими высшими стремленіями, сознающій возложенную на него святую миссію.

Гдѣ только представлялся случай, въ апологахъ, сказкахъ, критическихъ статьяхъ, Одоевскій взывалъ къ этому „чувству возвышеннаго“ въ человѣкѣ, громилъ пошлость жизни и издѣвался надъ ея прозаичностью. Ядовитымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкимъ смѣхомъ надъ всякой пошлостью были, напр., насквозь пропитаны „Пестрыя сказки“ нашего автора *), въ свое время очень извѣстныя. Погодинъ—другъ молодости Одоевскаго — отказывался въ шестидесятыхъ годахъ разгадать смыслъ этихъ сказокъ, хотя и признавалъ, что въ тридцатыхъ его кружокъ понималъ ихъ и ими забавлялся **). Сказки, дѣйствительно, замысловатыя, съ очень частымъ злоупотребленіемъ аллегоріей и съ дидактическимъ смысломъ, который тонетъ въ полуясныхъ намекахъ на разныя пошлыя и прозаическія стороны тогдашней свѣтской и литературной жизни. Одно, впрочемъ, въ этомъ сборникѣ было выражено ясно, это—противорѣчіе между идейнымъ поэтическимъ пониманіемъ жизни у автора и тѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ. Издатель „Пестрыхъ сказокъ“ говорилъ, что онъ очень боится за успѣхъ сочиненія почтеннаго магистра философіи Гомозейки. Бѣдный магистръ! Онъ былъ изъ ученыхъ, изъ пустыхъ ученыхъ,—зналъ всевозможные языки, живые, мертвые и полумертвые, зналъ всѣ

*) «Пестрыя сказки съ краснымъ словцомъ, собранныя Иринеемъ Модестовичемъ Гомозейкою, магистромъ философіи и членомъ разныхъ ученыхъ обществъ. Изданы Безгласнымъ». М. 1833.

**) «Въ память о князѣ Владимірѣ Ѳедоровичѣ Одоевскимъ». М. 1869, 55.

науки, которыя преподаются и не преподаются со всѣхъ европейскихъ каѳедръ, могъ спорить о всѣхъ предметахъ, ему извѣстныхъ и неизвѣстныхъ, и пуще всего любилъ ломать себѣ голову надъ началомъ вещей и прочими тому подобными нехлѣбными предметами. Онъ былъ очень скроменъ. Обремененный многочисленнымъ семействомъ мыслей и удрученный основательностью своихъ познаній, онъ не прочь былъ поблистать въ обществѣ, но всегда какой-нибудь молодецъ съ усами перебивалъ его рѣчь замѣчаніями о температурѣ въ комнатѣ, или какой-нибудь почтенный мужъ—разсказомъ о тѣхъ непостижимыхъ обстоятельствахъ, которыя сопровождали проигранный имъ большой шлемъ. Магистръ молчалъ и наконецъ рѣшился заговорить въ печати, и онъ написалъ свои „Пестрыя сказки“. Онъ жаловался на свой вѣкъ, трезвость этого вѣка его печалила, ему казалось, что мы обрѣзали крылья у воображенія и, боясь тратить время попустому, закрыли для себя многіе источники наслажденій и ума, и сердца... Нашъ вѣкъ—вѣкъ утилитарный, говорилъ философъ, но что пользы въ томъ, что мы составляемъ системы для общественнаго благоденствія, посредствомъ которыхъ цѣлое общество благоденствуетъ, а каждый изъ членовъ страдаетъ?.. что мы составляемъ статистическія таблицы, составляемъ рамку нравственной философіи и подгоняемъ подъ нее всѣхъ людей, что изъ этого? Мы обходимся безъ любви, безъ вѣры, безъ думанья... Отсутствіе простора въ воображеніи и мысли всюду чувствуется. Проза торжествуетъ, и ни откуда не повѣетъ на насъ поэзіей. Не только людямъ, но даже чертямъ тошно отъ нашей скуки, отъ паровыхъ машинъ, альманаховъ, атомистической химіи, отъ благоразумія нашихъ дамъ, отъ англійской философіи, французской вѣры и устава благочинія нашихъ гостиныхъ.

Въ длинномъ рядѣ фантастическихъ разсказовъ, въ которыхъ попадаются цѣлыя страницы, необычайно игривыя по юмору и сильныя своимъ реализмомъ, бичуетъ Одоевскій прозу нашей жизни, касаясь преимущественно жизни свѣт-

ской. Вопросъ о вырожденіи мужчины и женщины въ говорильную машину, омертвѣніе мысли и главнымъ образомъ чувства, утрата естественности и интереса ко всему, что есть духъ, восторгъ или вдохновеніе—вотъ о чемъ въ шутливомъ тонѣ, но съ большою серьезностью, говорилъ пріятель Гоголя, читая ему наединѣ свои „Сказки".

Восторгу передъ поэзіей Одоевскій давалъ полный просторъ и въ своихъ разсказахъ изъ жизни художниковъ.

Нашъ авторъ еще въ ранней юности зачитывался ихъ біографіями въ извѣстномъ сборникѣ Вакенродера. Вспоминая этого искуснаго разсказчика и восторженнаго романтика, Одоевскій написалъ и свои три повѣсти: „Послѣдній квартетъ Бетховена", „Импровизаторъ" и „Себастіанъ Бахъ", которыя потомъ вошли въ составъ его „Русскихъ ночей". Во всѣхъ этихъ разсказахъ—одно стремленіе: приблизить насъ насколько возможно къ великой тайнѣ творчества, дать намъ понять, что такое священный восторгъ поэта, и вмѣстѣ съ тѣмъ показать намъ „неизглаголанность" страданій высокой души художника. Чтобы облегчить намъ приближеніе къ этому таинству, авторъ, конечно, долженъ былъ коснуться вѣчнаго противорѣчія, которое существуетъ между прозой жизни и поэзіей, между толпой и геніемъ. „Я холоднаго восторга не понимаю—говорилъ Одоевскій устами Бетховена.—Я понимаю тотъ восторгъ, когда цѣлый міръ для меня превращается въ гармонію, всякое чувство, всякая мысль звучитъ во мнѣ, всѣ силы природы дѣлаются моими орудіями, кровь моя кипитъ въ жилахъ, дрожь проходитъ по тѣлу, и волосы на головѣ шевелятся... и все это тщетно! Да и къ чему это все? Зачѣмъ? Живешь, терзаешься, думаешь, написалъ и конецъ! Къ бумагѣ приковались сладкія муки созданія—не воротить ихъ! Унижены, въ темницу заперты мысли гордаго духа-создателя.—А люди? люди! Они придутъ, слушаютъ, судятъ—какъ будто они судьи, какъ будто для нихъ создаешь! Какое имъ дѣло, что мысль, принявшая на себя понятный имъ образъ, есть звено въ без-

конечной цѣпи мыслей и страданій; что минута, когда художникъ нисходитъ до степени человѣка, есть отрывокъ изъ долгой болѣзненной жизни неизмѣримаго чувства; что каждое его выраженіе, кажда черта родилась отъ горькихъ слезъ серафима, заклепаннаго въ человѣческую одежду и часто отдающаго половину жизни, чтобы только минуту подышать свѣжимъ воздухомъ вдохновенія? *).

Одоевскій былъ хорошій музыкантъ и знатокъ музыки, почему въ своихъ разсказахъ о жизни художниковъ всего чаще и славословилъ ее. И онъ умѣлъ прославлять ее такъ возвышенно и краснорѣчиво, что читатель немузыкантъ, подъ обаяніемъ его рѣчи, пріобрѣталъ самъ нѣкоторое музыкальное настроеніе. „Есть высшая степень души человѣка, которой онъ не раздѣляетъ съ природою—говорилъ Одоевскій словами органиста Альбрехта, учителя Баха,—высшая степень, которая ускользаетъ изъ-подъ рѣзца ваятеля, которую не доскажутъ пламенныя строки стихотворца — та степень, гдѣ душа, гордая своею побѣдой надъ природою, во всемъ блескѣ славы, смиряется предъ Вышнею силою, съ горькимъ страданіемъ жаждетъ перенести себя къ подножію ея престола и, какъ странникъ среди роскошныхъ наслажденій чуждой земли, вздыхаетъ по отчизнѣ. Чувство, возбуждающееся на этой степени, люди назвали *невыразимымъ*; единственный храмъ сего чувства — музыка: въ этой высшей сферѣ человѣческаго искусства человѣкъ забываетъ о буряхъ земного странствованія; въ ней, какъ на высотѣ Альповъ, блещетъ безоблачное солнце гармоніи; одни ея неопредѣленные, безграничные звуки обнимаютъ безпредѣльную душу человѣка: лишь они могутъ совокупить воедино стихіи грусти и радости, разрозненныя паденіемъ человѣка, лишь ими младенчествуетъ сердце и переноситъ насъ въ первую невинную колыбель перваго невиннаго человѣка. Не ослабѣвайте же, юноши! Молитесь, сосредоточивайте всѣ познанія ума,

*) «Сочиненія князя В. Ѳ. Одоевскаго». Спб. 1844, I, 166—167.

всѣ силы сердца на усовершенствованіе орудій сего дивнаго искусства!“ *)—такъ говорилъ Альбрехтъ своему ученику Себастіану Баху, и этотъ великій музыкантъ сохранилъ на всю жизнь завѣты своего учителя. Тихимъ огнемъ горѣло вдохновеніе въ его душѣ, и онъ вездѣ былъ вѣренъ святынѣ искусства, и никогда земная мысль, темная страсть не прорывались въ его звуки: отъ того теперь, когда музыка перестала быть молитвой, когда она сдѣлалась выраженіемъ мятежныхъ страстей, забавою праздности, приманкою тщеславія—музыка Баха кажется холодной, безжизненной; мы не понимаемъ ее, какъ не понимаемъ безстрастія мучениковъ на кострѣ язычества: мы ищемъ понятнаго, близкаго къ нашей лѣни, къ удобствамъ жизни: намъ страшна глубина чувства, какъ страшна глубина мыслей; мы боимся, чтобы, погрузясь во внутренность души своей, не открыть своего безобразія: смерть оковала всѣ движенія нашего сердца—мы боимся жизни“ **).

Какъ много въ этихъ мысляхъ было дорогого и близкаго Гоголю, который вмѣстѣ со своимъ пріятелемъ изыскивалъ тогда слова и обороты рѣчи, чтобы какъ-нибудь выразить „невыразимое“ искусства! Достичь ясности въ такомъ выраженіи было, конечно, очень трудно, и легче было говорить о грѣхахъ художника и его страданіи, чѣмъ объ его вдохновеніи и радости.

Среди такихъ грѣховъ и печалей вниманіе писателя останавливала тогда одна прозаическая сторона въ жизни артиста: именно его погоня за модой, успѣхомъ и деньгами. Одоевскій отмѣтилъ этотъ трагическій моментъ артистической жизни въ разсказѣ „Импровизаторъ“, слегка напоминающемъ своей основной идеей повѣсть Гоголя „Портретъ“. Это—печальная исторія нѣкоего поэта Кипріяно, терпѣвшаго большую нужду съ юныхъ лѣтъ, поэта съ творческимъ даромъ, но безъ способности легко владѣть имъ. Каждая ра-

*) «Сочиненія князя В. Ѳ. Одоевскаго», I, 250.

**) «Сочиненія князя В. Ѳ. Одоевскаго», I, 250.

бота требовала отъ него массу труда и времени; каждый стихъ стоилъ ему нѣсколькихъ изгрызенныхъ перьевъ, нѣсколькихъ вырванныхъ волосъ и обломанныхъ ногтей. Онъ готовъ былъ обмѣнять свой даръ на какое-нибудь простое ремесло, но не могъ, такъ какъ природа дала ему всѣ причуды поэта, врожденную страсть къ независимости, непреоборимое отвращеніе отъ всякаго механическаго занятія и привычку дожидаться минуты вдохновенія. Онъ не въ силахъ былъ разлюбить своего дара и рѣшился продать свою волю дьяволу, лишь бы тотъ далъ ему способность безъ труда пользоваться этимъ даромъ и на немъ основать свое житейское благополучіе. Изъ рукъ какого-то доктора Сегеліеля, одного изъ служителей діавольскихъ, нашъ художникъ и получаетъ способность „производить безъ труда“, но при одномъ условіи, что вмѣстѣ съ этимъ даромъ онъ получитъ и другой даръ—„все видѣть, все знать и все понимать“. Кипріяно радуется, что число даровъ удвоилось, но этотъ второй даръ и оказывается источникомъ его гибели. Нашъ поэтъ становится извѣстнымъ импровизаторомъ; творитъ, дѣйствительно, безъ труда, деньги плывутъ ему въ руки, но, все видя и все понимая, онъ ни въ чемъ не находитъ отрады и успокоенія. Высшій смыслъ жизни для него потерянъ; все въ природѣ разлагается передъ нимъ: всѣ его чувства и его умъ анализируютъ жизнь до мелочей, безъ способности обнять ее въ синтезѣ; онъ не можетъ забыться въ высокомъ поэтическомъ произведеніи, не можетъ набрести на глубокую думу или отдохнуть умомъ въ стройномъ философскомъ зданіи: онъ видитъ всю черную работу и художника, и философа. Вся красота искусства для него гибнетъ: въ лучшей музыкѣ онъ видитъ лишь однѣ жилы животнаго по которымъ скользятъ конскіе волосы. Такой карой былъ наказанъ художникъ, который хотѣлъ избѣгнуть труда неразлучнаго со всякимъ творчествомъ; и этотъ докторъ Сегеліель—близкій родственникъ гоголевскаго Петромихали, олицетвореніе всѣхъ тѣхъ искушеній, которыя на своемъ

терновомъ пути встрѣчаетъ художникъ... искушеній блеска, успѣха и золота, мимо которыхъ столь немногіе, даже крупные люди, проходятъ въ сознаніи своего долга.

Среди писателей, особенно облюбовавшихъ такіе сюжеты, сталъ выдвигаться въ тѣ годы и товарищъ Гоголя по Нѣжинскому лицею—Н. В. Кукольникъ. Онъ былъ также изъ числа петербургскихъ знакомыхъ Гоголя, хотя дружбы между ними не было: Гоголь всегда вышучивалъ Кукольника за слишкомъ восторженное и патетическое отношеніе къ жизни, называлъ его не иначе, какъ „Возвышенный“, и удивлялся его способности писать нескончаемыя трагедіи и декламировать ихъ при каждомъ удобномъ случаѣ. Въ серединѣ тридцатыхъ годовъ Кукольникъ—современемъ очень популярный писатель—только начиналъ свою литературную карьеру. Дебютировалъ онъ относительно удачно драматической фантазіей въ стихахъ „Торквато Тассо“ *), основную мысль которой онъ неоднократно повторялъ затѣмъ во многихъ своихъ трагедіяхъ и романахъ. Это была и основная мысль его собственной жизни: сущность ея сводилась все къ тому же противорѣчію между вдохновеніемъ и прозой жизни, между все понимающимъ художникомъ и непонимающей его толпой...

Въ драмѣ „Торквато Тассо“ это противорѣчіе напряжено до крайности. Изображена печальная жизнь великаго итальянскаго поэта, разсказана его несчастная любовь къ двумъ сестрамъ своего покровителя, описано его изгнаніе, его сумасшествіе, и все это затѣмъ, чтобы въ послѣдней сценѣ вознести его до небесъ, вѣнчать его вѣнкомъ Виргилія и заставить его, итальянца, прощаясь съ землей, пророчествовать о великой славѣ Россіи и привѣтствовать издалека Державина, своего наслѣдника. Кромѣ этого неумѣстнаго патріотизма, на который Кукольникъ былъ всегда очень щедръ, драма въ общемъ производитъ впечатлѣніе цѣльное, въ виду неизмѣнно повышеннаго тона, въ какомъ она на-

*) «Торквато Тассо». Большая драматическая фантазія. Спб. 1833.

писана, и единства идеи, которая въ ея основаніе положена. Все въ драмѣ сводится къ указанію непримиримой розни, которая существуетъ между геніемъ и окружающей его средой, а также къ прославленію величія генія, которое въ глазахъ простыхъ людей есть либо дерзость, либо заносчивость, либо коварство, либо, наконецъ, безуміе. Тассо, влюбленный въ герцогиню и изгнанный изъ Ферарры, Тассо, бездомный странникъ, затерянный въ толпѣ нищихъ, Тассо, въ минуту изступленія способный на убійство, геній въ бесѣдѣ съ сумасшедшими, и онъ же увѣнчанный лаврами и всѣми признанный, и со всѣми примиренный [примиренный, однако, не для жизни, а для смерти],—все это рядъ поэтическихъ образовъ, въ которые облечена одна безотрадная мысль: излюбленная романтическая мысль о томъ, что для истиннаго генія нужна иная вселенная, чѣмъ та, въ которую его судьба забросила. Бросить свѣтъ и спрятаться отъ людей въ пустынѣ—вотъ что̀ долженъ сдѣлать этотъ избранникъ Божій. Жить для жизни не стоитъ, такъ какъ сама жизнь — что она такое? Безсонница страстей! Въ нашемъ мірѣ нѣтъ гостепріимства для генія, и правъ онъ, когда ненавидитъ людей, когда чувствуетъ, что весь міръ опустѣлъ для его сердца.

Зачѣмъ же призванъ этотъ геній жить среди людей, и въ чемъ его назначеніе, если встрѣча съ людьми естественно должна его натолкнуть на ненависть, вмѣсто того, чтобы наполнить его сердце любовью? На этотъ вопросъ у многихъ изъ нашихъ романтиковъ былъ отвѣтъ опредѣленный, но не вполнѣ ясный. Они полагали, какъ и Кукольникъ въ своемъ „Тассо“ *), что геній долженъ жить высокими *неземными* страстями; какъ небо, онъ долженъ отдѣляться отъ земли, быть возлюбленникомъ Бога и не любить обманчивость земного совершенства. Пусть простой человѣкъ горитъ въ страстяхъ и желаніяхъ, но тотъ, кому Господь вли-

*) «Торквато Тассо», актъ 3-й, явленіе III, выходъ 2-й.

ваетъ силу прославиться великими дѣлами *на благо человѣческому роду*, долженъ истребить въ себѣ всѣ чувства, о тѣлѣ, о душѣ своей забыть и помнить о своемъ завѣтѣ, для коего онъ призванъ въ міръ. Этотъ завѣтъ — служеніе красотѣ. Она сама свое дѣло сдѣлаетъ и всю работу художника обратитъ на пользу человѣчества, какъ бы далеко ни стоялъ самъ поэтъ отъ всѣхъ людей и житейскихъ вопросовъ.

Въ обрисовкѣ столкновенія этого отчужденнаго поэта съ людьми, для блага которыхъ онъ существуетъ въ мірѣ, писатель тѣхъ годовъ договаривался иногда до большихъ странностей. Не безызвѣстный въ тѣ годы поэтъ Тимофеевъ—одинъ изъ самыхъ восторженныхъ и неистовыхъ романтиковъ—разсуждалъ на эту тему такъ въ своей „драматической фантазіи“ „Поэтъ“ [1834]: „Пусть — говорилъ онъ — жизнь безъ поэзіи — пустыня, изъѣденный червями трупъ, но и сама поэзія тотъ же трупъ подъ гальванизмомъ. Подъ этимъ сводомъ неба поэту душно; въ немъ засыпаютъ желанья, воля, душа... Гдѣ найти для него дѣятельность? Любовь и дружба—бредни, добродѣтель—чадъ, слава—дымъ; свобода? Но развѣ она есть здѣсь въ нашемъ мірѣ? на свѣтѣ? Свободенъ одинъ Богъ. Одно лишь новое, нѣчто совершенно новое, не имѣющее въ себѣ ни малѣйшаго отпечатка человѣчества, могло бы удовлетворить поэта, который боленъ „омерзѣніемъ“ къ людямъ, который признаетъ, что гдѣ человѣкъ — тамъ нѣтъ великаго. Предъ чѣмъ благоговѣть здѣсь, на землѣ, гдѣ идеалъ—вдали звѣзда, чуть ли не солнце, а вблизи — вонючій запахъ сѣры, едва мерцающій огонь? Нѣтъ въ нашемъ мірѣ для поэта ни мѣста, ни дѣла, и если вообще существуетъ роль, его достойная, то только одна — въ состязаніи съ самимъ Творцомъ. Иной разъ поэту кажется, что онъ дѣйствительно способенъ вдохнуть начало бытія въ цѣлый необработанный хаосъ. Ему грезится, что онъ можетъ создать такой міръ, которому позавидуетъ цѣлая вселенная. Слово „ужасъ“ никогда не будетъ существовать въ этомъ вновь созданномъ

мірѣ, въ немъ будетъ вѣчная весна, исчезнетъ въ немъ навсегда всякая злоба. Въ этомъ новомъ мірѣ долженъ жить и новый человѣкъ — душа вселенной. Пусть будетъ онъ безсмертенъ и вѣчно счастливъ. Трудовъ никакихъ не будетъ— человѣкъ съ минуты самаго рожденія узнаетъ все и съ бытіемъ получитъ даръ всепознанія; онъ будетъ имѣть одни желанія, но страстей въ его душѣ не будетъ; страсти — язвы, всепожирающій огонь, эхидны. Ихъ не надо! Такъ мечтаетъ иногда поэтъ, желая исправить ошибки Всевышняго. И эта мечта — его гибель, потому что такого міра нѣтъ, и онъ, если бы былъ созданъ, носилъ бы въ себѣ противорѣчіе. Поэтъ осужденъ жить въ нашемъ, а не въ иномъ мірѣ, и отъ всѣхъ мечтаній онъ долженъ пробудиться на площади, среди большого европейскаго города, среди шумной толпы, иной разъ и пьяной, и грубой; среди этой пошлости надлежитъ ему и умереть подъ говоръ этихъ пигмеевъ въ платьѣ эгоизма. Его предсмертныя страданія ужасны, въ особенности, если онъ сознаетъ, что даже тѣмъ малымъ счастьемъ, которое человѣку на землѣ доступно, онъ не сумѣлъ воспользоваться. Ничтожества проситъ онъ у своего генія передъ прощаніемъ съ жизнью. Онъ боится, что съ своей „живой душой“ онъ даже небесный рай, куда онъ долженъ переселиться, обратитъ въ черную обитель страданія. Но геній беретъ его на небеса, и со смертью для него начинается новая жизнь. Онъ исполнилъ свое назначеніе: онъ былъ залогомъ союза Бога съ человѣкомъ, онъ былъ свѣтиломъ для этого мрачнаго, мертваго міра, лампадой во тьмѣ грѣха, недуговъ и печали, хотя онъ и ненавидѣлъ этотъ міръ. Теперь, въ моментъ смерти, святой небесный огонь долженъ быть взятъ въ свою отчизну. Душа поэта — душа земли; его величіе—величіе людей; его могила—вся вселенная. Даже его безумная мечта о новомъ мірѣ не пропадаетъ даромъ—она цѣлебный бальзамъ для души всегда больного человѣка *).

*) «Опыты Т.м.ф.а». Спб. 1837. Часть I, 1—61.

Далеко не всѣ изъ нашихъ романтиковъ ставили вопросъ о борьбѣ мечты и жизни на такую общую почву; писатель бралъ иногда столкновенія менѣе рѣзкія и тогда его этюды выигрывали въ психологической правдѣ. Такъ, напр., поступалъ Н. А. Полевой, всегда готовый думать и говорить о поэтѣ, объ искусствѣ, о красотѣ и объ ихъ назначеніи въ жизни. Въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, касаясь этой темы, онъ останавливался преимущественно на столкновеніи артистической натуры съ разными прозаическими сторонами дѣйствительной жизни. Разочарованія, на которыя осуждена въ жизни пылкая натура, и уколы, къ которымъ она такъ чувствительна—вотъ тотъ повседневный житейскій фактъ, съ которымъ Полевой никакъ не хотѣлъ помириться. Онъ изображалъ это печальное столкновеніе мечты и дѣйствительности также не безъ романтическихъ условностей, но все-таки стремился приблизиться къ правдѣ жизни. Въ его повѣстяхъ передъ нами люди, а не ходульные символы, и только одно можно этимъ людямъ поставить на счетъ, а именно ихъ не русское, а чисто нѣмецкое происхожденіе.

Краткая исторія жизни одной изъ такихъ артистическихъ натуръ дана намъ въ повѣсти Полевого „Живописецъ“ *). Высокодобродѣтельная, божественнымъ дарованіемъ отмѣченная душа Аркадія — порывистая, готовая на все наброситься и тяготящаяся усидчивой работой—не находитъ среди людей ни мѣста, ни дѣла. Естественное въ такихъ условіяхъ разочарованіе готово угасить въ Аркадіи святую искру и, какъ всегда бываетъ, одна любовь, пылкая и всепоглощающая, кажется ему надежнымъ якоремъ спасенія. Онъ можетъ существовать только вдохновеніемъ страстей. Художникъ исчезнетъ въ немъ, если любовь имъ не овладѣетъ; она одна можетъ возвести его къ великому идеалу... Такъ думалъ Аркадій, но жизненная его загадка рѣшалась, однако, не

*) «Мечты и жизнь». Были и повѣсти, сочиненныя *Н. Полевымъ*. 4 части. М. 1838. Часть II.

такъ просто. Художника продолжало тяготить его вдохновеніе. Голова его наполнялась идеями, на воплощеніе которыхъ у него недоставало ни формъ, ни образовъ, ни выраженій. Какое-то безотчетное стремленіе владѣло имъ, и это стремленіе удовлетворенія съ собой не приносило. Онъ хотѣлъ вырубить весь Кельнскій соборъ однимъ ударомъ изъ одного камня и, конечно, долженъ былъ придти къ сознанію, что на землѣ такія страсти утолить невозможно. И, наконецъ, то, на что онъ въ жизни больше всего надѣялся—любовь, и она ему измѣнила, т.-е. предметъ его страсти оказался не на высотѣ его требованій. Когда ему удалось создать свое первое произведеніе, написать „Прометея", онъ на выставкѣ своей картины могъ убѣдиться въ томъ ничтожествѣ, какое представляли собой всѣ его судьи. Кромѣ банальностей, онъ ничего не услыхалъ отъ нихъ, и первую банальность сказала его невѣста. „Прелестно",—отвѣтила она, глядя на этотъ шедевръ своего возлюбленнаго, на эту картину, „гдѣ Эсхилъ былъ переведенъ рукой Гёте, міѳъ первобытной Эллады проникнутъ огнемъ всеобъемлющаго романтизма, событіе древней исторіи описано въ трагедіи Шекспира". И, въ довершеніе всего, дѣвица вышла замужъ за другого по волѣ своего родителя. Аркадій бѣжалъ въ Италію и тамъ скоро умеръ.

Этотъ же нехитрый сюжетъ разработалъ Полевой и въ своемъ романѣ „Аббаддонна" *), который однимъ уже заглавіемъ показываетъ, изъ какихъ книгъ черпалъ нашъ авторъ свое вдохновеніе. Полевой, впрочемъ, не скрывалъ происхожденія своего героя и оставилъ ему его нѣмецкую фамилію. „Аббаддонна" — романъ изъ нѣмецкой жизни, и герой его, поэтъ Рейхенбахъ — авторъ славной трагедіи „Арминій".

Содержаніе „Аббаддонны"—варіація на тему извѣстнаго эпизода изъ „Мессіады" Клопштока; исторія чистой востор-

*) «Аббаддонна». Сочиненіе *Н. Полевого*. Спб. 1840. 4 части [романъ печатался съ 1835 г.].

женной души, влюбленной въ грѣшную душу и готовой на всѣ жертвы, чтобы спасти ее. Такъ и поэтъ Рейхенбахъ, пламенный поклонникъ и родственникъ героевъ Шиллера, готовъ отдать свою жизнь, чтобы спасти великую актрису Элеонору изъ того омута свѣтской пошлости и разнузданности, въ которомъ она погрязла. Ради этого подвига любви, любви артиста къ женщинѣ и артисткѣ, онъ забываетъ чистую, скромную любовь, которая соединяла его съ нѣжной, прелестной, но безцвѣтной Генріэттой, его первой музой и свидѣтельницей первыхъ его литературныхъ успѣховъ. Тема, какъ видимъ, сентиментальная и старая, пересказанная, однако, Полевымъ занимательно и мѣстами очень драматично. Основная идея романа заключена, впрочемъ, не въ этомъ противопоставленіи двухъ сердечныхъ склонностей—любви поэтичной, страстной и грѣшной и любви чистой, тихой и невинной. Пользуясь лишь этимъ драматическимъ положеніемъ для развитія самого разсказа, авторъ при каждомъ случаѣ выдвигаетъ другое противопоставленіе съ болѣе глубокимъ смысломъ — все ту же намъ хорошо знакомую антитезу мечты и существенности. Съ одной стороны, передъ нами поэтъ и артистка съ ихъ невыраженными и, можетъ быть, невыразимыми чувствами и думами, съ другой—вся житейская проза въ видѣ филистерскихъ бюргерскихъ семей, свѣтскаго пустого круга, педантической критики присяжныхъ литературныхъ судей и т. д.

„Для чего никогда не находилъ я въ мірѣ согласія и мира между жизнью и поэзіей—спрашиваетъ Рейхенбахъ—ни въ дѣтствѣ, ни въ юности, ни въ мастерскихъ отца, ни въ школахъ и училищахъ, ни въ семейной жизни, ни тамъ, гдѣ люди отвели особенный участокъ искусству, въ ученыхъ обществахъ, театрахъ, галлереяхъ статуй и картинъ,—не находилъ его ни въ буйномъ разгулѣ жизни, ни въ хижинѣ бѣднаго, ни въ чертогахъ богача, ни между людьми, которые называютъ себя поэтами и художниками — нигдѣ, нигдѣ? И вездѣ искусство и поэзія—ремесло, забава досуга

или глупость, безразсудство. Но вѣдь есть, однакожъ, въ человѣкѣ особенное чувство искусства и поэзіи? Но вѣдь Богъ отдѣлилъ же ему цѣлую треть души человѣческой? Но искусство свѣтлѣетъ, однакожъ, именами Шекспира, Рафаэля, Моцарта, Микель-Анджело? Что же такое все это? Не потому ли, что безъ цѣли, безъ плана жизни, безъ отчета въ своемъ вдохновеніи, въ вѣчной борьбѣ съ самимъ собою, поэтъ, обдѣленный въ раздѣлѣ всего того, что судьба даетъ душѣ человѣка на землѣ, упалъ съ неба и бродитъ здѣсь между людьми съ неясной и недостижимой идеею неба, между тѣмъ какъ всѣмъ другимъ есть дѣло на землѣ и съ землею кончится это дѣло для всѣхъ другихъ. Юристъ судитъ, купецъ торгуетъ, крестьянинъ пашетъ, ремесленникъ шьетъ, кроитъ, куетъ, солдатъ дерется. А что дѣлаетъ художникъ и поэтъ? Глотаютъ дымъ мечтаній или подслуживаются другимъ изъ насущнаго хлѣба...“ Такъ жаловался нашъ поэтъ и иногда въ этихъ жалобахъ терялъ нить мыслей и впадалъ въ какой-то восторгъ отчаянія. „Природа! Люди! — восклицалъ онъ, протягивая руки. — О! ради Бога, душу моей душѣ, сердце моему сердцу, любовь моей любви! Нѣтъ отвѣта — все безмолвствуетъ!“ „Осень жизни міра, осень бытія человѣка! Неужели ты наступила для насъ? Неужели Наполеонъ, Гете, Байронъ, В. Скоттъ, вы всѣ, великіе, вдругъ улетѣвшіе изъ міра, какъ ласточки, улетающія осенью, предсказываете намъ холодную осень? И воетъ буря осенняя! И всѣ мечты, всѣ созданія оставшихся бѣдняковъ, всѣ наши мелкіе помыслы—листочки, пожелтѣлые на грязной, холодной, застывшей почвѣ міра!..“ „Да, во многомъ виноватъ нашъ вѣкъ, нашъ промышленный, индустріальный вѣкъ. Нашъ вѣкъ—монета, истертая употребленіемъ, обрѣзанная, вытравленная жидами и мѣновщиками“.

„Мы родимся холодно, систематически; мы плачемъ въ нашей колыбели, а не производимъ звуковъ гармоническихъ. Пчелы не летаютъ нынѣ на уста младенца поэта со своимъ медомъ: гдѣ отыскать имъ колыбель его въ нашихъ горо-

дахъ! Только любовь могла бы еще воспламенить поэта на созданія чудныя...“ Но, какъ показываетъ мораль нашего романа, для пылкой души кроется и въ любви родникъ великихъ несчастій.

Варіаціи этой мелодраматичной темы безконечны. Въ большинствѣ случаевъ писатель, за недостаткомъ глубокихъ мыслей и тонкихъ чувствъ, впадалъ въ шаблонную реторику и перекраивалъ на свой ладъ чужія положенія, вычитанныя у иностранныхъ романистовъ. Но эта истрепанная тема оживала, когда авторъ, вмѣсто того, чтобы обобщать типы, придавалъ имъ болѣе реальный и мѣстный характеръ, въ особенности когда онъ вводилъ въ разсказъ элементъ соціальный. Въ повѣсти „Художникъ“ уже знакомаго намъ Тимофеева и въ разсказѣ „Именины“ Н. Ф. Павлова передъ нами двѣ такихъ попытки разнообразить этотъ старый романтическій сюжетъ именно такимъ новымъ общественнымъ мотивомъ.

„Художникъ“ Тимофеева [1833] не свободенъ отъ того романтическаго перенапряженія чувствъ, которымъ всегда грѣшилъ этотъ искатель эффектовъ. Въ одиннадцать лѣтъ его художникъ хотѣлъ уже разгадать тайну сотворенія вселенной и считалъ себя существомъ чужимъ для людей, заброшеннымъ въ здѣшній свѣтъ изъ чужого міра. Его мечты всегда были наполнены необыкновеннымъ и чудеснымъ. То онъ предводительствовалъ отважными шайками, свершалъ геройскіе подвиги, то уносился въ какой-нибудь новосозданный міръ и населялъ его своими идеалами, то спускался въ адъ и завоевывалъ тронъ Велзевула и съ подземнымъ воинствомъ шелъ противъ вселенной; онъ видѣлъ, какъ горы таятъ, рѣки улетаютъ парами, земля съ трескомъ разваливается на части... Дымъ и смрадъ, громъ и буря, всеобщее разрушеніе—и посреди этого хаоса —онъ... Онъ любилъ также прогуливаться по карнизамъ развалившихся строеній или бѣгать по срубамъ колодезей... Онъ обнаруживалъ, какъ видимъ, самыя эксцентричныя привычки и необыкновенный

складъ ума и фантазіи, и все это здѣсь, среди этого міра, окруженный людьми, этими жалкими, смѣшными и, между тѣмъ, прелестными, величественными созданіями, среди нихъ, среди этого великолѣпнаго храма, возносящагося главою до небесъ и стоящаго на гусиныхъ лапкахъ! И поэтъ былъ осужденъ въ этомъ мірѣ искать красоты и истины, истины, которая здѣсь, на землѣ, какъ „отвратительное, покрытое грязью и въ лохмотьяхъ существо ютится, свернувшись клубкомъ въ отверстіи какого-то мрачнаго грота“. Чего ему искать у людей — онъ всѣмъ чужой, онъ гость среди нихъ. Явится, мелькнетъ кометой по ночному небу, и нѣтъ его. Горитъ комета, толпа клянетъ ее, упрекаетъ, ищетъ въ ней пророчества ужаснѣйшихъ несчастій; потухла—потомство дивится глупости толпы и дѣлаетъ точно то же. А между тѣмъ, художнику болѣе, нежели кому-либо, надобно быть человѣкомъ. Рѣшительная воля, пламенныя страсти, возвышенная душа, здравый разумъ и чувствительное сердце— вотъ его необходимыя свойства. Сердце художника—термометръ, зеркало, въ которомъ отражаются всѣ люди, весь міръ, земля и небо!“.

Какъ жить съ такимъ даромъ въ нашемъ мірѣ? И несчастный „баловень судьбы“, поэтъ, обреченъ на всѣ терзанія. Создалъ онъ картину, написалъ и онъ своего „Прометея“, и судъ глупцовъ и толпы—его награда. Хотѣлъ онъ продать свою картину, ее стали мѣрить на аршины, и она была куплена съ условіемъ, что художникъ поправитъ небольшія погрѣшности, замѣченныя въ ней не покупщикомъ, а его французскимъ учителемъ, служившимъ два года сторожемъ при берлинской картинной галлереѣ! Нужда заѣдала художника. Имущество его описали, съ квартиры его выселили; у него остался одинъ комодъ, который онъ взвалилъ на извозчика и свезъ на площадь. Онъ взялъ лоскутъ бумаги, написалъ на немъ „квартира художника“, привязалъ этомъ лоскутъ къ шесту, воткнулъ шестъ возлѣ комода и пошелъ бродить по улицамъ. Онъ днями не ѣлъ,

за-то пилъ, сколько душѣ угодно, потому что изъ Невы вода отпускается даромъ. Вся жизнь его была рядомъ лишеній и страданій, и физическихъ, и духовныхъ, и одна только любовь могла согрѣть его изстрадавшееся сердце. Но эта любовь его окончательно погубила, не по его винѣ, даже не по винѣ того, кого полюбилъ онъ. Нашъ художникъ—и въ этомъ заключается вся оригинальность замысла Тимофеева—былъ незаконнорожденный. Онъ не зналъ, кто его отецъ и мать, хотя, въ концѣ концовъ, нашелъ своихъ родителей. Свою мать онъ встрѣтилъ на улицѣ—нищей, развратной и преступной женщиной, а его отецъ оказался помѣщикомъ той усадьбы, гдѣ онъ родился. Дѣтство его было ужасно. Онъ жилъ въ какой-то грязной избѣ, среди сора, вмѣстѣ съ овцами и коровами; онъ было предметомъ презрѣнія всей дворни. Псари травили его собаками; кучера заставляли прыгать черезъ палку, прихлестывая кнутомъ; повара обливали помоями. Онъ не могъ понять, почему тѣ же самые люди, которые отгоняли его отъ себя кнутомъ и травили собаками, ласкали собакъ и кормили ихъ разными лакомствами. Величайшимъ его удовольствіемъ стало уединеніе. Поздно вечеромъ онъ возвращался въ деревню и, пробравшись черезъ гумна въ какую-нибудь избу, кралъ кусокъ хлѣба и снова бѣжалъ въ поле. Ночь проводилъ онъ гдѣ случалось, подъ плетнемъ, въ стогѣ сѣна, въ помойной ямѣ. Первое существо, которое приняло въ немъ участіе, была собака... Наконецъ, случайно прогуливавшійся баринъ заинтересовался узнать кто онъ, и тайна рожденія его открылась. Онъ поступилъ въ число дворни и сталъ лакеемъ своего родителя. Помѣщикъ былъ любитель живописи, и вотъ, однажды взглянувъ въ грустную минуту на висѣвшую въ его комнатѣ Рафаэлеву Мадонну, лакей понялъ, въ чемъ его призваніе. Онъ сталъ жить новой жизнью, и образъ Мадонны не покидалъ его. Помѣщикъ оказался все-таки настолько добрымъ человѣкомъ, что позволилъ лакею учиться вмѣстѣ со своими

дѣтьми, съ его сыномъ и дочерью; успѣхи несчастнаго мальчика обратили на себя вниманіе его отца, и когда онъ замѣтилъ въ немъ страсть къ рисованію, онъ далъ ему возможность учиться этому искусству. Двѣнадцати лѣтъ его свезли въ губернскій городъ и отдали въ выучку какому-то старику академику. У него провелъ онъ восемь лѣтъ и художникомъ вернулся къ себѣ на родину. Его отецъ уже умеръ; имѣньемъ правилъ его братъ, и къ нему поступилъ онъ въ качествѣ домового живописца. Жизнь была трудная, полная униженій; новый баринъ былъ вспыльчивъ и смотрѣлъ на искусство, какъ на ремесло, и за то, что художникъ понималъ свое призваніе иначе и защищалъ свои права, его братъ однажды приказалъ его высѣчь. Онъ чуть не сошелъ съ ума, но судьба на нѣкоторое время спасла его для искусства... именно—на время, такъ какъ иная, неизлечимая рана разъѣдала его сердце. Онъ былъ влюбленъ, безумно влюбленъ въ дочь своего отца, въ свою сестру, которую онъ полюбилъ еще тогда, когда они вмѣстѣ играли и учились... Онъ встрѣтился съ ней потомъ, когда уже сталъ художникомъ настоящимъ, но не нашелъ въ ней не только отзвука на свои чувства, но даже пониманія своихъ стремленій, какъ художника... Сумасшедшій домъ пріютилъ эту мятежную душу.

Не будь этой соціальной тенденціи, проведенной въ повѣсти реально и ярко, разсказъ Тимофеева былъ бы ординарнымъ пересказомъ стараго. Общественная тенденція придаетъ этому разсказу нѣкоторое историческое значеніе, такъ какъ, за вычетомъ всѣхъ романтическихъ условностей и нелѣпостей, въ немъ остается большая доза правды о положеніи многихъ и очень многихъ талантливыхъ натуръ, выроставшихъ въ томъ или иномъ подневольномъ состояніи *).

Съ еще бо̀льшей смѣлостью освѣщено подневольное по-

*) „Опыты Т.м.ф.а.“, часть II, 1—184.

ложеніе талантливой натуры въ повѣсти Н. Ф. Павлова „Именины“ *). Эта повѣсть, вмѣстѣ съ двумя другими [„Аукціонъ“ и „Ятаганъ“], которыя Павловъ издалъ въ 1835 году, надѣлала много шума. Цензура обратила на сборникъ свое особое вниманіе, и онъ заслужилъ даже высочайшее неодобреніе. Дѣйствительно, изъ всѣхъ разсказовъ тѣхъ годовъ повѣсть „Именины“ была самая тенденціозная и касалась самого больного общественнаго вопроса. Это была исторія жизни одного крѣпостного музыканта, исторія по своему глубокому трагическому смыслу упредившая извѣстную повѣсть Герцена „Сорока-Воровка“. Авторъ не столько описывалъ, сколько разсуждалъ или, вѣрнѣе, наводилъ читателя на раздумье. Началъ онъ свою повѣсть съ очень для того времени характернаго замѣчанія: „Человѣкъ вездѣ равно достоинъ вниманія—говорилъ Павловъ—потому что въ жизни каждаго, кто бы онъ ни былъ, какъ бы ни провелъ свой вѣкъ, мы встрѣтимъ или чувство, или слово, или происшествіе, отъ которыхъ поникнетъ голова, привыкшая къ размышленію. Приглядись къ мирному жильцу земли, къ послѣднему изъ людей,—въ немъ найдешь пищу для испытующаго духа, точно также какъ въ человѣкѣ, который при глазахъ цѣлаго міра пронесется на волнахъ жизни изъ края въ край...“ Писать такъ въ годы торжества романтики—значило предчувствовать наступленіе той литературы, которая займется изображеніемъ самыхъ простыхъ и самыхъ сѣрыхъ людей,—и жизнь такого простого, съ виду сѣраго человѣка разсказалъ авторъ и показалъ намъ, сколько смысла и чувства въ такой жизни было...

Герой разсказа—музыкантъ и пѣвецъ—былъ крѣпостной по рожденію; на мѣдныя деньги учили его грамотѣ, и санъ дьячка былъ границей его честолюбія. Но въ одинъ день, съ котораго началось его второе рожденіе, ему осмо-

*) „Три повѣсти“ *Н. Ф. Павлова*, Москва. 1835.

трѣли зубы и губы; по осмотру заключили, что онъ—флейта, отчего и отдали учиться на флейтѣ. Его готовили въ куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности, но музыка спасла своего питомца: музыкальныя способности въ немъ развернулись. Много лѣтъ прошло, какъ мало-по-малу онъ началъ знакомиться съ извѣстными артистами въ Москвѣ, бросилъ флейту, оказалъ большіе успѣхи на скрипкѣ и на фортепіано, наконецъ, пѣніе сдѣлалось его исключительнымъ занятіемъ. Любители музыки дорожили его дарованіемъ, но онъ былъ для нихъ машина, которая играетъ и поетъ, къ которой во время игры и пѣнія стоятъ лицомъ, а послѣ поворачиваются спиной. Его хвалили, но эта похвала пахла милостью. Однажды, впрочемъ, случай свелъ его съ пламеннымъ поклонникомъ искусства, который его, выброшеннаго изъ числа людей, полюбилъ какъ брата. Крѣпостному было ново, неловко, когда его другъ при гостяхъ заводилъ съ нимъ разговоръ или просилъ садиться. „Вѣрьте — признавался нашъ художнакъ — что не смѣть сѣсть, не знать, куда и какъ сѣсть—это самое мучительное чувство!“ Этотъ благородный любитель искусствъ далъ ему средство совершенствовать свой талантъ, заставлялъ его читать книги; но книги оскорбляли крѣпостного: онѣ все говорили ему о другихъ и ничего о немъ самомъ. Онъ видѣлъ въ нихъ картину всѣхъ нравовъ, всѣхъ страстей, всѣхъ лицъ, всего, что движется и дышетъ, но нигдѣ не встрѣтилъ себя: онъ былъ естествомъ, исключеннымъ изъ книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, о которомъ нечего сказать и котораго нельзя вспомнить—онъ былъ хуже, чѣмъ убитый солдатъ, заколоченная пушка, переломанный штыкъ или порванная струна... Человѣкъ, отъ котораго онъ „зависѣлъ“, долженъ былъ однако ѣхать въ свое имѣніе, и съ нимъ вмѣстѣ уѣхалъ и нашъ музыкантъ. Къ счастью, по сосѣдству съ имѣніемъ его барина находилась и усадьба его благодѣтеля. Въ качествѣ пріѣзжаго музыканта онъ сдѣлался деревенскимъ учителемъ, и

въ усадьбахъ ему оказывали больше почета, чѣмъ въ столицѣ, потому что никто не зналъ тайны его рожденія Здѣсь, въ деревенской глуши, встрѣтился онъ съ одной пріѣзжей барышней, музыкантшей-пѣвицей, на вечерѣ, куда онъ былъ приглашенъ аккомпанировать. Александрина ему понравилась. „Впрочемъ,—признавался онъ,—я не могу сказать, что она понравилась мнѣ; съ словомъ *нравиться* соединяется какая-то мысль о равенствѣ... Я смотрѣлъ на нее какъ на картину, которая не продается, которую нечѣмъ купить; какъ на ноты, по которымъ предсказывалъ себѣ волшебное согласіе ихъ звуковъ: смотрѣлъ, не какъ человѣкъ, а какъ музыкантъ...“ На эту богиню любовался онъ однажды издалека, за обѣдомъ, сидя на унизительномъ краю стола. Одинъ изъ гостей, худощавый человѣкъ и по виду пречувствительный, любитель музыки, разговаривалъ со своимъ сосѣдомъ: „А я сегодня обработалъ славное дѣло,—сказалъ онъ,—продалъ двухъ музыкантовъ по тысячѣ рублей штуку...“ „Вы понимаете, чего мнѣ хотѣлось,—признавался нашъ музыкантъ автору повѣсти,—но не то было время“. Онъ полюбилъ Александрину, и она его: искусство ихъ сблизило, и первое время въ чаду увлеченія артистъ забылъ, кто онъ. Онъ очнулся, когда услыхалъ признаніе изъ ея устъ, и тутъ пришлось ему открыть свою тайну... Ему впрочемъ блеснулъ было лучъ спасенія: его пріятель и благодѣтель готовъ былъ купить его у помѣщика, но помѣщикъ не могъ продать его, такъ какъ проигралъ въ карты деревню, къ которой онъ былъ приписанъ, и его самого... „Я помню,—разсказывалъ артистъ, что я очутился въ спальнѣ моего барина... Лампада теплилась передъ образомъ, и первые лучи утренней зари прокрадывались сквозь закрытые ставни. У меня въ рукѣ была бритва. Я смѣло подошелъ къ кровати, съ отвагой убійцы отдернулъ занавѣсъ, но... я говорю правду—рука моя опустилась прежде, чѣмъ я увидѣлъ, что въ постели никого не было. Да, у меня не достало бы силы на такое дѣло... я долженъ бла-

годарить Провидѣніе, что мой баринъ не ночевалъ дома: онъ проигрывалъ послѣднее и проигралъ". На другой день музыкантъ бѣжалъ переодѣтый, съ тѣмъ, чтобы пойти въ солдаты или кончить жизнь самоубійствомъ. Онъ бродилъ, какъ Каинъ, по Россіи. Голая осенняя земля бывала часто ему постелью, а засохшій хлѣбъ—пищею... Его взяли, наконецъ, какъ безпаспортнаго, и привели къ исправнику. Исправникъ прежде допроса схватилъ его за воротъ и замахнулся; „но Богъ спасъ насъ обоихъ — разсказывалъ артистъ,—блюститель благочинія и порядка вѣрно хотѣлъ только начать, съ чего слѣдуетъ, и пострашать меня, но не ударить; а я видѣлъ уже минуту, какъ неумѣстный судья полетитъ вверхъ ногами къ подножію зерцала". Но наступилъ наконецъ и для него часъ искупленія. Онъ былъ приговоренъ въ солдаты и поступилъ въ арестантскія роты. „Я дышалъ свободно, — разсказывалъ онъ, — я смотрѣлъ смѣло, меня уже не пугала барская прихоть; я сдѣлался слугою не людей, но смерти",—и онъ пошелъ на войну. Съ поэтическимъ трепетомъ увидѣлъ онъ въ первый разъ поприще, гдѣ падаютъ люди не по выбору, а кто попадется, гдѣ презрѣніе къ жизни можетъ задушить человѣческое лицепріятіе и поставить первымъ того, кто стоялъ послѣднимъ... Онъ былъ украшенъ затѣмъ георгіевскимъ крестомъ и дослужился до офицерскаго чина.

Таково содержаніе самой смѣлой по замыслу повѣсти тридцатыхъ годовъ. Изъ всѣхъ разсказовъ, въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись художники, это была единственная повѣсть, въ которой противорѣчіе мечты и дѣйствительности было понято въ самомъ непосредственномъ смыслѣ и схвачено съ его самой грубой, но вмѣстѣ съ тѣмъ самой реальной стороны. Конечно, это было противорѣчіе устранимое, тогда какъ то духовное противорѣчіе, о которомъ такъ часто говорили тогда писатели, было неизмѣннымъ и вѣчнымъ.

На этотъ интересъ писателей къ темамъ объ искусствѣ и о психическомъ мірѣ его служителя, Гоголь, какъ извѣстно, также откликнулся. Помимо теоретической разработки вопроса, съ которой мы уже знакомы, нашъ писатель попытался изложить свое артистическое исповѣданіе въ формѣ повѣсти. Онъ написалъ свой знаменитый разсказъ „Портретъ“ [1835], разсказъ, имѣющій двоякое значеніе,—художественное и философское—какъ разработка извѣстной общей темы и, кромѣ того, автобіографическое, какъ личное признаніе.

Надъ этой повѣстью Гоголь трудился долго, часто ее передѣлывалъ и въ сороковыхъ годахъ написалъ ее почти-что заново, что̀ указываетъ на особое значеніе, какое онъ придавалъ ей. Если въ выборѣ сюжета и во внѣшнемъ мотивѣ повѣсти, т.-е. въ освѣщеніи противорѣчія истиннаго искусства и ремесла, и въ исторіи о таинственномъ портретѣ, въ которомъ заключена частица души оригинала, съ котораго онъ списанъ, нашъ писатель, по всѣмъ вѣроятіямъ, былъ связанъ извѣстными литературными традиціями и воспоминаніями *), то въ разработкѣ идейной темы и, главнымъ образомъ, въ развитіи двухъ основныхъ ея мыслей Гоголь былъ вполнѣ оригиналенъ и субъективенъ.

Въ повѣсти было мало бытовыхъ чертъ, а мотивъ соціальный совсѣмъ отсутствовалъ. „Портретъ“—разсказъ общаго типа, въ которомъ можно было безъ нарушенія правдоподобности замѣнить всѣ русскія имена лицъ и мѣстъ иностранными. Скажемъ больше: при такой замѣнѣ повѣсть выиграла бы въ стилѣ, такъ какъ она написана въ духѣ западной романтики и спеціально нѣмецкой. Не будь въ ней нѣкоторыхъ мыслей, выстраданныхъ самимъ Гоголемъ, можно было бы подумать, что онъ написалъ ее, вспоминая Гоффманна или Тика.

*) См. *И. Шляпкинъ.* «Портретъ» Гоголя и «Мельмотъ-скиталецъ» Матюрена. «Литературный Вѣстникъ» 1902, I, 66–68.

Въ повѣсть включено два эпизода: разсказъ о гибели таланта художника Черткова и разсказъ о страшномъ ростовщикѣ. При всей занимательности этихъ двухъ эпизодовъ и мастерствѣ, съ какимъ они изложены, не въ нихъ смыслъ повѣсти. Легенда о ростовщикѣ и объ антихристѣ—простая сказка, а исторія гибели художника—подтвержденіе старой мало интересной истины о томъ, что нельзя служить Богу и мамонѣ, что погоня за успѣхомъ и служеніе святому, истинному призванію трудно примиримы.

Когда злой геній шепчетъ художнику: „Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь завидное право кинуться съ Исаакіевскаго моста въ Неву или, завязавъ шею платкомъ, повѣситься на первомъ гвоздѣ; а труды твои первый маляръ, накупивъ ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дѣлается на свѣтѣ для пользы. Бери же скорѣе кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажутъ; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чѣмъ больше смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тѣмъ больше въ карманѣ будетъ у тебя денегъ и славы“—когда злой геній шепчетъ эти слова, онъ повторяетъ то, что всегда говорилось всѣми искусителями.

Немного новаго, хотя много красиваго, давали и тѣ страницы повѣсти, на которыхъ Гоголь стремился передать читателю впечатлѣнія истиннаго, высокаго вдохновенія и искусства. Припомнимъ одну страничку, и тотъ, кто имѣлъ случай читать романтическія повѣсти тридцатыхъ годовъ, найдетъ въ словахъ Гоголя много знакомаго, хотя, конечно, долженъ будетъ признать необыкновенную силу этой красивой и патетической рѣчи.

„Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло передъ нимъ [Чертковымъ] произведеніе художника. И хоть

бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хоть бы даже извинительное тщеславіе, хотя мысль о томъ, чтобы показаться черни,—никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; и все это было наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ осѣнившей его мысли. Вся картина была мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію".

Никогда, говоря объ искусствѣ, Гоголь не возвышался до такой красоты выраженія, а если невыразимое, дѣйствительно, поддается до извѣстной степени выраженію, то такая степень на этой страницѣ достигнута, и въ писателѣ чувствуется и творецъ изящнаго, и удивительно тонкій его цѣнитель.

Но не эти страницы въ „Портретѣ" самыя цѣнныя. Есть въ этой повѣсти двѣ мысли, которыхъ мы не встрѣчаемъ въ однородныхъ повѣстяхъ того времени, и мысли очень важныя въ исторіи развитія взглядовъ самого Гоголя на искусство. Одна мысль касается вопроса о степени приближенія искусства къ жизни, т.-е. о границахъ истиннаго реализма въ художественномъ воспроизведеніи дѣйствительности.

Гоголь описываетъ впечатлѣніе, произведенное таинственнымъ портретомъ на художника: „Чертковъ—разсказываетъ

онъ—съ жадностью ухватился за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея пораженный страхомъ. Темные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и вмѣстѣ мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человѣческіе глаза... Не смѣя думать о томъ, чтобы взять портретъ съ собою, Чертковъ выбѣжалъ на улицу. „Что это?“ думалъ онъ самъ про себя: „искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводитъ высшее познаніе искусства и, черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность, та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Непостижимо. Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?“ Но это было, во всякомъ случаѣ, произведеніе искусства, „которое, хотя оно было не окончено, однако носило на себѣ рѣзкій признакъ могущественной кисти; но, при всемъ томъ, эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой то невольный упрекъ художнику. Всѣ чувствовали, что это верхъ истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли человѣка“.

Если мы вспомнимъ, что въ тѣ годы, когда „Портретъ“ былъ написанъ, въ талантѣ Гоголя происходила упорная борьба его романтическихъ вкусовъ со все болѣе и болѣе созрѣвавшей въ немъ способностью реальнаго воспроизведенія дѣйствительности, то эти размышленія художника надъ границами приближенія искусства къ жизни пріобрѣтаютъ особое значеніе. Талантъ Гоголя, дѣйствительно, начиналъ приближать художника къ той чертѣ, которая отдѣляетъ искусство отъ самой жизни. Съ каждымъ годомъ анатомическая зоркость его артистическаго взгляда возрастала. Жизнь теряла постепенно тотъ привлекательный образъ, который она имѣла, когда художникъ смотрѣлъ на нее взглядомъ романтика; грязь и грѣховность этой жизни переходила на страницы созданій поэта. У него—строгаго моралиста отъ рожденія—могла явиться мысль, не служитъ ли искусство самому грѣху, когда такъ правдиво его воспроизводитъ? Эту робкую, тревожную мысль онъ и высказалъ въ своемъ „Портретѣ“. Предчувствовалъ ли онъ, что со временемъ онъ въ ней укрѣпится, и все, созданное имъ въ реальномъ стилѣ, сочтетъ грѣхомъ передъ человѣчествомъ и въ частности передъ русской жизнью? Пока эта мысль была высказана лишь въ видѣ догадки, и, увлекаемый своимъ талантомъ, Гоголь не давалъ ей власти надъ своимъ творчествомъ. Онъ, наоборотъ, старался, чтобы именно частица жизни, самой будничной, оставалась въ его созданіяхъ. Онъ не убѣгалъ грѣха жизни, а шелъ ему смѣло навстрѣчу. Но замѣчательно все-таки, что именно въ годы этого смѣлаго творчества такая мысль остановила на себѣ его вниманіе.

Въ томъ же „Портретѣ“ Гоголь высказалъ и другую мысль, которой также суждено было со временемъ восторжествовать въ его творчествѣ. Эта была мысль о религіозномъ призваніи искусства и поэта въ жизни—мысль старая, нѣмецкая по происхожденію. Художникъ, написавшій знаменитый портретъ ростовщика — который былъ не кто иной,

какъ самъ антихристъ—долженъ былъ искупить свой грѣхъ—свой невольный грѣхъ артиста. Онъ и искупилъ его постомъ и молитвой, иноческой жизнью и своимъ же искусствомъ, которое онъ всецѣло посвятилъ Богу. Міръ дѣйствительный далеко отошелъ отъ него, и ему здѣсь, на землѣ, уже свѣтилъ міръ небесный. Стоя на краю могилы, раскаявшійся художникъ говорилъ своему сыну: „Дивись, мой сынъ, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все силится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновеніе художника. Безчисленны будутъ жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безъ образа, на землѣ. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помышленій. Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству... Но слушай, что мнѣ открыла въ часъ святого видѣнія сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лика Дѣвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изобразить божественныя черты ея, я былъ посѣщенъ вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осѣняла меня, и ангелъ возносилъ мою грѣшную руку, я чувствовалъ, какъ шевелились на мнѣ волоса мои, и душа вся трепетала. Тогда же предсталъ мнѣ во снѣ пречистый ликъ Дѣвы, и я узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существованіе этого демона въ портретѣ будетъ невѣчно“. Случай, разсказанный въ „Портретѣ“, конечно, случай исключительный, и портретъ, списанный простодушнымъ художникомъ съ антихриста, могъ требовать отъ него покаянія и искупленія, но, читая эту повѣсть и припоминая нѣкоторыя мысли, которыми Гоголь былъ занятъ въ послѣдніе годы своей жизни, нельзя опять не подивиться страннымъ совпаденіямъ... Гоголя, какъ извѣстно, преслѣдовали списанные имъ съ натуры портреты; онъ думалъ, что онъ совершилъ тяжкій грѣхъ, отдавшись свободно своему вдохновенію, онъ вѣрилъ, что на немъ лежитъ обязанность искупить все имъ

сотворенное новой творческой работой, и онъ у Бога также просилъ вдохновенія, чтобы Онъ помогъ ему на новомъ пути уже не простого воспроизведенія дѣйствительности, а ея возсозданія въ идеальныхъ образахъ. Постомъ и молитвой замаливалъ Гоголь свой грѣхъ реалиста-художника.

Но все это случилось значительно позже; въ серединѣ тридцатыхъ годовъ религіозная мысль лишь промелькнула въ „Портретѣ", не возбудивъ пока особенно сильной тревоги въ душѣ благочестиваго художника.

Вопросъ о трагической участи непримиреннаго съ жизнью поэта поставленъ Гоголемъ и въ повѣстяхъ „Невскій проспектъ" [1834] и „Записки сумасшедшаго" [1833—34].

Обѣ повѣсти имѣютъ также двоякое значеніе въ творчествѣ Гоголя... Онѣ любопытны, во-первыхъ, по той основной мысли о разладѣ мечты и дѣйствительности, мысли, которая составляла для нашего автора всегда предметъ самыхъ упорныхъ и печальныхъ раздумій; во-вторыхъ, важно въ нихъ то, что эта идея, которую современники Гоголя почти всегда старались освѣтить съ ея сентиментальной и романтической стороны, развита и воплощена Гоголемъ въ образахъ самыхъ реальныхъ, житейски-правдивыхъ, безъ всякаго повышенія тона и настроенія. Обѣ повѣсти—примѣръ того, какъ быстро развивался въ Гоголѣ талантъ бытописателя. Въ нихъ этотъ талантъ проступаетъ ярче наружу, чѣмъ даже въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ", гдѣ спокойный идиллическій тонъ съ умысломъ такъ ровенъ и однообразенъ. Въ „Невскомъ проспектѣ" и въ „Запискахъ сумасшедшаго" тонъ постоянно мѣняется, переходя отъ патетическаго къ рѣзко комическому, всегда въ соотвѣтствіи съ изображеннымъ лицомъ и положеніемъ, т.-е. въ соотвѣтствіи съ житейской правдой. Сколько, напр., жанровыхъ картинокъ и изумительно вѣрныхъ силуэтовъ разбросано на тѣхъ страницахъ, гдѣ Гоголь описываетъ Невскій проспектъ въ различные часы дня и ночи, гдѣ онъ описываетъ бытъ ремесленниковъ, офицерскую жизнь, жизнь художниковъ и при-

тоны разврата. Разнообразіе удивительное — при той краткости, съ какой обрисованы всѣ типы и положенія. Недаромъ Пушкинъ называлъ „Невскій проспектъ“ самымъ *полнымъ* изъ сочиненій Гоголя, желая, вѣроятно, этимъ сказать, что до этой повѣсти ни въ одномъ изъ своихъ произведеній Гоголь не обнаружилъ такого богатства настроеній, тоновъ, красокъ, позъ, профилей и портретовъ. Такъ же точно и въ „Запискахъ сумасшедшаго“ передъ нами на маломъ количествѣ страницъ—цѣлый романъ изъ департаментской жизни чиновъ высшихъ и низшихъ.

Основная идея обѣихъ повѣстей — все та же мысль о борьбѣ художника съ прозою жизни, борьбѣ жестокой, полной страданій, которая почти всегда кончается гибелью дерзкаго, возмутившагося противъ дѣйствительности человѣка.

Въ „Невскомъ проспектѣ“ самъ авторъ неоднократно наводитъ читателя на эту основную идею своего произведенія. „О! какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты?“ „Боже! что за жизнь наша!—вѣчный раздоръ мечты съ существенностью!“—говоритъ самъ Гоголь, задумываясь надъ судьбой своего героя; и, заканчивая свою повѣсть, онъ повторяетъ тотъ же возгласъ, но только не въ патетическомъ, а въ полушутливомъ тонѣ: „Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! Получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходитъ наоборотъ. Тому судьба дала прекраснѣйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замѣчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго все сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ пѣшкомъ и довольствуется только тѣмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо него проводятъ рысака. Тотъ имѣетъ отличнаго повара, но, къ сожалѣнію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить; другой имѣетъ ротъ величиною въ арку Главнаго штаба, но, увы! долженъ до-

вольствоваться какимъ-нибудь нѣмецкимъ обѣдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!"

Насъ не долженъ смущать этотъ юмористическій тонъ, которымъ авторъ стремится себя утѣшить и которымъ онъ смягчаетъ грустное впечатлѣніе своего разсказа. Разсказъ о художникѣ Пискаревѣ, дѣйствительно, очень печаленъ, и веселый анекдотъ объ его товарищѣ Пироговѣ только ярче оттѣняетъ всю трагедію несчастнаго мечтателя, который думалъ найти своей идеалъ на Невскомъ проспектѣ и, идя слѣдомъ за этимъ идеаломъ, очутился въ самомъ грязномъ притонѣ. Но и безъ этой фатальной встрѣчи нашъ нѣжный и тихій мечтатель-художникъ—фигура трагическая. „Художникъ въ землѣ снѣговъ, художникъ въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, блѣдно, сѣро, туманно! Какъ часто питаетъ онъ въ себѣ истинный талантъ, и если бы только дунулъ на него свѣжій воздухъ Италіи, онъ бы, вѣрно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ, наконецъ, изъ комнаты на чистый воздухъ". У него, жителя сѣвера, мечта можетъ разыграться не хуже, чѣмъ у его южныхъ братьевъ. Отъ такой мечты, отъ такого сновидѣнія и погибъ нашъ мечтатель, который хотѣлъ день обратить въ ночь, жизнь въ сонъ, чтобы не разлучаться со своимъ идеаломъ, мечтатель, который рѣшился было облагородить житейскую грязь своимъ прикосновеніемъ къ ней и, наконецъ, въ самоубійствѣ нашелъ примиреніе съ жизнью.

Читая эту повѣсть, можно, конечно, задуматься надъ сравнительно ничтожнымъ мотивомъ, который избралъ авторъ, какъ предлогъ для такой душевной катастрофы. Можно удивиться, что изъ всѣхъ противорѣчій идеала и жизни, противорѣчій, такъ больно отзывающихся на душѣ поэта, Гоголь остановился именно на этомъ рѣзкомъ контрастѣ внѣшней женской красоты и душевнаго безобразія и грязи. Контрастъ въ его изображеніи вышелъ, дѣйствительно, очень рѣзкій. Женщина, паденіе которой повлекло за собой гибель художника, была съ внѣшней стороны идеаломъ красоты, на

описаніе которой нашъ авторъ не поскупился. „Боже, какія божественныя черты:—писалъ онъ въ своемъ старомъ повышенномъ стилѣ. — Ослѣпительной бѣлизны прелестнѣйшій лобъ осѣненъ былъ прекрасными, какъ агатъ волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки, касалась щеки, тронутой тонкимъ, свѣжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цѣлымъ роемъ прелестнѣйшихъ грезъ. Все, что остается отъ воспоминанія о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе при свѣтящейся лампадѣ,—все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ...“

Гоголь имѣлъ свои основанія, когда всю загадку жизни художника сосредоточилъ на его любви къ этой красавицѣ. Надо знать, какъ въ тѣ годы, да и вообще во всю свою жизнь, нашъ авторъ высоко ставилъ женщину и ея красоту, чтобы понять ту общую мысль, которую онъ высказалъ въ своей повѣсти. Исторія съ Пискаревымъ была не только страницей обыденной жизни, страницей вполнѣ согласной съ реальной правдой — это былъ разсказъ съ затаеннымъ смысломъ. Для Гоголя женская красота и „красота“ вообще были понятія почти что равнозначущія, а съ „красотой“ въ жизни для него неразрывно были соединены и понятія объ истинѣ и добрѣ. Онъ въ тѣ годы неоднократно подчеркивалъ эту связь понятій, и есть основаніе думать, что онъ всю жизнь продолжалъ вѣрить въ эту связь, которая такъ затрудняла ему его отношенія къ женщинамъ, съ которыми онъ сталкивался.

Еще въ 1830 году Гоголь напечаталъ маленькое стихотвореніе въ прозѣ подъ заглавіемъ „Женщина“. „Устреми на себя испытующее око,—говорилъ онъ тогда устами какого-то вдохновеннаго мудреца пылкому юношѣ Телеклесу, влюбленному въ Алкиною,—чѣмъ былъ ты прежде и чѣмъ сталъ нынѣ, съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ вѣчность въ божественныхъ чертахъ Алкинои! сколько новыхъ тайнъ,

сколько новыхъ откровеній постигъ и разгадалъ ты своею безконечною душою и во сколько придвинулся къ верховному благу! Мы зрѣемъ и совершенствуемся; но когда? Когда глубже и совершеннѣе постигаемъ женщину! Что женщина? Языкъ боговъ! Она поэзія, она мысль, а мы только воплощеніе ея въ дѣйствительности. На насъ горятъ ея впечатлѣнія, и чѣмъ сильнѣе, и чѣмъ въ бо̀льшемъ объемѣ они отразились, тѣмъ выше и прекраснѣе мы становимся. Пока картина еще въ головѣ художника и безплотно округляется и создается, она—женщина; когда она переходитъ въ вещество и облекается въ осязаемость, она—мужчина. Отчего же художникъ съ такимъ несытымъ желаніемъ стремится превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество, покоривъ его обыкновеннымъ нашимъ чувствамъ? Оттого, что имъ управляетъ одно высокое чувство—выразить божество въ самомъ веществѣ, сдѣлать доступною людямъ хотя часть безконечнаго міра души своей, воплотить въ мужчинѣ женщину... Что̀ бы были высокія добродѣтели мужа, когда бы онѣ не осѣнялись, не преображались нѣжными, кроткими добродѣтелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрѣніе къ пороку перешли бы въ звѣрство. Отними лучи у міра—и погибнетъ яркое разнообразіе цвѣтовъ; небо и земля сольются въ мракъ, еще мрачнѣйшій береговъ Аида. Что такое любовь? Отчизна души, прекрасное стремленіе человѣка къ минувшему, гдѣ совершалось безпорочное начало его жизни, гдѣ на всемъ остался невыразимый, неизгладимый слѣдъ невиннаго младенчества, гдѣ все родина. И когда душа потонетъ въ эѳирномъ лонѣ души женщины, когда отыщетъ въ ней своего отца—вѣчнаго Бога, своихъ братьевъ—дотолѣ невыразимыя землею чувства и явленія, что тогда съ нею? Тогда она повторяетъ въ себѣ прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, развивая ее до безконечности“.

Земное чувство любви изображается и поясняется у Гоголя нерѣдко такими возвышенными, а иной разъ и мисти-

ческими возгласами. Нашъ поэтъ въ любви былъ большой романтикъ и рыцарь: у него былъ свой культъ красоты и ея носительницы — женщины, почему и выставленное въ „Невскомъ Проспектѣ“ противорѣчіе между идеальной красотой внѣшней и внутреннимъ душевнымъ безобразіемъ являлось въ его глазахъ однимъ изъ самыхъ страшныхъ контрастовъ идеала и жизни. Контрастъ былъ и потому еще столь ужасный, что онъ не допускалъ никакого соглашенія, которое до извѣстной степени могло быть достигнуто при иныхъ противорѣчіяхъ, какъ напр., при борьбѣ художника и толпы, при спорѣ между замысломъ артиста и средствами, которыми онъ располагаетъ, при борьбѣ таланта съ житейской прозой и нуждой, т.-е. при иныхъ всевозможныхъ драматическихъ коллизіяхъ артистической жизни.

Въ одной изъ такихъ острыхъ и неразрѣшимыхъ формъ представлено противорѣчіе идеала и жизни и въ повѣсти „Записки сумасшедшаго“. Въ томъ видѣ, въ какомъ повѣсть теперь передъ нами, она не вполнѣ отражаетъ основной замыселъ художника. Она должна была быть также повѣстью изъ жизни художника. Въ записной книжкѣ, гдѣ Гоголь набросалъ перечень статей, изъ которыхъ онъ предполагалъ составить свои „Арабески“, помѣчены какія-то „Записки сумасшедшаго музыканта“. Гоголь, какъ думаетъ Н. С. Тихонравовъ *), увлекшись разсказами кн. В. Ѳ. Одоевскаго о сумасшедшихъ музыкантахъ **), первоначально предполагалъ написать [и, можетъ быть, дѣйствительно, написалъ] повѣсть на эту тему; эта повѣсть до насъ не дошла, но въ „Запискахъ сумасшедшаго“ осталось то настроеніе и та главная мысль, которыя Гоголь хотѣлъ развить и дать почувствовать въ своемъ ненаписанномъ, но задуманномъ разсказѣ.

Передъ нами все тотъ же разладъ мечты и „существенности“ и опять одно изъ возможныхъ, но самыхъ ужасныхъ

*) «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-е изданіе, V, 610.

**) Одоевскій думалъ тогда напечатать цѣлый сборникъ такихъ разсказовъ, но не напечаталъ.

соглашеній этого разлада—потеря разсудка, главнаго виновника всѣхъ несчастій мечтателя. У Гоголя нѣтъ болѣе трагичной повѣсти, чѣмъ эти „Записки“, читая которыя нельзя, однако, удержаться отъ смѣха. Самая грустная и романтическая мысль развита въ нихъ съ такимъ юморомъ и такъ реально, съ такимъ безпощаднымъ глумленіемъ надъ человѣческимъ разсудкомъ, что за этимъ сарказмомъ на первыхъ порахъ можно просмотрѣть весь трагическій паѳосъ разсказа.

Отмѣтимъ кстати, что въ „Запискахъ сумасшедшаго“ попадаются первые проблески общественной сатиры, которая до сихъ поръ не проскальзывала ни въ одномъ изъ напечатанныхъ произведеній Гоголя. Всѣ эти разсужденія титулярнаго совѣтника о департаментскомъ начальствѣ, разсказъ о томъ, какъ собаченка нюхала орденскую ленточку, разсужденія на тему — какое мѣсто на свѣтѣ занимаютъ генералы и камеръ-юнкеры—для Гоголя, автора „Вечеровъ на Хуторѣ“, „Миргорода“ и „Арабесокъ“, нѣчто новое, новый мотивъ, съ которымъ мы пока еще не встрѣчались, но скоро встрѣтимся въ его комедіяхъ. Правда, эти смѣлыя слова высказаны отъ лица сумасшедшаго, но такая маска никого не обманула; по крайней мѣрѣ, она не обманула бдительной цензуры, которая въ первомъ изданіи всѣ эти слова вычеркнула.

Въ „Запискахъ сумасшедшаго“ много общечеловѣческаго печальнаго и глубокаго паѳоса. Сколько такого паѳоса въ одной той мысли, что титулярный совѣтникъ—король испанскій Фердинандъ VIII-й, и какъ часто случается, что вся трагедія нашей жизни вытекаетъ изъ нашихъ претензій на такіе престолы, которые мы считаемъ свободными. Какъ часто въ погонѣ за счастьемъ мы принимаемъ наше право на него за гарантію его осуществленія, и какъ часто мы въ дѣйствительности лѣземъ на стѣну, чтобы достать луну, движимые, конечно, не тѣмъ смѣшнымъ соображеніемъ, которымъ руководится Поприщинъ, но иной разъ не менѣе безумнымъ? И, наконецъ, способность или необходимость

истолковывать всѣ мученія, которымъ больной человѣкъ подвергается въ сумасшедшемъ домѣ, истолковывать ихъ въ самомъ выгодномъ для себя смыслѣ, развѣ на этой способности не зиждется для многихъ здоровыхъ людей вся ихъ жизнерадостность?

Глубоко серьезенъ и патетиченъ этотъ донельзя смѣшной разсказъ, который авторъ закончилъ полными грустнаго лиризма словами, какъ бы желая напомнить читателю о томъ, сколько на свѣтѣ чувствъ и настроеній, которыя роднятъ и сближаютъ его, здравомыслящаго, съ этимъ безповоротно помѣшаннымъ. „Нѣтъ, я больше не имѣю силъ терпѣть,—говоритъ Поприщинъ или любой изъ насъ, не находящій отклика своей мечтѣ въ дѣйствительности. Боже! что они дѣлаютъ со мной. Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я сдѣлалъ имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня бѣднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не имѣю, я не въ силахъ, я не могу вынести всѣхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мнѣ тройку быстрыхъ, какъ вихрь, коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взейтеся кони и несите меня съ этого свѣта. Далѣе, далѣе, чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится предо мною; звѣздочка сверкаетъ вдали; лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманѣ; съ одной стороны море, съ другой — Италія; вонъ и русскія избы виднѣются. Домъ ли то мой синѣетъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ. Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, какъ мучатъ они его! Прижми ко груди своей бѣднаго сиротку! Ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ! Его гонятъ! Матушка, пожалѣй о своемъ больномъ дитяткѣ!“

Какъ похожъ этотъ бредъ на то, что мы иногда называемъ мечтами.

Итакъ, изъ всѣхъ статей Гоголя по вопросу объ искусствѣ, о художникѣ, его роли среди насъ и его этикѣ артиста, если можно такъ выразиться, равно какъ и изъ нѣкоторыхъ, только что поименованныхъ повѣстей нашего автора, мы видимъ, какъ упорно и настойчиво трудился онъ надъ выясненіемъ себѣ самому своего собственнаго призванія. Онъ то думалъ объ этомъ, то мечталъ, то образами стремился пояснить свои мысли. Нельзя сказать, что онъ додумался до чего-нибудь опредѣленнаго и яснаго. Ясно было одно: ощущеніе разлада между поэзіей и жизнью, между желаннымъ и настоящимъ. Романтическая неудовлетворенность жизнью вызывала въ нашемъ поэтѣ большую тревогу чувства и мысли. Она коренилась, главнымъ образомъ, въ томъ, что художникъ никакъ не могъ опредѣлить своей роли въ этомъ спорѣ мечты и дѣйствительности. Служить ли этой мечтѣ или описывать эту дѣйствительность? — вотъ задача, надъ которой Гоголь въ эти годы много думалъ, и вопросъ о направленіи, котораго должно держаться въ творчествѣ, остался для него, въ виду этого раздумья, временно нерѣшеннымъ.

Какъ можно догадываться по разсказу „Портретъ“, Гоголь осуждалъ то искусство, которое слишкомъ близко подходитъ къ жизни и переходитъ за черту, отдѣляющую творчество отъ дѣйствительности; и какъ на конечную цѣль искусства, Гоголь въ этой же повѣсти указывалъ на его религіозно-нравственную миссію. Извѣстно, что подъ конецъ своей жизни онъ и остановился на этомъ рѣшеніи и себя самого возвелъ въ проповѣдники морали и религіи. Онъ осудилъ тогда всѣ лучшія свои созданія именно за ихъ близость къ жизни, за ихъ безпощадный реализмъ и думалъ, что въ нихъ, какъ въ знаменитомъ портретѣ, заключена частица мірового зла, которое должно побороть картинами иной просвѣтленной и добродѣтельной жизни.

Но въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, онъ былъ еще далекъ отъ такого окончательно установившагося взгляда.

Его талантъ реалиста, быстро развиваясь, приближалъ его все болѣе и болѣе къ дѣйствительности, къ ея злу и грязи, и мечтательный взглядъ на жизнь, предпочитающій въ ней желаемое настоящему, терялъ на время свою власть надъ художникомъ.

Но терялъ онъ эту власть не безъ борьбы, и была область духовныхъ интересовъ, въ которыхъ Гоголь — при всемъ тогдашнемъ торжествѣ реализма въ его поэзіи—оставался романтикомъ. Эта область была — старина историческая и легендарная, русская и не-русская, которую Гоголь стремился воскресить, какъ поэтъ и историкъ.

VII.

Увлеченіе Гоголя исторіей; романтическая подкладка этого увлеченія.—Пріемы его работы.—Чего онъ требовалъ отъ исторіи и историка.—Любовь Гоголя къ среднимъ вѣкамъ.—Религіозная и консервативная тенденція въ его историческомъ міровоззрѣніи.—Литературная обработка историческихъ сюжетовъ: «Ал-Мамунъ» и «Альфредъ».—«Жизнь».—Занятія Гоголя исторіей Малороссіи; его увлеченіе пѣснями.—Неоконченная повѣсть объ Остраницѣ.—«Тарасъ Бульба»; реализмъ въ деталяхъ повѣсти и романтизмъ въ замыслѣ.—Наша историческая повѣсть времени Гоголя: Пушкинъ, Нарѣжный, Марлинскій, Загоскинъ, Лажечниковъ и Полевой.—«Тарасъ Бульба», какъ лучшій образецъ исторической повѣсти романтическаго стиля.

Влеченіе къ прошедшему никогда не покидало Гоголя и онъ положилъ много труда на удовлетвореніе этой любви. Съ внѣшними условіями, при которыхъ Гоголю пришлось выступить въ роли истолкователя и иллюстратора старины, мы уже знакомы; намъ остается только поближе присмотрѣться къ тому, какъ онъ выполнялъ свою задачу. Онъ выполнялъ ее двояко: и какъ педагогъ-историкъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова и какъ художникъ, который историческое прошлое избиралъ предлогомъ и канвой для своихъ поэтическихъ созданій.

Пересмотръ историческихъ статей и повѣстей Гоголя покажетъ намъ прежде всего, какъ упорно держались въ немъ его романтическіе вкусы. Какъ настоящій романтикъ, Гоголь любилъ старину не временной и капризной страстью, а любовью ровной и постоянной. Онъ любилъ исторію еще въ нѣжинскомъ лицеѣ, и несмотря на общее лѣнивое отно-

шеніе ко всѣмъ наукамъ, онъ этой наукѣ удѣлялъ тогда всего больше времени; и онъ продолжалъ любить ее и послѣ, даже въ послѣдніе тяжелые годы своей жизни.

Это была любовь достаточно самоувѣренная, какъ мы знаемъ. Чувствуя въ себѣ даръ дивинаціи, художникъ привыкалъ на него полагаться; фантазія часто ослѣпляла его и онъ пріучался цѣнить въ себѣ импровизатора,—почему настоящая осмотрительная ученая работа и была ему мало по вкусу. Гоголь сокращалъ эту работу иногда очень произвольно и даже не совсѣмъ корректно. Онъ пользовался чужимъ трудомъ безъ критики, компилировалъ, а иногда прямо наспѣхъ бралъ чужіе выводы и очень откровенно просилъ своихъ друзей — ученыхъ спеціалистовъ снабжать его таковыми. Когда, напр., на него „взвалили“, какъ онъ говорилъ, чтеніе курса древней исторіи, ему почти совсѣмъ незнакомый, онъ, не стѣсняясь, просилъ Погодина выслать ему его лекціи, хоть въ корректурѣ. Но въ этомъ же письмѣ, гдѣ онъ такъ открыто взывалъ о помощи, есть нѣсколько строкъ, въ которыхъ для біографа кроется важное указаніе. „Я бы отъ души радъ былъ, еслибъ намъ подавали побольше Гереновъ *), — писалъ Гоголь. — Изъ нихъ можно таскать обѣими руками... Ты не гляди на мои историческіе отрывки: они давно писаны; не гляди также на статью „О среднихъ вѣкахъ“. Она сказана только такъ, чтобы сказать что-нибудь и только раззадорить нѣсколько въ слушателяхъ потребность узнать то, о чемъ еще нужно разсказать, что оно такое. Я съ каждымъ мѣсяцемъ и съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки. Не думай также, чтобъ я старался только возбудить чувства и воображеніе. Клянусь! у меня цѣль высшая! Я, можетъ быть, еще мало опытенъ, я молодъ въ мысляхъ, но я буду когда-нибудь старъ. Отчего же я черезъ недѣлю уже вижу свою ошибку? Отчего же передо мной раздвигается природа и человѣкъ?..“ **).

*) Нѣмецкій историкъ.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 326—327.

Можно какъ угодно скептически относиться къ историческимъ знаніямъ и занятіямъ Гоголя, но читая такія признанія, невольно задаешь себѣ вопросъ, неужели же онъ лукавилъ? Не будемъ ли мы правы, предположивъ, что онъ, какъ настоящій поэтъ и мечтатель, былъ самъ введенъ въ заблужденіе своей фантазіей и, дѣйствительно, ощущалъ въ себѣ такой наплывъ творческой мысли—хотя бы очень неопредѣленной,—который уполномочивалъ его думать, что онъ однимъ даромъ прозрѣнія можетъ достичь того, чего другіе достигаютъ упорнымъ трудомъ?

Не наглостью, а самообольщеніемъ должно объяснять нѣкоторыя мысли и слова Гоголя, въ которыхъ онъ съ непонятной развязностью говоритъ о наукѣ и ея работникахъ. А такихъ неосторожныхъ словъ было сказано много. „Охота тебѣ—пишетъ онъ Погодину—заниматься и возиться около Герена *), который далѣе своего нѣмецкаго носа и своей торговли ничего не видитъ. Чудной человѣкъ: онъ воображаетъ себѣ, что политика какой-то осязательный предметъ, господинъ во фракѣ и башмакахъ, и при томъ совершенно абсолютное существо, являющее мимо художествъ, мимо наукъ, мимо людей, мимо нравовъ, мимо отличій вѣковъ, ни старѣющее, ни молодѣющее, ни умное, ни глупое, чортъ знаетъ что такое... Я самъ замышляю дернуть исторію среднихъ вѣковъ,—тѣмъ болѣе, что у меня такія роятся о ней мысли...“ **). „Я только теперь прочелъ изданнаго вами Беттигера,—писалъ онъ тому же Погодину. Это точно, одна изъ удобнѣйшихъ и лучшихъ для насъ исторія. Нѣкоторыя мысли я нашелъ у ней совершенно сходными съ моими и потому тотчасъ выбросилъ ихъ у себя. Это нѣсколько глупо съ моей стороны, потому что въ исторіи пріобрѣтеніе дѣлается для пользы всѣхъ и владѣніе имъ законно. Но что дѣлать? Проклятое желаніе быть оригинальнымъ! Я нахожу только въ ней тотъ недостатокъ, что во многихъ мѣстахъ не такъ

*) У котораго онъ самъ собирался таскать обѣими руками.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 324—325.

развернуто и охарактеризовано время" *). При другомъ случаѣ Гоголь жалуется, что онъ по цѣлымъ мѣсяцамъ нигдѣ не встрѣчаетъ ни одной новой исторической истины. „Набору словъ пропасть—говоритъ онъ—выраженія усилены, сколько можно усилить, и фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая" **). Нашъ самоувѣренный историкъ былъ также совсѣмъ недоволенъ, напр., всѣми существующими общими сводами по исторіи среднихъ вѣковъ. Онъ не досчитывался въ нихъ строгаго порядка и плана, художественной отдѣлки и вообще „достоинствъ совершенно классическаго созданія" ***), а между тѣмъ, какъ видно изъ его замѣтокъ по „Библіографіи среднихъ вѣковъ", онъ былъ знакомъ съ солидными трудами по интересовавшему его вопросу...

Рѣзкость сужденій Гоголя, конечно, не покрывалась его знаніями, но должно замѣтить, что онъ трудился не мало. По натурѣ своей онъ былъ человѣкъ лѣнивый, это вѣрно; но кто знаетъ, какія книги у него въ рукахъ перебывали? Судить объ его чтеніи по тѣмъ указаніямъ, которыя сохранились въ его рукописяхъ—едва ли возможно; многое могло не попасть въ эти записки, наконецъ, и сами рукописи дошли до насъ, очевидно, не въ полномъ составѣ. Какъ воспользовался Гоголь прочитанными книгами — это иной вопросъ, и никто никогда не рѣшится назвать Гоголя ученымъ или признать за его работами какое-нибудь научное значеніе. Но самъ Гоголь могъ съ нѣкоторой гордостью говорить о своихъ занятіяхъ, такъ какъ лишь онъ одинъ зналъ, чего они ему стоили, и лишь онъ одинъ могъ судить о силѣ того вдохновенія, которое ощущалъ въ себѣ, когда направлялъ свою мысль на судьбы прошлаго.

Въ этихъ мысляхъ насъ поражаетъ прежде всего широта

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 237.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 250.

***) См. его замѣтки: «Библіографія среднихъ вѣковъ». «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-ое изданіе, VI, 273.

требованій, которыя Гоголь ставилъ исторіи и историку, и вмѣстѣ съ тѣмъ большая односторонность, когда нашъ художникъ взялся самъ выполнять ихъ.

Въ статьѣ „О преподаваніи всеобщей исторіи“, которая была какъ бы оффиціальной программой, представленной Гоголемъ въ министерство, нашъ профессоръ и историкъ говорилъ подробно о томъ, какъ онъ понимаетъ сущность своей науки и внѣшнюю форму ея преподаванія. Онъ хочетъ научить слушателей не методу историческихъ изслѣдованій, а научить ихъ понимать и чувствовать всю лѣтопись міра. Не на разборъ отдѣльныхъ событій и эпизодовъ хочетъ онъ, какъ профессоръ, остановиться, чтобы показать ученику какъ работать, онъ хочетъ развернуть передъ нимъ сразу всю картину человѣческой жизни, не упуская ни одной изъ ея истинъ. Географическое положеніе, этнографическій составъ, племенная психологія, политика *), торговля религія, литература и искусство—все должно войти въ одну общую картину жизни всѣхъ вѣковъ и народовъ. Картина эта должна быть „плодомъ долгихъ соображеній и опыта. Ни одинъ эпитетъ, ни одно слово не должны быть брошены въ этой картинѣ для красоты и мишурнаго блеска, но должно быть порождено долговременнымъ чтеніемъ лѣтописей міра, такъ какъ составить эскизъ общій, полный исторіи всего человѣчества можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешь самыя тонкія и запутанныя ея нити“.

Раскидывать на бумагѣ такой планъ было легко, какъ и требовать отъ историка, чтобы онъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ цѣнныя качества лучшихъ представителей науки, чтобы онъ „глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человѣчества, соединялъ съ быстрымъ огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательной расторопной мудростью Миллера“. Можно было въ своихъ требованіяхъ пойти и еще дальше, и ко всѣмъ

*) Гоголь умалчиваетъ только о государственныхъ устройствахъ.

достоинствамъ только-что перечисленныхъ историковъ добавить еще „неодолимую увлекательность“, которая дышетъ въ историческихъ трудахъ Шиллера, умѣніе Вальтеръ-Скотта замѣчать самые тонкіе оттѣнки и, наконецъ, шекспировское искусство развивать крупныя черты характеровъ въ тѣсныхъ границахъ“ *). Мечтать о такомъ историкѣ было, конечно, позволительно, но ожидать его появленія было невозможно, и самъ Гоголь въ своемъ стремленіи къ этому идеалу остановился лишь на самыхъ внѣшнихъ его качествахъ; онъ погнался за картинностью выраженія и за характеристиками историческихъ лицъ, дѣлая свою рѣчь все болѣе и болѣе „огненной“ и напрягая изо всѣхъ силъ свою фантазію. Такимъ образомъ, при очень широкомъ пониманіи исторіи онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на одной лишь внѣшней сторонѣ изложенія, которая, за отсутствіемъ другихъ сторонъ, обращала его лекцію въ лучшемъ смыслѣ въ занимательную бесѣду. Онъ самъ говорилъ, что всеобщая исторія „должна быть полной величественной поэмой“; что въ изложеніи историка „все, что ни является въ исторіи: народы, событія должны быть непремѣнно живы и какъ бы находиться предъ глазами слушателей или читателей, чтобы каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, проносился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена“. Понимать такъ задачу преподаванія значило прежде всего требовать отъ профессора яркаго литературнаго таланта. Гоголь и имѣлъ его въ виду, когда говорилъ, что слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный, „что профессоръ долженъ въ высочайшей степени овладѣть вниманіемъ слушателей, что разсказъ его долженъ дѣлаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмѣстѣ съ тѣмъ быть простъ и понятенъ

*) Статья «Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ» въ «Арабескахъ».

для всякаго". Профессору разрѣшалось также не быть скупымъ на сравненія, такъ какъ понятное еще болѣе поясняется сравненіемъ *). Самъ Гоголь такими сравненіями любилъ злоупотреблять и, какъ мы видимъ, не только по недостатку знаній, а сознательно.

Вся великая поэма міра, которую нашъ самозванный профессоръ собирался разсказать своимъ слушателямъ, интересовала его самого, впрочемъ не одинаково во всѣхъ своихъ эпизодахъ. Были эпохи исторіи, которыя Гоголь не зналъ и—что для него было хуже—не любилъ. Зато былъ одинъ періодъ, вполнѣ соотвѣтствующій его романтическимъ вкусамъ.

Древней исторіей Гоголь почти не интересовался и былъ очень недоволенъ, когда ему поручили ея чтеніе. Грецію онъ какъ-то совсѣмъ обошелъ, что̀ кажется очень страннымъ при его развитомъ эстетическомъ вкусѣ. Среди сохранившихся записокъ по этому періоду всеобщей исторіи—записокъ, представляющихъ почти сплошь выписки изъ Геродота — есть только одна оригинальная замѣтка объ Александрѣ Македонскомъ, неизвѣстно когда написанная, въ которой Гоголь восторженно отозвался объ этомъ завоевателѣ и, что очень характерно, отмѣтилъ, какъ дорого обошлись планы этого реформатора для греческой самобытности **). Этотъ малый интересъ Гоголя къ Греціи находитъ себѣ, быть можетъ, объясненіе въ той нелюбви къ чисто политическимъ вопросамъ, которую нашъ писатель всегда обнаруживалъ и которая должна была служить большой помѣхой въ изученіи именно греческой исторіи, ходъ которой опредѣляется главнымъ образомъ государственнымъ устройствомъ различныхъ племенъ, входившихъ въ составъ эллинской національности. Гоголь не любилъ и Рима. „Народъ, проведшій суровую воинственную жизнь, съ простыми республиканскими, грубыми и мужественными доблестями,

*) Статья «О преподаваніи всеобщей исторіи» въ «Арабескахъ».

**) «Александръ». Сочиненія Н. В. Гоголя. X-ое изданіе, VI, 265.

еще не имѣвшій времени и не достигшій развитія жизни гражданственной" *) — былъ ему мало симпатиченъ. Эпоха римской республики могла ему не нравиться своимъ утилитарнымъ и ригористическимъ взглядомъ на жизнь, а эпоха имперіи казалась ему „неподвижнымъ" временемъ и сами императоры—безсильными **).

Сердце его лежало къ среднимъ вѣкамъ, къ которымъ были такъ неравнодушны всѣ европейскіе романтики.

Психика поэта не мало участвовала въ этомъ выборѣ; гдѣ было найти такое преобладаніе мечты надъ реальной жизнью, такое вторженіе чудеснаго и небеснаго въ житейское, такое самопогруженіе людей въ область религіозной и философской мысли, какъ въ эту романтическую эпоху человѣческой жизни? Христіанство съ его длинной мрачной эпохой мученій и его небесными видѣніями, разлагающійся античный міръ съ его меланхоліей и разгуломъ, стихійное движеніе варваровъ, рыцарство и монашество, папа и императоръ, плѣненный и освобожденный Іерусалимъ и, наконецъ, воскресеніе старыхъ боговъ Олимпа—какъ легко было заблудиться въ этомъ лѣсу поэзіи!..

Стоитъ прочитать лекцію Гоголя о движеніи народовъ въ концѣ V вѣка, а главное, его лекцію о среднихъ вѣкахъ, чтобы увидать, какой смыслъ для него имѣла эта эпоха.

Онъ считалъ ее самой главной эпохой въ исторіи. „Средніе вѣка составляютъ узелъ, связывающій міръ древній съ новымъ — говорилъ профессоръ; имъ можно назначить то самое мѣсто въ исторіи человѣчества, какое занимаетъ въ устроеніи человѣческаго тѣла—сердце, къ которому текутъ и отъ котораго исходятъ всѣ жилы. Исторія среднихъ вѣковъ менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой пестроты, такого живого дѣйствія, такихъ рѣзкихъ

*) «Выдержки изъ лекцій по исторіи среднихъ вѣковъ». «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-ое изданіе VI, 278.

**) Статья «О среднихъ вѣкахъ» въ «Арабескахъ».

противоположеній, такой странной яркости, какъ въ ней, и ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся свѣжій, крѣпкій, какъ вѣчность, гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кирпичѣ видны готскія руны, на другомъ блеститъ римская позолота; арабская рѣзьба, греческій карнизъ, готическое окно—все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только внѣшній признакъ событій среднихъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена“ *). „Средніе вѣка — вѣка чудесные. Чудесное прорывается при каждомъ шагѣ и властвуетъ вездѣ, во все теченіе этихъ юныхъ десяти вѣковъ, юныхъ потому, что въ нихъ дѣйствуетъ все молодое, порывы и мечты, не думавшіе о слѣдствіяхъ, не призывавшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не имѣвшіе прошедшаго, чтобы оглянуться. Все въ среднихъ вѣкахъ — поэзія и безотчетность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда вступите въ область исторіи новой. Перемѣна слишкомъ ощутительна, и состояніе души вашей будетъ похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся неправильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною мѣрно и стройно совершающія правильное теченіе“.

Романтикъ, влюбленный въ идеализированное имъ прошлое, чувствуется въ каждомъ словѣ этой странной университетской лекціи, чувствуется и поэтъ, умѣющій въ двухъ-трехъ словахъ набросать цѣлую картину, производящую впечатлѣніе, но опять-таки на фантазію слушателя, а не на его мысль.

---

*) «О среднихъ вѣкахъ», 1834 г.

Стóитъ послушать, какъ Гоголь говорилъ о крестовыхъ походахъ, „въ которыхъ не было ни одного собственнаго желанія, ни одной личной выгоды“, объ этомъ „шествіи королей и графовъ въ простыхъ власяницахъ, и монаховъ, препоясанныхъ оружіемъ, епископовъ и пустынниковъ съ крестами въ рукахъ“; какъ онъ говорилъ о средневѣковой женщинѣ, „розовая или голубая лента которой вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъ естественныя силы,—женщинѣ, для которой суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бѣгуна своего, налагаетъ на себя обѣты изумительные и неподражаемые по своей строгости къ себѣ, и все это для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества“; достаточно припомнить слова профессора о „страшныхъ тайныхъ судахъ, гдѣ-нибудь въ глуши лѣсовъ, подъ сырымъ сводомъ глубокаго подземелья, судахъ неумолимыхъ, неотразимыхъ, какъ высшія предопредѣленія, являющихся уже не совѣстью передъ вѣтреннымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни“; стоитъ также послушать съ какимъ прочувствованнымъ паѳосомъ нашъ ученый говорилъ о готическомъ искусствѣ, о средневѣковомъ городѣ съ его „узенькими неправильными улицами, высокими пестрыми готическими домиками, среди которыхъ стоитъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ домъ, по растреснувшимся стѣнамъ котораго лѣпится мохъ и сырость, окна котораго глухо заколочены—жилище алхимика: „ничто не говоритъ въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываетъ о неусыпномъ бодрствованіи старца, уже посѣдѣвшаго въ своихъ исканіяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою,—и благочестивый ремесленникъ среднихъ вѣковъ со страхомъ бѣжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріютъ свой и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгораю-

щееся даже отъ неудачи..." стоитъ прослушать всѣ эти слова, чтобы догадаться, что на каѳедрѣ сидитъ настоящій поэтъ, который въ прошлой жизни ищетъ преимущественно красивыхъ очертаній, таинственнаго смысла, величія явленій и, не стѣсняясь, идеализируетъ все, что ему въ этомъ прозаическомъ такъ нравится. А Гоголю нравилось либо непосредственное, первобытно-дикое, какъ видно изъ его колоритныхъ разсказовъ о такой скучной эпохѣ, какъ переселеніе народовъ, либо таинственно-спокойное и величественно-восторженное—что онъ въ изобиліи находилъ въ эпоху расцвѣта средневѣковаго міросозерцанія. Въ обоихъ случаяхъ онъ раздѣлялъ вкусы и симпатіи всѣхъ романтиковъ своего поколѣнія.

Въ статьяхъ и лекціяхъ Гоголя можно уловить, кромѣ того, еще двѣ тенденціи, которыя въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ нерѣдко проступали въ романтическомъ міросозерцаніи нашихъ писателей; эти тенденціи—религіозность и консерватизмъ. Въ оцѣнкѣ той власти, которую онѣ имѣли тогда надъ Гоголемъ, нужно, однако, принять во вниманіе, что статья „О преподаваніи всеобщей исторіи", въ которой эти тенденціи всего яснѣе выражены, была, какъ замѣтилъ Н. С. Тихонравовъ, оффиціознымъ profession de foi Гоголя при предъявленіи кандидатуры на каѳедру всеобщей исторіи въ кіевскомъ университетѣ *). Консерватизмъ и религіозный образъ мыслей могли быть поэтому умышленно подчеркнуты авторомъ, какъ, напр., въ программѣ его лекцій умышленно была обойдена французская революція и преподавателю предоставлено право изъ эпохи Людовика XIV перескочить сразу въ эпоху первой имперіи.

Цѣлью его преподаванія, какъ говорилъ професоръ, было стремленіе „сдѣлать сердца юныхъ слушателей твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы никакой легкомысленный фанатикъ и никакое минутное волненіе не могло

*) «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-ое изданіе, V, 566.

поколебать ихъ,—сдѣлать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ни въ счастьи, ни въ несчастьи не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей клятвѣ—быть вѣрными отечеству и государю". Эти слова могли быть вполнѣ искренно сказаны: Гоголь всю жизнь былъ правовѣрнымъ консерваторомъ и вѣрноподданнымъ, и если предположить, что онъ на профессуру смотрѣлъ какъ на „службу", а отъ службы ожидалъ великой пользы для своихъ соотечественниковъ, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что онъ профессору вмѣнялъ въ обязанность блюсти за тѣмъ, чтобы для слушателей слова „преданность религіи и привязанность къ отечеству и государю" не были словами ничтожными, „что влечетъ за собой нерѣдко ужасныя слѣдствія". Но если даже признать, что въ „оффиціозной" программѣ Гоголь нѣсколько повысилъ свой патріотизмъ и свое религіозное чувство, то вѣдь объ эти тенденціи сказывались достаточно ясно и въ его историческихъ статьяхъ и замѣткахъ. Онъ все-таки думалъ, „что не люди совершенно установляютъ правленіе, что его нечувствительно установляетъ и развиваетъ самое положеніе земли, отъ котораго зависитъ народный характеръ, что поэтому-то формы правленія и священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастье на народъ"... Онъ думалъ также, что вся всеобщая исторія есть осуществленіе плановъ Провидѣнія и онъ при каждомъ удобномъ случаѣ говорилъ объ этомъ Провидѣніи: непостижимой волею Его опустился на Европу величественный хаосъ переселенія народовъ, въ Его планахъ было усиленіе власти римскаго первосвященника: безъ нея Европа разсыпалась бы, другія государства бы развратились, другія сохранили бы дикость на гибель сосѣдямъ... Провидѣніе неусыпно бодрствовало и надъ европейскимъ рыцарствомъ и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его... „Все колоссальное величіе міра проникнуто таинственными путями Промысла, передъ

которымъ невольно преклонишь колѣна", говорилъ профессоръ, и мы не имѣемъ никакого основанія предполагать въ этихъ словахъ одну лишь реторическую фигуру восклицанія. По крайней мѣрѣ, съ этими консервативными и религіозными идеями Гоголь сошелъ въ могилу.

Таковы были мысли нашего писателя о всеобщей исторіи, его симпатіи и его рѣчь съ каѳедры... Нѣтъ нужды ставить вопроса — что̀ отъ этихъ плановъ и рѣчей сама исторія выиграла. Важно не то, чѣмъ Гоголь былъ для исторіи [труды его никакого научнаго значенія не имѣютъ], а то, чѣмъ исторія была для него. А она дала ему не мало минутъ высокаго наслажденія. На ея страницахъ находилъ онъ, энтузіастъ и романтикъ, отвѣтъ на многіе свои духовные запросы. Идейность, таинственность и религіозность среднихъ вѣковъ были историческимъ подтвержденіемъ многихъ для него самого живыхъ чувствъ и мыслей. Позднѣе, подъ конецъ жизни, его міросозерцаніе приняло даже нѣкоторый средневѣковой оттѣнокъ и его мистицизмъ, самобичеваніе, религіозный экстазъ, его посты и молитвы, его путешествіе ко гробу Господню, его покаяніе передъ всѣмъ свѣтомъ— были проявленіемъ тѣхъ самыхъ чувствъ и того настроенія, которыя рисовались ему столь заманчивыми въ исторической дали. Гоголь-профессоръ среднихъ вѣковъ предвѣщалъ уже появленіе Гоголя-проповѣдника религіозной, аскетической и смиренной морали.

Быть можетъ, такое субъективное отношеніе къ исторіи и было причиной неуспѣха профессора у слушателей. Мы помнимъ нелестные отзывы ихъ о лекціяхъ Гоголя: почти всѣ свидѣтели его профессорской дѣятельности утверждаютъ что у него не было достаточныхъ знаній; но судьями его знаній они быть не могли, такъ какъ у нихъ этихъ знаній было еще меньше. Гоголь готовился къ своимъ лекціямъ и потому причину ихъ неуспѣха слѣдуетъ искать въ слишкомъ необычномъ для учителя, слишкомъ исключительномъ, романтическомъ отношеніи къ тому, что требовало критики

и хладнокровія—отношеніи, которое далеко не всѣмъ слушателямъ было понятно и симпатично, и которое, кромѣ того, въ самомъ преподавателѣ зависѣло отъ минутнаго настроенія. Вотъ почему профессоръ на одной лекціи могъ увлечь своихъ слушателей, а на другой былъ вялъ и скученъ, вотъ почему и они могли быть недовольны, и онъ могъ негодовать на нихъ за то, что они его не понимаютъ и на его настроеніе не откликаются. Онъ все-таки оставался на каѳедрѣ капризнымъ поэтомъ и потому такъ долго не сознавалъ своей ошибки.

Лекціи Гоголя, какъ мы видѣли, бывали иной разъ, дѣйствительно, невольными поэтическими грезами. Случалось, однако, что онъ и сознательно пользовался своими историческими знаніями для чисто литературныхъ цѣлей. Такимъ литературнымъ произведеніемъ была, напр., его историческая характеристика Калифа Ал-Мамуна [1834], которую онъ преподнесъ своимъ слушателямъ вмѣсто лекціи. Эта характеристика по своей художественной законченности и психологической правдѣ напоминаетъ знаменитыя впослѣдствіи характеристики Грановскаго. Все въ ней соразмѣрно и красиво и каждая фраза либо мысль, либо художественный образъ. Среди этихъ мыслей есть два намека, которые для насъ важны, опять-таки не какъ историческая истина, а какъ правда о самомъ Гоголѣ. Это—прежде всего мысль о томъ, какова роль великихъ поэтовъ въ государствѣ. Они—великіе жрецы—говорилъ нашъ самолюбивый художникъ. Мудрые властители чествуютъ такихъ поэтовъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоцѣнную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца". Какъ часто въ послѣдніе годы своей жизни Гоголь считалъ себя призваннымъ давать такіе государственные совѣты именно въ силу того, что сознавалъ себя „вѣдателемъ глубины человѣческаго сердца"! Въ „Ал-Мамунѣ" есть и другая мысль, которая съ

годами также укоренилась въ сознаніи нашего поэта; это его взглядъ на національную самобытность. Калифъ Ал-Мамунъ, великій реформаторъ и просвѣтитель, при всѣхъ своихъ необычайныхъ достоинствахъ, ускорилъ паденіе своего государства, потому что „упустилъ изъ виду-великую истину, что образованіе черпается изъ самаго же народа, что просвѣщеніе наносное должно быть въ такой степени заимствовано, сколько можетъ оно помогать собственному развитію, но что развиваться народъ долженъ изъ своихъ же національныхъ стихій". Съ этой здѣсь впервые вскользь брошенной мыслью Гоголь уже не разставался.

Романтическая любовь къ типу идеальнаго властителя побудила нашего автора приступить и къ обработкѣ одного историческаго сюжета въ формѣ драмы. Въ 1835 году онъ набросалъ нѣсколько явленій трагедіи изъ англійской жизни, подъ заглавіемъ „Альфредъ". Въ трагедіи повторенъ типъ великаго народнаго реформатора. Король Альфредъ—образецъ рыцарской честности, самаго просвѣщеннаго ума и благихъ тенденцій, примѣръ рыцаря-христіанина и вмѣстѣ тѣмъ самовластнаго повелителя, который долженъ повелѣвать всѣмъ по своему усмотрѣнію,—однимъ словомъ довольно распространенный въ тогдашней романтикѣ типъ вѣрующаго въ свою власть благодѣтеля и просвѣтителя народовъ.

„Ал-Мамунъ" и „Альфредъ"—единственные литературные памятники, обязанные своимъ происхожденіемъ увлеченію Гоголя всеобщей исторіей. Есть, впрочемъ, и еще одинъ набросокъ, въ которомъ нашъ историкъ далъ полную свободу своей фантазіи, стремясь сохранить однако историческую перспективу. Это—знаменитое стихотвореніе въ прозѣ „Жизнь" [1834]. Оно всѣмъ извѣстно; и если мы рѣшаемся припомнить его, то лишь затѣмъ, чтобы еще разъ указать на то, какъ историческое прошлое будило въ нашемъ историкѣ его даръ поэта, какъ художникъ побѣждалъ и покорялъ въ немъ ученаго.

„Бѣдному сыну пустыни—мечталъ Гоголь—снился сонъ:

Стоитъ надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою: граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ. Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звѣрями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, несокрушимая тлѣніемъ.

„Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишатъ на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ: мраморъ страстный дышетъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою... И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величіи.

„Стоитъ и распростирается желѣзный Римъ, устремляя лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на все завистливыя очи и протянувъ свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

„И говоритъ Египетъ, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ: „Народы, слушайте! Я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человѣка. Все тлѣнъ. Науки, искусства жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ человѣкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія. Да и будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бѣдный человѣкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое существованіе...“

„И говоритъ ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность свѣтлый міръ грековъ и, казалось, вмѣсто словъ слышалось дыханіе дѣвицы:

„Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! Мчись на колесницѣ, искусно

правя конями на блистательныхъ играхъ! Далѣе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, палитра и цѣвница созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ—красота. Увивай плющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія—умѣй быть достойнымъ наслажденія".

„И говоритъ покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестящимъ лѣсомъ копій: Я постигнулъ тайну жизни человѣка. Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ себѣ. Малъ для души размѣръ искусствъ и наслажденій. Наслажденіе въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, несись на сомкнутыхъ щитахъ бранноносныхъ легіоновъ! Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ, стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру—нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ—ты завоюешь, наконецъ, небо".

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Грецiя свои влажныя отъ наслажденія прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣненъ народъ; немноголюдная весь прислонилася къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка, неровно оттѣненнымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

„Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Грецiя; опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои копья, приникла ухомъ великая Азія съ народами—пастырями; нагнулся Араратъ, древній прапращуръ земли..."

Все, чѣмъ жилъ тогда Гоголь въ минуты лирическаго подъема духа: и увлеченіе стариной, и культъ красоты, и полетъ воображенія, и глубокое затаенное религіозное чувство,—все нашло себѣ выраженіе въ этой грезѣ, поэтичной и философской, патетической и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко искренней. Это одно изъ самыхъ блестящихъ и самыхъ правдивыхъ „лирическихъ мѣстъ“, которыми такъ часто прерывалась рѣчь нашего писателя о людяхъ и мірѣ.

Труды надъ всеобщей исторіей чередовались у Гоголя съ работами по исторіи Малороссіи. Съ его планами написать исторію своей родины, своей „бѣдной Украины“, мы отчасти уже знакомы. Планы были очень смѣлые и очень заманчивые: настолько заманчивые, что Гоголь, думая о нихъ, терялъ, иногда умышленно, а иногда и неумышленно способность различать между исполненнымъ и задуманнымъ. Старину своей родины онъ любилъ съ дѣтства. Воспоминанія о ней и живой интересъ къ ея остаткамъ легли въ основаніе его первыхъ повѣстей; съ мечтами объ этой старинѣ онъ не разставался и тогда, когда въ первый разъ бѣжалъ за границу; надъ ней работалъ онъ и въ періодъ своего увлеченія наукой, и, наконецъ, когда въ 1836 году покинулъ Россію надолго, онъ увезъ съ собой все ту же любовь къ малороссійскимъ древностямъ: онъ и въ Италіи продолжалъ думать о запорожцахъ и долго носился съ планами объ исторической трагедіи изъ жизни старой Украйны, ревностно роясь въ мемуарахъ, пѣсняхъ и разныхъ ученыхъ книгахъ.

Въ серединѣ тридцатыхъ годовъ эта любовь, какъ мы знаемъ, была подогрѣта надеждой получить въ Кіевѣ каѳедру, и Гоголь жилъ мечтой стать малороссійскимъ Ѳукидидомъ...

Въ 1834 году его мечта, кажется, особено разыгралась. „Я весь теперь погруженъ въ исторію малороссійскую и всемірную—писалъ онъ Погодину; и та и другая у меня на-

чинаетъ двигаться... Малороссійская исторія моя чрезвычайно бѣшена, да иначе, впрочемъ, и быть ей нельзя. Мнѣ попрекаютъ, что слогъ въ ней ужъ слишкомъ горитъ, не исторически жгучъ и живъ; но что за исторія, если она скучна!" *) „Исторію Малороссій я пишу всю отъ начала до конца,— сообщалъ онъ другому пріятелю, Максимовичу. Она будетъ или въ шести малыхъ, или въ четырехъ большихъ томахъ" **). Наконецъ, въ томъ же году онъ напечаталъ въ „Сѣверной Пчелѣ" объявленіе объ изданіи исторіи малороссійскихъ казаковъ, гдѣ говорилъ, что настоящей исторіи Малороссіи пока еще не существуетъ, что все, что по этому вопросу написано—компиляція, и что онъ намѣренъ восполнить этотъ пробѣлъ въ наукѣ. „Около пяти лѣтъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящіеся къ исторіи этого края,—заявлялъ онъ. Половина моей исторіи почти уже готова, но я медлю выдавать въ свѣтъ первые томы, подозрѣвая существованіе многихъ источниковъ, мнѣ неизвѣстныхъ". И Гоголь просилъ сообщать ему эти матеріалы, лѣтописи, записки, пѣсни, повѣсти бандуристовъ и дѣловыя бумаги. Обманывался ли онъ самъ, или хотѣлъ невѣрнымъ сообщеніемъ выманить у читателя кое-какія рѣдкости? Вѣроятно,— и то, и другое: онъ хитрилъ и былъ вмѣстѣ съ тѣмъ самъ обманутъ своей мечтой, какъ это въ жизни съ нимъ неоднократно случалось.

Что же, въ концѣ концовъ, осталось отъ этихъ занятій исторіей Малороссіи? Много выписокъ изъ читанныхъ книгъ, двѣ статейки, одна историческаго, другая литературнаго содержанія, много плановъ въ головѣ, наброски историческихъ повѣстей, одинъ фантастическій разсказъ, и, наконецъ, историческій романъ или поэма о „Тарасѣ Бульбѣ".

Какъ и слѣдовало ожидать, исторія вернула нашего писателя къ его первой любви—къ поэзіи, и наука обогатила лишь фантазію поэта. Вчитываться въ лѣтописи Гоголь не

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 275.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 277.

любилъ, но зато отъ народныхъ пѣсенъ и преданій былъ въ восторгѣ. „Моя радость, жизнь моя, пѣсни!—писалъ онъ ихъ собирателю Максимовичу.—Какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ этими звонкими, живыми лѣтописями! Я не могу жить безъ пѣсенъ... Вы не можете представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни; онѣ все даютъ по новой чертѣ въ мою исторію, все разоблачаютъ яснѣе и яснѣе, увы! прошедшую жизнь, и увы! прошедшихъ людей...“ *) „Я къ нашимъ лѣтописямъ охладѣлъ, напрасно силясь въ нихъ отыскать то, что хотѣлъ бы отыскать—признавался Гоголь И. И. Срезневскому. Нигдѣ ничего о томъ времени, которое должно бы быть богаче всѣхъ событіями [т.-е. о временахъ казачества]. И потому-то каждый звукъ пѣсни мнѣ говоритъ живѣе о протекшемъ, нежели наши вялыя и короткія лѣтописи, если можно назвать лѣтописями не современныя записки, но позднія выписки, начавшіяся уже тогда, когда память уступила мѣсто забвенію. Эти лѣтописи похожи на хозяина, прибившаго замокъ къ своей конюшнѣ, когда лошади уже были украдены... Еслибъ нашъ край не имѣлъ такого богатства пѣсенъ, я бы никогда не писалъ исторіи его, потому что я не постигнулъ бы и не имѣлъ понятія о прошедшемъ, или исторія моя была бы совершенно не та, что я думаю съ нею сдѣлать теперь **).

Малороссійскимъ пѣснямъ посвятилъ Гоголь даже цѣлую статью въ своихъ „Арабескахъ“. Какъ бы настраивая свою рѣчь на ихъ ладъ, онъ говорилъ о нихъ пѣсенными, пѣвучими словами. Статья „О малороссійскихъ пѣсняхъ“—опять лирическое изліяніе, которое, однако, въ данномъ случаѣ было на своемъ мѣстѣ. „Пѣсни для Малороссіи—все, говорилъ Гоголь, и поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнулъ въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о прошедшемъ бытѣ этой цвѣтущей части Россіи“.

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 263—264.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 278.

Великое историческое значеніе сохранено за этими пѣснями, велика также ихъ литературная стоимость. „Все въ нихъ, и образы и настроеніе, и стихосложеніе, и музыка, все—поэзія. Характеръ музыки нельзя опредѣлить однимъ словомъ: она необыкновенно разнообразна. Во многихъ пѣсняхъ она легка, граціозна, едва только касается земли и, кажется, шалитъ, рѣзвится звуками. Иногда звуки ея принимаютъ мужественную физіономію, становятся сильны, могучи, крѣпки; стопы тяжело ударяютъ въ землю; иногда же становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, силящіеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій чувствуетъ себя исполиномъ: душа его и все существованіе раздвигается, расширяется до безпредѣльности. Онъ отдѣляется вдругъ отъ земли, чтобы сильнѣе ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ". Такъ рѣзво, въ тактъ съ веселыми пѣснями, писалъ Гоголь... и еще болѣе красивыя слова нашелъ онъ, когда ему пришлось говорить о музыкѣ грустныхъ пѣсенъ. „Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться,—спрашивалъ онъ, впадая въ столь ему обычное унылое патетическое настроеніе—жалобы ли это на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея живутъ, жгутъ, раздираютъ душу... Безотрадное, равнодушное отчаяніе иногда слышится въ этой пѣснѣ такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуетъ, что надежда давно улетѣла изъ міра. Въ другомъ мѣстѣ отрывистыя стенанія, вопли, такіе яркіе, живые, что съ трепетомъ спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирѣпое насиліе вырываетъ младенца, чтобы съ звѣрскимъ смѣхомъ расшибить его о камень... По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться о минувшихъ страданіяхъ Малороссіи, такъ точно, какъ о бывшей бурѣ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по брилліантовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освѣженныя деревья, когда солнце мечетъ вечерній лучъ,

разрѣженный воздухъ чистъ, вдали звонко дребезжитъ мычаніе стадъ, голубоватый дымъ, вѣстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свѣтлыми кольцами къ небу и вечеръ, тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю".

Никто, конечно, не осудитъ историка за такую любовь къ пѣснямъ, къ одному изъ важнѣйшихъ памятниковъ старины, и во всѣхъ этихъ словахъ Гоголя любопытенъ не ихъ смыслъ—вполнѣ вѣрный, а сердечность, восторженность и картинность, съ какой они высказаны. Чувствуешь, что писатель, говоря о нихъ, проникнутъ ими; и понимаешь, почему при каждомъ удобномъ случаѣ, въ любой исторической статьѣ, онъ готовъ сбиться со спокойнаго историческаго тона на лирическій и разсужденіе замѣнить образомъ и картиной. Такъ, напр., въ статьѣ, которая была намѣчена какъ вступительная глава къ его „Исторіи Малороссіи" и была оставлена „за штатомъ въ виду передѣлки этой исторіи" *), т.-е. въ статьѣ, открывающей ученую книгу, нашъ историкъ придерживался этого же самаго картинно-повѣствовательнаго тона. Вмѣсто ученаго трактата, въ которомъ слѣдовало бы указать на географическія, этнографическія, экономическія и юридическія условія, на почвѣ которыхъ возникъ особый народъ съ оригинальной физіономіей, получился разсказъ, занимательный и колоритный, съ массою описаній внѣшнихъ сторонъ жизни и многими бытовыми картинами и пейзажами. Поэтъ чувствовался на каждой страницѣ, но историка не было видно, несмотря на то, что предметъ, о которомъ говорилъ Гоголь, былъ имъ изученъ повидимому достаточно основательно.

Нечего удивляться поэтому, если нашъ авторъ, работая надъ исторіей своей родины, въ то же время былъ занятъ историческимъ романомъ, въ которомъ малорусская запорожская старина должна была появиться передъ читателемъ во всей своей возстановленной полнотѣ и подновлен-

*) «Взглядъ на составленіе Малороссіи».

ной свѣжести. Этотъ романъ носилъ заглавіе — „Тарасъ Бульба“.

Еще въ самомъ началѣ тридцатыхъ годовъ [1831—1832] Гоголь принялся за литературную обработку одного эпизода изъ исторіи казачества. Онъ успѣлъ тогда написать лишь нѣсколько главъ, и затѣмъ работу бросилъ, вѣроятно потому, что Тарасъ Бульба вытѣснилъ изъ его сердца любовь къ гетману Остраницѣ, котораго онъ сначала намѣтилъ въ герои своего разсказа. На эти главы изъ неоконченной повѣсти можно, дѣйствительно, смотрѣть какъ на подготовительные этюды къ „Тарасу Бульбѣ“. Прежде чѣмъ дать намъ такія колоритныя картины старины, которыми блещетъ „Тарасъ Бульба“, авторъ въ повѣсти изъ жизни Остраницы пріучалъ свое перо схватывать мѣстный колоритъ старой казацкой жизни. Содержаніе повѣсти осталось недосказаннымъ и Остраница является передъ нами только въ роли героя любовной идилліи, которая, какъ и въ „Тарасѣ Бульбѣ“, отнюдь не составляетъ лучшаго эпизода въ разсказѣ. Написана эта идиллія, конечно, со свойственнымъ Гоголю лиризмомъ, съ тѣми же тонами и красками въ описаніяхъ природы, которые такъ поражаютъ нашъ слухъ и наше зрѣніе въ его „Вечерахъ“, съ тѣмъ же описаніемъ женской красоты, которая приближаетъ женщину къ неземной грезѣ—вообще, со всѣми намъ хорошо знакомыми романтическими пріемами творчества. Страдаетъ отъ этихъ пріемовъ, конечно, не только внѣшняя, но и внутренняя психологическая правда. Чтобы вообразить себѣ малороссійскаго казака XVII вѣка такимъ рыцаремъ и трубадуромъ, какимъ изображенъ Остраница, нужна большая живость фантазіи, а также и хорошее знаніе малороссійскихъ пѣсенъ, отзвуки которыхъ и слышны во всѣхъ рѣчахъ гетмана и его прелестной Гали, Галюночки, Галички и Галюни... Въ повѣсти есть, однако, сцены и вводные эпизоды, въ которыхъ сентиментальный любовный мотивъ уступаетъ свое мѣсто довольно реальному жанру. Сцена пасхальной ночи,

съ описаніемъ толпы XVII вѣка, съ еврейскими и польскими типами, вырисованными безъ шаржа; описаніе хутора Остраницы, детальное со всевозможными археологическими подробностями; описаніе обряда христосованья поселянъ со своимъ господиномъ—всѣ эти декораціи разставлены очень искусно и всѣ онѣ исторически вѣрны: въ нихъ виденъ знатокъ, который произвелъ кропотливыя разысканія, стремясь выработать вѣрный колоритъ для разсказа, по всѣмъ вѣроятіямъ сплошь измышленнаго.

Большихъ подготовительныхъ работъ потребовала отъ нашего автора и повѣсть „Тарасъ Бульба“, которая въ 1833 году была имъ вчернѣ закончена. Повѣсть эта была единственнымъ цѣннымъ результатомъ всѣхъ его работъ по исторіи Малороссіи. Гоголь самъ понималъ это, и, напечатавъ „Тараса Бульбу“ въ 1835 году, онъ продолжалъ работать надъ своимъ разсказомъ, стараясь довести до возможной точности его бытовыя и историческія детали. Въ позднѣйшей редакціи [сороковыхъ годовъ] „Тарасъ Бульба“, дѣйствительно, приблизился къ типу тѣхъ настоящихъ историческихъ романовъ Вальтеръ Скотт'овскаго типа, которые могутъ во внѣшнихъ своихъ подробностяхъ поспорить иной разъ съ историческими памятниками,—но и въ тридцатыхъ годахъ эта повѣсть выдѣлялась своимъ мѣстнымъ колоритомъ среди всѣхъ однородныхъ ей произведеній.

Въ ней замѣтно сильное колебаніе въ манерѣ письма. Реализма въ обрисовкѣ характеровъ, въ рѣчахъ, въ передачѣ психическихъ движеній много; но въ общемъ этотъ разсказъ носитъ на себѣ ясную печать того романтическаго взгляда на прошлую жизнь, который Гоголь проводилъ во всѣхъ своихъ историческихъ статьяхъ и планахъ. Правда, той рѣзкой идеализаціи типовъ и того пѣсеннаго склада рѣчи, которые насъ такъ поражали въ „Вечерахъ на Хуторѣ“, мы въ „Бульбѣ“ почти не встрѣтимъ, но предъ нами все-таки эпическая поэма, съ повышеннымъ тономъ и съ фигурами не совсѣмъ правдоподобныхъ размѣровъ.

Тотъ, кто пожелалъ бы въ „Тарасѣ Бульбѣ“ отмѣтить мастерство реальнаго воспроизведенія жизни, ея обыденныхъ, но правдивыхъ мелочей, тотъ могъ бы указать на цѣлый рядъ художественныхъ страницъ. Онъ вспомнилъ бы встрѣчу Бульбы съ сыновьями, на первый взглядъ дикую по своей грубости, но правдоподобную; онъ припомнилъ бы описаніе свѣтлицы стараго казака; предъ нимъ воскресъ бы страдальческій образъ старухи-матери въ ту безсонную ночь, когда она обрѣла дѣтей, чтобы на зарѣ потерять ихъ. Всѣ сценки, въ которыхъ фигурируютъ евреи—въ сѣчи, въ лагерѣ, въ своихъ столичныхъ канурахъ, въ городской тюрьмѣ—также образецъ очень реальнаго жанра; наконецъ, и казнь запорожцевъ—археологически вѣрно возстановленная картина.

Но, съ другой стороны, несмотря на всѣ эти проблески яркаго реализма, повѣсть „Тарасъ Бульба“ остается все-таки по существу своему однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ памятниковъ нашей романтики. Она имѣетъ, безспорно, всѣ достоинства романтической поэмы. Это все-таки повѣсть о герояхъ и ихъ подвигахъ; и сами герои, и ихъ дѣянія переходятъ нерѣдко за черту возможнаго и правдоподобнаго. Грандіозность размѣровъ въ очертаніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ, равно какъ и въ описаніи событій, бросается въ глаза при первомъ же взглядѣ. Читатель не получаетъ отъ разсказа впечатлѣнія эпически спокойнаго и ровнаго. Онъ все время тревожно настроенъ: такъ подымаетъ его настроеніе самъ авторъ полетомъ собственнаго лиризма или торжественнаго паѳоса.

Припомнимъ, напр., какъ Бульба спѣшилъ на выручку взятаго въ плѣнъ Остапа. „Какъ молнія, ворочались во всѣ стороны его запорожцы. Бульба, какъ гигантъ какой-нибудь, отличался въ общемъ хаосѣ. Свирѣпо наносилъ онъ свои крѣпкіе удары, воспламеняясь болѣе и болѣе отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе же-

ребца, переносили звонкія поля. Наконецъ, сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулся лишенный чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ запорожцевъ не остался въ живыхъ. всѣ полегли на мѣстѣ".

Припомнимъ также, какъ умиралъ этотъ гигантъ, когда ему „прикрутили руки, увязали веревками и цѣпями, когда привязали его къ огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ разсѣлину стѣны, такъ что онъ стоялъ выше всѣхъ и былъ виденъ всѣмъ войскамъ, какъ побѣдный трофей удачи. Вѣтеръ развѣвалъ его бѣлые волоса. Казалось, онъ стоялъ на воздухѣ, и это, вмѣстѣ съ выраженіемъ сильнаго безсилія, дѣлало его чѣмъ-то похожимъ на духа, представшаго воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественной своею властью и увидѣвшаго ея ничтожность". Вспомнимъ, наконецъ, о послѣднемъ подвигѣ казаковъ, который они свершили на глазахъ своего умиравшаго атамана. „Казаки достигли бы пониженія берега—разсказываетъ Гоголь—если бы дорогу не преграждала пропасть сажени въ четыре шириною: однѣ только сваи разрушеннаго моста торчали на обоихъ концахъ; изъ недосягаемой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее журчаніе какого-то потока, низвергавшагося въ Днѣстръ. Эту пропасть можно было объѣхать, взявъ вправо; но войска непріятельскія были уже почти на плечахъ ихъ. Казаки только одинъ мигъ остановились, подняли свои нагайки, свистнули — и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластались въ воздухѣ, какъ змѣи, и перелетѣли черезъ пропасть. Подъ однимъ только конь оступился, но зацѣпился копытомъ и привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкарабкался съ своимъ сѣдокомъ..." Читая такія и съ ними сходныя страницы [а ихъ въ „Тарасѣ Бульбѣ" не мало], чувствуешь себя невольнымъ участникомъ дѣяній какого-то сказочнаго міра, міра преданій или миѳа.

Самъ авторъ не историкъ, а слагатель новой былины, у которой онъ иногда даже заимствуетъ обороты рѣчи. „Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смертельное желѣзо, повисъ онъ головою и повалился на траву, не сказавъ ни одного слова"—поетъ Гоголь совсѣмъ старымъ эпическимъ складомъ, описывая смерть несчастнаго Андрія. Да и весь вводный эпизодъ объ Андріѣ — сентиментально романтическая повѣсть чистѣйшаго стиля, начиная съ момента встрѣчи Андрія съ незнакомкой, кончая описаніемъ геройской смерти брата полячки, который погибаетъ въ схваткѣ съ казаками, какъ бы искупая своей смертью казнь несчастнаго влюбчиваго запорожца. Только необычайная картинность разсказа и драматичность всѣхъ положеній заставляютъ насъ забыть о томъ, что эта повѣсть любви, торжествующей свою побѣду надъ долгомъ и патріотическимъ чувствомъ — старая сказка, пересказанная безчисленное количество разъ. Все въ ней такъ извѣстно: и неожиданность первой встрѣчи, и робкая затаенная любовь, и ночныя свиданія, и долгая разлука и обаяніе новой встрѣчи и забвеніе всего на свѣтѣ въ объятіяхъ земного блаженства... и все это такъ субъективно для самого Гоголя, что мы не должны удивляться, если въ мечтахъ Андрія найдемъ большое сходство съ думами самого автора. „Андрій также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ—писалъ Гоголь, какъ бы на страничкѣ своего дневника. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за 18 лѣтъ. Женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, чернобокую, нѣжную. Передъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея свѣжихъ, дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ

отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать казаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы". И одному ли казаку XVII вѣка было стыдно признаться въ этихъ думахъ? — можемъ спросить мы. Не приходили ли онѣ на умъ Гоголю, когда онъ слушалъ свои философскіе диспуты въ Нѣжинѣ? Не о себѣ ли думалъ онъ и тогда, когда описывалъ прощаніе казаковъ съ родимымъ хуторомъ, въ который имъ не суждено было вернуться? „День былъ сѣрый, разсказываетъ Гоголь; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Остапъ и Андрій, проѣхавши, оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только стояли на землѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика, однѣ только вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бѣлки; одинъ только дальній лугъ еще стлался передъ ними, тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію жизни своей, отъ лѣтъ, когда катались по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую казачку, боязливо летѣвшую черезъ него съ помощью свѣжихъ, быстрыхъ ножекъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ на небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и дѣтство и игры, и все, и все!"

Столько лиризма допускалъ нашъ авторъ въ своей поэмѣ, которая при всей правдоподобности въ нѣкоторыхъ деталяхъ и въ обрисовкѣ психическихъ движеній, оставалась романтической по своему замыслу, стилю и тону.

Даже въ описаніяхъ природы мы подмѣтимъ старую манеру автора—преувеличивать размѣры описываемаго и украшать описаніе богатыми метафорами. Мы, правда, не встрѣтимъ уже такого блеска метафоръ, который ослѣплялъ насъ въ „Вечерахъ на Хуторѣ", но мы попрежнему будемъ далеки отъ реальной пейзажной живописи. „Степь чѣмъ далѣе,

тѣмъ становилась прекраснѣе—писалъ Гоголь... Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растеній. Одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсъ, вытаптывали ихъ. Ничто въ природѣ не могло быть лучше ихъ. Вся поверхность земли представлялась зеленозолотымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальной верхушкою; бѣлая кашка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный Богъ знаетъ откуда колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли цѣлою тучею ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои на траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ знаетъ, въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась нѣжными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою. Вонъ она перевернулась крыльями и блеснула передъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!“

Послѣднее, нѣсколько комическое и совсѣмъ не въ тонѣ сорвавшееся восклицаніе позволяетъ думать, что Гоголь самъ не былъ доволенъ своимъ романтическимъ пейзажемъ и что онъ перемѣною тона хотѣлъ настроить читателя менѣе патетично, но зато болѣе правдиво.

„Тарасъ Бульба“ былъ данью той восторженной любви, которую Гоголь всегда питалъ къ старинѣ своей родины: это была пѣснь во славу малороссійской вольницы, героическій разсказъ объ ея богатыряхъ. Всѣ труды Гоголя по исторіи Малороссіи послужили ему матеріаломъ для этой сказочной картины, которую онъ разукрасилъ, однако, исторически-вѣрными деталями, хотя въ самомъ разсказѣ и не

уберегъ себя отъ лиризма; но этотъ лиризмъ былъ уже потому неизбѣженъ, что мысль о Малороссіи всегда влекла за собой цѣлую вереницу личныхъ воспоминаній.

Какъ художественное произведеніе „Тарасъ Бульба“ не открывалъ никакого новаго литературнаго горизонта: онъ замыкалъ собою старое теченіе и былъ лишь наилучшимъ образцомъ этого стараго стиля: Гоголь слѣдовалъ извѣстной литературной традиціи, уже установившейся и очень распространенной. Нельзя, конечно, указать ни на одинъ историческій романъ того времени, вліяніе котораго можно было бы прослѣдить на повѣсти Гоголя, тѣмъ болѣе, что первоисточники его повѣсти намъ извѣстны: мы знаемъ откуда онъ бралъ сырой матеріалъ для своей картины. Но тѣмъ не менѣе извѣстная зависимость „Тарасъ Бульбы“ отъ современнаго ему литературнаго стиля не подлежитъ сомнѣнію. При всей своей оригинальности, Гоголь не отступилъ отъ тѣхъ требованій, которыя романтика ставила историческому роману. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что онъ имѣлъ передъ глазами образцы иного литературнаго стиля въ историческихъ повѣстяхъ Пушкина — его друга, критика и кумира. Но въ настроеніи и міросозерцаніи нашего автора „романтическое“ было еще настолько сильно въ тѣ годы, что оно устояло передъ искушеніемъ красоты спокойнаго, ровнаго, величаво-простого стиля, какимъ Пушкинъ писалъ свои историческіе романы.

О какомъ бы родѣ художественнаго русскаго творчества намъ ни приходилось говорить, всегда рѣчь сводится къ Пушкину: и въ данномъ случаѣ, говоря о судьбахъ историческаго романа, необходимо вернуться къ „Арапу Петра Великаго“ и къ „Капитанской дочкѣ“.

Оба памятника стоятъ совершенно одиноко въ нашей литературѣ тѣхъ годовъ. Мы не найдемъ имъ предшественниковъ ни у насъ въ Россіи, ни даже на западѣ. Все, что до Пушкина писано въ этомъ родѣ на русскомъ языкѣ — ничтожно и не возвышается надъ уровнемъ литературной посред-

ственности; все, что писано на западѣ—при всѣхъ красотахъ выполненія—не достигаетъ той художественной простоты, той ясности въ замыслѣ и той жизненной правдивости въ рѣчахъ и поступкахъ дѣйствующихъ лицъ, которая такъ поражаетъ насъ въ историческихъ романахъ Пушкина... Не сравнимъ мы съ ними ни сентиментальныхъ нѣмецкихъ романовъ Лафонтена или Мейснера, въ которыхъ много чувствительности и мало правды, ни французскихъ романовъ типа Гюго, Виньи или Дюма—геніально колоритныхъ и патетическихъ, но всегда сбивающихся на сказку, ни, наконецъ, романовъ англійскихъ—даже такихъ, какъ романы Вальтеръ-Скотта или Бульвера, въ которыхъ воображенія неизмѣримо больше, чѣмъ въ пушкинскихъ разсказахъ, но въ которыхъ опять-таки нѣтъ психологической правды въ душевныхъ движеніяхъ, настолько сильной правды, чтобы обратить историческую личность въ нашего собесѣдника и насъ въ его современниковъ. А именно всѣми этими качествами и блещетъ историческая повѣсть Пушкина. Какъ иногда художественно-реальная игра артиста заставляетъ насъ забыть о существованіи рампы, такъ иногда историческая повѣсть творитъ то же чудо въ отношеніи времени: прошедшее становится для насъ дѣйствительностью и почти безъ усилія фантазіи мы начинаемъ себя чувствовать людьми иного вѣка, потому что видимъ предъ собой живыхъ людей и живую обстановку, въ которыхъ соблюдены всѣ условія реальной дѣйствительности. Пушкинъ обладалъ этимъ даромъ заставлять читателя жить прошлой жизнью и только онъ одинъ изъ всѣхъ нашихъ писателей имѣлъ эту власть надъ временемъ, пока „Война и Миръ“ не указали намъ его законнаго наслѣдника.

Отъ „Арапа Петра Великаго“ до „Войны и Мира“ мы не имѣли настоящаго историческаго романа: у насъ процвѣталъ романъ сентиментальный и романъ приключеній, которому авторъ иногда стремился придать колоритъ той или другой исторической эпохи. Къ числу такихъ романовъ,

возросшихъ въ тридцатыхъ годахъ до угрожающаго количества, принадлежалъ и „Тарасъ Бульба“; онъ былъ среди нихъ первымъ по красотѣ, эффектности и колоритности, въ чемъ всякій можетъ убѣдиться, кто пожелаетъ сравнить его съ современными ему однородными литературными памятниками.

Ихъ количество росло съ необычайной быстротой и затопляло литературный рынокъ. Обозрѣть всю эту массу историческихъ повѣстей и романовъ нѣтъ рѣшительно никакой возможности, да и не нужно,—можно остановиться лишь на самыхъ главнѣйшихъ, чтобы указаніемъ на ихъ достоинства или недостатки лучше оттѣнить то преимущество, которое надъ всѣми ними имѣетъ разсказъ Гоголя.

Наша историческая повѣсть, за исключеніемъ повѣсти Пушкина, была, какъ только-что замѣчено, по сюжету и стилю повѣстью сентиментальной и романтической. Тотъ и другой элементъ она заимствовала съ запада, гдѣ такіе историческіе романы процвѣтали. Къ этому романтическому сюжету и сентиментальному настроенію наши писатели съ своей стороны стали примѣшивать элементъ мнимо народный, тотъ самый, о которомъ такъ много говорилось въ тридцатыхъ годахъ и въ пониманіи котораго, какъ мы помнимъ, царила большая путаница. Съ первыхъ же своихъ шаговъ наша историческая повѣсть должна была отвѣчать, помимо литературныхъ требованій, еще и на требованія этой „народности“: она должна была во всѣхъ смыслахъ быть патріотической, т.-е. убѣждать насъ въ томъ, что наша русская народность обладаетъ тѣмъ же богатымъ духовнымъ содержаніемъ и тѣми же внѣшними красотами, которымъ мы такъ привыкли удивляться въ историческихъ романахъ изъ жизни намъ чуждой. Такимъ образомъ, нашъ историческій романъ тѣхъ годовъ была въ основѣ своей тенденціозенъ.

Дѣйствительно, если присмотрѣться хотя бы даже къ самымъ лучшимъ образцамъ этого литературнаго рода, то не

трудно замѣтить, что всѣ три элемента: сентиментальный, романтическій и условно-народный входятъ въ составъ и замысла, и выполненія любого историческаго романа того времени.

Вы встрѣтите въ немъ прежде всего традиціонную любовную интригу со всевозможными препятствіями, сентиментальную, часто слезливую и трогательную. Эта интрига всегда — главная нить, на которую нанизаны всѣ эпизоды, иной разъ самые важные и интересные въ историческомъ смыслѣ. Выходитъ такъ, что въ исторической повѣсти главное не историческое, вѣрно воспроизведенное, а общечеловѣческое, воспроизведенное при томъ довольно шаблонно.

Рядомъ съ этимъ сентиментальнымъ мотивомъ въ историческихъ повѣстяхъ того времени вы найдете всегда и всѣ романтическіе пріемы творчества. Ходъ дѣйствія всегда необычайно запутанъ, обставленъ невѣроятными происшествіями, которыя разсчитаны на повышеніе въ читателѣ его нервнаго напряженія; характеристики дѣйствующихъ лицъ и драматическія ихъ положенія почти всегда переходятъ за черту возможнаго или даже вѣроятнаго; много таинственнаго, недосказаннаго или умышленно умолченнаго; эффекты на каждомъ шагу и частая игра на контрастахъ.

Наконецъ, и условно народный элементъ проявляется въ этихъ повѣстяхъ почти всегда въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ. Прославленіе православія и самодержавія, перечень разныхъ добродѣтелей, свойственныхъ русскимъ, исчисленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ извиненіе кое-какихъ пороковъ, археологическая реставрація обстановки, костюма и, по мѣрѣ силъ, самой рѣчи, иногда экскурсіи въ область миѳологіи и народныхъ преданій—вотъ самые распространенные мотивы и пріемы, при помощи которыхъ авторъ стремился придать своему разсказу народный характеръ.

Само собою разумѣется, что среди нашихъ романистовъ-историковъ, несмотря на сходство пріемовъ въ ихъ работѣ,

можетъ быть, и должна быть установлена извѣстная литературная іерархія. Она и была установлена читателемъ, который одни романы забылъ, а другіе запомнилъ. Во всякомъ случаѣ, когда Гоголь писалъ своего „Тараса Бульбу“, онъ вступалъ въ состязаніе съ людьми, далеко не лишенными таланта, но только этотъ талантъ тратился на работу фальшивую уже въ самомъ своемъ замыслѣ.

Еще Нарѣжный, идя вослѣдъ Карамзину, пытался создать такую сентиментальную и патріотическую повѣсть, отъ которой на насъ пахнуло бы родной стариной. Но въ своихъ „Славянскихъ Вечерахъ“ *) онъ не пошелъ дальше ординарнаго слащаваго и псевдо-героическаго разсказа, въ которомъ даже не было намека на безспорный талантъ автора.

Въ двадцатыхъ годахъ историческая повѣсть нѣсколько оживилась подъ перомъ Марлинскаго. Достоинство его повѣстей—очень немногочисленныхъ и не длинныхъ **)—опредѣляется, главнымъ образомъ, если не отсутствіемъ, то меньшимъ подчеркиваніемъ всевозможныхъ патріотическихъ тенденцій; Марлинскій отъ нихъ также не вполнѣ свободенъ, но главное его вниманіе обращено все-таки не на эту сторону, а на возможно бо́льшую близость къ исторической правдѣ и, главное, на правдоподобность психическихъ движеній дѣйствующихъ лицъ. У него есть повѣсти изъ рыцарскихъ временъ остзейскаго края, въ которыхъ о Россіи упоминается рѣдко—и это лучшія повѣсти. Есть разсказы также изъ русскаго прошлаго, въ которыхъ русскаго духа совсѣмъ нѣтъ, но есть много археологически вѣрныхъ декорацій и много рѣчей и чувствъ не въ стародавнемъ стилѣ, но зато въ хорошемъ стилѣ начала XIX вѣка. Во всѣхъ этихъ повѣстяхъ виденъ даровитый ученикъ Вальтеръ-Скотта, а иногда и Мура, и Байрона, но эта зависимость отъ иностраннаго

*) «Славянскіе вечера», 2 части. Спб. 1826.

**) «Гедеонъ», «Замокъ Эйзенъ», «Наѣзды», «Замокъ Венденъ», «Ревельскій турниръ», «Романъ и Ольга», «Измѣнникъ».

образца мало вредитъ разсказамъ Марлинскаго, такъ какъ она не поддѣлка, а только лишь хорошо усвоенная манера. Историческая повѣсть была, впрочемъ, для Марлинскаго увлеченіемъ преходящимъ и онъ отъ старины скоро перешелъ къ описанію современной ему жизни, которую и умѣлъ освѣщать очень правдиво и своеобразно.

Никто не отниметъ также таланта у Загоскина, который еще задолго до Гоголя увлекъ всѣ сердца „Юріемъ Милославскимъ“ *). Въ русской литературѣ этотъ романъ былъ настоящимъ событіемъ и удостоился даже перевода на многіе иностранные языки. Но кто же теперь, читая этотъ романъ даже безъ скуки, станетъ отрицать, что онъ фальшивъ отъ первой страницы до послѣдней; что герой со своей клятвой Владиславу скорѣе смѣшонъ, чѣмъ патетиченъ; что любовь его къ Анастасіи неестественно приторна и реторична; что почти всѣ польскіе типы—шаржированы и каррикатурны, а русскіе идеализированы; что всѣ историческія „картины“ скорѣе лубочныя сцены и что рѣчь, которой говорятъ и простолюдины, и дворяне, какъ мозаика, составлена изъ отдѣльныхъ словъ и оборотовъ рѣчи, выисканныхъ въ словарѣ? Еще меньше литературныхъ красотъ имѣлъ другой историческій романъ Загоскина „Аскольдова Могила“ **)—разсказъ изъ временъ Владиміра Святого, въ которомъ повѣствовалось о любовныхъ похожденіяхъ этого князя, о борьбѣ христіанства съ язычествомъ, и гдѣ при случаѣ высказывались самыя восторженныя вѣрноподданническія чувства истинныхъ россовъ къ своему государю. Романъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ расширенной романтической балладой со всѣмъ традиціоннымъ инвентаремъ мнимо народныхъ аксесуаровъ. „Аскольдова Могила“ была бы совсѣмъ забыта, если бы музыка Верстовскаго о ней до сихъ поръ не напоминала.

*) «Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году» *М. Н. Загоскина*. 3 части. Москва. 1829—30.

**) «Аскольдова могила. Повѣсть изъ временъ Владиміра Перваго» *М. Н. Загоскина*. 3 части. Москва. 1833.

Самъ Загоскинъ не отдавалъ себѣ, впрочемъ, отчета въ той дорогѣ, по которой шелъ и, несмотря на то, что съ каждымъ новымъ его историческимъ романомъ интересъ публики къ нему падалъ, онъ продолжалъ писать ихъ одинъ за другимъ.

Соперникъ Загоскина — уже извѣстный намъ И. И. Лажечниковъ въ свое время былъ также очень популярнымъ сочинителемъ историческихъ романовъ. И если требовать отъ такихъ романовъ, прежде всего, занимательности, то романы Лажечникова для своего времени должны быть поставлены на первое мѣсто. „Послѣдняго Новика“ *) и „Ледяной домъ“ **) можно и въ наше время прочесть съ не ослабѣвающимъ вниманіемъ. Умѣніе запутать и распутать интригу — самая сильная сторона таланта Лажечникова и ради всѣхъ этихъ хитросплетеній въ дѣйствіи нашъ авторъ готовъ пожертвовать и исторической правдой [которую онъ иногда искажаетъ самымъ произвольнымъ образомъ] и правдой въ психическихъ движеніяхъ. Но за вычетомъ занимательной интриги, въ романахъ Лажечникова едва ли что-нибудь останется. Узнать эпоху Петра I или Анны Іоанновны въ этихъ разсказахъ почти невозможно: передъ нами самые общіе типы людей, которые годились бы для какой угодно эпохи, если окрестить ихъ иными именами и измѣнить кое-что въ окружающей ихъ обстановкѣ. Довольно ординарны и стереотипны и тѣ эффекты, къ которымъ постоянно прибѣгаетъ авторъ: это все тѣ же обычные романтическіе ужасы или восторги, къ которымъ насъ пріучала французская и нѣмецкая романтика. Сентиментальный элементъ въ любовныхъ приключеніяхъ, и въ особенности элементъ патріотическій, мы найдемъ у Лажечникова также въ изобиліи, но главнымъ недостаткомъ его романовъ остается все-таки несоотвѣтствіе между психическими движеніями дѣйствую-

*) «Послѣдній Новикъ или завоеваніе Лифляндіи въ царствованіе Петра Великаго» *И. Лажечникова.* 4 части. Москва. 1831—33.

**) «Ледяной домъ» *И. Лажечникова.* 4 части. 1838.

щихъ лицъ и нравами той эпохи, когда эти лица жили. Однѣ сцены въ романѣ умышленно грубы, другія умышленно слишкомъ тонки и между этими двумя крайностями правда жизни исчезаетъ: вмѣсто нея передъ нами занимательная неправдоподобная сказка, отъ которой, однако, все-таки съ трудомъ оторвешься.

Изъ всѣхъ этихъ сказокъ только „Басурманъ“ *) поднялся выше средняго уровня литературной моды, главнымъ образомъ, въ виду интереса основной своей идеи: Лажечниковъ попытался изобразить психологію культурнаго человѣка, попавшаго въ некультурную русскую среду эпохи Ивана III, и этотъ мало патріотичный романъ—лучшее, что удалось создать нашему патріоту.

Въ свое время Загоскинъ и Лажечниковъ въ области историческаго романа достойныхъ соперниковъ не имѣли: они считались первыми авторитетами. Но историкъ литературы въ правѣ нѣсколько видоизмѣнить эту іерархію. Если примѣнять къ историческому роману тѣ требованія, которыя ему ставилъ тогдашній вкусъ публики, то рядомъ съ романами Загоскина и Лажечникова, если не выше ихъ, придется поставить одинъ романъ, который, не былъ оцѣненъ тогда по достоинству. Это была „Клятва при гробѣ Господнемъ“ **). Авторъ—Н. А. Полевой, извѣстный критикъ, памфлетистъ, сатирикъ, историкъ и романистъ—еще въ двадцатыхъ годахъ попробовалъ свои силы на поприщѣ историческаго бытописанія. Онъ написалъ тогда повѣсть „Симеонъ Кирдяпа“, принятую съ большими похвалами. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Полевой задумалъ написать цѣлую хронику русской жизни временъ Василія Темнаго. Планъ былъ очень смѣлый, въ особенности если принять во вниманіе, какими скудными историческими данными пришлось располагать автору. Онъ, конечно, не избѣгъ

*) «Басурманъ» *И. Лажечникова*. 4 части. Москва. 1838.

**) «Клятва при гробѣ Господнемъ. Русская быль XV вѣка». 4 части. Москва. 1832.

традиціонныхъ ошибокъ. Главный герой повѣсти остался совсѣмъ въ тѣни и продолжалъ быть для читателя загадочной личностью; таинственной осталась и клятва, которую этотъ герой давалъ при гробѣ Господнемъ; въ неизмѣнную любовную фабулу авторъ опять подсыпалъ большую дозу сентиментальныхъ сладостей, и часто злоупотреблялъ эффектами. Но всѣ эти недостатки искупались шириной набросанной имъ картины. Въ этомъ длинномъ разсказѣ объ интригахъ нашихъ старыхъ князей мы имѣемъ передъ собой галлерею очень типичныхъ лицъ. Ни одинъ историческій романъ не давалъ также такого разнообразія бытовыхъ картинъ, какъ романъ Полевого. Князья, ихъ бояре, стража, крестьяне, мѣщане, купцы, воины, послушники, монахи, странники проходятъ передъ нами, не нарушая единства дѣйствія и торопя завязку или развязку главной интриги. Насколько всѣ эти лица согласны съ исторической правдой, это, конечно, вопросъ иной; у нашего романтика было свое понятіе объ этой исторической правдѣ, но среди всѣхъ тогдашнихъ ея искаженій романъ Полевого былъ изъ числа наиболѣе колоритныхъ.

Читатель тридцатыхъ годовъ былъ, однако, менѣе требователенъ, чѣмъ мы, и рядомъ съ именами Загоскина, Лажечникова и Полевого ставилъ еще и много другихъ именъ, теперь почти совсѣмъ или совсѣмъ забытыхъ. Охотно, папр., читались историческіе романы Булгарина—худшее, что̀ имъ было написано. Полные мелодраматическихъ эффектовъ, скучные въ тѣхъ своихъ частяхъ, гдѣ авторъ стремился не отступать отъ исторіи и копировалъ лѣтописи и другіе источники, пропитанные насквозь патріотической тенденціей и приторной прописной гражданской моралью, съ невѣроятной сентиментальной психологіей любви, съ романтическими ужасами всевозможнаго вида — „Димитрій Самозванецъ“ *)

*) «Димитрій Самозванецъ». Историческій романъ *Ѳ. Булгарина*, 4 части. Спб. 1830.

и „Мазепа“ *) были для средняго читателя самой удобоусвояемой пищей и авторъ могъ одно время гордиться, что сбытъ его романовъ не пострадалъ отъ сосѣдства съ „Борисомъ Годуновымъ“ и „Полтавой“ Пушкина. Читался также съ интересомъ и Масальскій — авторъ романовъ „Стрѣльцы“ **) и „Регентство Бирона“ ***), очень сходныхъ по своему историческому колориту съ романами Лажечникова. Читателей находилъ и Вельтманъ со своими неуклюжими историко-фантастическими сказками. На смѣну этимъ писателямъ позднѣе пришелъ Зотовъ и, главнымъ образомъ, Кукольникъ, стремившіеся плодовитостью замѣнить оригинальность, но дѣятельность этихъ писателей падаетъ въ сороковые годы и потому лежитъ внѣ поля зрѣнія того изслѣдователя, который говоритъ о взаимномъ отношеніи творчества Гоголя и современныхъ ему литературныхъ вкусовъ.

Существуетъ ли такое соотношеніе между ходячими тогда историческими романами и „Тарасомъ Бульбой“? Если имѣть въ виду выполненіе задачи, то, конечно, ни о какомъ сравненіи Гоголя съ только-что поименованными авторами не можетъ быть и рѣчи. Человѣкъ съ огромнымъ литературнымъ талантомъ можетъ остаться вполнѣ художникомъ и на той дорогѣ, идя по которой другой писатель съ меньшей силой необходимо упрется въ шаблонъ и банальность. Въ „Тарасѣ Бульбѣ“ всѣ недостатки нашей старой исторической повѣсти были, дѣйствительно, спасены талантомъ Гоголя, но они не перестаютъ быть недостатками. Отъ того художественнаго воспроизведенія старины, при которомъ она становится для насъ переживаемой дѣйствительностью Гоголь все-таки далекъ. Его разсказъ остается романтической грезой, а не живой повѣстью о быломъ, хотя всѣ погрѣшности противъ правды и прикрыты въ этой грезѣ ху-

*) «Мазепа» *Ѳ. Булгарина*, 2 части. Спб. 1833.

**) «Стрѣльцы». Историческій романъ *К. Масальскаго*. 4 части. Спб. 1832

***) «Регентство Бирона». *К. Масальскаго*, 2 части. Спб. 1834.

дожественнымъ ея выполненіемъ. Новыхъ путей въ созданіи историческаго романа Гоголь не указалъ, но старое довелъ до совершенства. Въ „Тарасѣ Бульбѣ“ онъ избѣжалъ всѣхъ антихудожественныхъ условностей, не понижая общаго романтическаго тона всей повѣсти. Сентиментальную любовную интригу онъ не довелъ до приторности, героизмъ въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ не повысилъ до фантастическаго, не примѣшалъ къ повѣсти никакой кричащей патріотической тенденціи или морали и, кромѣ того, въ деталяхъ сумѣлъ остаться строгимъ реалистомъ. Исторически вѣрнаго общаго представленія о жизни казачества по его повѣсти мы не получимъ, но зато въ описаніяхъ частностей этого быта видимъ не компилятора или мозаиста, какими были современные ему сочинители историческихъ повѣстей, а человѣка, сжившагося со стариной, съ ея внѣшностью и только во внутреннее ея содержаніе вносящаго свой романтическій пафосъ.

Впрочемъ, такое сочетаніе романтическаго взгляда на жизнь съ реальной вырисовкой ея деталей встрѣчается не въ одномъ только „Тарасѣ Бульбѣ“, а—какъ сейчасъ увидимъ — во всѣхъ гоголевскихъ повѣстяхъ того времени, даже тѣхъ, въ которыхъ художникъ-реалистъ одержалъ верхъ надъ своимъ неотвязнымъ спутникомъ, разсуждающимъ, морализирующимъ, восторженнымъ или умиленнымъ романтикомъ.

VIII.

Постепенный ростъ реализма въ творчествѣ Гоголя.—«Вій».—«Старосвѣтскіе помѣщики».—«Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». — «Носъ». — «Коляска». — «Петербургскія Записки 1836 г.».—Выходъ въ свѣтъ «Арабесокъ» и «Миргорода».—Отзывы критики. Значеніе повѣстей Гоголя въ исторіи развитія его творчества.

„Если бы насъ спросили — писалъ Бѣлинскій въ одной изъ своихъ статей—въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы — мы отвѣчали бы: въ томъ именно, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ называемой „толпѣ“, исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило сдѣлать литературу выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ. Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго долженствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполнѣ обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла „Миргородъ“ и „Ревизора“.

Гоголь, вѣроятно, никогда бы не согласился съ Бѣлинскимъ въ томъ, что онъ отошелъ отъ изображенія „высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни“—онъ, который, въ концѣ концовъ ради нихъ отрекся отъ своего творчества, но въ общемъ Бѣлинскій былъ правъ. „Мир-

городъ“ и рядъ другихъ повѣстей, тогда набросанныхъ или написанныхъ Гоголемъ, отмѣчаютъ ясно поворотъ его творчества отъ романтизма въ искусствѣ къ реализму.

Помимо тѣхъ историческихъ, литературныхъ и эстическихъ статей, которыя были напечатаны Гоголемъ въ сборникѣ „Арабески“ [1835], кромѣ повѣстей „Портретъ“, „Невскій проспектъ“ и „Записки сумасшедшаго“, появившихся въ томъ же сборникѣ, помимо комедій, надъ которыми нашъ авторъ тогда работалъ, и „Мертвыхъ Душъ“, писать которыя онъ также началъ, Гоголь въ 1835 году выпустилъ въ свѣтъ продолженіе своихъ „Вечеровъ на Хуторѣ“ подъ заглавіемъ „Миргородъ“. Въ составъ сборника вошли четыре повѣсти: уже знакомая намъ повѣсть „Тарасъ Бульба“, и затѣмъ „Старосвѣтскіе помѣщики“, „Вій“ и „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“. Если къ этимъ повѣстямъ добавить тогда же написанные разсказы „Носъ“ [1833] и „Коляска“ [1835]; статью „Петербургскія Записки“ [1835—1836] и задуманную повѣсть „Шинель“ [1834] то мы будемъ имѣть полный списокъ тѣхъ созданій Гоголя, въ которыхъ романтикъ уступалъ свое мѣсто реалисту, чтобы въ „Комедіяхъ“ и въ „Мертвыхъ Душахъ“ окончательно ему подчиниться.

Какъ памятники, на которыхъ остались слѣды любопытнаго спора двухъ пріемовъ мастерства и двухъ тенденцій въ авторѣ — всѣ только-что перечисленныя сочиненія Гоголя имѣютъ большое значеніе въ исторіи его творчества. Въ нихъ стала все яснѣе и яснѣе проступать наружу та его способность, которая, по собственному его признанію, не могла ничего „выдумать“, которая, чтобы творить, должна была видѣть и осязать. Пушкинъ разумѣлъ именно эту способность Гоголя, когда говорилъ, что никто не умѣетъ такъ схватывать и чувствовать житейскую пошлость, какъ его добрый пріятель. Отъ этого дара самому Гоголю становилось иной разъ жутко и столкновеніе, грозное столкновеніе между бытописателемъ и лирикомъ становилось неиз-

бѣжно. Оно, дѣйствительно, и наступило во всей своей строгости послѣ созданія „Комедій“ и „Мертвыхъ Душъ“, но въ тридцатыхъ годахъ это столкновеніе не причиняло Гоголю пока еще никакой боли и сказывалось только на довольно странномъ смѣшеніи противорѣчивыхъ настроеній и стилей въ нѣкоторыхъ изъ его повѣстей.

Уже при оцѣнкѣ той основной мысли, которую авторъ стремился пояснить въ своихъ разсказахъ: „Портретъ“, „Записки сумасшедшаго“ и „Невскій проспектъ“, мы имѣли случай указать, какъ реальные типы и реальная обстановка сочетались въ этихъ повѣстяхъ съ романтическимъ настроеніемъ и замысломъ. Во всѣхъ этихъ трехъ разсказахъ вниманіе автора какъ бы двоилось: онъ занятъ былъ освѣщеніемъ и разработкой основной романтической мысли о миссіи поэта или о разладѣ мечты и жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ мимоходомъ онъ рисовалъ бытовыя картины въ самомъ реальномъ, иногда даже карикатурномъ стилѣ.

Жизнь артистической богемы, жизнь мелкихъ чиновниковъ Коломны, нѣсколько профилей великосвѣтскихъ барынь, модный художникъ въ своей мастерской — вотъ о чемъ успѣлъ мимоходомъ сказать нѣсколько картинныхъ словъ нашъ писатель, когда въ „Портретѣ“ разоблачилъ передъ нами тайныя страданія артистической души, измѣнившей своему призванію ради внѣшняго блеска или когда говорилъ о той чертѣ, которая должна отдѣлять искусство отъ жизни. Въ „Невскомъ проспектѣ“ и въ „Запискахъ сумасшедшаго“ передъ нами еще больше такихъ реальныхъ деталей, совершенно жизненныхъ, — которыми пояснена основная мысль о романтическихъ страданіяхъ непримиреннаго съ дѣйствительностью мечтателя. И военные, и художники, и нѣмецкіе ремесленники, и бульварная публика и департаментскіе чиновники—всѣ включены въ одну, повидимому, тѣсную рамку и всѣ живутъ на нашихъ глазахъ, несмотря на то, что передъ нами мелькаютъ иногда лишь только ихъ профили и силуэты.

Такъ же точно и въ другихъ повѣстяхъ, написанныхъ въ эти годы, талантъ Гоголя двоится, и въ одномъ и томъ же произведеніи мы встрѣчаемъ и самое художественное реальное изображеніе жизни, и знакомое намъ субъективно-романтическое отношеніе автора къ ней, причемъ это послѣднее идетъ замѣтно на убыль.

Повѣсть „Вій“ по замыслу настоящая фантастическая сказка, очень похожая на тѣ, которыя авторъ разсказывалъ въ своихъ „Вечерахъ“. А между тѣмъ рядомъ съ этимъ фантастическимъ элементомъ въ повѣсти дана цѣлая бытовая картина и притомъ безъ идиллическихъ прикрасъ, безъ какого-либо искаженія правды, въ стилѣ очень строгаго реализма. Въ тогдашней литературѣ не было памятника, въ которомъ бы жизнь бурсаковъ и бытъ дворни знатнаго помѣщика были бы очерчены такъ кратко и вмѣстѣ съ тѣмъ правдиво — правдиво потому, что то самое простонародье, жизнь котораго Гоголь раньше любилъ подкрасить, выведено здѣсь во всей своей наготѣ на сцену; и притомъ это вовсе не та лубочная нагота, которой иногда щеголялъ писатель тѣхъ годовъ, когда хотѣлъ изобразить наивность простонароднаго міросозерцанія.

То же смѣшеніе тоновъ замѣтно и въ повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“, въ этой несложной идиллической исторіи двухъ закатывающихся жизней. Романтическая идиллія, какъ извѣстно, была очень распространеннымъ родомъ творчества въ нашей старой словесности. Писатели очень любили такія благородныя темы, какъ исторія двухъ любящихъ сердецъ, поселенныхъ среди мирной природы, вдали отъ цивилизаціи,—сердецъ, занятыхъ исключительно своимъ чувствомъ. „Старосвѣтскіе помѣщики“ были удачной попыткой замѣнить въ этой темѣ всѣ романтическіе элементы—реальными и бытовыми. Вмѣсто прежнихъ пустынныхъ мѣстъ — малороссійская деревня, вмѣсто разочарованныхъ героевъ и томныхъ или страстныхъ героинь — старикъ и старуха; и при всей этой внѣшней простотѣ и прозаичности, повѣсть

глубоко поэтична. Она—рѣшительная побѣда реализма въ искусствѣ, а между тѣмъ, какъ часто въ ней прорывается наружу романтическое настроеніе автора. Сколько субъективной грусти вложено въ этотъ спокойный разсказъ, какъ невозмутимо однообразенъ его тонъ, не совсѣмъ соотвѣтствующій тому понятію, какое мы имѣемъ о реальной, хотя бы самой замкнутой, помѣщичьей жизни. „Старосвѣтскіе помѣщики“, при всемъ реализмѣ въ деталяхъ, какъ, напр., въ сценкахъ изъ крестьянской жизни, при поразительномъ своемъ безпристрастіи, всетаки производятъ впечатлѣніе какой-то грустной грезы, на которой остались слѣды любимыхъ размышленій автора о печаляхъ жизни. Онъ не уберегъ себя отъ этой романтической грусти даже въ этой повѣсти, въ которой рисовалъ жизнь мирнаго уголка, жизнь, полную счастья, любви, тишины и довольства.

То же вторженіе романтической грусти подмѣчаемъ мы и въ „Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“. Гоголь не особенно высоко цѣнилъ эту повѣсть—она была въ его глазахъ простой шуткой: и въ ней есть этотъ шутовской элементъ, граничащій даже съ невѣроятностью. Появленіе бурой свиньи, которая похитила жалобу Ивана Никифоровича, можетъ быть оправдано только смѣшливымъ капризомъ автора. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эта повѣсть вполнѣ реальная картина уѣзднаго города и Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича можно встрѣтить и въ наше время. Мы смѣемся надъ ними отъ души, равно какъ и надъ всѣми гостями, которые сталкиваютъ двухъ друзей на знаменитомъ обѣдѣ городничаго. Когда мы потомъ читаемъ „Ревизора“ и „Мертвыя Души“, то эта картина уѣзднаго общества всегда приходитъ намъ на память; вспоминаемъ мы и судью, который слушаетъ чтеніе безконечнаго дѣла и прерываетъ его разсужденіями о пѣніи дроздовъ, вспоминаемъ и городничаго, который при ежедневныхъ рапортахъ спрашиваетъ квартальныхъ надзирателей, нашлась ли пуговица отъ его мундира, потерянная имъ два года тому на-

задъ; помнимъ мы и Антона Прокофьевича, который продалъ свой домъ и на вырученныя деньги купилъ тройку гнѣдыхъ лошадей и бричку, затѣмъ промѣнялъ этихъ лошадей на скрипку и дворовую дѣвку, чтобы эту дѣвку промѣнять въ концѣ концовъ на сафьянный съ золотомъ кисетъ... Одно только возбуждаетъ въ насъ недоумѣніе, это—окончаніе повѣсти. Отчего этотъ веселый разсказъ кончается такими печальными словами?

„Тощія лошади, — такъ заключаетъ авторъ свою повѣсть, — извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкой, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣта небо. Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“

Лирическая вставка, очень характерная именно въ такой веселой повѣсти, и лишній разъ указывающая на то, какъ нашему автору было трудно подавить личное грустное ощущеніе даже въ самой безобидной повѣсти, сбивающейся на смѣшную шутку.

Шутками можно назвать и „Коляску“ и „Носъ“ — два коротенькихъ разсказа, въ которыхъ авторъ далъ полную волю своему остроумію; въ этихъ повѣстяхъ или, вѣрнѣе, анекдотахъ, странно было бы доискиваться какой-нибудь идеи, но при всей незначительности содержанія, эти шутки въ литературномъ смыслѣ явленіе замѣчательное, именно въ виду реальной обрисовки нѣкоторыхъ типовъ и сценъ, хотя бы самыхъ незатѣйливыхъ. Цирюльникъ Иванъ Яковлевичъ и майоръ Ковалевъ, носъ котораго позволилъ себѣ такую непристойную выходку, люди живые, несмотря на всю

чепуху, которая съ ними творится. Но рядомъ съ этой необъяснимой чепухой имъ приходится быть свидѣтелями и небезъинтересныхъ житейскихъ явленій. Такова, напр., сцена въ газетной экспедиціи, гдѣ печатались объявленія о томъ, „что отпускается въ услуженіе кучеръ трезваго поведенія, малоподержанная коляска, вывезенная въ 1814 году изъ Парижа, и дворовая дѣвка 19-ти лѣтъ, упражнявшаяся въ прачечномъ дѣлѣ, годная и для другихъ работъ“... Такова сцена у частнаго пристава; наконецъ, описаніе той сенсаціи, какую произвелъ сбѣжавшій и прогуливающійся носъ въ столицѣ, сенсаціи, охватившей всѣ круги общества... Такіе тонкіе сатирическіе штрихи—впрочемъ очень безобидные—попадаются и въ „Колескѣ“. Взять хотя бы типъ главнаго виновника этого смѣшного инцидента—помѣщика, который давалъ прекрасные обѣды дворянству, на которыхъ объявлялъ, что если только его выберутъ предводителемъ, то онъ поставитъ дворянъ на самую лучшую ногу, который затѣмъ употребилъ приданое жены на шестерку отличныхъ лошадей, вызолоченные замки къ дверямъ, ручную обезьяну для дома и француза дворецкаго...

Вообще въ этихъ шуткахъ Гоголя читатель могъ наткнуться совсѣмъ неожиданно на проблески общественной сатиры. Такой сатирическій элементъ былъ въ особенности силенъ въ повѣсти „Шинель“, которую Гоголь въ это же время задумалъ, но обработалъ значительно позднѣе.

Гораздо большій общественный смыслъ имѣло и удивительно яркое сравненіе Москвы и Петербурга, набросанное Гоголемъ въ 1835 году и затѣмъ, въ 1837 году напечатанное въ „Современникѣ“ подъ заглавіемъ „Петербургскія Записки 1836 года“. Эта статья, „написанная въ свѣтлыя минуты веселости великимъ меланхоликомъ“—какъ о ней говорилъ Пушкинъ—своего рода перлъ остроумія. Государственная, общественная и литературная физіономія двухъ столицъ обрисована съ неподражаемой яркостью красокъ и мѣткостью выраженія. Москва—эта старая домосѣдка, ко-

торая печетъ блины, глядитъ издали и слушаетъ разсказъ, не подымаясь съ кресѣлъ, о томъ, что дѣлается на свѣтѣ; Петербургъ—разбитной малый, который никогда не сидитъ дома, всегда одѣтъ и, охорашиваясь передъ Европою, раскланивается съ заморскимъ людомъ... Петербургъ—аккуратный человѣкъ, совершенный нѣмецъ, который на все глядитъ съ разсчетомъ и прежде нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотритъ въ карманъ; Москва—русскій дворянинъ, который если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ. Москва, гдѣ журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и проч. Петербургъ—гдѣ въ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности; Москва—гдѣ журналы идутъ на ряду съ вѣкомъ, но опаздываютъ книжками и Петербургъ, гдѣ журналы не идутъ наравнѣ съ вѣкомъ, но выходятъ аккуратно, въ положенное время; Москва, куда тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается налегкѣ; Петербургъ, куда ѣдутъ люди безденежные и разъѣзжаются во всѣ стороны свѣта съ изрядным капиталомъ. Москва—которая не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ, который продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ, Москва, которая нужна для Россіи, и Петербургъ, которому нужна Россія...

Въ цѣлой вереницѣ такихъ остроумныхъ сопоставленій поясняетъ Гоголь свою основную мысль о противорѣчіи коренной русской Москвы и Петербурга, похожаго на „европейско-американскую колонію“. Эту мысль нужно отмѣтить, какъ первое проявленіе тѣхъ патріотическихъ взглядовъ, которые позднѣе сблизятъ Гоголя съ славянофилами.

Такъ наблюдателенъ и реаленъ въ своемъ творчествѣ сталъ за эти годы нашъ авторъ, все болѣе и болѣе изощряя свой взглядъ художника надъ всякими мелочами нашей повседневной жизни *).

*) Къ 1830—1835 годамъ относятся и нѣсколько отрывковъ изъ на-

Большинство этихъ очерковъ и разсказовъ, равно какъ и серьезныхъ статей по исторіи, литературѣ и искусству, Гоголь, какъ мы уже сказали, собралъ и выпустилъ въ свѣтъ въ двухъ сборникахъ, напечатанныхъ почти одновременно.

Въ началѣ 1835 года вышли въ свѣтъ „Арабески *) и вслѣдъ за ними обѣ части „Миргорода“ **).

Авторъ придавалъ, кажется, особенное значеніе „Арабескамъ“, гдѣ были собраны его статьи по эстетикѣ и исторіи. Хоть онъ и писалъ въ одномъ частномъ письмѣ, что этотъ сборникъ, „сумбуръ, смѣсь всего, каша—***), но эти слова были просто авторскимъ кокетствомъ. По крайней мѣрѣ въ предисловіи къ „Арабескамъ“ Гоголь не только не скромничалъ, но говорилъ съ читателемъ въ достаточно горделивомъ тонѣ, который непріятно поразилъ тогдашнюю критику. „Признаюсь, писалъ молодой авторъ, нѣкоторыхъ пьесъ я бы, можетъ быть, не допустилъ вовсе въ это собраніе, если бы издавалъ его годомъ прежде, когда я былъ болѣе строгъ къ своимъ старымъ трудамъ. Но вмѣсто того, чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неумолимымъ къ своимъ занятіямъ *настоящимъ*. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же несправедливо, какъ позабывать минувшіе дни своей юности. При томъ, если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ, три еще несказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя, и за двѣ, три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго“. Такой тонъ въ предисловіи исклю-

---

чатыхъ повѣстей [«Сочиненія Н. В. Гоголя». X-ое изданіе V, 94—98], по содержанію своему также вполнѣ реальныхъ.

*) Въ «Арабески» вошли всѣ историческія, эстетическія и критическія статьи и повѣсти: «Портретъ», «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго».

**) Въ «Миргородѣ» были напечатаны: «Старосвѣтскіе помѣщики», «Вій», «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» и «Тарасъ Бульба».

***) «Письма Н. В. Гоголя» I, 331.

чалъ, повидимому, всякую авторскую скромность и Гоголь, дѣйствительно, ревниво относился къ успѣху своей книги. Онъ очень жаловался, что его „Арабески“ и „Миргородъ“ не идутъ совершенно: „Чортъ ихъ знаетъ, что это значитъ, восклицалъ онъ. Книгопродавцы такой народъ, которыхъ безъ всякой совѣсти можно повѣсить на первомъ деревѣ“ *). Въ своихъ заботахъ объ „Арабескахъ“ Гоголь готовъ былъ даже пойти на газетную рекламу. „Сдѣлай милость, писалъ онъ Погодину, напечатай въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ объявленіе объ „Арабескахъ“ въ такихъ словахъ: что теперь, дескать, только и говорятъ вездѣ, что объ „Арабескахъ“, что сія книга возбудила всеобщее любопытство, что расходъ на нее страшный. [NB. До сихъ поръ ни гроша барыша не получено] и тому подобное“ **).

Если „Арабески“ не шли, то въ этомъ былъ, конечно, виноватъ ихъ учено-эстетическій багажъ, для большой публики мало интересный. Эти историческія и ученыя статьи Гоголя очень не понравились и критикѣ, которая въ общемъ отнеслась и къ „Арабескамъ“, и въ особенности къ „Миргороду“ благосклонно.

Сенковскій въ „Библіотекѣ для Чтенія“ разругалъ Гоголя за его предисловіе, говоря, что только Гете да Гоголь могутъ съ публикой объясняться такимъ образомъ, что Гоголь, не полагаясь на разборчивость наслѣдниковъ и обожателей, начинаетъ свое литературное поприще тѣмъ, что самъ издаетъ свои посмертныя сочиненія. Критикъ очень неодобрительно отнесся и къ ученымъ статьямъ нашего автора. „Арабески“—говорилъ онъ—это полная мистификація наукъ, художествъ, смысла и русскаго языка. Въ ученыхъ статьяхъ не оберешься уродливыхъ сужденій, тяжкихъ грѣховъ противъ вкуса и логики. Въ нихъ поражаетъ читателя внутренняя пустота мысли и дисгармонія языка“. Сенковскій смѣялся также надъ „средними вѣками“ и „готикой“

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 354.
**) «Письма Н. В. Гоголя» I, 341.

Гоголя, надъ этими „любимыми куклами его воображенія". Вкусъ и логика изнасилованы во всѣхъ этихъ серьезныхъ статьяхъ Гоголя, говорилъ онъ. Вообще было бы гораздо лучше, когда бы статьи этого рода высказывались не изъ души, а изъ предварительной науки. О повѣстяхъ, напечатанныхъ въ „Арабескахъ", критикъ отозвался очень глухо, но похвалилъ слегка „Записки сумасшедшаго" и „Невскій проспектъ" *). Къ повѣстямъ въ „Миргородѣ" Сенковскій отнесся мягче, выписалъ даже цѣлую страницу изъ „Тараса Бульбы", однако замѣтилъ, что повѣсть о „ссорѣ Ивана Ивановича" очень грязна и что въ „Віѣ" нѣтъ ни конца, ни начала, ни идеи, ничего кромѣ страшныхъ, невѣроятныхъ сценъ **). Во всей рецензіи, какъ видимъ, сквозило явное недоброжелательство.

Булгаринъ говорилъ объ „Арабескахъ" приблизительно то же самое; порицалъ автора за аристократическій и диктаторскій тонъ въ его предисловіи, видѣлъ во всѣхъ его серьезныхъ статьяхъ промахи противъ логики и истины, языка и вкуса. Повѣсти похвалилъ, но по поводу „Невскаго Проспекта" упрекнулъ Гоголя въ неразборчивомъ вкусѣ и замѣтилъ, что карикатуры ему лучше удаются. Вообще, по его мнѣнію, „Арабески" названы удачно: это „образы безъ лицъ" ***). Въ той же „Сѣверной Пчелѣ", гдѣ была помѣщена эта рецензія, былъ разобранъ и „Миргородъ" относительно-благосклонно. Любопытны заключительныя слова критика. Въ „Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ"—говорилъ онъ—описана прозаичная жизнь двухъ сосѣдей бѣднаго уѣзднаго городка со всѣми ея незанимательными подробностями, описана съ удивительною вѣрностью и живостью красокъ. Но какая цѣль этихъ

*) «Библіотека для Чтенія», 1835 г. Т. IX. «Литературная лѣтопись», 3—14.

**) «Библіотека для Чтенія» 1835 т. IX. «Литературная лѣтопись» 31—34.

***) «Сѣверная Пчела», 1835, № 73.

сценъ?—сценъ, не возбуждающихъ въ душѣ читателя ничего, кромѣ жалости и отвращенія? Въ нихъ нѣтъ ни забавнаго, ни трогательнаго, ни смѣшного. Зачѣмъ же показывать намъ эти рубища, эти грязныя лохмотья, какъ бы ни были они искусно представлены? Зачѣмъ рисовать непріятную картину задняго двора жизни и человѣчества, безъ всякой видимой цѣли?“ *).

Кромѣ этихъ рецензій, недоброжелательныхъ и насмѣшливыхъ, остальныя были всѣ въ пользу Гоголя. Критикъ „Московскаго Наблюдателя“ Шевыревъ поздравилъ русскую литературу съ появленіемъ новаго, совершенно оригинальнаго таланта, въ которомъ простодушная веселость нашла себѣ художественное выраженіе. Пользуясь случаемъ, Шевыревъ написалъ цѣлый философскій трактатъ о теоріи смѣха, отводя Гоголю почетное мѣсто среди первыхъ юмористовъ міра, какъ представителю славянскаго простодушнаго юмора. Критикъ хвалилъ „Тараса Бульбу“, но не вполнѣ былъ доволенъ слогомъ Гоголя. Свою рецензію онъ заканчивалъ также очень характернымъ пожеланіемъ. „Желательно—говорилъ онъ—чтобы Гоголь обратилъ свой наблюдательный взоръ на общество, насъ окружающее. Онъ водилъ насъ въ Миргородъ, въ мастерскую сапожника, въ сумасшедшій домъ. Но столица уже довольно смѣялась надъ провинціей и деревенщиной. Пусть Гоголь откроетъ безсмыслицу въ нашей собственной жизни и въ кругу, такъ называемомъ, образованномъ, въ нашей гостиной, среди модныхъ фраковъ и галстуковъ, подъ модными головными уборами“ **).

Силу Гоголя, какъ юмориста, оттѣнилъ и критикъ „Литературныхъ Прибавленій къ „Русскому Инвалиду“, который, говоря о „Ревизорѣ“, попутно коснулся повѣстей нашего автора. „Гоголь обыкновенно описываетъ мелочныя

*) «Сѣверная Пчела», 1835, № 116. Статья подписана «П. М—скій».

**) «Московскій Наблюдатель» 1835, I, статья *Шевырева* о «Миргородѣ», 396—411.

обстоятельства и ничтожные случаи—писалъ рецензентъ,—но разсказываетъ о нихъ съ важностью, какъ о необыкновенныхъ происшествіяхъ міра. Объясняясь предположеніями ложными, однакоже свойственными тому человѣку, который предполагаетъ, мысля грубыми предразсудками, отпуская даже глупости въ лицѣ какого-нибудь глупца—Гоголь сохраняетъ при этомъ столько умствующую, дальновидную, убѣдительную физіогномію, что вамъ сначала покажется, не считаетъ ли самъ онъ такими важными эти бездѣлицы. Онъ никогда не подастъ вамъ подозрѣнія, что шутитъ. Простодушіе его такъ велико, что еще сомнительно, знаетъ ли самъ онъ, что онъ такъ остеръ и забавенъ" *).

На очаровательную безцѣнную наивность повѣстей Гоголя указывалъ и критикъ „Телескопа", который шутливо замѣчалъ при этомъ: „Зазнались же вы, почтенный пасичникъ, отъ того, что въ „Библіотекѣ для Чтенія" называютъ васъ русскимъ „Поль де-Кокомъ!" **). Реализмъ въ повѣстяхъ Гоголя встрѣтилъ полное сочувствіе и еще въ одномъ анонимномъ критикѣ „Литературныхъ Прибавленій". „Въ повѣстяхъ Гоголя сюжетъ простъ, занимателенъ, величественъ, какъ природа, разсматриваемая не очами слѣпца,—говорилъ рецензентъ. Выполненъ сюжетъ увлекательно. Съ радостью скажемъ, что авторъ „Миргорода" уже оставляетъ свою прежнюю напыщенность: простота есть одна изъ трехъ Граціи—изящнаго! Теперь каждое слово Гоголя есть необходимая часть цѣлаго, ни одно слово не уронено на вѣтеръ" ***).

Но самой полной оцѣнкой литературнаго значенія новыхъ повѣстей Гоголя былъ извѣстный историческій обзоръ русской повѣсти, данный Бѣлинскимъ въ его статьѣ „О

*) «Литературныя Прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1836, № 59—60. *П. Серебреный.* «Русскій театръ», 479.

**) «Телескопъ» XXI. «Молва« 351.

***) «Литературныя прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1835, № 33. Статьи *А. в. м. л.* «Мои коммеражи о сочиніи Н. Гоголя «Миргородъ», 262—3.

русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя [„Арабески“ и „Миргородъ“]“ *).

Насмѣшливо относясь ко всѣмъ „ученымъ“ статьямъ Гоголя, Бѣлинскій восторженно говорилъ объ его литературномъ талантѣ. Для него Гоголь прежде всего—истинный поэтъ, тотъ самый, творчество котораго „безцѣльно съ цѣлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью“.

Гоголь мастеръ дѣлать все изъ ничего. Его созданія ознаменованы печатью истиннаго таланта и созданы по непреложнымъ законамъ творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій—суть вѣрные, необманчивые признаки творчества: это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, жизни, коротко знакомой намъ... Каждая его повѣсть—смѣшная комедія, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнію. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша; сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины! Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени: Гоголь ни мало не думаетъ о народности, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за нею и ловятъ—одну тривіальность... Комизмъ или юморъ Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простачкомъ и этотъ юморъ тѣмъ скорѣе достигаетъ своей цѣли... и въ этомъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ нравоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли,

*) «Телескопъ», 1835, XXVI, № 8.

изъ одного удовольствія рисовать. О! Предъ такою нравственностью можно падать на колѣни!

„Арабески“ и „Миргородъ“, продолжалъ Бѣлинскій, носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше упоенія, лирическаго разгула, чѣмъ въ „Вечерахъ“, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, Гоголь здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ нравахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой! какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Гоголь еще только началъ свое поприще, но какія надежды подаетъ его дебютъ! Эти надежды велики, такъ какъ Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Пусть Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что велитъ ему описывать или его воля, или гг. критики *). Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какою-то внѣшнею, не зависящею отъ него волею или, лучше сказать, его воля есть вдохновеніе!..

Такъ говорилъ Бѣлинскій, примѣняя къ творчеству Гоголя положенія, выработанныя нѣмецкой эстетикой, и онъ былъ на этотъ разъ правъ. Гоголь, дѣйствительно, творилъ безсознательно и никакой цѣли въ своихъ повѣстяхъ пока не преслѣдовалъ. Онъ оставался художникомъ по преимуществу, поэтомъ, который искалъ художественныхъ образовъ для выраженія всѣхъ своихъ наблюденій и всѣхъ разнообразныхъ, иногда противорѣчивыхъ, настроеній, подъ властью которыхъ находился.

*) Намекъ на вышеприведенное пожеланіе Шевырева.

Подводя общій итогъ всей литературной дѣятельности Гоголя, какъ она выразилась въ „Миргородѣ“ и „Арабескахъ“, мы приходимъ къ выводу, что нашъ писатель постепенно выходилъ изъ круга тѣхъ романтическихъ вкусовъ въ выборѣ сюжетовъ и тѣхъ романтическихъ пріемовъ въ ихъ обработкѣ, какіе господствовали въ современной ему литературѣ.

Какъ печальникъ о разладѣ мечты и дѣйствительности, какъ мечтатель-поэтъ, которому трудно отвѣтить на вопросъ—чему служитъ его вдохновеніе, въ чемъ заключена его тайна и его земное назначеніе, наконецъ, какъ любитель старины, въ которой онъ искалъ не безпристрастной истины, а подтвержденія своихъ думъ и симпатій, Гоголь тридцатыхъ годовъ—сынъ своего романтическаго поколѣнія.

Но въ немъ одновременно созрѣвалъ творецъ иного литературнаго направленія, отъ развитія котораго наше самосознаніе должно было такъ много выиграть впослѣдствіи. Наша дѣйствительность со всѣми ея грѣхами начинала приковывать къ себѣ вниманіе художника и онъ становился ея бытописателемъ: необычайно быстро, и рѣшительно освоился онъ съ этой новой ролью, и если въ его повѣстяхъ замѣтно колебаніе въ настроеніи, стилѣ рѣчи и пріемахъ мастерства, то этого колебанія уже нѣтъ въ его комедіяхъ, надъ которыми онъ въ тѣ же годы работалъ. Въ этихъ комедіяхъ онъ чистокровный реалистъ, удивительный техникъ и съ виду спокойный наблюдатель дѣйствительности. Онъ истолкователь и обличитель этой дѣйствительности, о которой пока онъ говорилъ лишь мимоходомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что онъ успѣлъ сказать о ней? Въ „Вечерахъ“ онъ сблизилъ насъ съ жизнью малорусской деревни и позволилъ намъ однажды заглянуть въ помѣщичью усадьбу; въ „Арабескахъ“ погулялъ съ нами по Щукину двору и по Невскому проспекту, заглянувъ мимоходомъ въ мастерскую художника, въ квартиру нѣмца-ремесленника, погибшей дѣвицы и сумасшедшаго департаментскаго чинов-

ника; въ „Миргородѣ“ опять возвратился съ нами въ Малороссію, познакомилъ насъ со старосвѣтскими помѣщиками, со странствующими бурсаками, со всей администраціей и съ обывателями уѣзднаго, мелкаго городишка. Конечно, онъ провелъ насъ по цѣлой портретной галлереѣ, и мы любовались этими разнообразными типичными лицами. Ихъ было такъ много и они были новы. Но всѣ они были случайные типы, портреты, написанные при случаѣ; въ нихъ не было объединяющаго смысла, по которому можно было бы судить не о томъ или другомъ изъ нихъ порознь, а обо всѣхъ сразу, какъ объ общественномъ явленіи.

Такой осмысленный подборъ реальныхъ типовъ Гоголь далъ сначала въ своихъ комедіяхъ, а затѣмъ въ „Мертвыхъ Душахъ“.

IX.

Наша комедія до Гоголя; ея малая художественная стоимость и въ очень рѣдкихъ случаяхъ большая стоимость общественная.—«Недоросль» Фонъ-Визина и «Ябеда» Капниста среди безцвѣтной комедіи XVIII вѣка.—Водевиль и легкая комедія александровскаго царствованія; Крыловъ, Хмѣльницкій, кн. Шаховской и Загоскинъ.—Малая идейная стоимость ихъ комедій.—Вѣрность и глубина сатирическаго взгляда на современную жизнь въ сатирѣ Грибоѣдова.—Паденіе театра въ концѣ двадцатыхъ годовъ.—Общественные вопросы, затронутые въ ненапечатанныхъ драмахъ Лермонтова и Бѣлинскаго.—Комедіи Квитки: «Дворянскіе выборы» и «Пріѣзжій изъ столицы».

Въ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія тѣхъ годовъ, театръ — сила, съ которой необходимо считаться. Отдавая, однако, должное нѣкоторымъ выдающимся памятникамъ нашей драматургіи, нужно признать, что въ общемъ наша старая комедія и драма влачили существованіе достаточно жалкое и были въ огромномъ большинствѣ случаевъ разобщены съ тѣмъ историческимъ моментомъ, когда возникли. Большое, конечно, значеніе имѣли въ данномъ случаѣ чисто внѣшнія стѣсненія, какими всегда было обставлено появленіе на нашей сценѣ болѣе или менѣе серьезной пьесы. Власть всегда ревниво оберегала театральнаго зрителя отъ всякихъ искушеній, считаясь съ его необычайною воспріимчивостью къ зрѣлищамъ: а русскій человѣкъ, какъ извѣстно, театралъ очень страстный. Но одними внѣшними условіями едва ли можно объяснить бѣдность и

безсиліе нашей драматической литературы того времени. Нужно, прежде всего, считаться со случайностью, т.-е. съ отсутствіемъ истинныхъ драматическихъ талантовъ и, кромѣ того, съ отсутствіемъ подготовительной литературной школы.

Такой школы не было въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы; ее надлежало создать, и Гоголь былъ первымъ настоящимъ драматическимъ талантомъ, который положилъ ей основаніе. У своихъ предшественниковъ онъ не многому могъ научиться, и на его долю выпало созданіе настоящей русской комедіи, т.-е. такой, которая удовлетворяла бы одновременно двумъ требованіямъ,— и художественнымъ, какъ извѣстное литературное произведеніе, и требованіямъ идейнымъ, какъ вѣрное изображеніе переживаемой дѣйствительности. Такая гармонія формы и содержанія была, дѣйствительно, достигнута Гоголемъ и притомъ самостоятельно и сразу. Были, конечно, недостатки и въ его комедіяхъ, но съ момента ихъ созданія должны мы начинать исторію нашего самобытнаго „національнаго“ театра.

Какъ художникъ-драматургъ Гоголь превосходилъ всѣхъ своихъ предшественниковъ и современниковъ. Онъ былъ рожденъ драматическимъ писателемъ: комическое положеніе, имъ созданное — всегда вѣрно схваченное и художественно переданное наблюденіе, а не придуманный, хотя бы и очень смѣшной, эффектъ; всѣ лица его комедій и главныя, и самыя второстепенныя, живутъ и дѣйствуютъ сами по себѣ, какъ люди, а не ради той или другой идеи автора; наконецъ, и рѣчь ихъ—рѣчь простая и естественная, а не собраніе разныхъ оборотовъ и сентенцій, заранѣе заготовленныхъ. Все это достоинства, которыхъ мы не встрѣчаемъ ни у предшественниковъ Гоголя, ни у его современниковъ, и только объ одномъ можемъ мы пожалѣть, что нашъ авторъ не обнаружилъ достаточной смѣлости въ выборѣ своихъ сюжетовъ. Это тѣмъ болѣе жаль, что Гоголь сознавалъ себя и смѣлымъ, и сильнымъ, и одно время

работалъ надъ комедіей „правдивой и злой“, которую не окончилъ, а можетъ быть, и окончилъ, но сжегъ, убоявшись цензуры. Авторъ имѣлъ, конечно, основаніе ея бояться, но идти наперекоръ ей и вынуждать ее на уступки онъ, однако, не рѣшился и уступилъ самъ. Такимъ образомъ, нашъ первый драматургъ-бытописатель, опережая всѣхъ, и предшественниковъ, и современниковъ, какъ художникъ— отсталъ отъ нихъ, какъ сатирикъ, въ смѣлости и вѣскости своихъ ударовъ.

Все это сейчасъ намъ станетъ ясно при болѣе подробномъ сравненіи комедій Гоголя съ тѣми лучшими „опытами“ комедій и драмъ, которые до него и въ его время появились на сценѣ или остались въ рукописи.

Какъ мы уже замѣтили, появленіе на нашей сценѣ выдающейся пьесы съ общественнымъ смысломъ было явленіемъ очень рѣдкимъ. За семьдесятъ лѣтъ, если считать со времени „Бригадира“ [1766] до „Ревизора“ [1836], мы можемъ похвалиться лишь двумя-тремя дѣйствительно замѣчательными театральными новинками; остальныя пьесы, хотя бы и имѣвшія успѣхъ у современниковъ, не оказали никакого вліянія ни на развитіе нашего художественнаго вкуса, ни на приростъ нашего общественнаго сознанія. Эти старыя комедіи и драмы, какъ картины нравовъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ не переступали за черту посредственнаго, или, если переступали, то, при всей силѣ и правдѣ обличенія, оставляли въ художественномъ отношеніи желать многаго.

Если взять въ цѣломъ всю нашу комедію XVIII вѣка, то невольно поразишься малой ея художественной и общественной стоимостью. О пьесахъ того времени принято, впрочемъ, говорить съ уваженіемъ; и какъ „зачатки“ театра, онѣ, конечно, такое уваженіе заслуживаютъ. Но гдѣ найдемъ мы истинно-комическій взглядъ писателя на „комичное“ его эпохи или серьезный, прикрытый смѣхомъ, взглядъ на то, что дѣйствительно было достойно обличенія и осу-

жденія? Если съ такими требованіями подойти къ старой комедіи, то вся ея мнимая смѣлость и откровенность покажется намъ невинной шуткой, ребячествомъ, не говоря уже объ очень низкой ея художественной стоимости. Невинной шуткой покажутся, напр., и комедіи самой императрицы, обличительной откровенностью которыхъ такъ гордились ея вѣрнопо́дданные, возмущенные всѣми мелкими людскими пороками и убаюканные пороками крупными. Всѣ громы другихъ комиковъ противъ своего времени мы признаемъ также наивными и бьющими поверхъ головъ истинно виновныхъ. Чѣмъ общѣе былъ грѣхъ и порокъ, тѣмъ онъ казался тогда достойнѣе осмѣянія, и сатирикъ кончалъ тѣмъ, что боролся не съ людьми, а съ безтѣлесными призраками. Такъ любилъ обобщать свои типы, напр., лучшій по техникѣ драматургъ того времени—Княжнинъ. Кто смотрѣлъ на его „Хвастуна“, тотъ много смѣялся на всѣ забавныя выходки Верхолета; но зритель могъ быть спокоенъ, и зналъ, что этотъ Хлестаковъ XVIII-го вѣка въ его довѣріе не вотрется: слишкомъ неестественно и неправдоподобно было вранье этого лгуна, доведенное авторомъ до колоссальныхъ размѣровъ лишь затѣмъ, чтобы показать порокъ во всей его наготѣ, въ какой онъ никогда не гуляетъ на свѣтѣ. Комедія „Чудаки“ *), въ которой выступали „недавно вышедшій въ дворянство господинъ Лентягинъ, весьма богатый и по-своему философствующій человѣкъ“; Улинька—„смиренная вѣтренница“; „весьма романическій дворянинъ“ Пріятъ; „пріятель всемірный“ Трусимъ, поэты Тромпетинъ и Свирѣлкинъ, и главный рычагъ всего дѣйствія—слуга Пролазъ,—эта комедія обѣщала нѣчто, тѣмъ болѣе, что авторъ хотѣлъ изобразить въ ней простого человѣка, мѣщанина, который вмѣсто того, чтобы чваниться своимъ дворянствомъ, наоборотъ удивляетъ всѣхъ своими демократическими симпатіями. Но этотъ „философствующій“ человѣкъ обратился подъ перомъ Княжнина

*) И «Хвастунъ», и «Чудаки»—къ тому же передѣлка съ французскаго.

въ настоящаго „чудака“, почти что шута, и, вмѣсто картины нравовъ мѣщанской семьи во дворянствѣ, получился забавный водевиль съ масками вмѣсто лицъ и буффонадой вмѣсто комическихъ положеній.

Тѣмъ большей неожиданностью было появленіе комедій Фонъ-Визина.

Съ этихъ пьесъ начинаютъ обыкновенно исторію нашей художественной комедіи — но вѣрнѣе было бы начинать исторію нашей общественной сатиры. Фонъ-Визинъ—сатирикъ по преимуществу, писатель, для котораго ударъ, нанесенный врагу, былъ цѣннѣе того оружія, какимъ этотъ ударъ наносится. Вмѣстѣ съ Новиковымъ и Радищевымъ самый смѣлый человѣкъ своего вѣка, онъ хорошо понималъ, въ какую цѣль надо мѣтить, если хочешь сказать своему вѣку въ глаза всю правду. Нападать на общечеловѣческіе недостатки онъ считалъ дѣломъ праздным, и—оградивъ себя нѣсколькими комплиментами, сказанными по адресу бдительнаго правительства и благомыслящихъ людей въ родѣ Добролюбова, Стародума, Правдина и Милона,—онъ произвелъ свою безпощадную расправу съ тѣмъ сословіемъ, за которымъ власть тогда такъ ухаживала, считая его лучшимъ проводникомъ и просвѣщенія, и гуманности. Осмѣять какого-нибудь петиметра, выставить въ смѣшномъ видѣ педанта, простодушнаго глупца, хвастуна, враля, вертопраха, интригана или жеманницу, модницу, сплетницу, кокетку, какъ это дѣлала въ большинствѣ случаевъ тогдашняя комедія—значило вызвать въ зрителѣ пріятную улыбку; но показать ему полное вырожденіе цѣлой дворянской семьи, — значило заставить его смѣяться именно тѣмъ смѣхомъ, который могъ вызвать озлобленіе и желаніе *расправиться* съ авторомъ; и если Фонъ-Визинъ избѣгъ этой расправы, которая много лѣтъ спустя угрожала Гоголю за гораздо болѣе скромнаго „Ревизора“, то потому, что Фонъ-Визина, какъ Бомарше, вѣроятно не вполнѣ поняли.

Пока дѣло шло о семейномъ любовномъ водевилѣ разъ-

игравшемся въ домѣ Бригадира [1766], можно было смѣяться безъ гнѣва. Сынокъ, который говорилъ, что тѣло его родилось въ Россіи, а духъ принадлежитъ коронѣ французской, который отца вызывалъ на дуэль, потому что во французской книжкѣ „Les sottises du temps“ прочиталъ о таковомъ случаѣ, который говорилъ, что онъ пренесчастный человѣкъ, потому что въ двадцать пять лѣтъ имѣетъ еще отца и мать, двухъ животныхъ, съ которыми, чортъ его возьми, онъ долженъ жить, — этотъ оригинальный молодой человѣкъ могъ своимъ цинизмомъ развеселить, какъ могъ заставить смѣяться зрителя и его родитель, который утверждалъ, что не у всѣхъ людей волосы на головѣ сосчитаны, что Господь Богъ, знающій все, знаетъ и табель о рангахъ и потому считаетъ волосы на людской головѣ, лишь начиная съ пятаго класса...

Пока рѣчь шла о смѣшныхъ прекаліяхъ такихъ оригиналовъ, къ смѣху зрителей не примѣшивалось никакихъ постороннихъ чувствъ; но совсѣмъ иная картина развернулась въ „Недорослѣ“ [1782]. Кто умѣлъ читать между строками или понимать намеки, могъ призадуматься. Дѣйствительно, нѣкоторыя явленія этой комедіи можно было расширить до цѣлаго трактата на самую серьезную общественную тему.

Полный умственный мракъ въ семьѣ, которой довѣрена опека надъ массою людей; ослабленіе въ этомъ дворянскомъ гнѣздѣ всѣхъ семейныхъ узъ, свободное развитіе и удовлетвореніе всѣхъ животныхъ инстинктовъ, порожденныхъ обезпеченнымъ положеніемъ и праздностью, полное презрѣніе ко всякому ученію, отрицаніе за человѣкомъ, стоящимъ ниже тебя, всякаго достоинства личности, кулачная расправа, какъ доказательство своей правоты, и, наконецъ, самый открытый цинизмъ въ отношеніи къ крестьянамъ— вотъ какой перечень дворянскихъ грѣховъ развернулъ сатирикъ передъ зрителемъ, въ то время какъ носители этихъ

грѣховъ пользовались самымъ привиллегированнымъ положеніемъ.

Все это было сказано авторомъ очень умѣло, почти мимоходомъ, при пересказѣ довольно скучной и ординарной любовной интриги, безъ которой комедія того времени была немыслима; мимоходомъ же было брошено и нѣсколько замѣчаній, вызывающе-смѣлыхъ, которыя можно было бы сравнить со знаменитыми репликами Фигаро, если бы тогдашнее общество не пропустило ихъ мимо ушей; взять хотя бы возгласъ нашей дворянки, когда ей докладываютъ, что захворала Палашка: „захворала! лежитъ! Ахъ, она бестія! лежитъ! Какъ будто она благородная!“ Одна эта строка стоитъ многихъ обличительныхъ комедій того времени.

Но какъ бы ни было велико значеніе „Недоросля“, какъ сатиры, художественная его стоимость отъ этого общественнаго смысла ничего не выигрываетъ. Скучнѣйшая дидактика въ устахъ добродѣтельнаго Стародума, безцвѣтное поддакиваніе ему Правдина, наивное благомысліе Милона превращаютъ всѣхъ этихъ лицъ въ какихъ-то манекеновъ; любовная интрига ведена безъ намека психологической правды и, что хуже всего, всѣ отрицательные типы—самые реальные по замыслу — выходятъ нереальными и часто каррикатурными въ ихъ группировкѣ и рѣчахъ: что ни выходъ, то скандалъ или эффектъ, что ни реплика, то какое-нибудь характерное словцо или цѣлая остроумная тирада. Не развитіе самого дѣйствія разстанавливаетъ дѣйствующихъ лицъ по мѣстамъ, а самъ авторъ по мѣрѣ надобности выпускаетъ ихъ на сцену и прячетъ за кулисы, послѣ того, какъ они проговорили все, что ему нужно. Но то, что ему нужно было сказать, онъ сказалъ откровенно.

Въ XVIII вѣкѣ Фонъ-Визинъ на сценѣ не имѣлъ соперниковъ, и та комедія, которой послѣ „Недоросля“ отводятъ обыкновенно второе мѣсто по силѣ обличенія, а именно „Ябеда“ Капниста (первое представленіе 1798 г.) лишній разъ

подтверждаетъ истину, что плохая комедія можетъ быть очень ядовитой сатирой.

Никогда взяточничество и сутяжничество не были выставлены въ такой наготѣ наружу, какъ въ этомъ драматизированномъ памфлетѣ. Но авторъ, распаленный благороднымъ негодованіемъ, забылъ, что онъ имѣетъ дѣло съ людьми, у которыхъ всякій порокъ попадается въ извѣстной амальгамѣ съ иными чувствами; Капнистъ хотѣлъ воплотить самый порокъ въ человѣческомъ образѣ и потому исказилъ этотъ образъ въ угоду призраку. Болѣе живымъ у него вышло то лицо, на которое онъ менѣе всего обращалъ вниманія, т.-е. добродѣтельный простакъ, карманъ котораго отданъ на расхищеніе чиновникамъ, а сердце осуждено на любовныя тревоги и матримоніальные планы, совсѣмъ ненужные въ этой сенсаціонной комедіи. Но зато, когда сцену заполняютъ предсѣдатель гражданской палаты Кривосудовъ, его товарищи, прокуроръ Хватайко и секретарь Кохтинъ, то воздухъ такъ пропитывается насквозь испареніями всевозможныхъ канцелярскихъ пороковъ, что живымъ людямъ дышать въ немъ становится невозможно. Самоуправство, ябедничество, лжесвидѣтельство, сутяжничество и незаконная нажива празднуютъ на сценѣ открыто свою вакханалію — въ прямомъ смыслѣ слова, потому что всѣ эти манекены, изображающіе жрецовъ Ѳемиды, пьютъ, играютъ въ карты и поютъ хоромъ самыя беззастѣнчивыя пѣсни. Хоть зритель и выходитъ изъ театра нравственно вполнѣ удовлетворенный, такъ какъ въ концѣ концовъ всю эту шайку разбойниковъ сенатскій указъ выметаетъ изъ палаты, но онъ скоро забываетъ объ этихъ фантомахъ, которые не задѣли въ немъ ни одной человѣческой струны. Въ „Ябедѣ“ порокъ былъ казненъ, но только in effigie, заочно, въ лицѣ смѣшныхъ куколъ, какъ заочно казнили преступниковъ, которыхъ схватить не удавалось. Но, плохой драматургъ, Капнистъ все-таки держалъ въ рукѣ крѣпко и свою указку моралиста, и свой сатирическій бичъ.

Наступило александровское царствованіе и вызвало рѣзкія измѣненія въ старыхъ общественныхъ условіяхъ, и создало новыя; родились и новые типы. На эту перемѣну комедія и драма совсѣмъ не откликнулись. Новыхъ пьесъ ставилось, правда, много, драматическая литература обогатилась двумя-тремя талантливыми комедіями, но между новой эпохой и всѣми этими театральными новинками никакой связи не было.

Крыловъ былъ первоклассный сатирикъ и, какъ баснописецъ и отчасти журналистъ, онъ обладалъ удивительно острымъ взглядомъ, который смѣшное и порочное умѣлъ выслѣживать до самаго тайника человѣческаго сердца. При внѣшней наивности своей и хитромъ добродушіи, при явномъ консерватизмѣ міросозерцанія, онъ могъ быть строгимъ судьей своего времени, но какъ осторожный человѣкъ онъ не договаривалъ своей мысли. О чемъ же, однако, говорилъ онъ въ своихъ комедіяхъ, столь живыхъ и остроумныхъ? Въ концѣ XVIII-го вѣка, когда онъ писалъ своихъ „Проказниковъ“ и „Сочинителя въ прихожей“, онъ высмѣивалъ метромановъ и неудачныхъ сочинителей, болтуновъ и легкомысленныхъ, взбалмошныхъ женщинъ. Онъ продолжалъ охоту за этими невинными типами и тогда, когда могъ бы поговорить о чемъ-нибудь болѣе серьезномъ. Но двѣ самыхъ популярныхъ его комедіи—„Модная лавка“ [напечатана 1807 г.—первое представленіе 1816 г.] и „Урокъ дочкамъ“ [напечатана 1807 г.—первое представленіе 1816 г.] были, въ сущности, два смѣшныхъ водевиля ловко написанные. Публику всегда очень смѣшилъ простодушный дворянинъ Сумбуровъ, степной помѣщикъ, его тяжеловѣсная жена, которая гонялась за французской модой, и дочка, которая устраивала любовныя свиданія въ модной лавкѣ подъ покровительствомъ бойкой француженки, содержательницы магазина, и русской крѣпостной Маши, ея помощницы. Смѣшонъ былъ и крѣпостной дворовый, пьяный и глупый, который толкался на сценѣ для того, чтобы получать головомойки,

впрочемъ довольно мягкія. Въ общемъ, было много шутокъ, смѣха, острыхъ словъ и чисто водевильныхъ положеній. Водевилемъ была и комедія „Урокъ дочкамъ“—удачная перелицовка Мольера, въ которой Крыловъ потѣшался надъ несчастными русскими барышнями Лукерьей и Феклой, влюбленными во все французское, жеманницами, которыхъ дурачитъ слуга Семенъ, разыгрывающій передъ ними роль эмигранта-маркиза.

Только однажды позволилъ себѣ Крыловъ написать въ драматической формѣ нѣчто болѣе злое и смѣлое. Это была его комедія „Трумфъ“, общественный и политическій смыслъ которой [буде таковой имѣется] до сихъ поръ не разгаданъ.

Весь театръ Хмѣльницкаго—въ тѣ годы очень популярнаго драматурга — былъ также собраніемъ водевилей или передѣланныхъ съ иностраннаго комедій. Не говоря о тѣхъ пьесахъ, которыя самъ авторъ озаглавилъ „водевилями“, даже его „комедіи“, какъ, напр., „Воздушные замки“ [1818 г.], „Нерѣшительный“ [1819], „Взаимныя испытанія“ [1819] и „Свѣтскій случай“ [1826] были простыми анекдотами въ драматической формѣ. Легкая любовная интрига, хорошій салонный разговоръ, много удачныхъ остротъ — вотъ всѣ ихъ достоинства и ихъ безспорныя права на названіе талантливыхъ театральныхъ пустячковъ, послушать которые всегда пріятно.

Несравненно бо̀льшую стоимость имѣли тоже очень ходкія въ началѣ вѣка комедіи кн. Шаховского и Загоскина.

Князь А. А. Шаховской былъ плодовитый драматургъ, но отъ этой плодовитости наше общественное самосознаніе ничего не выиграло, а наше искусство выиграло очень мало. Почти въ самомъ началѣ своей дѣятельности онъ написалъ удачный „анекдотическій водевиль „Казакъ стихотворецъ“ [1812]—съ недурно обрисованными типами изъ малороссійскаго простонароднаго быта; и затѣмъ, уже въ концѣ своей карьеры, онъ создалъ одну изъ лучшихъ пьесъ нашего романтическаго репертуара „Двумужницу“ [1832] — разбой-

ничью мелодраму, очень занимательную и кровавую. Эти двѣ пьесы сохранились въ нашемъ репертуарѣ, все остальное забылось. Въ свое время, однако, помимо многихъ его водевилей съ музыкой и пѣніемъ или безъ оныхъ, нравились очень три его комедіи: „Новый Стернъ“ [1805]—остроумная, нѣсколько карикатурная, пародія на русскихъ „чувствительныхъ“ людей начала вѣка, на тогдашнихъ праздныхъ дворянъ-сентименталистовъ, которые отъ нечего дѣлать искали въ своихъ усадьбахъ идиллическаго настроенія, столь плѣнительнаго на страницахъ иностраннаго романа; затѣмъ — „Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды“ [1815] — длинное и довольно скучное изобличеніе женскаго кокетства, въ сѣтяхъ котораго готовы погибнуть нѣсколько комическихъ представителей курортной публики — комедія съ патріотическими сентенціями, сатирическими выходками противъ высшаго свѣта и неизмѣнными благородными рѣчами благомыслящихъ резонеровъ; и, наконецъ, „Пустодомы“ [1819] — самая интересная по идеѣ комедія князя. Это довольно жестокое и карикатурное осмѣяніе какого-то домашняго Вольтера, у котораго мужички пошли по міру — прожектера, желающаго въ своемъ имѣніи поставить все на европейскую ногу, прогорѣвшаго и въ конецъ обобраннаго своимъ управляющимъ. Любопытно, что этотъ помѣщикъ, отъ практическихъ прожектовъ котораго разсудительный мужикъ Ѳома приходилъ въ ужасъ, обнаруживалъ большое пристрастіе къ теоретической философіи. Въ его сумбурной головѣ, увѣряетъ насъ Шаховской, умѣщался „Зенона стоицизмъ, Пиррона скептицизмъ, Спинозы реализмъ, Фихтевъ ихтеизмъ, Берклея идеализмъ, Сократа платонизмъ, антропофилеизмъ, суперъ-натурализмъ, перипатетизизмъ, доризмъ, пиѳизмъ, кантизмъ, фиксизмъ [?] и фатализмъ“. Такъ аляповато было чуть ли не первое по времени, и потомъ столь распространенное, издѣвательство русскаго литератора надъ философіей, о которой онъ не имѣлъ никакого понятія.

Рядомъ съ именемъ Шаховского блестѣло въ тѣ вре-

мена и имя Загоскина, который въ двадцатыхъ годахъ только готовился къ своей роли археолога и воинствующаго патріота, какимъ явился въ „Юріи Милославскомъ“. Патріотизмъ въ разныхъ видахъ — главная пружина почти всѣхъ его комедій. Изъ нихъ обратила на себя особенное вниманіе комедія „Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ“ [1817], въ которой авторъ призывалъ наше дворянство вернуться въ деревню и не влѣзать въ долги въ Петербургѣ, разоряясь на игры, балы и любовныя шашни. Тема, какъ видимъ, очень старая, да и выполненіе ея было также не ново: все тѣ же пріемы французской комедіи и та же ходячая любовная интрига. Стилемъ болѣе живымъ и съ большимъ драматическимъ движеніемъ написано продолженіе этой комедіи — „Богатоновъ въ деревнѣ или сюрпризъ самому себѣ“ [1821]. Комедія не характеровъ, а водевильныхъ положеній, въ какія становится по своей глупости нашъ дворянинъ, вернувшійся послѣ разоренія въ свою усадьбу и приступающій къ разнаго рода хозяйственнымъ и инымъ реформамъ — эта пьеса была пропитана насквозь какой-то враждой къ нововведеніямъ. Положимъ, что всѣ нововведенія Богатонова въ его деревнѣ въ достаточной мѣрѣ безразсудны и глупы: помѣщикъ надъ своей фабрикой строитъ греческій куполъ и пристраиваетъ къ ней римскій портикъ, ломаетъ старую кухню, чтобы перестроить ее на голландскій манеръ и вмѣсто кухни остаются однѣ развалины, хочетъ на саксонскій манеръ разселить мужичковъ, чтобы была не деревня, а все фермы, управленіе деревней довѣряетъ депутатамъ, которые засѣдаютъ въ сборной избѣ, пока ихъ не выгоняютъ оттуда дубиной, рубитъ рощу, чтобы получить хорошій „пуанъ де вю“ и т. д., но во всѣхъ остротахъ автора по поводу такихъ чудачествъ звучитъ ясно не столько неодобреніе неумѣлыхъ реформъ, сколько собственное сердечное желаніе „какъ хорошо было бы, если бы все оставалось по старому“.

Надъ дворянскимъ чудачествомъ посмѣялся Загоскинъ

и въ пьесѣ „Благородный театръ“ [1829], гдѣ выведенъ баринъ, помѣшанный на домашнихъ спектакляхъ и мнящій себя великимъ актеромъ. У него подъ носомъ разыгрывается любовная интрига его дочери съ однимъ изъ исполнителей; передъ самымъ спектаклемъ влюбленная пара бѣжитъ и вѣнчается противъ воли родителя, который однако, чтобы не отмѣнять спектакля, соглашается бѣглецовъ простить, если только они вернутся и исполнятъ свои роли.

На ряду съ этой страстью къ театру Загоскинъ высмѣивалъ и метроманію, въ особенности женщинъ, покровительницъ словесности, которыхъ морочатъ разные литераторы Шмелевы, Змейкины, Тиранкины [„Вечеринка ученыхъ“ 1817], Хорошій типъ плута и краснобая съ хлестаковскими наклонностями, фата, умѣющаго втереться въ женское довѣріе, изображенъ въ пьесѣ „Добрый малый“ [1820] и не безъ комическихъ сценъ и относительно реальнымъ языкомъ написана комедія „Урокъ матушкамъ“, въ которой описаны всякія ухищренія одной мачихи, желающей пристроить свою падчерицу такъ, чтобы сохранить за собою управленіе ея имуществомъ; наконецъ, много дѣйствительно недурно схваченныхъ типовъ изъ міра чиновнаго и купеческаго дано нашимъ авторомъ въ маленькой пьесѣ „Новорожденный“, въ которой разсказано, какъ одинъ мелкій чиновникъ въ честь всѣхъ своихъ начальниковъ называлъ своего новорожденнаго сына Андреемъ.

Какъ видимъ, все сюжеты очень невинные и незатѣйливые, типы довольно блѣдные и общіе, которые, однако, нравились благодаря, главнымъ образомъ, умѣнію автора запутать нехитрую интригу и писать иногда живымъ и остроумнымъ языкомъ. Загоскинъ зналъ хорошо сцену и это знаніе спасло его комедіи, которыя хотя и могли назваться пріятными новинками, но не имѣли никакого общественнаго значенія, такъ какъ ни одинъ сколько-нибудь важный вопросъ того времени не оставилъ на нихъ и бѣглаго слѣда. Даже въ послѣдней, самой зрѣлой своей комедіи [написан-

ной, правда, въ годы, неблагопріятные для гласнаго обсужденія общественныхъ вопросовъ], въ которой онъ открыто заговорилъ о нашей самобытности и успѣхахъ нашей культуры, а именно, въ комедіи „Недовольные“ [1835], онъ не вышелъ за предѣлы ординарныхъ патріотическихъ параллелей между своимъ и западнымъ, истрепанныхъ нападокъ на людей, заимствующихъ у запада лишь внѣшній лоскъ, и патетическихъ возгласовъ на тему о томъ, „какъ мы впередъ шагнули и какъ насъ уважаетъ Европа“. Комедію спасала лишь довольно смѣшная фабула и легкій стихъ, кое-гдѣ поддѣланный подъ грибоѣдовскій.

Надъ всѣми комедіями александровскаго времени возвышалась одна только сатира Грибоѣдова, которую авторъ—большой театралъ—облекъ въ драматическую форму. Сатира была геніальная по вѣрности и мѣткости своего удара; она била одновременно и по старшему поколѣнію, и по младшему, и въ этомъ сказалась вся глубина ея общественнаго смысла. Дѣйствительно, истинному сатирику того времени нужно было развѣнчать старину, которой при новыхъ вѣяніяхъ не должно было быть мѣста, и нужно было показать также, сколько неустойчиваго, противорѣчиваго и неяснаго было въ этомъ новомъ броженіи. Борьба остановившихся въ своемъ развитіи отцовъ съ дѣтьми, поспѣшившими развитіемъ, была однимъ изъ важнѣйшихъ общественныхъ явленій александровскаго царствованія, и въ „Горе отъ ума“ эта борьба была необычайно мѣтко схвачена. Ее можно было, конечно, изобразить и какъ трагическое столкновеніе, и какъ комическое. Грибоѣдовъ попытался освѣтить ее одновременно съ этихъ двухъ сторонъ, почему и поставилъ трагическую фигуру Чацкаго въ комическое положеніе. Отживающая старина екатерининская и павловская воплотилась въ лицѣ Фамусова и Скалозуба — этихъ представителей оппортунистической философіи карьеристовъ и безъидейной выправки фронтовиковъ. Отъ лица молодыхъ говорилъ Чацкій, и о нихъ болталъ Репетиловъ. И Чацкій, конечно, не

вполнѣ выразилъ думы и стремленія молодежи, и Репетиловъ представилъ въ карикатурномъ видѣ то, что заслуживало бы иного, болѣе серьезнаго отношенія, и самъ Грибоѣдовъ слишкомъ погнался за остротами—но настроеніе молодыхъ умовъ и напряженіе молодыхъ чувствъ было все-таки очерчено вѣрно: любовь къ родинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ тяготѣніе къ Западу, либерализмъ и рядомъ съ нимъ нетерпимость, рѣшеніе серьезныхъ вопросовъ при малой подготовкѣ, неопредѣленное чувство протеста безъ яснаго міросозерцанія—всѣ эти отличительные признаки молодого движенія были въ общихъ очертаніяхъ выставлены на показъ. Если вспомнить къ тому же, что сатира Грибоѣдова была написана въ концѣ царствованія Александра I, когда борьба между самоувѣреннымъ новымъ и старымъ, которое готово было воскреснуть, обострилась и разгорѣлась, то приходится удивляться смѣлости писателя, занявшаго среди двухъ спорящихъ силъ такое независимое положеніе.

Но какъ бы высоко мы ни ставили эту сатиру, едва-ли мы признаемъ въ ней хорошую комедію. Неоднократно говорилось объ ея недостаткахъ, какъ сценическаго произведенія—о слѣдахъ французской комедіи, которые остались на ея построеніи; указывали на малую правдоподобность въ развитіи дѣйствія, на языкъ, который почти у всѣхъ лицъ одинъ и тотъ же, т.-е. сжатый, острый, грибоѣдовскій; на старый пріемъ именами обозначать главную черту характера человѣка и называть людей *Молчалинымъ*, *Скалозубомъ*, *Репетиловымъ*; на отсутствіе жизненности въ такихъ характерахъ, какъ Чацкій и Софья. Всѣ эти упреки справедливы и они, нисколько не умаляя историко-общественнаго значенія комедіи, не позволяютъ признать ее за образецъ вполнѣ художественнаго воспроизведенія жизни на сценѣ.

Послѣ „Горе отъ ума“ пришлось дожидаться цѣлыхъ десять лѣтъ, когда наконецъ въ пьесахъ Гоголя данъ былъ

образецъ истинно художественной бытовой комедіи, съ чисто русскими дѣйствующими лицами, лицами живыми, съ рѣчью каждому изъ нихъ присущей и съ очень естественной группировкой ихъ на сценѣ.

Новый николаевскій режимъ былъ также очень неблагопріятенъ для всякаго гласнаго обсужденія общественныхъ вопросовъ, и на сценѣ этотъ режимъ отозвался особенно вредно: на театрѣ игралось старое, уже потерявшее свой ароматъ, за исключеніемъ комедіи Грибоѣдова, которую съ величайшимъ трудомъ удалось наконецъ поставить (въ 1831 г.), Новинокъ не было, мелодрама и водевиль забили и комедію, и драму. Ни о какомъ отраженіи русской жизни на сценѣ не было и рѣчи. Но если молчала сцена, то писатели все-таки не молчали и въ первые же годы новаго царствованія, въ концѣ двадцатыхъ и въ началѣ тридцатыхъ годовъ были сдѣланы попытки заговорить на сценѣ о нѣкоторыхъ весьма острыхъ современныхъ вопросахъ. Само собою разумѣется, что всѣ эти опыты на подмостки не попали, хотя авторъ имѣлъ иногда наивную смѣлость представлять ихъ въ цензуру. Попытки эти были сдѣланы Лермонтовымъ и Бѣлинскимъ.

Еще въ самые ранніе годы — въ бытность свою студентомъ [1830—1831]—Лермонтовъ написалъ нѣсколько драмъ, въ которыхъ, какъ въ интимномъ дневникѣ, стремился выяснить себѣ некоторыя свои мысли и чувства ему самому тогда невполнѣ ясныя. Онъ задумывался надъ той меланхоліей, которую ощущалъ въ себѣ, надъ своимъ нелюдимымъ отношеніемъ къ окружающимъ, надъ вызывающей смѣлостью своихъ мыслей о Богѣ и людяхъ, надъ своей влюбчивостью и недовѣріемъ къ женщинѣ, наконецъ, вообще надъ той тяготой бытія, которая очень рано стала его тревожить. Поэтъ самъ для себя былъ психологической загадкой и въ своихъ раннихъ драмахъ пытался рѣшить эту загадку, создавая разные образы разочарованныхъ, влюбленныхъ, и озлобленныхъ молодыхъ людей, которые всѣ кончали очень трагично.

Драмы Лермонтова написаны хоть и съ малой сценической опытностью, но съ большимъ талантомъ и жаромъ, и для біографа — источникъ первостепенной важности. Какъ отголоски русской жизни, онѣ не имѣли бы ровно никакого значенія, если бы авторъ мимоходомъ не коснулся крестьянскаго вопроса. Этотъ вопросъ попалъ, однако, въ его драмы случайно, не потому, что Лермонтовъ ставилъ себѣ задачей обличить соціальный грѣхъ своей родины, а потому что заинтересовался одной обще-нравственной проблемой, а именно вопросомъ—до какихъ степеней человѣкъ можетъ быть для другого человѣка волкомъ. Ничего особенно характернаго въ этихъ сценахъ помѣщичьяго произвола Лермонтовъ не сказалъ, но нѣкоторые виды его перечислилъ; ему было не трудно это сдѣлать, такъ какъ въ жизни своихъ близкихъ родственниковъ онъ имѣлъ передъ глазами примѣры такого деспотизма, попавшаго даже на страницы исторіи. Вотъ почему два-три наброска въ его юношескихъ драмахъ—какъ, напр., типъ старухи помѣщицы, у которой для слугъ нѣтъ другого слова, кромѣ угрозы и брани [въ драмѣ „Menschen und Leidenschaften“], или сцена, въ которой одинъ мужикъ на колѣняхъ проситъ молодого вертопраха, чтобы онъ купилъ ихъ у помѣщицы, которая сѣчетъ ихъ, выворачиваетъ руки на станкѣ, колетъ ножницами дѣвокъ, выщипываетъ бороду волосокъ по волоску [въ драмѣ „Странный человѣкъ“]—конечно, не выдумка, не эффектный эпизодъ, а страничка изъ воспоминаній... Но голова Лермонтова была въ тѣ годы занята иными воспоминаніями чисто семейнаго и личнаго характера, и потому его драмы—не исключая и „Маскарада“ [1835]—сохраняя безспорную цѣну художественную и автобіографическую, какъ картины русской жизни слишкомъ общи и субъективны.

Очень общую картину нашей помѣщичьей жизни далъ и Бѣлинскій въ своей юношеской драмѣ „Дмитрій Калининъ“ [1831], за которую поплатился исключеніемъ изъ университета. Идея драмы была навѣяна автору не жизнью, а чте-

ніемъ и размышленіемъ. Бѣлинскій также пытался разрѣшить одинъ изъ важнѣйшихъ этическихъ вопросовъ, а именно вопросъ о нравственномъ достоинствѣ человѣка и о свободѣ личности, и только попутно, въ видѣ поясненія основной мысли, нарисовалъ ужасающія картины помѣщичьей расправы съ крѣпостными. Политической мысли въ комедіи не было *), а была лишь защита одного общаго принципа, отстаивая который, нельзя было, однако, уберечься отъ нападокъ на то, что въ русской жизни бросалось въ глаза каждому моралисту.

Образы, а иной разъ и цѣлыя тирады, Бѣлинскій заимствовалъ у западныхъ громителей деспотизма, преимущественно у Шиллера, а обстановку взялъ русскую и притомъ помѣщичью, въ которой трудно было и предположить возможность такихъ типовъ, какъ Дмитрій Калининъ.

Воспитывается этотъ Калининъ — крѣпостной человѣкъ безъ роду и племени — въ дворянской семьѣ, на правахъ всѣхъ прочихъ ея членовъ, двухъ сыновей и дочери Софіи; онъ любимецъ старика помѣщика, который заботится о немъ, какъ о родномъ сынѣ, и онъ счастливъ среди общей ненависти къ нему и жены, и сыновей его благодѣтеля... счастливъ потому, что пользуется взаимностью Софьи... Онъ самъ любитъ ее до безумія и, повинуясь голосу любви и свободѣ страсти, онъ становится ея тайнымъ любовникомъ. Первое дѣйствіе драмы застаетъ его въ Москвѣ: онъ отправилъ старику письмо, въ которомъ просилъ руки его дочери. „Неужели я не имѣю права любить дѣвушку только потому, что отецъ ея носитъ на себѣ пустое званіе дворянина и что онъ богатъ; а я безъ имени и бѣденъ?“ разсуждаетъ нашъ мечтатель.

Наконецъ, приходитъ и письмо, но оно не отъ отца, а отъ его сына Андрея. Въ самыхъ циничныхъ выраженіяхъ сынъ извѣщаетъ Дмитрія о смерти отца, о томъ, что отпу-

*) Смр. *С. А. Венгеровъ*. „Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“, I, 128—132. Примѣчанія къ „Дмитрію Калинину“.

скная, которую старикъ далъ Дмитрію, уничтожена, что сестра Софья выходитъ замужъ за какого-то князя, и что, такъ какъ у нихъ недостаетъ лакеевъ для служенія при свадебномъ столѣ, то онъ и проситъ Дмитрія поскорѣе къ нимъ пожаловать. „Я—рабъ!“, восклицаетъ Калининъ, и этотъ возгласъ — возгласъ отчаянія и мести. Дмитрій долженъ ѣхать, и онъ ѣдетъ. Вмѣстѣ съ другомъ, который сопровождалъ его изъ Москвы, они готовятъ планъ похищенія Софьи. Но пылкая натура Дмитрія не выдерживаетъ: тревога, злоба и ревность туманятъ его разсудокъ, онъ пріѣзжаетъ самъ требовать свою Софью, попадаетъ въ усадьбу на званый вечеръ, и при всѣхъ родныхъ и знакомыхъ даетъ понять, что̀ онъ для Софьи, и что́ она для него... Братъ Софьи въ неистовствѣ бросается къ нему съ роковымъ словомъ „рабъ“ и схватываетъ его за грудь, но Дмитрій выхватываетъ изъ кармана пистолетъ и убиваетъ Андрея.

Драма запутывается; отношенія Дмитрія и Софьи должны естественно измѣниться послѣ этого убійства, и единственнымъ выходомъ для обоихъ является смерть... Дмитрій, отданный въ руки правосудія, успѣваетъ какъ-то бѣжать изъ тюрьмы, ему удается еще разъ прижать къ своей груди Софью и, по ея просьбѣ, онъ ее убиваетъ. Уже послѣ этого второго убійства узнаетъ онъ, что его возлюбленная—его сестра, что онъ—незаконный сынъ своего благодѣтеля. Онъ закалывается.

Такова канва этой ультра романтической драмы. Герой намъ хорошо знакомъ еще по образцамъ западной романтики. Это все тотъ же защитникъ правъ человѣка, котораго натолкнула на преступленіе несправедливость людей и соціальная неурядица. Только герой этотъ дѣйствуетъ теперь на русской почвѣ и ему нужна, поэтому, реальная русская обстановка. Эту обстановку Бѣлинскій ему и придумалъ, воспользовавшись частью традиціонными типами въ родѣ постылаго жениха или вѣрнаго друга, частью общими обра-

зами злодѣевъ, а частью типами изъ простонародья, которые выведены на сцену лишь за тѣмъ, чтобы служить живымъ укоромъ для всѣхъ тѣхъ, кто ихъ такъ безжалостно мучитъ. На изображеніе этихъ мучителей Бѣлинскій не пожалѣлъ красокъ. Это не люди, это поистинѣ звѣри, которые изощряются въ изобрѣтеніи всякихъ жестокостей, начиная съ побоевъ, кончая даже презрѣннымъ грабительствомъ, и все затѣмъ, чтобы показать свое преимущество и силу, которыхъ никто не оспариваетъ. Такія густыя краски были нужны автору, чтобы лучше оттѣнить основной нравственный вопросъ, который онъ рѣшалъ въ своей драмѣ, и оправдать, хоть отчасти, неистовство и кровожадность самого героя, который былъ не борецъ за торжество святой идеи, а мститель за ея поруганіе. „Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу?—спрашиваетъ Калининъ передъ тѣмъ, какъ покончить съ собой. — Кто позволилъ имъ ругаться надъ правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердный Боже! Отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?“... и Дмитрій отомстилъ за этихъ несчастныхъ.

Чтобы нѣсколько смягчить тяжелое впечатлѣніе такихъ сценъ и словъ, авторъ въ своей рукописи сдѣлалъ такую приписку: „Къ славѣ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства, подобныя тиранства уже начинаютъ совершенно истребляться. Оно поставляетъ для себя священною обязанностью пещись о счастьи каждаго человѣка,

ввѣреннаго его отеческому попеченію, не различая ни лицъ, ни состояній".

Неизвѣстно, что сказало бы попечительное правительство, если бы оно прочитало эту драму; но цензурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ, призналъ ее безнравственной и позорящей университетъ.

Среди выдающихся театральныхъ новинокъ того времени слѣдуетъ отмѣтить и три комедіи Квитки-Основьяненка; „Дворянскіе выборы" [1828], „Дворянскіе выборы, часть вторая, или выборъ исправника" [1830] и „Пріѣзжій изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ" [1828]. Авторъ ихъ — малороссійскій писатель, подвизавшійся на томъ же поприщѣ, что и Гоголь—пріобрѣлъ себѣ большую извѣстность главнымъ образомъ, своими разсказами и водевилями изъ малороссійскаго народнаго быта. Его комедіи пользовались меньшей славой; на сцену онѣ, кажется, не попали, но были одобрены цензурой къ печати въ 1828—9 году.

Двѣ изъ нихъ, а именно, „Дворянскіе выборы" и „Пріѣзжій изъ столицы" удовлетворяютъ всѣмъ тогдашнимъ требованіямъ бытовой комедіи; комедія же „Выборъ исправника", какъ въ большинствѣ случаевъ всѣ „продолженія" и „вторыя части" удачныхъ пьесъ—слаба, растянута и ничего не прибавляетъ новаго къ тому, что было авторомъ сказано въ его „Дворянскихъ выборахъ". Лучшее въ ней — простонародныя сцены, въ которыхъ появляется любимецъ автора — волостной писарь Шельменко — типъ остроумца-малороссіянина, созданный Квиткой и съ тѣхъ поръ сохранившійся въ литературѣ. Но эти народныя сцены эпизодичны, смахиваютъ на водевиль и лежатъ внѣ поля нашего зрѣнія...

Для историка русской общественной мысли, поскольку она находила себѣ выраженіе въ комедіи, наибольшій интересъ представляетъ пьеса „Дворянскіе выборы", въ которыхъ наше дворянство изображено въ одну изъ очень характерныхъ минутъ своей уѣздной жизни.

Комедія написана съ пріемами старыми, какъ мы сказали. Неизбѣжная любовная интрига, совсѣмъ лишняя, заполняетъ почти половину дѣйствія всѣхъ трехъ актовъ, резонеры не упускаютъ случая поговорить о сущности разныхъ общественныхъ добродѣтелей и о благодѣтельномъ правительствѣ, которое своими заботами сдѣлаетъ скоро совершенно излишнимъ подобное обличеніе, какое себѣ разрѣшаетъ благомыслящій авторъ; всѣ лица, наконецъ, еще до начала дѣйствія знакомятъ зрителя со своимъ кондуитнымъ спискомъ, рекомендуясь ему, кто — Староплутовымъ, Заправлялкинымъ, Кожедраловымъ, Выжималовымъ, Драчугинымъ и Подтрусовымъ, кто Благосудовымъ и Твердовымъ. „Дворянскіе выборы“ при всѣхъ художественныхъ недостаткахъ были, однако, очень смѣлымъ памфлетомъ на наше высшее сословіе. Квитка подобралъ удивительную коллекцію разныхъ плутовъ, негодяевъ, поддѣлывателей документовъ, грабителей, пьяницъ и болвановъ, передъ которыми всѣ взяточники гоголевской комедіи — невинныя дѣти. Всю эту дворянскую свору, для надлежащаго посрамленія и для торжества истиннаго дворянскаго принципа, авторъ загналъ въ губернскій городъ на выборы предводителя. Все было пущено въ ходъ, чтобы эта должность досталась Кожедралову, но передъ баллотировкой прежній губернскій предводитель предложилъ разобрать, кто имѣетъ право класть шаръ и кто нѣтъ, и тогда открылось, что этотъ Кожедраловъ состоитъ подъ судомъ за взятки. Произошла, какъ говоритъ дворянинъ Староплутовъ, заинтересованный въ выборѣ Кожедралова, „ужасная революція“, т.-е. всю банду дворянъ-авантюристовъ выгнали, и предводителемъ былъ избранъ Твердовъ, который въ придачу къ новой должности получилъ и руку m-lle Тихиной—племянницы Староплутова; сердце же ея ему давно принадлежало.

Такова завязка; но въ ней попадается одна деталь, очень оригинальная и истинно курьезная: это — описаніе одного изъ способовъ, какимъ заинтересованная дворянская партія

стремилась на выборахъ гарантировать себѣ большинство голосовъ.

Подбирались неимущіе дворяне, родъ которыхъ размножился. Случалось, что болѣе десятка такихъ дворянъ владѣли однимъ крестьяниномъ и двумя десятинами земли, которая и называлась деревней. Вотъ такихъ-то дворянъ собралъ—какъ разсказываетъ Квитка—плутъ Кожедраловъ и на повозкахъ привезъ въ городъ, на выборы. На сей случай была имъ отпущена приготовленная амуниція, и пока баллотировка продолжалась, они всѣ жили на его харчахъ, ѣли безъ устали, пили безъ просыпу, но зато обязались класть свой шаръ, кому имъ прикажутъ. Всѣмъ этимъ подставнымъ дворянамъ на сценѣ производятъ смотръ; ихъ подсчитываютъ, причемъ оказывается, что одинъ едва ли будетъ годенъ, потому что наканунѣ на ночлегѣ прибитъ до полусмерти, да и другіе ненадежны, такъ какъ съ перепоя ничего не понимаютъ. Ихъ тѣмъ не менѣе обучаютъ, какъ себя держать на выборахъ, потому что всѣ они новаго набора, а старыхъ прошлогоднихъ нѣтъ. Изъ этихъ прошлогднихъ трое сосланы по уголовному суду на поселеніе, четвертый отданъ навсегда въ солдаты, пятый впьянѣ умеръ, а шестой служитъ ямщикомъ на станціи.

Всѣ тѣ сцены, въ которыхъ выступаетъ эта благородная голтепа—образецъ очень веселой буффонады, которая резонерамъ пьесы даетъ удобный случай высказать свои мнѣнія объ истинномъ призваніи дворянина.

Въ комедіи говорится и о крестьянскомъ вопросѣ. Сентиментальная дѣвица Тихина — героиня комедіи — при всей тихости своего темперамента, возмущена обращеніемъ Кожедралова съ крестьянами и потому не принимаетъ его сватовства. Ея опекунша, наоборотъ, проповѣдуетъ систему плетки и пощечинъ, и гордится тѣмъ, что она вела себя „не подло“ и не отставала отъ другихъ. „Дѣвки у меня духа моего трепещутъ,—говоритъ она,—все работаютъ, я только погоняю. И коли у меня дѣвка выдержитъ пять лѣтъ, такъ ужъ

похвалится своимъ холопскимъ здоровьемъ". Такія и подобныя имъ реплики, равно какъ и откровенное глумленіе надъ дворянствомъ, заставляютъ насъ причислить комедію Квитки къ памятникамъ обличительной литературы, въ которыхъ, какъ мы уже замѣчали неоднократно, серьезность и глубина содержанія почти никогда не совпадала съ художественнымъ выполненіемъ. И „Дворянскіе выборы" также—плохая комедія и недурная сатира.

Вторая комедія Квитки „Пріѣзжій изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ" въ художественномъ отношеніи стоитъ выше первой, но по содержанію она менѣе характерна. Для насъ она имѣетъ, однако, совсѣмъ особое значеніе въ виду одного случайнаго обстоятельства: фабула комедіи очень похожа на фабулу „Ревизора"; и существуетъ предположеніе, что Гоголь заимствовалъ свой сюжетъ у Квитки.

Городничій уѣзднаго города Ѳома Ѳомичъ Трусилкинъ получаетъ отъ одного изъ служащихъ въ губернаторской канцеляріи извѣщеніе, что черезъ его городъ поѣдетъ важная и знатная особа, кто—неизвѣстно, но только очень уважаемая губернаторомъ. Городничій предполагаетъ, что эта особа—ревизоръ. Это извѣстіе вызываетъ большую тревогу и въ семьѣ городничаго, и среди его знакомыхъ, и въ чиновныхъ кругахъ города. Очень заинтересованы прежде всего дамы—сестра городничаго—старая дѣва лѣтъ сорока; разбитная жена одного стряпчаго, ея дочь Эйжени — по-русски Евгаша—воспитанница трехъ французскихъ пансіоновъ, помѣшанная на французской рѣчи, пустая вертушка; и одна только благонравная дѣвица, племянница городничаго, принимаетъ извѣстіе о пріѣздѣ ревизора хладнокровно.

Всего больше, конечно, заинтригованъ чиновный міръ: флегматичный Тихонъ Михайловичъ Спалкинъ — уѣздный судья; Лука Семеновичъ Печаталкинъ — почтовый экспедиторъ и Афиногенъ Валентиновичъ Ученосвѣтовъ, большой

театралъ и смотритель уѣздныхъ училищъ. Городничій, потерявшій голову, начинаетъ придумывать разныя мѣры для достойной встрѣчи ревизора, предлагаетъ снять заборы на нижней улицѣ и положить доски по большой, гдѣ ревизоръ поѣдетъ, лицевыя стороны фонарныхъ столбовъ подмазать сажей и, чтобы во время пребыванія ревизора не произошло пожара—вездѣ у бѣдныхъ запечатать печи. Приставъ Шаринъ отъ себя предлагаетъ набрать кое-кого зря да посадить въ острогъ, такъ какъ арестантовъ мало и могутъ подумать, что они распущены... Наконецъ рѣшено посадить порасторопнѣе человѣка на колокольню, чтобы онъ, чуть увидитъ экипажъ, сломя голову летѣлъ бы къ городничему.

Когда всѣ чиновники въ мундирахъ собрались у городничаго и онъ разставилъ ихъ въ залѣ по порядку, настаетъ страшная минута, и является пріѣзжій изъ столицы Владиславъ Трофимовичъ Пустолобовъ, который входитъ важно и, обойдя всѣхъ безъ вниманія, останавливается посреди комнаты. Городничій подаетъ ему рапортъ и начинаетъ представлять сначала чиновниковъ, затѣмъ дамъ. Ученосвѣтовъ узнаетъ въ Пустолобовѣ своего стараго знакомаго, выгнаннаго изъ университета студента и идетъ къ нему съ распростертыми объятіями, но тотъ отступаетъ отъ него и до особой аудіенціи велитъ ему наблюдать строжайшую скромность. Наконецъ, городничій рѣшается обратиться къ ревизору съ вопросомъ о томъ, въ какомъ онъ чинѣ, чтобы не ошибиться въ титулѣ, и Пустолобовъ отвѣчаетъ ему развязно, что „онъ уже достигъ до той степени, выше которой подобные ему не восходятъ“. Всѣ заключаютъ изъ этихъ словъ, что онъ превосходительный, и дѣйствіе кончается общимъ шествіемъ въ столовую.

„Не угодно ли послѣ дороги отдохнуть?“ спрашиваетъ городничій своего гостя. „Мнѣ отдыхать? что же было бы тогда съ Россіей, ежели бы я спалъ послѣ обѣда?“—отвѣчаетъ Пустолобовъ и проситъ къ себѣ на пріемъ чиновни-

ковъ. Оказывается, что Пустолобовъ разыгрываетъ всю эту комедію съ цѣлью найти богатую невѣсту и достать хоть какую-нибудь сумму денегъ, такъ какъ онъ безъ копейки. Первымъ онъ вызываетъ къ себѣ на аудіенцію Ученосвѣтова, выговариваетъ ему за неумѣстную фамильярность при встрѣчѣ, по секрету объявляетъ ему, что эта фамильярность чуть не нарушила равновѣсіе Европы и велитъ соблюдать впредь строжайшую тайну. Между прочимъ, онъ ловко выспрашиваетъ его о невѣстахъ и узнаетъ, что племянница городничаго невѣста съ достаткомъ и что самое близкое лицо къ этой дѣвицѣ—ея тетка... Проводивъ смотрителя училищъ, онъ вызываетъ городничаго и проситъ представить ему казначея; оказывается однако, что казначей у пріятеля въ деревнѣ и ключи отъ кладовой у него. Набѣгъ на казенную кладовую, такимъ образомъ не удается и приходится изыскивать другія средства. При разговорѣ съ почтмейстеромъ, Пустолобовъ освѣдомляется, сколько у него въ почтамтѣ на лицо денегъ, и узнавъ, что 28 руб. 80 коп.—приходитъ въ уныніе. Но ему мелькаетъ другая мысль. Онъ говоритъ почтмейстеру, что пришлетъ ему нѣкоторыя бумаги, которыя тотъ вскорѣ долженъ ему принести, какъ бы полученныя на его имя съ эстафетой...

На нѣкоторое время сцену заполняютъ домашніе городничаго, и зрителю выясняется, что сердце племянницы городничаго, на которое нацѣлился ревизоръ, не свободно и уже отдано маіору Милову... Пустолобовъ, который этого не подозрѣваетъ, открываетъ компанію и признается теткѣ этой дѣвы, сестрѣ городничаго, въ своей любви, очень осторожно, намеками, говоря, что яснѣе объясняться не можетъ изъ опасенія заставить смѣяться весь дипломатическій корпусъ Европы. Старая дѣва, не разслышавъ, кого любитъ Пустолобовъ, принимаетъ все на свой счетъ и отвѣчаетъ, что уважая критическое положеніе, или яснѣе сказать, состояніе дѣлъ Европы и изъ почтенія къ дипломатическому корпусу, она согласна... Она очень разочарована и обозлена, когда

узнаетъ, что предметъ воздыханій Пустолобова ея племянница, но беретъ на себя порученіе содѣйствовать этой интригѣ, имѣя впрочемъ свои виды... Наконецъ городничій и почмейстеръ приносятъ Пустолобову имъ же написанныя бумаги, какъ бы полученныя съ нарочной эстафетой. Въ этихъ бумагахъ значится, что иностранное министерство возлагаетъ на Пустолобова произвести тонкую хитрость и назначаетъ для этого десять тысячъ. Деньги Пустолобовъ можетъ получить, гдѣ вздумаетъ... Нашъ ревизоръ, однако, мирится и на пяти. Но казначей уѣхалъ, и городничему остается раздобыть гдѣ-нибудь эти деньги въ городѣ; на первый случай онъ предлагаетъ свои 500 р., которые Пустолобовъ и принимаетъ „на эстафеты“. „Я уже пріученъ издерживать свои—говоритъ онъ—начальникъ подъ видомъ шутки относитъ все къ пожертвованіямъ, но я благодаренъ; такихъ пожертвованій набираются сотни тысячъ...“

Пустолобову тутъ же приходитъ въ голову и еще новая мысль—запереть городъ, чтобы никто не узналъ объ его проказахъ и не помѣшалъ ему жениться; для этого онъ приказываетъ городничему не впускать и не выпускать безъ его вѣдома никого за заставу... Этимъ онъ самъ, какъ оказывается впослѣдствіи, ставитъ себѣ ловушку. Дѣйствіе оканчивается приходомъ пристава, который приноситъ полученную отъ губернатора бумагу на имя городничаго; но городничаго пока розыскать невозможно: онъ куда-то исчезъ, на время спрятался, сказавъ, что отправляется въ секретную экспедицію. „Ахъ, — говоритъ приставъ, — кабы городничій позволилъ ночью поджечь избенку какого бѣднаго обывателя. Тутъ бы крикъ, тревога, суматоха. Ревизоръ бы взбѣгался: гдѣ полиція? гдѣ полиція? А я бы, давъ погорѣть, тутъ изъ-за угла на него трубою, трубою, которую на первый случай изряднехонько исправили. Тутъ, навѣрное, пошло бы обо мнѣ представленіе... орденъ! Здѣсь въ глуши нашему брату только фальшивой тревогой и взять...“

Интрига начинаетъ близиться къ развязкѣ. Старая дѣва

доводитъ до свѣдѣнія своей племянницы о пламени, какимъ къ ней пылаетъ Пустолобовъ. Желая занять ея мѣсто, она уговариваетъ племянницу на время скрыться, а Пустолобову говоритъ, что племянница отъ его предложенія въ восторгѣ, согласна бѣжать съ нимъ и вѣнчаться въ ближайшемъ селѣ. Она предупреждаетъ его только, чтобы онъ не удивился, если невѣста будетъ молчать не только всю дорогу, но и подъ вѣнцомъ. Пустолобовъ на все согласенъ, въ благодарность обѣщаетъ этой тетушкѣ сдѣлать ее знатной дамой и записать имя ея въ исторію. Немедленно нашъ ревизоръ спрашиваетъ себѣ шестерку добрыхъ почтовыхъ лошадей съ надежными ямщиками и подъ вечеръ укатываетъ вмѣстѣ со старой дѣвой, принимая ее за племянницу...

Наконецъ, появляется городничій, который пропадалъ, отыскивая для Пустолобова деньги по всему городу. Ему докладываетъ приставъ, что ревизоръ уѣхалъ въ каретѣ и, какъ ему показалось, съ его племянницей. Городничій озадаченъ, зачѣмъ ревизору понадобилось бѣжать, когда онъ открыто могъ сдѣлать честь всей семьѣ своимъ предложеніемъ. Все объясняется, когда тотъ же приставъ подаетъ городничему бумагу отъ губернатора. Въ ней сказано, что высшее начальство, узнавъ, что откомандированный въ нѣкоторыя губерніи титулярный совѣтникъ Пустолобовъ осмѣлился выдавать себя за важнаго государственнаго чиновника, производящаго изслѣдованія по какой-то секретной части, и чрезъ то надѣлавшій большихъ безпорядковъ и злоупотребленій, предписываетъ схватить его и прислать за строгимъ карауломъ въ Петербургъ.

Общее смятеніе на сценѣ, и затѣмъ финалъ: ревизора ловятъ у заставы, за которую его не пропустили по собственному его же предписанію. Вмѣстѣ съ нимъ вытаскиваютъ на сцену и закутанную даму, которая въ обморокѣ лежитъ у двухъ солдатъ на рукахъ. Съ нея срываютъ покрывало, и оконфуженная и разсерженная тетушка начинаетъ ругаться. Пустолобова уводитъ приставъ; племянница

появляется, маіоръ Миловъ протягиваетъ ей руку, и городничій доволенъ, что все это такъ хорошо кончилось и что онъ отдѣлался 50-ю рублями, такъ какъ 450 были взяты у Пустолобова при обыскѣ...

Комизмъ развязки совершенно не удался Квиткѣ. Никто изъ дѣйствующихъ лицъ не знаетъ, что́ сказать и какъ отнестись къ этому скандалу; всѣ отдѣлываются шутками или ничего не значущими возгласами. Самъ городничій принимаетъ всю развязку необычайно хладнокровно и спѣшитъ дать согласіе на бракъ своей племянницы съ маіоромъ. Лучше всѣхъ ведетъ себя Пустолобовъ, который спокойно покоряется своей участи и благодаритъ Бога, что не обвѣнчался со старой дѣвой...

Таковъ въ самыхъ общихъ очертаніяхъ ходъ развитія сюжетовъ въ нашей комедіи до Гоголя.

Несмотря на количественный ростъ пьесъ, ихъ качественная стоимость оставалась приблизительно одна и та же. Въ художественномъ отношеніи ни комедіи, ни драмы не возвышались надъ среднимъ литературнымъ уровнемъ. По содержанію большинство было безцвѣтно, и историческая эпоха не находила въ нихъ своего отраженія. Исключеніе составляли лишь единичныя явленія, очень рѣдкія. Но это были сатиры, въ которыхъ глубина содержанія не покрывалась художественностью выполненія.

Настоящей бытовой комедіи мы пока не имѣли, и Гоголь былъ первый, который намъ ее далъ. Въ его комедіяхъ правда жизни сочеталась съ художественной правдой въ искусствѣ. Сцена стала отраженіемъ жизни: общіе типы, типы заимствованные, условности въ интригахъ, моральная тенденція—все исчезло: художникъ и бытописатель стали однимъ лицомъ. Но зато ни одна изъ комедій Гоголя не поднялась до той высоты смѣлаго обличенія, до какой возвышались нѣкоторыя изъ пьесъ стараго репертуара. Сатира Гоголя была художественна, но того глубокаго обществен-

наго смысла, какимъ нѣкогда была такъ сильна сатира Фонъ-Визина и Грибоѣдова—она не имѣла: сравнительно съ запросами своего времени она была сдержанна и осторожна.

X.

Взгляды Гоголя на смѣшное въ жизни; «шутка» и облагораживающій насъ «смѣхъ».—Гоголь, какъ обличитель общественныхъ пороковъ; отсутствіе либеральной тенденціи въ его сатирѣ.—Первыя мысли о комедіи; одновременная работа надъ тремя сюжетами; трудность и длительность этой работы. — «Игроки». — «Женитьба»; обзоръ типовъ и общественный смыслъ комедіи. —Остатки отъ неоконченной комедіи «Владиміръ третьей степени»: «Утро дѣлового человѣка»; «Тяжба»; «Отрывокъ» и «Лакейская».—Выведенные въ нихъ типы и затронутые вопросы.

Въ своей „Авторской исповѣди“ Гоголь, вспоминая былые годы и чистосердечно разсказывая исторію собственнаго творчества, сдѣлалъ одно очень любопытное признаніе: „Первые мои опыты—говорилъ онъ—были почти всѣ въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражнявшіеся также вмѣстѣ со мной въ сочиненіяхъ, не думали, что мнѣ придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, несмотря на мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надоѣдать другимъ моими шутками; въ самыхъ раннихъ сужденіяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ особенности, которыя ускользаютъ отъ вниманія другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но угадать человѣка, то-есть угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаніемъ самого склада и образа его мыслей и рѣчей“. Способность, о которой здѣсь

говоритъ Гоголь, была ему дана отъ природы и неизмѣнно проявлялась во всѣхъ его произведеніяхъ, начиная отъ „Вечеровъ“, кончая „Мертвыми Душами“: всегда и вездѣ онъ, какъ художникъ, обладалъ способностью перевоплощенія. Въ какихъ цѣляхъ онъ ею пользовался? Отмѣчая въ своей „Авторской Исповѣди“ постоянную смѣну настроеній, которыя имъ владѣли, это частое совмѣщеніе глубоко меланхолическаго взгляда на жизнь со способностью оттѣнять въ этой жизни ея комическія стороны, Гоголь признался, что онъ не могъ отдѣлаться отъ охоты „шутить“ и „надоѣдать“ другимъ этими шутками. Повидимому, онъ своему смѣху придавалъ первоначально значеніе чисто личное—мало серьезное. На самомъ дѣлѣ оно такъ и было, и мы неоднократно могли убѣдиться, что Гоголь шутилъ ради шутки и никакого особенно важнаго значенія своимъ „шуткамъ“ не приписывалъ. Такъ отъ души смѣялся онъ въ своихъ малороссійскихъ разсказахъ и въ петербургскихъ повѣстяхъ, ловя на лету все смѣшное, что попадалось, иногда выдумывая это смѣшное, не подбирая типовъ и не направляя своего смѣха на какую-нибудь опредѣленную сторону жизни. Въ этихъ повѣстяхъ и разсказахъ мы смогли подмѣтить только однажды слабые проблески того, что называется общественной сатирой.

Но скоро во взглядахъ Гоголя на смѣшное произошла очень значительная перемѣна. Смѣхъ получилъ въ его глазахъ значеніе не личное только, но общественное: Гоголь сталъ необычайно серьезно смотрѣть на него, и серьезность эта съ каждымъ годомъ такъ возрастала, что скоро грань между смѣхомъ и слезами начала исчезать и прежнее загадочное противорѣчіе въ настроеніяхъ разрѣшилось въ намъ всѣмъ извѣстный и дорогой „смѣхъ сквозь слезы“. Какъ совершилась эта перемѣна, въ подробностяхъ разсказать невозможно: но только эта перемѣна во взглядѣ на смѣшную сторону жизни стала сказываться еще въ 1832 году, т.-е. тогда, когда Гоголь продолжалъ „шутить“, такъ, для себя, для домашняго обихода. Въ 1836 году, наканунѣ

перваго представленія „Ревизора“, этотъ серьезный взглядъ на „смѣшное“ нашелъ себѣ уже очень ясное и точное выраженіе въ одной статейкѣ, которую Гоголь набросалъ для пушкинскаго „Современника“. Статья называлась „Петербургскія записки 1836 года“ и мы съ ней уже знакомы по вышеприведенной параллели между Москвой и Петербургомъ. Во второй части этой статьи Гоголь говорилъ о репертуарѣ нашихъ театровъ въ сезонъ 1835 — 36 года. По поводу этого репертуара онъ высказалъ нѣсколько общихъ соображеній, сущность которыхъ мы и изложимъ *).

Гоголь жалуется, что балетъ и опера совершенно завладѣли нашей сценой. А между тѣмъ, живетъ еще въ мысляхъ каждаго мнѣніе, что есть высокая драма, что есть и высокая комедія — вѣрный сколокъ съ общества, комедія, производящая смѣхъ глубокостью своей иронiи—не тотъ смѣхъ, который производитъ на насъ легкія впечатлѣнія, который рождается бѣглой остротою, мгновеннымъ каламбуромъ, не тотъ пошлый смѣхъ, который движетъ грубою толпою общества, для произведенія котораго нужны конвульсія, гримасы природы; но тотъ электрическій, живительный смѣхъ, который исторгается невольно и свободно, который разноситъ по всѣмъ нервамъ освѣжающее наслажденіе, рождается изъ спокойнаго наслажденья души и производится высокимъ и тонкимъ умомъ. Такого смѣха на нашемъ театрѣ нѣтъ: мы пробавляемся французской мелодрамой и водевилями, пусть бы еще французскими, но водевилями русскими! Все это происходитъ оттого, что мы гоняемся либо за дешевымъ смѣхомъ, либо за эффектами. А между тѣмъ, нынѣшняя драма показала стремленіе вывести законы дѣйствій изъ нашего же общества. Чтобы замѣтить

*) Эти взгляды Гоголя мы изложимъ по черновымъ наброскамъ статьи, такъ какъ въ нихъ они выражены болѣе полно. Черновые наброски носятъ заглавіе «Петербургская сцена въ 1835—1836 г». Сочиненія *Н. В. Гоголя*, X-е изданіе. VI, 316—326.

общіе элементы нашего общества, двигающіе его пружины— для этого нужно быть великому таланту. Но наши писатели, порожденные новымъ стремленіемъ, не были таланты и общихъ элементовъ не замѣтили, а набросились на исключеніе. Странность сюжета выносила ихъ имя и дѣлала извѣстнымъ. Идея созданія нынѣшнихъ драмъ непремѣнно — разсказать какой-либо новый случай, непремѣнно странный, непремѣнно еще никѣмъ не виданный, неслыханный... Что хуже всего, такъ это отсутствіе національнаго на нашей сценѣ. Кого играютъ наши актеры? Какихъ-то нехристей, людей—не французовъ и не нѣмцевъ, но Богъ знаетъ кого, какихъ-то взбалмошныхъ людей — иначе и трудно назвать героевъ мелодрамы, не имѣющихъ рѣшительно никакой точно опредѣленной страсти, а тѣмъ болѣе видной физіогноміи. Не странно ли? Тогда какъ мы больше всего говоримъ теперь объ естественности, намъ какъ нарочно подносятъ подъ носъ верхъ уродливости. Русскаго мы просимъ! Своего давайте намъ! Что намъ французы и весь заморскій людъ? Развѣ мало у насъ нашего народа? русскихъ характеровъ! своихъ характеровъ! Давайте насъ самихъ. Давайте намъ нашихъ плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ во зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые превратно толкуютъ наши законы; которые подъ личиной кротости подъ рукою дѣлаютъ дѣлишки не совсѣмъ кроткія. Изобразите намъ нашего честнаго, прямого человѣка, который среди несправедливостей, ему наносимыхъ, среди потерь и тратъ, чинимыхъ ему, остается непоколебимъ въ своихъ положеніяхъ, безъ ропота на безвинное правительство и исполненъ той же русской, безграничной любви къ царю своему, для котораго бы онъ и жизнь, и домъ, и послѣднюю каплю благородной крови готовъ принесть, какъ назначенную жертву... Бросьте долгій взглядъ во всю длину и ширину животрепещущаго населенія нашей раздольной [родины], сколько есть у насъ добрыхъ людей, но сколько есть и плевелъ, отъ которыхъ житья нѣтъ доб-

рымъ и за которыми не въ силахъ слѣдить никакой законъ. На сцену ихъ! Пусть видитъ ихъ весь народъ! Пусть посмѣется онъ! О, смѣхъ великое дѣло! Ничего болѣе не боится человѣкъ такъ, какъ смѣха. Онъ не отнимаетъ ни жизни, ни имѣнія у виновнаго; но онъ ему силы связываетъ и, боясь смѣха, человѣкъ удержится отъ того, отъ чего бы не удержала его никакая сила... Благосклонно склонится око монарха къ тому писателю, который, движимый чистымъ желаніемъ добра, предпріиметъ уличить низкій порокъ, недостойныя слабости и привычки въ слояхъ нашего общества и этимъ подастъ отъ себя помощь и крылья его правдивому закону. Театръ—великая школа, глубоко его назначеніе: онъ цѣлой толпѣ, цѣлой тысячѣ народа за однимъ разомъ читаетъ живой полезный урокъ и при блескѣ торжественнаго освѣщенія, при громѣ музыки показываетъ смѣшное привычекъ и пороковъ или высокотрогательное достоинствъ и возвышенныхъ чувствъ человѣка. Нѣтъ! театръ не то, что сдѣлали изъ него теперь. Нѣтъ! Онъ не долженъ возбудить тѣхъ тревожныхъ и безпокойныхъ движеній души. Нѣтъ! Пусть зритель выходитъ изъ театра въ счастливомъ расположеніи, помирая отъ смѣха или обливаясь сладкими слезами, и понесшій съ собою какое-нибудь доброе намѣреніе.

Писатель, который отводилъ смѣху такую карающую и наставническую роль въ обществѣ, былъ, конечно, далекъ отъ всякихъ „шутокъ“, и имѣлъ право обидѣться, когда нѣкоторые люди при оцѣнкѣ его комедій, за ихъ шутливой внѣшностью, не поняли скрытаго въ нихъ серьезнаго смѣха.

Переходя къ обзору этихъ комедій, мы должны прежде всего сдѣлать большую оговорку. Всякій разъ, когда рѣчь зайдетъ объ общественной тенденціи этихъ комедій, надо помнить, что въ представленіи Гоголя эта общественная тенденція не имѣетъ ничего общаго съ „либеральной“. Она въ его комедіяхъ—тенденція нравственная, безъ всякой при-

мѣси политическаго элемента. Вотъ почему онъ могъ позднѣе истолковать всего „Ревизора“ чисто нравственно и мистически, какъ онъ это сдѣлалъ въ извѣстной „Развязкѣ“; вотъ почему онъ и приходилъ въ такое страшное негодованіе и чувствовалъ себя такъ оскорбленнымъ, когда его называли „либераломъ“ или подозрѣвали въ желаніи сказать что-нибудь непріятное правительству.

Гоголь по своимъ политическимъ взглядамъ былъ всегда чистокровнымъ консерваторомъ и вѣрноподданнымъ. Либеральный оттѣнокъ его комедіямъ и его творчеству придалъ не онъ, а условія нашей общественной жизни временъ императора Николая I, условія, которыя въ 1852 году заставили само правительство признать Гоголя „опаснымъ“ писателемъ и попытаться „замолчать“ въ нѣкоторомъ смыслѣ его кончину.

Помимо того, что всякое рѣзкое обличеніе нравственныхъ недостатковъ всегда можетъ быть истолковано въ „либеральномъ“ смыслѣ, т.-е. всегда бросаетъ нѣкоторую тѣнь на государственный порядокъ, при которомъ такіе недостатки процвѣтаютъ—помимо этого, въ „Комедіяхъ“ и въ „Мертвыхъ Душахъ“ было, какъ извѣстно, высказано довольно рѣзкое осужденіе русской бюрократической системы. И это осужденіе, вмѣстѣ съ общегуманнымъ отношеніемъ Гоголя къ низшей братіи и подало поводъ всѣмъ нашимъ прогрессивнымъ партіямъ зачислить сатирика въ разрядъ, если не своихъ сотрудниковъ, то, во всякомъ случаѣ, въ число лицъ, подготовлявшихъ почву для воспріятія прогрессивныхъ идей. И это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Вопреки самому Гоголю, его придется признать однимъ изъ двигателей прогрессивной общественной мысли, которая, покинувъ общенравственныя точки зрѣнія, переходила къ критикѣ существующаго общественнаго и государственнаго порядка.

Разногласіе между Гоголемъ и его читателями—и современниками и потомками—вытекало изъ очень понятныхъ

причинъ. Гоголь для Россіи не желалъ лучшаго устройства государственнаго, чѣмъ то, при которомъ жилъ. Самодержавная власть, непоколебимая, признанная всѣми, Богомъ установленная и надъ всѣми властями поставленная, безконтрольная и всемогущая въ человѣческихъ условіяхъ; православная вѣра, ревнивая и подъ особымъ Божіемъ покровительствомъ состоящая; дворяне—царевы первые слуги, отцы многочисленвыхъ крестьянскихъ семей, ихъ наставители въ вѣрѣ и въ чувствѣ долга передъ царемъ и родиной, дворяне—опекуны низшей братіи, блюстители ихъ умственнаго и нравственнаго совершенствованія и экономическаго благосостоянія, наконецъ, эта низшая братія, по славянской натурѣ своей богобоязненная, царелюбивая, добрая и смышленая, признающая, что всякая власть отъ Бога и смиренно занятая своимъ земледѣльческимъ трудомъ—вотъ основныя положенія общественнаго и государственнаго вѣроисповѣданія Гоголя, отъ которыхъ онъ не отступалъ во всю жизнь и въ которыя вѣрилъ еще съ самыхъ юныхъ лѣтъ. Не любилъ онъ только „состояній среднихъ“ за то, что они слишкомъ подвижны и неустойчивы. Такимъ образомъ, для большинства силъ, какими приводилась въ движеніе русская общественная и государственная жизнь, Гоголь желалъ отъ всего своего консервативнаго сердца сохраненія существующаго. Ролью одной только силы, и притомъ очень важной, онъ былъ недоволенъ, мало сказать,—онъ былъ оскорбленъ ею. Этой силой была бюрократія, дѣйствительно, всесильная въ николаевское царствованіе. На нее направилъ Гоголь свои удары сатирика и моралиста. Если не считать плутоватыхъ типовъ въ родѣ Хлестакова и Чичикова, особенно облюбованныхъ нашимъ авторомъ, типовъ, съ которыми онъ обошелся, однако, очень милостиво; если оставить въ сторонѣ портреты, списанные съ дворянъ-помѣщиковъ, портреты не лестные, но во всякомъ случаѣ написанные безъ злобы и негодованія, то именно чиновный міръ отъ губернатора и городничаго до квартальнаго, былъ главной ми-

шенью наиболѣе сильныхъ сатирическихъ нападокъ нашего автора. Но и въ этихъ нападкахъ сатирикъ соблюдалъ нѣкоторую осторожность. Въ комедіи „Владиміръ 3-й степени", въ этой первой попыткѣ систематическаго обличенія бюрократіи, Гоголь рѣшился было заговорить о столичныхъ, довольно высокопоставленныхъ кругахъ, но сообразилъ, что это не совсѣмъ удобно и потому въ дальнѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ продолжалъ говорить лишь о чиновникахъ губернскихъ и уѣздныхъ.

Въ дѣлѣ обличенія бюрократичеекихъ сферъ Гоголь имѣлъ, какъ намъ извѣстно, многочисленныхъ предшественниковъ, но никто изъ нихъ не относился такъ страстно и съ такимъ душевнымъ сокрушеніемъ къ этому вопросу, какъ онъ. Писатели александровской эпохи предпочитали говорить объ аристократіи, столичной и помѣщичьей, и съ достаточной смѣлостью освѣщали невзрачныя стороны свѣтскаго круга. Поэтъ николаевскаго времени былъ призванъ указать на все то зло, какое влекла за собой широко-развившаяся въ это время бюрократическая система. И Гоголь свою задачу выполнилъ какъ настоящій патріотъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ вѣрноподданный. Онъ не допускалъ даже мысли о томъ, что сама правительственная система могла быть виновата въ томъ бюрократическомъ злѣ, которое онъ такъ вѣрно подмѣтилъ и оттѣнилъ; въ его глазахъ вся вина падала не на укладъ правительственной жизни, ставящій чиновника въ такое положеніе, при которомъ превышеніе власти и злоупотребленіе ею сами собой напрашивались, а на самаго чиновника, какъ на отдѣльную нравственную единицу, какъ на личность съ извѣстнымъ нравственнымъ содержаніемъ. Такимъ образомъ вопросъ съ почвы общественной переводился Гоголемъ прямо на почву нравственную, а позднѣе на религіозную. Все зло проистекало, по мнѣнію автора, изъ природы самого человѣка, а не изъ тѣхъ условій, въ какія онъ былъ поставленъ. Чтобы излечить его, не было нужды мѣнять обстановки, въ которой онъ выросталъ

и которая пріучала его къ гордынѣ, своеволію, самопокло-ненію, хитростямъ, обманамъ, лѣни и отсутствію понятія о гражданскомъ долгѣ—лечить его нужно было или нравствен-нымъ воздѣйствіемъ на его душу, или силою кары—силою падающаго на него несчастья, которое должно было непо-средственно повліять на его нравственное самосознаніе. Труднѣйшій общественный вопросъ рѣшался, такимъ обра-зомъ, для Гоголя весьма просто. Весь ходъ жизни зависитъ отъ нравственнаго совершенствованія человѣка,—думалъ нашъ моралистъ. Можно поставить человѣка въ какія угодно условія — экономическія, общественныя и политическія, его жизнь будетъ посвящена благу своему и ближняго, если только въ немъ самомъ есть этотъ нравственный регуля-торъ. Можно спросить, конечно, не зависитъ ли въ свою очередь это нравственное сознаніе отъ тѣхъ самыхъ усло-вій, на которыя оно должно воздѣйствовать? Но этотъ во-просъ не остановилъ на себѣ вниманія Гоголя.

Въ общественныхъ взглядахъ нашего писателя была, какъ видимъ, большая доза романтизма и еще болѣе сенти-ментализма. Онъ, этотъ „чувствительный“ взглядъ на жизнь и помогъ Гоголю нарисовать ту странную идиллію русской дѣйствительности, которая такъ поразила читателей въ его „Перепискѣ съ друзьями“. Тамъ, не колебля не только основъ, но даже второстепенныхъ проявленій русской госу-дарственной жизни, онъ нарисовалъ цѣлую утопію блажен-наго житія всѣхъ сословій, всѣхъ, и властителей, и подчи-ненныхъ, и сытыхъ, и голодныхъ, и сильныхъ, и безпра-вныхъ при одномъ единственномъ условіи, что „любовь“ бу-детъ передаваться по начальству, что она будетъ цирку-лировать по инстанціямъ отъ низшихъ до самой высшей, такъ, какъ циркулируютъ департаментскія бумаги. Все это Гоголь писалъ вполнѣ искренно, не угождая власти, передъ идеей и системой которой онъ преклонялся, требуя только отъ ея носителей и исполнителей нравственной выправки, т.-е. того, что при этой системѣ достигнуть было крайне трудно.

Съ такимъ же сентиментализмомъ отнесся Гоголь и къ самому значительному общественному злу своего времени—къ крестьянскому рабству. Онъ, какъ реалистъ, имѣлъ много случаевъ говорить о немъ и въ своихъ повѣстяхъ, и въ „Мертвыхъ Душахъ“. Но онъ касался этого вопроса гораздо рѣже, чѣмъ его предшественники, романисты и публицисты александровской эпохи. Конечно, это общественное зло отъ его взгляда не укрылось, и нельзя предположить, что онъ рисовалъ себѣ мужицкую жизнь таковой, какой онъ изображалъ ее въ своихъ малороссійскихъ идилліяхъ. Двѣ-три странички въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ и въ „Мертвыхъ Душахъ“, а также та журнальная рецензія, которая приведена выше, показываютъ, что онъ далекъ былъ отъ полнаго оправданія существующаго порядка *).

Но всетаки на вопросъ о крестьянствѣ онъ смотрѣлъ съ чисто нравственной точки зрѣнія, непомѣрно съужая понятіе

*) Есть даже прямое указаніе на то, что Гоголь хотѣлъ однажды довольно откровенно поговорить объ этомъ вопросѣ. Въ бумагахъ его сохранился отрывокъ изъ одной неоконченной драмы, надъ которой онъ работалъ, кажется, въ 1833 году [«Сочиненія *Н. В. Гоголя*. X-е изданіе. V, 101—104, 554]. Въ этомъ отрывкѣ, на вопросъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ: «Чѣмъ занимается его барыня?» служитель крѣпостной отвѣчаетъ: «какъ, чѣмъ занимается? Извѣстно, дѣло женское. Я вамъ скажу, сударь, что дѣла хозяйственныя идутъ у насъ, Богъ знаетъ какъ. Если бы вы увидѣли, какъ она изволитъ управлять, такъ это курамъ смѣшно. Вообразите, что сама переходитъ по всѣмъ избамъ, и чуть только гдѣ нашла больного, и пошла потѣха: сама натащитъ мазей, тряпокъ, начнетъ перевязывать. Ну, скажите, пожалуйста: боярское ли это дѣло? Какое же послѣ этого будетъ къ ней уваженіе мужиковъ? Нѣтъ, ужъ коли хочешь управлять, то ты сама ужъ сиди на одномъ мѣстѣ; а если что—пошли прикащика: ужъ это его дѣло; онъ уже обдѣлаетъ, какъ ему слѣдуетъ—мужика не балуй! Мужика въ ухо. Народъ простой, выпесетъ. А этимъ-то и держится порядокъ. При баринѣ не такъ было. Ахъ, если бы вы знали, сударь, что это былъ за рѣдкостный человѣкъ!»

Разсказываютъ, что Гоголь однажды читалъ Жуковскому какую-то «трагедію» [вѣроятно, эту] и что Жуковскій задремалъ подъ ея чтеніе. «Когда спать захотѣлось, значитъ можно и сжечь», сказалъ Гоголь и тутъ же бросилъ свою трагедію въ каминъ.

о нравственности, такъ какъ мысль о „безнравственности“ самого положенія крестьянскаго, кажется, не приходила ему въ голову: онъ и въ данномъ случаѣ оправдывалъ систему и говорилъ только о безнравственности самихъ ея выполнителей и тѣхъ, надъ кѣмъ она тяготѣла. Онъ вѣрилъ въ возможность настоящей блаженной идилліи на почвѣ данныхъ соціальныхъ условій и, ставя очень строгія требованія господину, говоря ему о великомъ его долгѣ, не желалъ умалять его правъ и среди этихъ правъ признавалъ за нимъ и право рабовладѣнія.

Гоголь былъ, такимъ образомъ, вполнѣ искрененъ, когда въ своей статьѣ „Петербургская сцена“ такъ ясно и часто говорилъ о своей благонадежности. На свою сатиру онъ смотрѣлъ какъ на орудіе, которое вполнѣ можетъ и должно дѣйствовать согласно съ цѣлями и видами правительства. Если современемъ она послужила точкой опоры для тѣхъ, кто былъ несогласенъ не только съ поведеніемъ выполнителей правительственной системы, но и съ самой системой по существу, то Гоголь былъ здѣсь не при чемъ. Шедшее за нимъ поколѣніе увидало въ его творчествѣ - въ этомъ вѣрномъ отраженіи самой жизни—то, чего самъ Гоголь въ немъ не видѣлъ. Писатель гнѣвался на людей, зачѣмъ въ нихъ такъ много зла и пошлости, потомки были болѣе справедливы и спросили, виноваты ли одни люди въ этомъ злѣ и не падаетъ ли доля вины на тѣ условія, въ которыхъ они выростали и дѣйствовали? Гоголь объ этихъ условіяхъ молчалъ, довольствуясь лишь обличеніемъ внѣшнихъ результатовъ, къ которымъ они приводили.

Первой попыткой такого сознательнаго обличенія, въ общемъ, однако, отнюдь не суроваго, были тѣ комедіи, которыя Гоголь задумалъ еще въ началѣ своей петербургской жизни и частью отдѣлалъ и закончилъ къ 1836 году.

Съ театромъ у Гоголя были родственныя связи. Его отецъ пописывалъ комедійки изъ малороссійскаго быта и онѣ пользовались въ свое время успѣхомъ. Самъ Гоголь

еще въ нѣжинскомъ лицеѣ пробовалъ свои силы на сценическомъ поприщѣ и былъ, по общему признанію, очень талантливымъ актеромъ. Товарищи его разсказывали, что отличительной чертой его игры была необыкновенная правдивость и простота, т.-е. то, что въ юные годы артисту дается очень рѣдко. Исполнялъ Гоголь исключительно роли комическія. Такъ, напр., одной изъ лучшихъ его ролей была роль г-жи Простаковой въ „Недорослѣ". Одинъ изъ зрителей, видѣвшихъ его въ этой роли, разсказываетъ, что сколько онъ потомъ ни видалъ актрисъ въ этой роли, ни одна не заставила его забыть шестнадцатилѣтняго Гоголя. Товарищи были убѣждены, что онъ поступитъ на сцену, и онъ однажды, дѣйствительно, сдѣлалъ эту попытку, которая кончилась, впрочемъ, неудачно. Это было еще въ 1830 году, т.-е. въ первый годъ его грустной и одинокой жизни въ Петербургѣ; Гоголь искалъ тогда, гдѣ пристроиться, и рѣшилъ пойти къ директору Императорскихъ театровъ и просить подвергнуть его испытанію, но странно, — въ роляхъ непремѣнно драматическихъ. Почему именно драматическихъ, когда до сихъ поръ онъ игралъ только комическія роли, — неизвѣстно, можетъ быть, потому, что на душѣ у него тогда было невесело и онъ, какъ многіе угрюмые молодые люди думалъ, что достаточно этого угрюмаго вида и тоски на душѣ, чтобы стать датскимъ принцемъ. Испытанію его подвергли и нашли, что читаетъ онъ слишкомъ просто и потому не годится. „Въ случаѣ особенной милости директора, – говорилъ производившій испытаніе,—Гоголь можетъ быть принятъ развѣ только въ качествѣ актера на выхода". Такъ непривѣтливо встрѣтилъ Гоголя на первыхъ порахъ тотъ самый театръ, который потомъ былъ ему такъ много обязанъ своей славой.

Отъ надежды стать актеромъ пришлось отказаться, но тѣмъ сильнѣе стала занимать нашего писателя мысль о комедіи. Знакомство съ артистами, какъ, напр., съ Сосницкимъ въ Петербургѣ и съ Щепкинымъ въ Москвѣ, и зна-

комство съ записными театралами, какимъ былъ, напр., С. Т. Аксаковъ, могло въ данномъ случаѣ остаться не безъ вліянія.

Въ 1832 году планъ комедіи уже созрѣлъ въ головѣ Гоголя. „Я не писалъ тебѣ, — говорилъ онъ Погодину въ письмѣ отъ 20-го февраля 1833 — я помѣшался на комедіи. Она, когда я былъ въ Москвѣ [лѣтомъ 1832 г.], въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда, не выходила изъ головы моей, но до сихъ поръ я ничего не писалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой толстой тетради: „Владиміръ 3-ей степени“, и сколько злости, смѣха и соли. Но вдругъ остановился, увидѣвъ, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура низачто не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играться: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она, какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неоконченное произведеніе? Мнѣ больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, на который бы даже квартальный не могъ обидѣться. Но что комедія безъ правды и злости? Итакъ, за комедію не могу приняться. Примусь за исторію — передо мною движется сцена, шумитъ апплодисментъ, рожи высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и—исторія къ чорту! и вотъ почему я сижу при лѣни мыслей“ *). Изъ этого признанія видно, какъ серьезно взглянулъ нашъ смѣшливый пасичникъ на комедію въ первый же разъ, какъ мысль о ней пришла ему въ голову. Этотъ серьезный взглядъ Гоголя на „смѣшное“ въ жизни поразилъ и С. Т. Аксакова при первой ихъ встрѣчѣ въ Москвѣ, въ 1832 г. Рѣчь у нихъ зашла о комедіяхъ Загоскина, которыя очень нравились Аксакову, и Гоголь похвалилъ Загоскина за веселость, но замѣтилъ, что онъ не то пишетъ, что слѣдуетъ, особенно для театра. Аксаковъ возразилъ,

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 245.

что у насъ писать не о чемъ, что въ свѣтѣ все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто, что „даже глупости смѣшной въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой“. Гоголь посмотрѣлъ на Аксакова „какъ-то значительно“ и сказалъ, что это неправда, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, то мы уже сами надъ собой будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его“. Очевидно, что Гоголь успѣлъ не мало подумать о серьезной стоимости того смѣха, для котораго теперь подбиралъ новую литературную форму. Онъ нашелъ, было, и форму, и содержаніе, но оно ему показалось слишкомъ опаснымъ и онъ сталъ искать другого сюжета.

Онъ подыскалъ его скоро; это былъ тотъ самый сюжетъ, который онъ позднѣе разработалъ въ своей „Женитьбѣ“. Но мысль о серьезной и злой комедіи не покидала нашего автора, и въ 1834 году мы застаемъ его за работой надъ „Ревизоромъ“. Очевидно, что сюжетъ „Ревизора“ казался Гоголю менѣе опаснымъ и задорнымъ, чѣмъ фабула первой комедіи „Владиміръ 3-ей степени“, надъ отдѣльными сценами и явленіями которой онъ всетаки урывками продолжалъ работать. Такимъ образомъ, Гоголь одновременно писалъ три комедіи: незаконченную комедію „Владиміръ третьей степени“, которую онъ задумалъ въ 1832 году и отдѣльныя части которой [подъ заглавіями: „Тяжба“, „Утро дѣлового человѣка“, „Лакейская“ и „Отрывокъ“] окончательно отдѣлалъ въ 1842 году; „Женитьбу“, начатую въ 1833 году и оконченную также въ 1842 г., и, наконецъ, „Ревизора“, начало котораго относится къ 1834 году и окончательная редакція перваго изданія къ 1835 году. Въ 1836 году были, кажется, начаты „Игроки“ и закончены въ 1842 году.

Впродолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ [1832—1842] работалъ Гоголь надъ своими комедіями. Теперь, когда весь процессъ его работы намъ извѣстенъ *), приходится удивляться этому

*) А онъ выясненъ трудами П. С. Тихонравова и В. П. Шенрока.

кропотливому труду генія: не только сценарій мѣнялся часто, но почти каждая реплика передѣлывалась по нѣсколько разъ; то, что въ этихъ комедіяхъ намъ кажется столь естественно и легко сказаннымъ—давалось автору съ необычайнымъ трудомъ, отчасти потому, что онъ самъ придавалъ своей работѣ необычайно важное значеніе и ждалъ отъ нея, какъ онъ говорилъ—„великаго“ и „художническаго“; отчасти и потому, что реальное воспроизведеніе дѣйствительности не давалось ему сразу, и онъ, сентименталистъ и романтикъ, не могъ найти съ перваго раза подходящаго тона для вполнѣ бытовой комедіи.

По серьезности своего содержанія комедіи Гоголя не равнаго достоинства. „Игроки“ — простой драматизированный анекдотъ; „Женитьба“ — бытовыя сцены, съ виду простая шутка, но на дѣлѣ сатира не безъ общественнаго смысла; „Владиміръ 3-ей степени“ или, вѣрнѣе, тѣ обломки, которые отъ него остались — попытка очень серьезной и широкой общественной сатиры; и, наконецъ, „Ревизоръ“— осуществленіе этой сатиры въ ея смягченномъ видѣ. Такъ какъ Гоголь надъ своими комедіями работалъ почти одновременно, то намъ нѣтъ необходимости при ихъ разборѣ придерживаться хронологическаго порядка; онъ намъ ничего не объяснитъ и только спутаетъ, и потому мы не поступимъ произвольно, если сгруппируемъ всѣ комедіи нашего автора по широтѣ затронутыхъ ими общественныхъ круговъ и вопросовъ.

Наименьшій интересъ въ данномъ смыслѣ представляетъ комедія „Игроки“ — одно изъ самыхъ совершенныхъ драматическихъ произведеній по техникѣ. Когда комедія была написана—съ точностью опредѣлить нельзя: набросана она была въ послѣдніе годы жизни Гоголя въ Петербургѣ, а закончена, вѣроятно, уже за границей *). Комедія не выдумана, а создана на основаніи разсказовъ о дѣйствительныхъ

*) *В. И. Шенрокъ.* «Матеріалы для біографіи Гоголя», II, 377.

продѣлкахъ разныхъ шулеровъ и мошенниковъ. Разсказы о такихъ продѣлкахъ попадались часто въ современной Гоголю литературѣ. Рѣдкій романъ нравовъ обходился безъ нихъ, и всевозможные господа Плутяговичи, Змѣйкины, Шурке стали скоро традиціонными типами. Жертвами ихъ бывали обыкновенно либо вертопрахи, либо довѣрчивые честные люди, либо разоренные дворяне, загнанные нуждой въ игорные дома. Картежный шулеръ попадалъ такимъ образомъ въ свиту многочисленныхъ злодѣевъ, искушающихъ людскую добродѣтель, нерѣдко торжествующихъ надъ нею, и все это затѣмъ, чтобы автору дать возможность прочитать подобающее наставленіе. Заслуга Гоголя заключалась въ томъ, что онъ эту шаблонную тему развилъ необычайно жизненно и съ неподражаемымъ остроуміемъ, что онъ одинъ общій типъ съумѣлъ представить въ нѣсколькихъ варіаціяхъ, одинаково правдивыхъ, а главное, что онъ избѣгъ всякой морали, исключивъ изъ числа дѣйствующихъ лицъ прежняго героя — „пострадавшаго“. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ назвать пострадавшимъ человѣка, который въ компаніи мошенниковъ сплоховалъ, будучи самъ первымъ червоннымъ валетомъ. Въ „Игрокахъ“ описано не состязаніе хитрости и слабодушной простоты, порока и добродѣтели, а состязаніе семи жуликовъ-артистовъ, которое кончается самоуничтоженіемъ одного изъ самыхъ опасныхъ по мнѣнію Гоголя пороковъ, именно—плутовства.

„Женитьба“ по замыслу значительно шире „Игроковъ“; въ ней есть даже общественная мысль, хотя она не сразу проступаетъ наружу. Судьба комедіи „Женихи“ или, какъ она была позднѣе названа, „Женитьба“, очень замѣчательна. Изъ всѣхъ драматическихъ произведеній Гоголя она подверглась наибольшимъ и самымъ продолжительнымъ передѣлкамъ. Начата она была въ 1833 году, когда Гоголь искалъ сюжета, „которымъ бы и квартальный не могъ обидѣться“. Авторъ передѣлывалъ комедію въ 1834 и 1835 годахъ, затѣмъ въ 1838, 1839 и 1840 году, и только въ

1842 году онъ остался доволенъ ея редакціей. Какъ видно изъ различныхъ редакцій, первоначальный планъ комедіи былъ совсѣмъ иной, чѣмъ тотъ, который теперь передъ нами. Мѣстомъ дѣйствія комедіи была Малороссія, и фабула ея напоминала слегка нѣкоторые эпизоды изъ „Сорочинской ярмарки“ и „Ночи передъ Рождествомъ“. Героиней комедіи была первоначально помѣщица, искавшая жениха и отправившая на розыски такового на ярмарку свою прислугу. Ни Кочкаревъ, ни Подколесинъ [характеръ очень сходный со Шпонькой] въ этой первоначальной редакціи не появлялись *). Въ 1835 году эта фабула была измѣнена, и въ новой передѣлкѣ Гоголь чаталъ свою пьесу у Погодина. Мы имѣемъ любопытное свидѣтельство объ этомъ чтеніи одного изъ присутствовавшихъ. „Гоголь,—разсказываетъ С. Т. Аксаковъ,—до того мастерски читалъ или, лучше сказать, игралъ свою пьесу, что многіе, понимающіе это дѣло люди до сихъ поръ говорятъ, что на сценѣ, несмотря на хорошую игру актеровъ, эта комедія не такъ смѣшна, какъ въ чтеніи самого автора. Слушатели до того смѣялись, что нѣкоторымъ сдѣлалось почти дурно. Но увы! Комедія не была понята. Большая часть говорила, что пьеса—неестественный фарсъ, но что Гоголь ужасно смѣшно читаетъ“. Можетъ быть, въ этой второй редакціи „комическое“, дѣйствительно, граничило съ буффонадой, и слушатели были правы; но когда Гоголь принялся за новую передѣлку, и когда комедія была закончена, она ни съ какимъ фарсомъ уже ничего общаго не имѣла.

Тѣ, кто продолжалъ называть ее фарсомъ, впадали въ крупную ошибку потому, что не умѣли отличить смѣшное въ положеніяхъ отъ смѣшного въ характерахъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно взять совсѣмъ безличныхъ, самыхъ

*) Описаніе редакцій и подробная исторія ихъ передѣлокъ дана въ этюдѣ *В. И. Шенрока*, помѣщенномъ въ VI томѣ X-го изданія «Сочиненій Гоголя», стр. 549 — 575. Срв. также *Н. С. Тихонравовъ*. «Сочиненія», т. III, часть I, статья «М. С. Щепкинъ и Н. В. Гоголь», стр. 550 и слѣд.

безцвѣтныхъ людей и поставить ихъ въ такое смѣшное положеніе, при которомъ они возбудятъ въ насъ самый неудержимый смѣхъ именно своимъ совершенно исключительнымъ положеніемъ, напр., какимъ-нибудь забавнымъ qui pro quo, не во время поданной репликой, неожиданной оговоркой, взаимнымъ непониманіемъ, невѣроятнымъ стеченіемъ обстоятельствъ, однимъ словомъ, рядомъ случайностей, которыя изъ характера самихъ дѣйствующихъ лицъ не истекаютъ. Такое комическое положеніе можетъ назваться фарсомъ, и этотъ комизмъ можетъ достигать степеней довольно различныхъ: отъ игривой шутки до глупой, отъ безобидной до непристойной; и всегда это будетъ комизмъ низшаго сорта.

Но есть болѣе высокій: это комизмъ самихъ характеровъ и изъ нихъ вытекающій иногда комизмъ положеній. Смѣшонъ можетъ быть самъ человѣкъ по складу своего ума и по своимъ чувствамъ. Все наше отношеніе къ окружающему міру, идеалы наши, требованія, которыя мы ставимъ людямъ—все можетъ быть настолько несерьезнымъ, настолько страннымъ и нелѣпымъ, что можетъ вызвать смѣхъ—опять-таки смѣхъ разный: веселый, беззаботный, а можетъ быть и очень сердитый, раздраженный и желчный.

Комедіи Гоголя—комедіи характеровъ, а отнюдь не положеній только. Присматриваясь къ любому типу, имъ выведенному, мы видимъ, что онъ самъ по себѣ законченъ и комиченъ. Его можно взять изъ той обстановки, въ которой онъ показанъ, взять его порознь, внѣ его столкновенія съ другими типами, и онъ возбудитъ ту же улыбку, тотъ же смѣхъ, какъ рѣдкій оригиналъ, какъ типичный продуктъ нашей жизни. Иногда этотъ гоголевскій типъ возвышается и до типа общечеловѣческаго, которымъ мы такъ удивляемся въ комедіяхъ Мольера. Хотя бы тѣ же Подколесинъ и Кочкаревъ... ихъ можно встрѣтить въ любомъ мѣстѣ и въ любое время: здѣсь они передъ нами въ роли мелкихъ обывателей Петербурга, а сколько такихъ лицъ,—лицъ, прыгающихъ въ

окно въ рѣшительную минуту и вносящихъ въ жизнь сумбуръ и суматоху, — сколько ихъ дѣйствовало и дѣйствуетъ на широкой аренѣ общественной и политической?

Въ „Женитьбѣ“ Гоголь слегка пересолилъ въ компановкѣ положеній, въ какія онъ поставилъ дѣйствующихъ лицъ своей комедіи. Ихъ, встрѣчающихся въ жизни въ розницу, онъ собралъ въ кучу и въ одномъ мѣстѣ. Но авторъ въ свое оправданіе можетъ сказать, что старый порядокъ смотринъ жениховъ или невѣсты—предлогъ вполнѣ законный для разныхъ необычныхъ встрѣчъ. Агафья Тихоновна сама требовала разнообразія, и потому сваха могла обратить ея гостиную на нѣкоторое время въ выставку всякихъ рѣдкостей.

„Женитьба“ была первой по времени художественной „бытовой комедіей“. Мы съ этимъ типомъ комедіи теперь— послѣ Островскаго — хорошо знакомы. Но написать такую до Островскаго, значило сдѣлать большое отрытіе въ области искусства.

И въ этомъ заслуга Гоголя какъ драматическаго писателя. Онъ первый призналъ, что театръ существуетъ для того, чтобы, прежде всего, изображать жизнь—вѣрно, безъ прикрасъ и натяжекъ, и первый сталъ цѣнить въ художественномъ типѣ его полное соотвѣтствіе съ жизненной правдой. Мораль должна была сама собой вытекать изъ соблюденія всѣхъ этихъ условій.

Никакой подчеркнутой морали нѣтъ и въ „Женитьбѣ“, этой правдивой картинѣ изъ жизни русскаго „средняго“ сословія. Но при всей невинности своего содержанія „Женитьба“ не лишена общественнаго смысла.

Комедія много выиграла отъ переноса мѣста дѣйствія изъ Малороссіи въ Петербургъ. Бесѣды съ артистами Сосницкимъ и Щепкинымъ помогли Гоголю въ обрисовкѣ мало ему знакомаго купеческаго быта, а петербургская обстановка, съ своей стороны, позволила ему ввести въ комедію рядъ типовъ, появленіе которыхъ въ малороссійской

усадьбѣ было бы мало правоподобно. Въ общемъ, эта комедія — сборище какихъ-то чудаковъ, цѣлая кунсткамера. Если припомнить, однако, каковъ былъ въ тѣ времена уровень духовныхъ интересовъ и потребностей мелкаго чиновничества, купечества и вообще средняго люда, то такое собраніе не должно поражать насъ своей вычурной внѣшностью. Всѣ эти лица—историческіе документы. Каждый изъ нихъ представитель извѣстнаго сословія, и авторъ съ умысломъ набралъ дѣйствующихъ лицъ изъ разныхъ круговъ общества. Здѣсь и купцы, и чиновники, и военные. Всѣ они, за исключеніемъ гостиннодворца Старкова—коренного русака, котораго затѣмъ такъ возвеличилъ Островскій — донельзя смѣшны и нелѣпы въ своемъ міросозерцаніи. Всѣ они—люди жалкіе, но не дурные, какъ, напр. Тихонъ Пателеймоновичъ—отецъ невѣсты, который усахарилъ свою жену и который бывало, ударивъ по столу рукой—съ ведро величиною,—говаривалъ въ сердцахъ: „Плевать я на того хочу, кто стыдится быть купцомъ“; или дочка его, которая помѣшалась на дворянствѣ и не хочетъ идти за купца, потому что у него борода — сентиментальная дѣвица, наказанная судьбой за то, что мечтаетъ о лучшей жизни, чѣмъ та, среди которой выросла. Не возбуждаетъ въ насъ никакихъ враждебныхъ чувствъ и экзекуторъ Яичница—представитель необразованной и грубой аккуратности, для котораго женитьба—дѣловая сдѣлка и предлогъ принять по инвентарю движимое и недвижимое, въ его глазахъ болѣе цѣнное, чѣмъ придатокъ къ нимъ—невѣста. „А невѣстѣ скажи, что она подлецъ!“ кричитъ этотъ кавалеръ, совсѣмъ ошеломленный извѣстіемъ, что домъ несчастной Агафьи Тихоновны заложенъ. Никаноръ Ивановичъ Анучкинъ — тотъ никогда не позволилъ бы себѣ съ дамой такого неприличнаго обращенія. Онъ — сама сентиментальная деликатность. Идеалъ его—барышня, говорящая по-французски, и никто не объяснитъ, зачѣмъ ему этотъ французскій языкъ, на которомъ самъ онъ не умѣетъ сказать ни слова. Онъ робокъ, даже

какъ будто стыдится своей пѣхотной службы, но утѣшаетъ себя тѣмъ, что онъ все-таки умѣетъ цѣнить обхожденіе высшаго общества. Это не мѣшаетъ ему ругать своего отца мерзавцемъ и скотиной за то, что онъ не обучилъ его французскому діалекту, незнакомство съ которымъ самой невѣсты разбило и всѣ его матримоніальные планы... Онъ отказывается отъ нихъ безъ сожалѣнія, даже безъ гнѣва и уходитъ печальный, какъ будто разочаровался, дѣйствительно, въ чемъ-то очень серьезномъ... Балтазаръ Балтазаровичъ Жевакинъ — веселый морякъ въ отставкѣ, тотъ защищаетъ упорнѣе другихъ свою позицію. Большой любитель женскаго пола и поклонникъ Сициліи, круглый невѣжда и набитый дуракъ, какъ его аттестуетъ Кочкаревъ, онъ человѣкъ очень веселаго нрава, и своимъ самомнѣніемъ гарантированный отъ всякихъ, даже очень оскорбительныхъ уколовъ со стороны.

И всѣми этими обиженными Богомъ людьми вертитъ и крутитъ Кочкаревъ — натура, безспорно, энергичная, но съ однимъ очень часто встрѣчающимся недостаткомъ, съ отсутствіемъ мысли о томъ, „что̀ изъ всего этого выйдетъ“. Ему лишь бы дѣйствовать и суетиться, а какъ на другихъ его суета отзовется, до этого ему дѣла мало: онъ доволенъ, что вмѣшался, что самъ на виду, и въ этой суетѣ безъ разсчета и плана все его самоудовлетвореніе... и рядомъ съ нимъ его застѣнчивый спутникъ Подколесинъ, этотъ родной братъ Обломова, безъ стремленій, безъ желаній, съ одной лишь мыслью, чтобы скорѣй прошелъ день, который безконечно тянется. Этого человѣка ничѣмъ не побудишь къ дѣйствію, онъ со своей флегмой и пассивностью устоитъ противъ всякихъ доводовъ разума или обольщеній мечты; жизнь для него — дремота въ сумерки, и никто и ничто его отъ этого полусна не пробудитъ. Вскипѣть и заторопиться на мгновеніе онъ можетъ, но лишь затѣмъ, чтобы сейчасъ же впасть въ отчаяніе страха передъ поступкомъ.

Таковы дѣйствующія лица этой веселой комедіи. На-

смѣявшись вдоволь, зритель можетъ, однако, задуматься; сколько сѣрыхъ, томительно скучныхъ и глупыхъ людей увидитъ онъ тогда передъ собой, людей которые осуждены влачить жизнь безъ всякаго смысла и для которыхъ все спасеніе — въ отсутствіи сознанія своего духовнаго нищенства. Если же подумать, для сколькихъ людей въ Россіи жизнь Жевакиныхъ, Анучкиныхъ, Яичницъ и Подколесныхъ была существованіемъ нормальнымъ, а можетъ быть, и неизбѣжнымъ, то могло стать и страшно...

Къ своему смѣху, какъ мы знаемъ, Гоголь на первыхъ же порахъ думалъ примѣшать много „злости“. Онъ началъ писать смѣлую комедію съ обличительной тенденціей, но отъ этого плана отказался, опасаясь, что комедія его съ цензурой не поладитъ. Было ли это опасеніе главной причиной того, что Гоголь свою работу бросилъ, или, какъ думаютъ, онъ отступился отъ нея потому, что планъ былъ слишкомъ широкъ и художникъ не могъ разобраться во всемъ богатствѣ раскрывшагося передъ нимъ содержанія, но только отъ этой комедіи намъ осталось лишь нѣсколько отрывковъ, извѣстныхъ подъ заглавіями „Утро [чиновника или, какъ настояла цензура] дѣлового человѣка“, „Тяжба“, „Лакейская“ и „Отрывокъ“.

Возстановить по нимъ полностью сценарій утраченной комедіи — невозможно; мы знаемъ только, что это была комедія изъ чиновнаго быта и притомъ классовъ довольно высокихъ, что одному изъ дѣйствующихъ лицъ такъ хотѣлось получить орденъ Владиміра 3-й степени, что онъ помѣшался и вообразилъ, что онъ-то и есть этотъ желанный Владиміръ. Остальныя подробности интриги затеряны, но она была, кажется, очень сложная.

Отрывки комедіи „Владиміръ 3-й степени“ могутъ быть, впрочемъ, разсмотрѣны и какъ совершенно самостоятельныя сцены. Гоголь надъ ними работалъ долго и упорно, начиная съ 1832 года, закруглилъ ихъ содержаніе и самъ включилъ ихъ въ первое собраніе своихъ сочиненій.

Со стороны художественнаго выполненія эти отрывки — совершенство. Трудно себѣ представить какъ такимъ малымъ количествомъ словъ можно достигнуть такой образности. Всѣ лица—живыя лица, рѣчь—простая и художественно-естественная; реализмъ въ выполненіи—поразительный. Какъ живой передъ нами Иванъ Петровичъ—олицетвореніе безчисленнаго количества разныхъ начальниковъ, внушающихъ трепетъ своимъ дѣловымъ видомъ и разносящихъ своихъ подчиненныхъ за то, что у нихъ поля по краямъ бумаги неровны, и за то, что они въ одной строкѣ пишутъ „сі“ а въ другой „ятельству“; какъ хорошъ онъ, управляющій однимъ изъ колесъ государственной машины, когда онъ навязываетъ своей Зюзюшкѣ бумажку на хвостъ и, встрѣчая посѣтителя, развертываетъ сводъ законовъ, чтобы сейчасъ же начать разговоръ о вчерашнемъ вистѣ. Но мысль его не о самъ третей дамѣ крестовъ, которую онъ запомнилъ: его мысль вертится вокругъ другого креста, который ему мучительно хочется видѣтъ на своей шеѣ; и достаточно одного замѣчанія его собесѣдника о томъ, что его высокопревосходительство, услыхавъ фамилію Ивана Петровича, сказалъ многозначительно „гм!“, чтобы онъ—эта гроза канцеляріи—утратилъ на цѣлый день спокойствіе духа [„Утро дѣлового человѣка“. Начато въ 1833 г. Окончено въ 1837 г.] *). Великолѣпенъ и Александръ Ивановичъ, сенатскій оберъ-секретарь, пришедшій въ такое негодованіе при извѣстіи о производствѣ Бурдюкова. Чтобы имѣть возможность уличить этого Бурдюкова въ гадости, самъ Александръ Ивановичъ готовъ выхлебать все, что угодно; и когда наконецъ наклевывается дѣло о фальшивомъ завѣщаніи, под-

*) Эта сцена была замѣчена критикой тотчасъ же послѣ ея напечатанія въ „Современникѣ“. „Утро дѣлового человѣка“—писалъ Бѣлинскій, представляетъ собою нѣчто цѣлое, отличающееся необыкновенной оригинальностью и удивительной вѣрностью. Если вся комедія такова, то одна она могла бы составить эпоху въ исторіи нашего театра и литературы. „Нѣсколько словъ о „Современникѣ“. „Телескопъ“, 1836. „Молва“. 170.

писанномъ вмѣсто „Евдокія“ словомъ „обмокни“ — завѣщаніи, въ которомъ Бурдюковъ самъ себѣ отказалъ всѣ угодья, а своему брату, три стаметовыя юбки—Александръ Ивановичъ, блюститель справедливости—на седьмомъ небѣ. „Постой,—говоритъ онъ по адресу своего партнера въ вистѣ — теперь я сяду играть, да и посмотримъ, какъ ты будешь подплясывать. А уже коли изъ своихъ пріятелей чиновниковъ наберу оркестръ музыкантовъ, такъ ты у меня такъ запляшешь, что во всю жизнь не отдохнуть у тебя бока“ [„Тяжба“. Окончена въ 1839—1840 г.].

Въ комедіи „Владиміръ 3-й степени“ Гоголь имѣлъ намѣреніе изобразить не одинъ лишь кругъ чиновнаго міра, въ нее должны были войдти также эпизоды изъ жизни свѣтской. Одинъ такой эпизодъ сохранился. Онъ былъ озаглавленъ самимъ Гоголемъ „Сцены изъ свѣтской жизни“ и потомъ переименованъ въ „Отрывокъ“. Это—извѣстный разговоръ Марьи Александровны съ Собачкинымъ [набросанъ, вѣроятно, въ 1837 г. и отдѣланъ въ 1842 г.].

Семейное объясненіе Маріи Александровны съ ея сыномъ Мишей, которое предшествуетъ появленію Собачкина—остроумнѣйшее повтореніе довольно старой темы. Мамаша хочетъ женить сынка на княжнѣ Шлепохвостовой, которая „вовсе не первоклассная дура, а такая же, какъ и всѣ другія“, но сердце Миши занято дочерью „бѣдныхъ, но благородныхъ родителей“. Марья Александровна возмущена такимъ „либерализмомъ“ и пуще всего тѣмъ, что, кажется, мерзавецъ Собачкинъ виновникъ того, что ея сынъ сталъ вольнодумничать и что-то толкуетъ о сердечной склонности и о душѣ въ дѣлѣ женитьбы... Этотъ Андрей Кондратьевичъ Собачкинъ, вліянія котораго на сына такъ опасается Марія Александровна—большой оригиналъ и одинъ изъ лучшихъ портретовъ въ гоголевской галлереѣ. Онъ изъ семьи Хлестаковыхъ и Чичиковыхъ—такой же плутъ, но только на мелкія дѣла. Нахалъ, фатъ, кляузникъ, готовый на клевету и первостепенный враль—онъ типъ настоящаго

паразита. Удивляешься, почему его не вытолкаютъ... но оказывается, что и этотъ человѣкъ, циникъ и спекулянтъ на самыхъ низкихъ чувствахъ, вооруженъ своимъ жаломъ, которое защищаетъ его въ борьбѣ за существованіе. На сплетню и на клевету, которыми онъ промышляетъ—большой спросъ, и въ нѣкоторыхъ кругахъ онъ—доморощенный фактотумъ, безъ котораго не обойдется, можетъ быть, и очень фешенебельная гостиная. Трудно было показать болѣе наглядно, чѣмъ это сдѣлано Гоголемъ въ его „Отрывкѣ“, изъ какого мутнаго источника вытекаетъ иной разъ то, что мы называемъ ходячимъ мнѣніемъ, и какъ иногда негодяй можетъ пригодиться. Этотъ „Отрывокъ“, съ перваго взгляда столь невинный—образецъ безпощадной и глубокой сатиры... и это всего лишь нѣсколько страницъ изъ неоконченной комедіи... какъ непомѣрно зла должна была бы быть она въ ея цѣломъ!

Кажется, что и „Лакейская“ [окончена въ 1839—1840 г.] входила въ составъ этой комедіи, хотя и не въ томъ видѣ, въ какомъ она теперь передъ нами. Въ настоящей своей отдѣлкѣ это совсѣмъ самостоятельная картинка нравовъ—единственная въ своемъ родѣ, не только въ тѣ годы, но, пожалуй, и въ наши.

Барами наша комедія занималась часто, оставляя въ сторонѣ ихъ ближайшаго сосѣда — слугу. Въ старой комедіи онъ появлялся обыкновенно въ двухъ роляхъ, очень условныхъ, а именно: какъ резонеръ, который жаловался партеру на своего барина и говорилъ передъ зрителями вслухъ то, чего не смѣлъ сказать своему господину съ глазу на глазъ; или онъ появлялся на сценѣ за тѣмъ, чтобы смѣшить публику своимъ невѣжествомъ, глупостью и тупостью. Онъ былъ одновременно на посылкахъ и у своего господина, и у автора. Гоголь порвалъ сразу съ этимъ шаблономъ, и „Лакейская“ — первая и вплоть до „Плодовъ просвѣщенія“ единственная художественно-реальная картина изъ жизни барской дворни. Эта дворня вся налицо, съ ея тунеядствомъ,

зубоскальствомъ и нахальствомъ. Она очень говорлива, пока „медвѣдь не зарычалъ изъ берлоги“ и пока не схватилъ кого-нибудь за ухо; она лжетъ или молчитъ, когда передъ ней стоитъ баринъ; она дерзка съ другимъ бариномъ, когда получила приказаніе не принимать его, она имѣетъ, наконецъ, и своего резонера, который ей читаетъ мораль на тему: „коли слуга—такъ слуга, коли дворянинъ—такъ дворянинъ, а то бы, пожалуй, всякій зачалъ: нѣтъ я не дворецкій, а губернаторъ или тамъ какой-нибудь отъ инфантеріи...“

Мораль въ тѣ годы весьма ходкая и для многихъ очень успокоительная, которую, однако, сама жизнь опровергала, прививая праздному слугѣ всѣ пороки барина и заставляя чуть ли не каждаго барина думать, что онъ губернаторъ или какой-нибудь отъ инфантеріи.

Такъ наглядно проскальзывала злость въ смѣхѣ нашего автора. Если бы онъ не испугался борьбы, комедія „Владиміръ 3-ей степени“ была бы настоящей боевой комедіей, не уступающей, быть можетъ, въ силѣ удара ни „Недорослю“, ни „Горю отъ ума“. Но этого не случилось. Гоголь замѣнилъ опасный сюжетъ другимъ, болѣе скромнымъ.

XI.

Исторія текста «Ревизора» — Вопросъ о совпаденіяхъ съ другими комедіями.—Художественное значеніе «Ревизора».—Отсутствіе въ комедіи либеральной тенденціи. — Ея нравственный смыслъ и поясненіе этого смысла, данное авторомъ.—Первое представленіе «Ревизора» въ Петербургѣ и Москвѣ. — Уныніе Гоголя и его жалобы на зрителей. — Толки и обвиненія; отвѣты на нихъ Гоголя.—Отзывы критики: статьи Булгарина, Сенковскаго, Андросова, кн. Вяземскаго, Серебренаго, критика «Молвы» и Бѣлинскаго.— Значеніе комедій Гоголя въ исторіи развитія его творчества.

Какъ большинство произведеній Гоголя, „Ревизоръ“ подвергался неоднократнымъ и продолжительнымъ передѣлкамъ, прежде чѣмъ вылился въ ту художественную форму, которой самъ авторъ остался доволенъ. Первые наброски комедіи относятся къ 1834 году. Къ концу этого года или къ началу 1835 года комедія была уже закончена вся вчернѣ; черезъ годъ, въ самомъ концѣ 1835 г., эта первоначальная редакція была вся вновь переработана, и Гоголь рѣшился провести ее на сцену. Въ 1836 году было напечатано первое изданіе комедіи и одновременно былъ составленъ ея сценическій текстъ, сообразно съ требованіями театральной цензуры. Этотъ сценическій текстъ остался неизмѣннымъ на долгіе годы, а текстъ печатный продолжалъ перерабатываться. Послѣ перваго представленія [1836], которое причинило автору столько огорченій, Гоголь охладѣлъ на нѣкоторое время къ „Ревизору“, но съ 1838 года — уже за границей — вновь началъ работать надъ его текстомъ. Ра-

бота длилась вплоть до 1842 года, когда, наконецъ, была установлена авторомъ окончательная редакція.

Такъ терпѣливо работалъ художникъ надъ своимъ созданіемъ цѣлыхъ восемь лѣтъ. Мысль о „Ревизорѣ“ не покидала его, когда онъ писалъ свои повѣсти, когда читалъ лекціи и давалъ уроки, когда сочинялъ и компилировалъ свои статьи по исторіи, эстетикѣ и литературѣ, когда путешествовалъ затѣмъ за границей и даже тогда, когда онъ усиленно работалъ надъ „Мертвыми Душами“. Что бы онъ ни говорилъ о своей комедіи въ минуту раздраженія на зрителей, какъ бы онъ ни унижалъ ее въ своихъ собственныхъ глазахъ, — онъ продолжалъ любить ее. „Ревизоръ“, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, былъ въ его глазахъ все-таки первымъ его „серьезнымъ“ произведеніемъ, первымъ „смѣшнымъ“ словомъ съ необычайно серьезнымъ смысломъ, какое сказалъ авторъ, достигшій теперь зрѣлаго возраста и какъ человѣкъ, и какъ художникъ.

Мы знаемъ, какъ способность воплощать дѣйствительность въ реальныхъ образахъ крѣпла въ Гоголѣ съ годами и какъ она боролась съ сентиментальнымъ и романтическимъ его взглядомъ на жизнь. Въ періодъ „Вечеровъ“ она только-что начинала пробиваться наружу. Она стала болѣе замѣтна, когда нашъ авторъ писалъ свои разсказы „Невскій проспектъ“, „Портретъ“ и „Записки сумасшедшаго“. Она отходила на задній планъ въ его историческомъ міросозерцаніи, но все-таки проступала въ тѣхъ повѣстяхъ, въ которыхъ онъ говорилъ о старинѣ; она выдвинулась открыто на первый планъ въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“, и въ „Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича“ и, наконецъ, въ „Ревизорѣ“ она восторжествовала, чтобы на нѣкоторое время уже не идти на убыль. Эта побѣда далась автору, конечно, не сразу; и по отдѣльнымъ редакціямъ „Ревизора“ можно видѣть, какъ постепенно она подготовлялась. Развитіе дѣйствія и основные типы въ этихъ редакціяхъ не мѣнялись, но зато почти каждая реплика испытала многократную пере-

дѣлку именно въ видахъ наибольшаго приближенія и самой интриги, и дѣйствующихъ лицъ къ правдѣ той жизни, которую изображалъ художникъ *).

Вопросъ о томъ, какъ Гоголю пришелъ на умъ сценарій „Ревизора", неоднократно останавливалъ на себѣ вниманіе біографовъ и изслѣдователей. Самъ Гоголь говорилъ, что онъ получилъ сюжетъ „Ревизора", равно какъ и „Мертвыхъ Душъ", отъ Пушкина. Пушкинъ, дѣйствительно, разсказывалъ своимъ друзьямъ объ одномъ авантюристѣ, который въ гор. Устюжнѣ выдалъ себя за ревизора и обобралъ довѣрчивыхъ чиновниковъ. Извѣстно также, что самого Пушкина — въ бытность его въ Нижнемъ-Новгородѣ, приняли за секретнаго ревизора, который подъ предлогомъ будто бы собиранія матеріаловъ для исторіи пугачевскаго бунта, объѣзжалъ восточныя окраины. Гоголь, конечно, зналъ объ этомъ.

Съ другой стороны, изслѣдователями подобрано было не мало параллелей, говорящихъ о безспорномъ сходствѣ „Ревизора" съ нѣкоторыми старыми комедіями нашего репертуара. Указывались аналогіи даже въ комедіяхъ XVIII вѣка, говорилось, что „Ревизоръ" былъ просто списанъ съ комедіи въ стихахъ какого-то Жукова: „Ревизоръ изъ сибирской жизни 1796"—[комедіи, которую никто пока еще не видѣлъ], наконецъ всего больше было разговоровъ о совпаденіи содержанія „Ревизора" съ фабулой уже извѣстной намъ комедіи Квитки: „Пріѣзжій изъ столицы". Совпаденіе, дѣйствительно, бросается въ глаза, и комедія Квитки, рукопись которой ходила по рукамъ въ концѣ двадцатыхъ годовъ, могла быть извѣстна Гоголю, хотя нашъ авторъ хранилъ о произведеніяхъ Квитки и о немъ самомъ упорное молчаніе и нигдѣ не обмолвился словомъ о своемъ знакомствѣ съ нимъ. Въ послѣднее время г. Волковымъ было произведено очень тщательное и остроумное сличеніе обѣихъ комедій и

*) Исторія текста комедіи дана въ X-омъ изданіи Сочиненій Гоголя, Томъ II подъ редакціей Тихонравова и томъ VI подъ редакціей Шепрока.

въ результатѣ получился цѣлый рядъ аналогій въ характерахъ, словахъ и комическихъ положеніяхъ, въ особенности замѣтныхъ въ первоначальной редакціи „Ревизора“ *). Изслѣдователь пришелъ къ выводу, что Гоголь не только читалъ комедію Квитки, но и пользовался ею при сочиненіи „Ревизора“. Едва ли однако можно допустить, что нашъ авторъ пользовался комедіей Квитки именно при сочиненіи „Ревизора“; стоитъ только сравнить естественность въ развитіи дѣйствія въ „Ревизорѣ“ съ совершенно водевильной неестественностью этого развитія въ комедіи „Пріѣзжій изъ столицы“. Но этимъ не устраняется возможность предположенія, что Гоголь удержалъ въ своей памяти сценарій „Пріѣзжаго“, когда задумывалъ „Ревизора“ и впервые набрасывалъ его на бумагу. Но и противъ этого предположенія можно выдвинуть другое, одинаково вѣроятное, а именно, что самый сюжетъ—пріѣздъ мнимаго ревизора въ городъ—обязывалъ всѣхъ, кто брался за эту тему, держаться одного плана въ разсказѣ, т.-е. говорить объ ожиданіи ревизора, дать характеристики всѣхъ высшихъ чиновниковъ уѣзднаго города, перечислить ихъ проступки противъ службы, изобразить ихъ робость и ухаживаніе за мнимымъ начальникомъ, показать, какъ въ этомъ мнимомъ начальникѣ нарастаетъ нахальство и самоувѣренность, и закончить, наконецъ, разсказъ разоблаченіемъ личности пріѣзжаго и изображеніемъ переполоха, который это разоблаченіе вызвало среди всѣхъ одураченныхъ. При такомъ обязательномъ сценаріи [обязательномъ, потому что самомъ естественномъ] совпаденія въ общемъ планѣ всѣхъ такихъ разсказовъ о ревизорахъ были неизбѣжны и вопросъ о зависимости одного разсказа отъ другого этимъ устраняется. Наконецъ, можно предположить, какъ недавно было сдѣлано, что въ виду часто повторявшихся въ русской жизни случаевъ, подобныхъ описанному въ комедіи Гоголя, сложился вообще

*) *И. В. Волковъ.* «Къ исторіи русской комедіи», I. «Зависимость «Ревизора» Гоголя отъ комедіи Квитки: «Пріѣжій изъ столицы». Спб. 1899 г.

бродячій анекдотъ о самозванномъ ревизорѣ и одураченныхъ имъ провинціальныхъ чиновникахъ. Весьма возможно, что и Гоголь, и Квитка, и другіе обработали одинъ изъ подобныхъ разсказовъ, чѣмъ и объясняется то сходство, которое замѣчается въ ихъ комедіяхъ *).

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній вопросъ о зависимости „Ревизора“ отъ предшествующихъ ему однородныхъ по замыслу комедій долженъ остаться открытымъ; и каждый признаетъ, что онъ имѣетъ совершенно второстепенное значеніе въ исторіи творчества нашего автора. Важна не фабула: важна ея литературная обработка и смыслъ, вложенный въ нее писателемъ, а художественное выполненіе „Ревизора“ принадлежитъ нераздѣльно нашему автору, какъ и оригинальный смыслъ, который таится въ его комедіи.

О „Ревизорѣ“, какъ о художественной комедіи, много говорить не приходится; всякій разъ, когда на нее смотришь, убѣждаешься въ томъ, насколько цѣльны, законченны и жизненны ея типы; удивляешься также и той простотѣ и естественности, съ какой развертывается дѣйствіе обыденное, несложное и вполнѣ вѣроятное.

Если же при всѣхъ этихъ достоинствахъ пьесы, какъ жизненной картины, она со сцены иногда производитъ впечатлѣніе легкой комедіи съ карикатурнымъ оттѣнкомъ, то вина въ этомъ не Гоголя, а актеровъ и режиссера.

Гоголь отлично понималъ, съ чьей стороны грозитъ его комедіи опасность, и онъ неоднократно и въ письмахъ, и въ отдѣльныхъ замѣткахъ давалъ разнаго рода наставленія, какъ его пьеса должна играться, и изъ всѣхъ этихъ словъ видно, что первое требованіе, которое онъ ставилъ актеру, было естественность и правдоподобіе. Послѣ перваго же представленія „Ревизора“, которое, кажется, въ этомъ отношеніи сошло далеко не благополучно, у Гоголя

*) *Г. Александровскій.* «Этюды по психологіи художественнаго творчества. «Ревизоръ», Гоголя». «Ежегодникъ Коллегіи Павла Галагана» 1898. 211.

явилась мысль подѣлиться съ актерами кое-какими мыслями о томъ, какъ должно исполнять ввѣренныя имъ роли. Эти мысли Гоголь привелъ въ систему не сразу; часть ихъ онъ высказалъ тогда же въ своихъ письмахъ, потомъ развилъ ихъ въ 1841 году въ „Отрывкѣ изъ письма, писаннаго авторомъ вскорѣ послѣ перваго представленія „Ревизора“ къ одному литератору“ *), затѣмъ въ особомъ „Предувѣдомленіи для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора“, и наконецъ въ комедіи „Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи“, которой онъ заключилъ первое полное собраніе своихъ сочиненій [1842].

Въ этихъ двухъ отрывкахъ и въ „Театральномъ разъѣздѣ“ самъ авторъ истолковалъ намъ свою комедію, далъ полную характеристику почти всѣхъ ея дѣйствующихъ лицъ и намекнулъ довольно ясно на основную ея идею. Позднѣйшей критикѣ немного пришлось добавить къ этимъ авторскимъ словамъ, которыя, къ сожалѣнію, не были изданы одновременно съ комедіей или непосредственно послѣ ея представленія и потому не могли предотвратить многіе кривые толки и помочь публикѣ разобраться въ первомъ впечатлѣніи, вынесенномъ изъ театра.

Воспользуемся этими указаніями Гоголя для опредѣленія художественной и идейной стоимости его комедіи. Хотя эти указанія и даны пять лѣтъ спустя послѣ того, какъ „Ревизоръ“ былъ написанъ, но мы не допустимъ никакихъ анахронизмовъ, если предположимъ, что и въ 1836 году Гоголь имѣлъ сказать то же, что сказалъ въ 1841 и 1842 г. Такое предположеніе потому допустимо, что въ частной перепискѣ нашего писателя, относящейся къ эпохѣ постановки „Ревизора“, онъ, дѣйствительно, высказываетъ вкратцѣ то, что въ „Отрывкѣ“ и въ „Предувѣдомленіи“ имъ развито болѣе подробно.

„Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть въ

*) Гоголь утверждалъ, что это письмо было писано къ Пушкину, но это едва ли вѣрно.

карикатуру,—писалъ Гоголь въ „Предувѣдомленіи". Ничего не должно быть преувеличеннаго или тривіальнаго даже въ послѣднихъ роляхъ. Напротивъ, нужно особенно стараться актеру быть скромнѣй, проще и какъ бы благороднѣй, чѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ есть то лицо, которое представляется. Чѣмъ меньше будетъ думать авторъ о томъ, чтобы смѣшить и быть смѣшнымъ, тѣмъ болѣе обнаружится смѣшное взятой имъ роли. Смѣшное обнаружится само собою именно въ той серьезности, съ какою занято своимъ дѣломъ каждое изъ лицъ, выводимыхъ въ комедіи... Умный актеръ, прежде чѣмъ схватитъ мелкія причуды и мелкія особенности внѣшнія доставшагося ему лица, долженъ стараться поймать общечеловѣческое выраженіе роли". Въ этихъ словахъ—вся оцѣнка „Ревизора" какъ художественнаго памятника. Авторъ потому такъ горячо заступался за „общечеловѣчность" своихъ типовъ, и потому требовалъ отъ актера такой выдержки и отказа отъ всякаго подчеркиванія эффектовъ, что онъ былъ самъ твердо убѣжденъ въ томъ, что имъ создана истинно реальная комедія, въ которой на первомъ планѣ стоитъ не та или другая цѣль автора, не то или другое господствующее чувство, желаніе или страсть дѣйствующаго лица, а оно само, это дѣйствующее лицо—живое, со всѣми признаками живого человѣка, т.-е. съ цѣлой суммой чувствъ, мнѣній и стремленій. И, въ самомъ дѣлѣ, если ближе присмотрѣться ко всѣмъ лицамъ комедіи, то ни въ одномъ изъ нихъ мы не замѣтимъ какой-либо господствующей черты характера, которая превращала бы это лицо, какъ это было правиломъ для старыхъ комедій, въ носителя какого-нибудь опредѣленнаго понятія или чувства. Вотъ почему ни одному изъ дѣйствующихъ лицъ „Ревизора" нельзя наклеить ярлыка на лобъ и переименовать его въ какого-нибудь Кривосудова, Кожедралова, Хапалкина, Пустолобова или иныхъ; передъ нами все люди, отъ перваго до послѣдняго, и съ ними на сценѣ творится то, что могло всегда съ ними случиться въ жизни.

Въ томъ, что они всѣ живые люди—заключенъ и идейный смыслъ комедіи. „Ревизоръ“ — комедія безъ политической тенденціи, она комедія съ тенденціей общечеловѣческой нравственной, и потому, конечно, общественной. Авторъ казнилъ въ ней грѣшныхъ людей, и притомъ не столько порочныхъ, сколько вообще слабыхъ—поставленныхъ однако жизнью на отвѣтственный постъ.

Десять лѣтъ спустя послѣ постановки „Ревизора“ Гоголь говорилъ въ своей „Авторской исповѣди“, что онъ въ „Ревизорѣ“ рѣшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое онъ тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше требуется отъ человѣка справедливости, и что онъ за одинъ разъ хотѣлъ посмѣяться надо всѣмъ. Это признаніе, высказанное въ годы, когда нашъ авторъ мнилъ себя пророкомъ, указующимъ своей родинѣ путь спасенія и призывающимъ ее къ покаянію—едва ли передаетъ вѣрно ту основную мысль, изъ которой исходилъ авторъ, когда сочинилъ свою комедію. Что въ „Ревизорѣ“ вовсе не собрано „все дурное“, что авторъ считалъ дурнымъ въ Россіи, и „всѣ несправедливости“, какія въ ней творились—это само собою ясно. Если бы авторъ хотѣлъ говорить о спеціально русскихъ грѣхахъ, онъ нашелъ бы нѣчто болѣе характерное и сильное, чѣмъ тѣ слабости, общелюдскія, надъ которыми онъ посмѣялся. Комедія была значительно болѣе скромна, чѣмъ самому автору это потомъ казалось.

Прежде всего должно отмѣтить, что Гоголь былъ далекъ отъ всякой мысли такъ или иначе кольнуть правительство. Онъ не боялся цензуры, не утаивалъ своей мысли—наоборотъ, онъ открыто ее высказалъ, потому что считалъ ее вполнѣ благонамѣренной, и онъ пришелъ въ большое уныніе, когда его прославили „либераломъ“. Лучше всѣхъ его понялъ императоръ Николай Павловичъ, который избавилъ „Ревизора“ отъ цензурныхъ мытарствъ; и, конечно, императоръ въ данномъ случаѣ не сдѣлалъ никакой уступки либерализму.

„Ревизоръ“ былъ въ сущности апологіей правительственной бдительной власти и однимъ изъ главныхъ, но незримыхъ дѣйствующихъ лицъ комедіи было „недремлющее око“ этой власти. Дѣйствіе происходило въ далекомъ уѣздномъ городкѣ, и въ этотъ глухой закоулокъ око все-таки заглянуло; всѣ привлеченныя къ отвѣтственности лица были мелкія лица по своему общественному положенію; это была мелюзга, которая трепетала передъ тѣнью закона и была лишена всякаго вліянія на него и потому не могла совершить никакого крупнаго беззаконія и развѣ только какую-нибудь мелочь украсть у закона изъ-подъ носа. Вся толпа опозоренныхъ чиновниковъ промышляла мелкимъ воровствомъ и какъ мелкій жуликъ оробѣла при видѣ жандарма. Этотъ унтеръ, который заставляетъ начальника города и всѣхъ высшихъ чиновниковъ окаменѣть и превратиться въ истукановъ—наглядный показатель благомыслія автора. И авторъ самъ призналъ это въ своемъ „Театральномъ Разъѣздѣ“, когда заставилъ какой-то „синій армякъ“ сказать „сѣрому“: „Небось! прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, когда пришла царская расправа!“ „Слышите ли вы, какъ вѣренъ естественному чутью и чувству человѣкъ?“ восклицаетъ въ „Разъѣздѣ“ очень скромно одѣтый человѣкъ, подслушавшій этотъ возгласъ „армяка“. Да развѣ это не очевидно ясно, что послѣ такого представленія народъ получитъ болѣе вѣры въ правительство? Пусть онъ отдѣлитъ правительство отъ дурныхъ представителей правительства. Пусть видитъ онъ, что злоупотребленія происходятъ не отъ правительства, а отъ непонимающихъ требованій правительства, отъ нехотящихъ отвѣтствовать правительству. Пусть онъ видитъ, что благородно правительство, что бдитъ равно надъ всѣми его недремлющее око, что рано или поздно настигнетъ оно измѣнявшихъ закону чести и святому долгу человѣчества, что поблѣднѣютъ передъ нимъ имѣющіе нечистую совѣсть“... и благомыслящій молодой человѣкъ, произносящій такія благонамѣренныя рѣчи, тутъ

же отказывается отъ выгоднаго предложенія, и рѣшается остаться на своемъ скромномъ чиновничьемъ посту въ далекой провинціи, боясь, какъ бы на его мѣсто не сѣлъ какой-нибудь изъ героевъ „Ревизора“.

Этотъ сладкій гимнъ правительству не былъ присочиненъ Гоголемъ послѣ; нашъ авторъ такъ думалъ и въ самый день представленія своей комедіи, на что указываютъ черновые наброски „Театральнаго Разъѣзда“ 1836 года. Князь Вяземскій, который былъ свидѣтелемъ работы Гоголя надъ его комедіей, былъ правъ, когда, вспоминая въ 1876 году старину, говорилъ, что либералы напрасно встрѣчали въ Гоголѣ единомышленника и союзника себѣ, и другіе напрасно открещивались отъ него, какъ отъ страшилища, какъ отъ нечистой силы. „Въ замыслѣ Гоголя,—говорилъ Вяземскій,—не было ничего политическаго. У либераловъ глаза были обольщены собственнымъ обольщеніемъ, у консерваторовъ они были велики. Помню первое чтеніе этой комедіи у Жуковскаго на вечерѣ, при довольно многолюдномъ обществѣ. Всѣ внимательно слушали и заслушивались; всѣ хохотали отъ доброй души; никому въ голову не приходило, что въ комедіи есть тайный умыселъ. Тайный умыселъ открыли уже послѣ слишкомъ зоркіе, но вполнѣ ошибочные глаза“.

Князь Вяземскій по поводу „Ревизора“ сдѣлалъ и еще одно очень вѣрное замѣчаніе. Онъ сказалъ, что пороки и прегрѣшенія героевъ „Ревизора“ не должно преувеличивать, что всѣ эти пороки очень обыкновенны и скорѣе могутъ назваться слабостями. Эта мысль была ему, вѣроятно, подсказана самимъ авторомъ, который, какъ сейчасъ увидимъ, утверждалъ то же самое. Тотъ фактъ, что пороки, выставленные напоказъ въ „Ревизорѣ“, были, дѣйствительно, скорѣе слабостями, чѣмъ пороками, позволяетъ думать, что нашъ авторъ имѣлъ въ виду изобразить нравственное искривленіе человѣческой природы, въ основѣ своей порядочной. Мысль объ общественномъ значеніи такихъ искривленій у

него, конечно, была, но не ее выдвигалъ онъ впередъ, а она сама навязывалась зрителю. Авторъ не указывалъ ни на какія особенныя условія русской жизни, допускающія подобныя искривленія; онъ взялъ ихъ какъ простой житейскій фактъ, повсемѣстно распространенный, и не даромъ въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ онъ говорилъ, что его комедія должна произвести глубокое сердечное содроганіе, потому что въ ней вездѣ слышится „человѣческое“. Авторъ хотѣлъ втолковать зрителю и читателю, что люди имъ осмѣянные въ сущности лишь слабые люди и отнюдь не злодѣи, угрожающіе обществу, и потому въ „Обрывкѣ его письма“ и въ „Предувѣдомленіи“ онъ поспѣшилъ дать ихъ характеристики. Приведемъ эти характеристики вкратцѣ и мы увидимъ, что нашъ сатирикъ и обличитель общественныхъ дѣятелей былъ въ то же самое время для большинства изъ нихъ адвокатомъ, просящимъ снисхожденія.

„Городничему, поясняетъ авторъ, некогда было взглянуть построже на жизнь или же осмотрѣться получше на себя. Онъ сталъ притѣснителемъ и очерствѣлъ непримѣтно для самого себя, потому что злобнаго желанія притѣснять въ немъ нѣтъ; есть только просто желаніе прибирать все, что ни видятъ глаза. Просто онъ позабылъ, что это въ тягость другому и что отъ этого трещитъ у иного спина. Онъ чувствуетъ, что грѣшенъ; онъ ходитъ въ церковь; онъ думаетъ даже, что въ вѣрѣ твердъ; онъ даже помышляетъ потомъ когда-нибудь покаяться—русскій человѣкъ, который не то, чтобы былъ извергъ, но въ которомъ извратилось понятіе правды, который сталъ весь ложь, уже даже и самъ того не замѣчая“. „Судья—человѣкъ меньше грѣшный въ взяткахъ; онъ даже не охотникъ творить неправду, но велика страсть къ псовой охотѣ... что-жъ дѣлать! у всякаго человѣка есть какая-нибудь страсть... Изъ-за нея онъ надѣлаетъ множество разныхъ неправдъ, не подозрѣвая самъ того“. „Земляника—плутъ тонкій и принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые, желая вывернуться сами, не находятъ дру-

гого средства, какъ чтобы топить другихъ и потому торопливы на всякіе каверзничества и доносы". „Смотритель училищъ—ничего болѣе, какъ только напуганный человѣкъ частыми ревизовками и выговорами; онъ боится какъ огня всякихъ посѣщеній, хотя и не знаетъ самъ, въ чемъ грѣшенъ". „Почтмейстеръ—простодушный до наивности человѣкъ, глядящій на жизнь, какъ на собраніе интересныхъ исторій, для препровожденія времени"... [„Предувѣдомленіе"]. О Хлестаковѣ Гоголь писалъ: „Хлестаковъ вовсе не надуваетъ,—онъ не лгунъ по ремеслу; онъ самъ позабываетъ, что лжетъ и уже самъ почти вѣритъ тому, что говоритъ... Хлестаковъ—человѣкъ ловкій, совершенный comme il faut; умный и даже, пожалуй, *добродѣтельный*. Онъ принадлежитъ къ тому кругу, который, повидимому, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ молодыхъ людей. Онъ даже хорошо иногда держится, даже говоритъ иногда съ вѣсомъ и только въ случаяхъ, гдѣ требуется или присутствіе духа, или характеръ, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Молодой человѣкъ, чиновникъ, и пустой, какъ называютъ, но заключающій въ себѣ много качествъ, принадлежащихъ людямъ, которыхъ свѣтъ не называетъ пустыми. Выставить эти качества въ людяхъ, которые не лишены, между прочимъ, хорошихъ достоинствъ, было бы грѣхомъ со стороны писателя, ибо онъ поднялъ бы ихъ на всеобщій смѣхъ. Лучше пусть всякій отыщетъ частицу себя въ этой роли... Всякій, хоть на минуту, если не на нѣсколько минутъ, дѣлался или дѣлается Хлестаковымъ, но, натурально, въ этомъ не хочетъ только признаться. И ловкій гвардейскій офицеръ окажется иногда Хлестаковымъ, и государственный мужъ окажется иногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, грѣшный литераторъ" [„Отрывокъ изъ письма"].

Кое-что въ этихъ поясненіяхъ присочинено Гоголемъ въ позднѣйшіе годы [1840—1842], но, какъ видно изъ его частныхъ писемъ и изъ его черновыхъ набросковъ, онъ и въ годъ постановки „Ревизора" — цѣнилъ свою комедію

больше, какъ картину общечеловѣческихъ нравовъ, чѣмъ какъ сатиру на общественные порядки. Анекдотъ былъ взятъ старый, общераспространенный, казнены были пороки, къ публичной казни которыхъ общество давно привыкло, никакихъ указаній на общественныя условія въ широкомъ смыслѣ этого слова сдѣлано не было и былъ только правдиво изображенъ одинъ простой житейскій случай. Авторъ показалъ наглядно, на живыхъ лицахъ, какъ пустѣйшій изъ пустыхъ людей, случайно и для самого себя неожиданно, наказалъ и опозорилъ цѣлую толпу другихъ столь же ничтожныхъ людей, ослѣпленныхъ мелкими страстишками, съ очень ограниченнымъ кругозоромъ, людей безъ нравственныхъ устоевъ и безъ сознанія своего долга. Гоголь хотѣлъ какъ будто сказать: вотъ какимъ случайностямъ подвержены всѣ люди, для которыхъ жизнь не есть задача, а лишь времяпрепровожденіе, для которыхъ въ мірѣ нѣтъ ничего выше угожденія собственнымъ, очень пошлымъ страстямъ или привычкамъ. Эту простую нравственную сентенцію нашъ моралистъ углубилъ, однако, и усилилъ тѣмъ, что нѣкоторыхъ изъ этихъ пустыхъ людей [всего лишь четверыхъ] поставилъ на отвѣтственные посты, т.-е. выше другихъ, чтобы тѣмъ больше ихъ унизить.

Конечно, зрителю, критически относящемуся къ переживаемому политико-общественному моменту, „Ревизоръ“ могъ легко показаться намекомъ на очень серьезныя явленія русской дѣйствительности, и одинъ современникъ [А. В. Никитенко] могъ, не нарушая правды, сказать, что „впечатлѣніе“, производимое „Ревизоромъ“, много прибавило къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя накоплялись въ умахъ отъ существующаго у насъ порядка вещей“—но Гоголь былъ неповиненъ въ этомъ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что гражданскія чувства были въ немъ очень развиты и онъ конечно, создавая своего „Ревизора“ очень много думалъ о томъ, какое впечатлѣніе должна произвести эта сатира на гражданское чувство

зрителей *). Но это гражданское чувство онъ понималъ въ очень широкомъ общечеловѣческомъ смыслѣ. Онъ, какъ вѣрно и тонко замѣтилъ одинъ критикъ **) „чувствовалъ порчу національной психики, какъ *моралистъ по натурѣ*. Его нравственное чувство оскорблялось не прямо безобразіемъ строя жизни, а душевными уродствами русскихъ людей; ему казалось, будто эти уродства вообще присущи русскому человѣку, какъ таковому т.-е. онъ возводилъ ихъ на степень русскихъ національныхъ признаковъ". „Его *скорбь* была въ данномъслучаѣ не идейной скорбью гражданина, а родомъ *психической боли*, родомъ *душевной тошноты*" Такая психическая боль повышалась въ Гоголѣ и послѣ созданія „Ревизора", и онъ скоро понялъ, что „Ревизоръ" есть нѣчто несовершенное, слабое, недоговоренное [не въ смыслѣ художественномъ, а по своему содержанію]; онъ самъ сознавалъ, что ему пора творить съ большимъ размышленіемъ, что настоящая работа ждетъ его еще впереди: именно послѣ „Ревизора" проснулся въ немъ вновь тотъ сильный и смѣлый обличитель, какимъ онъ былъ, когда думалъ надъ комедіей „Владиміръ третьей степени", и его вновь стала заботить мысль, какъ сказать смѣлое слово. „Я ожесточенъ не нынѣшнимъ ожесточеніемъ противъ моей пьесы,—писалъ онъ своему другу Погодину мѣсяцъ спустя послѣ представленія „Ревизора",—меня заботитъ моя печальная будущность. Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти; черты ея уже

*) *С. А. Венгеровъ* въ своихъ «Очеркахъ по исторіи русской литературы» Спб. 1907, 165, 198, 206, 207, 211, 227 особенно настойчиво подчеркиваетъ *гражданскія* стремленія, которыя Гоголь проявилъ въ своемъ «Ревизорѣ», и онъ конечно правъ въ томъ смыслѣ, что художникъ писалъ свою комедію вполнѣ сознательно, желая создать именно сатиру, а не безобидную бытовую картину. Но вопросъ весь въ томъ, насколько эта сатира по понятіямъ Гоголя должна была быть въ общественно-политическій порядокъ нашей тогдашней жизни. Въ пьесѣ не видно ни малѣйшей попытки чѣмъ-либо пояснить или объяснить подмѣченныя нравственныя искривленія. Они изображаются какъ наличные нравственные общечеловѣческіе грѣхи независимо отъ уклада жизни, который ихъ создалъ.

**) *Д. Н. Овсянико-Куликовскій* «Гоголь» Спб. 1907, 158, 216.

блѣдны, но жизнь петербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и рѣзки въ моей памяти. Малѣйшая черта ея — и какъ заговорятъ мои соотчественники!“ *). Очевидно, Гоголь самъ не считалъ своего „Ревизора“ тѣмъ мѣткимъ ударомъ, котораго заслуживала со стороны сатирика наша дѣйствительность. Какъ онъ самъ признавался, онъ очень скоро „охладѣлъ“ къ „Ревизору“, „многимъ былъ въ немъ недоволенъ, хотя совершенно не тѣмъ, въ чемъ обвиняли его его близорукіе и неразумные критики“. Когда его затѣмъ извѣщали пріятели объ успѣхѣ „Ревизора“, онъ сердился. „Съ какой стати пишете вы всѣ про „Ревизора“,—выговаривалъ онъ своему другу Прокоповичу въ 1837 г. Въ вашихъ письмахъ говорится, что „Ревизора“ играютъ каждую недѣлю, театръ полонъ и проч... и чтобы это было доведено до моего свѣдѣнія. Что̀ это за комедія? Я, право, никакъ не понимаю этой загадки. Во-первыхъ, я на „Ревизора“ — плевать, а во-вторыхъ, къ чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мнѣ никто не могъ нагадить. Но, слава Богу, это ложь... Мнѣ страшно вспомнить обо всѣхъ моихъ мараньяхъ. Они въ родѣ грозныхъ обвинителей являются глазамъ моимъ. Забвенья, долгаго забвенья проситъ душа. И если бы появилась такая моль, которая съѣла бы всѣ экземпляры „Ревизора“, а съ ними „Арабески“, „Вечера“ и всю прочую чепуху, и обо мнѣ въ теченіе долгаго времени ни печатно, ни изустно не произносилъ никто ни слова—я бы благодарилъ судьбу“ **). Трудно понять такое озлобленіе автора противъ своей пьесы и едва ли его можно объяснять лишь его раздраженіемъ противъ публики; въ этомъ злобномъ чувствѣ была, конечно, большая доля недовольства самимъ собою; въ головѣ Гоголя роились новые грандіозные планы и все написанное, въ томъ числѣ и „Ревизоръ“, показалось несоотвѣтствующимъ своему назначенію. „Безъ гнѣва,—

*) «Письма Н. В. Гоголя». I, 377.

**) «Письма Н. В. Гоголя». I. 425.

признавался Гоголь, — немного можно сказать: только разсердившись говорится правда". Быть можетъ, недостатокъ гнѣва въ его произведеніяхъ и заставилъ его такъ безжалостно отнестись къ нимъ: а гнѣва въ этихъ произведеніяхъ было, дѣйствительно, мало; Гоголь имѣлъ не гнѣвный писательскій темпераментъ, и даже тогда, когда онъ сталъ авторомъ „Мертвыхъ Душъ", онъ могъ себѣ сдѣлать тотъ же упрекъ въ мягкосердечіи.

Въ данномъ случаѣ, однако, для насъ важенъ самый фактъ недовольства Гоголя своей комедіей: очевидно, что пріемъ, ей оказанный, и всѣ пересуды, которыя она возбудила и которыя его такъ огорчили, возвысили его въ собственныхъ глазахъ. Онъ понялъ, что онъ можетъ и долженъ создать нѣчто болѣе сильное, чѣмъ то, что было имъ создано.

—

Этотъ пріемъ и толки были, какъ сказано, для автора большой неожиданностью, почему и произвели на него такое сильное впечатлѣніе.

Такъ какъ пьеса была до представленія прочитана самому императору Николаю Павловичу и ему понравилась, то хлопотъ съ цензурой было мало, и 19-го апрѣля 1836 года „Ревизоръ" былъ первый разъ сыгранъ на сценѣ Александринскаго театра. Царь былъ на первомъ представленіи, смѣялся много, уѣзжая, сказалъ будто: „тутъ всѣмъ досталось, а болѣе всего мнѣ", послалъ даже министровъ смотрѣть „Ревизора" и оградилъ такимъ образомъ пьесу отъ всякихъ нападокъ со стороны власти. Но нападки послѣдовали не съ этой стороны...

Часто говорилось о томъ враждебномъ пріемѣ, который встрѣтилъ „Ревизора". При оцѣнкѣ этого пріема, нужно, однако, сдѣлать кое-какія весьма существенныя оговорки. Въ общемъ, комедія имѣла успѣхъ колоссальный, подтвержденный свидѣтельствомъ современниковъ; давалась она очень часто и театръ былъ всегда полонъ. Такимъ обра-

зомъ, у публики, въ широкомъ смыслѣ слова, комедія не встрѣтила никакого враждебнаго пріема, и для Гоголя ея представленіе было не фіаско, а торжествомъ. Но въ нѣкоторыхъ кругахъ — аристократическихъ, чиновныхъ и литераторскихъ—она вызвала очень недоброжелательныя сужденія и намеки. Они Гоголя смутили и оскорбили, и онъ подъ первымъ впечатлѣніемъ сильно преувеличилъ ихъ общественное значеніе.

Непріязненное отношеніе нѣкоторой части зрителей къ драматургу сказалось и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ на первомъ же представленіи его комедіи. Тому были свои причины.

Приведемъ разсказы очевидцевъ объ этихъ двухъ знаменательныхъ вечерахъ. Извѣстный впослѣдствіи критикъ П. В. Анненковъ былъ въ Александринскомъ театрѣ 19 апрѣля и разсказываетъ слѣдующее: „Уже послѣ перваго акта недоумѣніе было написано на всѣхъ лицахъ [публика была избранная въ полномъ смыслѣ слова], словно никто не зналъ, какъ должно думать о картинѣ, только что представленной. Недоумѣніе это возрастало потомъ съ каждымъ актомъ. Какъ будто находя успокоеніе въ одномъ предположеніи, что дается фарсъ, большинство зрителей, выбитое изъ всѣхъ театральныхъ ожиданій и привычекъ, остановилось на этомъ предположеніи съ непоколебимой рѣшимостью. Однакоже, въ этомъ фарсѣ были черты и явленія, исполненныя такой жизненной правды, что раза два, особенно въ мѣстахъ, наименѣе противорѣчащихъ тому понятію о комедіи вообще, которое сложилось въ большинствѣ зрителей, раздавался общій смѣхъ. Совсѣмъ другое произошло въ четвертомъ актѣ: смѣхъ по временамъ еще перелеталъ изъ конца залы въ другой, но это былъ какой-то робкій смѣхъ, тотчасъ же и пропадавшій; аплодисментовъ почти совсѣмъ не было, зато напряженное вниманіе, судорожное, усиленное слѣдованіе за всѣми оттѣнками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дѣло, происходившее на сценѣ,

страстно захватывало сердца зрителей. По окончаніи акта прежнее недоумѣніе уже переродилось почти во всеобщее негодованіе, которое довершено было пятымъ актомъ. Многіе вызывали автора потомъ за то, что написалъ комедію, другіе—за то, что виденъ талантъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, простая публика — за то, что смѣялась, но общій голосъ, слышавшійся по всѣмъ сторонамъ избранной публики, былъ: „это—невозможность, клевета и фарсъ“ *).

Нѣчто подобное случилось и на первомъ представленіи „Ревизора“ въ Москвѣ **). Публика была также высшаго тона и многимъ комедія пришлась не по вкусу. Артистъ Щепкинъ былъ опечаленъ такимъ пріемомъ. „Помилуй—сказалъ ему въ утѣшеніе одинъ знакомый,—какъ можно было ее лучше принять, когда половина публики *берущей*, а половина *дающей*“?

Одинъ изъ рецензентовъ, бывшихъ на первомъ представленіи, познакомилъ насъ съ публикой, заполнявшей залъ въ этотъ вечеръ. Вотъ что онъ писалъ ***): „Публика, посѣтившая первое представленіе „Ревизора“, была публика высшаго тона, богатая, чиновная, выросшая въ будуарахъ, для которой посѣщеніе спектакля есть одна изъ житейскихъ обязанностей, не радость, не наслажденіе. Эта публика стоитъ на той счастливой высотѣ жизни общественной, на которой исчезаетъ мелочное понятіе народности, гдѣ нѣтъ страстей, чувствъ, особенно мысли, гдѣ все сливается и исчезаетъ въ непреложномъ, ужасающемъ простолюдина исполненіи приличій; эта публика не обнаруживаетъ ни печали, ни радости, ни нужды, ни довольства, не потому, чтобы ихъ вовсе не испытывала, а потому, что это неприлично, что это вульгарно. Блестящій нарядъ и мертвенная холодная физіономія, разговоръ изъ общихъ формъ или

*) *П. В. Анненковъ.* «Воспоминанія и критическіе очерки». I, 193.

**) См. *Н. С. Тихонравовъ.* «Первое представленіе «Ревизора» на московской сценѣ». Сочиненія, Ш. I, 568 и слѣд.

***) Въ «Молвѣ», издававшейся при «Телескопѣ» Надеждина.

тонкихъ намековъ на отношенія личныя — вотъ отличительная черта общества, которое „низошло до посѣщенія „Ревизора“ — этой русской всероссійской пьесы, возникнувшей не изъ подражанія, но изъ собственнаго, быть можетъ, горькаго чувства автора. Этой ли публикѣ, знающей лица, составляющія комедію, только изъ разсказовъ своего управляющаго, видавшей ихъ только въ передней объятыхъ благовѣйнымъ трепетомъ, ей ли принять участіе въ этихъ лицахъ, которыя для насъ, простолюдиновъ, составляютъ власть, возбуждаютъ страхъ и уваженіе? Что значитъ для богатаго вельможи будничная, мелочная жизнь этихъ чиновниковъ? Съ этой-то точки глядя на собравшуюся публику, пробираясь на мѣстечко между дѣйствительными и статскими совѣтниками, извиняясь передъ джентльменами, обладающими нѣсколькими тысячами душъ, мы невольно думали: врядъ ли „Ревизоръ“ имъ понравится, врядъ ли они повѣрятъ ему, врядъ ли почувствуютъ наслажденіе видѣть въ натурѣ эти лица, такъ для насъ странныя, которыя вредны не потому, что сами дурно свое лѣло дѣлаютъ, а потому, что лишаютъ надежды видѣть на мѣстахъ своихъ достойныхъ исполнителей распоряженій, направленныхъ къ благу общему. Такъ и случилось. „Ревизоръ“ не занялъ, не тронулъ, только разсмѣшилъ слегка бывшую въ театрѣ публику, а не порадовалъ ее. Уже въ антрактѣ былъ слышенъ полуфранцузскій шопотъ негодованія, жалобы презрѣнія: mauvais genre! — страшный приговоръ высшаго общества, которымъ клеймитъ оно самый талантъ, если онъ имѣетъ счастье ему не нравиться. Пьеса сыграна и, осыпаемая мѣстами аплодисментомъ, она не возбудила ни слова, ни звука по опущеніи занавѣса. Такъ должно было быть, такъ и случилось!“

Изъ показаній этихъ двухъ свидѣтелей видно, что именно составъ слушателей рѣшительно повліялъ на недружелюбный пріемъ комедіи. И пріемъ этотъ былъ совсѣмъ иной на слѣдующихъ представленіяхъ. Что пьеса не должна была понравиться „избранной“ публикѣ, воспитанной въ старыхъ

литературныхъ традиціяхъ и безспорно задѣтой многими намеками комедіи—это вполнѣ естественно. Странно, что авторъ не учелъ всего этого.

Онъ вернулся домой изъ театра въ убитомъ и разсерженномъ состояніи духа. Разсказываютъ, что когда онъ въ тотъ же вечеръ пришелъ къ своему другу Прокоповичу и этотъ другъ, желая его порадовать, вздумалъ поднести ему экземпляръ „Ревизора“, тогда только что вышедшаго изъ печати, Гоголь швырнулъ экземпляръ на полъ, подошелъ къ столу и, опираясь на него, проговорилъ задумчиво: „Господи Боже, ну, если бы одинъ, два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ... всѣ!..“

Но авторъ скоро сталъ разбираться въ этомъ непріятномъ впечатлѣніи, мало-по-малу становился выше толковъ и пересудъ и скоро поборолъ въ себѣ то угнетенное состояніе духа, въ какомъ онъ вышелъ изъ театра послѣ перваго представленія. Онъ сталъ сердиться уже не на публику, но, какъ мы видѣли, на самого себя.

На письмахъ его того времени эти колебанія въ настроеніи отразились достаточно ясно. „Всѣ противъ меня, чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ—писалъ Гоголь Щепкину; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу; на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины—и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ человѣкъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было бы, если бы я взялъ что-нибудь изъ петербургской жизни, которая мнѣ больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная. Досадно видѣть противъ себя людей

тому, который ихъ любитъ между тѣмъ братскою любовью" *). Черезъ мѣсяцъ послѣ представленія комедіи Гоголь пишетъ Погодину: „Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ-то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невѣрномъ видѣ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ — тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „Мы не плуты". Но Богъ съ ними!" **) И покидая Россію, Гоголь писалъ тому же другу: „Я не сержусь на толки, не сержусь, что сердятся и отворачиваются тѣ, которые отыскиваютъ въ моихъ оригиналахъ свои собственныя черты и бранятъ меня; не сержусь, что бранятъ меня непріятели литературные, продажные таланты; но грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупѣйшее мнѣніе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя дѣйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водитъ за носъ; грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всѣ противъ него и нѣтъ никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. „Онъ зажигатель! Онъ бунтовщикъ!" И кто же говоритъ? Это говорятъ мнѣ люди государственные, люди выслужившіеся, опытные люди, которые должны бы имѣть насколько-нибудь ума, чтобъ понять дѣло въ настоящемъ видѣ, люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ русскій свѣтъ, называетъ образованными. Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 368, 369.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 370, 371.

невѣжества, разлитаго на наши классы“ *). Такъ ясны стали Гоголю мотивы, по которымъ бранили его пьесу и неизбѣжно должны были бранить люди опредѣленныхъ профессій и положеній. Личное раздраженіе смолкло и его гнѣвъ противъ непонимающихъ сталъ переходить въ чувство глубокой жалости къ нимъ, которыхъ онъ такъ любилъ. Это было нѣсколько самонадѣянно, но Гоголь—какъ моралистъ, мечтавшій о нравственномъ воздѣйствіи на людей — имѣлъ право говорить о своей любви къ людямъ и о „невѣжественной раздражительности“ общества, отвергшаго эту любовь.

Стоили ли, однако, можно спросить, всѣ эти толки о „Ревизорѣ“ такого, хоть и недолгаго, душевнаго волненія? Принимая во вниманіе нравственную тенденцію автора и его сентиментальный темпераментъ, а также и условія времени, при которыхъ онъ ставилъ свою комедію, мы поймемъ, что эти пересуды должны были напугать его. Только спустя нѣсколько лѣтъ могъ онъ надъ ними посмѣяться отъ души, какъ онъ это и сдѣлалъ въ своемъ „Театральномъ Разъѣздѣ“.

„Театральный Разъѣздъ“ получилъ окончательную отдѣлку лишь шесть лѣтъ спустя послѣ представленія „Ревизора“; и авторъ, редактируя „Разъѣздъ“, имѣлъ въ виду не одного лишь „Ревизора“, но и первую часть „Мертвыхъ Душъ“, которая тогда была уже имъ написана. Гоголь выступилъ въ „Разъѣздѣ“ защитникомъ своего юмора и „смѣха“, и припомнилъ все то, что ему пришлось слышать, когда онъ въ первый разъ засмѣялся по-настоящему. Вотъ почему, если мы хотимъ себѣ составить понятіе о всѣхъ толкахъ, вызванныхъ „Ревизоромъ“, намъ лучше всего обратиться къ „Разъѣзду“, гдѣ они изложены по существу съ подобающими отвѣтами.

Если не считаться съ такими оцѣнками, которыя выра-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 337.

жаются словами: „это просто чортъ знаетъ что такое“, или: „это просто переводъ, потому что есть что то на французскомъ не совсѣмъ въ этомъ родѣ“, или, наконецъ, „да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... въ своемъ родѣ... Ну, конечно, кто-жъ противъ этого и стоитъ, чтобы опять не было, и гдѣ-жъ, такъ сказать... а впрочемъ...“ то, какъ замѣтилъ еще князь Вяземскій, всѣ обвиненія противъ „Ревизора“ можно свести къ тремъ группамъ. Одни касались литературнаго достоинства комедіи, другія ея нравственнаго смысла, и, наконецъ, третьи ея смысла общественно-политическаго. Разбирать подробно эти обвиненія нѣтъ нужды; они общеизвѣстны и на нихъ давно даны отвѣты, разоблачившіе ихъ несостоятельность. Припомнимъ ихъ только вкратцѣ, чтобы указать на какіе серьезные вопросы могла навести эта смѣшная комедія внимательнаго зрителя и на какіе она навела самого автора.

Изъ всѣхъ толковъ о литературныхъ недостаткахъ комедіи самое чувствительное было обвиненіе въ неправдоподобности, сальности и плоскости. „Сюжетъ невѣроятный,—говорили цѣнители—все несообразности, ни завязки, ни дѣйствія, ни соображенія никакого. Отвратительная, грязная пьеса, ни одного лица истиннаго, все—карикатуры. Послѣдняя пустѣйшая комедійка Коцебу въ сравненіи съ нею Монбланъ передъ Пулковскою горою“. Что оставалось отвѣчать на это? Гоголь и не отвѣчалъ серьезно, а только выставилъ на показъ всѣ такія сужденія во всей ихъ комической наготѣ. Они сердили его, но не оскорбляли. Иное дѣло, когда оцѣнка касалась нравственнаго смысла комедіи. „Комедія,—говорили цѣнители, есть низкій родъ творчества“. Но авторъ рѣшился спросить ихъ, „развѣ комедія, какъ и трагедія не можетъ выразить высокой мысли? Развѣ всѣ до малѣйшей излучины души подлаго и безчестнаго человѣка не рисуютъ уже образъ честнаго человѣка? Развѣ все это накопленіе низостей, отступленіе отъ законовъ и справедливости не даетъ уже ясно знать, чего требуютъ отъ насъ

законъ, долгъ и справедливость? Въ рукахъ искуснаго врача и холодная, и горячая вода лечитъ съ равнымъ успѣхомъ одну и ту же болѣзни: въ рукахъ таланта все можетъ служить орудіемъ къ прекрасному". „Побасенки! говорили цѣнители. Что такое литераторъ! пустѣйшій человѣкъ. Это всему свѣту извѣстно—ни на какое дѣло не годится" „Побасенки!" отвѣчалъ имъ оскорбленный авторъ. „Но міръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обмелѣла бы жизнь, плѣснью и тиной покрылись бы души!"... „У автора нѣтъ глубокихъ и сильныхъ движеній сердечныхъ, продолжали критики: кто безпрестанно и вѣчно смѣется, тотъ не можетъ имѣть слишкомъ высокихъ чувствъ: онъ не можетъ выронить сердечную слезу, любить кого-нибудь сильно, всей глубиной души!" Что могъ авторъ отвѣтить на этотъ упрекъ, брошенный ему такъ оскорбительно въ упоръ? Онъ смиренно отвѣтилъ только, что онъ—„глубоко-добрая душа", и деликатность не позволила ему сказать ничего больше. Но цѣнители не остановились на этомъ заподозриваніи писателя во враждебныхъ чувствахъ къ ближнему. Они хотѣли набросить тѣнь и на его любовь къ родинѣ, и на его „благомысліе гражданина". Если вспомнить, какія тогда были времена и какъ крѣпки были въ Гоголѣ его вѣрноподданическія убѣжденія, то негодованіе Гоголя на такіе намеки не требуетъ поясненія. „Нѣтъ, это не осмѣяніе пороковъ, говорили нѣкоторые изъ зрителей, это отвратительная насмѣшка надъ Россіею—вотъ что. Это значитъ выставить въ дурномъ видѣ самое правительство, потому что выставлять дурныхъ чиновниковъ и злоупотребленія, которыя бываютъ въ разныхъ сословіяхъ, значитъ выставить самое правительство. Просто даже не слѣдуетъ дозволять такихъ представленій... Для этого человѣка, подхватывали другіе, нѣтъ ничего священнаго; сегодня онъ скажетъ: такой-то совѣтникъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что и Бога нѣтъ. Вѣдь тутъ всего только одинъ шагъ. Говорятъ: „бездѣлушка, пустяки, театральное представленіе". Нѣтъ, это не простыя бездѣ-

лушки; на это обратить нужно строгое вниманіе. За этакія вещи и въ Сибирь посылаютъ". „Да если бы я имѣлъ власть, грозился одинъ изъ зрителей—у меня бы авторъ не пикнулъ. Я бы его въ такое мѣсто засадилъ, что онъ бы и свѣта Божьяго не взвидѣлъ".

Мы знаемъ, какъ Гоголь на такія рѣчи [замѣтимъ, не вымышленныя] отвѣтилъ: онъ пропѣлъ цѣлое славословіе правительству. „Въ груди нашей — говорилъ онъ разными словами на разные лады — заключена какая-то тайная вѣра въ правительство. Дай Богъ, чтобы правительство всегда и вездѣ слышало призваніе свое — быть представителемъ Провидѣнія на землѣ, и чтобы мы вѣровали въ него, какъ древніе вѣровали въ рокъ, настигавшій преступленія..."

На каждое изъ обвиненій, какъ видимъ, у нашего автора нашелся отвѣтъ. Но онъ подыскалъ его не сразу. Въ дни первой своей рѣшительной стычки съ публикой толки его оглушили, обидѣли и разсердили, и онъ не подумалъ о томъ, могутъ ли всѣ эти голоса, отъ какихъ бы вліятельныхъ лицъ или общественныхъ группъ они ни исходили, назваться голосомъ „народа". А этотъ народъ въ широкомъ, собирательномъ смыслѣ слова, подалъ свой голосъ за автора и переполнялъ театръ, когда игралась его комедія. Толки и пересуды остались толками, и общественнымъ мнѣніемъ не стали.

Дѣло „Ревизора" было выиграно и въ критикѣ. Гоголь не могъ пожаловаться на то, что она враждебно встрѣтила его комедію. Конечно, ожидать справедливой оцѣнки отъ людей враждебнаго литературнаго лагеря было трудно, и Сенковскій и Булгаринъ поспѣшили наговорить разныхъ колкостей: Булгаринъ назвалъ завязку комедіи пустѣйшей, дѣйствующихъ лицъ какими-то куклами, „у которыхъ авторъ отнялъ всѣ человѣческія принадлежности, кромѣ дара слова, употребляемаго ими на пустомелье", а про все развитіе дѣйствія комедіи сказалъ, что „оно происходитъ, ну, точь въ-точь на Сандвичевыхъ островахъ у капитана Кука".

Булгаринъ, конечно, не признавалъ за „Ревизоромъ“ права на названіе „комедіи“, кричалъ, что настоящей комедіи нельзя основать на злоупотребленіяхъ административныхъ, утверждалъ, что въ Россіи нѣтъ такихъ нравовъ, что Гоголь почерпнулъ свои характеры не изъ русскаго быта, а изъ временъ предъ-недорослевскихъ и изъ старыхъ комедій. „Ревизоръ“—это презабавный фарсъ, рядъ смѣшныхъ карикатуръ... говорилъ злобствующій критикъ. У автора есть безспорный талантъ, но только онъ не дисциплинированъ. Гоголь не знаетъ сцены и долженъ изучать драматическое искусство, онъ преувеличиваетъ до невѣроятности смѣшное и порочное въ характерахъ, у него языкъ слишкомъ отзывается малороссіанизмомъ, въ русскомъ просторѣчіи онъ слабъ... а главное въ пьесѣ масса цинизма и грязныхъ двусмысленностей. Вообще, городокъ автора „Ревизора“ не русскій городокъ, а малороссійскій, купцы не русскіе люди, а просто жиды; женское кокетство также не русское, да и самъ городничій не могъ бы взять такую волю въ великороссійскомъ городкѣ, а потому незачѣмъ было и клеветать на Россію. „Ревизоръ“,—продолжалъ нашъ цѣнитель,—производитъ непріятное впечатлѣніе, не слышишь ни одного умнаго слова, не видишь ни одной благородной черты сердца человѣческаго. Еслибъ зло перемѣшано было съ добромъ, то послѣ справедливаго негодованія сердце зрителя могло бы, по крайней мѣрѣ, освѣжиться, а въ „Ревизорѣ“ нѣтъ пищи ни уму, ни сердцу, нѣтъ ни мыслей, ни ощущеній. Авторъ сдѣлалъ чучелу изъ взяточника и колотитъ его дубиной. Прочія лица кривляются, а мы хохочемъ, потому что въ самомъ дѣлѣ смѣшно, хоть и уродливо“ *).

Почти то же самое, что писалъ Булгаринъ, повторилъ и Сенковскій въ своемъ журналѣ „Библіотека для Чтенія“. И онъ призналъ „Ревизора“ забавнымъ и грязнымъ, и

*) «Сѣверная Пчела». 1836, №№ 97 и 98.

языкъ его противнымъ чистому вкусу и формамъ хорошаго общества. Комедія Гоголя въ его глазахъ была также непристойнымъ фарсомъ, хотя Сенковскій и соглашался, что въ ней есть превосходныя сцены. Но въ „Ревизорѣ“, говорилъ онъ, нѣтъ никакой идеи, нѣтъ нравовъ общества. Это простой анекдотъ, старый, всѣмъ извѣстный, тысячу разъ напечатанный. Въ анекдотѣ не можетъ быть и характеровъ, и всѣ дѣйствующія люди комедіи — плуты и дураки, такъ какъ анекдотъ выдуманъ только на плутовъ и дураковъ и для честныхъ людей въ немъ даже нѣтъ мѣста. Нѣтъ въ комедіи и никакой картины русскаго общества. Административныя злоупотребленія въ мѣстахъ отдаленныхъ и мало посѣщаемыхъ существуютъ въ цѣломъ мірѣ и нѣтъ никакой достаточной причины приписывать ихъ одной Россіи; изъ злоупотребленій никакъ нельзя писать комедій, потому что это не нравы народа, не характеристика общества, но преступленія нѣсколькихъ лицъ и они должны возбуждать не смѣхъ, а скорѣе негодованіе честныхъ гражданъ... Наконецъ, критикъ былъ недоволенъ и самимъ ходомъ дѣйствія и давалъ Гоголю совѣтъ оживить этотъ пошлый анекдотъ какой-нибудь любовной интригой Хлестакова *)...

Отъ всѣхъ подобныхъ замѣчаній нужно было, конечно, только отмахнуться, но Гоголь, кажется, принялъ ихъ къ сердцу, такъ какъ подробно отвѣчалъ на нихъ въ своемъ „Театральномъ Разъѣздѣ“. Уязвимость ли авторскаго самолюбія вообще или просто нервное состояніе заставило нашего автора такъ серьезно взглянуть на эту завѣдомо пристрастную болтовню, но только она ему испортила много крови и онъ преувеличилъ ея значеніе. На мнѣніе публики эта болтовня едва ли могла имѣть вліяніе, потому что публика, несмотря на нее, восторженно аплодировала, а въ журналистикѣ объ статьи, и Булгарина, и Сенковскаго, не только не нашли отзвука, но встрѣтили отпоръ очень

*) «Библіотека для Чтенія», 1836, т. XVI, отдѣлъ V, 1—44.

дружный. Первый возвысилъ свой голосъ Андросовъ, редакторъ „Московскаго Наблюдателя“ и принялъ „Ревизора“ подъ свою защиту. Онъ призналъ его настоящей комедіей, ничего общаго съ фарсомъ не имѣющей, призналъ въ ней и идею, и согласіе съ правдой, назвалъ ее отрывкомъ изъ нашей жизни и не соглашался съ тѣмъ, чтобы ея тема была избита *).

Вскорѣ затѣмъ появилась въ „Современникѣ“ и извѣстная статья кн. Вяземскаго.

Она **) возникла по всѣмъ вѣроятіямъ изъ бесѣдъ критика съ самимъ авторомъ, на что указываютъ ея совпаденія съ мыслями, высказанными Гоголемъ въ его „Предувѣдомленіи“, въ его „Отрывкѣ изъ письма“ и въ „Театральномъ Разъѣздѣ“. Статья Вяземскаго—самое умное, что было сказано тогда о „Ревизорѣ“. Комедія оцѣнена со всѣхъ сторонъ: она признана самымъ выдающимся литературнымъ явленіемъ послѣднихъ лѣтъ, поставлена рядомъ съ „Недорослемъ“ и комедіей Грибоѣдова. Критикъ отмѣчаетъ, что она имѣла полный успѣхъ на сценѣ и нашла отголосокъ въ повсемѣстныхъ разговорахъ. Онъ разбираетъ затѣмъ ея литературное нравственное и общественное значеніе. Какъ литературное явленіе, она настоящая комедія, а не фарсъ, хотя въ ней есть „карикатурная природа“, потому что въ самой природѣ не все изящно. Гоголь—нашъ Теньеръ, котораго нельзя мѣрить классическимъ аршиномъ. Для художника нѣтъ въ природѣ низкаго, а есть только истинное. Въ „Ревизорѣ“ нѣтъ никакихъ натяжекъ, все натурально. То, что разсказалъ авторъ могло и должно было случиться при условіяхъ имъ указанныхъ: Гоголь—художникъ-реалистъ и въ созданіи типовъ, и въ компановкѣ положеній, и въ языкѣ, противъ котораго кричатъ, что онъ грязенъ и неопрятенъ. Защищаетъ Вяземскій комедію Гоголя и отъ всевозможныхъ нападокъ со стороны людей нравственныхъ, которые были

*) «Московскій Наблюдатель», 1836, ч. VII.

**) «Полное собраніе сочиненій П. А. Вяземскаго», II, 257—275.

недовольны тѣмъ, что имъ со сцены не было прочитано никакого добродѣтельнаго нравоученія. „Литература не для малолѣтнихъ, — остроумно говорилъ критикъ, — и авторъ былъ правъ, что нарисовалъ лица въ томъ видѣ, съ тѣми оттѣнками свѣта и безобразіями, какими они представлялись его взору. Пусть безнравственны лица — нравственно само впечатлѣніе, произведенное комедіей и въ этомъ и ея общественный смыслъ. Но надо быть справедливымъ и не преувеличивать самой безнравственности героевъ комедіи. Зачѣмъ клепать на нихъ; они болѣе смѣшны, нежели гнусны: въ нихъ болѣе невѣжества, необразованности, нежели порочности. Басня „Ревизора“ не утверждена на какомъ-нибудь отвратительномъ и преступномъ дѣйствіи: тутъ нѣтъ утѣсненія невинности въ пользу сильнаго порока, нѣтъ продажи правосудія, какъ, напр., въ комедіи Капниста „Ябеда“... Говорятъ, кончаетъ критикъ свою рецензію, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного умнаго человѣка; неправда: уменъ авторъ. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица; неправда: честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое силою закона поражая злоупотребленія, позволяетъ и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмѣшки“. Критикъ и авторъ, какъ видимъ, совпадали во многихъ существенныхъ взглядахъ и на „Ревизора“ въ частности и вообще на художественную, нравственную и общественную роль комедіи въ жизни.

Съ такимъ же сочувствіемъ къ автору и вѣрнымъ пониманіемъ дѣла отнесся къ „Ревизору“ и критикъ „Литературныхъ Прибавленій къ „Русскому Инвалиду“. И онъ поставилъ Гоголя на ряду съ Фонъ-Визинымъ и Грибоѣдовымъ, упомянувъ при этомъ и о Державинѣ, какъ о творцѣ „лирической сатиры“. Критикъ цѣнилъ комедію за ея веселость, за то, что она исцѣлитъ многія печали и разгонитъ многія хандры. Онъ цѣнилъ ее также за ея согласіе съ правдой жизни: нѣкоторые степняки-помѣщики, говорилъ

онъ, утверждали, что все это въ ихъ губерніи случилось, и даже называли тѣ оригиналы, съ которыхъ эти портреты списаны. Критику непонятенъ одинъ только Хлестаковъ: Гоголь, говоритъ онъ, безподобно рисуетъ сцены уѣздныя, людей средняго и низшаго быта, но едва поднимается въ слои высшаго общества, какъ мы отъ души желаемъ, „чтобы онъ опять спустился въ прежнюю свою сферу“. Укоряя автора за нѣкоторыя мѣста, при которыхъ краснѣетъ стыдливость, рецензентъ все-таки признаетъ главное достоинство Гоголя въ томъ, что онъ больше „натурщикъ“, нежели выдумщикъ *).

Удивительно вѣрный и тонкій разборъ „Ревизора“ далъ и журналъ Надеждина „Молва“. Анонимный рецензентъ, присутствовавшій на первомъ представленіи „Ревизора“, о которомъ уже мы говорили, обнаружилъ большой критическій тактъ въ своей оцѣнкѣ и какъ бы предугадалъ то, что самъ авторъ имѣлъ сказать о своей комедіи. „Оригинальный взглядъ Гоголя на вещи—писалъ рецензентъ—его умѣнье схватывать черты характеровъ, налагать на нихъ черты типизма, его настоящій гуморъ—все это даетъ намъ право надѣяться, что театръ нашъ скоро воскреснетъ, скажемъ больше, что мы скоро будемъ имѣть нашъ національный театръ, который будетъ насъ угощать не насильственными кривляньями на чужой манеръ, не заемнымъ остроуміемъ, не уродливыми передѣлками, а художественнымъ представленіемъ нашей общественной жизни, что мы будемъ хлопать не восковымъ фигурамъ съ размалеванными лицами, а живымъ созданіямъ съ лицами оригинальными, которыхъ, увидѣвъ разъ, никогда нельзя забыть... Полученные въ Москвѣ экземпляры „Ревизора“ перечитаны, зачитаны, выучены, превратились въ пословицы и пошли гулять по людямъ, обернулись эпиграммами и начали клеймить тѣхъ, къ кому придутся... Кто вдвинулъ это

*) *П. Серебреный*. «Ревизоръ», сочиненіе Н. В. Гоголя. «Литературныя Прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1836, № 59—60.

созданіе въ жизнь дѣйствительную? Кто такъ сроднилъ его съ нами? Это сдѣлали два великіе, два первые дѣятеля—талантъ автора и современность произведенія. То и другое дали ему успѣхъ блистательный, и ошибаются тѣ, которые думаютъ, что эта комедія смѣшна, и только. Да, она смѣшна, такъ сказать, снаружи, но внутри это—горе-гореваньицо, лыкомъ подпоясано, мочалами испутано" *).

Прошло нѣсколько лѣтъ, „Ревизоръ" игрался часто и никто изъ видѣвшихъ его не поднялся до такой высоты его пониманія, какъ этотъ анонимный критикъ. Только въ 1840 году заговорилъ о „Ревизорѣ" Бѣлинскій, и вопросъ о художественной стоимости комедіи получилъ окончательное рѣшеніе.

Отзывъ Бѣлинскаго **) былъ восторженно-хвалебный. Онъ касался, однако, преимущественно художественной стороны пьесы и техники ея выполненія. „Комедія — говорилъ Бѣлинскій—должна представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, т.-е. должна имѣть единство дѣйствія, выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи. Высоко художественное произведеніе Гоголя подтверждаетъ эту истину. Въ „Ревизорѣ" нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны какъ необходимыя части, художественно образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не внѣшнею формою, и потому представляющее собой особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ... Все въ этой комедіи продиктовано разумной необходимостью, какъ въ истинно-художественной комедіи, которая есть выраженіе случайностей—въ ней все выходитъ изъ идеи случайностей и призраковъ, и только чрезъ это получаетъ

*) «Молва», 1836, т. XI. Статья эта «открыта» *Н. С. Тихонравовымъ* и подробно изложена въ его статьѣ «Первое представленіе «Ревизора» на московской сценѣ». «Сочиненія», III, 1, 560—586.

**) Въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 г., въ статьѣ «Горе отъ ума», комедія Грибоѣдова.

свою необходимость"... Слова Бѣлинскаго едва ли были понятны тѣмъ, кто не былъ знакомъ съ терминами нѣмецкой эстетики, но общій ихъ смыслъ былъ ясенъ. Бѣлинскій признавалъ „Ревизора" за единственную русскую комедію, которая вполнѣ удовлетворяла требованіямъ художественности. Гоголь долженъ былъ быть доволенъ этимъ разборомъ и могъ покоситься лишь на тѣ строки, въ которыхъ критикъ ставилъ его выше Мольера—„для котораго поэзія никогда не была сама себѣ цѣль, но средство исправлять общество осмѣяніемъ пороковъ". Эти слова едва ли могли понравиться автору, потому что въ нихъ обнаружилось полное невниманіе къ нравственному смыслу комедіи, который Гоголь ставилъ такъ высоко.

Изъ этого краткаго обзора литературныхъ мнѣній, высказанныхъ по поводу „Ревизора", видно, что разочарованіе автора въ его публикѣ было преждевременно. Если нашлись журналисты, мнѣніе которыхъ зависѣло отъ личныхъ счетовъ и которые, поэтому, сказали все дурное и несправедливое, что могли сказать; если нашлись мелкіе рецензенты, которые долгое время не могли возвыситься до пониманія „Ревизора", то самые серьезные журналы отдали комедіи Гоголя все должное. Жаль, что Гоголь поспѣшилъ отъѣздомъ за границу и не успѣлъ перелистать всѣ эти серьезные журналы [онъ не успѣлъ прочитать ни рецензіи „Молвы", ни статьи „Московскаго Наблюдателя"]—онъ, можетъ быть, простился бы съ родиной безъ того горькаго чувства, съ которымъ покидалъ ее.

Самолюбивый авторъ и нервный человѣкъ, безспорно обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, онъ сталъ помышлять о бѣгствѣ послѣ перваго же представленія „Ревизора". Желаніе посѣтить чужіе края, на которые онъ мелькомъ взглянулъ послѣ сожженія „Ганца Кюхельгартена", было у него и раньше, но нервное настроеніе, въ какое онъ впалъ весною 1836 года, заставило его торопиться отъѣздомъ. Въ началѣ іюля онъ сѣлъ на пароходъ и уѣхалъ.

„Прощай!—писалъ онъ своему другу Погодину. Ѣду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь къ тебѣ, вѣрно, освѣженный и обновленный".

Петербургскій періодъ жизни Гоголя закончился и начались для него долгіе годы скитальчества.

Одержана была блистательная литературная побѣда... Творчество автора, доселѣ колебавшееся между противорѣчивыми направленіями, не установившееся во вкусахъ и пріемахъ, повернуло опредѣленно на дорогу, которая должна была возвести его на ту высоту художественнаго созерцанія, на которой жизнь сливается съ вымысломъ. Послѣ долгой борьбы съ сентиментальнымъ темпераментомъ и романтическимъ міросозерцаніемъ врожденный талантъ бытописателя и реалиста достигалъ, наконецъ, своего полнаго цвѣтенія. Всякая идеализація, все индивидуально-романтическое, что было въ характерѣ поэта, временно отступало въ тѣнь передъ его способностью объективно и художественно воспроизводить то, что для него—субъективнаго до нельзя человѣка—было „не имъ", лежало внѣ его. Результатомъ этихъ тайныхъ душевныхъ бореній было созданіе первой художественной русской комедіи. По художественности выполненія она не имѣла себѣ равной въ прошломъ и въ настоящемъ, но она не выражала всей силы сатирической мысли художника; она была комедіей обыденныхъ нравовъ.

Но тѣмъ не менѣе ея общественный смыслъ былъ значителенъ для своего молчаливаго и пугливаго времени. Сравнительно съ сатирой старой она была скромна, никакого рѣзкаго общественнаго обличенія она въ себѣ не заключала, но своей правдивостью она приводила зрителя всетаки къ сознанію переживаемаго имъ момента, историче-

скаго и общественнаго, и наталкивала его на выводы, о которыхъ сама безхитростно умалчивала.

Какъ все талантливое и правдивое, она раздразнила многихъ, и много горькихъ минутъ пришлось пережить автору, сознавшему, наконецъ, свою силу. Не слѣдуетъ только преувеличивать этихъ огорченій.

XII.

Гоголь за границей [1836—1841].—Повышеніе въ немъ чувства красоты; увлеченіе Италіей и Римомъ.—Гоголь и католицизмъ.—Повышеніе религіозности и самомнѣнія; ближайшіе ихъ источники: подъемъ вдохновенія и болѣзнь.—Смерть Пушкина.—Исторія болѣзни Гоголя и его выздоровленіе.—Талантъ бытописателя и усиленіе враждебныхъ ему мыслей и настроеній; послѣдняя побѣда таланта.

Гоголь собрался въ путь и покинулъ Россію очень поспѣшно, и, кажется, безъ мысли о долгой разлукѣ; но уже на первой станціи рѣшилъ, что скоро не вернется. „Нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, писалъ онъ Жуковскому изъ Гамбурга, послано свыше, тѣмъ же великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое. Это великій переломъ, великая эпоха новой жизни... ни за что на свѣтѣ не возвращусь скоро“ *). Гоголь какъ будто угадывалъ, что заграницей въ жизни его произойдетъ нѣчто знаменательное.

Онъ покидалъ Россію раздраженный на своихъ соотечественниковъ. Онъ говорилъ, что ѣдетъ размыкать тоску, которую они ему ежедневно наносятъ, что ему опротивѣла та изрядная коллекція гадкихъ рожъ, смотрѣть на которую онъ обязанъ. На основаніи нѣкоторыхъ такихъ рѣзкихъ выходокъ Гоголя можно—если придетъ охота—сказать много краснорѣчивыхъ и патетичныхъ словъ о разсерженномъ, гонимомъ пророкѣ, который бѣжалъ отъ своихъ на чужбину и тамъ скорбѣлъ объ отчизнѣ; но такое краснорѣчіе будетъ,

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 384—5.

вѣроятно, потрачено даромъ. Что Гоголь былъ раздраженъ, что онъ иногда кипѣлъ негодованіемъ противъ „свѣтскаго аристократства“ и иной „черни“, и въ дурную минуту говорилъ, что въ Россіи однѣ только свиньи живущи, что наконецъ онъ часто говорилъ о томъ, какъ онъ непонятъ и огорченъ—все это правда. Гоголю минутами казалось, что соотечественники его выгнали изъ Россіи, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ воспользовался первымъ болѣе или менѣе законнымъ предлогомъ, чтобы уѣхать, куда его давно тянуло, и какъ поэта, и какъ историка, и какъ южанина, и притомъ еще больного. Во всякомъ случаѣ, Гоголь покидалъ Россію совсѣмъ не въ подавленномъ настроеніи, и пріемъ, оказанный „Ревизору“, если и разсердилъ его, то на срокъ очень короткій. Желаніе идти въ томъ направленіи, въ какомъ онъ шелъ, говорить рѣшительно и смѣло съ толпой, столь повидимому его обидѣвшей, у него не только не пропало, но, наоборотъ, возросло. „Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ;—писалъ разсерженный поэтъ своему другу Погодину черезъ мѣсяцъ послѣ представленія „Ревизора“. Но Богъ съ ними [т.-е. съ людьми, которые кричали противъ „Ревизора“]. Я не оттого ѣду за границу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравъ нѣсколько постояннѣе пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ“ *).

„Если разсмотрѣть строго и справедливо—что такое все написанное мною до сихъ поръ?—говорилъ онъ Жуковскому, только что переѣхавъ русскую границу. Мнѣ кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на дру-

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 370—371.

гой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которую бьютъ по рукамъ. Изрѣдка, можетъ быть, выберется страница, за которую похвалитъ развѣ только учитель, провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ. О! какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни!“ *).

Такъ не станетъ писать человѣкъ, который бѣжитъ изъ отечества, негодуя на не признавшихъ его соотечественниковъ, и Гоголь скоро простилъ имъ обиду и недовольство съ нихъ перенесъ на себя. Продолжая издѣваться и острить надъ нѣкоторыми вожаками того ходячаго мнѣнія, которое было къ нему такъ несправедливо, которое умышленно или неумышленно криво истолковало его намѣренія, нашъ сатирикъ позволялъ себѣ иной разъ сказать жесткое слово о Россіи, но все время думалъ о ней, собиралъ о ней самыя тщательныя свѣдѣнія, трудился ради нея и очень скоро сталъ ей говорить то же самое, что говорилъ раньше и за что былъ такъ огульно обруганъ.

Любовь къ отчизнѣ возрастала въ Гоголѣ заграницей и дальность разстоянія и длительность времени на нее не имѣли вліянія. Наоборотъ, онъ издали сталъ любить родину больше. Для его романтическаго сердца ея общія очертанія стали милѣе ея деталей, которыя онъ, однако, вырисовывалъ съ такой неподражаемой правдой, какъ разъ въ эти годы своей заграничной жизни. Но странно, любя родину въ мечтахъ, онъ тяготился встрѣчей съ нею. Когда послѣ трехлѣтняго пребыванія въ чужихъ краяхъ, онъ, по семейнымъ обстоятельствамъ, долженъ былъ провести конецъ 1839 года и начало 1840 г. въ Москвѣ и Петербургѣ, онъ ѣхалъ домой съ большой неохотой, ему было грустно и онъ чувствовалъ себя въ Россіи не на мѣстѣ; свое состояніе онъ на-

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 384.

зывалъ „ужасно безчувственнымъ и окаменѣвшимъ“; „бѣдная душа его не находила себѣ на родинѣ пріюта“; онъ друзей просилъ „выгнать его изъ Россіи“ и, дѣйствительно, не досидѣвъ и года, онъ ее снова покинулъ *). Положимъ онъ былъ въ эту осень и зиму 1839—1840 года боленъ и разстроенъ разными семейными непріятностями, преимущественно финансовыми, но едва ли его нытье можетъ быть объяснено только этими причинами. Въ Москвѣ и въ Петербургѣ въ 1839—1840 гг. онъ былъ окруженъ людьми ему близкими, у него завязались новыя сердечныя связи съ членами аксаковскаго кружка, ни съ какими непріятностями литературнаго свойства ему считаться не приходилось,—и все-таки онъ скулалъ и томился и не могъ работать. А между тѣмъ, за границей онъ всегда чувствовалъ большой подъемъ творческой силы, что̀ подтверждается и количествомъ, и качествомъ начатыхъ, передѣланныхъ и законченныхъ имъ произведеній. Суета заграничной жизни, встрѣчи и проводы знакомыхъ, новыя отношенія, быстрая смѣна впечатлѣній не мѣшали его работѣ. Даже дорога, и та дѣйствовала благотворно на его бодрость физическую и духовную. Дорога—какъ онъ признавался, была ему необходима и приносила большую пользу его бренному организму, она была его единственнымъ лекарствомъ; онъ шутилъ и говорилъ, что съ радостью сдѣлался бы фельдъегеремъ, курьеромъ, чтобы какъ можно дальше скакать, хоть на русскихъ перекладныхъ, въ Камчатку **).

Вообще въ эти шесть лѣтъ заграничной жизни много непонятнаго и страннаго подмѣчаемъ мы во внѣшнемъ образѣ жизни и въ настроеніяхъ и мысляхъ нашего писателя.

Коренной русскій человѣкъ, мало подготовленный къ тому, чтобы разобраться въ новыхъ впечатлѣніяхъ, онъ какъ-то внѣшнимъ образомъ сживается съ чужой обста-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 625, 627; II, 11, 20, 27, 32, 37.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 516; II, 82.

новкой, отъ которой ему тяжело однако оторваться и которую онъ страстно любитъ, несмотря на то, что въ общемъ теченіи окружающей его новой жизни онъ не участвуетъ; но одновременно съ этой любовью къ новой обстановкѣ онъ сохраняетъ, однако, всѣ свои прежнія духовныя симпатіи къ родинѣ, все больше и больше любитъ Русь и не теряетъ зоркости взгляда даже на мелочи этой родной, теперь далекой отъ него жизни.

Романтикъ, съ сильнымъ тяготѣніемъ къ религіозности, большой эстетикъ и любитель старины, онъ живетъ среди природы и людей, съ рожденія воспитанныхъ въ этихъ романтическихъ чувствахъ, среди обстановки наиболѣе благопріятной для ихъ развитія—и онъ всетаки остается въ творчествѣ своемъ самымъ послѣдовательнымъ реалистомъ, теряетъ на время всякій вкусъ къ романтическому въ искусствѣ и подъ итальянскимъ небомъ въ мечтахъ объѣзжаетъ съ Чичиковымъ самые прозаическіе уголки Россіи по самой прозаической надобности.

Гоголь за границей, въ періодъ 1836—1841 г.—большая загадка, которую, вѣроятно, не разъяснятъ никакіе біографическіе матеріалы и даже личныя признанія поэта. Въ этой сложной душѣ, полной противорѣчій, совершалось за этотъ періодъ времени то таинственное броженіе, которое художника въ концѣ концовъ обратило въ моралиста и богослова, и въ юмористѣ-бытописателѣ заставило вновь проснуться съ подновленной силой старое романтическое міросозерцаніе. Это было броженіе сначала очень радостное, полное вдохновеннаго восторга, а въ концѣ совсѣмъ болѣзненное, истомившее художника и физически, и нравственно.

Какъ совершалось это одновременное развитіе художника-наблюдателя и того же художника, который изъ наблюдателя становился моралистомъ и затѣмъ богословомъ—это едва ли кто разскажетъ, но для поясненія этой перемѣны нужно все-таки указать на нѣкоторыя настроенія и чувства, подъ власть которыхъ Гоголь подпалъ въ это время, частью

въ виду условій новой обстановки, частью въ силу неожиданностей или случайности.

Эти настроенія и чувства не были чѣмъ-нибудь новымъ для Гоголя, они отъ рожденія были присущи ему и уже въ первыхъ его трудахъ, когда онъ былъ сентименталистъ и романтикъ по преимуществу, они прорывались наружу. Это были—развитое чувство красоты, чувство благоговѣнія передъ геніемъ, и религіозность, прикрашенная самомнѣніемъ. Заграницей эти склонности очень усилились и уже начали угрожать способности художника смотрѣть на жизнь непринужденнымъ и непредвзятымъ взглядомъ, т.-е. той способности, которая именно въ это время достигла полнаго своего расцвѣта.

Чувство красоты, всегда въ Гоголѣ очень чуткое, развиваясь, стало постепенно отдалять его отъ дѣйствительности. Интересы современные, общественные и политическіе, къ которымъ у нашего писателя никогда большого пристрастія не было, не только не оживились въ новыхъ условіяхъ, но, кажется, совсѣмъ заглохли. Странствуя по Германіи, Австріи и Франціи, нашъ путешественникъ, какъ видно изъ его писемъ, и не думалъ присматриваться къ тому, что вокругъ него творилось. Вся сложная соціальная и политическая жизнь Европы тридцатыхъ годовъ прошла мимо него. Нельзя, конечно, отъ Гоголя требовать, чтобы онъ сразу обнаружилъ пониманіе того, что ему до тѣхъ поръ было чуждо, но любопытно, что онъ не проявилъ даже и слабаго интереса къ этимъ сторонамъ европейской жизни. Онъ искалъ за границей, кромѣ облегченія своихъ физическихъ недуговъ, исключительно впечатлѣній и ощущеній эстетическихъ. Вотъ почему онъ такъ любилъ Италію и преимущественно Римъ, въ которомъ за эти шесть лѣтъ побывалъ четыре раза и жилъ подолгу [6 мѣсяцевъ въ 1837 г., 10 мѣсяцевъ въ 1832 г., 6 мѣсяцевъ въ 1839 г., 4 мѣсяца въ 1840 г. и 8 мѣсяцевъ въ 1841 г.]. Къ другимъ странамъ онъ относился хладнокровно, а иногда очень несправедливо. Швейцарія по-

разила его на первыхъ порахъ картинами своей природы, но онѣ ему скоро надоѣли, и онъ затосковалъ о русскомъ сѣренькомъ небѣ; масса городовъ промелькнула мимо него, и онъ не зналъ, что сказать о нихъ; повидалъ онъ всевозможныя историческія достопримѣчательности въ разныхъ мѣстахъ, но, кромѣ готическихъ соборовъ, которые онъ такъ любилъ еще на картинкахъ, ничто не вызвало въ немъ настоящаго неподдѣльнаго восторга. Письма Гоголя, писанныя не изъ Италіи, очень безцвѣтны и холодны. Парижъ оказался „не такъ дуренъ, какъ Гоголь его себѣ воображалъ, и понравился тѣмъ, что въ немъ много мѣстъ для гулянья"; спустя нѣкоторое время нашъ авторъ добавилъ, что на него произвели большое впечатлѣніе парижскіе рестораны и бульвары. Вся поэзія парижской жизни отъ его нелюбопытнаго взора ускользнула, какъ ускользнула и красота нѣмецкихъ городковъ, которую нѣкогда онъ воспѣвалъ въ своемъ „Ганцѣ Кюхельгартенѣ". „Я сомнѣваюсь,—писалъ онъ въ 1838 году,—та ли теперь эта Германія, какою ее мы представляемъ себѣ. Не кажется ли она намъ такою только въ сказкахъ Гоффмана? Я, по крайней мѣрѣ, въ ней ничего не видѣлъ, кромѣ скучныхъ табльдотовъ, вѣчныхъ на одно и то же лицо состряпанныхъ кельнеровъ и безконечныхъ толковъ о томъ, изъ какихъ блюдъ былъ обѣдъ; и та мысль, которую я носилъ въ умѣ объ этой чудной и фантастической Германіи, исчезла, когда я увидѣлъ Германію въ самомъ дѣлѣ, такъ, какъ исчезаетъ прелестный голубой колоритъ дали, когда мы приближаемся къ ней близко" *). „Эта гадкая, запачканная и закопчѳнная табачищемъ Германія, которая есть не что другое, какъ самая неблаговонная отрыжка мерзѣйшаго пива", говорилъ въ сердцахъ нашъ писатель при иномъ случаѣ **). Слова болѣе чѣмъ странныя въ устахъ историка, да и эстетика также. Если ихъ можно простить Гоголю, то только потому, что онъ былъ влюбленъ,

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 542—3.
**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 607—8.

влюбленъ страстно въ Италію и, какъ влюбленный, былъ несправедливъ ко всѣмъ соперницамъ своей возлюбленной.

Страсть къ Италіи была въ Гоголѣ страстью и южанина, и эстетика, и романтика, и любилъ онъ въ этой Италіи не только ее самое, но и свою мечту, какъ любятъ всѣ истинно влюбленные. „Кто былъ въ Италіи, тотъ скажи „прощай“ другимъ землямъ,—исповѣдывался онъ; кто былъ на небѣ, тотъ не захочетъ на землю... Европа въ сравненіи съ Италіей все равно, что день пасмурный въ сравненіи съ днемъ солнечнымъ“. „Душенька моя! моя красавица Италія,—восклицалъ онъ при второмъ свиданіи послѣ первой разлуки [1837 г.],—никто въ мірѣ ее не отниметъ у меня! Я родился здѣсь... Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, каѳедра, театръ—все это мнѣ снилось... О, если бы вы взглянули только на это ослѣпляющее небо, все тонущее въ сіяніи! Все прекрасно подъ этимъ небомъ; что ни развалина, то и картина; на человѣкѣ какой-то сверкающій колоритъ; строеніе, дерево, дѣло природы, дѣло искусства—все, кажется, дышетъ и говоритъ подъ этимъ небомъ... Вѣкъ художника, кажется, оканчивается, когда онъ оставляетъ Италію, и, дохнувъ тлетворнымъ дыханіемъ сѣвера, онъ, какъ цвѣтокъ юга, никнетъ головою...“ *) и на разные лады повторялъ Гоголь эти возгласы, и все ему казалось, что они безсильны выразить всю полноту его очарованія.

Всего больше такихъ любовныхъ словъ пришлось на долю Рима. „Въ Римъ влюбляешься очень медленно,—признавался его поклонникъ,—понемногу, и ужъ на всю жизнь“. „Нѣтъ лучшей участи, какъ умереть въ Римѣ—писалъ Гоголь—цѣлой верстой человѣкъ здѣсь ближе къ Божеству. Князь Вяземскій очень справедливо сравниваетъ Римъ съ большимъ прекраснымъ романомъ или эпопеею, въ которой на каждомъ шагу встрѣчаются новыя и новыя, вѣчно неожиданныя красы. Передъ Римомъ всѣ другіе города кажутся блестящими дра-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 451, 459, 461, 609.

мами, которыхъ дѣйствіе совершается шумно и быстро въ глазахъ зрителя; душа восхищена вдругъ, но не приведена въ такое спокойствіе, въ такое продолжительное наслажденіе, какъ при чтеніи этой эпопеи. Я читаю ее, читаю... и до сихъ поръ не могу добраться до конца. Чтеніе мое безконечно". „О Римъ! Римъ! Чья рука вырветъ меня отсюда?" При второмъ свиданіи послѣ краткой разлуки [1838] Римъ показался Гоголю еще лучше прежняго. Ему почудилось, что онъ увидѣлъ свою родину, въ которой нѣсколько лѣтъ не бывалъ, но въ которой жили его мысли; но нѣтъ, не свою родину, а родину души своей увидалъ онъ, гдѣ душа его жила еще прежде, чѣмъ онъ родился на свѣтъ. „Здѣсь только тревоги не властны и не касаются души, признавался онъ; что было бы со мною въ другомъ мѣстѣ!.. Кромѣ Рима, нѣтъ Рима на свѣтѣ, хотѣлъ было сказать—счастья и радости, да Римъ больше, чѣмъ счастье и радость". „Если бы мнѣ предлагали милліоны, и эти милліоны помножили еще на милліоны, и потомъ удесятирили эти милліоны, я бы не взялъ ихъ, еслибъ это было съ условіемъ оставить Римъ, хотя на полгода",—думалъ Гоголь, когда скучный и разсерженный ѣхалъ въ 1839 году въ Россію, и въ Москвѣ онъ нылъ по этому Риму, нылъ жалобно: „О, если бы вы знали, какъ наполняются тамъ неизмѣримыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О, мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ! Несчастливъ тотъ, кто два мѣсяца разстался съ тобой и счастливъ тотъ, для котораго эти два мѣсяца прошли, и онъ на возвратномъ пути къ тебѣ!" „Поглядите на меня въ Римѣ, и вы много во мнѣ поймете того, чему, можетъ быть, многіе дали названіе безсмысленной странности" *). И это вѣрно. Много страннаго творилось съ Гоголемъ въ Римѣ.

Ясно только одно: Италія и Римъ необычайно сильно

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 435, 439, 461, 468, 493, 588, 622; II, 6, 12, 51.

подѣйствовали на его эстетическое чувство и безличная красота природы и красота старины мало-по-малу разобщали его съ той дѣйствительностью, которую онъ вокругъ себя видѣлъ. Изъ наблюдателя онъ превращался въ созерцателя, и природа и искусство стали его интересовать больше, чѣмъ люди въ ихъ повседневной жизни. Въ римскихъ письмахъ онъ не скрывалъ своего упоенія искусствомъ и небомъ Италіи и не хотѣлъ замѣчать ничего другого. Римъ былъ для него музеемъ, по которому онъ прогуливался, и въ римскомъ народѣ, характеръ котораго онъ изучалъ довольно внимательно, его прельщало именно эстетическое чувство, „невольное чувство понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, разсчетливый, меркантильный европейскій умъ не набросилъ своей узды". Даже историческое прошлое Рима привлекало его меньше, чѣмъ археологическая красота вѣчнаго города въ настоящемъ. „Если бы мнѣ предложили,—говорилъ онъ,—что̀ бы я предпочелъ? видѣть передъ собой древній Римъ въ грозномъ и блестящемъ величіи или Римъ нынѣшній въ его теперешнихъ развалинахъ, я бы предпочелъ Римъ нынѣшній *). Нѣтъ, онъ никогда не былъ такъ прекрасенъ!".

Увлеченіе нашего романтика безсмертной красотой небесъ и человѣческаго вдохновенія — вполнѣ понятно; понятно также, что оно въ концѣ концовъ не могло не повліять на направленіе его творчества. Сидѣть подъ сѣнью лазурнаго неба, миртовъ и кипарисовъ, видѣть передъ со-

*) Эти и другія слова въ письмахъ Гоголя говорятъ противъ предположенія *Д. С. Мережковскаго* [«Гоголь и чортъ» Москва. 1905, 85 и слѣд.] что Гоголь любилъ въ Римѣ «языческую древность», что онъ «какъ Гете и Ницше цѣнилъ въ немъ крѣпость плоти, прикрѣпленіе человѣческаго духа къ землѣ и къ тѣлу», что «сквозь всѣ безтѣлесныя видѣнія христіанства онъ въ глубинѣ своей казацкой природы прощупывалъ противоположное христіанству языческое начало, языческую радость жизни, крѣпость плоти, непотрясаемую твердь земного неба». Гоголь, конечно, бывалъ въ Римѣ минутами очень веселъ, но «язычество» въ этомъ весельи было мало повинно.

бой все лучшее, что создано чувствомъ красоты въ человѣкѣ и въ то же время копаться въ душѣ всякихъ Чичиковыхъ, Ноздревыхъ и Собакевичей было на долгій срокъ невозможно. Художникъ могъ захотѣть освѣтить лучомъ красоты ту сѣрую жизнь, надъ воплощеніемъ которой онъ работалъ, и такое освѣщеніе или освященіе могло заставить его впасть въ противорѣчіе съ правдой, какъ это дѣйствительно съ нимъ позже и случилось. Увлеченіе красотой въ Италіи было одной изъ многихъ причинъ, заставившихъ сатирика отыскивать красоту не только въ руской природѣ, но и въ русской жизни, и становиться передъ ней преждевременно на колѣни.

Эстетическое чувство, разогрѣтое римскимъ воздухомъ, приблизило Гоголя и къ католицизму. Объ этихъ симпатіяхъ нашего писателя говорилось нерѣдко и его восторгу передъ Римомъ, а также и нѣкоторымъ его недружелюбнымъ словамъ, сказаннымъ по адресу Россіи, придавали иногда смыслъ болѣе глубокій, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ имѣли. Писателя заподозрили въ тяготѣніи къ католичеству. Это едва ли вѣрно.

Онъ оставался православнымъ, хотя, какъ поэтъ, и могъ себѣ позволить восторженные возгласы во славу красоты католическихъ соборовъ и обрядовъ. Когда онъ, напр., говорилъ въ 1838 году, что „только въ одномъ Римѣ молятся, а въ другихъ мѣстахъ показываютъ только видъ, что молятся“, что молитва только въ Римѣ на своемъ мѣстѣ, а въ Парижѣ, Лондонѣ и Петербургѣ она все-равно, что на рынкѣ, то изъ этихъ словъ можно сдѣлать только одинъ выводъ—а именно, что въ нашемъ авторѣ, какъ въ поэтѣ, религіозное чувство пробуждалось подъ сѣнью католическаго храма, который, какъ извѣстно, почти всегда храмъ искусства. О догмѣ, которая подъ этой сѣнью проповѣдывалась, Гоголь въ то время [1837] думалъ мало и судилъ о ней весьма поверхностно, если вѣрить тому, что онъ писалъ своей матери, которая была очень озабочена его хо-

жденіемъ по католическимъ церквамъ. „Насчетъ монхъ чувствъ и мыслей объ этомъ вы правы, что спорили съ другими, что я не перемѣню обрядовъ своей религіи—писалъ онъ ей *). Это совершенно справедливо; потому что какъ религія наша, такъ и католическая, совершенно одно и то же, и потому совершенно нѣтъ надобности перемѣнять одну на другую. Та и другая истина; та и другая признаетъ одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную премудрость, посѣтившую нѣкогда нашу землю...“ Если въ этихъ словахъ нельзя узнать ревностнаго православнаго, то нельзя подмѣтить и никакого тяготѣнія къ католицизму... Возможно, однако, что Гоголь потому такъ наивно говорилъ объ этомъ серьезномъ вопросѣ, что хотѣлъ успокоить свою мать, для которой серьезный разговоръ объ отличіи вѣроисповѣданій былъ бы мало интересенъ. Во всякомъ случаѣ по тѣмъ даннымъ, которыя имѣются, можно говорить лишь о поэтическомъ восхищеніи Гоголя обрядовой стороной католицизма; на болѣе тѣсное сближеніе съ католиками Гоголь не шелъ, хотя они и дѣлали шаги, чтобы привлечь его на свою сторону **).

*) Письма Н. В. Гоголя I, 664—5.

**) Проф. А. А. Кочубинскій очень подробно разъяснилъ, на основаніи новыхъ документовъ, тѣ сношенія, которыя были у Гоголя съ представителями польскаго католическаго ордена «воскресенцевъ». [*А. А. Кочубинскій.* «Будущимъ біографамъ Н. В. Гоголя» «Вѣстникъ Европы», 1902 г. Февраль, 650—675]. Гоголь встрѣтился съ этими религіозно-политическими агитаторами въ 1838 г. у кн. Зинаиды Волконской, проживавшей въ Римѣ и очень ревностной католички. Она и порученные ея попеченію два «воскресенца», имѣли безспорное желаніе привлечь Гоголя въ лоно католической церкви. Насколько самъ Гоголь шелъ имъ навстрѣчу въ этомъ дѣлѣ — опредѣлить очень трудно; онъ искалъ ихъ общества, много бесѣдовалъ съ ними о польской литературѣ; онъ зналъ, что они и княгиня заняты обращеніемъ въ католичество сына княгини, и принялъ это извѣстіе сердечно и благодушно; онъ позволялъ «втирать въ себя нѣсколько хорошихъ мыслей» и принималъ и у себя этихъ апостоловъ — но изъ всѣхъ этихъ фактовъ трудно вывести какое нибудь заключеніе о колебаніи Гоголя между православіемъ и католичествомъ, тѣмъ болѣе, что эти сношенія не продолжались и года, и послѣ интимныхъ бесѣдъ въ на-

Религіозное чувство крѣпло въ Гоголѣ само по себѣ и пока еще не переходило въ проповѣдь опредѣленнаго вѣроисповѣданія.

Мысль о Богѣ сочеталась въ немъ прежде всего съ мыслью о самомъ себѣ.

Мы знаемъ, какъ мысль о своемъ великомъ призваніи съ дѣтскихъ лѣтъ была сильна въ нашемъ мечтателѣ. Не нужно было ни Италіи, ни Рима, чтобы укоренить въ немъ эту дерзкую увѣренность въ особомъ Божіемъ покровительствѣ, какое на немъ почіетъ. Онъ уже освоился съ этой мыслью, когда покидалъ Россію въ 1836 г. „Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе — говорилъ онъ, прощаясь съ родиной — я чувствую, что неземная воля направляетъ путь мой. Онъ, вѣрно, необходимъ для меня". „Мнѣ ли не благодарить пославшаго меня на землю. Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую я въ душѣ своей... Кто-то незримый пишетъ предо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ

чалѣ 1838 г., почти сошли на нѣтъ въ слѣдующемъ году. Изъ словъ самихъ «воскресенцевъ», которые въ своихъ донесеніяхъ писали, что они у Гоголя замѣтили «свѣтлыя мысли», что онъ «внутренно работаетъ», что «отъ ихъ посѣщеній въ душѣ Гоголя остается прекрасное впечатлѣніе» — нельзя сдѣлать никакого вывода, такъ какъ всякій фанатизмъ всегда страдаетъ преувеличеніемъ. Нельзя сказать даже такъ осторожно, какъ сказалъ проф. Кочубинскій, что Гоголь былъ «*близокъ* къ искусительному шагу». Гоголь былъ хитеръ и себѣ на умѣ и въ откровенности не пускался. Онъ, дѣйствительно, начиналъ тогда «работать внутренно», но любовь къ Риму была въ Гоголѣ всетаки симпатіей эстетической — въ чемъ можетъ насъ убѣдить его повѣсть «Римъ», написанная приблизительно въ это же время [1839]. Любопытно также, что въ тѣ же дни, когда Гоголь интимно бесѣдовалъ съ «воскресенцами», онъ работалъ надъ передѣлкой «Тараса Бульбы» — этого боевого эпоса казаковъ, воюющихъ съ поляками и католицизмомъ.

примиреніе моей тѣни“ *). Такъ увѣренно и самонадѣянно писалъ Гоголь въ 1836 году, тотчасъ послѣ всѣхъ огорченій, испытанныхъ въ Петербургѣ. Онъ призналъ пустяками все, что онъ писалъ доселѣ, и голова его была полна новыхъ литературныхъ плановъ, самыхъ смѣлыхъ и широкихъ. Эти планы были пока еще только планы, а поэтъ былъ уже въ такомъ экстазѣ. Какъ долженъ былъ этотъ экстазъ возрасти, когда задуманное начало осуществляться? И въ самомъ дѣлѣ, по мѣрѣ того, какъ „Мертвыя Души“, къ работѣ надъ которыми онъ приступилъ заграницей, ложились на бумагу, крѣпло въ Гоголѣ и сознаніе своей божественной миссіи. Вдохновеніе художника превращалось постепенно чуть ли не въ ясновидѣніе пророка. „Много чуднаго совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни – писалъ Гоголь Аксакову въ 1840 году. Я радъ всему, всему, что ни случится со мною въ жизни, и какъ погляжу я только, къ какимъ чуднымъ пользамъ и благу вело меня то, что называютъ въ свѣтѣ неудачами, то растроганная душа моя не находитъ словъ благодарить Невидимую Руку, ведущую меня“. „Вѣрь словамъ моимъ—взываетъ онъ къ одному пріятелю—властью высшаго облечено отнынѣ мое слово. Все можетъ разочаровать, обмануть, измѣнить тебѣ, но не измѣнитъ мое слово!“ **). „О! вѣрь словамъ моимъ,—пишетъ онъ въ это же время [1841] поэту Языкову,—ничего не въ силахъ я тебѣ болѣе сказать, какъ только „вѣрь словамъ моимъ“. Есть чудное и непостижимое... но рыданья и слезы глубоко вдохновенной благодарной души помѣшали бы мнѣ вѣчно досказать... и онѣмѣли бы уста мои. Никакая мысль человѣческая не въ силахъ себѣ представить сотой доли той необъятной любви, какую содержитъ Богъ къ человѣку! Вотъ все. Отнынѣ взоръ твой долженъ быть свѣтло и бодро вознесенъ горѣ: для сего была наша встрѣча. И если при разставаніи нашемъ, при пожатіи рукъ нашихъ не отдѣлилась

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 378, 383, 415.
**) «Письма Н. В. Гоголя», II, 90, 91, 111.

отъ моей руки искра крѣпости душевной въ душу тебѣ, то, значитъ, ты не любишь меня. И если когда-нибудь одолѣетъ тебя скука, и ты, вспомнивъ обо мнѣ, не въ силахъ одолѣть ее, то, значитъ, ты не любишь меня. И если мгновенный недугъ отяжелитъ тебя и низу поклонится духъ твой, то, значитъ, ты не любишь меня" *). Самая поддѣлка рѣчи подъ евангельскій тонъ есть какъ бы косвенный намекъ на то, что художникъ въ своихъ глазахъ возросъ до пророка; и онъ, дѣйствительно, начиналъ чувствовать въ себѣ пророческую силу. Онъ, какъ самъ говорилъ, „слышитъ часто чудныя минуты, живетъ чудной жизнью, внутренней, огромной, заключенной въ немъ самомъ, и вся жизнь его отнынѣ— благодарный гимнъ". „Горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!" сказалъ Гоголь однажды въ одну изъ такихъ чудныхъ минутъ... а въ другую договорился до совсѣмъ непонятнаго мистически пророческаго возгласа: „Никто изъ моихъ друзей не можетъ умереть, потому что онъ вѣчно живетъ со мною". Если въ чьихъ устахъ такія слова были умѣстны, то развѣ только въ устахъ Христовыхъ...

Можно спросить, однако, что именно было причиной такого повышенія религіознаго чувства, непосредственно реагировавшаго на самомнѣніе художника?

Причину этой странности найти трудно. Гоголь родился алчущимъ Бога и правды и подъ конецъ своей жизни даже душевно заболѣлъ отъ этого духовнаго голода и жажды. И самомнѣніе было въ немъ также чертой врожденной, какъ и желаніе создать нѣчто великое на благо ближняго и родины. Вполнѣ понять такія натуры можетъ только натура родственная: ей открыто то невыразимое, что таилось въ душѣ этого искателя правды, искупившаго цѣной страшныхъ душевныхъ страданій свое духовное преимущество надъ другими. Біографъ и изслѣдователь можетъ только прослѣдить самый процессъ развитія этихъ чувствъ и ука-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 168.

зать на нѣкоторыя условія, которыя способствовали ихъ быстрому росту.

Религіозная атмосфера Рима едва ли можетъ быть признана за главное изъ такихъ условій; были другія. На повышеніе религіозности и самомнѣнія Гоголя оказалъ прежде всего вліяніе необычайно сильный подъемъ его творческой дѣятельности, который изумилъ самого автора; затѣмъ его болѣзненное состояніе.

Творческія силы Гоголя работали заграницей, дѣйствительно, очень напряженно: художникъ испытывалъ частые наплывы вдохновенія; одни литературные планы быстро смѣнялись другими, и онъ торопился творить. Онъ увѣровалъ наконецъ въ то, что онъ можетъ свершить нѣчто великое, благое для ближнихъ, свершить, какъ писатель, и что ему дано исполнить эту миссію; дано кѣмъ?—Конечно, Богомъ, который предначерталъ весь его земной путь и послалъ ему всѣ испытанія, чрезъ которыя онъ прошелъ не столько какъ человѣкъ вообще, сколько какъ художникъ.

И одновременно съ этимъ подъемомъ духа шло медленное увяданіе плоти. Гоголь никогда не пользовался цвѣтущимъ здоровьемъ и сталъ болѣть очень рано. За границей приступы этой болѣзни участились, и мнительный человѣкъ [а онъ былъ очень мнителенъ] сталъ преувеличивать опасность: ему казалось, что смерть его близка, что болѣзнь держитъ его на самомъ рубежѣ могилы. Онъ видѣлъ въ этомъ опять указаніе перста Божія, и когда выздоравливалъ [что было вполнѣ естественно], онъ еще больше укрѣплялся въ вѣрѣ въ свое предназначеніе свыше. Мысль о томъ, что смерть проходитъ мимо него по высшему повелѣнію, щадитъ его, какъ писателя, напрашивалась сама собою, и Гоголь облюбовалъ эту льстивую мысль.

Онъ боялся смерти, и какъ разъ въ эти годы ему пришлось дважды столкнуться съ нею, и она произвела на его романтическую душу возвышенно мистическое впечатлѣніе,

которое непосредственно отозвалось и на его религіозномъ чувствѣ, и на его мысляхъ о собственномъ призваніи.

Скончался Пушкинъ. Гоголь усмотрѣлъ въ этой смерти для себя новое указаніе свыше. Ничто не можетъ сравниться съ той скорбью, какую онъ испыталъ при этой вѣсти. „Все наслажденіе моей жизни, писалъ онъ, — все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта, ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собой. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу. Боже! нынѣшній трудъ мой [„Мертвыя Души“], внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался я за перо — и перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска!“ „Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь: мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ... Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моей высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?“ Великаго не стало“. „О, Пушкинъ, Пушкинъ, какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе!“ „Боже, какъ странно, Россія безъ Пушкина“ *).

С. Т. Аксаковъ, близко знавшій Гоголя, утверждалъ, что смерть Пушкина „была единственной причиной всѣхъ бо-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 432, 434, 436; 441, 459; II. 12.

лѣзненныхъ явленій его духа, вслѣдствіе которыхъ онъ задавалъ себѣ неразрѣшимые вопросы, на которые великій талантъ его, изнеможенный борьбою, съ направленіемъ отшельника, не могъ дать сколько-нибудь удовлетворительныхъ отвѣтовъ“ *). Мы знаемъ, однако, что эти неразрѣшимые вопросы Гоголь задавалъ себѣ и раньше, тогда, когда направленіе отшельника въ немъ еще совсѣмъ не сказывалось, но смерть Пушкина была для него все-таки какъ бы откровеніемъ свыше. Гоголь сталъ думать, что къ нему переходила теперь по наслѣдству та роль пророка-пѣвца, которая оборвалась такъ грустно; и мысль о смерти, нежданной и случайной, влекла за собой другую мысль о необходимости торопиться со своимъ трудомъ, съ трудомъ, начатымъ съ благословенія Пушкина и теперь оспротѣвшимъ. Молитва къ Богу и воззваніе къ своему генію слились въ одно. Художникъ сталъ перерождаться въ пророка, но мнительнаго пророка, ожидающаго съ минуты на минуту призыва покинуть земное.

И судьба, какъ нарочно, еще разъ показала ему, какъ гибнетъ случайно и безсмысленно прекрасное въ жизни. Въ 1839 году ему въ Римѣ пришлось провести нѣсколько ночей у одра умиравшаго друга, молодого Іосифа Вьельгорскаго. Ничѣмъ этотъ юноша не заявилъ о себѣ, но природа, если вѣрить лицамъ, его знавшимъ, соединила и одарила его всѣми дарами, и духовными, и тѣлесными. Гоголь былъ къ нему давно привязанъ, но неразрывно и братски сошелся съ нимъ только во время его болѣзни. Гоголь жилъ его умирающими днями и ловилъ его минуты. „Непостижимо странна судьба всего хорошаго у насъ въ Россіи—говорилъ Гоголь, глядя на умиравшаго друга. Едва только оно успѣетъ показаться—и тотчасъ же смерть! безжалостная, неумолимая смерть. Я ни во что теперь не вѣрю и если встрѣчаю что

*) *С. Аксаковъ.* «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», М. 1890, 13.

прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядѣть на него. Отъ него мнѣ несетъ запахомъ могилы..." *).

Она его очень разстроила, эта юная смерть, но вмѣстѣ съ тѣмъ наполнила его душу необычайно нѣжнымъ чувствомъ. Гоголь далъ этому чувству волю на двухъ-трехъ страницахъ своего дневника. Онѣ озаглавлены: „Ночи на виллѣ". Это очень поэтическія страницы, характерныя для нашего романтика, въ которомъ тогда такъ крѣпло и разгоралось религіозное чувство. Въ этомъ дневникѣ оно не принимало еще того строгаго, суроваго аскетическаго оттѣнка, который появился въ позднѣйшихъ словахъ Гоголя, когда мысль о собственной смерти начала страшить его. Эти „Ночи на виллѣ"— нѣжный гимнъ смерти, ея тихое вѣяніе, уловленное человѣкомъ, который умѣетъ понять и прочувствовать ея страшную поэзію. Нѣжный, даже приторный тонъ въ рѣчахъ, которыми обмѣниваются больной юноша и поэтъ, ловящій его послѣдніе вздохи... дыханіе весны кругомъ и желаніе принять на себя смерть своего друга и ожиданіе близкой развязки... и цѣлый рядъ летучихъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ, когда молодая душа искала дружбы и братства, когда сладко смотрѣлось очами въ очи, когда весь готовъ былъ на пожертвованія, часто даже вовсе ненужныя... Въ такомъ рядѣ поэтическихъ образовъ, настроеній и словъ давалъ себя чувствовать нашему поэту тотъ страшный посѣтитель, который нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ кончины Вьельгорскаго напугалъ его самого насмерть.

Въ 1840 году здоровье Гоголя, и вообще не цвѣтущее, сильно пошатнулось. Трудно теперь сказать, чѣмъ въ сущности онъ былъ боленъ. Самымъ тяжелымъ симптомомъ болѣзни было подавленное психическое состояніе больного. Еще въ ноябрѣ 1836 г., когда Гоголь жилъ въ Веве, докторъ отыскалъ въ немъ признаки ипохондріи, происходившей отъ геморроя, и совѣтовалъ ему развлекать себя. Въ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 606, 612.

апрѣлѣ 1837 года Гоголь признается, что на него находятъ часто печальныя мысли, которыя—по опредѣленію врачей—слѣдствіе той же ипохондріи. Эта ипохондрія, усиленная скорьбю о смерти Пушкина, гонится за нимъ по пятамъ и осенью этого же 1837 года. Черезъ годъ онъ говоритъ, что болѣзнь деспотически вошла въ его составъ и обратилась въ натуру. „Что если я не окончу труда моего?—начинаетъ онъ себя спрашивать...—О! прочь эта ужасная мысль! Она вмѣщаетъ въ себя цѣлый адъ мукъ, которыхъ не доведи Богъ вкушать смертному!“ Но отогнать эту мысль Гоголь былъ не въ силахъ; она съ этого времени настойчиво стучалась ему въ голову. „О если бы на четыре, пять лѣтъ здоровья, говорилъ онъ. И неужели не суждено осуществиться тому... много думалъ я совершить... еще донынѣ голова моя полна, а силы, силы... но Богъ милостивъ. Онъ, вѣрно, продлитъ дни мои... Несносная болѣзнь! Она меня сушитъ. Она мнѣ говоритъ о себѣ каждую минуту и мѣшаетъ мнѣ заниматься. Но я веду свою работу, и она будетъ кончена, но другія, другія... О! какіе существуютъ великіе сюжеты!“ *).

Весь 1838 годъ болѣзнь не давала Гоголю покоя. Въ 1839 году она усилилась, и настроеніе его духа, послѣ смерти Вьельгорскаго, стало очень мрачно.

Болѣзненное состояніе и тяжелое настроеніе духа держались и за все время краткаго пребыванія Гоголя въ Россіи въ концѣ 1839 г. и въ началѣ 1840 г. Ему стало легче, когда онъ выѣхалъ изъ Россіи. Дорога сдѣлала надъ нимъ свое чудо. Онъ, свѣжій и бодрый, пріѣхалъ въ Вѣну пить маріенбадскую воду. Но здѣсь, въ Вѣнѣ, болѣзнь сразу обострилась, и онъ въ первый разъ испугался смерти. Онъ самъ разсказывалъ такъ объ этомъ приступѣ болѣзни. „Лѣтомъ [1840], въ жаръ, мое нервическое пробужденіе обратилось вдругъ въ раздраженіе нервическое. Все мнѣ бросилось ра-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 414, 442, 454, 514, 519, 520, 555.

зомъ на грудь. Я испугался; я самъ не понималъ своего положенія; я бросилъ занятія, думалъ, что это отъ недостатка движенія при водахъ и сидячей жизни, пустился ходить и двигаться до усталости и сдѣлалъ еще хуже. Нервическое разстройство и раздраженіе возросло ужасно: тяжесть въ груди и давленіе, никогда дотолѣ мною не испытанное, усилилось. По счастью, доктора нашли, что у меня еще нѣтъ чахотки, что это желудочное разстройство, остановившееся пищевареніе и необыкновенное раздраженіе нервъ. Отъ этого мнѣ было не легче, потому что леченіе мое было довольно опасно, то, что могло бы помочь желудку, дѣйствовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на желудокъ. Къ этому присоединилась болѣзненная тоска, которой нѣтъ описанія. Я былъ приведенъ въ такое состояніе, что не зналъ рѣшительно, куда дѣть себя, къ чему прислониться. Ни двухъ минутъ я не могъ остаться въ покойномъ положеніи ни на постели, ни на стулѣ, ни на ногахъ. О! это было ужасно! Это была та самая тоска, то ужасное безпокойство, въ какомъ я видѣлъ бѣднаго Вьельгорскаго въ послѣднія минуты жизни! Съ каждымъ днемъ послѣ этого мнѣ становилось хуже и хуже. Наконецъ уже докторъ самъ ничего не могъ предречь мнѣ утѣшительнаго. Я понималъ свое положеніе и наскоро, собравшись съ силами, нацарапалъ, какъ могъ, тощее духовное завѣщаніе. Но умереть среди нѣмцевъ мнѣ показалось страшно. Я велѣлъ себя посадить въ дилижансъ и везти въ Италію“ *).

Сильный приступъ болѣзни и тоски на этотъ разъ прошелъ, однако, очень быстро. Физическія силы Гоголя возстановились и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ воспрянулъ духомъ. Литературная работа, пріостановленная, вновь закипѣла, міросозерцаніе просвѣтлѣло, и большой подъемъ испытало его религіозное чувство: его „великій трудъ“ былъ спасенъ на его глазахъ, и, какъ онъ былъ увѣренъ, спасенъ Божьимъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 80, 81.

вмѣшательствомъ. „Одна только чудная воля Бога воскресила меня, — писалъ онъ одной своей пріятельницѣ осенью 1840 года. Я до сихъ поръ не могу очнуться и не могу представить, какъ я избѣжалъ отъ этой опасности! Это чудное мое исцѣленіе наполняетъ душу мою утѣшеніемъ несказаннымъ: стало быть, жизнь моя еще нужна и не будетъ безполезна". „О моей болѣзни мнѣ не хотѣлось писать къ вамъ — говорилъ онъ С. Т. Аксакову — потому что это бы васъ огорчило. Теперь я пишу къ вамъ, потому что здоровъ, благодаря чудной силѣ Бога, воскресившаго меня отъ болѣзни, отъ которой, признаюсь, я не думалъ уже встать. Много чудеснаго совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни" *).

Таково было отраженіе новыхъ внѣшнихъ условій жизни на психикѣ нашего поэта. Врожденный ему культъ красоты, эстетизмъ его міросозерцанія и темперамента, если такъ можно выразиться, нашелъ себѣ большую поддержку въ той поэтической обстановкѣ, въ которой ему приходилось жить за границей; и это утопаніе въ красотѣ должно было отразиться на его талантѣ бытописателя, должно было рано или поздно навязать этому таланту извѣстную тенденцію, при которой вполнѣ объективное изображеніе жизни было трудно достижимо.

Неблагопріятна была для повѣствователя дѣлъ житейскихъ и та религіозная восторженность, которая все больше и больше охватывала душу Гоголя. Она его удаляла отъ земли и несла къ небу, и желаніе видѣть небесное здѣсь на землѣ должно было помутить ясность и зоркость его безпристрастнаго взгляда на раскинувшуюся передъ нимъ жизнь дѣйствительную.

Болѣзненное состояніе духа также мало способствовало спокойной оцѣнкѣ реальныхъ явленій и грозило гибельно

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 72, 90.

отозваться на юморѣ писателя—на этомъ самомъ сильномъ и блестящемъ оружіи его духа.

Наконецъ, все больше и больше разгоравшееся самомнѣніе, склонность любить въ себѣ не только писателя, но и наставника, должна была, въ концѣ концовъ, заставить нашего художника-наблюдателя цѣнить въ жизни не столько ея реальную внѣшность, сколько ея нравственный, внутренній смыслъ, а потому и стремиться, чтобы этотъ смыслъ—вопреки, можетъ быть, правдѣ—проступалъ наружу въ томъ или другомъ присочиненномъ образѣ или явленіи. Пророчество должно было ворваться въ хладнокровный разсказъ о видѣнномъ и слышанномъ.

Однимъ словомъ, всѣ психическія движенія мятежной души поэта были за этотъ періодъ времени [1836—1842 г.] враждебны и неблагопріятны для его таланта юмориста и бытописателя. Но этотъ талантъ передъ окончательной гибелью собралъ всѣ свои силы и одержалъ побѣду надъ враждебными ему настроеніями и мыслями художника. Это была послѣдняя побѣда, за которой послѣдовалъ упадокъ. Но никто изъ читавшихъ комедіи Гоголя, его повѣсти, написанныя и подновленныя заграницей, и „Мертвыя Души“ не могъ подозрѣвать, что этотъ упадокъ былъ такъ неизбѣженъ и близокъ.

XIII.

Литературная дѣятельность Гоголя въ 1837—1842 годахъ. — Новые планы и труды, и переработка стараго. — Крушеніе литературныхъ плановъ въ старомъ романтическомъ стилѣ.—Неудача съ «запорожской» трагедіей.— Неоконченная повѣсть «Римъ»; ея автобіографическое значеніе. — Полное торжество реализма въ творчествѣ Гоголя; окончательная отдѣлка комедій; усиленіе реальныхъ чертъ въ прежнихъ романтическихъ повѣстяхъ: «Портретъ» и «Тарасъ Бульба». — Повѣсть «Шинель»; ея грустный юморъ. — Апологія смѣха и юмора въ «Театральномъ Разъѣздѣ».

Суетливая и полная новыхъ ощущеній жизнь за границей благотворно отозвалась на литературномъ трудѣ Гоголя. Отдохнувъ отъ непріятныхъ впечатлѣній послѣднихъ мѣсяцевъ своей петербургской жизни, насладившись новизной своего положенія, какъ вольнаго странника, Гоголь очень скоро принялся за работу. За границу онъ поѣхалъ съ намѣреніемъ поработать „съ бо̀льшимъ размышленіемъ“ надъ задуманнымъ романомъ [„Мертвыя Души“], начало котораго было имъ написано еще въ Петербургѣ. Трудясь послѣдовательно, хотя и урывками, надъ этимъ произведеніемъ, Гоголь, однако, не могъ на немъ сосредоточиться. У него скоро явилось желаніе пересмотрѣть и переработать уже написанное и хотя, какъ мы видѣли, онъ и призывалъ какую-то моль, которая съѣла бы всѣ его сочиненія, но на самомъ дѣлѣ онъ поспѣшилъ оградить ихъ отъ порчи, подновивъ ихъ или передѣлавъ. Для этой цѣли онъ выписалъ

себѣ изъ Петербурга оставленныя тамъ рукописи и изданныя имъ книги.

Такимъ образомъ, литературная работа Гоголя за это время [1837 — 1842] шла одновременно въ двухъ направленіяхъ: онъ шелъ впередъ, — писалъ свой романъ и дѣлалъ еще кое-какія попытки разработать новые сюжеты, и одновременно оглядывался назадъ и исправлялъ старое. Но если въ самомъ порядкѣ работы никакой системы не было, то въ общемъ направленіи этой непослѣдовательной работы можно замѣтить очень опредѣленную художническую тенденцію. За весь этотъ періодъ времени въ творчествѣ Гоголя реализмъ беретъ рѣшительный перевѣсъ и проявляется во всей своей силѣ какъ въ новыхъ, задуманныхъ и частью выполненныхъ планахъ, такъ равно и въ передѣлкахъ стараго. Только къ концу этого времени подмѣчается вновь стремленіе художника внести въ свои творенія хорошо намъ знакомое субъективно-романтическое настроеніе, которое сказывается, напр., въ лирическихъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ“ и въ послѣднихъ главахъ переработаннаго „Тараса Бульбы“. Но прежде чѣмъ это настроеніе заволокло совсѣмъ и навсегда душу писателя [а это случилось приблизительно въ серединѣ сороковыхъ годовъ] — художникъ успѣлъ въ періодъ, о которомъ говоримъ мы [1837—1842], создать вновь и закончить нѣсколько образцовыхъ произведеній. И всѣ эти прозведенія были созданы въ стилѣ строгаго реализма.

Ознакомимся же поближе съ литературной работой Гоголя за это время наибольшаго расцвѣта его таланта—наибольшаго потому, что именно въ эти годы онъ довелъ до художественнаго совершенства всѣ свои комедіи, создалъ первую часть „Мертвыхъ Душъ“, написалъ свой самый глубокій по замыслу разсказъ „Шинель“ и исправилъ всѣ художественные недочеты двухъ лучшихъ своихъ повѣстей: „Портретъ“ и „Тарасъ Бульба“.

Первое, что должно отмѣтить въ исторіи развитія его

пріемовъ мастерства за этотъ періодъ, это—полную неудачу всѣхъ попытокъ создать что-либо новое въ прежнемъ романтическомъ стилѣ.

А Гоголь, живя за границей въ 1837—1841 годахъ, дѣлалъ такія попытки. Если не считать какого-то грандіознаго, неизвѣстно въ чемъ заключавшагося, „Левіаѳана“, надъ которымъ онъ думалъ въ Парижѣ еще въ 1836 году—и „священная дрожь пробирала его заранѣе, и онъ вкушалъ божественныя минуты“, — то безсиліе романтическаго міросозерцанія покорить себѣ его творчество въ эти годы лучше всего подтверждается неудачей двухъ литературныхъ плановъ, къ которымъ очень лежало тогда его сердце.

Однимъ изъ этихъ плановъ была задуманная Гоголемъ „запорожская“ трагедія, подъ заглавіемъ „Выбритый Усъ“. Авторъ обдумывалъ ее въ 1839 году, трудился много и былъ одно время даже увѣренъ, что она будетъ лучшимъ изъ его произведеній. Онъ стремился запастись и вновь надышаться, сколько возможно, стариной; передъ нимъ, какъ онъ признавался, проходили какъ прежде, поэтическимъ строемъ времена казачества. „Если я ничего не сдѣлаю изъ этого [сюжета], говорилъ онъ, то я буду большой дуракъ. Малороссійскія ли пѣсни, которыя теперь у меня подъ рукою, навѣяли его или на душу мою нашло само собою ясновидѣнье прошедшаго, только я чую много того, что мнѣ рѣдко случается“. Но эти планы оставались планами, и Гоголь признался, что „его трудъ — нейдетъ“ *), хотя, если вѣрить С. Т. Аксакову, говорилъ, „что драма у него вполнѣ составлена въ головѣ, и что ему будетъ достаточно двухъ мѣсяцевъ, чтобы переписать ее на бумагу“. Но нашъ мечтатель, мы знаемъ, принималъ иногда ожидаемое за настоящее. Вдохновеніе, очевидно, въ данномъ случаѣ измѣнило художнику. При всей его любви къ старинѣ, онъ не нашелъ въ себѣ прежнихъ силъ для ея воскресенія въ образахъ.

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 620. 622.

Не хватило у Гоголя силы и на то, чтобы кончить повѣсть „Римъ“, съ которой у него было связано много самыхъ дорогихъ воспоминаній. Какъ должно было развернуться содержаніе этой повѣсти—неизвѣстно, такъ какъ въ томъ видѣ, въ какомъ она передъ нами, она—недодѣланный отрывокъ безъ всякаго единства стиля. Въ ней много мастерскихъ жанровыхъ этюдовъ. Римъ въ дни карнавала, отдаленная улица вѣчнаго города съ ея типичными обывателями, чиновниками, мелкими торгашами, носильщиками и факинами, перекрестный разговоръ уличной толпы, Фигаро этого веселаго квартала—Пеппе,—все это описанія, образы, силуэты, штрихи, достойные большого мастера... Подъ итальянской одеждой мы сразу узнаемъ нашего юмориста. И этотъ юмористъ въ своемъ разсказѣ хотѣлъ показать себя намъ тѣмъ восторженнымъ лирикомъ, какимъ онъ былъ въ первые годы своей литературной дѣятельности. Въ этомъ смыслѣ „Римъ“—запоздалое произведеніе, которое, вѣроятно, потому и не было окончено, что художникъ уже не могъ найти въ себѣ прежней силы, которая была нужна не для обрисовки бытовыхъ картинъ изъ римской жизни, а для выраженія того подъема эстетическаго и религіознаго чувства, какимъ самъ писатель былъ охваченъ, когда жилъ въ Италіи. А именно этотъ-то свой личный восторгъ передъ божественной красотой и намѣревался Гоголь излить въ своемъ „Римѣ“. Героемъ разсказа былъ не вымышленный князь, упоенный красотой вѣчнаго города и Аннунціаты, а сама эта красота, какъ она воплотилась въ природѣ, въ римскомъ народѣ, въ римской красавицѣ и во всѣхъ чудесахъ торжествующаго въ Римѣ искусства. Мы знаемъ какъ Гоголь самъ былъ обвороженъ этой красотой, въ которой для него временно потонули всѣ, и житейскіе, и даже религіозные интересы.

Перескажемъ содержаніе этой повѣсти, такъ какъ она лучше, чѣмъ мемуары, письма и изложеніе фактовъ, пере-

даетъ то впечатлѣніе, какое Гоголь вынесъ изъ своей встрѣчи съ міромъ искусства за границей.

Молодой итальянскій князь, біографію котораго нашъ авторъ началъ разсказывать, не сразу разгадалъ эту великую тайну искусства; чтобы оцѣнить всю животворную силу красоты, онъ долженъ былъ пройти черезъ рядъ обольщеній, тщета которыхъ и могла ему указать на эстетическое созерцаніе, какъ на вѣрную пристань спасенія. И Гоголь заставилъ своего героя пройти эту школу обольщеній, не безъ намека на себя самого, конечно.

Прежде чѣмъ оцѣнить и понять смыслъ итальянской жизни, среди которой красота процвѣтаетъ, герой повѣсти долженъ былъ присмотрѣться къ быту иныхъ странъ, столь гордящихся своей цивилизаціей. Только послѣ этого сравненія могъ онъ съ чистымъ сердцемъ преклониться передъ своей родиной и изречь осужденіе всѣмъ инымъ интересамъ, какими живетъ Европа. Князь не мало путешествовалъ по Европѣ. „Дикое безобразіе швейцарскихъ горъ, громоздившихся безъ перспективы, безъ легкихъ далей, нѣсколько ужаснуло его взоръ, пріученный къ высоко-спокойной, нѣжащей красотѣ итальянской природы. Въ нѣмецкихъ городахъ поразилъ его странный складъ тѣла нѣмцевъ, лишенный стройнаго согласія красоты, чувство которой зарождено уже въ груди итальянца. Нѣмецкій языкъ также поразилъ непріятно его музыкальное ухо“. И очутился князь, наконецъ, въ Парижѣ, въ этомъ вѣчно волнующемся жерлѣ, водометѣ, мечущемъ искры новостей, просвѣщенія, модъ, изысканнаго вкуса и мелкихъ, но сильныхъ законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и сами порицатели ихъ. Онъ былъ пораженъ и увлеченъ этимъ вихремъ. За всѣмъ слѣдилъ онъ, за уличной жизнью, за театромъ, за литературой, за наукой. Жизнь его приняла широкій, многосторонній образъ, обнялась всѣмъ громаднымъ блескомъ европейской дѣятельности, онъ сталъ чувствовать себя членомъ великаго всемірнаго общества. Четыре года прожилъ онъ

въ этомъ водоворотѣ и... разочаровался. Онъ увидалъ, что вся эта многосторонность и дѣятельность его жизни исчезала безъ выводовъ и плодоносныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движеніи вѣчнаго его кипѣнія и дѣятельности видѣлась ему теперь страшная недѣятельность, страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Опротивѣли ему и журналистика, и книги, и литература, и театръ, и пуще всего политика. Онъ увидалъ, что вся французская нація была что-то блѣдное, несовершенное, легкій водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Вездѣ намеки на мысли, и нѣтъ самихъ мыслей; вездѣ полу-страсти и нѣтъ страстей; все не окончено, все наметано, набросано съ быстрой руки; вся нація—блестящая виньетка, а не картина великаго мастера. Хандра заволокла душу князя; онъ сталъ тосковать по Италіи и, наконецъ, вернулся на родину.

„Въ совсѣмъ иномъ свѣтѣ явилась она теперь передъ нимъ. Только теперь могъ онъ оцѣнить всю ея красоту и въ особенности красоту вѣчнаго города. Онъ находилъ въ немъ все равно прекраснымъ, и древній міръ, шевелившійся изъ-подъ темнаго архитрава, могучій средній вѣкъ, положившій вездѣ слѣды художниковъ исполиновъ и великолѣпной щедрости папъ, и, наконецъ, прилѣпившійся къ нимъ новый вѣкъ съ толпящимся новымъ народонаселеніемъ. Онъ влюбился въ этотъ храмъ искусства, гдѣ не было толковъ о понизившихся фондахъ, о камерныхъ преніяхъ, объ испанскихъ дѣлахъ: тутъ слышались рѣчи объ открытой недавно древней статуѣ, о достоинствѣ кисти великихъ мастеровъ, раздавались споры и разногласія о выставленномъ произведеніи новаго художника, толки о народныхъ праздникахъ и, наконецъ, частные разговоры, въ которыхъ раскрывался человѣкъ и которые вытѣснены изъ Европы скучными общественными толками и политическими мнѣніями, изгнавшими сердечное выраженіе съ лицъ“.

И князь упивался этимъ новымъ для него восторгомъ

передъ красотой—живой и мертвой, и понялъ онъ наконецъ, въ чемъ назначеніе его родины. Одно время онъ мечталъ о воскресеніи ея политическаго значенія, но теперь онъ почуялъ, смутясь, Великій Перстъ, начертывающій всемірныя событія. Пусть въ нищенскомъ вретищѣ очутилась Италія и печальными отрепьями висятъ на ней куски ея померкнувшей царственной одежды, — она не умерла и слышится ея неотразимое вѣчное владычество надъ всѣмъ міромъ; надъ нею вѣчно вѣетъ ея великій геній. Пусть политическое ея вліяніе исчезло,—ея геній развернулся надъ міромъ торжественными дивами, искусствами, подарившими человѣку невѣдомыя наслажденія и божественныя чувства... И понялъ князь, что самой ветхостью и разрушеніемъ своимъ Италія грозно владычествуетъ нынѣ въ мірѣ. „Чудное собраніе отжившихъ міровъ и прелесть соединенія ихъ съ вѣчно цвѣтущей природой,—все существуетъ для того, чтобы будить міръ, чтобы жителю сѣвера, какъ сквозь сонъ, представлялся иногда этотъ югъ, чтобы мечта о немъ вырывала его изъ среды холодной жизни, преданной занятіямъ, очерствляющимъ душу, вырывала бы его оттуда, блеснувъ ему нежданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при лунѣ, прекрасно умирающей Венеціей, невидимымъ небеснымъ блескомъ и теплыми поцѣлуями чудеснаго воздуха — чтобы хоть разъ въ жизни былъ онъ прекраснымъ человѣкомъ“...

Князь примирился съ паденіемъ своего отечества и полюбилъ свой народъ, въ которомъ сталъ видѣть матеріалъ еще непочатый, этотъ младенчески-благородный народъ, съ характеромъ смѣшаннымъ изъ добродушія и страстей, народъ со свѣтлой непритворной веселостью, которой нѣтъ у другихъ народовъ. Онъ оцѣнилъ въ немъ черты природнаго художественнаго инстинкта, онъ полюбилъ его за чувство справедливости, которое сохранилось въ немъ несмотря на нелѣпость правительственныхъ постановленій и безсмысленную кучу всякихъ законовъ, накопившихся Богъ вѣсть

съ какого времени. Онъ вѣрилъ, что для этого народа готовится какое-то поприще впереди. Европейское просвѣщеніе какъ будто съ умысломъ не коснулось его и не водрузило въ грудь ему своего холоднаго усовершенствованія...

Князь утопалъ въ надеждахъ на будущее и въ спокойномъ созерцаніи настоящаго, и случай захотѣлъ, чтобы сама красота предстала его очамъ въ человѣческомъ образѣ. Онъ мелькомъ, случайно, увидалъ Аннунціату. „Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскрывъ черныя, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потопомъ блеска: таковы очи у альбанки Аннунціаты. Густая смола волосъ тяжеловѣсной косою вознеслась въ два кольца надъ головой и четырьмя длинными кудрями разсыпалась по шеѣ. Какъ ни поворотитъ она сіяющій снѣгъ своего лица — образъ ея весь отпечатлѣлся въ сердцѣ. Но чудеснѣе всего, когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивъ хладъ и замиранье въ сердце. Полный голосъ ея звенитъ, какъ мѣдь. Никакой гибкой пантерѣ не сравниться съ нею въ быстротѣ, силѣ и гордости движеній. Все въ ней—вѣнецъ созданья".

И князь влюбился въ это чудо природы... Онъ погнался за нимъ, чтобы наглядѣться на него; онъ сталъ отыскивать его всюду, ...и вотъ въ поискахъ своихъ за этимъ чудеснымъ видѣньемъ ему однажды случилось взглянуть на Римъ при закатѣ солнца. „Вѣчный городъ открылся предъ нимъ во всемъ своемъ великолѣпіи, во всей своей чудной сіяющей панорамѣ домовъ, церквей, куполовъ, остроконечій. Надъ всей сверкающей массой темнѣли вдали своей черной зеленью верхушки каменныхъ дубовъ изъ сосѣднихъ виллъ и цѣлымъ стадомъ стояли надъ нимъ въ воздухѣ куполообразныя верхушки римскихъ пиннъ, поднятые тонкими стволами. Во всю длину всей картины возносились и голубѣли прозрачныя горы, легкія, какъ воздухъ, объятыя какимъ-то фосфорическимъ свѣтомъ. Солнце опускалось ниже къ землѣ: румянѣе и жарче сталъ блескъ его на всей архи-

тектурной массѣ: еще живѣй и ближе сдѣлался городъ; еще темнѣй зачернѣли поляны; еще голубѣе и фосфорнѣе стали горы; еще торжественнѣй и лучше готовый погаснуть небесный воздухъ... Боже! Какой видъ! Князь объятый имъ, позабылъ и себя, и красоту Аннунціаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свѣтѣ"..

И въ этомъ созерцательномъ настроеніи покинулъ Гоголь своего князя. Все, даже чувство загоравшейся любви, умолкло передъ красотой, и эстетикъ впалъ въ оцѣпенѣніе передъ ликомъ своего Бога... Нельзя, конечно, поставить на счетъ Гоголя всѣ слова князя и все, что объ этомъ князѣ говорится. Гоголь дошелъ до Рима путемъ болѣе короткимъ, и въ Парижѣ не замѣшкался. Ему не нужно было разочаровываться въ политикѣ, которой онъ никогда очарованъ не былъ. Но во всемъ остальномъ мы узнаемъ въ князѣ нашего романтика, который грѣлся подъ итальянскимъ небомъ. Всепоглощающая любовь къ красотѣ, религіозное чувство, умиленіе передъ стариной, сентиментальный взглядъ на народную массу, преклоненіе передъ ослѣпительной красотой женщины и это утопаніе въ нѣжныхъ ощущеніяхъ чего-то далекаго, неземного и безстрастнаго—все это намъ уже встрѣчалось и въ характерѣ, и въ мысляхъ, и въ словахъ нашего писателя. Въ Италіи всѣ эти романтическія чувства въ немъ оживились, онъ хотѣлъ одѣть ихъ въ плоть и кровь въ своемъ „Римѣ"... но сила художника ему измѣнила, и повѣсть осталась неоконченной.

Талантъ Гоголя былъ однако въ полной силѣ, но только нужны были иные, не такіе романтическіе сюжеты, чтобы эта сила могла свободно развернуться.

Этотъ все болѣе и болѣе расцвѣтавшій талантъ бытописателя, талантъ, стремившійся къ возможно тѣсному сліянію правды въ искусствѣ съ правдой жизни—сказался не только на крушеніи плановъ, задуманныхъ въ старомъ романтическомъ стилѣ, но и на передѣлкѣ уже написанныхъ прежнихъ повѣстей и комедій. Во всѣхъ этихъ переработкахъ

ясно проступаетъ тенденція сблизить какъ можно тѣснѣе искусство и жизнь. Детальная отдѣлка комедій—„Женитьбы“, „Ревизора“ и остатковъ отъ „Владиміра третьей степени“—была вся направлена къ тому, чтобы сдѣлать эти, и безъ того жизненныя пьесы, какъ можно болѣе правдоподобными. Авторъ мѣнялъ сценарій, мѣнялъ реплики и все оставался недоволенъ не типами и не фабулой, а именно естественностью въ рѣчахъ и положеніяхъ своихъ героевъ; зато, когда всѣ эти передѣлки въ 1842 году были закончены, пьесы Гоголя стали образцами истинно-художественныхъ комедій, народныхъ и бытовыхъ.

Любопытнѣе, впрочемъ, чѣмъ эта окончательная работа надъ комедіями, была переработка прежнихъ романтическихъ повѣстей, которая урывками занимала Гоголя за границей. Еще до того времени, когда ему пришла мысль издать полное собраніе своихъ сочиненій, онъ задумалъ передѣлать двѣ повѣсти, нѣкогда съ большой любовью имъ написанныя. Это были—„Портретъ“ и „Тарасъ Бульба“ *).

Обѣ повѣсти, романтическія по замыслу и выполненію, подверглись очень обстоятельной передѣлкѣ. Она не коснулась, впрочемъ, сущности сюжета и была направлена исключительно на детали, въ интересахъ все того же торжествующаго реализма. Наиболѣе существенныя перемѣны испытала повѣсть „Портретъ“.

Основная ея идея — контрастъ истиннаго вдохновенія и ремесла—осталась неизмѣненной, но реальный элементъ въ повѣсти былъ значительно усиленъ.

Типъ художника, опустившагося до ремесла, былъ вырисованъ съ бо̀льшей тщательностью и исторія вырожденія его артистической души разсказана болѣе обстоятельно. Фантастическій элементъ былъ значительно смягченъ въ угоду правдоподобности: онъ не исчезъ совсѣмъ изъ по-

*) Начало работъ надъ второй редакціей «Портрета» въ 1837 г. Окончаніе въ 1841 г. Начало переработки «Тараса Бульбы» въ 1838 г., окончаніе въ 1842 г.

вѣсти, потому что иначе пострадала бы завязка, но все ненужное, несущественное въ немъ было устранено. Исторія продажи портрета и его появленія на квартирѣ Черткова была разсказана вполнѣ правдоподобно; таинственное ночное появленіе старика ростовщика у постели художника было мотивировано, какъ вполнѣ понятный кошмаръ; исчезновеніе портрета на аукціонѣ объяснено также какъ вполнѣ возможная кража. Наконецъ, и преступленію того художника, который писалъ дьявольскій портретъ, подыскано иное объясненіе, психологически болѣе тонкое. Грѣхъ художника заключался не въ томъ, что онъ сохранилъ на холстѣ черты антихриста [объ антихристѣ въ этой второй редакціи „Портрета“ нѣтъ упоминанія], а въ томъ, „что художникъ не чувствовалъ никакой любви къ своей работѣ, что онъ насильно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ, что произведеніе его не было созданіе искусства и потому чувства, которыя обнимали всѣхъ при взглядѣ на него, были мятежными и тревожными чувствами“.

Но самое характерное измѣненіе въ новой редакціи „Портрета“ испытала одна мысль, которая въ первоначальной редакціи была, какъ мы знаемъ, подчеркнута авторомъ очень рѣшительно. Тогда, когда онъ впервые заинтересовался этимъ сюжетомъ, онъ былъ восторженный романтикъ и онъ боялся, какъ бы искусство не проиграло отъ слишкомъ тѣснаго сближенія съ жизнью. Онъ, описывая непріятное впечатлѣніе, произведенное портретомъ на зрителя, спрашивалъ себя тогда, отчего переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ—говорилъ онъ—наконецъ, дѣйствительность, та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе со свой оси какимъ-то посторонним толчкомъ, та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ея тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ

ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? *). Въ новой редакціи этотъ страхъ передъ слишкомъ реальнымъ искусствомъ значительно смягченъ: вина художника не въ томъ, что онъ слишкомъ близко подошелъ къ жизни, а въ томъ, что онъ „рабски, буквально подражалъ натурѣ, неумѣло подошелъ къ ней". Описывая то же непріятное впечатлѣніе, произведенное портретомъ, Гоголь теперь видоизмѣнилъ свою мысль. „Или рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ крикомъ? спрашивалъ онъ. Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно предстанетъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренный свѣтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность и видишь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ-то свѣту — и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія; напротивъ, кажется, какъ будто насладился, и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ тебя?"

Какъ видимъ, авторъ измѣнилъ свою прежнюю точку зрѣнія: страшна для искусства не дѣйствительность, хотѣлъ онъ сказать; и опасность грозитъ художнику не отъ предмета, который избралъ онъ, а отъ недостатка истинно-художественнаго къ нему отношенія. И эту же мысль настойчиво повторилъ теперь Гоголь во второй редакціи своей повѣсти устами того живописца, который согрѣшилъ противъ искусства, уже не тѣмъ, что нарисовалъ портретъ со злого оригинала, а тѣмъ, что рисовалъ его, не любя, безъ вдохновенія. „Изслѣдуй, изучай все, что ни видишь,— говорилъ этотъ живописецъ въ наставленіе своему сыну,—

*) См. выше, стр. 180.

покори все кисти; но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданія. Блаженъ избранникъ, владѣющій ею. *Нѣтъ ему низкаго предмета въ искусствѣ.* Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души..."

Такъ писалъ нашъ художникъ, когда сквозь чистилище его собственной души проходило все презрѣнное и ничтожное русской жизни. Онъ какъ будто оправдывался и передъ читателемъ, и передъ самимъ собой въ выборѣ своихъ чисто реальныхъ темъ. И, дѣйствительно, Гоголь, въ эти годы, при каждомъ удобномъ случаѣ стремился разсужденіемъ поддержать реальное направленіе своего творчества; и, какъ видимъ, онъ даже въ старыя повѣсти вставлялъ такія разсужденія...

Стремленіе сблизить искусство съ жизнью сказалось и на тѣхъ передѣлкахъ, какимъ подверглась другая любимая повѣсть нашего писателя—„Тарасъ Бульба".

Эта переработка также не коснулась ни основной завязки разсказа, ни характеристики главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Вниманіе автора, который теперь, кстати сказать, перечитывалъ Вальтеръ-Скотта, было направлено лишь на то, чтобы согласовать свое повѣствованіе какъ можно больше съ исторической правдой того времени, о которомъ онъ разсказывалъ.

Къ этому старому времени, къ этой своей старой любви Гоголь опять вернулся въ 1839 году и началъ вчитываться въ памятники малорусской старины и въ изслѣдованія, старыя и новыя, посвященныя малороссійской исторіи. Очень многое для второй редакціи „Бульбы" дали малороссійскія пѣсни и лѣтописцы, и картина казацкой жизни въ сѣчи и въ походѣ обогатилась многими подробностями. Реальный

колоритъ повѣсти значительно выигралъ отъ этихъ деталей, равно какъ и отъ смягченія нѣкоторыхъ ультра-романтическихъ описаній казацкихъ подвиговъ, которые въ первой редакціи были выдержаны въ сказочномъ тонѣ; болѣе тонкой и правдивой стала и психологическая мотивировка основной сентиментальной любовной интриги.

При всѣхъ этихъ уступкахъ реализму повѣсть все-таки осталась романтической по стилю, возвышенной по настроенію, и въ новомъ своемъ видѣ была также похожа скорѣй на длинную балладу, чѣмъ на эпическій разсказъ, тѣмъ болѣе, что Гоголь усилилъ во второй редакціи „Бульбы“ патріотическій и религіозный мотивъ, уже достаточно ясно проступавшій и въ первой. Едва ли Бульба, умирая, могъ самъ отъ себя грозить въ такихъ словахъ „чортовымъ ляхамъ“: „Придетъ время, узнаете вы, что такое православная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальные и близкіе народы: подымется изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорилась ему“ *). Но несмотря на такое вторженіе лиризма, вторая редакція „Бульбы“, какъ и всѣ переработки стараго, говоритъ лишь о желаніи Гоголя писать какъ можно точнѣе съ натуры, хотя бы въ данномъ случаѣ—съ мертвой.

Одновременно съ этими попытками передѣлать прежнія романтическія повѣсти и бытовыя комедіи, приближая ихъ по возможности къ типу повѣстей и комедій самыхъ жизненныхъ и реальныхъ, Гоголь въ эти же годы былъ занятъ и иными, новыми, весьма разносторонними литературными планами. Часть ихъ была задумана еще въ Петербургѣ, другіе пришли ему въ голову за границей. Все, что было задумано раньше, Гоголь закончилъ, какъ, напр., первую часть „Мертвыхъ Душъ“, повѣсть „Шинель“, и „Театральный Разъѣздъ“; все прочее осталось недодѣланнымъ, а иногда просто добрымъ желаніемъ. Отъ романтической за-

*) Подробное сличеніе двухъ редакцій «Бульбы» дано въ X-мъ изданіи сочиненій Н. В. Гоголя въ примѣчаніяхъ Н. С. Тихонравова, I, 569—677.

порожской драмы, мы видѣли, ничего не осталось, кромѣ жалкихъ набросковъ; „Римъ“ оконченъ не былъ, „Левіаѳанъ“ остался мечтой; такой же мечтой былъ и планъ написать кое-что изъ „нѣмецкой жизни, что должно было быть очень смѣшно“ *), по увѣренію самого автора; отъ двухъ какихъ-то бытовыхъ повѣстей, которыя онъ задумалъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ, до насъ дошли также ничтожные клочья, ничего не говорящіе объ ихъ содержаніи; и только переводъ незначительной комедіи итальянца Жиро, „Дядька въ затруднительномъ положеніи“ **), успѣлъ Гоголь старательно выправить, торопясь послать ее своему другу Щепкину для бенефиса.

Новое не давалось, и вся сила художника ушла на выполненіе задуманнаго раньше. Эта сила юмориста и бытописателя, одерживая пока верхъ надъ враждебными ей сентиментально романтическими мыслями и настроеніями поэта, развернулась вполнѣ свободно въ трехъ памятникахъ истинно-реальнаго творчества—въ повѣсти „Шинель“, въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ и въ первой части „Мертвыхъ Душъ“.

Разсказъ „Шинель“ былъ задуманъ Гоголемъ въ 1834 году и возникъ, какъ извѣстно, изъ „канцелярскаго анекдота о какомъ-то чиновникѣ, страстномъ охотникѣ за птицей, который необычайной экономіей и неутомимыми усиленными трудами сверхъ должности накопилъ сумму, достаточную на покупку хорошаго лепажевскаго ружья рублей въ 200. Въ первый разъ, какъ на маленькой своей лодочкѣ пустился онъ по Финскому заливу за добычей, положивъ драгоцѣнное ружье передъ собой на носъ, онъ находился, по его собственному увѣренію, въ какомъ-то самозабвеніи и пришелъ въ себя только тогда, какъ, взглянувъ на носъ, не увидалъ своей обновки. Ружье было стянуто въ воду гу-

*) Гоголю пришла эта мысль въ голову тотчасъ, какъ онъ покинулъ Россію въ 1836 году.

**) Переводъ былъ сдѣланъ, по указанію Гоголя русскими художниками въ Римѣ, въ 1840 году.

стымъ тростникомъ, черезъ который онъ гдѣ-то проѣзжалъ, и всѣ усилія отыскать его были тщетны. Чиновникъ возвратился домой, легъ въ постель и уже не вставалъ; онъ схватилъ горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавшихъ о происшествіи и купившихъ ему новое ружье, возвращенъ онъ былъ къ жизни". Этотъ комичный анекдотъ и послужилъ нашему автору канвой для его глубокотрагичной повѣсти, которую онъ въ 1836 году въ черновомъ видѣ читалъ Смирновой и Пушкину, но окончательно отдѣлалъ лишь за границей [1839—1842].

Значеніе этой повѣсти въ исторіи нашей словесности совсѣмъ особенное. Она—первый по времени и одинъ изъ самыхъ законченныхъ опытовъ того рода произведеній, которыя затѣмъ были очень распространены и имѣли большую общественную цѣнность. Это—страничка изъ исторіи „униженныхъ и оскорбленныхъ", тѣхъ самыхъ, которыхъ непосредственно послѣ Гоголя принялъ подъ свою защиту Достоевскій. На Западѣ эта защита меньшаго брата, на бумагѣ и на дѣлѣ, началась приблизительно въ эти же годы, вмѣстѣ съ ростомъ и быстрымъ распространеніемъ соціалистическихъ идей. У насъ, въ данномъ случаѣ совсѣмъ отъ Запада независимо, тенденція заинтересовать общество въ пользу тѣхъ, кого оно совсѣмъ не замѣчаетъ и не слышитъ, была впервые проведена Гоголемъ въ его „Шинели" и тѣ, которые говорили, что именно съ этой повѣсти должно вести исторію нашей „обличительной" литературы были не совсѣмъ неправы. Надо помнить только, что въ разсказѣ Гоголя сила обличенія значительно уступаетъ силѣ мягкаго жалостливаго чувства. Авторъ заставляетъ насъ прожить вмѣстѣ съ Акакіемъ Акакіевичемъ всѣ замѣчательныя минуты его жизни; мы съ нимъ и на чердакѣ, гдѣ онъ отъ каждаго рубля откладываетъ по грошу въ небольшой ящичекъ, гдѣ онъ каждые полгода ревизуетъ накопившуюся мѣдную сумму и замѣняетъ ее мелкимъ серебромъ, гдѣ онъ мерзнетъ и не доѣдаетъ, не жжетъ свѣчей, сни-

маетъ съ себя платье, чтобы оно не занашивалось и сидитъ въ демикотоновомъ халатѣ, гдѣ онъ питается „духовно нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели“... мы съ нимъ въ департаментѣ, гдѣ на него обращаютъ вниманіе столько же, сколько на пролетѣвшую муху, гдѣ издѣваются надъ нимъ и сыплютъ ему на голову бумажки, и гдѣ онъ сидитъ, годы сидитъ и съ любовью выводитъ буквы или откладываетъ бумаги, съ которыхъ для собственнаго удовольствія хочетъ снять копію.

Онъ, какъ живой, передъ нами у портного, въ эти единственные праздничные дни его жизни, когда онъ отъ сомнѣній и страховъ переходитъ къ надеждѣ, когда мечтаетъ о куницѣ на воротникъ, и, наконецъ, покупаетъ и сукно, и коленкоръ и кошку, которую издали можно всегда принять за куницу... Смѣшонъ онъ во всѣхъ этихъ положеніяхъ, но читая повѣсть, никакъ нельзя подавить въ себѣ слезъ и ни къ одному изъ произведеній Гоголя не подходитъ такъ извѣстное выраженіе „смѣхъ сквозь слезы“ въ прямомъ, не переносномъ смыслѣ, какъ къ „Шинели“. Дѣйствительно, изображеніе физическаго ужаса, который охватываетъ Акакія Акакіевича на площади, когда съ него стаскиваютъ шинель, его ночное бѣгство – рядъ очень смѣшныхъ положеній, отъ которыхъ становится однако жутко и страшно. Весь нравственный ужасъ несчастнаго чиновника при встрѣчѣ съ высокопоставленнымъ лицомъ, у котораго для подчиненныхъ были всего три фразы: „какъ вы смѣете? Знаете ли вы, съ кѣмъ вы говорите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами“, сцена, когда нашего чиновника выносятъ замертво, пораженнаго и оглушеннаго лицезрѣніемъ генерала и бесѣдою съ нимъ—также комическія положенія, которыя однако не вызываютъ даже и улыбки; наконецъ послѣднія минуты—бредъ Акакія Акакіевича, этотъ докторъ съ практическими совѣтами о заказѣ сосноваго, а не дубоваго гроба, эта хозяйка, которая крестится, слыша какъ нашъ чиновникъ въ бреду сквернохульничаетъ и притомъ такъ, что самыя страш-

ныя слова слѣдуютъ непосредственно за словомъ „ваше превосходительство“ и, наконецъ, наслѣдство Акакія Акакіевича—пучокъ гусиныхъ перьевъ, десть бѣлой казенной бумаги, три пары носковъ, двѣ-три пуговицы, оторвавшихся отъ панталонъ—все это смѣшно и до слезъ грустно. Грустно и тяжело стало и автору отъ собственной иронiи и въ концѣ повѣсти онъ смѣнилъ ее на столь имъ любимую элегію: „И Петербургъ, заканчивалъ онъ свою повѣсть, остался безъ Акакія Акакіевича, какъ будто бы въ немъ его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя вниманія и естествонаблюдателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и разсмотрѣть ее въ микроскопъ,—существо, переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго все же таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь, и на которое такъ же потомъ нестерпимо обрушилось несчастье, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего!“ Такъ говорилъ авторъ, помогая читателю стать на должную точку зрѣнія при оцѣнкѣ этой повѣсти, смыслъ которой, какъ основательно могъ опасаться Гоголь, былъ вовсе не общедоступенъ. Вѣроятно съ тою же цѣлью, чтобы облегчить читателю пониманіе столь необычнаго для тѣхъ годовъ произведенія, авторъ и въ началѣ повѣсти вставилъ эпизодъ о молодомъ человѣкѣ, котораго такъ сразили слова Акакія Акакіевича: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ „И въ этихъ проникающихъ словахъ — пояснялъ авторъ — звенѣли другія слова: „я братъ твой“. И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго

свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ". Можетъ быть для удовлетворенія нравственнаго чувства было къ этой реальной повѣсти присочинено и странное фантастическое окончаніе, въ которомъ разсказывалось, какъ Акакій Акакіевичъ, уже мертвый, содралъ въ отместку шубу съ плеча того самаго значительнаго лица, которое такъ любило кричать на подчиненныхъ. Послѣ встрѣчи съ мертвецомъ генералъ сталъ кричать рѣже.

Это фантастическое окончаніе, къ повѣсти произвольно приставленное, написано Гоголемъ чрезвычайно умѣло, совсѣмъ въ иномъ тонѣ, чѣмъ его прежніе фантастическіе разсказы. Къ фантастическому въ „Шинели" примѣшано столько юмора, насмѣшки и смѣха, столько сдѣлано въ немъ намековъ на возможное правдоподобное объясненіе всей чепухи, которая творится съ шинелями въ Петербургѣ у Калинкина моста, что это фантастическое совершенно затеривается въ юмористическомъ и утрачиваетъ свой романтическій характеръ. Авторъ пользуется этимъ чудеснымъ лишь въ интересахъ маленькихъ жанровыхъ сценокъ, какими онъ заканчиваетъ свою повѣсть.

Такъ силенъ былъ нашъ писатель какъ художникъ, когда, покидая старую манеру, давалъ полный ходъ своему таланту наблюдателя и юмориста.

Кто пожелаетъ однако измѣрить силу этого таланта во всемъ его объемѣ, тотъ можетъ увѣренно развернуть на любой страницѣ трагикомическую поэму о „Мертвыхъ Душахъ".

И къ этой поэмѣ должны мы теперь обратиться, къ этому послѣднему слову художника, слову, въ которое онъ стремился втѣснить столь глубокій смыслъ, что для полнаго его обнаруженія силъ человѣческихъ не хватило.

Но прежде, чѣмъ говорить объ этой поэмѣ, нужно вспомнить еще объ одномъ драматическомъ этюдѣ Гоголя, этюдѣ очень своеобразномъ и полномъ самыхъ интимныхъ признаній. Это—уже извѣстный намъ „Театральный Разъѣздъ"

послѣ представленія новой комедіи". Мысль о немъ зародилась, какъ мы помнимъ, чуть ли не на первомъ представленіи „Ревизора"; но „Разъѣздъ" былъ отдѣланъ лишь въ концѣ 1842 года, когда всѣ только-что перечисленные литературные труды заграничнаго періода были окончены и первая часть „Мертвыхъ Душъ" уже вышла изъ печати. „Театральнымъ Разъѣздомъ" Гоголь закончилъ свою литературную дѣятельность—самъ того не подозрѣвая.

Думалъ онъ надъ этой пьесой долго, и не спѣшилъ ея окончаніемъ, имѣя на то свои причины. Онъ собирался издать полное собраніе своихъ сочиненій и хотѣлъ этой комедіей заключить его. И, дѣйствительно, она была вполнѣ на своемъ мѣстѣ какъ заключительное слово въ полномъ собраніи всего, что Гоголемъ было написано.

Во-первыхъ, въ ней блеснулъ со всей яркостью его вполнѣ созрѣвшій талантъ драматурга. Обработать въ формѣ живой комедіи такой сухой сюжетъ, какъ перечень разныхъ мнѣній и толковъ публики—для этого нужно было быть большимъ мастеромъ. Обрисовать такую массу лицъ двумя, тремя штрихами, каждому придать оригинальную физіономію и своеобразную рѣчь, для этого нужно было въ совершенствѣ владѣть драматической техникой, и имѣть удивительно острый слухъ и зоркое зрѣніе. Вся эта толпа непризванныхъ судей живетъ предъ нами; мы ее видимъ, мы съ ней толчемся въ сѣняхъ театра... ни шаржа, ни декламаціи, ни скучныхъ длиннотъ.

И вмѣстѣ съ тѣмъ эта пьеса—откровенное признаніе сатирика, самозащита смѣльчака, который заговорилъ о дѣйствительной, простой, всѣмъ извѣстной жизни иначе, чѣмъ принято было говорить о ней. Гоголь, авторъ „Театральнаго Разъѣзда", былъ уже не авторъ „Ревизора" только, а сатирикъ и юмористъ болѣе широкаго полета. Предчувствовалъ ли онъ, что этотъ сатирическій смѣхъ, которымъ онъ умѣлъ будить столько нѣжныхъ и злобныхъ чувствъ, скоро замретъ въ немъ, или, наоборотъ, не предвидя этого

крушенія, былъ ли онъ преисполненъ гордаго сознанія своей силы, но только въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ онъ пригрозилъ читателю своимъ смѣхомъ, и рѣчь его была необычайно увѣренна и откровенна.

„Хорошо,—говорилъ онъ, думая одновременно и о дѣйствующихъ лицахъ своей комедіи и о герояхъ „Мертвыхъ Душъ“—хорошо, что не выведенъ на сцену честный человѣкъ. Самолюбивъ человѣкъ: выстави ему при множествѣ дурныхъ сторонъ одну хорошую, онъ уже гордо выйдетъ изъ театра“. Но развѣ въ самомъ дѣлѣ передъ глазами зрителей проходятъ одни только смѣшные и порочные люди? Почему никто не хочетъ замѣтить честнаго лица? А такое лицо есть. Это честное благородное лицо—*смѣхъ*. Онъ благороденъ потому, что рѣшился выступить, несмотря на низкое значеніе, которое дается сму въ свѣтѣ. Онъ благороденъ, потому что рѣшился выступить, несмотря на то, что доставилъ обидное прозваніе комику—прозваніе холоднаго эгоиста и заставилъ даже усумниться въ присутствіи нѣжныхъ движеній души его. „Я,—продолжалъ Гоголь,—я служилъ этому смѣху честно и потому долженъ стать его заступникомъ. Нѣтъ, смѣхъ значительнѣй и глубже, чѣмъ думаютъ,—не тотъ смѣхъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ болѣзненнымъ расположеніемъ характера; не тотъ даже легкій смѣхъ, служащій для празднаго развлеченія и забавы людей, но тотъ смѣхъ, который весь излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка—излетаетъ изъ нея потому, что на днѣ ея заключенъ вѣчно бьющій родникъ его, который углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проницающей силы котораго, мелочь и пустота жизни не испугали бы такъ человѣка. Нѣтъ, несправедливы тѣ, которые говорятъ, будто возмущаетъ смѣхъ. Возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы возмутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ своей; но, озаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. И тотъ,

кто бы понесъ мщеніе противу злобнаго человѣка, уже почти мирится съ нимъ, видя осмѣянными низкія движенія души его. Нѣтъ, засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна глубоко добрая душа. Но не слышатъ [люди] могучей силы такого смѣха: „что смѣшно, то низко“, говоритъ свѣтъ; только тому, что произносится суровымъ, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названіе высокаго“...

„Бодрѣй же въ путь!—восклицалъ авторъ, заканчивая свою пьесу и вмѣстѣ съ ней первое полное собраніе своихъ сочиненій. И да не смутится душа отъ осужденій, но да пріиметъ благодарно указанія недостатковъ, не омрачаясь даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеніяхъ и въ святой любви къ человѣчеству. Въ глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться горячія искры вѣчной могучей любви. И почему знать, можетъ быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ какъ исполинъ, среди бѣдъ,—въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ“...

Такимъ смѣхомъ сквозь слезы смѣялся нашъ сатирикъ въ своихъ зрѣлыхъ повѣстяхъ, какъ, напр., въ „Запискахъ сумасшедшаго“, „Невскомъ Проспектѣ“, „Шинели“, и такимъ благороднымъ смѣхомъ въ своихъ комедіяхъ. Но если мы хотимъ въ этомъ смѣхѣ уловить голосъ душевнаго сокрушенія о ближнемъ, голосъ человѣка, которому страшно за ближняго, но притомъ голосъ всетаки бодрый, сильный своей правдой, то мы найдемъ его въ „Мертвыхъ Душахъ“.

XIV.

Работа надъ «Мертвыми Душами»: быстрый ростъ сюжета.—Планъ поэмы; отраженіе на немъ поэтическихъ, патріотическихъ и религіозныхъ взглядовъ автора.—Первая часть «Мертвыхъ Душъ»; царство ничтожныхъ людей и обѣщанія автора.—Вторая часть «Мертвыхъ Душъ» и частичное исполненіе обѣщаннаго.

Работа надъ „Мертвыми Душами“ была для автора великой радостью и великой печалью. Никогда не испытывалъ онъ такого возвышеннаго наслажденія и довольства собой, какъ въ тѣ дни, когда цѣлыя страницы поэмы ложились вольно и плавно на бумагу, и никогда не страдалъ онъ такъ, какъ въ тѣ долгіе годы, когда приходилось ждать вдохновенія по мѣсяцамъ, передѣлывать написанное безконечное число разъ, и все это затѣмъ, чтобы передъ смертью бросить въ каминъ все, чѣмъ онъ жилъ послѣднія печальныя десять лѣтъ своей жизни.

Исторія „Мертвыхъ Душъ“—исторія писательской агоніи ихъ автора; разсказъ о томъ, какъ великій талантъ не совладалъ съ великой задачей и послѣ первой рѣшительной побѣды былъ осужденъ на долголѣтнюю безплодную работу, которая держала его все въ томъ же отдаленіи отъ намѣченной цѣли. Эта работа занимала Гоголя въ продолженіе 16-ти лѣтъ, съ 1835 года, когда онъ набросалъ первыя страницы поэмы, до начала 1852 года, когда онъ скончался.

Изъ этихъ шестнадцати лѣтъ,—конечно, при посторонней работѣ—шесть лѣтъ [1835—1842] ушло на созданіе первой части поэмы и остальныя десять на попытки присочинить ей продолженіе.

Мы издавна привыкли раздѣлять въ нашемъ представленіи оконченную и неоконченную часть этого единаго цѣлаго и, конечно, какъ памятники искусства, первая часть „Мертвыхъ Душъ“ и тѣ отрывки, которые уцѣлѣли отъ второй—величины несоизмѣримыя; но все-таки обѣ части представляютъ собою нѣчто цѣльное, и въ умѣ самого автора онѣ были неразрывно связаны еще въ тѣ годы, когда онъ только приступалъ къ работѣ. Разница въ выполненіи, равно какъ и въ общемъ замыслѣ первой части поэмы и ея продолженія вытекла изъ неуловимо тонкихъ психическихъ движеній, сопровождавшихъ въ душѣ автора ту борьбу, которую вели въ немъ его романтическое, сентиментально-религіозное міросозерцаніе, окрѣпшее за границей, и его талантъ реалиста-бытописателя, талантъ, который пока побѣдоносно выдерживалъ натискъ этого враждебнаго міросозерцанія, а затѣмъ сталъ постепенно дѣлать ему уступки. И въ первой части „Мертвыхъ Душъ“ замѣтны уже такія уступки, хотя и во второй части попадаются еще цѣлыя страницы, написанныя съ прежнимъ неподражаемымъ мастерствомъ реальной живописи.

По мысли автора „Мертвыя Души“ должны были быть „поэмой“, въ которой Россія явилась бы во всемъ разнообразіи ея государственной и соціальной жизни, со всѣми свѣтлыми и темными ея сторонами. Авторъ хотѣлъ воскресить въ новой формѣ старый эпосъ и, вѣроятно, не безъ намека на гомеровы пѣсни, назвалъ свой романъ—поэмой. Общій планъ этой поэмы пришелъ автору въ голову, конечно, не сразу и съ годами принялъ очень странное направленіе. Эпическій разсказъ, вначалѣ безпристрастный, переходилъ мало-по-малу въ проповѣдь нравственныхъ истинъ, и желаніе изобразить Россію со всѣхъ сторонъ,

замѣнялось у автора постепенно желаніемъ сказать людямъ нѣчто вообще для ихъ души и жизни весьма полезное.

Гоголь не любилъ говорить о своихъ литературныхъ планахъ, но онъ былъ такъ увлеченъ „Мертвыми Душами“, что часто въ письмахъ нарушалъ обычное молчаніе, и далъ намъ такимъ образомъ возможность прослѣдить, какія постепенныя видоизмѣненія испыталъ планъ его поэмы.

Анекдотъ, положенный въ основу поэмы, былъ данъ Гоголю Пушкинымъ, т.-е. не подаренъ, а, кажется, по необходимости уступленъ. Пушкинъ самъ хотѣлъ воспользоваться разсказомъ о покупкѣ мертвыхъ душъ для своей собственной литературной работы. но Гоголь, услыхавъ этотъ разсказъ отъ него, поспѣшилъ со своей обработкой; и когда онъ прочиталъ начало своего романа Пушкину, то Пушкинъ увидѣлъ, что въ рукахъ Гоголя этотъ матеріалъ будетъ производительнѣе, чѣмъ въ его собственныхъ, и уступилъ его. Пушкинъ же совѣтовалъ Гоголю воспользоваться для этой работы и тѣми путевыми записками, какія Гоголь велъ лѣтомъ 1835 года, когда ѣздилъ въ Малороссію. Этими записками Гоголь, дѣйствительно, пользовался при первоначальной работѣ надъ поэмой *).

Онъ сталъ писать ее, по словамъ С. Т. Аксакова, только какъ любопытный и забавный анекдотъ — и это, кажется, дѣйствительно такъ и было, хотя съ этимъ не вполнѣ сходятся два показанія самого Гоголя. Вотъ они: „Пушкинъ— говорилъ Гоголь въ своей „Авторской исповѣди“, — находилъ, что сюжетъ „Мертвыхъ Душъ“ хорошъ для меня тѣмъ, что даетъ полную свободу изъѣздить вмѣстѣ съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ было писать, не опредѣливъ себѣ обстоятельнаго плана, не давъ себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ просто, что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго занятъ Чичиковъ,

*) *В. И. Шенрокъ.* «Очеркъ исторіи текста первыя части «Мертвыхъ Душъ». Сочиненія Гоголя X-ое изданіе, т. VII.

наведетъ меня самъ на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самомъ охота смѣяться создастъ сама собою множество смѣшныхъ явленій, которыя я намѣренъ былъ перемѣшать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ? къ чему это? что̀ долженъ сказать собою такой-то характеръ? что́ должно выразить собою такое-то явленіе?“ Итакъ, если вѣрить автору, то сюжетъ поэмы съ перваго же раза навелъ его на серьезныя мысли. Съ этимъ согласенъ и разсказъ Гоголя о впечатлѣніи, вынесенномъ Пушкинымъ изъ перваго знакомства съ „Мертвыми Душами“. „Когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ моей поэмы, въ томъ видѣ какъ онѣ были прежде, разсказывалъ Гоголь въ одномъ изъ писемъ, вошедшихъ въ составъ его „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи, началъ понемногу становиться все сумрачнѣе и сумрачнѣе, и наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Боже! какъ грустна наша Россія“! Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести „Мертвыя Души“.

Въ этихъ двухъ авторскихъ показаніяхъ Гоголя нужно отличать неумышленную ложь отъ истины. Гоголь, когда писалъ „Авторскую Исповѣдь“ и печаталъ свою „Переписку съ друзьями“, былъ не тотъ Гоголь, который приступалъ къ работѣ надъ поэмою. Онъ былъ уже охваченъ религіознымъ экстазомъ, былъ кающимся грѣшникомъ, и пытался мистически истолковать всю свою жизнь и всѣ свои рѣчи. Онъ могъ приписать себѣ заднимъ числомъ желаніе съ *перваго же раза* отвѣтить на вопросъ, что должно означать то или другое лицо въ его поэмѣ, какой смыслъ имѣетъ то или другое явленіе? Онъ могъ также обозвать каррикатурой

и вымысломъ свои первые наброски потому, что онъ при началѣ работы думалъ о своемъ произведеніи меньше, чѣмъ думалъ послѣ.

Работа надъ „Мертвыми Душами“ началась осенью 1835 года, и Гоголь тогда же извѣщалъ Пушкина, что сюжетъ уже растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ. „Мнѣ хочется—говорилъ Гоголь—въ этомъ романѣ показать хотя съ одного боку всю Русь“. Очевидно, что очень скоро послѣ начала работы смѣшной анекдотъ получилъ въ глазахъ автора значеніе цѣлой картины.

Въ 1836 году, въ этотъ тревожный для Гоголя годъ постановки „Ревизора“, поэма была заброшена. Работа надъ ней возобновилась въ концѣ этого года въ Швейцаріи. Гоголь передѣлалъ написанное обстоятельнѣе, обдумалъ планъ и началъ выполнять его спокойно, какъ лѣтопись, и уже тогда признавался Жуковскому, что сюжетъ его поэмы огромный и оригинальный. „Какая разнообразная куча—говорилъ онъ. Вся Русь явится въ немъ. Это будетъ первая моя порядочная вещь — вещь, которая вынесетъ мое имя“. Поэма, какъ видимъ, разрослась въ нѣсколько мѣсяцевъ, и намѣреніе показать Русь съ одного лишь боку перестало удовлетворять автора. Работа потекла затѣмъ быстро, свѣжо и бодро. Живя за границей, художникъ не переставалъ себя чувствовать въ Россіи, и передъ нимъ — какъ онъ признавался — было все наше: наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словомъ, вся православная Русь. „Огромно, велико мое твореніе—говорилъ онъ—и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ, но что-жъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. Терпѣнье!“ А друзьямъ своимъ онъ рекомендовалъ строгое молчаніе. Онъ хотѣлъ, чтобы только Жуковскій, Пушкинъ да Плетневъ знали, въ чемъ состоитъ сюжетъ

„Мертвыхъ Душъ"; для другихъ было довольно одного лишь заглавія [1836] *).

Эта плодотворная и вдохновенная работа получила въ 1837 году совсѣмъ неожиданно особую санкцію. Умеръ Пушкинъ, и Гоголь взглянулъ на свои „Мертвыя Души" какъ на завѣщанное ему сокровище. Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ утраты, нашъ авторъ остановился въ раздумьи надъ своимъ трудомъ: ему показалось, что вмѣстѣ съ Пушкинымъ его покинетъ вдохновеніе. Но скоро онъ созналъ свой нравственный долгъ продолжать начатое. „Я долженъ продолжать мною начатый большой трудъ—говорилъ онъ—который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который [трудъ] обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобъ она была долговѣчна". И съ этого времени къ его мысли о „Мертвыхъ Душахъ" присоединяется мысль о собственной близкой кончинѣ и опасеніе, что онъ своего великаго труда не окончитъ.

Онъ продолжалъ надъ нимъ работать, но работа теперь [1838—1839] шла туже, чѣмъ раньше, и оживилась только въ 1840 году, послѣ поѣздки Гоголя въ Россію, той самой поѣздки, которую онъ предпринялъ съ такой неохотой. Готовность на трудъ онъ почувствовалъ наканунѣ выѣзда изъ Россіи... и ему показалось, что что-то въ родѣ вдохновенія, давно небывалаго, начало въ немъ шевелиться.

Хоть онъ и очень скучалъ въ Россіи за этотъ пріѣздъ, тяготился родиной и рвался скорѣе назадъ за границу, но, если вѣрить ему, то онъ изъ этого свиданья съ отчизной вынесъ много свѣтлыхъ и радостныхъ впечатлѣній, и Россія издалека показалась ему почему-то болѣе милой, чѣмъ раньше. Онъ признавался, что онъ ѣхалъ домой съ затаенной злобной мыслью: въ немъ, какъ ему казалось, начала просты-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 353, 354, 412, 414, 417.

вать злость противъ всякаго рода родныхъ плевелъ, злость столь необходимая автору, и онъ надѣялся, что, при свиданіи, онъ къ этимъ роднымъ плевеламъ присмотрится поближе, и сатира его отъ этого выиграетъ. „И вмѣсто этого, что я вывезъ? говорилъ онъ. Все дурное изгладилось изъ моей памяти, даже прежнее, и вмѣсто этого одно только прекрасное и чистое со мною... Чувство любви къ Россіи, слышу, во мнѣ сильно. Многое, что казалось мнѣ прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ [все это] когда-либо принимать близко къ сердцу... Теперь я вашъ; Москва моя родина. Все было дивно и мудро расположено Высшею Волею: и мой пріѣздъ въ Москву, и мое нынѣшнее путешествіе въ Римъ — все было благо". И люди, встрѣчавшіе Гоголя въ это время заграницей, говорили что онъ, дѣйствительно, всегда съ удовольствіемъ вспоминалъ о Россіи, хотя и пріѣзжалъ на родину для того, чтобъ съ ней разсориться *).

Этотъ наплывъ любви къ Россіи, обусловленный, между прочимъ, сближеніемъ Гоголя съ кружкомъ Аксакова, гдѣ тогда пробивались первые ростки славянофильства, не остался безъ вліянія и на ходъ его работы надъ „Мертвыми Душами". Какъ разъ въ это время [1840] принялся онъ писать вторую часть своей поэмы, въ которой положительныя стороны русской жизни должны были ярко проступить наружу. „Я теперь [въ декабрѣ 1840 г.] приготовляю къ совершенной очисткѣ первый томъ „Мертвыхъ Душъ"—писалъ онъ С. Аксакову. Перемѣняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе; между тѣмъ, дальнѣйшее продолженіе его выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣй, и теперь я вижу, что, можетъ быть, современемъ кое-что выйдетъ колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы... Не многіе знаютъ, на какія сильныя мысли и глубокія явленія можетъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 83, 89, 92, 98.

навести незначащій сюжетъ... *) Строки эти были писаны вскорѣ послѣ выздоровленія отъ того сильнаго приступа болѣзни, о которомъ мы говорили выше. Благодарный и религіозно настроенный авторъ убѣдился, что и самъ Господь Богъ взялъ „Мертвыя Души“ подъ свое особое покровительство „Утѣшься!—писалъ онъ въ это время Погодину. Чудно милостивъ и великъ Богъ: я здоровъ. Чувствую даже свѣжесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолженіемъ „Мертвыхъ Душъ“. Вижу, что предметъ становится глубже и глубже. Даже собираюсь въ наступающемъ году печатать первый томъ, если только дивной силѣ Бога, воскресившаго меня, будетъ такъ угодно. Многое совершилось во мнѣ въ немногое время“ **).

Такой взглядъ на свое твореніе, проникнутый особой религіозностью, начинаетъ бытро укоренятъся въ художникѣ. Его поэма наполняетъ всю его душу и все шире и шире развертывается передъ нимъ картина русской жизни, которую онъ „призванъ“ явить своимъ соотечественникамъ. Онъ въ мечтахъ упреждаетъ дѣйствительность и, еще не открывъ своей картины передъ зрителями, начинаетъ требовать для себя того почета и вниманія, съ какимъ благодарный соотечественникъ долженъ, какъ онъ думаетъ, отнестись къ своему учителю. Непомѣрно самоувѣренный тонъ начинаетъ звучать въ письмахъ Гоголя, когда ему приходится теперь говорить о своей работѣ. „Созданіе чудное творится и совершается въ душѣ моей, и благодарными слезами не разъ теперь полны глаза мои,—пишетъ онъ Аксакову въ началѣ 1841 г. Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка; никогда не выдумать ему такого сюжета“. „Меня теперь нужно лелѣять, не для меня, нѣтъ! Они [т.-е. Щепкинъ и К. Аксаковъ, которыхъ Гоголь вызывалъ къ себѣ за границу, чтобы они пріѣхали за нимъ и отвезли его въ Россію] сдѣлаютъ не без-

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 91.
**) «Письма Н. В. Гоголя», II, 94.

полезное дѣло. Они привезутъ съ собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится; но въ этой вазѣ теперь заключено сокровище: стало быть, ее нужно беречь". „Клянусь! грѣхъ, сильный грѣхъ, тяжкій грѣхъ отвлекать меня [т.-е. отвлекать его просьбою дать что-нибудь въ журналъ, какъ это сдѣлалъ тогда довольно безцеремонно Погодинъ]; только одному невѣрующему словамъ моимъ и недоступному мыслямъ высокимъ позволительно это сдѣлать. Трудъ мой великъ, мой подвигъ спасителенъ. Я умеръ теперь для всего мелочнаго". *).

Каковъ же былъ планъ этого великаго труда и что именно въ этомъ планѣ давало художнику право на такія гордыя рѣчи? Гоголь таилъ этотъ планъ про себя и только въ самыхъ общихъ выраженіяхъ говорилъ близкимъ людямъ, что его замыселъ широкъ и глубокъ. Непомѣрно гордыя рѣчи Гоголя, конечно, только сердили этихъ друзей и знакомыхъ; но если бы они знали, какой, дѣйствительно, величественный планъ задумалъ авторъ, то, быть можетъ, они простили бы ему его гордыню, тѣмъ болѣе извинительную, что Гоголь гордился вовсе не какъ художникъ, а какъ человѣкъ, обладающій [такъ, по крайней мѣрѣ, онъ думалъ] нравственной истиной, которую онъ повѣдаетъ ближнимъ, когда окончательно будетъ достоинъ это сдѣлать.

Хотя Гоголь и утаивалъ планъ своей поэмы, но по случайнымъ признаніямъ, намекамъ, откровеннымъ словамъ въ частной бесѣдѣ, по письмамъ и по отрывкамъ второй части его поэмы можно съ достаточной точностью раскрыть его писательскую тайну,—одновременно тайну художника и моралиста.

Какъ долженъ былъ превратиться смѣшной разсказъ въ душеспасительную поэму?—а самъ авторъ понималъ именно въ этомъ смыслѣ конечное назначеніе своей работы. Въ одномъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 96, 97, 98, 99, 100.

изъ писемъ, вошедшихъ въ составъ его „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“ [оно помѣчено 1846 годомъ] онъ писалъ: „Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ, прежде всего, долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое—душа и прочное дѣло жизни. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно“. „Мертвыя Души“ въ ихъ цѣломъ должны были быть такимъ „прочнымъ“ сочиненіемъ, на которое человѣкъ могъ бы опереться въ минуту душевной грозы; изъ котораго могъ бы вычитать для себя катехизисъ спасенія. Поэма должна была стать для читателя руководствомъ къ его нравственному возрожденію, будучи въ то же время для самого автора очистительной молитвой послѣ душевнаго и умственнаго просвѣтлѣнія и покаянія въ своихъ собственныхъ грѣхахъ.

Какимъ образомъ такая идея могла, однако, придти автору въ голову?

Гоголь отъ природы былъ натурой сентиментальной и любилъ читать наставленія. Наставническій тонъ попадался, какъ мы помнимъ, еще въ самыхъ раннихъ его письмахъ и свидѣтельствовалъ не только о самомнѣніи мальчика, но и о лирическомъ подъемѣ его души. Этотъ лиризмъ въ чувствахъ и въ мысляхъ прорывался наружу и въ его повѣстяхъ, и рядомъ съ невиннымъ смѣхомъ въ этихъ первыхъ разсказахъ было много грусти о всевозможныхъ печальныхъ сторонахъ жизни. По мѣрѣ того, какъ смѣхъ Гоголя становился серьезнѣе, и писатель проникался мыслью, что онъ призванъ создать нѣчто великое, моральная тенденція естественно стала увлекать его все больше и больше. Послѣ перваго представленія „Ревизора“ онъ увидалъ, что дѣйствительно обладаетъ способностью нравственнаго воздѣйствія на толпу и тогда же рѣшилъ, что эта сила должна служить

великому дѣлу, а не тратиться по мелочамъ. Еще въ самые ранніе годы, когда онъ не сознавалъ этой силы, онъ мечталъ уже о томъ, что непремѣнно свершитъ нѣчто великое, будетъ благодѣтелемъ и просвѣтителемъ ближнихъ и вообще героемъ своей отчизны. Онъ при наивности своей стремился тогда поскорѣй поступить на государственную службу, чтобы быть ближе къ цѣли. И когда всѣ служебные планы рухнули, и мечтатель остался вольнымъ казакомъ при своемъ талантѣ, онъ естественно—продолжая желать для себя великой роли—долженъ былъ возложить всѣ свои надежды на этотъ талантъ и пріискать для него настоящее великое дѣло, т.-е. великій сюжетъ, который оправдалъ бы самомнѣніе писателя и былъ бы истиннымъ благодѣяніемъ для ближняго.

Такимъ образомъ, анекдотъ долженъ былъ быстро потерять свой смѣшной характеръ и преобразиться въ нѣчто такое, чему самъ авторъ не могъ пока намѣтить границъ и подыскать подходящей рамки. На этомъ сюжетѣ, который позднѣе другихъ пришелъ ему въ голову, Гоголь сталъ теперь сосредоточивать всю силу своего лиризма, въ немъ онъ стремился дать почувствовать всю силу своихъ собственныхъ нравственныхъ убѣжденій и, наконецъ, этотъ же сюжетъ сталъ онъ расширять и углублять, чтобы возвести его на степень того „великаго“ сюжета—обработавъ который, онъ могъ бы сказать себѣ, что завѣтное важное дѣло, о которомъ онъ мечталъ съ юности, исполнено. Само собою разумѣется, что такое перерожденіе простого анекдота въ великій замыселъ происходило медленно и постепенно, и самъ авторъ въ началѣ работы не могъ сказать, въ какомъ именно видѣ онъ ее закончитъ.

Помимо этой *этической* тенденціи, большое вліяніе оказала на поэму и *патріотическая* мысль автора. Патріотизмъ Гоголя возрасталъ съ годами и къ тому времени, когда художникъ принялся за работу надъ своей поэмой, любовь писателя къ родинѣ замкнулась въ очень консервативномъ

міросозерцаніи, съ яснымъ религіознымъ оттѣнкомъ. И этотъ патріотизмъ, также какъ и стремленіе наставить ближняго на путь истины, не остановился въ своемъ развитіи, а продолжалъ нарастать по мѣрѣ того, какъ авторъ углублялъ и расширялъ свою поэму. Гоголю надлежало въ ней говорить о Россіи и на первыхъ порахъ, какъ юмористъ и сатирикъ, онъ наговорилъ ей много непріятнаго. Еще не думая о продолженіи своей поэмы, онъ съ „одного боку“ показалъ свою родину, и притомъ съ самаго неприглядnаго. И главный герой, и всѣ, съ кѣмъ онъ встрѣчался, были люди ничтожные. Оставить ихъ таковыми — значило безсердечно и жестоко обойтись съ отчизной, значило умолчать о хорошихъ ея сторонахъ, о всѣхъ русскихъ людяхъ, которые имѣли право на любовь и уваженіе. Гоголь не могъ умолчать о нихъ, въ особенности послѣ „Ревизора“, когда ему пришлось выслушать столько обвиненій за умышленное будто бы очерненіе родины. Все повышавшаяся въ немъ любовь къ ней обязывала его въ своей поэмѣ сказать соотечественникамъ слово ободренія, любви и участія. Чѣмъ шире раздвигались рамки поэмы, тѣмъ больше онъ чувствовалъ это обязательство. Гоголь отъ сатиры и смѣха сталъ переходить къ прославленію и умиленію передъ русскими добродѣтелями. Онъ желалъ отвести имъ подобающее мѣсто въ своей поэмѣ, и уже въ первой части „Мертвыхъ Душъ“ намекнулъ объ этомъ читателю. Гоголь зналъ, что читатель въ правѣ отъ него потребовать изображенія лицевой стороны русской жизни; и, отвѣчая на это требованіе со стороны, и удовлетворяя собственному чувству патріотизма, художникъ принялся подбирать для своего созданія новые положительные типы и настраивать свою душу на старый восторженный ладъ.

Такъ сказалась на планѣ поэмы *патріотическая* мысль писателя.

Не меньшее, если не большее вліяніе оказало на этотъ планъ и настроеніе *религіозное*, съ каждымъ годомъ все болѣе

и болѣе охватывавшее Гоголя. Мы помнимъ, какъ заграницей возросли въ немъ самомнѣніе и увѣренность въ особой миссіи, которую ему свершить должно; мы видѣли, какъ болѣзнь и выздоровленіе укрѣпили въ немъ вѣру въ Бога и въ особое попеченіе Божіе о немъ и объ его трудѣ. Болѣзнь съ годами давала себя чувствовать сильнѣе; наступало и облегченіе, и художникъ только укрѣплялся въ своей надеждѣ на Бога. Его литературная работа возвысилась въ его глазахъ до настоящаго служенія Божеству, и естественно, что на свою жизнь онъ сталъ смотрѣть какъ на трудный подвигъ, которымъ человѣкъ долженъ закалить себя для того, чтобы быть достойнымъ свершить великое дѣло, довѣренное ему Господомъ. Гоголь сталъ готовить себя къ достойному писательству постомъ и молитвой, сталъ „внутренно работать“, сталъ преслѣдовать въ себѣ все, что казалось ему грѣхомъ, и всѣ помыслы свои направилъ на нравственное возрожденіе: только съ чистымъ отъ грѣха сердцемъ и съ просвѣтленными помыслами, казалось ему, можетъ онъ выполнить свою миссію. Естественно, что всѣ эти мысли наложили свой отпечатокъ на его поэму. Она должна была быть и урокомъ высшей нравственности для ближняго, и актомъ очищенія отъ собственныхъ грѣховъ. Гоголь самъ признавался, что именно такъ понималъ онъ задачу своего творчества, когда работалъ надъ „Мертвыми Душами“. Въ „Письмахъ по поводу „Мертвыхъ Душъ“, которыя онъ предалъ гласности въ своихъ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ Друзьями“, онъ говорилъ: „герои мои потому близки душѣ, что они изъ души: всѣ мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души... Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умѣю, какъ возблагодарить Его, было желаніе быть лучшимъ. Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ.. и по мѣрѣ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ вну-

шеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявъ дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобой, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало".

Гоголю на самомъ дѣлѣ стало казаться, что не изъ жизни бралъ онъ своихъ героевъ, а изъ собственной души и, напечатавъ первую часть своей поэмы, онъ даже упрекалъ себя, что онъ съ ней поторопился; онъ думалъ, что герои его не стоятъ еще твердо на той землѣ, на которой имъ быть долженствуетъ, что они еще не отдѣлились вполнѣ отъ него самого и потому не получили настоящей самостоятельности. На вопросъ, почему онъ не выставлялъ читателю явленій утѣшительныхъ и не избиралъ въ герои добродѣтельныхъ людей, онъ отвѣчалъ, что ихъ въ головѣ не выдумаешь: „Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить, говорилъ онъ, пока не добудешь постоянствомъ и не завоюешь силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ — мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое и, какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды". Такъ сливалось для Гоголя его „дѣло" какъ писателя съ дѣломъ его души. Поэма становилась въ его глазахъ какой-то очистительной жертвой и грѣхи, о которыхъ онъ говорилъ въ ней, требовали искупленія—грѣхи его героевъ, а потому и его собственные. Поэма превращалась въ исторію просвѣтлѣнія грѣшной души и пріобрѣтала мистическій смыслъ—почти тотъ смыслъ, передъ которымъ Гоголь преклонялся, когда читалъ поэму Данте *).

Самъ Гоголь хотѣлъ быть этимъ Данте, восходящимъ

*) Любопытное сопоставленіе «Божественной Комедіи» съ «Мертвыми Душами» сдѣлано *Алексѣемъ Веселовскимъ* въ его статьѣ «Мертвыя Души». «Этюды и характеристики». Москва. 1894 г., 593—5.

отъ мрака къ свѣту, изъ ада къ небу, и мысль—увлечь за собой своихъ героевъ, заставить и ихъ путемъ покаянія изъ грѣшныхъ стать, если не святыми, то по крайней мѣрѣ людьми добродѣтельными, могла осѣнить автора—и онъ, дѣйствительно, хотѣлъ осуществить эту мысль въ третьей части своей поэмы. Конечно, и это вторженіе религіозной идеи въ свѣтскій разсказъ свершилось не сразу, но оно началось очень рано.

Итакъ, мы видимъ, что „Мертвыя Души“ чуть ли не съ первыхъ дней ихъ жизни были поставлены въ совсѣмъ особыя условія развитія. Работа надъ поэмой не была для автора работой закругленной, цѣльной, по вполнѣ обдуманному, законченному плану. Художникъ, когда начиналъ творить, не зналъ, чѣмъ онъ кончитъ, и, подвигаясь впередъ въ работѣ, все расширялъ и измѣнялъ первоначальный общій планъ своего творенія. Цѣлыхъ 16 лѣтъ [1835—1852] убилъ онъ на его выполненіе, не закончилъ его, и наканунѣ смерти все еще носился съ мыслью объ его продолженіи. За эти шестнадцать лѣтъ поэма испытала на себѣ вліяніе всѣхъ разнообразныхъ мыслей и настроеній, которыя владѣли тревожной и больной душой писателя, и моральная, религіозная и патріотическая тенденціи все болѣе и болѣе подчиняли себѣ художника.

Гоголь предполагалъ написать свою поэму въ трехъ частяхъ. Одну часть онъ закончилъ и отдѣлалъ, другую набросалъ, на содержаніе третьей успѣлъ только намекнуть при случаѣ. Попытаемся же уловить ту основную мысль, которая должна была связывать отдѣльныя части этого грандіознаго замысла. На подробномъ пересказѣ его эпизодовъ и на характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ этой трагикомедіи едва ли есть необходимость долго останавливаться, такъ какъ съ годовъ нашей юности всѣ герои „Мертвыхъ Душъ“ стали нашими добрыми знакомыми.

„Вслѣдствіе уже давно принятаго плана „Мертвыхъ Душъ“—писалъ Гоголь какому-то анонимному корреспон-

денту въ одномъ открытомъ письмѣ 1843 г.,—для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные... Не спрашивай, зачѣмъ первая часть должна быть вся *пошлость*, и зачѣмъ въ ней всѣ лица до единаго должны быть пошлы: на это дадутъ тебѣ отвѣтъ другіе томы...“ Когда Гоголь приступалъ къ созданію своей поэмы, онъ, быть можетъ, и не былъ такъ увѣренъ въ томъ, что герои перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ должны быть ничтожны именно для того, чтобы эта ничтожность объяснилась послѣ, но какъ бы то ни было, всѣ дѣйствующія лица первой части поэмы оказались людьми ничтожными. Ничтожность отличительная черта представителей всѣхъ сословныхъ группъ, выведенныхъ въ этомъ романѣ. Какъ и герои „Ревизора“, всѣ они не столько порочные люди, сколько именно люди мелкіе. По мягкосердечію своему сентиментальный авторъ и въ „Мертвыхъ Душахъ“ бралъ на себя охотно роль ихъ адвоката передъ читателемъ. Выставляя на показъ всяческую грязь человѣческой души, всевозможные виды глупости и пошлости, нашъ моралистъ спѣшилъ сейчасъ же смягчить это впечатлѣніе какимъ-нибудь нравственнымъ наставленіемъ, которое должно было напомнить читателю о милосердіи къ грѣшнымъ и падшимъ.

Кто главное дѣйствующее лицо поэмы? Самъ авторъ признался, что писатели заѣздили добродѣтельнаго человѣка, что пора наконецъ припречь „подлеца“, и очевидно, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ—человѣкъ самой сомнительной нравственности, съ очень темнымъ прошлымъ и съ некрасивымъ настоящимъ. Авторъ согласенъ, что это такъ. но онъ не сгущаетъ красокъ; наоборотъ, онъ какъ будто хочетъ сказать, что Павелъ Ивановичъ и неспособенъ сдѣлать никакой особенно мерзкой гадости, т.-е. жизни ничьей не разобьетъ умышленно, беззащитнаго и слабаго мучить не станетъ, чужимъ несчастіемъ наслаждаться не будетъ, даже на клевету не пустится, а только приберетъ себѣ все, что лежитъ плохо, и приберетъ съ сознаніемъ, что посту-

паетъ не хуже многихъ другихъ. Какъ гражданинъ, онъ—мошенникъ въ полномъ смыслѣ слова, какъ личность единичная—онъ самый обыкновенный представитель очень распространенной морали средней руки, морали безнравственной—но жить другимъ не мѣшающей. Авторъ не остановился, однако, на этой безпристрастной характеристикѣ любезнаго и обходительнаго хищника; онъ намъ разсказалъ всю исторію его дѣтства, онъ объяснилъ, какъ и откуда эти хищническіе инстинкты Чичикова зародились, и тѣмъ самымъ заставилъ насъ подумать о томъ, падаетъ ли на Чичикова вся отвѣтственность за его плутни и мошенничества, или часть этой отвѣтственности должно поставить на счетъ среды, въ которой онъ выросъ? Можетъ быть, Гоголь потому такъ дуренъ, что лучъ добра и свѣта на него не падалъ? А къ такимъ лучамъ онъ былъ воспріимчивъ: недаромъ авторъ такъ подробно описалъ его смущеніе при встрѣчѣ съ губернаторской дочкой. Не любовь постучалась тогда въ его сердце, а именно то томительно тревожное чувство, которое испытываетъ человѣкъ, когда встрѣчается съ другимъ, душевное превосходство котораго надъ собой чувствуетъ. Конечно, всѣ позы Чичикова передъ этой наивной институткой смѣшны и самъ онъ смѣшонъ со своимъ столбнякомъ, но намѣреніе автора было отнюдь не заставить читателя только засмѣяться.

И, наконецъ, Гоголь уже прямо спрашивалъ читателя, „да подлецъ ли Чичиковъ? Почему-жъ подлецъ?“—отвѣчалъ онъ. Зачѣмъ же быть такъ строгу къ другимъ? онъ—просто хозяинъ, пріобрѣтатель.

Пріобрѣтеніе—вина всего: изъ-за него произвелись дѣла, которымъ свѣтъ даетъ названіе не очень чистыхъ. Чичиковъ—жертва страсти „и есть страсти, которыхъ избранье не отъ человѣка. Уже родились онѣ съ нимъ въ минуту рожденія его въ свѣтъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начертаніями онѣ ведутся, и есть въ нихъ что-то вѣчно зовущее, неумолкающее во всю жизнь.

Земное, великое поприще суждено совершить имъ, все равно, въ мрачномъ ли образѣ, или пронесшись свѣтлымъ явленіемъ, возрадующимъ міръ, одинаково вызваны онѣ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка передъ мудростью небесъ". Такъ оправдывалъ Гоголь своего героя, давая понять, что этотъ ничтожный человѣкъ въ концѣ поэмы лучше, чѣмъ всякій добродѣтельный, убѣдитъ читателя въ благости Божіей. А на первыхъ порахъ, до разрѣшенія загадки, Гоголь совѣтовалъ читателю оглянуться на самого себя и спросить: „А нѣтъ ли и во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?".

Если для Павла Ивановича могли быть подысканы такія смягчающія вину обстоятельства, то для всѣхъ его знакомыхъ это было еще легче сдѣлать, такъ какъ никакой особенной вины за ними и не числилось. Ко всѣмъ къ нимъ авторъ отнесся очень милостиво, и къ дворянамъ болѣе снисходительно, чѣмъ къ чиновникамъ. Конечно, всѣ они опять-таки люди ничтожные, но желчи въ насъ они не возбуждаютъ. Мы смѣемся надъ ними, намъ жаль ихъ, но мы ужились бы съ ними безъ особенныхъ компромиссовъ съ нашей стороны. Что могли бы мы имѣть, напр., противъ Манилова, который былъ человѣкъ „такъ себѣ, ни то, ни се", довѣрчиваго и добродушнаго Манилова, желающаго всегда во всемъ предполагать лучшее, довольнаго и самимъ собой, и женой, и своими сыновьями, которые такъ преуспѣли въ наукахъ, что знаютъ въ какой странѣ какой городъ лучшій,—очень любезнаго человѣка, который даже кучеру говоритъ „вы", хотя и не знаетъ, сколько у него въ деревнѣ мужиковъ перемерло. Пусть себѣ Маниловъ мечтаетъ о томъ, какъ хорошо было бы жить съ другомъ на берегу какой-нибудь рѣки, потомъ черезъ эту рѣку начать строить мостъ, потомъ огромнѣйшій домъ съ такимъ

высокимъ бельведеромъ, что можно оттуда видѣть даже Москву и тамъ пить вечеромъ чай, на открытомъ воздухѣ и разсуждать о какихъ-нибудь пріятныхъ предметахъ и философствовать... Никому отъ этого никакого вреда не будетъ.

Ужились бы мы и съ Собакевичемъ, съ этимъ ругателемъ и кулакомъ, и удивлялъ бы онъ насъ только подчасъ своими животными инстинктами—для ближняго, впрочемъ, совершенно безвредными. Этотъ ближній, находясь въ подчиненіи, конечно, могъ страдать отъ сосѣдства Коробочки и Плюшкина, но и Плюшкинъ, и Коробочка все-таки скорѣе достойны жалости, чѣмъ осужденія. И самъ авторъ, выставляя напоказъ всю мелочность ихъ души и все ничтожество ихъ прозябанія—спѣшилъ предостеречь читателя отъ поспѣшнаго суда надъ ними. Онъ познакомилъ насъ съ Плюшкинымъ въ иные, счастливые годы его жизни, и мы поняли, что передъ нами несчастный человѣкъ, отданный въ жертву страсти, съ которой онъ бороться былъ не въ силахъ. Съ сокрушеніемъ говорилъ авторъ о ничтожности, мелочности и гадости, до которой могъ снизойти человѣкъ и, указывая на это извращеніе образа людского, совѣтовалъ намъ, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое ожесточающее мужество, брать съ собою въ путь всѣ человѣческія движенія и не оставлять ихъ на дорогѣ. Онъ грозилъ намъ этимъ живымъ мертвецомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ говорилъ о немъ такъ, что вызывалъ не отвращеніе къ нему, а слезу участія. Когда же онъ замѣчалъ, что мы начинаемъ отъ души смѣяться, напр., надъ Коробочкой и только смѣяться, онъ наводилъ насъ на раздумье вопросомъ: „Да полно, точно ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной лѣстницѣ человѣческаго совершенствованія? Точно ли такъ велика пропасть, отдѣляющая ее отъ сестры ея недосягаемо огражденной стѣнами аристократическаго дома съ благовонными чугунными лѣстницами, зѣвающей за недочитанной книгой, въ ожиданіи остроумно-свѣтскаго визита?“

И такіе вопросы насъ невольно располагали въ пользу подсудимой. Даже Ноздрева — это сочетаніе безшабашности, плутовства и цинизма—Гоголь представилъ такимъ добродушнымъ и незлонамѣреннымъ, что почти отнялъ у насъ желаніе на него разсердиться.

Такъ милостиво обошелся Гоголь со всѣми людьми, съ которыми свелъ своего героя—людьми свободыми, безъ прямыхъ служебныхъ обязанностей. Но къ этимъ же людямъ, состоящимъ на службѣ—къ чиновникамъ—онъ отнесся съ большей строгостью.

Какъ „Ревизоръ", такъ и „Мертвыя Души" не заключали въ себѣ никакого политическаго намека. Ни единымъ словомъ сатира не коснулась высшихъ властей, болѣе или менѣе полномочныхъ, и расправлялась только съ чинами низшими.

Во избѣжаніе всякихъ предположеній или мыслей о современности, все дѣйствіе поэмы было перенесено въ предшествующее царствованіе, во времена „вскорѣ послѣ достославнаго изгнанія французовъ"... Эта мистификація была, конечно, очень наивна, да и не нужна.

Какъ въ „Ревизорѣ", такъ и въ поэмѣ прославлялось недремлющее око правительства: только въ „Мертвыхъ Душахъ" оно было повышено нѣсколькими чинами. Въ комедіи трепетъ нагналъ жандармъ, присланный ревизоромъ, въ поэмѣ чиновникамъ издали грозила тѣнь новаго генералъ-губернатора. По адресу единой и руководящей власти былъ и здѣсь сказанъ очень прозрачный комплиментъ: „Вообще мы какъ-то не создались для представительныхъ засѣданій,— говорилъ Гоголь по поводу собранія испуганныхъ чиновниковъ у полицеймейстера. Въ всѣхъ нашихъ собраніяхъ, начиная отъ крестьянской мірской сходки до всякихъ возможныхъ ученыхъ и прочихъ комитетовъ, если въ нихъ нѣтъ одной главы, управляющей всѣмъ, присутствуетъ препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народъ такой; только и удаются тѣ совѣщанія, кото-

рыя составляются для того, чтобы покутить или пообѣдать, какъ-то: клубы и всякіе вокзалы на нѣмецкую ногу".

Вся поэма въ смыслѣ благонадежности была образцовой и не могла натолкнуть читателя ни на какое непріятное для власти раздумье, за исключеніемъ развѣ только многострадальной „повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ", которую цензура никакъ пропустить не рѣшалась и пропустила лишь послѣ значительныхъ уступокъ со стороны автора. Онъ неохотно на нихъ согласился, но въ концѣ концовъ принужденъ былъ понизить чиномъ то высокопоставленное лицо, къ которому Копѣйкинъ — оставившій на полѣ брани руку и ногу—пришелъ за правительственной субсидіей, долженъ былъ подчеркнуть, что гнѣвъ начальника объясняется отчасти легкомысленнымъ пристрастіемъ Копѣйкина къ котлетамъ и инымъ лакомствамъ, и въ особенности вынужденъ былъ смягчить окончаніе повѣсти. Въ первоначальной редакціи этого окончанія разсказывалось, какъ Копѣйкинъ воспользовался совѣтомъ начальства найти самому себѣ средства для пропитанія: неугомонный искатель справедливости набралъ изъ разныхъ бѣглыхъ солдатъ цѣлую банду и сталъ разбойничать въ рязанскихъ лѣсахъ. Совсѣмъ какъ „благородный разбойникъ" стараго типа, Копѣйкинъ не трогалъ добра частнаго и безпощадно грабилъ все казенное—фуражъ, провіантъ и деньги, и обложилъ въ свою пользу даже крестьянъ, отбирая у нихъ всѣ казенные оброки. Похожденія ретиваго капитана этимъ, однако, не кончились. Копѣйкинъ, заваривъ всю эту кашу, бѣжалъ въ Соединенные Штаты и оттуда написалъ письмо къ самому государю, письмо, въ которомъ объяснялъ ему, какъ изъ защитника отечества онъ превратился въ разбойника. Попутно Копѣйкинъ давалъ царю совѣтъ, устроить за ранеными „примѣромъ эдакое смотрѣніе..." чтобы избѣжать повторенія подобныхъ непріятностей. Царь былъ великодушенъ, простилъ виновнаго, банду его не преслѣдовалъ и позаботился объ основаніи инвалиднаго капитала... Цензура не могла, ко-

нечно, согласиться на оглашеніе переписки Копѣйкина съ государемъ и весь этотъ юмористическій—но въ сущности очень серьезный — конецъ повѣсти напечатанъ не былъ. И эта повѣсть была единственнымъ намекомъ, который Гоголь себѣ позволилъ по адресу полномочной власти. Во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ набрасывался на ея выполнителей, размѣряя и въ этомъ случаѣ силу своихъ ударовъ по табели о рангахъ. Чѣмъ выше былъ чиновникъ, тѣмъ мягче говорилъ о немъ авторъ, движимый, конечно, не желаніемъ сказать власти что-нибудь лестное, а руководясь соображеніемъ, что чѣмъ интеллигентнѣе человѣкъ, тѣмъ онъ долженъ быть и болѣе нравственень.

Такимъ образомъ, въ „Мертвыхъ Душахъ“, не говоря уже о генералъ-губернаторѣ, и губернаторъ, и высшіе чиновники оказались лицами и достаточно порядочными, и милыми, только съ нѣкоторыми странностями. Губернаторъ, большой добрякъ, любившій вышивать, напр., по тюлю и очень искусно дѣлавшій кошельки, въ общемъ былъ человѣкъ очень пріятный и обходительный. Такимъ же добродушіемъ отличался и вице-губернаторъ, и предсѣдатель палаты, и прокуроръ. Нѣсколько иначе обстояло дѣло съ полицеймейстеромъ, который, кажется, былъ сродни городничему Сквознику-Дмухановскому, такъ какъ проходя мимо рыбнаго ряда и погребовъ мигалъ очень значительно; когда хотѣлъ полакомиться, звалъ квартальнаго и шепталъ ему что-то на ухо, послѣ чего столъ его заполнялся всякой закуской; но въ сущности и полицеймейстеръ былъ человѣкъ очень милый и жилъ онъ среди гражданъ, какъ въ родной семьѣ, навѣдываясь въ гостинный дворъ, какъ въ собственную кладовую, но пользуясь всеобщей любовью за то, что не былъ гордъ и не давалъ грубо чувствовать своей власти.

Вся эта милая чиновничья компанія едва ли могла опечалить любого моралиста и онъ могъ себя почувствовать, какъ говоритъ авторъ, совсѣмъ семейственно среди предсѣдателя палаты, который зажмуривъ глаза, декламировалъ „Людмилу“

Жуковскаго, почтмейстера, вдававшагося въ философію и читавшаго прилежно по ночамъ Юнговы „Ночи“, и прокурора, человѣка необычайно нѣжной и робкой организаціи, который способенъ былъ даже умереть отъ скандала.

Картина рѣзко мѣняется, когда изъ этихъ круговъ относительно высокой уѣздной бюрократіи мы спускаемся въ сферы низшія и входимъ вмѣстѣ съ Чичиковымъ въ присутственныя мѣста, населенныя мелкими чиновниками. Здѣсь мы въ царствѣ бумаги, черновой и бѣловой, на которой творятся разныя беззаконія. Бесѣдуемъ мы съ Иваномъ Антоновичемъ Кувшиннымъ рыломъ, которой книгой прикрываетъ положенную ему подъ носъ ассигнацію, присутствуемъ при подборѣ лжесвидѣтелей, которые набираются тутъ же изъ палатскихъ чиновниковъ, частью полуграмотныхъ; видимъ, какъ вся мошенническая продѣлка Чичикова получаетъ санкцію закона, причемъ изъ любезности даже законныя деньги не взыскиваются съ Чичикова, а неизвѣстно какимъ образомъ относятся на счетъ какого-то другого просителя... однимъ словомъ, мы попадаемъ въ общество мелкихъ плутовъ, уже не сентименталистовъ, какъ большинство ихъ начальниковъ, а людей съ очень утилитарнымъ складомъ ума.

Спустимся еще ниже, изъ города переѣдемъ въ уѣздъ, и мы столкнемся уже съ настоящимъ негодяемъ, хоть, напр., съ засѣдателемъ Дробяжкинымъ, который, имѣя сердце весьма нѣжное и блудливое, наѣзжалъ на деревни и, въ качествѣ земской полиціи, проносился по нимъ, какъ повальная горячка, за что мужиками и былъ снесенъ съ лица земли.

Эта страничка, повѣствующая о подвигахъ земской полиціи — самая дерзкая страница въ „Мертвыхъ Душахъ“, единственная, про которую можно сказать, что она историческій документъ безъ комментарія автора. Во всѣхъ другихъ случаяхъ Гоголь смягчалъ впечатлѣнія той мрачной картины людского ничтожества, которую вырисовывалъ.

Какъ видимъ, первая часть „Мертвыхъ Душъ“—дѣйствительно, эпопея людского ничтожества. Ничтоженъ и хищникъ-пріобрѣтатель, ничтожно все городское общество, мужское и женское,—это царство мелкихъ интересовъ, безпринципнаго прозябанія, умственной ограниченности, царство пересудъ и сплетенъ; ничтожно и уѣздное дворянство съ его маниловщиной, кулачествомъ Собакевича, безшабашнымъ разгуломъ Ноздрева или скаредничествомъ Плюшкина или Коробочки.

Характернѣе всего то, что въ „Мертвыхъ Душахъ“ и крестьянство, о которомъ авторъ вообще говорилъ очень кратко и лишь при случаѣ, изображено преимущественно со своей невзрачной, ничтожной стороны. Мужикъ въ этой поэмѣ ни пороченъ, ни добродѣтеленъ, ни золъ, ни добръ, а именно ничтоженъ, ограниченъ и тупъ. Авторъ не желалъ ни прославлять его ума и качествъ его сердца, какъ это дѣлали многіе современные Гоголю писатели, сентименталисты и романтики; онъ не хотѣлъ и говорить о немъ дурно, какъ сталъ бы говорить сатирикъ, который хочетъ направить вниманіе читателя на пороки и грѣхи низшей братіи, въ надеждѣ, что онъ надъ ними задумается.

Что авторъ сердечно отнесся къ судьбѣ этой низшей братіи — въ этомъ нельзя сомнѣваться. Достаточно прочитать только размышленія Чичикова по поводу списка купленныхъ имъ мертвыхъ душъ, чтобы убѣдиться, какъ фантазія писателя умѣла живо представлять себѣ судьбу всѣхъ этихъ несчастныхъ, которымъ послѣ ихъ смерти хозяева выдали столь лестные аттестаты. Конечно, это размышленія не Чичикова, а самого Гоголя... столько въ нихъ лиризма, и чувства, и состраданія ко всѣмъ этимъ крѣпостнымъ столярамъ, плотникамъ, сапожникамъ, для которыхъ жизнь была мачихой, которые молчаливо терпѣли и умирали или, не вытерпѣвъ, бѣжали и гуляютъ по лѣсамъ, сидятъ по тюрьмамъ или по этапу путешествуютъ изъ Царево-Кокшайска въ Весьегонскъ. Не малое знаніе народной жизни

обнаружилъ Гоголь въ этихъ размышленіяхъ и не мало любви и состраданія проявилъ онъ и при другихъ случаяхъ, когда, напр., разсказывалъ о томъ, какъ Коробочка продавала своихъ дѣвокъ или когда рисовалъ картину крестьянской нищеты въ усадьбѣ Плюшкина—и все-таки, когда ему приходилось рисовать съ этихъ крестьянъ этюды, какіе ничтожные бралъ онъ оригиналы! Въ спутники своему герою онъ далъ двухъ придурковатыхъ крѣпостныхъ—Петрушку и Селифана—двухъ добряковъ, съ необычайно тупымъ мозгомъ... И всякій разъ, когда Чичиковъ на своемъ пути встрѣчался съ мужиками, онъ, кромѣ безтолковыхъ рѣчей дяди Митяя и дяди Миняя ничего не слышалъ. Во всей поэмѣ не было ни одной страницы, на которой бы нашъ мужикъ показалъ прирожденный ему умъ и смекалку и порадовалъ бы насъ тѣми качествами души, о которыхъ издавна и, конечно не безъ основанія, любили говорить наши патріоты. Но Гоголь пока умалчивалъ объ этихъ качествахъ.

И вотъ въ этой поэмѣ, въ которой такъ неприглядно была обрисована наша жизнь, въ разсказѣ, гдѣ среди толпы ничтожныхъ людей не попадался ни одинъ человѣкъ достойный уваженія и любви, въ этомъ мастерски сказанномъ словѣ обличенія всяческой пошлости, царящей во всѣхъ классахъ — читатель вдругъ наталкивался на странныя, непонятныя рѣчи автора. Эти рѣчи дышали высокимъ лиризмомъ, самымъ восторженнымъ патріотическимъ чувствомъ, повидимому—ничѣмъ неоправданнымъ...

Обрывая нить своего разсказа, авторъ напр., восклицалъ: „Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бѣдно, разбросано и непріютно въ тебѣ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства, — города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя деревья и плющи, вросшіе въ домы, въ шумѣ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ

вышинѣ каменныя глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несмѣтными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города: ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тосклпвая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?.. И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла мысль предъ твоимъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мои очи... У, какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!“

Но этой рѣчью, полной намековъ, въ которыхъ смѣшались грусть и радость, признаніе невеселаго настоящаго и надежда на великое будущее, авторъ остался, однако, недоволенъ. Онъ хотѣлъ яснѣе оттѣнить свою патріотическую мысль, и въ концѣ поэмы, разсказывая какъ Чичиковъ въ бричкѣ, подлетывая на кожаной подушкѣ, мчался по дорогѣ, онъ вдругъ заговорилъ о своей собственной страсти къ

быстрой ѣздѣ и, пользуясь этимъ случаемъ, обратился къ родинѣ съ такимъ восклицаніемъ:

„Не такъ ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается позади! Остановился пораженный Божьимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значитъ это наводящее ужасъ движеніе? и что за невѣдомая сила заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони,—что за кони! Вихри ли сидятъ въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню—дружно и разомъ напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летящія по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богомъ!.. Русь, куда-жъ несешься ты? дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства“.

Всякій, прочитавшій поэму, могъ спросить, чѣмъ такое окончаніе оправдывается и какъ связать общую и сѣрую картину нашей жизни съ такими радужными надеждами и такимъ восторгомъ? Неужели Гоголь забылъ, что въ этой хваленой тройкѣ пока возсѣдалъ лишь Павелъ Ивановичъ Чичиковъ?

Но нашъ авторъ зналъ, что онъ говорилъ: въ его головѣ давно уже было готово продолженіе поэмы и эти лирическія мѣста относились не къ тому, что онъ успѣлъ сказать, а къ тому, что онъ думалъ сказать въ будущемъ. На эти „грядущія рѣчи“ онъ уже успѣлъ и намекнуть въ своей поэмѣ, намекнуть вскользь, не желая открывать своей тайны. Читатель, который съ интересомъ слѣдилъ за развитіемъ разсказа, легко могъ просмотрѣть эти намеки, и тогда лирическія мѣста должны были поразить его своей непослѣдовательностью. А намеки были очень прозрачные.

Оправдываясь передъ читателемъ въ выборѣ своего прозаическаго сюжета, завидуя тому писателю, который говоритъ о великихъ достоинствахъ человѣка, который не измѣняетъ возвышеннаго строя своей лиры и не спускается со своей вершины къ бѣднымъ ничтожнымъ своимъ собратьямъ— Гоголь писалъ:

„Не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченіемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданья, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта; безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствуетъ онъ свое одиночество.

И долго еще опредѣлено мнѣ чудною властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія подымется

изъ облеченной въ священный ужасъ и блистаніе главы, и почуютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей..."

Авторъ даже намекнулъ, о комъ будутъ гремѣть эти другія рѣчи: „Можетъ быть, въ сей самой повѣсти—говорилъ онъ—почуются иныя еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга предъ живымъ словомъ! Подымутся русскія движенія... и увидятъ, какъ глубоко заронилось въ славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ..."

Когда Гоголь писалъ эти строки, его надежды частью уже успѣли осуществиться. Прежде чѣмъ эти обѣщанія были напечатаны, нѣсколько главъ второй части „Мертвыхъ Душъ" были уже написаны.

Героемъ этой второй части поэмы остался все тотъ же Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, такой же мошенникъ, какимъ онъ былъ и въ первой. Но только надлежащее возмездіе покарало теперь его плутни. Онъ не избѣгъ справедливаго суда, какъ прежде, когда, скупивъ мертвыя души, онъ сѣлъ въ бричку и уѣхалъ. Правда, и преступленіе его теперь было болѣе тяжкое: изъ хищника-пріобрѣтателя онъ сталъ поддѣлывателемъ документовъ; и за одну такую поддѣлку духовнаго завѣщанія попалъ онъ теперь въ тюрьму, переживъ одинъ изъ самыхъ унизительныхъ моментовъ своей жизни, когда ему пришлось на колѣняхъ обнимать сапоги величественнаго генералъ-губернатора—отца всѣхъ обиженныхъ и грозы всѣхъ преступныхъ, владыки строгаго, но милосерднаго, въ которомъ Гоголь хотѣлъ воплотить торжество гуманной власти. И эта власть не сгноила Чичикова

въ тюрьмѣ, и въ Сибирь его также не сослала. Вопреки всѣмъ законамъ, она и на этотъ разъ позволила ему сѣсть въ бричку и уѣхать, потому что авторъ имѣлъ на него свои виды. Авторъ успѣлъ подмѣтить въ своемъ ничтожномъ и преступномъ героѣ способность къ раскаянію и нравственному возрожденію, и хотѣлъ этимъ воспользоваться. „Вѣдь если бы съ этакой волей и настойчивостью да на доброе дѣло! — говорилъ, глядя съ укоризной и печалью на Чичикова, благороднѣйшій милліонеръ Муразовъ, выхлопотавшій ему прощеніе у генералъ-губернатора. И этотъ резонеръ, олицетвореніе добродѣтельной и благомыслящей финансовой силы взялъ на себя неблагодарную роль духовника Павла Ивановича, и сталъ направлять его на доброе дѣло. Не о мертвыхъ душахъ долженъ онъ подумать, а о своей бѣдной душѣ, не о томъ имуществѣ, которое могутъ у него конфисковать, а о томъ, котораго никто не можетъ ни украсть, ни отнять... и Чичиковъ, слушая эти рѣчи, задумался. Что-то странное, какія-то невѣдомыя дотолѣ, незнаемыя чувства, ему самому необъяснимыя, пришли къ нему: какъ будто хотѣло въ немъ что-то пробудиться, что-то подавленное изъ дѣтства, суровымъ, мертвымъ поученіемъ, безпривѣтностью скучнаго дѣтства, пустынностью родного жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, нищетой и бѣдностью первоначальныхъ впечатлѣній... „Нѣтъ! полно, — сказалъ себѣ Павелъ Ивановичъ,—пора начать другую жизнь. Пора въ самомъ дѣлѣ сдѣлаться порядочнымъ“. Такъ каялся Чичиковъ, но онъ былъ еще далекъ отъ цѣли. Онъ вышелъ на свободу все-таки съ не совсѣмъ чистыми помыслами. Отъ пріобрѣтенія новыхъ мертвыхъ душъ онъ отказался, но отъ мысли заложить уже купленныя пока не отрекся. „Заложу, говорилъ онъ, чтобы купить на деньги помѣстье, сдѣлаюсь помѣщикомъ, потому что здѣсь можно сдѣлать много хорошаго“, и эти благіе планы, кажется, и должны были осуществиться въ дальнѣйшемъ продолженіи поэмы.

Если главный герой сохранилъ во второй части „Мерт-

выхъ Душъ“ свою порочную и ничтожную душу, то помыслы и сердце людей его окружавшихъ значительно просвѣтлѣли. Изъ круга людей ничтожныхъ мы во второй части поэмы попадаемъ въ общество людей гораздо болѣе порядочныхъ и съ болѣе сложнымъ духовнымъ содержаніемъ. Среди этихъ новыхъ лицъ, съ которыми мы знакомимся, встрѣчаются, конечно, и люди умственно и душевно убогіе: какой-нибудь Пѣтухъ, у котораго вся душа ушла въ желудокъ, или сонный и лишенный воли Платонъ Михайловичъ, который никогда не зналъ ни страсти, ни печали, ни потрясенія, или, наконецъ, полоумный Кошкаревъ, съ его „главной счетной экспедиціей“ и „школой нормальнаго просвѣщенія поселянъ“, тотъ самый Кошкаревъ, который хотѣлъ, чтобы крестьянинъ, идя за плугомъ, могъ читать въ то же время книгу о громовыхъ отводахъ, который думалъ, что если одѣть всѣхъ въ нѣмецкое платье, то науки возвысятся, торговля подымется и золотой вѣкъ настанетъ въ Россіи. Но не эти лица стоятъ во второй части поэмы на первомъ планѣ. Есть много другихъ, на которыхъ авторъ сосредоточилъ преимущественно свою любовь и вниманіе. Между ними и дѣйствующими лицами первой части поэмы можно подмѣтить извѣстное сходство, и кажется иногда, что эти люди, съ которыми Чичиковъ теперь столкнулся—тѣ же его старые знакомые, но только съ душой болѣе сложной и съ умомъ болѣе развитымъ *).

Во всякомъ случаѣ, какъ бы мы ни относились къ этимъ новымъ лицамъ, мы подмѣтимъ въ нихъ духовныя стремленія и потребности, которыхъ совсѣмъ не было у героевъ прежнихъ. Присутствіе этихъ стремленій замѣтно и въ Тентетниковѣ, этомъ прообразѣ Обломова. Смѣшонъ онъ со своимъ сочиненіемъ, которое должно обнять всю Россію со всѣхъ

*) Остроумное сопоставленіе нѣкоторыхъ типовъ первой и второй части «Мертвыхъ Душъ» [Манилова и Тентетникова, Собакевича и Скудронжогло] смр. въ статьѣ *Алексѣя Веселовскаго*, «Мертвыя Души», «Этюды и характеристики», 596—8.

точекъ,—гражданской, политической, религіозной и философической. Но въ душѣ этого „коптителя неба“ осталась закваска идеализма, сохраненнаго имъ съ того времени, когда онъ такъ благородно понималъ свою задачу помѣщика, когда онъ бросилъ службу, чтобы работать на пользу ввѣренныхъ ему людей. У него и теперь, при полной бездѣятельности и лѣни, остался этотъ гуманный взглядъ на ближняго, и какъ помѣщикъ, онъ баринъ добрый—хотя и безполезно живущій на свѣтѣ, безъ всякой выгоды и пользы для себя, но и безъ ущерба для тѣхъ, кто отъ него зависитъ. Его облѣнившаяся и апатичная душа доступна и теперь хорошимъ и тонкимъ чувствамъ: взять хотя бы тѣ минуты, когда ему на память приходитъ его старый учитель Александръ Петровичъ, этотъ „необыкновенный наставникъ, который имѣлъ нѣкогда такое высокое нравственное вліяніе на души всѣхъ своихъ учениковъ, человѣкъ одаренный способностью читать въ чужомъ сердцѣ и вселять ему бодрость“.

Нельзя отказать въ симпатіи и промотавшемуся Хлобуеву. „Свиньей себя веду, просто свиньей,—говоритъ этотъ кающійся грѣшникъ, у котораго на рукахъ цѣлая семья и разоренное въ конецъ имѣніе. „Не гожусь я теперь никуда,—разсуждаетъ онъ,—ни на какую должность. Что разорять казну! И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе!“ Нельзя не подивиться такой образцовой честности прокутившагося человѣка, который упрашиваетъ даже чужихъ людей скорѣй отобрать у него имѣніе, чтобы его безпорядочность въ конецъ не развратила крестьянъ, и который кончаетъ тѣмъ, что, поднявъ свою всегда понурую голову и расправивъ спину, надѣваетъ простую сибирку и на простой тележкѣ отправляется по городамъ и деревнямъ собирать на построеніе храма. Читателя коробитъ слегка отъ такого прянаго смиренія и такой неожиданной религіозности, но

онъ опять долженъ согласиться, что и этотъ человѣкъ не утонулъ въ житейской тинѣ, пока помышляетъ о новой жизни.

О возможности такой новой жизни для всѣхъ порочныхъ, слабыхъ и ничтожныхъ и хотѣлъ говорить Гоголь. И онъ не могъ не отвѣтить на весьма естественный вопросъ, который навязывался читателю общимъ тономъ всей этой картины. Читатель могъ спросить, въ чемъ же должна заключаться эта новая жизнь и что именно должны дѣлать эти возродившіеся люди? Появленіе положительныхъ типовъ въ разсказѣ становилось неизбѣжно. Авторъ и нарисовалъ бѣгло два такихъ типа: одинъ былъ мужской, другой женскій. Одинъ долженъ былъ выражать торжество мужского ума, другой побѣду женской красоты и нѣжности.

Константинъ Ѳедоровичъ Скудронжогло—или, какъ онъ назывался позднѣе, Констанджогло—едва-ли привлечетъ теперь наши симпатіи, но Гоголь любилъ его, вѣроятно, по контрасту съ самимъ собою, какъ это иногда бываетъ въ жизни. Утилитаристъ и практикъ, нрава довольно строгаго и даже суроваго, человѣкъ все измѣряющій аршиномъ чистаго дохода и пользы, Скудронжогло совсѣмъ не годился бы въ герои и не могъ бы при случаѣ „сіять, какъ царь въ день торжественнаго своего вѣнчанія“, если бы его практичность шла только ему одному на пользу. Авторъ широко понималъ общественное призваніе такого практика-дѣльца. Въ его описаніи онъ вышелъ заботливымъ, хотя и строгимъ опекуномъ низшей братіи. Въ своемъ обращеніи съ ней Скудронжогло былъ большой консерваторъ, даже суровый консерваторъ: онъ возставалъ напр. противъ устройства богоугодныхъ заведеній; онъ видѣлъ въ нихъ лишь средство, чтобы оторвать мужика отъ христіанскаго долга. „Помоги,—говорилъ онъ,—сыну пригрѣть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его съ плечъ своихъ“. Онъ высказывался рѣшительно и противъ школъ, мотивируя это тѣмъ, что писарь въ деревнѣ нуженъ одинъ,

а остальныя дѣти должны помогать отцамъ на работѣ. „У тебя крестьяне затѣмъ, — разсуждалъ онъ, — чтобы ты имъ покровительствовалъ въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ чемъ же быть? въ чемъ же занятія крестьянина?—Въ хлѣбопашествѣ. Такъ старайся, чтобы онъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ". И авторъ хотѣлъ увѣрить насъ, что съ этой нехитрой мудростью его мудрецъ добился большихъ результатовъ. „Все въ его деревняхъ было богато: торныя улицы, крѣпкія избы; рогатый скотъ какъ на отборъ, даже мужичья свинья глядѣла дворяниномъ; и мужики его гребли, какъ поется въ пѣснѣ, серебро лопатой". Такой блаженной идилліей тѣшилъ свою фантазію Гоголь, желая купить процвѣтаніе народное по цѣнѣ наивозможно дешевой, безъ всякихъ излишнихъ нововведеній и заморскихъ хитростей. Мораль трезваго благомыслящаго и практическаго ума—вотъ что ,повидимому, совѣтовалъ Гоголь усвоить мужчинѣ, когда съ такимъ паѳосомъ говорилъ о Скудронжогло, объ этомъ уже не хищномъ пріобрѣтателѣ.

Прозаическую односторонность такого положительнаго типа Гоголь попытался восполнить другимъ идеальнымъ женскимъ типомъ, о которомъ издавна грезилъ. Это была та пресловутая чудная дѣвица, появленіе которой онъ обѣщалъ читателямъ въ первой части своей поэмы. И авторъ не поскупился на романтическія сравненія и краски для характеристики своей Улиньки. „Она была существо невиданное, странное, которое скорѣй можно было почесть какимъ-то фантастическимъ видѣніемъ, чѣмъ женщиной. Иногда случается человѣку во снѣ увидѣть что-то подобное, и съ тѣхъ поръ онъ уже всю жизнь свою грезитъ этимъ сновидѣніемъ. Она была миловиднѣе, чѣмъ красавица; лучше, чѣмъ умъ, стройнѣй и воздушнѣй классической женщины. Какъ въ ребенкѣ, воспитанномъ на свободѣ, въ ней было все своенравно. Гнѣвъ бывалъ у нея только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестокомъ поступкѣ съ кѣмъ бы то ни было. Когда она

говорила, у ней, казалось, все стремилось вслѣдъ за мыслью: выраженіе лица, выраженіе разговора, движеніе рукъ; самыя складки платья какъ бы летѣли въ ту же сторону, и казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вслѣдъ за собственными ея словами... При ней какъ-то смущался недобрый человѣкъ и нѣмѣлъ, а добрый, даже самый застѣнчивый, могъ разговориться съ ней вдругъ, какъ съ сестрой, и—странный обманъ!—съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдѣ-то и когда-то онъ зналъ ея, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дѣтской толпы, и послѣ того какъ становился ему скучнымъ разумный возрастъ человѣка"... Такой свѣтлый образъ появился теперь передъ нами какъ бы исполняя то обѣщаніе, которое авторъ давалъ раньше, когда на губернаторскомъ балу заставилъ Чичикова растеряться передъ прекрасной институткой. Взамѣнъ Коробочки, Ѳеодуліи Ивановны, всякихъ дамъ, пріятныхъ въ разныхъ отношеніяхъ, появлялась теперь, какъ думалъ Гоголь, истинно русская женщина. Авторъ не замѣтилъ, что у ней были всѣ добродѣтели и только одинъ недостатокъ, а именно — она была мертвая. Но во всякомъ случаѣ, стремленіе автора замѣнить сѣрыя краски первой части поэмы болѣе свѣтлыми сказалось всего яснѣе на созданіи такого воздушнаго образа.

Это стремленіе оставило свой слѣдъ и на жанровыхъ картинкахъ изъ крестьянской жизни... Въ первой части онѣ были неприглядны; теперь значительно повеселѣли. Правда, строгая опека надъ мужикомъ была попрежнему признана необходимой; надо было смотрѣть во всѣ глаза за простымъ человѣкомъ, чтобы онъ не сдѣлался пьяницей и негодяемъ. Надо было зорко смотрѣть за нимъ потому, что между мужиками — какъ утверждалъ авторъ — завелось теперь много всякой мерзости. Смущаютъ ихъ разные раскольники и бродяги, возстановляютъ противъ властей, а притѣсненному чело-

вѣку возстать легко. „Развѣ трудно подстрекнуть человѣка, который точно терпитъ?—говорилъ Гоголь устами благомыслящаго Муразова. Да дѣло въ томъ, что не снизу должна начинаться расправа. Дѣло плохо, когда пойдутъ на кулаки: ужъ тутъ никакого толку не будетъ — только ворамъ пожива. Утѣшайте крестьянъ словомъ и получше толкуйте имъ то, что Богъ велитъ переносить безропотно, и молиться въ это время, когда несчастливъ, а не буйствовать и расправляться самому. Говорите имъ, никого не возбуждая ни противъ кого, а всѣхъ примиряя". Эти сентиментальные совѣты авторъ не оставлялъ, однако, безъ поправки, настойчиво совѣтуя помѣщику заботиться о благосостояніи крестьянъ и при случаѣ рисуя разныя идилліи, въ которыхъ описывалось, какъ веселились сытые и довольные крестьяне, съ какой бодростью они трудились, и какъ нѣжно выражали барину чувства своей привязанности...

Столько консервативно-мирныхъ лучей заставилъ авторъ упасть на ту сѣрую картину русской жизни, которую набросалъ раньше. И помѣщикамъ, и крестьянамъ пророчилъ онъ свѣтлую будущность. Въ раздачѣ этихъ обѣщаній обдѣлилъ онъ снова однихъ только чиновниковъ, т.-е. опять не высшихъ, а низшихъ. Про нихъ разсказалъ онъ и во второй части „Мертвыхъ Душъ" много некрасиваго.

Лжесвидѣтельства, доносы, поддѣлка документовъ, наглый обманъ съ переодѣваніемъ, насиліе—все поставилъ онъ имъ въ счетъ, и несчастный генералъ-губернаторъ, глядя на нихъ, долженъ былъ воскликнуть: „Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго; всѣ — мерзавцы". Гоголю стало, однако, жаль добродѣтельнаго начальника и ему въ утѣшеніе онъ попытался набросать тутъ же силуэтъ какого-то молодого человѣка,—на лицѣ котораго изображались трудъ и забота, который, не сгорая ни честолюбіемъ, ни желаніемъ прибытковъ, ни подражаніемъ другимъ, служилъ только потому, что былъ убѣжденъ, что ему нужно быть здѣсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему жизнь...

Такова была въ общихъ чертахъ тенденція, какую проводилъ нашъ моралистъ во второй части своей поэмы. Она должна была смягчить впечатлѣніе первой части и укрѣпить въ читателѣ его любовь къ многогрѣшной родинѣ. Авторъ имѣлъ теперь больше права выставлять напоказъ свой патріотизмъ, и вся эта исторія возрожденія грѣшниковъ и должна была быть сведена въ концѣ концовъ къ прославленію русской натуры. „У русскаго человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо, говорилъ Гоголь... и нигдѣ въ другихъ земляхъ не трепещетъ такъ возвышенно пылко молодое сердце, какъ въ Россіи".

„Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово: „впередъ!"; кто, зная всѣ силы и свойства, и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеніемъ могъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? — спрашивалъ писатель, имѣя уже наготовѣ про себя тайный горделивый отвѣтъ.

Его поэма должна была заключать въ себѣ этотъ призывъ ободренія, это давно желанное слово „впередъ!" — и потому, конечно, она не могла оборваться на томъ моментѣ въ жизни героевъ, о которомъ авторъ теперь разсказывалъ. Если эта вторая часть поэмы была необходима, какъ пояснительное и умиротворяющее продолженіе первой, то она сама требовала также продолженія. Нельзя было покинуть этихъ людей, когда они находились на пути къ обновленію. Нужно было пройти съ ними весь этотъ путь и оставить ихъ, если не среди новаго дѣла, то, по крайней мѣрѣ, въ преддверіи его. Слишкомъ еще мало было въ поэмѣ свѣта и добра, чтобы она могла соотвѣтствовать своему назначенію, т.-е. служить руководствомъ къ нравственному перевоспитанію читателя и свидѣтельствомъ нравственнаго же усовершенствованія автора. Нужна была третья часть, которая относилась бы къ первой, какъ рай относится къ аду, свѣтъ къ

тѣни, добродѣтель къ пороку. Все, на что способно было „справедливое русское чувство“, все должно было одѣться въ плоть и кровь и только тогда религіозная, патріотическая и нравственная идея автора нашла бы себѣ полное обнаруженіе и воплощеніе.

И Гоголь думалъ объ этой третьей части „Мертвыхъ Душъ“, думалъ, можетъ быть, въ то же самое время, когда отдѣлывалъ первую и набрасывалъ вторую.

О планѣ и о содержаніи этой третьей части почти ничего неизвѣстно. Есть только указанія, что въ ней должны были вновь появиться нѣкоторыя изъ дѣйствующихъ лицъ первой части, въ томъ числѣ и Плюшкинъ, но не затѣмъ, чтобы заставить читателя содрогнуться при мысли о ближнемъ, а, наоборотъ, затѣмъ, чтобы укрѣпить въ немъ вѣру въ человѣка. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ оставался попрежнему героемъ поэмы и ему предназначалась особенно важная роль, если вѣрить показанію одного изъ друзей Гоголя. „Помнится — разсказываетъ архимандритъ Ѳедоръ, съ которымъ Гоголь въ послѣдніе годы своей жизни сблизился *),—помнится, когда кое-что прочиталъ я Гоголю изъ моего разбора „Мертвыхъ Душъ“, желая только познакомить его съ моимъ способомъ разсмотрѣнія этой поэмы, то я его прямо спросилъ, чѣмъ именно должна кончиться эта поэма. Онъ, задумавшись, выразилъ свое затрудненіе высказать это съ обстоятельностью? Я возразилъ, что мнѣ только нужно знать, оживетъ ли, какъ слѣдуетъ, Павелъ Ивановичъ? Гоголь, какъ будто съ радостью, подтвердилъ, что это непремѣнно будетъ и оживленію его послужитъ прямымъ участіемъ самъ царь и первымъ вздохомъ Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. „А прочіе спутники Чичикова?—спросилъ я Гоголя. И они тоже воскреснуть?“ **)—„Если захотятъ“, отвѣтилъ онъ съ улыбкою

*) «Три письма къ Н. В. Гоголю, писанныя въ 1848 году», Спб., 1860, 138.

**) Самъ архимандритъ Ѳеодоръ уже въ первой части «Мертвыхъ Душъ» видѣлъ намекъ на возможность новой жизни для Ноздрева, Соба-

и потомъ сталъ говорить, какъ необходимо далѣе привести ему своихъ героевъ въ столкновеніе съ истинно хорошими людьми".

Найти этихъ истинно хорошихъ людей было, конечно, не трудно, и, вѣроятно, Гоголь имѣлъ ихъ на примѣтѣ, но только воплотить ихъ въ образахъ онъ былъ уже не въ состояніи. Одиннадцать лѣтъ промучился онъ [1840—1852], сочиняя продолженіе для первой части своей поэмы, все раздвигая и расширяя ея рамки, и наконецъ, сжегъ все, что успѣлъ создать, признавъ, что написанное не соотвѣтствуетъ своему великому назначенію. Онъ разочаровался въ своихъ силахъ и какъ моралистъ, и какъ художникъ. Какъ моралистъ, онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что его поэма „не указываетъ для всякаго путей и дорогъ къ высокому и прекрасному", т.-е., что она не творитъ чуда; какъ художникъ, онъ приходилъ въ отчаяніе оттого, что талантъ его ослабѣвалъ съ каждымъ годомъ, что въ картинѣ его не было жизни, что лица выходили блѣдныя и становились въ неестественныя положенія... И онъ былъ правъ, осуждая свое твореніе: талантъ бытописателя угасалъ въ немъ подъ сильнымъ давленіемъ до болѣзненности разросшагося романтическаго настроенія его души, которая начинала питаться теперь уже не впечатлѣніями настоящаго, а туманными чаяніями грядущаго.

Но въ концѣ тридцатыхъ годовъ, когда Гоголь заграницей дописывалъ первую часть „Мертвыхъ Душъ", онъ не догадывался о возможности такихъ мученій. Талантъ его былъ въ полномъ цвѣту, надеждъ было много, грандіозное продолженіе поэмы рисовалось его воображенію ясно, онъ думалъ, что, какъ художникъ и моралистъ, онъ осилитъ всѣ трудности,—и, бодрый, возвращался онъ на родину, осенью

кевича и Плюшкина, и надѣялся, что во второй и третьей части Гоголь разскажетъ всѣ прекрасныя и строгія тайны... не болѣе не менѣе, какъ самого Эдема [«Три письма», 87, 90, 99, 182].

1841 года, за тѣмъ, чтобы приступить къ печатанію первыхъ „похожденій Чичикова“, съ которыхъ онъ рѣшилъ начать свою проповѣдь на тему о нравственномъ самоусовершенствованіи человѣка.

XV.

Пріѣздъ Гоголя въ Россію въ 1841 г.—Хлопоты съ цензурой по изданію «Мертвыхъ Душъ».—Болѣзненное состояніе и нервное настроеніе писателя.—Религіозное просвѣтлѣніе духа.—Гоголь среди западниковъ и славянофиловъ; его сношенія съ кружкомъ Аксакова и съ Бѣлинскимъ.—Значеніе произведеній Гоголя для обѣихъ партій.—Отъѣздъ Гоголя изъ Россіи въ 1842 году.—Выходъ въ свѣтъ полнаго собранія его сочиненій.

Гоголь вернулся въ Россію въ веселомъ настроеніи духа, но оно испортилось очень скоро. Въ этомъ частью была виновата его странная психическая организація, для которой сознаніе законченнаго труда всегда бывало тягостнѣе, чѣмъ самый процессъ работы. Гоголь, какъ художникъ, никогда собой доволенъ не былъ и, конечно, еще менѣе былъ доволенъ теперь, когда онъ привозилъ на родину частицу неоконченнаго, грандіознаго по замыслу, романа, который такъ тѣсно слился съ „дѣломъ“ его собственной души. Приступая къ печатанію первой части „Мертвыхъ Душъ“, авторъ все-таки жилъ мечтой объ ихъ продолженіи, а не чувствомъ довольства тѣмъ, что уже было создано... Онъ нервничалъ, и эта нервность едва ли требуетъ поясненія, въ особенности если принять во вниманіе какъ самолюбивъ былъ авторъ и какія надежды онъ возлагалъ на свою поэму. Мысль, что и на этотъ разъ онъ рискуетъ остаться непонятымъ, могла испортить всякое веселое настроеніе.

Оно испортилось впрочемъ прежде всего отъ цѣлаго

ряда непріятныхъ столкновеній съ цензурой. Сначала Гоголь представилъ свою рукопись въ московскій цензурный комитетъ, и она была передана на разсмотрѣніе цензору Снегиреву. Снегиревъ нашелъ рукопись совершенно благонамѣренной, но почему-то вдругъ—вѣроятно уступая какому-то давленію со стороны—рѣшилъ снять съ себя отвѣтственность за ея пропускъ и вернулъ ее въ комитетъ для совмѣстнаго обсужденія. Въ комитетѣ произошло нѣчто невѣроятное. Самъ Гоголь въ одномъ частномъ письмѣ такъ разсказывалъ объ этомъ комическомъ эпизодѣ: „Комитетъ принялъ рукопись такимъ образомъ, какъ будто уже былъ приготовленъ заранѣе и былъ настроенъ разыграть комедію: ибо обвиненія, всѣ безъ исключенія, были комедія въ высшей степени. Какъ только Голохвастовъ [помощникъ попечителя московскаго учебнаго округа], занимавшій мѣсто президента, услышалъ названіе „Мертвыя Души“, онъ закричалъ голосомъ древняго римлянина: „Нѣтъ, этого я никогда не позволю: душа бываетъ безсмертна, мертвой души не можетъ быть, авторъ вооружается противъ безсмертія“. Въ силу, наконецъ, могъ взять въ толкъ умный президентъ, что дѣло идетъ о ревизскихъ душахъ. Какъ только взялъ онъ въ толкъ и взяли въ толкъ вмѣстѣ съ нимъ другіе цензора, что *мертвыя* значитъ ревизскія души, произошла еще бо̀льшая кутерьма: „Нѣтъ“, закричалъ предсѣдатель и за нимъ половина цензоровъ,—этого и подавно нельзя позволить, хотя бы въ рукописи ничего не было, а стояло только одно слово *ревизская душа*; ужъ этого нельзя позволить: это значитъ—противъ крѣпостного права“. Наконецъ самъ Снегиревъ увидѣлъ, что дѣло зашло уже очень далеко: сталъ увѣрять цензоровъ, что онъ рукопись читалъ и что о крѣпостномъ правѣ и намековъ нѣтъ; что даже нѣтъ обыкновенныхъ оплеухъ, которыя раздаются во многихъ повѣстяхъ крѣпостнымъ людямъ; что здѣсь совершенно о другомъ рѣчь; что главное дѣло основано на смѣшномъ недоумѣніи продающихъ и на тонкихъ хитростяхъ покупщика и на все-

общей ералаши, которую произвела такая странная покупка; что это рядъ характеровъ, внутренній бытъ Россіи и нѣкоторыхъ обитателей, собраніе картинъ самыхъ невозмутительныхъ. Но ничего не помогло. Предпріятіе Чичикова,—стали кричать всѣ,—есть уже уголовное преступленіе". „Да, впрочемъ, и авторъ не оправдываетъ его", замѣтилъ мой цензоръ. „Да, не оправдываетъ, а вотъ онъ выставилъ его теперь, и пойдутъ другіе брать примѣръ и покупать мертвыя души". Вотъ какіе толки! Это толки цензоровъ-азіатцевъ, то-есть людей старыхъ, выслужившихся и сидящихъ дома. Теперь слѣдуютъ толки цензоровъ-европейцевъ, возвратившихся изъ-за границы людей молодыхъ. „Что вы ни говорите, а цѣна, которую даетъ Чичиковъ [сказалъ одинъ изъ такихъ цензоровъ—Крыловъ], цѣна два съ полтиною, которую онъ даетъ за душу, возмущаетъ душу. Человѣческое чувство вопіетъ противъ этого. Хотя, конечно, эта цѣна дается за одно имя, написанное на бумагѣ, но все же это имя—душа, душа человѣческая; она жила, существовала. Этого ни во Франціи, ни въ Англіи и нигдѣ нельзя позволить. Да послѣ того ни одинъ иностранецъ къ намъ не пріѣдетъ". Это главные пункты, основываясь на которыхъ произошло запрещеніе рукописи. Я не разсказываю о другихъ мелкихъ замѣчаніяхъ. Какъ-то въ одномъ мѣстѣ сказано, что одинъ помѣщикъ разорился, убирая себѣ домъ въ Москвѣ въ модномъ вкусѣ. „Да вѣдь и государь строитъ въ Москвѣ дворецъ!" сказалъ цензоръ. Тутъ, по поводу, завязался у цензоровъ разговоръ, единственный въ мірѣ. Потомъ произошли другія замѣчанія, которыя даже совѣстно пересказывать, и, наконецъ, дѣло кончилось тѣмъ, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитетъ только прочелъ три или четыре мѣста" *).

Напуганный этими толками, Гоголь рѣшилъ попытать счастья со своею рукописью въ Петербургѣ, надѣясь на

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 136—138.

друзей, которые могли ей выхлопотать охрану, уже оградившую „Ревизора“ отъ слишкомъ зоркихъ читателей. Рукопись „Мертвыхъ Душъ“ была отправлена изъ Москвы въ Петербургъ съ Бѣлинскимъ, съ которымъ Гоголь въ это время познакомился. Въ Петербургѣ она, дѣйствительно, и получила цензорское разрѣшеніе, но не сразу, а спустя довольно продолжительный срокъ и не безъ помарокъ. Гоголя истомили эти ожиданія и опасенія; сначала онъ долго не получалъ извѣстія, гдѣ его рукопись, и въ отчаяніи думалъ, что она пропала, затѣмъ, когда она стала проходить сквозь цензурныя мытарства, онъ дошелъ до крайнихъ степеней нервнаго раздраженія и напряженія: ему казалось, что кто-то противъ него злоумышляетъ, что есть враги, которые хотятъ набросить тѣнь на его благонадежность, „тогда какъ онъ не позволилъ себѣ написать ничего противнаго правительству, уже и такъ его глубоко облагодѣтельствовавшему“, онъ сталъ думать, что его хотятъ лишить всѣхъ средствъ къ существованію, и въ этихъ опасеніяхъ онъ былъ правъ лишь въ томъ смыслѣ, что, дѣйствительно, надѣялся „Мертвыми Душами“ поправить свое расшатанное финансовое положеніе... Но, въ концѣ концовъ, тревоги оказались преувеличенными; разрѣшеніе печатать поэму было получено, и даже цензорскіе штрихи были не очень часты и длинны. Пострадала только „Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ“, которая была вся сплошь зачеркнута. Гоголь очень горевалъ объ этомъ, такъ какъ считалъ эту повѣсть однимъ изъ лучшихъ мѣстъ въ поэмѣ. Не желая ею жертвовать, онъ, какъ мы знаемъ, ее передѣлалъ, и въ смягченномъ исправленномъ видѣ она и была процущена.

Всѣ эти волненія отозвались очень тяжело на авторѣ. Быть можетъ, онъ бы и не страдалъ отъ нихъ такъ сильно, если бы въ это же время, т.-е. съ конца 1841 года вновь не пошатнулось сильно его здоровье. „Я былъ боленъ,—писалъ онъ въ февралѣ 1842 года одной своей пріятельницѣ,—очень боленъ и еще боленъ донынѣ внутренно.

Болѣзнь моя выражается такими страшными припадками, какихъ никогда со мною еще не было; но страшнѣе всего мнѣ показалось то состояніе, которое напомнило мнѣ ужасную болѣзнь мою въ Вѣнѣ, а особливо, когда я почувствовалъ то подступившее къ сердцу волненіе, которое всякій образъ, пролетавшій въ мысляхъ, обращало въ исполина, всякое незначительно-пріятное чувство превращало въ такую страшную радость, какую не въ силахъ вынести природа человѣка, и всякое сумрачное чувство претворяло въ печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потомъ слѣдовали обмороки; наконецъ, совершенно сомнамбулическое состояніе. И нужно же, въ довершеніе всего этого, когда и безъ того болѣзнь моя была невыносима, получить еще непріятности, которыя и въ здоровомъ состояніи человѣка бываютъ потрясающи. Сколько присутствія духа мнѣ нужно было собрать въ себѣ, чтобы устоять! И я устоялъ; я крѣплюсь, сколько могу" *).

Это болѣзненное состояніе было причиной и жалобъ Гоголя на „толки", „сплетни" и „гадости", которые, какъ онъ увѣрялъ, его окружили на родинѣ. Онъ говорилъ о нихъ въ своихъ письмахъ не совсѣмъ ясно и разумѣлъ, вѣроятно, главнымъ образомъ, все тѣ же цензурныя непріятности; но, кажется, что и къ знакомымъ своимъ онъ сталъ относиться въ это время съ излишней раздражительностью. Во всякомъ случаѣ, онъ очень скоро сталъ тяготиться своимъ пребываніемъ въ Россіи и вновь почувствовалъ отливъ вдохновенія и душевной бодрости. „Голова у меня одеревенѣла и ошеломлена такъ, что ничего не въ состояніи дѣлать—писалъ онъ въ январѣ 1842 г. Максимовичу—не въ состояніи даже чувствовать, что ничего не дѣлаю. Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здѣсь, въ моемъ отечествѣ! Жду не дождусь весны и поры ѣхать въ мой Римъ, въ мой рай, гдѣ я почувствую вновь свѣжесть и силы,

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 147—8.

охладѣвающія здѣсь". „Съ того времени, какъ только вступила моя нога на родную землю — признавался онъ своей пріятельницѣ М. П. Балабиной — мнѣ кажется, какъ будто я очутился на чужбинѣ. Вижу знакомыя, родныя лица; но они, мнѣ кажется, не здѣсь родились, а гдѣ-то я ихъ въ другомъ мѣстѣ, кажется, видѣлъ; и много глупостей, непонятныхъ мнѣ самому, чудится въ моей ошеломленной головѣ. Но что ужасно, что въ этой головѣ нѣтъ ни одной мысли, и если вамъ нуженъ теперь болванъ, для того, чтобы надѣвать на него вашу шляпку или чепчикъ, то я весь теперь къ вашимъ услугамъ". „Голова моя глупа, душа неспокойна, — говорилъ онъ Плетневу. Боже! думалъ ли я вынести столько томленій въ этотъ пріѣздъ мой въ Россію!" *).

Всѣ такіе возгласы для насъ не новость: мы къ нимъ уже прислушались. Въ тревожную минуту, когда нервное напряженіе мѣшало Гоголю работать, онъ всю вину сваливалъ обыкновенно на окружающую обстановку и только и думалъ о томъ, какъ бы скорѣй перемѣнить ее. Немудрено, что и на этотъ разъ онъ сталъ мечтать о тихомъ и мирномъ уголкѣ, который онъ покинулъ, и гдѣ ему такъ работалось. Мысль бѣжать изъ Россіи стала соблазнять его въ третій разъ: ему вновь, какъ въ 1829 и въ 1836 году, почудилось, что только издали ему видна и мила Россія. „Уже въ самой природѣ моей, — признавался онъ своему другу Плетневу—заключена способность только тогда представлять себѣ живо міръ, когда я удалился отъ него. Вотъ почему о Россіи я могу писать только въ Римѣ. Только тамъ она предстаетъ мнѣ вся, во всей своей громадѣ. А здѣсь я погибъ и смѣшался въ ряду съ другими. Открытаго горизонта нѣтъ предо мною" **).

Какъ видимъ, главною причиной жалобъ Гоголя было

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 139, 140, 157.
**) «Письма Н. В. Гоголя», II, 157.

опасеніе утратить способность къ труду, которая заграницей поражала его самого своею интенсивностью и силой.

Дѣйствительно, несмотря на всѣ тревоги, какія онъ испытывалъ за этотъ годъ [1841—1842] жизни въ Россіи, мысль о продолженіи „Мертвыхъ Душъ“ его не покидала. Онъ былъ полонъ надеждъ и увѣренности. На ту часть своей поэмы, которую онъ теперь отстаивалъ передъ цензурой, онъ смотрѣлъ, какъ на преддверіе настоящаго храма, который еще надлежало выстроить. „Пересиливаю, сколько могу, и себя и болѣзнь свою, — писалъ онъ своимъ друзьямъ въ февралѣ 1842 года. Неотразима вѣра моя въ свѣтлое будущее, и невѣдомая сила говоритъ мнѣ, что дадутся мнѣ средства окончить трудъ мой“. „Онъ важенъ и великъ, и вы не судите о немъ по той части, которая готовится теперь предстать на свѣтъ. Это больше ничего, какъ только крыльцо къ тому дворцу, который во мнѣ строится... и разрѣшитъ, наконецъ, загадку моего существованія“. „Это блѣдное начало того труда, который свѣтлою милостью небесъ будетъ много не безполезенъ...“ *)

Таковы были надежды автора; и вѣра въ силу небесъ все возрастала и возрастала въ его сердцѣ. Въ письмахъ Гоголя за это время встрѣчается много искреннихъ признаній и возгласовъ, въ которыхъ сказывается необычайно глубокое религіозное чувство и, какъ было и раньше, очень повышенное самомнѣніе. Попрежнему понятіе о Божіемъ Промыслѣ, мысль о „Мертвыхъ Душахъ“ и мысль о себѣ самомъ какъ-то сливаются въ умѣ нашего автора. Онъ продолжаетъ готовить себя къ великому подвигу чтеніемъ Евангелія; онъ рѣшается предпринять паломничество въ Іерусалимъ и искать благословенія своему труду у Гроба Господня; онъ знаетъ, что Россію нужно покинуть и говоритъ, что на этотъ разъ его удаленіе изъ отечества будетъ продолжительно и возвратъ его возможенъ только черезъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 143, 156, 168, 174.

Іерусалимъ. Попрежнему въ письмахъ его начинаютъ звучать пророческіе возгласы: „Крѣпись и стой твердо,—пишетъ онъ одному изъ друзей,—прекраснаго много впереди! Если же что въ жизни смутитъ тебя, наведетъ безпокойство, сумракъ на мысли, вспомни обо мнѣ, и при одномъ уже твоемъ напоминаніи отдѣлится сила въ твою душу". Какому-то чиновнику велитъ онъ передать свое слово утѣшенія и пишетъ при этомъ: „Скажите ему, что это говоритъ тотъ, кому внутренняя неисповѣдимая сила велитъ сказать это". „Будь здоровъ, — привѣтствуетъ онъ одного друга,—и да присутствуетъ въ твоемъ духѣ вѣчная свѣтлость! а въ случаѣ недостатка ея, обратись мыслію ко мнѣ, и ты посвѣтлѣешь непремѣнно, ибо души сообщаются, и вѣра, живущая въ одной, переходитъ невидимо въ другую". Въ такихъ самоувѣренныхъ обращеніяхъ къ роднымъ и знакомымъ Гоголь перестаетъ даже различать сильныхъ людей отъ слабыхъ, лицъ, способныхъ умилиться передъ его пророческимъ тономъ, отъ такихъ, которыя могутъ взглянуть на него косо или съ улыбкой. Князю Вяземскому, трудившемуся тогда надъ своимъ изслѣдованіемъ о Фонвизинѣ, онъ напр., пишетъ: „Въ этомъ трудѣ вамъ откроется много наслажденія, вы много узнаете, чего не узнаетъ никто, и что больше всѣхъ, вы узнаете глубже и много такихъ сторонъ, какихъ вы, можетъ быть, по скромности не подозрѣваете въ себѣ. Ваша жизнь будетъ полна! Во имя Бога, не пропустите безъ вниманія этихъ словъ моихъ! По крайней мѣрѣ, предайтесь долго размышленію; они стоятъ того, потому что произнесены тѣмъ человѣкомъ, который подвигнутъ къ вамъ глубокимъ уваженіемъ, сильно поднимающимъ ихъ; совѣсть бы меня мучила, если бы я не написалъ къ вамъ этого письма. Это было велѣніе изнутри меня, потому оно могло быть Божіе велѣніе; итакъ, уважьте его вы" *).

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 167, 168, 215, 218, 227.

Друзья Гоголя, читая такія строки, безпокоились, изумлялись, даже сердились, и никто изъ нихъ не понималъ, что такой поворотъ въ мысляхъ и чувствахъ совершался въ Гоголѣ помимо его воли, въ силу психической неизбѣжности. Нашъ романтикъ былъ искрененъ во всѣхъ этихъ странностяхъ. Онъ помышлялъ даже о монашествѣ. „Я не рожденъ для треволненій—говорилъ онъ—и чувствую съ каждымъ днемъ и часомъ, что нѣтъ выше удѣла на свѣтѣ, какъ званіе монаха". Въ монахи онъ, впрочемъ, не постригся, хотя и велъ потомъ почти что монашескій образъ жизни, но какое-то священнослужительское право онъ все-таки призналъ за собой, и сталъ надѣлять своихъ родныхъ и знакомыхъ не болѣе не менѣе какъ своимъ благословеніемъ. Онъ посылалъ свое благословеніе и матери, и сестрамъ, „силою стремленій своихъ; силою слезъ, силою душевной жажды, быть достойну того", благословлялъ онъ Жуковскаго; и даже преосвященнаго Иннокентія: „Полный душевнаго и сердечнаго движенія—писалъ онъ ему—жму заочно вашу руку и силою вашего же благословенія благословляю васъ! Неослабно и твердо протекайте пастырскій путь вашъ! Всемогущая сила надъ *нами*. Ничто не совершается безъ нея въ мірѣ: и наша встрѣча была назначена свыше. Она залогъ полной встрѣчи у гроба Господа" *).

Всѣ такія выраженія, пріемы и намеки могли со стороны показаться большимъ чудачествомъ и, дѣйствительно, нашъ авторъ становился загадкой даже для тѣхъ лицъ, которыя были увѣрены, что знаютъ его близко. Надъ душой его нависла большая печаль, но пока еще она казалась ему великою радостью.

Трудно было даже близкому человѣку заглянуть въ эту таинственную душу, и если бы самъ Гоголь въ своихъ письмахъ не разсказалъ намъ о томъ, что въ ней творилось, то, кромѣ слова „странность", мы и не имѣли бы другого

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 176, 185, 174.

слова для обозначенія этого въ высшей степени сложнаго психическаго процесса, который художника обратилъ навсегда въ проповѣдника, въ искателя Бога, въ мистика и кающагося грѣшника.

Сопоставимъ нѣсколько отрывковъ изъ переписки Гоголя, чтобы получить возможно ясное понятіе о душевномъ просвѣтлѣніи и вмѣстѣ съ тѣмъ сокрушеніи нашего писателя, съ которымъ намъ надлежитъ теперь проститься, какъ разъ въ этотъ знаменательный періодъ его жизни.

„Скажу—пишетъ онъ Жуковскому *)—что съ каждымъ днемъ и часомъ становится свѣтлѣй и торжественнѣе въ душѣ моей, что не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленія и отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей, что я сталъ далеко лучше того, какимъ запечатлѣлся въ священной для меня памяти друзей моихъ, что чаще и торжественнѣе льются душевныя мои слезы и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ взойти мнѣ на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горнаго снѣга, свѣтлѣе небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрѣшится загадка моего существованія... Грѣховъ, указанія грѣховъ желаетъ и жаждетъ теперь душа моя! Еслибъ вы знали, какой теперь праздникъ совершается внутри меня, когда открываю въ себѣ порокъ, дотолѣ не примѣченный мною!“

„Васъ устрашаетъ — писалъ онъ С. Т. Аксакову — мое длинное и трудное путешествіе въ Іерусалимъ. Вы говорите, что не можете понять ему причины; вы говорите, что нѣсколько разъ хотѣли спросить меня и все останавливались, не рѣшаясь навязываться самому на довѣренность. А вопросъ

*) Всѣ эти строки были написаны Гоголемъ тотчасъ послѣ выѣзда изъ Россіи въ іюлѣ и августѣ 1842 года.

вашъ былъ бы мнѣ пріятенъ, потому что онъ вопросъ друга. И что бы могъ я вамъ отвѣчать? развѣ произнесъ бы слова только: „такъ должно быть!“ Разсмотрите меня и мою жизнь среди васъ. Что вы нашли во мнѣ похожаго на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышитъ наша добрая Москва, не думая о томъ, чтобы быть лучшею? Развѣ нашли вы во мнѣ слѣпую вѣру во всѣ безъ различія обычаи предковъ, не разбирая, на лжи или на правдѣ они основаны, или увлеченіе новизною, соблазнительной для многихъ современностью и модою? Развѣ вы замѣтили во мнѣ юношескую незрѣлость или живость въ мысляхъ, развѣ открыли во мнѣ что-нибудь похожее на фанатизмъ и жаркое, вдругъ рождающееся увлеченіе чѣмъ-нибудь? И если въ душѣ такого человѣка, уже по самой природѣ своей болѣе медлительнаго и обдумывающаго, чѣмъ быстраго и торопящагося, который притомъ хоть сколько-нибудь умудренъ и опытомъ, и жизнью, и познаніемъ людей и свѣта, если въ душѣ такого человѣка родилась подобная мысль предпринять это отдаленное путешествіе, то, вѣрно, она уже не есть слѣдствіе мгновеннаго порыва, вѣрно уже слишкомъ благодѣтельна она, вѣрно, далеко оглянута она, вѣрно, и умъ, и душа, и сердце соединились въ одно, чтобы послужить такой мысли. Но еслибъ даже и не могло заключиться въ ней никакой обширной цѣли, никакого подвига во имя любви къ братьямъ, никакого дѣла во имя Христа, то развѣ вся жизнь моя не стоитъ благодарности?“ „Какъ же вы хотите, чтобы въ груди того, который услышалъ высокія минуты небесной жизни, который услышалъ любовь, не возродилось желаніе взглянуть на ту землю, гдѣ проходили стопы Того, Кто первый сказалъ слово любви сей человѣкамъ, откуда истекла она въ міръ?.. Признайтесь, вамъ странно показалось, когда я въ первый разъ объявилъ вамъ о такомъ намѣреніи? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и рѣчей, и жизни— однимъ словомъ, всему тому, что составляетъ мою природу,

кажется неприличнымъ такое дѣло... Но развѣ не бываетъ въ природѣ странностей? Развѣ вамъ не странно было встрѣтить въ сочиненіи, подобномъ „Мертвымъ Душамъ“, лирическую восторженность? не смѣшною ли она вамъ показалась вначалѣ, и потомъ не примирились ли вы съ нею, хотя не вполнѣ еще узнали ея значеніе? Такъ, можетъ быть, вы примиритесь потомъ и съ симъ лирическимъ движеніемъ самого автора... Какъ можно знать, что нѣтъ, можетъ быть, тайной связи между симъ моимъ сочиненіемъ, которое съ такими погремушками вышло на свѣтъ изъ темной низенькой калитки, а не изъ побѣдоносныхъ тріумфальныхъ воротъ, въ сопровожденіи трубнаго грома и торжественныхъ звуковъ, и между симъ отдаленнымъ путешествіемъ. Благоговѣніе же къ Промыслу!.. Душа моя слышитъ грядущее блаженство и знаетъ, что одного только стремленія нашего къ нему достаточно, чтобы всевышней милостью Бога оно ниспустилось въ наши души. Итакъ, свѣтлѣй и свѣтлѣй да будутъ съ каждымъ днемъ и минутой ваши мысли, и свѣтлѣй всего да будетъ неотразимая вѣра ваша въ Бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничѣмъ, что безумно называетъ человѣкъ несчастьемъ. Вотъ что вамъ говоритъ человѣкъ, смѣшащій людей!“

Такъ увѣренно смотрѣлъ впередъ сатирикъ, въ душѣ котораго теперь религіозный паѳосъ сталъ подавлять и сарказмъ, и юморъ, и даръ спокойнаго созерцанія. Гоголь, впрочемъ, былъ не особенно опечаленъ утратой этихъ даровъ, такъ какъ надѣялся, что вскорѣ вмѣсто „смѣшныхъ“ рѣчей раздастся тотъ величавый громъ, который дополнитъ и увѣнчаетъ все, что было сказано на пользу и въ назиданіе ближнихъ.

Конечно, нашъ писатель не могъ и представить себѣ, что этотъ религіозный подъемъ души, которому онъ такъ радовался, станетъ для него источникомъ величайшихъ душевныхъ терзаній. Онъ привѣтствовалъ его какъ зарю утра, тогда какъ это была заря вечерняя.

Всѣ эти признанія были сдѣланы Гоголемъ уже за предѣлами Россіи, которую онъ покинулъ въ началѣ іюня 1842 года. Странно! онъ выѣхалъ изъ Москвы въ тотъ самый день, какъ его „Мертвыя Души“ поступили въ продажу. Считалъ ли онъ, что съ появленіемъ его книги на прилавкѣ онъ свободенъ и можетъ уѣхать; былъ ли онъ такъ нервенъ, что, не выжидая первыхъ отзывовъ читателя, поспѣшно удалился, чтобы не сталкиваться съ читателемъ лицомъ къ лицу—но только онъ спѣшилъ, спѣшилъ покинуть Россію, чтобы летѣть туда, гдѣ его — какъ онъ вѣрилъ—ожидало вдохновеніе.

Наканунѣ новой разлуки, и на этотъ разъ долгой разлуки съ Россіей, онъ писалъ С. Т. Аксакову: „Крѣпки и сильны будьте душой, ибо крѣпость и сила почіетъ въ душѣ пишущаго сіи строки, а между любящими душами все передается и сообщается отъ одной къ другой, и потому сила отдѣлится отъ меня несомнѣнно въ вашу душу. Вѣрующіе въ свѣтлое увидятъ свѣтлое; темное существуетъ только для невѣрующихъ“ *).

Но такая вѣра все-таки не исключала большой тревоги за судьбу напечатанной части поэмы. Вопросъ о томъ, какъ будетъ принята она, былъ равносиленъ вопросу, открылись ли мнѣ сердца ближнихъ, ради которыхъ весь этотъ трудъ мной предпринятъ?

„Мертвыя Души“ не выходили еще изъ печати, какъ Гоголь сталъ уже спрашивать своихъ друзей, какіе о нихъ носятся толки. Онъ сталъ просить своихъ знакомыхъ пересказывать ему всѣ замѣчанія, съ сохраненіемъ ихъ „физіономіи“; онъ обращался къ друзьямъ съ просьбой написать критическіе разборы его поэмы, чтобы побудить другихъ высказаться.

Ему было все равно, кто и что будетъ говорить, онъ одинаково интересовался взглядомъ каждаго; онъ просилъ не щадить его, указать ему на всѣ его слабыя стороны и

*) Письма Н. В. Гоголя», II, 176—7.

онъ говорилъ, что брань для него цѣннѣе похвалы. „Хула и осужденія для меня слишкомъ полезны, — писалъ онъ. Послѣ нихъ мнѣ всегда открывался яснѣе какой-нибудь мой недостатокъ — это уже много значитъ: это значитъ почти исправить его".

Не какъ художникъ интересовался Гоголь успѣхомъ своей поэмы, а именно какъ моралистъ, который ждалъ, какъ будетъ принята его проповѣдь, а „Мертвыя Души", даже ихъ первая часть, уже давно пріобрѣли въ его глазахъ санкцію проповѣдническаго слова.

Съ этимъ словомъ, въ которомъ никто кромѣ автора и не подозрѣвалъ проповѣди, Гоголь покинулъ Россію въ одинъ изъ самыхъ знаменательныхъ моментовъ ея общественнаго развитія.

Въ то самое время, когда наша общественная мысль послѣ долгаго усыпленія начала пробуждаться, въ годы первыхъ серьезныхъ стычекъ западниковъ и славянофиловъ—художникъ, одаренный громаднымъ талантомъ, удалялся съ арены и могъ лишь издали слѣдить за борьбой, которая разгоралась.

Онъ, впрочемъ, не принималъ этой борьбы особенно близко къ сердцу, но въ силу личныхъ отношеній сталъ все-таки ей причастенъ.

Связь Гоголя съ московскимъ кружкомъ славянофиловъ была довольно тѣсная, хотя она вытекала скорѣе изъ чувства дружбы, чѣмъ изъ идейной солидарности или кружковой зависимости. Московскій кружокъ друзей Гоголя собирался въ домѣ старика С. Т. Аксакова, съ которымъ Гоголь былъ знакомъ еще съ 1832 года и близко сошелся въ послѣдній свой пріѣздъ въ Россію [1841—1842]. Въ семьѣ Аксакова нашъ художникъ проводилъ много хорошихъ минутъ, встрѣчалъ въ ней любовь и ласку, а также поддержку своимъ патріотическимъ и религіознымъ чувствамъ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ *) старикъ Аксаковъ говоритъ очень опредѣленно о томъ вліяніи, какое будто бы имѣлъ этотъ московскій кружокъ на Гоголя. Старикъ готовъ былъ вѣрить, что именно этотъ кружокъ пробудилъ въ Гоголѣ настоящую любовь къ Россіи. „Безъ сомнѣнія, пребываніе въ Москвѣ—писалъ онъ—въ ея русской атмосферѣ, дружба съ нами и особенно вліяніе Константина [старшаго сына Аксакова], который постоянно объяснялъ Гоголю со всею пылкостью своихъ глубокихъ, святыхъ убѣжденій все значеніе, весь смыслъ русскаго народа, были *единственныя* тому причины [т.-е. повышенной любви Гоголя къ родинѣ]—я самъ замѣчалъ много разъ, какое впечатлѣніе производилъ Константинъ на Гоголя, хотя послѣдній старательно скрывалъ свое внутреннее движеніе".

Старикъ, очевидно, преувеличилъ вліяніе его семьи на нашего писателя. Молодой Аксаковъ подогрѣвалъ, конечно, любовь Гоголя къ Россіи, и могъ говорить съ увлеченіемъ, но въ данномъ случаѣ важно знать, какъ глубоко это увлеченіе захватывало Гоголя. Гоголь былъ слишкомъ самобытная и оригинальная личность, чтобы подпасть подъ чье-нибудь прямое вліяніе. Да имѣли ли, дѣйствительно, эти московскіе патріоты достаточно духовной силы, чтобы повліять на Гоголя?

Старикъ Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ, котораго мы такъ любимъ за его „Семейную Хронику", въ то время еще не выступалъ какъ романистъ на литературномъ поприщѣ; онъ служилъ, ревностно посѣщалъ театръ, интересовался очень литературой, любилъ собирать около себя литераторовъ и ученыхъ, но вовсе не затѣмъ, чтобы между ними первенствовать; онъ былъ, въ общемъ, добрѣйшій баринъ и большой патріотъ; любилъ простоту помѣщичьей жизни въ деревнѣ, любилъ Царь-Пушку и Царь-Колоколъ, а также Загоскина и съ умиленіемъ ходилъ на Воробьевы Горы по-

*) *С. Т. Аксаковъ.* «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», 46.

смотрѣть на матушку Москву, съ того самаго мѣста, съ котораго на нее смотрѣлъ Наполеонъ съ двунадесятью языками.

Славянофильскаго, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, въ немъ было очень мало; къ отвлеченной мысли онъ былъ вообще довольно равнодушенъ, не строилъ никакихъ системъ, ни патріотическихъ, ни философскихъ, но, конечно, любилъ Россію своей наивною и чистою душою. Онъ, вѣроятно, самъ очень удивился, когда ему его сыновья сказали, что онъ „славянофилъ“... Гоголь любилъ старика, и больше всего за его сердце.

Старшій сынъ Аксакова — Константинъ, который былъ на десять лѣтъ моложе Гоголя, обладалъ, безспорно, оригинальнымъ и очень сильнымъ умомъ. Позднѣе онъ игралъ видную роль въ исторіи нашего самосознанія, но пока былъ молодымъ романтикомъ, ревностнымъ ученикомъ нѣмецкихъ философовъ и также сентиментальнымъ русскимъ патріотомъ. Онъ былъ влюбленъ въ Гоголя, молился на него, хотя и вступалъ съ нимъ въ споры. Гоголь относился къ нему нѣсколько свысока, отдавалъ ему въ душѣ должное, возлагалъ на него большія надежды, но держался въ разговорѣ съ нимъ покровительственнаго тона—какъ видно изъ его писемъ. Энтузіазмъ Константина Аксакова, пафосъ его рѣчи и горячность въ сужденіяхъ никогда особаго впечатлѣнія на Гоголя не производили. Молодой философъ былъ въ его глазахъ все-таки пока еще незрѣлымъ человѣкомъ.

У насъ есть, впрочемъ, свидѣтельство самого Гоголя, которое показываетъ, что въ его отношеніяхъ къ семьѣ Аксаковыхъ не было и тѣни какой-нибудь зависимости. „Хотя я—писалъ Гоголь своему другу Смирновой—и очень уважалъ старика и жену его за доброту, любилъ ихъ сына [Константина] за его юношеское увлеченіе, рожденное отъ чистаго источника, несмотря на неумѣренное, излишнее выраженіе его, но я всегда однакожъ держалъ себя вдали отъ нихъ“. Гоголь

выразился, быть можетъ, слишкомъ рѣзко, но онъ сказалъ правду.

Дружба связывала Гоголя и съ Погодинымъ и Шевыревымъ, которые были также друзьями дома Аксаковыхъ; едва ли можно, однако, говорить о вліяніи этихъ людей на образъ его мыслей. Конечно, въ вопросахъ историческихъ, въ которыхъ Погодинъ былъ большой знатокъ, и въ вопросахъ эстетическихъ, которыми усердно занимался Шевыревъ, Гоголь могъ кое-чему у нихъ научиться; но въ этихъ профессорахъ было слишкомъ мало Божьяго огня, чтобы они могли дать почувствовать Гоголю силу своей личности. И тотъ и другой были въ сущности риторы, съ небольшимъ художественнымъ чутьемъ. Гоголь зналъ меньше ихъ, но, конечно, и чувствовалъ, и понималъ глубже.

Для своихъ московскихъ друзей Гоголь являлся, между тѣмъ, живымъ воплощеніемъ ихъ сердечныхъ чаяній. Малороссъ, который пишетъ по-русски и любитъ Москву, человѣкъ религіозный и большой патріотъ, геніальный художникъ, въ развитіи своего таланта ничѣмъ не обязанный Западу, мыслитель, задумавшій сказать свое глубокое, Богомъ вдохновенное, слово о Россіи, слово, которое должно открыть русскимъ глаза на святую добродѣтель и великое призваніе ихъ родины—такой человѣкъ долженъ былъ быть принятъ и прославленъ москвичами, какъ великій залогъ того, на что Россія способна безъ посторонней помощи. Привѣтствуя восторженно художника, москвичи избаловали болѣзненно-самолюбиваго человѣка и онъ скоро заговорилъ съ ними такимъ менторскимъ тономъ, который имъ не понравился.

Но пока [въ 1841 — 1842 году] онъ на частныхъ собраніяхъ читалъ имъ свои „Мертвыя Души“, и когда въ его присутствіи Погодинъ въ русскомъ прошломъ искалъ перста Божія и Шевыревъ ему поддакивалъ и тонулъ въ собственномъ краснорѣчіи, когда старикъ Аксаковъ умилялся, слушая, какъ его сынъ горячится и ломится сквозь чащу нѣ-

мецкой философіи, чтобы найти въ ней формулу, которая оправдала бы его любовь къ русской дѣйствительности и его надежды на великую будущность родины, Гоголь молчалъ и думалъ: „Все это я скажу и лучше, и образнѣе—подождите!“

Совершенно независимое положеніе занималъ Гоголь и въ отношеніи къ партіи москвичамъ враждебной. Вѣрнѣе будетъ, впрочемъ, если мы скажемъ что у него никакихъ отношеній съ западниками не было. Съ однимъ лишь Бѣлинскимъ Гоголь случайно столкнулся въ это время, и это была встрѣча довольно странная.

Кружокъ Станкевича съ перваго раза оцѣнилъ и понялъ всю серьезность творчества Гоголя *), и Бѣлинскій былъ первый, который сталъ выяснять читателямъ значеніе этого творчества. Гоголь замѣтилъ статьи Бѣлинскаго и хотѣлъ съ похвалой отозваться о нихъ въ „Современникѣ“, но редакція, какъ мы помнимъ, почему-то этого не допустила. Затѣмъ критикъ и нашъ авторъ познакомились въ Москвѣ, когда Гоголь пріѣхалъ печатать „Мертвыя Души“, и очевидно это знакомство пришлось по душѣ Гоголю, такъ какъ онъ довѣрилъ Бѣлинскому рукопись своей поэмы, чтобы отвезти ее въ Петербургъ, гдѣ она должна была поступить въ цензуру. Но на этомъ ихъ отношенія и оборвались; и Гоголь самъ, кажется, стремился прикрыть ихъ какою-то таинственностью, боясь, какъ бы они не разсердили его петербургскихъ и московскихъ друзей, которые Бѣлинскаго тогда очень не жаловали **). Сношенія Гоголя съ Бѣлинскимъ были, такимъ образомъ, почти мимолетны и Гоголь былъ недостаточно деликатенъ въ отношеніи къ своему самому добросовѣстному и талантливому критику. Пока между ними не было тѣхъ принципіальныхъ разногласій, которыя

*) *П. В. Анненковъ.* «Воспоминанія и критическіе очерки», III, 306.

**) *И. И. Панаевъ.* «Литературныя воспоминанія». Спб. 1876, 235. *С. Т. Аксаковъ.* «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», 54, 107.

получились позже, Гоголь могъ бы отстоять свое право на знакомство съ Бѣлинскимъ, но онъ этого не сдѣлалъ.

Итакъ, въ тѣ годы, на которыхъ долженъ оборваться нашъ разсказъ, а именно въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ, Гоголь не принималъ никакого опредѣленнаго участія въ загоравшемся спорѣ между западниками и славянофилами.

Онъ уѣхалъ изъ Россіи надолго, и какъ разъ въ его отсутствіе обѣ партіи сплотились, стали въ боевое положеніе и обмѣнялись первыми угрозами. Гоголь, какъ сентименталистъ и романтикъ, долженъ былъ, конечно, больше любить славянофиловъ, чѣмъ западниковъ, и онъ и любилъ ихъ больше, но, во всякомъ случаѣ, ни у западниковъ, ни у славянофиловъ ему не пришлось ничему научиться, и вышло такъ, что, наоборотъ, онъ сталъ для нихъ предметомъ изученія. Въ его произведеніяхъ обѣ партіи стремились найти подтвержденіе своимъ мыслямъ и чаяніямъ и одинъ этотъ фактъ показываетъ намъ, какое огромное общественное значеніе эти произведенія имѣли въ ихъ цѣломъ.

Это значеніе стало ясно обѣимъ партіямъ очень скоро. Въ 1847 г. князь Вяземскій, сохраняя свое обычное независимое положеніе между спорящими партіями, писалъ по этому поводу: „Странно, что умные и добросовѣстные судьи сбились со стези умѣренности и благоразумія въ оцѣнкѣ трудовъ Гоголя. Это самое доказываетъ, что тутъ было какое-то недоразумѣніе. Каждый видѣлъ въ немъ то, что хотѣлось видѣть, а не то, что дѣйствительно есть. Иначе какъ объяснить, что умъ и пошлость, разсудительность и пустословіе, понятія совершенно разнородныя, мнѣнія противоположныя сошлись заодно въ сужденіи о достоинствѣ, полезности и многозначительности одного и того же явленія? Что люди, провозглашающіе наобумъ какое-то ученіе западныхъ началъ, искали въ Гоголѣ союзника и оправдателя себѣ, это еще понятно. Онъ былъ для нихъ живописецъ и обличитель народныхъ недостатковъ и недуговъ обществен-

ныхъ. Эти обличенія нѣсколько напоминали имъ болѣзненное лихорадочное волненіе французскихъ романистовъ. Это было какое-то противодѣйствіе прежнимъ, кореннымъ литературнымъ началамъ. Они не понимали Гоголя, но, по крайней мѣрѣ, такъ могли въ свою пользу перетолковать созданія его вымысловъ. Но что тѣ, которые отказываются и предохраняютъ насъ отъ вліянія чужеземнаго, что тѣ, которые хотятъ, чтобы мы шли къ усовершенствованію своимъ путемъ, росли и крѣпли въ собственныхъ началахъ, чтобы тѣ самые радовались картинамъ Гоголя, это для меня непостижимо. Въ картинахъ его, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ однородныхъ картинахъ, которыя начинаются „Ревизоромъ“ и кончаются „Мертвыми Душами“, все мрачно и грустно. Онъ преслѣдуетъ, онъ за живое задираетъ не однѣ наружныя и правильныя болячки; нѣтъ, онъ проникаетъ вглубь, онъ выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находитъ ни одного здороваго мѣста. Жестокій врачъ, онъ растравляетъ раны, но не придаетъ больному ни бодрости, ни упованія. Нѣтъ, онъ приводитъ къ безнадежной скорби, къ страшному сознанію“ *).

На самомъ дѣлѣ въ этомъ единогласномъ признаніи заслугъ Гоголя со стороны людей, которые держались противоположныхъ взглядовъ на сущность и потребности русской жизни, не было никакого недоразумѣнія. Не говоря уже о томъ, что западники въ Гоголѣ, дѣйствительно, цѣнили обличителя, а славянофилы поэта, который обѣщалъ и былъ способенъ показать во всемъ блескѣ свѣтлыя стороны нашей жизни, Гоголь былъ въ тѣ годы единственнымъ писателемъ, по произведеніямъ котораго, съ извѣстными оговорками, можно было судить о наличныхъ силахъ, двигавшихъ нашею жизнью и объ ея строѣ. Къ какой бы партіи критикъ ни принадлежалъ, онъ имѣлъ передъ собой въ произведеніяхъ Гоголя историческіе документы, на которые

*) Полное собраніе сочиненій кн. *П. А. Вяземскаго*», II, 316, 317 въ статьѣ «Языковъ и Гоголь» [1847].

онъ могъ сослаться. Если въ 1855 году, т.-е. уже послѣ первыхъ шаговъ Тургенева, Толстого, Гончарова, Достоевскаго и Островскаго, Чернышевскій имѣлъ право сказать, что гоголевскій періодъ въ литературѣ длится по сію пору [1855], что не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи, что Гоголь первый (?) далъ русской литературѣ рѣшительное стремленіе къ содержанію, и притомъ стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи какъ критическое, и что вся наша литература, насколько она образовалась подъ вліяніемъ нечужеземныхъ писателей, примыкаетъ къ Гоголю *),—то эти слова становятся полною истиной, если отнести ихъ къ тому времени, когда писалъ Гоголь, т.-е. къ періоду отъ 1829—1842 годъ. Въ эти годы онъ былъ, безспорно, если не первымъ по времени, то первымъ по силѣ писателемъ, который давалъ литературѣ „стремленіе къ содержанію“.

Еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ Гоголю пришла мысль издать полное собраніе своихъ сочиненій. И въ 1842 г.—спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ появленія „Мертвыхъ Душъ“—оно и увидѣло свѣтъ въ Петербургѣ.

Это былъ итогъ всей его художественной дѣятельности, которая на этомъ годѣ и закончилась.

---

*) *Н. Г. Чернышевскій* «Очерки гоголевскаго періода русской литературы». Спб. 1893, 2, 11, 19, 21.

XVI.

Вопросъ о «первомъ» русскомъ реальномъ романѣ. Права на первенство Пушкина, Лермонтова и Гоголя.—Психологическій романъ того времени: Лермонтовъ, Герценъ, Марлинскій, Ганъ и Жукова.—Нравоописательный романъ.—Романы Квитки.—Разные общественные круги въ изображеніи нашихъ беллетристовъ.—Свѣтскій и дворянскій кругъ въ столицѣ и въ деревнѣ—въ повѣстяхъ Лермонтова, кн. Одоевскаго, Марлинскаго, гр. Соллогуба, Загоскина, Сенковскаго. Булгарина, Даля и Гребенки.—Военные типы въ повѣстяхъ Лермонтова, Марлинскаго, Даля, Полевого и Павлова. Типы чиновниковъ у Даля, Бѣгичева и Гребенки.—Жизнь литераторовъ въ изображеніи Полевого, Сенковскаго и Загоскина.—Повѣсти изъ быта мѣщанскаго, купеческаго и крестьянскаго.—Положеніе, занимаемое повѣстями Гоголя среди всѣхъ этихъ памятниковъ.

Нерѣдко возникалъ вопросъ, съ какого литературнаго памятника мы должны начинать исторію нашего реальнаго романа. Вопросъ былъ поставленъ не совсѣмъ правильно, такъ какъ едва ли можно указать вообще на какой-либо памятникъ, который не имѣлъ бы своего предшественника,—и, такимъ образомъ, исторію русскаго реальнаго романа пришлось бы начинать съ очень отдаленнаго времени. Если нѣсколько видоизмѣнить этотъ вопросъ и спросить, въ какомъ изъ романовъ наша дѣйствительность нашла себѣ впервые художественное и болѣе или менѣе полное отраженіе, то отвѣтить на такую постановку вопроса будетъ легче. Но едва ли и въ этомъ случаѣ можно остановиться на какомъ нибудь одномъ памятникѣ, который былъ бы и наиболѣе полнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе художественнымъ отраженіемъ нашей жизни.

Могло случиться, что одинъ писатель умѣлъ, какъ реалистъ, довести до большого совершенства художественную технику своего созданія, тогда какъ другой, уступая ему въ техникѣ, могъ обладать бо̀льшимъ чутьемъ и интересомъ къ дѣйствительности, его окружающей, и дать картину несравненно болѣе полную и широкую, чѣмъ его соперникъ. Оба въ данномъ случаѣ имѣли бы право претендовать на славу перваго реалиста, одинъ въ виду своего превосходства, какъ техника, другой въ виду болѣе широкаго кругозора. Конечно, и тотъ и другой должны быть художниками прежде всего, и разница здѣсь можетъ быть только въ извѣстныхъ степеняхъ таланта, трудно измѣримыхъ, но все-таки достаточно ясныхъ.

Когда спорятъ о томъ, кого должно признать „отцомъ“ нашего реальнаго романа, то указываютъ обыкновенно на двухъ писателей, между которыми никакъ не хотятъ подѣлить этого почетнаго званія. Одни склонны приписать всю заслугу Пушкину, имѣя въ виду прежде всего его „Евгенія Онѣгина“, а затѣмъ его повѣсти — другіе отдаютъ преимущество Гоголю, какъ творцу „Мертвыхъ Душъ“. Существуетъ также мнѣніе, что настоящій реальный романъ началъ свою жизнь у насъ лишь съ конца сороковыхъ годовъ, съ первыхъ созданій Тургенева, Гончарова и Достоевскаго, но съ этимъ мнѣніемъ едва ли нужно считаться, потому что всѣ эти писатели открыто признавали себя учениками и Пушкина, и Гоголя.

Кому же изъ этихъ двухъ или трехъ, если къ нимъ присоединить ихъ младшаго современника Лермонтова, должна быть приписана честь перваго учителя?

Что Пушкинъ по времени былъ первый, который достигъ сочетанія правды въ жизни съ правдой въ искусствѣ—это несомнѣнно. Что онъ, какъ художникъ-реалистъ, не имѣлъ себѣ равнаго — это тоже вѣрно. Большою техникой реалиста обладалъ въ своей очень замкнутой сферѣ и Лермонтовъ. Обладалъ ли ею Гоголь?

Не въ той ровной степени, въ какóй ею обладали Пушкинъ и Лермонтовъ. Не говоря уже о томъ, что во многихъ изъ своихъ повѣстей Гоголь никакъ не могъ отдѣлаться отъ романтической привычки идеализировать и людей, и природу, или наоборотъ, иногда слишкомъ подчеркивать въ своихъ типахъ ихъ житейскую прозаичность, — онъ и въ самыхъ совершенныхъ своихъ твореніяхъ нерѣдко обобщалъ свои типы настолько, что они становились собирательными и превращались въ общіе образы, жизненные безспорно, но не живущіе, т.-е. не развивающіеся на нашихъ глазахъ, а неподвижно передъ нами стоящіе *). Такими,

*) Эту особенность нѣкоторыхъ типовъ Гоголя отмѣтилъ впервые *В. В. Розановъ* и на своемъ колоритномъ языкѣ писалъ: «У всѣхъ этихъ фигуръ мысли не продолжаются, впечатлѣнія не связываются, но всѣ онѣ стоятъ неподвижно, съ чертами, докуда довелъ ихъ авторъ, и не растутъ далѣе ни внутри себя, ни въ душѣ читателя, на котораго ложится впечатлѣніе. Отсюда—неизгладимость этого впечатлѣнія: оно не закрывается, не заростаетъ, потому что тутъ нечему зарости. Это — первая ткань, которая каковою введена была въ душу читателя, таковою въ ней и останется навсегда». «Сущность художественной рисовки у Гоголя заключалась въ подборѣ къ одной избранной, какъ бы тематической, чертѣ создаваемаго образа другихъ все подобныхъ же, ее только продолжающихъ и усиливающихъ чертъ, съ строгимъ наблюденіемъ, чтобы среди ихъ не замѣшалась хоть одна, дисгармонирующая имѣ или просто съ ними не связанная черта. Совокупность этихъ подобранныхъ чертъ, какъ хорошо собранный вогнутымъ зеркаломъ пукъ однородно направленныхъ лучей, и бьетъ ярко, незабываемо въ память читателя; но, конечно, это не свѣтъ естественный, разсѣянный, какой мы знаемъ въ природѣ, а искусственно полученный въ лабораторіи. И видѣть какую-нибудь фигуру, точнѣе одну въ ней черту подъ лучомъ этого свѣта, когда всѣ прочія ея черты оставлены въ совершенной темнотѣ—значитъ узнать о ней менѣе, какъ если бы въ обыкновенномъ свѣтѣ [позднѣйшее наше художество] мы видѣли полную фигуру въ соединеніи всѣхъ ея чертъ».

«Замѣчательно, что ни въ одномъ произведеніи Гоголя нѣтъ развитія въ человѣкѣ страсти, характера, и пр.; мы знаемъ у него лишь портреты, человѣка in statu, не движущагося, не измѣняющагося, не растущаго или умаляющагося». [*В. В. Розановъ*. «Легенда о великомъ инквизиторѣ». «Два этюда о Гоголѣ»].

Сходныя съ этими мыслями въ иномъ психологическомъ объясненіи даны *Д. Н. Овсянико-Куликовскимъ*. «Художникъ—пишетъ онъ—либо наблюдаетъ дѣйствительность, и въ своемъ произведеніи подводитъ итогъ этимъ

напримѣръ, были Маниловы, Собакевичи, Плюшкины и другіе. Конечно, отмѣчая эту характерную черту въ реальномъ воспроизведеніи дѣйствительности у Гоголя, нужно помнить, что она не мѣшала ему создать цѣлую галлерею иныхъ типовъ, въ истинно художественной жизненности которыхъ нельзя усумниться; стоитъ намъ только вспомнить о всѣхъ дѣйствующихъ лицахъ его комедій, о Чичиковѣ, Ноздревѣ и о многихъ другихъ. Сказать, что Гоголь какъ художникъ-реалистъ по техникѣ *всегда* слабѣе или ниже Пушкина и Лермонтова было бы несправедливо. Но сказать, что во всей его манерѣ реально воспроизводить жизнь замѣтно нѣкоторое колебаніе, нѣкоторая неустойчивость письма, замѣтно частое покушеніе уклониться въ сторону идеализаціи или обобщенія,—сказать это можно, ничуть не умаляя поэта. Но высказавъ такое сужденіе, нельзя уже настаивать на томъ, что въ исторіи нашего реализма въ литературѣ ему, какъ технику-художнику, принадлежитъ по времени первое мѣсто. Пушкинъ опередилъ его во времени и въ силѣ.

наблюденіямъ, либо дѣлаетъ своего рода опыты надъ дѣйствительностью, выдѣляя извѣстныя, его интересующія, черты или стороны ея, которыя въ ней вовсе не выдѣляются, а всегда, или въ огромномъ большинствѣ случаевъ, даны въ соединеніи съ другими чертами или сторонами, ихъ заслоняющими. Гоголь былъ такой художникъ-экспериментаторъ». «Въ произведеніяхъ художниковъ-экспериментаторовъ мы имѣемъ не широкую и разностороннюю картину жизни, а парочитый подборъ извѣстныхъ чертъ, въ силу котораго изучаемая художникомъ сторона жизни выступаетъ такъ ярко, такъ отчетливо, что ея смыслъ, ея роль становятся понятны всѣмъ»; «интуиція художника-экспериментатора даетъ творческому процессу опредѣленное направленіе и рѣзко выраженную «окраску», и явленія жизни, образы людей выходятъ изъ этой лабораторіи въ коренной переработкѣ, въ особомъ освѣщеніи. Тогда-то и получается столь извѣстный художественный эффектъ: образы и картины, строго говоря, не правдивы въ смыслѣ точнаго и разностороняго изображенія дѣйствительности, но они по своему говорятъ намъ о дѣйствительности, о человѣкѣ, о человѣчествѣ ту грустную или страшную правду, которую не скажетъ самое точное изображеніе ихъ». [*Д. Н. Овсянико-Куликовскій* «Гоголь», Спб. 1907. 41, 46, 49].

Но на этотъ-же вопросъ можно взглянуть и съ иной стороны. При оцѣнкѣ художественнаго произведенія можно принять за исходную точку—умѣнье писателя улавливать господствующее настроеніе окружающей дѣйствительности, ея смыслъ, внутренній строй общественной жизни, ея темпераментъ, ея главнѣйшія отрицательныя или положительныя стороны. Если требовать отъ художника, чтобы онъ на нашихъ глазахъ заставилъ биться пульсъ жизни не единичнаго какого-нибудь лица, а цѣлаго разношерстнаго общества — то тогда, конечно, сочиненіямъ Гоголя и въ частности „Мертвымъ Душамъ“ придется отвести первое мѣсто въ ряду всѣхъ предшествующихъ и современныхъ имъ повѣстей, и признать именно ихъ за первый по времени „реальный“ романъ, который помогъ читателю уловить смыслъ переживаемаго имъ историческаго момента. Въ самомъ дѣлѣ, старые наши „нравоописательные“ романы гнались въ большинствѣ случаевъ лишь за описаніемъ внѣшнихъ сторонъ нашей жизни, мало вникая въ ея смыслъ; а такія художественныя произведенія, какъ „Евгеній Онѣгинъ“ и „Герой нашего времени“ ставили себѣ цѣлью разъясненіе и описаніе психическаго міра лишь нѣкоторыхъ болѣе или менѣе замѣтныхъ единицъ, людей съ особеннымъ, даже мало распространеннымъ, образомъ мыслей, съ исключительнымъ настроеніемъ и характеромъ. На обрисовкѣ господствующихъ рычаговъ и мотивовъ общей жизни эти повѣсти почти не останавливались.

Комедіи Гоголя и „Мертвыя Души“ заполняли въ данномъ случаѣ одинъ изъ важнѣйшихъ пробѣловъ въ литературѣ. Городничіе и ихъ сослуживцы, Хлестаковы, Ноздревы, Чичиковы, Маниловы, Собакевичи, даже Плюшкины и Коробочки — если умолчать о цѣлой массѣ другихъ второстепенныхъ лицъ — были не единичными явленіями, а самой Русью, съ ея повсемѣстно распространенными общественными привычками, стремленіями, мыслями и программами жизни. Авторъ имѣлъ право на названіе художника-реалиста не

потому только, что реально изобразилъ этихъ русскихъ людей, а потому, что уловилъ реальную сущность русской жизни, потому, что съумѣлъ въ одномъ типѣ воплотить массу душевныхъ состояній и многія жизни. Понятно, что на такой „реальный“ романъ могли опереться всѣ недовольные тѣмъ строемъ жизни, который дѣлалъ такіе типы возможными или вполнѣ правдоподобными, и авторъ противъ своей воли долженъ былъ примириться съ тѣмъ, что поклонники его таланта, въ осужденіи русской дѣйствительности, пошли гораздо дальше, чѣмъ онъ, и для излеченія ея предлагали иныя средства, чѣмъ тѣ, въ которыя вѣрилъ авторъ.

Если среди современниковъ Гоголя многіе обладали столь же зоркимъ взглядомъ, проникающимъ въ самую сущность нашей жизни, если, быть можетъ, нѣкоторые вооружены были даже болѣе острымъ зрѣніемъ, то никто не сумѣлъ такъ ясно обнаружить эту зоркость въ художественныхъ произведеніяхъ, какъ Гоголь.

Намъ станетъ это ясно, когда мы окинемъ хотя бы самымъ бѣглымъ взглядомъ содержаніе тѣхъ повѣстей и романовъ, которые появились на нашемъ литературномъ рынкѣ одновременно съ сочиненіями Гоголя.

Наша повѣствовательная литература тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ была отнюдь не бѣдна содержаніемъ. Много самыхъ разнообразныхъ сторонъ русской жизни успѣла она отмѣтить, и писатель обнаруживалъ наблюдательность, литературный навыкъ, нерѣдко и крупный литературный талантъ. Но этотъ въ общемъ наблюдательный взглядъ писателя скользилъ какъ-то по поверхности жизни, мало проникая въ глубину ея.

Если и случалось кому изъ тогдашнихъ художниковъ заглянуть поглубже въ людскую душу, то объектомъ такихъ наблюденій бывалъ чаще всего самъ художникъ, его вну-

тренній психическій міръ, и повѣсть носила тогда характеръ автобіографическаго признанія. Лучшіе по техникѣ разсказы тѣхъ годовъ были именно такими признаніями, въ которыхъ много говорилось о разныхъ тонкихъ чувствахъ, настроеніяхъ и сложныхъ мысляхъ самого писателя и очень мало объ окружающей его жизни.

Къ числу такихъ признаній нужно, напримѣръ, отнести многія повѣсти Марлинскаго, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ онъ самъ—чистокровный романтикъ и идеалистъ александровскаго царствованія *). Въ этотъ же разрядъ повѣстей должно зачислить и романтическія повѣсти Н. Полевого, въ которыхъ онъ такъ много говорилъ о своей любви къ искусству **). Особую группу повѣстей съ такимъ же автобіографическимъ значеніемъ составляютъ и сборники разсказовъ двухъ писательницъ, которыя задались цѣлью познакомить читателя съ психологіей именно женскаго сердца и, главнымъ образомъ, конечно, съ психологіей и патологіей любви. Сочиненія „Зенеиды Р—вой“ [г-жи Ганъ] ***) пользовались въ свое время большимъ успѣхомъ, и писательница могла съ нѣкоторымъ правомъ претендовать на званіе русской Жоржъ-Зандъ, такъ какъ задачей своей поставила оборону женскаго сердца противъ мужского насилія ****). Она не рисовала сильныхъ героическихъ женскихъ натуръ, какъ это дѣлала ея предшественница на западѣ, она, наоборотъ, стремилась разжалобить читателя въ пользу униженной, оскорбленной и обманутой женщины, и эта тактика ей удалась вполнѣ. Ея повѣсти наводили читателя на весьма серьезные вопросы, но, конечно, вопросы исключительно личные и семейные. За сочиненіями Ганъ осталась одна несомнѣнная заслуга: тогдашняя повѣсть, не говоря уже

*) «Онъ былъ убитъ» 1834. «Журналъ Вадимова» 1834. «Путь до города Кубы» 1834.

**) «Эмма», «Блаженство безумія», «Живописецъ» вышли подъ общимъ заглавіемъ «Мечты и жизнь». Москва 1833. IV части.

***) «Сочиненія Зенеиды Р—вой». Спб. 1843. 4 части.

****) «Идеалъ», «Медальонъ», «Теофанія Аббіаджіо», «Судъ свѣта».

о поэмахъ, избѣгала рисовать женщину въ обыденной обстановкѣ или, если рисовала, то въ обрисовкѣ женскаго характера предпочитала романтическую недосказанность и идеализацію—жизненной правдѣ. Ганъ не избѣгла этихъ романтическихъ условностей, но все же въ ея женскихъ типахъ было гораздо больше плоти и крови, чѣмъ во многихъ женщинахъ, отъ которыхъ были безъ ума наши романтики. Однородную тему избрала и М. Жукова для своихъ разсказовъ *). Кровавыя сцены немотивированной ревности, мужская черствость и мягкость преданнаго женскаго сердца, затаенная любовь, нежданно прорвавшаяся наружу и своимъ волненіемъ поразившая женщину на смерть, наконецъ, страданія обманутой, несчастной любви, нашедшей передъ смертью опору въ томъ человѣкѣ, котораго она раньше не оцѣнила—вотъ несложные сюжеты очень драматично разработанные нашей писательницей въ интересахъ торжества гуманной идеи. Большой литературной стоимости нельзя признать за разсказами Жуковой, но ихъ должно отмѣтить какъ удачный образецъ повѣсти, занятой постановкой и рѣшеніемъ чисто психологической задачи.

Если бы мы пожелали однако указать на истинно-художественный примѣръ такой повѣсти, то, обходя всѣ вышеупомянутые опыты, мы могли бы остановиться лишь на „Героѣ нашего времени“ Лермонтова. По этому памятнику трудно судить объ эпохѣ, когда онъ былъ написанъ: такъ мало въ немъ картинъ и типовъ, имѣющихъ какое либо историческое значеніе. Но зато ни въ одномъ романѣ тѣхъ годовъ не обрисовалась такъ рельефно личность самого писателя. А такъ какъ этотъ писатель въ то же время былъ однимъ изъ самыхъ умныхъ и чуткихъ людей своего поколѣнія, то и исповѣдь его пріобрѣла значеніе и личнаго признанія, и историческаго документа. Такимъ же интимнымъ признаніемъ была и первая повѣсть А. И. Герцена „Записки

*) *М. Жукова.* «Вечера на Карповкѣ». Москва. 1838. 2 части.

одного молодого человѣка“ *). Уже по этимъ краткимъ отрывкамъ, въ которыхъ авторъ разсказывалъ о своемъ дѣтствѣ и юности можно было судить о той литературной силѣ, которая съ такимъ блескомъ развернулась въ сороковыхъ годахъ. Художественная форма и глубина идеи слились въ этой повѣсти въ одно цѣлое, и такъ какъ авторъ ея былъ также выразитель думъ цѣлаго кружка, былъ носителемъ очень яркой общественной идеи, то эти его интимныя рѣчи имѣли несомнѣнную цѣнность историческаго свидѣтельства. Сентиментальныя движенія сердца, романтическій взглядъ на міръ, гуманный идеализмъ на почвѣ отвлеченнаго умозрѣнія, культъ Шиллера, въ особенности маркиза Позы, мечты о всемірной любви, вычитанныя изъ „писемъ Юлія и Рафаила“, клятва отдать себя въ жертву на благо человѣчеству, и затѣмъ душевныя тревоги, сомнѣнія и первыя пессимистическія мысли въ борьбѣ съ еще неуступчивымъ сердцемъ—вся эта внутренняя жизнь „молодого человѣка“, о которой такъ остроумно и тепло разсказываетъ Герценъ—была пережита не имъ однимъ, а всѣми людьми, кто въ сороковыхъ годахъ составлялъ соль нашей земли. Историческая цѣнность „Записокъ одного молодого человѣка“ повышается также и удивительно яркой и сжатой картиной нравовъ и жизни провинціальнаго города Малинова, т.-е. Вятки, куда Герценъ былъ высланъ. Этихъ страницъ немного, и рѣчь Герцена не могла быть пространна, но то, что онъ успѣлъ сказать, передаетъ физіономію провинціальнаго города не менѣе вѣрно, чѣмъ любая картина Гоголя, у котораго, какъ у художника, Герценъ, конечно, многому научился.

Таково было въ общихъ чертахъ наличное богатство русскаго „психологическаго“, если такъ можно выразиться, романа, т.-е. такого, который гнался не за полнотой и широтой художественнаго воспроизведенія жизни, а за глубиной мотивировки разныхъ душевныхъ состояній, настроеній и

*) Напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» Декабрь 1840 и Августъ 1841 г.

мыслей. Всѣ эти повѣсти и разсказы продолжали дѣло, начатое еще Пушкинымъ въ его „Евгеніи Онѣгинѣ“; Гоголь на эту дорогу не вступалъ и съ первыхъ же шаговъ сталъ интересоваться болѣе разнообразіемъ уловленныхъ имъ типовъ, чѣмъ детальною разработкой какого-нибудь одного изъ нихъ. Въ его творчествѣ замѣчается вообще нѣкоторый недостатокъ въ подробномъ развитіи типовъ; художникъ беретъ лишь самыя главныя черты характера, останавливается на самомъ общемъ направленіи мыслей того лица, которое считаетъ наиболѣе типичнымъ: онъ спѣшитъ какъ можно бо̀льшимъ числомъ лицъ заполнить свою картину и, уловивъ въ этихъ лицахъ все самое характерное, онъ предоставляетъ читателю догадываться, что долженъ чувствовать и думать этотъ человѣкъ въ разныя минуты его жизни. Есть цѣлые психическіе міры, которыхъ Гоголь только еле-еле коснулся, хотя бы, напр., психическій міръ женщины и ребенка, чтобы взять лишь самыя общія рубрики. Даже свою собственную внутреннюю жизнь, необычайно богатую и сложную, единственную въ своемъ родѣ, онъ стремился утаить отъ читателя. Правда, ему не удавалось этого достигнуть: всегда неожиданно вырывались у него лирическія признанія, иногда совсѣмъ некстати: случалось также нерѣдко, что онъ довѣрялъ тому или другому вымышленному лицу отдѣльныя свои мысли и чувства,—но у него въ цвѣтущуюпору его дѣятельности не хватило рѣшимости, а можетъ быть и желанія, занять читателя своею въ высшей степени оригинальною особой; и это тѣмъ болѣе странно, что у него было непреодолимое желаніе напоминать всѣмъ о себѣ, желаніе, чтобы всѣ слушались его какъ человѣка, надѣленнаго особой властью и призваннаго свершить великое дѣло. Когда во вторую половину своей жизни онъ наконецъ рѣшился обнаружить передъ соотечественниками всѣ тайники своей мысли и сердца—онъ не смогъ уже этой покаянной рѣчи придать художественную литературную форму, и богатый и сложный психологическій матеріалъ былъ утраченъ для литературы.

Во всякомъ случаѣ, когда ищешь въ литературѣ того времени художественнаго рѣшенія трудныхъ психологическихъ задачъ или художественнаго возсозданія сложныхъ душевныхъ состояній, то находишь ихъ не у Гоголя, а у Пушкина и Лермонтова, и даже у многихъ гораздо менѣе талантливыхъ художниковъ, чѣмъ нашъ сатирикъ и бытописатель. А потому если оцѣнивать заслугу Гоголя, то надо сравнивать его созданія съ тѣми, которыя преслѣдовали ту же цѣль, т.-е. стремились дать поэтическій синтезъ окружающей ихъ жизни, а не художественный анализъ души самого автора или нѣсколькихъ лицъ, надъ душевнымъ міромъ которыхъ писатель задумался.

Если обозрѣть наличность повѣстей и романовъ, въ которыхъ писатель стремился именно обобщить свои наблюденія надъ разными сторонами нашей дѣйствительности, то такое обозрѣніе наглядно покажетъ намъ, насколько Гоголь былъ болѣе зорокъ, чѣмъ всѣ современные ему беллетристы.

Среди такихъ повѣстей и романовъ нельзя указать ни на одно произведеніе крупнаго размѣра. Писатель какъ-то не рѣшался рисовать большія полотна и усложнять дѣйствіе своихъ разсказовъ. Онъ покинулъ старую манеру письма, которая ему очень нравилась въ двадцатыхъ годахъ, когда въ такомъ ходу были длинные романы въ родѣ „Выжигиныхъ“, „Семейства Холмскихъ“ и всевозможныхъ „Жилблазовъ“. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ ихъ мѣсто заняла довольно краткая повѣсть; и то, что прежде описывалось въ одномъ романѣ, теперь раздробилось на отдѣльные разсказы. Отъ этого повѣсть вообще выиграла въ законченности и въ обработкѣ деталей. Изъ романовъ относительно пространныхъ можно упомянуть только о „Семейныхъ Хроникахъ“, изданныхъ Квиткой-Основьяненко подъ заглавіемъ „Похожденія Столбикова“ и „Панъ Халявскій“ *).

*) «Жизнь и похожденія Петра Степановича, сына Столбикова, помѣщика въ трехъ намѣстничествахъ. Рукопись XVII вѣка». Спб. 1841 г. 3 части. «Панъ Халявскій». Спб. 1840 г.

Изъ нихъ „Панъ Халявскій“ пользовался въ свое время вполнѣ заслуженной извѣстностью, которую сохранилъ за собой и до нашихъ дней. Въ сущности это потѣшная исторія одной малороссійской усадьбы и ея обитателей, исторія комическая, полная шаржа и невѣроятныхъ положеній, но въ основѣ своей все-таки правдивая. Всѣ не очень мрачные пороки старой дворянской жизни, какъ-то: лѣнь, тунеядство, обжорство, списаны авторомъ очевидно съ натуры— такъ много въ нихъ жизни и колорита. Необычайно комичные разсказы о первоначальномъ воспитаніи и обученіи дворянскихъ дѣтей совсѣмъ по простаковской системѣ, конечно, тоже не вымышленная картина, и развѣ только разсказъ о невѣроятно глупыхъ приключеніяхъ Халявскаго въ столицѣ придуманъ авторомъ въ веселую минуту. Въ этомъ постоянно смѣшливомъ настроеніи, въ какомъ находится самъ авторъ и въ какомъ онъ держитъ читателя, заключена, безспорно, извѣстная грація разсказа, но въ этомъ же его слабость. За исключительно смѣшными положеніями, въ какія писатель ставитъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, почти совсѣмъ не чувствуется та серьезная мысль, на какую такая картина должна навести читателя, да и самъ авторъ, кажется, съ этою серьезною мыслью не хотѣлъ считаться. Во всякомъ случаѣ при всѣхъ своихъ достоинствахъ, „Панъ Халявскій“ скорѣе сборникъ веселыхъ анекдотовъ, чѣмъ связное и художественное воспроизведеніе быта одного изъ очень характерныхъ уголковъ нашей жизни. Если этотъ романъ по внѣшнимъ размѣрамъ стоитъ впереди всѣхъ бытовыхъ очерковъ и разсказовъ своего времени, то въ нихъ, при всей ихъ краткости, собранный художникомъ матеріалъ сгруппированъ съ меньшей односторонностью и большей точностью.

Пересмотрѣвъ этотъ матеріалъ, мы убѣдимся, однако, что и онъ, какъ бы онъ ни былъ точенъ и старательно собранъ, не соотвѣтствовалъ своему назначенію, и не давалъ

вѣрнаго и исчерпывающаго представленія о богатствѣ и разнообразіи той жизни, изъ которой былъ взятъ.

Для удобства мы можемъ расположить этотъ матеріалъ по тѣмъ общественнымъ кругамъ, въ которыхъ его выискивалъ писатель.

Наибольшею популярностью должны были пользоваться, конечно, повѣсти изъ свѣтской жизни, которая всегда составляла приманку для средняго читателя. И такихъ повѣстей въ тридцатыхъ годахъ было написано очень много. Почти не было разсказа, въ которомъ не появлялось бы титулованное лицо, въ особенности женскаго пола, лицо иногда эпизодическое, иногда главное, но всегда выдвинутое писателемъ и эффектно оттѣненное.

За рѣдкими исключеніями такія свѣтскія лица, въ столицахъ или въ деревняхъ, были почти всѣ безъ лица, т.-е. ничего характернаго не представляла ни ихъ жизнь, ни образъ ихъ мыслей. Въ нихъ было очень мало типичнаго и всѣ дворяне въ самыхъ различныхъ положеніяхъ были до неузнаваемости другъ на друга похожи. Писатели столько же хвалили это высшее общество за хорошія манеры, вѣжливое обращеніе, хорошую рѣчь, за культурность и образованность, сколько и порицали за гордыню и надменность, за пристрастіе къ внѣшнему блеску, за отсутствіе искренности, вообще за все то, что тогда называлось „пустотой и черствостью свѣтскаго круга“. Въ общемъ порицанія раздавались даже чаще, чѣмъ похвалы, но надо помнить, что громадное число обличителей было само неравнодушно къ приманкамъ этого „свѣта“ и согласилось бы обжечься и сгорѣть, лишь бы подойти къ нему поближе. Основной недостатокъ многихъ изъ этихъ бытописателей свѣтской жизни заключался, дѣйствительно, въ томъ, что они стояли слишкомъ далеко отъ той среды, которую описывали. Ихъ повѣсти и разсказы были въ большинствѣ случаевъ сатирическими или сентиментальными разсужденіями на тему о положеніи привиллегированнаго сословія среди другихъ.

Это положеніе могло, конечно, дать богатый матеріалъ для живописца даже и не совсѣмъ подробно освѣдомленнаго, но пользоваться этимъ матеріаломъ въ тѣ годы было трудно. Цензура николаевскаго царствованія была строже цензуры царствованія предшествующаго, и потому повѣсть изъ жизни высшихъ слоевъ общества, да и вообще всякая картина современныхъ нравовъ должна была съузить свои рамки, и то, что она проигрывала въ широтѣ, наверстывать въ разработкѣ чисто интимныхъ, частныхъ сторонъ описываемой жизни. Такъ и поступала тогдашняя свѣтская повѣсть. Отъ освѣщенія разныхъ общественныхъ вопросовъ, въ разрѣшеніи которыхъ высшее сословіе играло такую выдающуюся роль, наша свѣтская повѣсть заранѣе отказалась—и салонная интрига стала ея любимымъ мотивомъ. Этотъ мотивъ мало-по-малу поглотилъ все вниманіе писателя и читателя, и чиновникъ дворянинъ на высокомъ посту, въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, въ разговорѣ со своими подчиненными, въ бесѣдѣ съ самимъ собой о вопросахъ государственныхъ, этотъ же дворянинъ въ тѣсномъ общеніи съ крестьяниномъ и со своимъ дворовымъ человѣкомъ сталъ совсѣмъ невидимъ, или появлялся лишь въ гостиныхъ и на балахъ, гдѣ велъ самыя невинныя рѣчи. Писатель сталъ даже побаиваться людей въ чинахъ и на отвѣтственномъ посту, почему въ своихъ повѣстяхъ охотнѣе говорилъ о молодыхъ людяхъ, а всего охотнѣе о женщинахъ, такъ какъ въ бесѣдѣ съ ними всего меньше было шансовъ заговорить о чемъ-нибудь въ общественномъ смыслѣ серьезномъ. Вотъ почему намъ и пришлось ждать такъ долго настоящихъ романовъ изъ свѣтской жизни, въ которыхъ человѣкъ высшаго круга былъ изображенъ и понятъ не какъ человѣкъ вообще, а какъ продуктъ и факторъ культурной среды въ опредѣленный историческій моментъ. Только въ романахъ Тургенева, С. Аксакова, Л. Толстого, Гончарова и въ сатирѣ Салтыкова развернулась передъ нами поучительная картина жизни того общественнаго слоя, который, въ виду

всѣхъ его преимуществъ, былъ поставленъ жизнью какъ будто бы въ поученіе всѣмъ прочимъ.

Изъ общей массы романовъ и повѣстей, въ которыхъ тогда изображалась жизнь свѣтскаго круга, придется выдѣлить очень немногіе.

Имена Лермонтова, князя В. Одоевскаго, Марлинскаго и графа Соллогуба должны быть поставлены въ данномъ случаѣ на первое мѣсто. Помимо таланта, эти писатели имѣли то преимущество передъ другими, что свѣтская жизнь была имъ родная жизнь, среди которой они выросли и воспитались, и потому ихъ повѣстями можно пользоваться, какъ показаніями очевидцевъ.

Серьезнѣе и глубже всѣхъ былъ взглядъ Лермонтова, несмотря на то, что поэтъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ былъ очень субъективенъ. Его желчный саркастическій взглядъ на все окружающее помогъ ему разоблачить тайники приличіемъ дисциплинированнаго, но въ сущности очень черствaго свѣтскаго сердца мужского и женскаго... Человѣкъ высшаго тона и круга, ухаживатель, любовникъ, мужъ ревнивый и довѣрчивый, отецъ любящій или черствый, честолюбецъ или индифферентъ и рядомъ съ нимъ предметъ его страсти, невѣста и жена—эти свѣтскіе типы вполнѣ удались Лермонтову и были типами безспорно живыми, но ихъ психическій міръ былъ очень несложенъ, и драматическія положенія, въ какія ихъ ставила жизнь, были положенія довольно обычныя, общечеловѣческія. Въ жизни русскаго барина Лермонтовъ отмѣтилъ лишь нѣсколько эффектныхъ моментовъ, очень любопытныхъ съ психологической стороны, но далеко не самыхъ характерныхъ для обрисовки того вѣками сложившагося уклада жизни, какимъ жило наше столичное или провинціальное дворянство *).

*) Самые характерные типы даны Лермонтовымъ въ его юношескихъ драмахъ [которыя въ тридцатыхъ годахъ напечатаны не были]: «Menschen und Leidenschaften» 1830 г. «Странный человѣкъ». 1831 «Маскарадъ». 1834. «Два брата», 1836, а также и въ повѣстяхъ «Княгиня Лиговская». 1836 и въ «Героѣ нашего времени». 1838—1841 гг.

То же самое можно сказать и про повѣсти кн. В. Одоевскаго, Марлинскаго и гр. Соллогуба. И въ этихъ разсказахъ свѣтскій человѣкъ показанъ въ нѣсколькихъ эффектныхъ роляхъ, но опять такихъ которыя могъ бы одинаково хорошо выполнить человѣкъ не свѣтскаго круга и даже не русскій.

Кн. Одоевскій былъ по преимуществу философъ и моралистъ, и затѣмъ уже художникъ, почему въ его повѣстяхъ всегда звучала дидактическая нота. Большой поклонникъ чистыхъ и нравственныхъ движеній сердца и смѣлаго благомыслящаго ума, онъ обличалъ разные сердечные пороки у тѣхъ лицъ, которыя имѣли къ своимъ услугамъ всѣ цѣнности жизни, чтобы воспитать въ себѣ нравственнаго человѣка. Погрѣшности ненормальнаго небрежнаго воспитанія дѣтей, лукавыя приманки паркета для дѣвицъ и юношей, міръ свѣтскихъ сплетенъ по преимуществу, хищная борьба не за существованіе, а за свѣтскій успѣхъ—вотъ какіе общеизвѣстные мотивы развивалъ нашъ моралистъ въ своихъ повѣстяхъ, и если онѣ тогда очень нравились, то только потому, что были разсказаны съ талантомъ и были написаны тѣмъ легкимъ граціознымъ стилемъ, какимъ такъ искусно владѣлъ Одоевскій *). Знакомясь со свѣтскими верхопрахами или прямо негодяями, съ юными, подававшими надежды идеалистами, у которыхъ однако свѣтская жизнь вытравила всякій идеализмъ изъ сердца, съ несчастными женщинами — жертвами скуки, злословія или душевной пустоты, читатель выносилъ хорошій нравственный урокъ и нѣкоторое знаніе человѣческаго сердца, но эти знанія были отрывочны и слишкомъ общи, чтобы по нимъ можно было судить о складѣ жизни цѣлаго сословія. Во всѣхъ повѣстяхъ Одоевскаго было много ума, остроумія наблюдательности, но слишкомъ мало типичнаго. Наиболѣе интересною и типичною личностью въ его разсказахъ оставался онъ

*) Изъ повѣстей *Кн. Одоевскаго* самыми популярными были «Черная перчатка»—1838. «Княжна Мими»—1834. «Княжна Зизи»—1839.

самъ—онъ идеалистъ-философъ среди поклонниковъ золотого тельца и разныхъ свѣтскихъ призраковъ.

Ничего особенно типичнаго не даютъ и повѣсти Марлинскаго, наиболѣе популярныя изъ всѣхъ въ тѣ годы ходкихъ разсказовъ. Тема та же, что у Одоевскаго: обличеніе свѣтскихъ предразсудковъ, преимущественно салонныхъ **). Марлинскій только болѣе справедливъ къ тому кругу, въ которомъ онъ выросъ: въ его повѣстяхъ моральная тенденція заслонена желаніемъ какъ можно ближе подойти къ правдѣ, почему онъ и занятъ прежде всего психологическою мотивировкой тѣхъ разнообразныхъ чувствъ, съ какими молодые люди свѣтскаго круга вступаютъ въ жизнь, чтобы найти въ ней удовлетвореніе всевозможнымъ страстямъ, которыми щедро надѣлилъ ихъ авторъ—самъ человѣкъ очень порывистый и страстный. Жизнь свѣтской молодежи—вотъ чѣмъ почти исключительно интересовался Марлинскій и потому выборъ темъ въ его повѣстяхъ былъ однообразенъ. Правда, его повѣсти были написаны съ большимъ чутьемъ къ жизненной правдѣ, въ нихъ было много блестковъ неподдѣльнаго юмора, но и они только скользили по самымъ любопытнымъ сторонамъ свѣтскаго быта, оставляя въ тѣни генезисъ тѣхъ понятій, вкусовъ и настроеній, которые изображали такъ живо и интересно.

Типы, выведенные гр. Сологубомъ, болѣе разнообразны, хотя отъ этого картина въ общемъ не становится шире. Графъ Соллогубъ былъ большой знатокъ свѣтской жизни и большой ея цѣнитель. Онъ любилъ дышать атмосферой гостиныхъ, салоновъ, раутовъ, баловъ и концертовъ и въ своихъ повѣстяхъ онъ довелъ изображеніе этой парадной обстановки до совершенства. Если въ какихъ повѣстяхъ читатель могъ, дѣйствительно, очутиться въ избранномъ свѣтскомъ обществѣ и притомъ среди живыхъ людей, а не ма-

*) Повѣсти «Испытаніе» 1830. «Романъ въ семи письмахъ» 1824. «Фрегатъ Надежда» 1832.

некеновъ, такъ это именно въ разсказахъ Соллогуба *). Моральная, обличительная тенденція сказывалась въ нихъ не такъ ясно, какъ у другихъ писателей, быть можетъ, потому, что самъ Соллогубъ едва ли бы призналъ недостаткомъ то, что въ глазахъ другихъ являлось недочетами аристократизма. Онъ съ любовью вырисовывалъ свои типы, именно съ любовью, чего нельзя сказать про другихъ обличителей, и когда онъ велъ тонкую дипломатическую бесѣду, всю построенную на любовной интригѣ, или давалъ почувствовать ту пропасть, которая ложится между людьми неравнаго происхожденія, когда онъ разсказывалъ, какъ энергія и талантъ безъ свѣтскихъ заручекъ бьются напрасно, чтобы отстоять свою позицію въ сердцѣ свѣтской женщины, когда, наконецъ, онъ вводилъ за собою въ высшее общество какого-нибудь „медвѣдя“ съ доброю и честною душой, предоставленнаго для травли, — то онъ былъ хозяиномъ во всѣхъ этихъ нерѣдко очень драматическихъ положеніяхъ. Но, склоняясь передъ побѣжденными, онъ необычайно заманчиво рисовалъ побѣдителей, въ особенности женщинъ, настоящихъ львицъ или такихъ, которыя готовились современемъ занять это амплуа.

При всѣхъ своихъ безспорныхъ литературныхъ достоинствахъ повѣсти гр. Соллогуба грѣшили однако общимъ для всѣхъ такихъ повѣстей недостаткомъ: и онѣ рисовали лишь наименѣе интересную сторону свѣтской жизни, устраняя массу самыхъ существенныхъ вопросовъ, съ которыми свѣтскому человѣку безспорно приходилось считаться не въ гостиныхъ, конечно, а въ своемъ кабинетѣ, на мѣстѣ службы или у себя въ деревнѣ.

Если таковы были въ общемъ разсказы лицъ, хорошо знакомыхъ со свѣтскою жизнью, которую они описывали, то объ остальныхъ безчисленныхъ повѣстяхъ съ неизбѣжными свѣтскими героями придется сказать очень мало.

*) Повѣсти: «Мятель» 1840. «Исторія двухъ калошъ» 1840. «Большой свѣтъ» 1840. «Медвѣдь» 1842. «Аптекарша» 1841.

Хорошій матеріалъ далъ Загоскинъ въ своихъ сборникахъ „Москва и Москвичи“ *) — въ маленькихъ сценкахъ, написанныхъ въ повѣствовательной и драматической формѣ, въ которыхъ нашъ патріотъ описывалъ недавнее прошлое своей возлюбленной первопрестольной столицы. Рядомъ съ довольно скучными описаніями московскихъ достопримѣчательностей и древностей, здѣсь попадались историческія картинки изъ жизни московскихъ дворянъ, старой и современной,—типы московскихъ старожиловъ, для которыхъ вся вселенная сошлась на Москвѣ, сценки семейныя, типы кисейныхъ барышень, которыхъ надо было пристроить, описаніе старинныхъ баловъ въ Москвѣ, описаніе нравовъ англійскаго клуба съ живыми портретами, очевидно списанными съ натуры, и т. п. мелочи московской жизни, художественно необработанныя, но цѣнныя своею правдою,—во всякомъ случаѣ болѣе цѣнныя, чѣмъ та довольно широкая по размѣрамъ картина свѣтской жизни, которую Загоскинъ пытался нарисовать въ своемъ романѣ „Искуситель“ **),— въ этомъ скучномъ, но въ автобіографическомъ смыслѣ любопытномъ произведеніи.

Шаблонные, по литературному трафарету нарисованные свѣтскіе типы попадались въ изобиліи и въ повѣстяхъ Булгарина и Сенковскаго, которые, примѣняясь къ требованіямъ средней публики, любили щегольнуть типами изъ высшаго свѣта, съ которымъ они сами были знакомы очень поверхностно. Искать живыхъ людей въ тѣхъ многочисленныхъ нравоописательныхъ сценкахъ, въ которыхъ Сенковскій изощрялъ свое остроуміе — напрасно. Какъ фельетонистъ съ большой сноровкой, Сенковскій писалъ живо и умѣлъ смѣшить, но уже его современники оцѣнили этотъ смѣхъ по достоинству и не относились къ нему серьезно. Его сатира, въ томъ числѣ и сатира на свѣтское общество ***), была

*) *М. Н. Загоскинъ*. «Москва и Москвичи». Часть I и II. 1842 и 1844.

**) *М. Н. Загоскинъ*. «Искуситель». Москва, 1836. 3 части.

***) Напр. «Вся женская жизнь въ нѣсколькихъ часахъ». 1833.

всегда сборникомъ общихъ мѣстъ, которыя читались только потому, что иногда бывали пикантно изложены. Когда же Булгаринъ брался говорить объ аристократахъ, то даже этого малаго достоинства его слова не имѣли. Они были донельзя безцвѣтны, хотя авторъ и стремился запутанностью интриги вознаградить читателя за шаблонность своихъ типовъ. Наиболѣе обстоятельно говорилъ онъ о свѣтской жизни въ своемъ большомъ романѣ „Записки Чухина“ *), въ которомъ разсказывалъ о похожденіяхъ одного благороднаго юноши изъ низшаго слоя общества. Этотъ скиталецъ сталъ случайнымъ свидѣтелемъ цѣлой запутаннѣйшей семейной драмы въ одномъ барскомъ домѣ, и своею жизнью доказалъ, что не рожденіе краситъ человѣка. Характеры свѣтскіе автору совсѣмъ не удались, и лучшія страницы въ романѣ—описанія тѣхъ притоновъ нищеты и тѣхъ тюремъ, куда судьба занесла героя этого благонамѣреннаго разсказа.

Итакъ, если объединить весь матеріалъ, который писатели съумѣли собрать при своихъ наблюденіяхъ надъ жизнью высшихъ классовъ нашего тогдашняго общества, то однообразіе и нехарактерность этого матеріала бросится въ глаза сразу. Уловлена была лишь самая внѣшняя сторона этой любопытной жизни, а ея скрытыя пружины не были обнаружены. Казнены были пороки самые общіе; люди показаны были лишь въ самыхъ обыденныхъ положеніяхъ и позахъ; обнаружены были только тѣ чувства, которыя приводили въ движеніе личную жизнь, а вся жизнь общественная оставалась въ полной тѣни.

Не менѣе скудны по содержанію и не менѣе однообразны, чѣмъ эти картины дворянской жизни въ столицѣ, были разсказы, въ которыхъ писатель знакомилъ насъ съ провинціальною и деревенскою жизнью дворянства. Тема была благодарная, но выполненіе ея было связано со многими непреодолимыми трудностями. Не говоря уже о цензурныхъ

*) *Ѳ. Булгаринъ.* «Памятныя записки титулярнаго совѣтника Чухина или простая исторія обыкновенной жизни». Спб. 1835. 2 части.

затрудненіяхъ, которыя накладывали извѣстный односторонній отпечатокъ на все, что писатель могъ сказать объ отношеніяхъ помѣщика къ крестьянину, требовалась большая наблюдательность, чтобы уловить характерныя черты провинціальной жизни, во многомъ столь патріархальной и самобытной. Чтобы разсказъ о ней былъ правдивъ, необходимо было знаніе массы мелкихъ деталей, очень важныхъ для характеристики этой стоячей и косной жизни, необходимо было знакомство съ самою интимною ея стороной. Такихъ знаній у писателя тогда не было и онъ ограничивался опять общими положеніями, которыя обращали его разсказъ не то въ блѣдную сатиру на отсталыхъ оригиналовъ и чудаковъ, не то въ идиллію, блещущую разными ординарными семейными добродѣтелями.

Но всетаки кое-какія любопытныя наблюденія были сдѣланы и въ этой области. Много бытовыхъ сценокъ изъ жизни дворянской усадьбы дано было, напр., въ мелкихъ разсказахъ В. И. Даля [казака Луганскаго], разсѣянныхъ въ разныхъ журналахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ *). Эти разсказы не претендовали ни на полноту, ни на художественную законченность; возникали они случайно, изъ анекдотовъ или наблюденій самого автора, но зато они были правдивы; и хотя авторъ и говорилъ въ нихъ, въ большинствѣ случаевъ, о пустячкахъ, о разныхъ смѣшныхъ сторонахъ помѣщичьей жизни, но эта жизнь съ ея своевольною скукой и барскимъ чудачествомъ всетаки выдавала кое-какія свои тайны. Въ данномъ случаѣ въ особенности любопытенъ довольно большой разсказъ Даля „Павелъ Алексѣевичъ Игривый“, въ которомъ не безъ романтическихъ условностей описана жизнь скромнаго помѣщика-тюленя, добродушнѣйшаго смертнаго, неспособнаго составить свое личное счастье и, между тѣмъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, имѣющаго на него право.

*) Хронологію этихъ разсказовъ установить трудно. Большинство изъ нихъ написано въ сороковыхъ годахъ, но печаталось позже.

Вмѣстѣ съ Далемъ эти темы разрабатывалъ въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ Е. П. Гребенка. Не лишенный таланта, наблюдательный и хорошо знавшій жизнь малороссійской усадьбы, онъ, идя во слѣдъ Гоголю, описывалъ укромные уголки провинціальной жизни, давая, какъ и его предшественникъ, попеременно волю то своему юмору, то патетическому настроенію *). Встрѣчаемся мы у него съ добряками, которые первому встрѣчному готовы довѣрить судьбу своей дочери, съ сосѣдями, проводящими все свое время въ тяжбахъ и въ обоюдномъ услажденіи другъ друга всякими пакостями, съ цѣлою толпой уѣздныхъ обывателей, живущихъ пересудами и кляузами,—и знакомясь съ ними, мы не скучаемъ, хотя и не особенно ими интересуемся. Все это типы довольно заурядные. Не блещетъ оригинальностью въ данномъ смыслѣ и романъ Загоскина „Тоска по родинѣ“ **). Въ этомъ двухтомномъ разсужденіи на тему о скукѣ, которую русскій человѣкъ испытываетъ за границей, авторъ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, вывелъ нѣкоего Кузьму Петровича Кукушкина, полубогатаго, полу-просвѣщеннаго и полу-знатнаго русскаго дворянина, который топорщился, пыхтѣлъ и надувался, чтобы не отстать отъ своей братіи вельможъ, и велъ поэтому у себя въ усадьбѣ жизнь довольно занятную, подражая дворянамъ въ разныхъ барскихъ выдумкахъ. Страницы, на которыхъ Закоскинъ разсказалъ жизнь этого чудака, хотя и каррикатурны въ деталяхъ, но все-таки странички жизни.

Однако, сколько бы мы ни собирали такихъ литературныхъ крохъ—жизнь провинціи того времени остается для насъ совѣмъ не выясненной.

На ряду съ жизнью свѣтскаго общества писателя тѣхъ годовъ интересовала также и жизнь военнаго круга, по преимуществу тоже свѣтскаго. Военный свѣтскій человѣкъ

*) *Е. П. Гребенка.* «Какъ люди женятся» 1838. «Горевъ» 1839. «Братья» 1839. «Куликъ» 1840. «Сеня» 1841. «Прудъ» 1842.

**) *М. Н. Загоскинъ.* «Тоска по родинѣ». Москва. 1839. 2 части.

появлялся въ тѣхъ самыхъ салонныхъ разсказахъ, о которыхъ мы говорили, и въ большинствѣ случаевъ ничѣмъ не выдѣлялся изъ общей массы свѣтскихъ типовъ. Мало было повѣстей, которые его изображали въ иной, болѣе ему свойственной обстановкѣ, гдѣ онъ могъ развернуть именно свою военную душу. Очень пестрые типы военныхъ александровскаго царствованія представителей въ литературѣ не имѣли, да и болѣе однообразный типъ николаевскаго служаки былъ также плохо представленъ. Многихъ вопросовъ, связанныхъ съ жизнью этого сословія, нельзя было совсѣмъ коснуться, а для освѣщенія другихъ, невинныхъ и незатѣйливыхъ, нужно было опять знаніе, которое могло быть пріобрѣтено только личнымъ опытомъ. Поэтому лучшее, что было сказано о военныхъ того времени, было сказано самими же военными. Въ повѣстяхъ Лермонтова, Марлинскаго и Даля [который одно время былъ полковымъ докторомъ] жизнь военнаго человѣка была впервые описана на основаніи нагляднаго наблюденія и потому кое-какія стороны этой своеобразной души и открылись читателю; и — что важнѣе всего — рядомъ со свѣтскимъ военнымъ появился въ литературѣ и смиренный армеецъ, и солдатъ.

Въ „Героѣ нашего времени“ Лермонтовъ не ставилъ себѣ цѣли рисовать картину военнаго быта, но мимоходомъ онъ собралъ довольно любопытный матеріалъ. У кого изъ памяти могъ изгладиться Максимъ Максимовичъ, докторъ Вернеръ, Грушницкій и все военное общество, собранное на кавказскихъ водахъ? Хотя появленіе такихъ типовъ въ литературѣ бросало свѣтъ лишь на нѣкоторые уголки военной жизни, но зато исчерпывало все ихъ духовное содержаніе. Лермонтовъ въ данномъ случаѣ продолжалъ дѣло, начатое раньше него; и однимъ изъ его прямыхъ предшественниковъ, и притомъ очень талантливымъ, былъ Марлинскій, сначала блестящій столичный офицеръ, а затѣмъ простой рядовой на Кавказѣ.

Онъ зналъ военную жизнь лучше, чѣмъ всѣ его совре-

менники-писатели, и въ его повѣстяхъ читатель впервые познакомился съ русскимъ офицеромъ и солдатомъ какъ съ людьми, обладающими своеобразнымъ міросозерцаніемъ и многими очень тонкими чувствами. Не говоря о томъ, что Марлинскій въ своихъ разсказахъ дѣлалъ часто личныя признанія и нарисовалъ свой собственный портретъ—портретъ одного изъ образованнѣйшихъ военныхъ людей александровскаго царствованія, онъ, какъ чуткій и наблюдательный человѣкъ, сблизилъ насъ съ цѣлымъ рядомъ лицъ, мимо которыхъ мы тогда проходили, не удостоивая ихъ вниманія. Офицеръ въ провинціальномъ городѣ, на посту въ глухихъ мѣстечкахъ, въ гостяхъ у горцевъ, на бивуакѣ, при штурмѣ ауловъ, офицеръ на веселой пирушкѣ,— или на смертномъ одрѣ былъ центральною фигурой многихъ драматичныхъ разсказовъ Марлинскаго. И рядомъ съ этою типичною фигурой начальника въ повѣстяхъ нашего автора появлялся впервые и солдатъ, не для того, чтобы стоять, какъ молчаливая декорація, а для того, чтобы и чувствовать, и думать, и говорить на нашихъ глазахъ. Въ этомъ ознакомленіи читателя съ психическимъ міромъ солдата въ самыя рѣшительныя минуты его трудной жизни, на морѣ, въ дикихъ ущельяхъ горъ, въ снѣжныхъ долинахъ, заключалась главная заслуга Марлинскаго, какъ бытописателя. Въ этой области онъ въ свое время былъ новаторъ *).

Одновременно съ нимъ, но съ меньшимъ талантомъ, разсказывалъ разные анекдоты изъ военной жизни и В. И. Даль. Походчая жизнь была ему знакома, онъ видѣлъ и слыхалъ много и, обладая хорошею литературной сноровкой, пытался настоящія „были“ превращать въ болѣе или менѣе закругленныя повѣсти. Пока онъ разсказывалъ, онъ былъ

*) «Аммалатъ-Бекъ» 1831. «Вечера на бивуакѣ» 1823. «Лейтенантъ Бѣлозоръ» 1831. «Онъ былъ убитъ» 1834. «Письмо изъ Дагестана» 1831. «Подвиги Овечкина и Щербины» 1834. «Путь до города Кубы» 1834. Разсказъ офицера бывшаго въ плѣну у горцевъ» 1834. «Фрегатъ Надежда» 1832.

хорошій разсказчикъ, когда же начиналъ „сочинять“, то недостатокъ воображенія давалъ себя чувствовать. Лучшее, что онъ создалъ были его „Солдатскіе досуги“ — хрестоматія для солдатскаго чтенія—рядъ короткихъ, простыхъ, но иногда колоритныхъ анекдотовъ. Много хорошихъ страницъ попадаются и въ его воспоминаніяхъ о походѣ въ Турцію *); наконецъ, есть у него и нѣсколько болѣе законченныхъ и отдѣланныхъ типовъ, иной разъ очень трогательныхъ, какъ, напр., типъ отставного солдата, всю жизнь прожившаго въ деншикахъ и наканунѣ смерти возвращавшагося въ родную деревню, гдѣ у него нѣтъ ни кола, ни двора и гдѣ его ждутъ новыя печали; типъ несчастнаго офицера „Ивана Невѣдомскаго“, Богъ вѣсть отъ кого на свѣтъ появившагося, всю жизнь чувствовавшаго себя неловко и наконецъ, послѣ одной жаркой схватки съ горцами, пропавшаго безъ вѣсти. Встрѣчаются и типы комическіе, какого-нибудь капитана Пѣтушкова, которому въ присутствіи дамъ никакъ не удается сказать въ попадъ ни одного слова, мичмана Поцѣлуева, сентиментальнаго юноши, прямо изъ мирнаго гнѣзда попавшаго въ военную передѣлку **). Хоть всѣ такіе типы и незамысловаты, хоть комизмъ и трагизмъ ихъ въ большинствѣ случаевъ вытекаетъ не изъ ихъ характеровъ, а изъ положеній, все-таки разсказы Даля изъ военной жизни—правдивые документы, а не условный вымыселъ. Автору можно поставить въ упрекъ только одно, что онъ недостаточно глубоко вникъ въ трагедію военной дисциплины, въ особенности солдатской. А впрочемъ, можетъ быть, онъ и вникъ въ нее и вполнѣ сознательно къ ней относился, но только былъ безсиленъ ввести эту трагедію въ свои повѣсти.

Нашлись, однако, писатели, которыхъ опасность такой темы не устрашила.

---

*) «Небывалое въ быломъ».

**) «Отставной», «Иванъ Невѣдомскій», «Женихъ», «Расплохъ», «Мичманъ Поцѣлуевъ».

Двѣ трогательныхъ повѣсти разсказалъ Н. Полевой *) о солдатской жизни. Собственно, это повѣсти изъ крестьянскаго быта, и этимъ онѣ особенно цѣнны. Показать—какую нравственную ломку испытываетъ крестьянинъ, мѣняя одно подневольное положеніе на другое, значило затронуть одинъ изъ важнѣйшихъ соціальныхъ вопросовъ того времени и притомъ одинъ изъ самыхъ опасныхъ для обсужденія. Полевой довольно смѣло его коснулся.

Солдатъ, который разсказываетъ, какъ ему жилось въ нищенской кростьянской обстановкѣ, гдѣ онъ питался гречневою шелухой съ лебедой и мякиной, гдѣ онъ работалъ сверхъ силъ, среди полупьяныхъ братьевъ, гдѣ онъ выстрадалъ цѣлую семейную драму, когда женился на Дуняшѣ противъ воли ея отца, наконецъ, гдѣ потерялъ и эту Дуняшу, и полуживой стоялъ у ея гроба и слушалъ, какъ бабы, попивая сивуху, голосили—этотъ мрачный разсказъ, въ которомъ, однако, ясно слышится жалобная нота сожалѣнія объ этомъ непроглядномъ прошломъ,—хорошая поправка къ обычнымъ восхваленіямъ солдатской жизни, о которой съ такимъ бодрымъ паѳосомъ любили говорить наши патріоты. Заставляетъ задуматься и другая повѣсть Полевого, въ которой онъ стремится пояснить намъ иную солдатскую печаль,—то давящее чувство одиночества, которое испытываетъ отслужившій солдатъ, когда возвращается домой въ деревню, гдѣ у него не осталось въ живыхъ ни одной родной души и гдѣ ему впервые приходитъ мысль, что на склонѣ своей унылой и трудовой жизни ему остался одинъ выходъ—стать бродягой.

Еще болѣе смѣлый вопросъ поднялъ Н. Ф. Павловъ въ своей повѣсти „Ятаганъ“ **). Для автора и для цензора, который ее пропустилъ, эта повѣсть стала источникомъ крупныхъ непріятностей; иначе и быть не могло, такъ какъ она

*) *Н. Полевой.* «Мечты и жизнь», Москва, 1833, т. IV. «Разсказы русскаго солдата».

**) *Н. Ф. Павловъ.* «Три повѣсти». М. 1835.

слишкомъ откровенно обнажила одну сторону военной жизни, именно, — злоупотребленіе силой, которой пользуется человѣкъ, имѣющій власть надъ другими и утратившій власть надъ самимъ собой. Въ повѣсти описано любовное соперничество одного бурбона-полковника и его подчиненнаго, разжалованнаго въ солдаты офицера... Полковникъ проигрываетъ свою партію и вымещаетъ свой проигрышъ на счастливомъ любовникѣ. Месть его вызываетъ въ молодомъ человѣкѣ вполнѣ понятный протестъ и когда начальникъ за этотъ протестъ подвергаетъ его тѣлесному наказанію, несчастный юноша идетъ на крайнее. Онъ убиваетъ своего начальника среди бѣлаго дня, и приговоръ военнаго суда заканчиваетъ эту кровавую драму. Надо помнить времена, когда эта повѣсть была написана, чтобы понять, что она значила.

Какъ видимъ, о военномъ бытѣ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ говорилось нерѣдко и говорилось талантливо и даже иногда смѣло. Но и этотъ литературный матеріалъ далеко не покрывалъ собою дѣйствительности и оставлялъ въ тѣни массу самыхъ интересныхъ сторонъ жизни.

Чиновный міръ давалъ литературѣ также мало удобныхъ предлоговъ близко подойти къ дѣйствительности, такъ какъ описаніе его быта, не ограничивающееся одними лишь внѣшними деталями или сердечными исторіями, должно было завлечь художника въ разсужденія, на которыя онъ не былъ уполномоченъ. Если оставить въ сторонѣ комедіи и повѣсти Гоголя—самый смѣлый обвинительный актъ противъ бюрократіи—то трудно указать хоть на одну повѣсть, болѣе или менѣе оригинальную и характерную, въ которой чиновникъ стоялъ бы передъ нами живой въ своей обстановкѣ и со своимъ міросозерцаніемъ. О болѣе или менѣе высокихъ чиновныхъ кругахъ свободной и открытой рѣчи быть не могло, и если объ этихъ сановникахъ, до статскаго совѣтника включительно, рѣшался говорить авторъ, то онъ всегда говорилъ лишь въ самомъ благонамѣренномъ тонѣ, и начальникъ былъ для него всегда олицетвореніемъ правосудія и строгой

доброты. На растерзаніе литераторамъ были отданы лишь чиновники мелкіе, и литература, дѣйствительно, расправлялась съ ними довольно жестоко. Но такую расправу едва ли можно счесть за общественную заслугу или за вѣрное пониманіе дѣйствительности. Чиновничьи сплетни, подсиживанія, угожденіе начальству, плутни, взяточничество и всякія упущенія по службѣ, все это, конечно, не было вымысломъ, а правдой, но только правдой внѣшнею, за которою крылась другая—общая правда всей бюрократической системы; коснуться ея въ тѣ годы было невозможно, и писатель былъ вынужденъ либо обличать дозволенные къ обличенію пороки, либо, что было гораздо болѣе плодотворно и справедливо, заинтересовывать насъ въ пользу грѣшныхъ и виновныхъ, объясняя узость ихъ умственнаго и нравственнаго кругозора тѣми условіями жизни, въ какихъ этимъ людямъ приходилось выростать и бороться за существованіе.

Повѣсть изъ чиновничьей жизни была, такимъ образомъ, въ тѣ годы повѣстью сатирическою или элегическою, смотря по тому, оттѣнялъ ли авторъ порочное или трогательное въ жизни своего героя.

Изъ сатирическихъ повѣстей такого типа едва ли можно указать хоть на одинъ разсказъ въ литературномъ смыслѣ цѣнный. Въ краткихъ нравоописательныхъ повѣстяхъ Булгарина и Сенковскаго попадались очень часто типы чиновниковъ [всегда очень низко поставленныхъ] и благомыслящій авторъ казнилъ ихъ безпощадно во славу истинной служебной честности, не замѣчая, что еще задолго до казни въ нихъ не было и признака жизни. За Булгаринымъ и за Сенковскимъ пошли многіе другіе, которыхъ прельщалъ такой дешевый способъ проповѣдничества. Въ видѣ исключенія можно указать развѣ только на кое-какіе мелкіе разсказы Даля *), впрочемъ мало обработанные, и на попытку

*) Лучшій разсказъ Даля изъ чиновничьяго быта вплетенъ имъ въ его романъ «Вакхъ Сидорычъ Чайкинъ», смотр. главы, гдѣ разсказана исторія семейства Калюжиныхъ.

Д. Бѣгичева *) въ драматической формѣ представить разносъ всѣхъ губернскихъ чиновниковъ, учиненный однимъ благомыслящимъ губернаторомъ, съ быстротой молніи пріѣхавшимъ во ввѣренную ему губернію и въ сообществѣ съ не менѣе его благороднымъ предводителемъ дворянства произведшимъ ревизію всѣхъ присутственныхъ мѣстъ. Этотъ комическій эпизодъ, разсказанный Бѣгичевымъ, не можетъ, конечно, претендовать на литературную цѣнность, тѣмъ болѣе, что очень многія и самыя комическія сцены почти цѣликомъ списаны съ „Ревизора“ Гоголя, но за нимъ остается всетаки значеніе нѣкотораго историческаго документа. Бѣгичевъ—самъ довольно высокопоставленный чиновникъ—зналъ хорошо жизнь своей среды и въ его „Сценахъ“ рядомъ со скучнѣйшей моралью попадаются живыя картинки чиновныхъ порядковъ, которые должны однако возбудить въ читателѣ полное довѣріе къ начальству высшему и заставить негодовать лишь на грѣхи начальства низшаго, которое ведетъ себя особенно нагло съ беззащитными неграмотными крестьянами.

Повѣсти изъ чиновнаго быта съ элегическимъ оттѣнкомъ встрѣчались въ тѣ годы также нерѣдко. Лучше другихъ умѣлъ ихъ писать Е. П. Гребенка. Малороссіянинъ, не лишенный юмора и умѣнья схватывать истинно комическое въ жизни онъ, еще до выхода въ свѣтъ „Шинели“ Гоголя, бралъ въ своихъ повѣстяхъ **) эту элегическую жалобную ноту, которая должна была возбудить въ насъ состраданіе къ нищему и духомъ, и тѣломъ, къ этому чернорабочему при государственной машинѣ, для котораго весь міръ сошелся на его департаментѣ. Описаніе этого царства бумаги, этихъ душныхъ комнатъ, въ которыхъ царятъ одновременно гордыня и надменность, низкопоклонничество и ябеда, и въ которыхъ

*) *Д. Бѣгичевъ.* «Провинціальныя сцены». Сочиненія автора «Семейства Холмскихъ». Спб. 1840.

**) *Е. П. Гребенка.* «Лука Прохоровичъ». 1838. «Вѣрное лекарство». 1839. «Записки студента». 1840. «Сеня». 1841.

совершается медленное убійство ума и чувства, придаетъ въ общемъ очень незатѣйливымъ повѣстямъ Гребенки серьезное значеніе. Иногда картина становится очень жалостной и всѣ эти мелкіе чиновники, женатые на своихъ кухаркахъ, молодые люди, съ розовой мечтой пріѣхавшіе искать „дѣла“ въ Петербургѣ и закисшіе въ департаментахъ, вся эта вереница поневолѣ злыхъ и ничтожныхъ людей производитъ на насъ впечатлѣніе чего-то очень грустнаго, хотя авторъ и смѣшитъ насъ нерѣдко своими остротами и многими удавшимися юмористическими фигурами.

Въ общемъ, однако, всѣ эти сценки изъ жизни чиновниковъ—и обличительныя, и элегическія—мелочь, если вспомнить не только о тѣхъ вопросахъ, на которые чиновничья жизнь могла навести наблюдателя, но хотя бы о томъ, что объ этой жизни уже успѣлъ сказать Гоголь.

Можно было бы думать, что положеніе и нравы самой пишущей братіи дадутъ обильный матеріалъ для литературной обработки. Что недостатка въ этомъ матеріалѣ не было, и что жизнь писателя, какъ такового—публициста, поэта, журналиста, театральнаго дѣятеля, — представляла большой интересъ и была обильна всевозможными эпизодами, имѣвшими не только частное, но и общественное значеніе—въ этомъ насъ легко могутъ убѣдить опубликованныя теперь въ изобиліи мемуары литераторовъ. Но мы напрасно стали бы искать въ тогдашней литературѣ хоть намековъ на какія интересныя стороны писательской жизни. Въ этомъ, конечно, сами писатели были виноваты лишь отчасти. Ждать отъ литератора откровеннаго разсказа объ его мытарствахъ, объ его общественномъ подневольномъ положеніи, объ его безгласной борьбѣ съ цензурой было невозможно. Самая любопытная въ общественномъ смыслѣ страница его жизни была недоступна для обсужденія. Оставались, правда, иныя страницы, также не лишенныя интереса, но онѣ не останавливали на себѣ вниманія писателя.

Единственно ходкою темой тѣхъ лѣтъ былъ разсказъ о

житейскихъ и душевныхъ страданіяхъ поэта или художника, обреченнаго на тягостное столкновеніе съ прозой жизни и съ толпой, которая его не понимаетъ. Романтики любили эту тему, разрабатывали ее еще въ двадцатыхъ годахъ, но мало заботились о совпаденіи вымысла съ правдой жизни, почему по ихъ повѣстямъ и нельзя судить о настоящихъ реальныхъ условіяхъ, въ какихъ приходилось жить русскому писателю въ обществѣ. Отмѣтить можно развѣ только повѣсть гр. Соллогуба „Воспитанница“. Это была одна изъ первыхъ и очень удачныхъ попытокъ разработать вполнѣ реально любимую романтическую тему о борьбѣ таланта съ заѣдающими его условіями трудовой жизни. Соллогубъ разсказалъ очень трогательно исторію одной дворовой дѣвушки, воспитанной въ барскомъ домѣ во всѣхъ дворянскихъ традиціяхъ и оставшейся на улицѣ послѣ смерти своей благодѣтельницы. Эта дѣвушка была одарена необыкновеннымъ драматическимъ талантомъ, но талантъ не спасъ ее отъ униженія и страданія, и она погибла жертвой оскорбительныхъ провинціальныхъ сплетенъ и грубаго обращенія со стороны „поклонниковъ искусства“.

Личная жизнь писателя, жизнь, полная радостей и страданій, могла бы пробудить въ его собратѣ и паѳосъ, и сарказмъ, но даже и эта скромная тема осталась въ тѣ годы совсѣмъ незамѣченною. Все, что мы узнаемъ изъ текущей литературы того времени о писательской жизни, сводится къ незначительнымъ анекдотамъ о невѣжествѣ литераторовъ, ихъ самомнѣніи, ложномъ образованіи, глупости и нахальствѣ, или къ пересказу ихъ журнальныхъ пикировокъ, ихъ кабинетныхъ сплетенъ. Читая такіе разсказы, невольно останавливаешься передъ вопросомъ — зачѣмъ было писателямъ выносить весь этотъ соръ изъ избы и подрывать въ публикѣ довѣріе къ своей дѣятельности, которая и безъ того не пользовалась тогда должнымъ признаніемъ? Но литераторы съ настоящимъ талантомъ, которымъ въ этихъ вопросахъ принадлежалъ бы рѣшающій голосъ, избѣгали такихъ темъ

pro domo sua, и самооплеваніе писательской братіи въ литературѣ объясняется тѣмъ, что писатели сводили свои личные счеты и не находили для этого лучшаго пріема, какъ сатирическіе очерки, часто сбивавшіеся прямо на пасквиль. Кто знакомъ подробно съ исторіей журналистики того времени, тому иногда не трудно указать въ этихъ очеркахъ прямо на оригиналы, съ которыхъ списаны дѣйствующія лица.

Конечно, среди этихъ литературныхъ очерковъ можетъ быть установлена извѣстная градація, смотря по тому, насколько автору удавалось обобщить выставленные имъ лица и факты. Такъ, напримѣръ, тѣ разсказы изъ жизни литераторовъ, которые помѣщалъ Полевой въ своемъ „Новомъ Живописцѣ", были въ литературномъ отношеніи значительно выше всѣхъ имъ подобныхъ произведеній, потому что въ обрисовкѣ типовъ и положеній сатирикъ достигалъ извѣстной образности и общности. Наиболѣе бойкіе очерки въ этомъ родѣ принадлежали перу Сенковскаго. Онъ самъ былъ однимъ изъ большихъ литературныхъ интригановъ, зналъ хорошо закулисныя дѣла журналистики и имѣлъ причины гнѣваться на своихъ собратьевъ по перу, которые въ долгу у него не оставались. Много нелестнаго сказалъ онъ о нихъ въ своихъ сатирическихъ статейкахъ *), которыя тогда очень нравились, такъ какъ мѣстами бывали, дѣйствительно, очень смѣшны, хотя и не комичны въ настоящемъ смыслѣ. Перечислять тѣ литераторскіе пороки, которые осмѣивалъ Сенковскій, было бы очень скучно, такъ какъ реестръ ихъ давно составленъ, чуть ли не со временъ Кантеміра. Среди этихъ пороковъ нѣкоторые безспорно заслуживали осмѣянія, какъ, напримѣръ, авторское самомнѣніе въ разныхъ видахъ и всевозможныя потуги таланта, но были и такія стремленія, которыя можно было осмѣивать

*) *О. И. Сенковскій.* «Выходъ у сатаны» 1832. «Осенняя скука» 1833. «Похожденія одной ревизской души» 1834. «Превращеніе головъ въ книги» 1839. «Чинъ-Чунъ или авторская слава» 1834.

лишь при полномъ отсутствіи серьезнаго взгляда на жизнь. И Сенковскій, у котораго такого серьезнаго взгляда не было, смѣялся часто самымъ буфоннымъ смѣхомъ надъ тѣмъ, что заслуживало полнаго сочувствія Онъ позволялъ себѣ, напр., самыя обидныя глумленія по адресу тѣхъ писателей, въ которыхъ находилъ хоть малѣйшее тяготѣніе къ умозрѣнію. Онъ былъ безсильнымъ, но самымъ крикливымъ врагомъ всѣхъ философскихъ теченій его времени и, какъ часто бываетъ, увлекалъ своимъ площаднымъ гаерствомъ тѣхъ, кому эта, имъ обруганная, философія стремилась привить истинное пониманіе изящнаго въ искусствѣ и въ жизни. Само собою разумѣется, что по его сатирическимъ статьямъ нельзя себѣ составить даже приблизительно вѣрнаго представленія о томъ, что такое была литературная жизнь его времени и кто были эти „романтики“ и „философы“, надъ которыми онъ потѣшался.

По стопамъ Сенковскаго одно время шелъ и Загоскинъ; и онъ, какъ представитель старшаго поколѣнія литераторовъ считалъ нужнымъ обличать литераторовъ молодыхъ—романтиковъ и въ особенности „гегелистовъ“. Самъ онъ не могъ понять ихъ настоящихъ стремленій и потому его сатира обратилась въ настоящій фарсъ, въ сборище карикатуръ, въ которыхъ никто не узнаетъ настоящихъ представителей нашей молодой словесности, хотя именно въ нихъ-то сатирикъ и мѣтилъ. Въ этомъ отношеніи въ особенности характерна его сатира „Литературный вечеръ“ *), въ которой онъ облилъ грязью Бѣлинскаго, выставивъ его въ самомъ неблаговидномъ свѣтѣ и какъ писателя, и какъ человѣка.

Если подвести итогъ всѣмъ этимъ сатирамъ и очеркамъ въ которыхъ должны были быть изображены литературные нравы стараго времени, то кромѣ обличенія самыхъ обыденныхъ писательскихъ пороковъ, кромѣ неумѣстныхъ шу-

*) «Москва и Москвичи», часть II.

токъ надъ тѣмъ, что самому сатирику было непонятно, кромѣ неумѣлыхъ нападокъ на литературную новизну и наконецъ кромѣ сведенія личныхъ счетовъ — мы не найдемъ ничего въ историческомъ или литературномъ смыслѣ цѣннаго.

Спускаясь изъ этихъ культурныхъ круговъ въ слои менѣе культурные, переходя къ тѣмъ повѣстямъ, въ которыхъ рисуется жизнь нашего купечества и мѣщанства, мы должны еще больше ограничить наши ожиданія и требованія. Жизнь этихъ круговъ въ тѣ романтическіе годы считалась по существу еще менѣе любопытной, чѣмъ жизнь крестьянская, которую можно было идеализировать по образцу старыхъ описаній „естественнаго“ быта или старой сентиментальной идилліи.

Литература тѣхъ лѣтъ почти совсѣмъ игнорировала „среднія состоянія“ нашего общества или довольствовалась самымъ шаблоннымъ типомъ практическаго богобоязненнаго честнаго купца и смышленаго работника-мѣщанина. Внѣшняя и внутренняя жизнь этихъ темныхъ или полу-темныхъ людей открылась читателю уже послѣ Гоголя, въ годы расцвѣта такъ называемой „натуральной школы“. Было бы, однако, несправедливо умолчать о предшественникахъ этой школы, при всѣхъ недочетахъ ихъ работы.

В. И. Далю принадлежитъ среди этихъ скромныхъ наблюдателей первое мѣсто. Въ своихъ мелкихъ разсказахъ и анекдотахъ онъ давалъ временами очень живые портреты мастеровыхъ, мелкихъ и крупныхъ коммерсантовъ, лавочниковъ и иныхъ сѣрыхъ людей, отъ которыхъ литература тогда отвертывалась. Что съ нимъ очень рѣдко случалось— ему удалось даже удачно использовать этотъ матеріалъ въ повѣстяхъ довольно большого объема.

Съ безспорнымъ знаніемъ купеческой жизни написанъ, напримѣръ, очеркъ „Отецъ съ сыномъ“—старая исторія объ отцахъ и дѣтяхъ, возникшая въ средѣ, гдѣ традиція требовала полнаго повиновенія отъ младшихъ,—исторія, въ

которой, однако, носитель этихъ традицій — старикъ, обнаруживаетъ, вопреки ожиданіямъ, глубоко гуманную душу и умъ, умѣющій стать на чужую точку зрѣнія. Трагикомическій эпизодъ женитьбы одного купеческаго сынка на дочери нѣмецкаго колбасника разсказанъ Далемъ также очень живо въ повѣсти „Колбасники и бородачи“. Въ повѣсти „Жизнь человѣка или прогулка по Невскому проспекту“ была нашимъ авторомъ очень трогательно описана безотрадная жизнь одного несчастнаго ремесленника, подкидыша-горбуна, который, состоя подмастерьемъ въ разныхъ лавкахъ и домахъ, расположенныхъ по Невскому проспекту, тридцать девять лѣтъ бѣгалъ по нему и ни разу не видалъ Невы и на смерть перепугался, когда однажды случайно былъ завезенъ на Петербургскую Сторону.

Какъ образцы хорошихъ „физіологическихъ“ очерковъ, нужно отмѣтить разсказы „Петербургскій дворникъ“ и „Деньщикъ“, а также и довольно ярко написанныя странички „Чухонцы въ Питерѣ“.

Поставленныя рядомъ съ повѣстями Даля другіе однородные съ ними разсказы проигрываютъ въ живости и вѣрности изображенія; изъ нихъ можно указать развѣ только на романъ Башуцкаго „Мѣщанинъ“ *). Романъ довольно широко задуманъ: авторъ хотѣлъ въ немъ разсказать полную невѣроятныхъ приключеній жизнь „мѣщанина изъ отпущенныхъ“, который въ чувствахъ своихъ и въ своемъ образованіи опередилъ любого представителя высшаго круга. Романъ написанъ въ романтическомъ стилѣ и почти на всѣхъ страницахъ отклоняется отъ возможнаго и вѣроятнаго, и только описаніе толкучаго рынка имѣетъ литературную и историческую цѣнность и взято, безспорно, изъ портфеля ученика „натуральнаго“ класса.

Сколько бы мы ни отмѣчали, однако, такихъ живыхъ страницъ, онѣ все-таки говорятъ намъ очень мало о жизни

*) *А. Башуцкій.* «Очерки изъ портфеля ученика натуральнаго класса». «Тетрадь первая. Мѣщанинъ». 2 части. Спб. 1840.

нашихъ среднихъ сословій и изъ цѣлой массы своеобразныхъ типовъ, живущихъ въ своеобразной обстановкѣ, лишь самая ничтожная часть всплывала наружу, и то только дразнила, а не удовлетворяла любопытство читателя.

Неудовлетворено было это любопытство и тогда, когда читатель хотѣлъ узнать, какими идеалами, умственными и нравственными, живетъ нашъ простой крестьянскій народъ и каковы внѣшнія условія его быта.

Что касается этихъ внѣшнихъ условій, то литература издавна о нихъ повѣствовала и въ своемъ разсказѣ выработала извѣстные стереотипные пріемы. Часто въ угоду идиллическому настроенію души писателя крестьянская жизнь изображалась въ мягкихъ и пріятныхъ краскахъ. Нельзя сказать, конечно, что въ этихъ идилліяхъ все отъ перваго слова до послѣдняго было ложью: могло статься, что среди многихъ милліоновъ рабовъ и были такіе, которые съ утратой свободы жили покойно и въ довольствѣ, но, во всякомъ случаѣ, такія исключительныя картины не давали никакого понятія объ общемъ ходѣ крестьянской жизни. Гораздо болѣе близки къ истинѣ были тѣ—въ александровскую эпоху болѣе, а въ николаевскую менѣе—многочисленные писатели, которые свой интересъ сосредоточили на мрачныхъ сторонахъ народнаго быта. Эти мрачныя стороны были исчислены и описаны довольно вѣрно, насколько, конечно, позволяла тогдашняя цензура, но во всѣхъ этихъ разсказахъ чувствовалось, что народное міросозерцаніе и душа народа были для писателя закрытою книгой. Въ лучшемъ смыслѣ онъ уступалъ мужику на время свои собственныя скорбныя или протестующія думы и рѣчи.

Наша литература не скоро дождалась того часа, когда народъ заговорилъ самъ на ея страницахъ и когда писатель настолько проникъ въ сущность народной жизни, что, знакомя насъ съ низшею братіей, могъ не знакомить съ самимъ собою.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ вниманіе писателя все еще было устремлено на внѣшнюю сторону народной

жизни и онъ собиралъ, коллекціонировалъ матеріалъ. Когда же ему случалось обрабатывать этотъ матеріалъ, онъ привносилъ въ него много условнаго и субъективнаго. Такъ дѣлалъ Загоскинъ, когда выдвигалъ въ своихъ романахъ мужика, какъ носителя и выразителя истинно-русскихъ началъ жизни *), такъ поступалъ Полевой, прививая мужику свой сентиментальный образъ мысли и рѣчи **), такъ дѣлалъ и Гребенка ***) въ своихъ фантастическихъ и сентиментальныхъ повѣстяхъ.

Нельзя назвать близкими къ жизненной правдѣ и очень нравившіяся тогда малороссійскія повѣсти Грицька Основьяненки, такъ какъ и онѣ не что иное, какъ лишь сентиментальныя и романтическія варіаціи на народные мотивы ****).

Изъ всего, что тогда писалось о народной жизни, нужно отдать преимущество опять-таки разсказамъ Даля. Это преимущество было справедливо отмѣчено еще тогдашнею критикой, которая думала найти въ нихъ то, чего она такъ искала, именно—русскую „народность“. Если требовать отъ разсказа полнаго совпаденія съ жизнью въ обрисовкѣ внѣшнихъ деталей, то критика была права: Даль хорошо изучилъ эту жизнь, обладалъ единственнымъ въ своемъ родѣ знаніемъ народной рѣчи; ему не было нужды выдумывать, и онъ, дѣйствительно, разсказывалъ „быль“, но талантъ его, какъ художника, былъ очень скроменъ и потому всѣ его повѣсти остались анекдотами. Въ нихъ нѣтъ ни натяжекъ, ни условностей, ни невѣрностей: все согласно съ правдой; въ нихъ какъ инкрустація вставлена масса народныхъ изре-

*) Лучшее, что въ этомъ родѣ написано Загоскинымъ, это—маленькій очеркъ «Добрый Ванька» въ его очеркѣ «Москва и Москвичи». Выходъ II-й.

**) Наиболѣе удачный очеркъ Полевого изъ народнаго быта—разсказъ «Мѣшокъ съ золотомъ», «Мечты и жизнь», часть IV, но и онъ не свободенъ отъ сентиментальной приторности.

***) *Е. Гребенка*. «Разсказы пиратинца» 1836 и въ особенности разсказъ «Куликъ» 1840.

****) «Малороссійскія повѣсти», разсказываемыя *Г. Основьяненкомъ*. 2 части. Москва. 1834 и 1837.

ченій, прибаутокъ, пословицъ, много чисто народныхъ словъ и оборотовъ рѣчи, но въ нихъ нѣтъ образовъ, нѣтъ типовъ, нѣтъ развитія въ народной мысли и въ движеніяхъ сердца. Люди какъ будто сфотографированы моментально; мы видимъ ихъ въ опредѣленныхъ и единственныхъ позахъ, но мы не живемъ съ ними.

Какъ собраніе матеріаловъ, повѣсти Даля представляютъ безспорный интересъ, но едва ли читатель того времени могъ по нимъ разгадать хоть отчасти трудную загадку— что́ думаетъ и какъ чувствуетъ нашъ народъ, тѣмъ болѣе, что и Даль не всегда былъ свободенъ отъ дидактической тенденціи и подбиралъ свои анекдоты съ цѣлью оттѣнить одну какую-нибудь нравственную истину или достойно наказать того, кто ея ослушался.

Итакъ, если оглянуть бѣглымъ взоромъ всѣ повѣсти и разсказы, въ которыхъ писатель тѣхъ годовъ ставилъ себѣ задачей художественное воспроизведеніе окружавшей его дѣйствительности, то, безспорно, придется констатировать быстрый и богатый приростъ наблюденій, сдѣланныхъ писателемъ надъ самыми разнообразными слоями русскаго общества. Много было уловлено деталей, много выведено типовъ, но, частью по винѣ автора, а еще чаще по обстоятельствамъ отъ него независящимъ, всѣ эти наблюденія въ большинствѣ случаевъ касались чисто внѣшнихъ сторонъ жизни и не пытались или не могли проникнуть въ глубь ея. Масса самыхъ характерныхъ типовъ, и самыя интересныя житейскія положенія легли внѣ поля зрѣнія тогдашняго литератора.

Исключеніе въ данномъ случаѣ составлялъ одинъ только Гоголь. Его взглядъ на русскую жизнь былъ шире и глубже взгляда другихъ писателей и его комедіи и повѣсти были наиболѣе полною галлереей характерныхъ и общихъ типовъ.

Были, конечно, области жизни, о которыхъ Гоголь умол-

чалъ въ своемъ творчествѣ по неизвѣстнымъ причинамъ. Такъ, напр., онъ, хорошо знавшій жизнь свѣтскаго круга, вращавшійся среди аристократовъ, высшихъ чиновниковъ и всевозможныхъ именитыхъ людей, не обмолвился о нихъ почти ни единымъ словомъ. Молчалъ ли онъ изъ деликатности или по отсутствію смѣлости—рѣшить трудно. Былъ онъ очень скрытенъ и во всемъ, что касалось нравовъ того сословія, къ которому онъ самъ принадлежалъ, т.-е. сословія писателей. Своему собрату по перу онъ говорилъ много колкостей въ своихъ журнальныхъ и критическихъ статьяхъ, но онъ почему-то пощадилъ его въ своей сатирѣ.

Наконецъ, мы помнимъ какъ поверхностны, неполны, а иногда и условно невѣрны были въ его повѣстяхъ картинки простонародной жизни и простонародные типы.

Но за исключеніемъ этихъ пробѣловъ, которые въ творчествѣ Гоголя даютъ себя очень чувствовать—въ остальномъ онъ самый разносторонній и тонкій бытописатель нашей жизни. Онъ очень кратко, но необычайно мѣтко схватываетъ главныя очертанія жизни очень многихъ круговъ и слоевъ нашего общества.

Яркость картины достигается Гоголемъ, повидимому, пріемами очень простыми, и эти пріемы художника становятся истинно изумительны, когда двумя-тремя штрихами онъ набрасываетъ передъ нами цѣлый типъ, который поясняетъ иногда жизнь цѣлаго сословія лучше, чѣмъ длинный рядъ портретовъ аккуратно списанныхъ съ натуры въ подходящей обстановкѣ.

Въ чемъ тайна того впечатлѣнія, которое на насъ производятъ всѣ эти образы, эти люди, съ которыми насъ авторъ сводитъ почти всегда лишь на очень короткое время?

Тайна заключена, конечно, прежде всего, въ талантѣ автора. Онъ, какъ большой художникъ, творитъ людей словами и они стоятъ, какъ живые, передъ нами, но кромѣ этой жизненности и жизнеспособности эти люди обладаютъ

и еще однимъ качествомъ, которымъ они обязаны тому же таланту автора, но главнымъ образомъ его зоркому и серьезному взгляду на жизнь. Это качество—ихъ типичность. Они всѣ „типичны“, т.-е. ихъ умственный складъ, темпераментъ, ихъ привычки, образъ ихъ жизни не есть нѣчто случайное или исключительное, нѣчто лично имъ принадлежащее; весь ихъ внутренній міръ и вся обстановка, которую они создаютъ вокругъ себя—художественный итогъ внутренней и внѣшней жизни цѣлыхъ группъ людей, цѣлыхъ круговъ, классовъ, воспитавшихся въ извѣстныхъ историческихъ условіяхъ; и эти условія не скрыты отъ насъ и пояснены намъ.

Возьмемъ ли мы помѣщичьи типы и мы сразу видимъ, что въ нихъ дана вся патологія дореформеннаго дворянства съ его маниловщиной на чужомъ трудѣ, съ кулачествомъ Собакевича, не отличающаго одушевленнаго раба отъ неодушевленнаго, съ ноздревщиной, которая знаетъ, что въ силу дворянскаго своего положенія она всегда съумѣетъ вывернуться, съ самодурствомъ Кошкарева, который, прельщенный чиновными порядками, учреждалъ министерства и департаменты въ своей усадьбѣ или, наконецъ, съ благомысліемъ и добродушіемъ Тентетникова, который прѣлъ на корню, избавленный отъ необходимости къ чему-либо приложить свою волю и энергію.

Остановимся ли мы на такихъ лишь бѣгло набросанныхъ типахъ, какъ, напр., Копѣйкинъ, и тогдашняя армейская нищета духа и тѣла предстанетъ передъ нами воочію, и мы поймемъ, что такое была дореформенная солдатская жизнь—въ ея главныхъ наиболѣе общихъ очертаніяхъ, жизнь, такъ много требовавшая отъ службы и такъ мало цѣнившая человѣка въ служиломъ. Такъ же точно при знакомствѣ съ добродушнымъ городничимъ и его сослуживцами, при встрѣчѣ со всѣми „милыми“ чиновниками того губернскаго города, въ которомъ временно проживалъ Чичиковъ, при знакомствѣ съ Акакіемъ Акакіевичемъ—развѣ мы не чувствуемъ и не понимаемъ, что передъ нами лица, которыхъ вскормилъ, а

затѣмъ вознесъ или принизилъ именно тогдашній бюрократическій строй, прививавшій всякому начальству своеволіе и убивавшій всякую свободную волю въ подчиненномъ.

Вѣрно, хотя только въ двухъ-трехъ штрихахъ, съумѣлъ обрисовать Гоголь и домашнюю интимную жизнь купеческой семьи, и когда затѣмъ Островскій разсказалъ намъ исторію этой жизни подробно во всѣхъ деталяхъ, то оказалось, что устои ея—ея косность, мракъ ума и погоня за счастьемъ въ самой матеріальной формѣ, указаны были вѣрно еще нашимъ сатирикомъ.

Почти въ каждомъ изъ гоголевскихъ типовъ можно найти такую типичность. Всегда выведенное имъ лицо интересно и само по себѣ, какъ извѣстная разновидность человѣческой природы, и кромѣ того, какъ цѣльный образъ, по которому можно догадаться о культурныхъ условіяхъ, среди которыхъ онъ выросъ. Въ этомъ смыслѣ Гоголь для своей эпохи былъ единственный писатель: ничей взоръ не проникалъ такъ вглубь русской жизни, и если въ оцѣнкѣ художественнаго разсказа выдвигать на первый планъ эту способность писателя обнаруживать таіныя пружины окружающей его жизни, показывать намъ, какими общими теченіями мысли, какими чувствами, стремленіями, среди какихъ привычекъ живетъ не одно какое-нибудь лицо, а цѣлыя группы лицъ, изъ которыхъ слагается общественный организмъ—если эту способность цѣнить въ бытописателѣ-реалистѣ, то, безспорно, исторію русскаго реальнаго романа придется начинать съ Гоголя.

Его громадная роль въ этой исторіи теперь ясна каждому, и ее, хоть и смутно, понимали уже первые его читатели—какъ это видно изъ критическихъ отзывовъ, которыми были встрѣчены его сочиненія и преимущественно „Мертвыя Души“.

XVII.

Отзывы критики о «Мертвыхъ Душахъ»; разногласіе отзывовъ и ихъ неполнота.—Сила впечатлѣнія, произведеннаго на общество сочиненіями Гоголя.—Отзывы «Сѣверной Пчелы», «Библіотеки для Чтенія», Литературной Газеты», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», «Русскаго Вѣстника», «Москвитянина», «Сына Отечества» и «Отечественныхъ Записокъ».

Литературная критика тридцатыхъ годовъ была, мы помнимъ, недовольна тѣмъ, что ей давала юная словесность, съ трудомъ отстаивавшая въ тѣ годы свое право на самобытность. Всякій разъ, когда критикъ, не желая говорить комплиментовъ своимъ знакомымъ, относился болѣе или менѣе серьезно къ своему дѣлу—онъ начиналъ жаловаться на отсутствіе въ нашей литературѣ самобытной силы, на небрежное отношеніе писателя къ окружавшей его жизни. Онъ искалъ, какъ онъ выражался, „народности“ въ литературѣ и не находилъ ея. Правда, онъ самъ не всегда могъ отвѣтить на вопросъ, въ чемъ эта „народность“ должна заключаться, и потому часто бывалъ несправедливъ и къ крупнымъ талантамъ, и къ писателямъ средняго дарованія, которые въ тѣ годы производили тщательныя наблюденія надъ нашей жизнью, но не умѣли облечь ихъ въ достаточно художественную форму.

Такая несправедливость вполнѣ понятна въ виду слишкомъ высокихъ требованій, которыя критикъ, воспитанный на образцахъ западной словесности, ставилъ словесности

нашей, еще очень юной; а также въ виду того безспорнаго факта, что лучшіе наши писатели начала XIX вѣка, дѣйствительно, обращали мало вниманія на *современную* имъ жизнь и въ своихъ твореніяхъ предпочитали прошлое или иноземное своему и настоящему. Критикъ имѣлъ нѣкоторое основаніе жаловаться на то, что Жуковскій, Пушкинъ, Грибоѣдовъ и иные сильные такъ мало успѣли сказать о той жизни, однимъ изъ лучшихъ украшеній которой они были *).

Бѣлинскій былъ правъ, когда въ 1834 году заявилъ категорически, что „у насъ нѣтъ литературы“. Онъ отлично зналъ цѣну нѣкоторымъ высокохудожественнымъ произведеніямъ нашей словесности того времени, и онъ хотѣлъ сказать только, что связь этихъ произведеній съ нашей дѣйствительностью, съ нашей русской жизнью должна быть болѣе тѣсной.

Прошло десять лѣтъ съ того времени, какъ Бѣлинскимъ было сдѣлано это смѣлое заявленіе — въ которомъ онъ только повторилъ то, что до него говорили почти всѣ критики,— и передъ русскимъ читателемъ лежало полное собраніе сочиненій Гоголя. Какъ съ ними сосчиталась критика и удовлетворили ли они ее?

Пріемъ, оказанный сочиненіямъ Гоголя и въ особенности его „Мертвымъ Душамъ“, свидѣтельствуетъ очень ясно и опредѣленно о необычайно сильномъ впечатлѣніи, какое художникъ произвелъ на своихъ современниковъ. Силу его таланта почувствовалъ каждый, и даже тѣ критики, которые встрѣтили Гоголя бранью, и они были поражены этой силой и, можетъ быть, потому-то съ такимъ забвеніемъ здраваго смысла и выругались. Другіе, подъ обаяніемъ перваго впечатлѣнія, вознесли автора до небесъ.

Останавливаясь передъ этимъ рѣзкимъ разногласіемъ судей, одинъ критикъ писалъ: „Гоголь именно потому и является у насъ чѣмъ-то загадочнымъ, что наука, объемляющая

*) Срв. страницы 32 и слѣд.

всѣ стороны искусства его, едва по частямъ промелькнула передъ нами. Оттого одни смотрятъ на Гоголя съ энтузіазмомъ, другіе хулятъ его донельзя" *).

На первый взглядъ, дѣйствительно, могло показаться, что критики разошлись въ эстетической оцѣнкѣ произведеній Гоголя: такъ много и такъ часто они говорили о красотѣ или безобразіи его языка и стиля, о законченности или неполнотѣ его образовъ, объ ихъ большей или меньшей типичности... Но на самомъ дѣлѣ источникомъ восторговъ или раздраженія критиковъ было вовсе не обманутое или удовлетворенное эстетическое чувство. Критики никакъ не могли согласиться въ томъ, что произведенія Гоголя на самомъ дѣлѣ „народны", что въ нихъ-то и кроется искомая и желанная народность, что въ нихъ правда жизни вполнѣ совпала съ правдой творчества. Эта главнѣйшая заслуга творчества Гоголя стала выясняться критикѣ лишь постепенно.

Нѣкоторымъ судьямъ, воспитаннымъ на сентементальныхъ и романтическихъ традиціяхъ, реализмъ Гоголя, полный иронін, былъ противенъ самъ по себѣ, какъ оскорбленіе, которое авторъ нанесъ искусству; и вообще мало было читателей, которые могли понять истинно глубокій и печальный смыслъ „этихъ каррикатуръ въ стилѣ Гольбейна", этой „пляски смертей", какъ кн. Вяземскій остроумно назвалъ „Мертвыя Души"? **). Правильно, съ соблюденіемъ вѣрнаго историческаго смысла судилъ о „Мертвыхъ Душахъ" Герценъ. Въ своемъ Дневникѣ [11 іюня 1842 г.] онъ писалъ: „Мертвыя Души" Гоголя—удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси, но не безнадежный. Тамъ, гдѣ взглядъ можетъ проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ навозныхъ испареній, тамъ онъ видитъ удалую, полную силы національность. Портреты его удивительно хороши, жизнь

*) «Современникъ» 1842 г. XXVIII, стр. 82 «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя «Похожденія Чичикова».

**) *Кн. П. А. Вяземскій.* «Полное собраніе сочиненій», II, 315, въ статьѣ «Языковъ и Гоголь». 1847.

сохранена во всей полнотѣ: не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видѣлъ сто разъ. Грустно въ мірѣ Чичикова, такъ какъ грустно намъ въ самомъ дѣлѣ; и тамъ и тутъ одно утѣшеніе въ вѣрѣ и упованіи на будущее, но вѣру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе ins Blaue, а имѣетъ реалистическую основу, кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въ груди". Нашлись и другіе справедливые судьи, которые не успѣли только на первыхъ порахъ вполнѣ высказаться.

Перескажемъ нѣкоторые наиболѣе характерные критическіе отзывы о сочиненіяхъ Гоголя и преимущественно о „Мертвыхъ Душахъ", чтобы убѣдиться, насколько сильно были задѣты и поражены словами художника умы его читателей.

„Мертвыя Души" и первое полное собраніе сочиненій Гоголя увидѣли свѣтъ въ годы, мало благопріятные для критической мысли. Эта мысль въ двадцатыхъ годахъ и въ началѣ тридцатыхъ была менѣе опытна, но зато болѣе разнообразна. Къ 1842 году многіе органы, вносившіе большое оживленіе въ журналистику, прекратили свое существованіе.

Умерли, частью естественной, а частью насильственной смертью „Вѣстникъ Европы", „Московскій Телеграфъ", „Московскій Вѣстникъ", „Телескопъ", „Молва", „Европеецъ" и „Московскій Наблюдатель". Нѣкоторые изъ критиковъ, писавшихъ въ этихъ журналахъ, продолжали свою дѣятельность въ иныхъ періодическихъ изданіяхъ, а нѣкоторые совсѣмъ замолкли—и при томъ самые смѣлые и наиболѣе талантливые. Пушкинъ и Веневитиновъ скончались; Марлинскій и Кюхельбекеръ были сосланы; Кирѣевскій и Надеждинъ послѣ погрома „Телескопа" и „Европейца" замолчали на долгіе годы; Вяземскій писалъ очень мало и отъ боевой критики, въ которой онъ сыгралъ такую видную роль, сталъ сторониться. Смерть или молчаніе такихъ лицъ было большою потерей.

Возникли, правда, новые органы, но они старыхъ не замѣнили. Въ Москвѣ около „Москвитянина“ сгруппировался кружокъ славянофильскій, и присяжнымъ критикомъ журнала сталъ Шевыревъ — прежній сотрудникъ „Московскаго Вѣстника“ и „Московскаго Наблюдателя“. Годы не выработали изъ него хорошаго критика: пылъ и жаръ, который отмѣчалъ его юныя статьи, слегка выдохся и патріотическая тенденція его образа мыслей возросла и очень мѣшала правильности его сужденій

Петербургская журналистика была болѣе оживлена, хотя и она не могла похвастаться оригинальностью и силой: критическій отдѣлъ „Современника“ со смертью Пушкина, съ отказомъ Гоголя вступить въ него и при рѣдкомъ появленіи статей Вяземскаго былъ безцвѣтенъ; ни аромата, ни цвѣта не придалъ ему и Плетневъ своими статьями. „Библіотека для Чтенія“, недавно основанная, была журналомъ очень популярнымъ, и, по разнообразію и группировкѣ матеріала вполнѣ заслуживала успѣха, но критическій отдѣлъ, который велъ самъ редакторъ Сенковскій, былъ совсѣмъ не на высотѣ своего призванія. Редакторъ—человѣкъ большого ума и большихъ знаній, считалъ, повидимому, критику дѣломъ совсѣмъ не серьезнымъ, и потому въ своихъ статьяхъ только шутилъ, остроумничалъ и паясничалъ, а иногда даже очень неучтиво ругался.

Этого же тона, но только съ меньшимъ талантомъ и остроуміемъ держался и Булгаринъ въ своей „Сѣверной Пчелѣ“.

Въ обновленномъ „Русскомъ Вѣстникѣ“ работалъ заслуженный редакторъ „Московскаго Телеграфа“ Полевой, попрежнему неутомимый и энергичный, но неспособный возвыситься надъ своими старыми романтическими и сентиментальными симпатіями.

Какъ бы въ искупленіе всѣхъ прегрѣшеній тогдашней критики, въ обновленныхъ „Отечественныхъ Запискахъ“ писалъ, и часто писалъ Бѣлинскій. Въ его статьяхъ заклю-

чена вся исторія нашей критической мысли за цѣлое десятилѣтіе [съ конца тридцатыхъ до конца сороковыхъ годовъ]. Онъ одновременно былъ и лучшимъ теоретикомъ изящнаго въ искусствѣ, и первымъ по силѣ публицистомъ.

Посмотримъ же, какъ всѣ эти судьи откликнулись на обращенную къ обществу рѣчь художника.

На сужденія Булгарина и Сенковскаго появленіе „Мертвыхъ Душъ“ не оказало никакого вліянія. Гоголь остался для нихъ простымъ шутникомъ, веселымъ разсказчикомъ небылицъ; они не видѣли или не хотѣли видѣть разницы между первыми произведеніями писателя и его зрѣлыми созданіями. Булгаринъ говорилъ, что въ поэмѣ Гоголя есть и забавное, и смѣшное, и счастливо переданное; есть умныя рѣзкія замѣчанія насчетъ слабостей и глупостей человѣческихъ, но что все это утопаетъ въ странной смѣси вздору, пошлостей и пустяковъ. Въ „Мертвыхъ Душахъ“ нѣтъ ни одного характера, писалъ онъ; — одна каррикатура и небывальщина. Дѣйствующія лица всѣ — одни дураки и воры. Передъ нами особый міръ негодяевъ, который никогда не существовалъ. Притомъ, добавлялъ критикъ,—вся поэма написана удивительно безвкуснымъ языкомъ и въ дурномъ тонѣ, мѣстами совершенно неприличномъ. Во всякомъ случаѣ это—неглубокое и несерьезное произведеніе, не „поэма“, а просто положенный на бумагу разсказъ замысловатаго мнимопростодушнаго малороссіянина. Гоголь могъ бы писать и хорошо и серьезно, но почему-то добровольно отказался отъ мѣста подлѣ образцовыхъ писателей романовъ, чтобы стать ниже Поль-де-Кока. Правда, нашъ легкій писатель пользуется теперь большимъ успѣхомъ, но это объясняется не его заслугами, а усердіемъ нѣкоторыхъ критиковъ, которые его захвалили, чтобы заставить публику отвернуться отъ другихъ сатирическихъ и юмористическихъ писателей *).

*) «Сѣверная Пчела» 1842 г. №№ 137 и 279.

Въ такомъ же тонѣ, но съ большимъ ухарствомъ говорилъ о Гоголѣ и Сенковскій. У него не нашлось для „Мертвыхъ Душъ“ иного названія, какъ „буффонада“. Гоголь, доказывалъ критикъ, остается во всѣхъ своихъ произведеніяхъ авторомъ анекдотовъ, въ которыхъ пробивается возлѣ пріятнаго дарованія особенный провинціальный юморъ—малороссійское жартованіе. Отсутствіе художнической наблюдательности юмористъ замѣняетъ коллекціею гротесковъ, оригиналовъ, чудаковъ и плутовъ безъ всякой важности для философической сатиры. Стиль его грязенъ, картины—зловонны! Бѣдный писатель! Онъ Чичикова принимаетъ за жизнь! Онъ лелѣетъ такія созданія! О, беззвучная трескотня! Бѣдный! Тысячу разъ бѣдный! Онъ могъ думать, что нарисованная имъ картина нравовъ и характеровъ есть поэма изъ русской жизни! А кого рисуетъ онъ? Какихъ людей! Какія понятія! И его слушаютъ! А почему? Потому что его захвалили тѣ люди, которымъ это было нужно сдѣлать изъ постороннихъ цѣлей. А въ сущности что такое Гоголь? Польде-Кокъ и по слогу, и по сюжету *).

Такъ писали о Гоголѣ люди, которымъ никакъ нельзя отказать въ литературной начитанности, въ писательской опытности и даже въ умѣ. Ихъ сужденія въ данномъ случаѣ настолько расходятся со здравымъ смысломъ, обнаруживаютъ такую узость пониманія, что невольно приходится заподозрить ихъ въ полной неискренности. Они не могли думать того, что̀ писали. Въ ихъ словахъ чувствуется задняя мысль и они, нападая на Гоголя, имѣли въ виду не оборону искусства, а защиту чего то иного, для нихъ въ данномъ случаѣ болѣе дорогого. Не трудно догадаться, что̀ именно ихъ сердило; они открыли свои карты, когда такъ упорно настаивали на томъ, что Гоголя „захвалили“ пріятели, что тщеславіе и самомнѣніе его обуяло, что его друзья и поклонники стараются отвлечь симпатіи публики отъ другихъ

*) «Библіотека для Чтенія» 1842 г. LIII, отд. VI, 24—54 и 1843 г. LVII, отд. VI, 21—28.

не менѣе достойныхъ писателей-юмористовъ и сатириковъ, т.-е. отъ нихъ самихъ, отъ Булгарина и Сенковскаго. Повышенность ихъ злобнаго тона объясняется успѣхомъ Гоголя и притомъ успѣхомъ въ средней публикѣ, той самой, которая до сихъ поръ зачитывалась именно ихъ романами и повѣстями. Такимъ образомъ, въ этихъ критическихъ отзывахъ совершенно ничтожныхъ по мысли, сохранено для насъ очень любопытное указаніе на расширеніе сферы вліянія сочиненій Гоголя—указаніе на захватъ ими цѣлой группы читателей, которые раньше довольствовались иными поставщиками. Булгаринъ и Сенковскій отлично понимали, что для болѣе или менѣе развитыхъ читателей ихъ брань на Гоголя ровно никакой цѣны не имѣетъ, и они хотѣли удержать за собою лишь тѣхъ, въ которыхъ съ полнымъ основаніемъ подозрѣвали наступающую перемѣну вкусовъ.

Дѣйствительно, по восторженному тону, какимъ о Гоголѣ стали говорить журналисты не особенно видныхъ органовъ печати, можно было догадаться, что слава его растетъ необычайно быстро. Похвалы эти были очень общаго характера, но въ нихъ уже ясно проступаетъ сознаніе, что въ сочиненіяхъ Гоголя дано нѣчто въ высшей степени важное, что въ нихъ кроется громадная сила; въ чемъ она — объ этомъ критики говорили пока довольно глухо. „Мертвыя Души“ — *ужасающая* картина современной жизни, писалъ одинъ изъ такихъ поклонниковъ Гоголя *), — цѣнившій въ немъ его рѣдкій даръ наблюдательности, его знаніе человѣческаго сердца, его умѣніе созидать характеры,—но въ чемъ заключался весь „ужасъ“ картины — этого критикъ не поясняетъ. „Мертвыя Души“ — картина вѣрная природѣ, хотя бойкость иногда приближаетъ автора къ карикатурѣ и рьяность заставляетъ его грѣшить противъ стилистики, замѣчалъ другой рецензентъ. Вся картина огромная, ярко расцвѣченная, фонъ которой составляетъ бытъ нашихъ про-

*) «Литературная Газета» 1842 г. № 23, 470—476.

винціальныхъ помѣщиковъ и чиновниковъ. Въ поэмѣ Гоголя намъ даны живыя лица изъ нашей „ветхой“ жизни. Мы живемъ, дѣйствительно, двойной жизнью: юною, перелитою къ намъ изъ Европы, которая отражена въ такихъ типахъ, какъ Чацкій, Евгеній Онѣгинъ и Печоринъ, и жизнью ветхой, унаслѣдованной отъ предковъ, которая представлена въ литературѣ семействомъ Простаковыхъ, Сквозникомъ-Дмухановскимъ, Хлестаковымъ и Чичиковымъ. Никогда талантъ Гоголя не производилъ творенія столь обширнаго въ своемъ объемѣ, столь поразительнаго по разнообразію и выдержанности, по оригинальности и новости характеровъ, по вѣрности и яркости красокъ, какъ его „Мертвыя Души“. Въ заключеніе критикъ предрекалъ поэмѣ Гоголя бестящую участь *). Пусть въ своихъ предсказаніяхъ онъ ошибся, но въ различеніи „юной“ и „ветхой“ жизни, которой мы живемъ, критикъ обнаружилъ безспорное пониманіе смысла гоголевской сатиры, хотя опять-таки мысль свою оставилъ безъ развитія.

Такая недосказанность въ сужденіяхъ о „Мертвыхъ Душахъ“ была тогда явленіемъ общимъ; не только критики средней силы, но и судьи уже опытные и очень даровитые грѣшили ею. Гоголь давалъ такъ много въ своей поэмѣ, что всякій желавшій высказать свое сужденіе о ней, былъ подавленъ тѣми мыслями, которыя она вызывала, и не могъ формулировать ихъ сразу вполнѣ опредѣленно и съ достаточной полнотой. Въ этомъ мы сейчасъ убѣдимся по отзывамъ лицъ наиболѣе компетентныхъ въ судѣ надъ литературными памятниками.

Исключеніемъ среди всѣхъ этихъ компетентныхъ судей былъ Полевой. Престарѣлый романтикъ, которому надлежало теперь высказать свое сужденіе о лучшемъ представителѣ торжествующаго реализма, сказалъ откровенно, ясно и опредѣленно все, что онъ думалъ. Его слова были же-

*) «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1842 г. № 163—165. Статья *М. Сорокина.*

стоки и совершенно несправедливы, но ихъ нужно отмѣтить въ виду ихъ характерности, хотя считаться съ ними нѣтъ необходимости, такъ какъ критикъ обнаружилъ полное непониманіе того, судить о чемъ онъ взялся. Это непониманіе было вполнѣ искреннее со стороны Полевого; для него сочиненія Гоголя были прямымъ отрицаніемъ всего, что онъ считалъ изящнымъ и художественно правдивымъ. Ругать Гоголя побудили его не личные, не редакціонные счеты, а сложившіеся его романтическіе вкусы и старая эстетическая теорія, отъ которой онъ, не то чтобы не хотѣлъ, а не смогъ отступить. Ему—романтику и сентименталисту—откровенный реализмъ въ искусствѣ былъ противенъ.

Принимая на себя веденіе критическаго отдѣла въ обновленномъ „Русскомъ Вѣстникѣ“, Полевой призналъ въ своей руководящей статьѣ *), что русская литература переживаетъ трудное время. Классицизмъ палъ, писалъ онъ, но теперь одно зло смѣнили другимъ. Невольно пожалѣешь о добромъ старомъ времени классическаго владычества. Старую теорію мы уничтожили, ну, а создали ли мы новую? У насъ теперь масса трибуналовъ и полное безначаліе въ критикѣ. Такая же путаница и въ теоріяхъ ученыхъ и въ философіи. Толпа невѣрующихъ разрушителей нападаетъ на Гете, предпочитаетъ Энеидѣ—Нибелунги, Рафаэлю—византійскую живопись, отвергаетъ все въ Корнелѣ и Расинѣ, холодно смотритъ на творенія В. Скотта и любитъ уродливаго Диккенса. Нашъ вкусъ—страстность, наше прекрасное—дикость, наша страсть — новизна. Нужно выйти изъ этого хаоса, надо перейти къ времени мирному, къ новому тихому возсозданію прежнихъ положительныхъ идей человѣчества... Это будетъ новый классицизмъ, который съумѣетъ цѣнить Шекспира, отдавая справедливость Корнелю, Кондильяка замѣнитъ эклектизмомъ, безбожіе энциклопедистовъ

*) «Русскій Вѣстникъ» 1842 г. № 1, статья *Н. Полевого*. «Нѣсколько словъ о современной русской критикѣ».

уничтожитъ передъ свѣтомъ религіи, помиритъ романтизмъ и классицизмъ. Чтобы повернуть литературу на этотъ путь сліянія прежняго сухого классицизма и неистоваго романтизма [отъ котораго Полевой теперь отрекается], чтобы не позволить литературѣ одичать въ погонѣ за реализмомъ—нужна новая критика. Полевой обѣщаетъ ее въ своемъ журналѣ. „Эта критика, говоритъ онъ, не осудитъ безотчетно на позоръ прежнихъ условій искусства, но, дополняя ихъ новыми открытіями ума человѣческаго, возсоздастъ ихъ; не станетъ утверждать, что въ искусствѣ нѣтъ никакихъ условій и въ наукѣ существуетъ только слѣпой опытъ безъ теоріи; наконецъ, такая критика пойметъ вполнѣ слово „народность“ въ умѣ и наукѣ, сознавая, что при эклектизмѣ человѣчества каждый народъ долженъ жить своею самобытностью, хотя и не осуждая на безсмысліе и смерть всѣ другіе народы“.

Своимъ судомъ надъ сочиненіями Гоголя Полевой и попытался оправдать эту „новую“ критику. Онъ любилъ Гоголя за его раннія произведенія, въ которыхъ реализмъ былъ такъ скрашенъ романтизмомъ, и онъ не терпѣлъ Гоголя за его послѣднія созданія, за его комедіи и „Мертвыя Души“, въ которыхъ видѣлъ торжество именно той дикости и той страстности, которая заставляла его жалѣть о погибшемъ классицизмѣ, нѣкогда имъ столь нелюбимомъ. Слѣдуя новой теоріи изящнаго, онъ въ первыхъ же номерахъ своего журнала забросалъ Гоголя неучтивыми упреками и обвиненіями. Онъ утверждалъ, что вся сила Гоголя въ одномъ малороссійскомъ жартѣ. Захваленный и вознесенный своими поклонниками, писалъ критикъ, Гоголь превратно смотритъ на свое назначеніе. Все, что составляетъ прелесть его творчества, теперь исчезаетъ, все, что губитъ ихъ—постепенно усиливается. „Мертвыя Души“ бѣдны содержаніемъ, онѣ простое повтореніе „Ревизора“, грубая карикатура, которая перешла за предѣлъ изящнаго. И гдѣ въ ней прежнее добродушное жартованіе? Ужъ если писа-

тель хочетъ дать намъ человѣка, то пусть онъ не показываетъ одну лишь его грязную сторону, а „Мертвыя Души“— это неопрятная гостинница — клевета на Россію. Сколько грязи въ этой поэмѣ! И приходится согласиться, что Гоголь родственникъ Поль-де-Кока. Онъ въ близкомъ родствѣ и съ Диккенсомъ, но Диккенсу можно простить его грязь и уродливость за свѣтлыя черты, а ихъ не найти у Гоголя. И авторъ могъ думать, что „Мертвыя Души“—нравственное поученіе?! Неужели въ каждомъ русскомъ можно видѣть зародыши Хлестакова и Чичикова? *).

Такія слова въ устахъ Полевого были одновременно, и огульнымъ осужденіемъ Гоголя, и уступкой ему. Закоренѣлый романтикъ бранилъ бездоказательно нашего реалиста, не понимая его, и вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, подъ впечатлѣніемъ сочиненій Гоголя, сталъ догадываться, что романтизмъ въ литературѣ свое дѣло проигрываетъ и что если реализмъ Гоголя и очень вреденъ, то для борьбы съ нимъ нужно нѣчто иное, чѣмъ то, что онъ — Полевой — до сего времени считалъ въ искусствѣ правдивымъ и художественнымъ.

Если критика Полевого въ вопросѣ о литературной и общественной стоимости сочиненій Гоголя ровно никакой цѣны не имѣетъ, то и она—какъ видимъ—косвенно свидѣтельствуетъ о постепенно возраставшемъ его успѣхѣ.

Отзывы другихъ авторитетныхъ критиковъ были всѣ хвалебные и восторженные.

Переходя къ разсмотрѣнію этихъ хвалебныхъ рецензій— единодушныхъ, несмотря на разницу направленій тѣхъ журналовъ, въ которыхъ они были напечатаны — мы должны отмѣтить, прежде всего, ихъ неполноту. Судьи всѣ въ восторгѣ; они поражены новизной явленія, поражены богатствомъ картинъ, типовъ и положеній, но никто изъ нихъ не рѣшается высказаться по существу и съ достаточной

*) «Русскій Вѣстникъ» 1842 г. № V и VI, 33—57.

полнотой опредѣлить все значеніе „Мертвыхъ Душъ“ для русской жизни, хотя каждый изъ нихъ и торопится сказать, что эта поэма въ общественномъ смыслѣ явленіе очень знаменательное. Очевидно, что на всѣхъ критиковъ „Мертвыя Души“ произвели настолько сильное впечатлѣніе, что судьи не могли въ немъ сразу разобраться; и Гоголь былъ правъ, когда жаловался на читателя, который не откликнулся на его слова такъ откровенно и полно, какъ бы ему этого хотѣлось. Гоголя не удовлетворяли похвалы, онъ хотѣлъ критики, т.-е. всесторонней оцѣнки, и, главнымъ образомъ, не эстетической, а нравственной. Вмѣсто нея ему пришлось прочитать лишь восторженныя привѣтствія, искреннія, но слишкомъ общаго характера. „Другой мѣсяцъ или читаемъ васъ, или говоримъ о васъ, — писалъ Гоголю въ іюлѣ 1842 года старѣйшій членъ славянофильскаго московскаго кружка, С. Т. Аксаковъ. Никому не повѣрю, чтобы нашелся человѣкъ, который могъ бы съ перваго раза вполнѣ понять ваши безсмертныя „Мертвыя Души“. Это міръ Божій. Можно ли однимъ взглядомъ его разсмотрѣть? Какое надобно вниманіе и разумѣнье, чтобы открыть въ немъ совершенство творчества въ малѣйшихъ подробностяхъ, повидимому и не стоющихъ большого вниманія?.. Я прочелъ „Мертвыя Души“ два раза про себя и третій разъ вслухъ для всего моего семейства; надобно нѣкоторымъ образомъ остыть, чтобъ не пропустить красотъ творенія, естественно ускользающихъ отъ пылающей головы и сильно бьющагося сердца“ *).

Аксаковъ сказалъ правду: все, что было написано о „Мертвыхъ Душахъ“ непосредственно послѣ ихъ выхода въ свѣтъ, грѣшило недосказанностью и неполнотой сужденія...

Въ „Москвитянинѣ“ поэму Гоголя довольно подробно разобралъ Шевыревъ.

Его статья — лучшая изъ всѣхъ его критическихъ статей — не лишена достоинствъ. Значеніе Гоголя, какъ ре-

*) *С. Т. Аксаковъ.* «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ» 69, 70.

алиста-художника, было въ ней понято и выяснено вѣрно. Но въ ней была одна задняя мысль, которая помѣшала критику подробно остановиться на оцѣнкѣ того, что авторъ далъ въ первой части „Мертвыхъ Душъ“ и торопила его говорить о томъ, что онъ намѣревался сказать въ будущемъ. Шевыревъ былъ друженъ съ Гоголемъ и зналъ, чѣмъ долженъ былъ закончиться разсказъ о похожденіяхъ Чичикова. Какъ руссофилъ и какъ критикъ, заявившій въ первыхъ же книжкахъ *) своего журнала открыто и вызывающе о своемъ патріотическомъ образѣ мыслей, Шевыревъ не сказалъ всего, что можно было сказать о тѣневой сторонѣ нашей дѣйствительности, и спѣшилъ утѣшить читателя обѣщаніями, что въ слѣдующихъ частяхъ поэмы Гоголя возсіяетъ вся красота и добродѣтель той русской жизни, о которой на первыхъ порахъ такъ много дурного сказалъ художникъ. „Всѣ мы,—писалъ Шевыревъ въ одной изъ своихъ критическихъ статей, которая предшествовала его разбору „Мертвыхъ Душъ“,—всѣ мы, дѣйствующіе мыслью и словомъ на образованіе народное, по разнымъ вѣтвямъ поэзіи, словесности, науки, какъ бы ни раздѣлялись мнѣніями, должны помнить, что у всѣхъ насъ одна задача: выразить мысль всеобъемлющую, всемірную, всечеловѣческую, христіанскую въ самомъ русскомъ словѣ“ **). Шевыревъ считалъ Гоголя художникомъ, призваннымъ выполнить именно эту задачу,—но, конечно, въ будущемъ.

Если въ первомъ томѣ своей поэмы, говорилъ Шевыревъ, комическій юморъ Гоголя возобладалъ, и мы видимъ русскую жизнь и русскаго человѣка по большей части отрицательною ихъ стороной, то отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы фантазія Гоголя не могла вознестись до полнаго объема всѣхъ сторонъ русской жизни. Онъ самъ обѣщалъ

*) «Москвитянинъ» 1842 г. № 1, статья *Шевырева*. «Взглядъ на современное направленіе русской литературы».

**) «Москвитянинъ» 1842 г. № 3, статья *Шевырева*. «Взглядъ на современную литературу».

намъ далѣе представить все несмѣтное богатство русскаго духа, и мы увѣрены заранѣе, что онъ славно сдержитъ свое слово. Къ тому же въ этой части, гдѣ самое содержаніе, герои и предметъ дѣйствія увлекали его въ хохотъ и иронію, онъ чувствовалъ необходимость восполнить недостатокъ другой половины жизни, и потому въ частыхъ отступленіяхъ, въ яркихъ замѣткахъ, брошенныхъ эпизодически, далъ намъ предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую современемъ раскроетъ во всей полнотѣ ея... Мы думаемъ также, что поэтъ способенъ дать своей фантазіи полетъ самый свободный и обширный, котораго достало бы на обхватъ всей жизни, и предполагаемъ, что, развиваясь далѣе, его фантазія будетъ богатѣть полнотою и обниметъ жизнь не только Руси, но и другихъ народовъ,—возможность къ чему мы уже видѣли ясно въ его „Римѣ“.

Вдохновленный лиризмомъ Гоголя, Шевыревъ такъ говорилъ о томъ, что ожидаетъ читателя въ будущемъ: „Взгляните на вѣтеръ передъ началомъ бури, — писалъ онъ. Легко и низко проносится онъ сперва, взметаетъ пыль и всякую дрянь съ земли; перья, листья, лоскутки летятъ вверхъ и вьются; и скоро весь воздухъ наполняется его своенравнымъ круженіемъ... Легокъ и незначителенъ кажется онъ сначала, но въ этомъ вихрѣ скрываются слезы природы и страшная буря. Таковъ точно и комическій юморъ Гоголя... Но вотъ налетѣли тучи... Сверкнула молнія... Громъ раскатился по небу... Дождь хлынулъ потоками. Земля и небо смѣшались вмѣстѣ... Не такова ли будетъ вторая часть его поэмы, въ которой обѣщаетъ онъ намъ *лирическое теченіе*, горизонтъ *раздающійся* и *величавый громъ другихъ рѣчей?*» *).

Въ ожиданіи этой бури и этого грома Шевыревъ нѣ-

*) «Москвитянинъ» 1842 г. № VIII, статья *Шевырева*. «Похожденія Чичикова» 369, 370, 372, 356.

сколько небрежно взглянулъ на ту „пыль“ и на ту „дрянь“, которую съ земли подняли слова Гоголя.

Самое цѣнное въ статьѣ Шевырева,—это указаніе на торжество реализма въ нашемъ искусствѣ и на непосредственную связь сочиненій Гоголя съ тѣмъ, что мы вокругъ насъ видимъ. Если Шевыревъ недостаточно выяснилъ какъ велика была цѣна такихъ реальныхъ типовъ для нашей тогдашней жизни, то онъ все-таки понялъ, насколько они жизненны, и ему было ясно, что въ нихъ кроется глубокій смыслъ. „Давно уже поэтическія явленія не производили у насъ движенія столь сильнаго, какое произвели „Мертвыя Души“, говорилъ онъ,—и причину этого движенія онъ правильно усматривалъ въ необычайной близости того, что говорилъ художникъ, съ тѣмъ, что насъ окружало. Чичиковъ былъ для него истиннымъ героемъ нашего меркантильнаго прозаическаго времени. „Будьте же благодарны поэту за то, что онъ силою своего могучаго воображенія вызвалъ вамъ изъ какого-то отдаленнаго захолустья нашей отчизны такихъ земляковъ, такихъ странныхъ собратій вашихъ, о существованіи которыхъ если вы и имѣли кой-какія подозрѣнія, то позабыли вовсе въ своихъ великолѣпныхъ суетахъ и заботахъ,—говорилъ критикъ. Повсюду важна связь искусства съ жизнью, но особенно важна она у насъ, какъ народа практическаго, не способнаго къ отвлеченностямъ. Только то произведеніе тронетъ у насъ за живое и возбудитъ участіе всѣхъ, въ которомъ существенная основа тѣсно связана съ корнемъ нашей жизни, въ хорошую ли, въ дурную ли ея сторону. Пора уже намъ отъ блестящей жизни внѣшней, которая насъ слишкомъ увлекаетъ, возвращаться къ внутреннему бытію, къ дѣйствительности собственно русской, какъ бы ни казалась она ничтожна и отвратительна намъ, увлекаемымъ незаслуженною гордостью чужого просвѣщенія, и потому каждое значительное произведеніе русской словесности, напоминающее намъ о тяжелой существенности нашего внутренняго быта, откры-

вающее тѣ захолустья, которыя лежатъ около насъ, а намъ кажутся за горами потому только, что мы на нихъ не смотримъ, каждое такое произведеніе, заглядывающее вглубь нашей жизни, кромѣ своего достоинства художественнаго, можетъ по всѣмъ правамъ имѣть достоинство и благороднаго подвига на пользу отечества. Въ пышномъ вѣкѣ Екатерины Фонвизинъ раскрылъ одну изъ глубокихъ ранъ тогдашней Россіи въ семейномъ быту и воспитаніи. Въ наше время тотъ же подвигъ совершенъ былъ Гоголемъ въ „Ревизорѣ“, и совершается теперь въ другой разъ въ „Мертвыхъ Душахъ“.

Какъ видимъ, мысли совершенно вѣрныя; и если бы Шевыревъ, вмѣсто того, чтобы въ патріотическомъ восторгѣ предвкушать будущее и тратить свои силы на не всегда вѣрное истолкованіе эстетической стороны творчества Гоголя, развилъ эту мысль о значеніи словъ Гоголя для нашего самосознанія, то его критическая статья была бы одною изъ лучшихъ.

Большую статью о „Мертвыхъ Душахъ“ напечаталъ въ „Современникѣ“ и другой пріятель Гоголя П. А. Плетневъ*). Статья была умная, но мало оригинальная, такъ какъ она утверждала то, съ чѣмъ почти всѣ болѣе или менѣе серьезные читатели были согласны. На вопросъ о значеніи творчества Гоголя не для искусства, а для жизни, статья Плетнева давала также отвѣтъ не полный. Плетневъ говорилъ, что въ настоящее время Гоголь нашъ первый писатель по таланту, что онъ весь проникнутъ жизнью; вышедши изъ своего уединенія мысли на поприще явленій жизни, онъ обязанность созерцателя перемѣнилъ на ощущеніе дѣйствующихъ; онъ возвелъ характеръ искусства въ поразительное явленіе самой жизни. Онъ весь проникнутъ сферою движущагося около него общества, дѣлитъ его образъ мыслей, говоритъ его языкомъ, признаетъ за истину всякую, самую

*) «Современникъ» XXVII; статья *П. А. Плетнева* «Чичиковъ или Мертвыя Души Гоголя».

ложную его идею—и такимъ образомъ ничто васъ не тревожитъ въ очарованіи созданной имъ дѣйствительности. Отсутствіе усилія, естественное положеніе всѣхъ лицъ и между тѣмъ всеобщая жизнь и постоянное дѣйствіе комической красоты—вотъ что изумляетъ въ авторѣ, повидимому, безпечномъ и все предоставившемъ самой природѣ... Его проницательный, вѣрный взглядъ возводитъ въ эстетическую сферу такія обстоятельства, изъ которыхъ обыкновенный писатель не извлекъ бы ничего, кромѣ натянутыхъ остротъ и скучныхъ шуточекъ... Мы живемъ въ эпоху—продолжалъ Плетневъ—въ которую отъ каждаго художника критика требуетъ ближайшаго, ясно высказавшагося соотношенія между жизнью и произведеніемъ искусства. Поэма Гоголя можетъ служить образцомъ такого соотношенія. Я могъ бы указать на каждый изъ выведенныхъ имъ характеровъ, какъ они окружаютъ читателя явленіями русской жизни"...

На эти явленія русской жизни критикъ обратилъ, однако, мало вниманія и смыслъ всей поэмы онъ увидалъ въ „великой идеѣ о жизни человѣка, увлекаемаго жалкими страстями". Основный замыселъ Гоголя сводился, дѣйствительно, къ исторіи возрожденія „жалкой" души, но вѣдь не въ этой интимной исторіи Чичикова заключался общественный смыслъ гоголевской поэмы. „Въ нашихъ русскихъ разговорахъ, мысляхъ и поступкахъ, говорилъ критикъ далѣе, есть особенности національныя, но въ нихъ нѣтъ того, что придало бы имъ цѣнность общую и приводило бы ихъ въ соприкосновеніе съ интересами другихъ народовъ. Самыя поразительныя мѣста поэмы Гоголя, отъ которыхъ приходишь въ восхищеніе, не выносятъ души на тотъ горизонтъ, откуда она обозрѣваетъ подобныя явленія у иностранныхъ писателей. Во всемъ чувствуешь мелочность и ограниченность. Для иностранца, который не въ состояніи трепетать отъ художническаго мастерства Гоголя, вся прелесть исчезаетъ за недостаткомъ жизни болѣе цѣнной и болѣе общепонят-

ной. Въ этомъ, конечно, Гоголь не виноватъ. Онъ возвратилъ обществу то, что оно могло ему дать само, да и притомъ у всѣхъ самыхъ великихъ писателей русскихъ степень развитія интересовъ всегда была ниже, нежели у писателей другихъ народовъ". Но Плетневъ такъ довѣрялъ силѣ таланта Гоголя, что просилъ читателя подождать, когда его поэма будетъ закончена. Кто знаетъ, думалъ онъ, хотя и не высказалъ этого,—кто знаетъ, можетъ быть въ послѣдующихъ частяхъ «Мертвыхъ Душъ" и будетъ одержана эта великая побѣда, и русскій романъ будетъ полонъ „общественнаго интереса" для читателя западнаго?

Въ этой тайной мысли Плетневъ сошелся съ открытымъ пророчествомъ Шевырева, но разошелся совершенно съ другимъ, въ то время уже очень авторитетнымъ критикомъ—съ Бѣлинскимъ.

Отъ Бѣлинскаго мы могли бы ожидать наиболѣе вѣскаго и исчерпывающаго слова о новомъ произведеніи Гоголя. Бѣлинскій былъ первымъ и самымъ смѣлымъ защитникомъ нашего писателя, когда этотъ писатель только начиналъ свою дѣятельность. Если кто помогъ читателю понять автора „Миргорода" и „Ревизора", то это былъ критикъ „Телескопа" и „Молвы", и затѣмъ „Отечественныхъ Записокъ". Ему по праву принадлежалъ рѣшающій голосъ и теперь, когда Гоголь сказалъ свое самое задушевное и серьезное слово.

Бѣлинскій откликнулся, но далеко не такъ, какъ этого могъ ожидать отъ него читатель. Поразила ли Бѣлинскаго глубина затронутыхъ Гоголемъ вопросовъ настолько, что онъ не сразу собралъ всѣ свои мысли, или по цензурнымъ условіямъ онъ не могъ эти мысли вполнѣ ясно выразить—только свое сужденіе о Гоголѣ, какъ объ авторѣ „Мертвыхъ Душъ", Бѣлинскій отсрочилъ. Въ мелкихъ статьяхъ и рецензіяхъ, въ которыхъ ему приходилось говорить о Гоголѣ, онъ давалъ обѣщаніе, что въ ближайшемъ будущемъ онъ подробно, въ цѣломъ рядѣ статей, изложитъ

свое сужденіе о всѣхъ сочиненіяхъ Гоголя по порядку. Своего обѣщанія Бѣлинскій, однако, не исполнилъ и мнѣній своихъ о Гоголѣ не свелъ воедино. Они остались разсѣянными въ разныхъ его статьяхъ, преимущественно въ его „Обзорахъ“ и уже послѣ его смерти были сгруппированы Чернышевскимъ въ „Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы“ [1855—1856 г.]. По всѣмъ вѣроятіямъ Бѣлинскому помѣшалъ окончательно высказаться самъ Гоголь, который обѣщалъ продолженіе „Мертвыхъ Душъ“ и взамѣнъ ихъ неожиданно издалъ свои „Избранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“.

Но при всей ихъ неполнотѣ и случайности сужденія Бѣлинскаго, высказанныя имъ тотчасъ послѣ выхода въ свѣтъ „Мертвыхъ Душъ“ — очень яркое свидѣтельство о силѣ впечатлѣнія, произведеннаго этой картиной на одного изъ умнѣйшихъ и самыхъ чуткихъ читателей.

Въ первой своей краткой замѣткѣ о поэмѣ Гоголя *) Бѣлинскій прежде всего радуется успѣху Гоголя и торжествуетъ свою побѣду. Онъ первый предсказалъ блестящее развитіе этого таланта, который въ послѣднемъ своемъ произведеніи посрамилъ всѣхъ своихъ хулителей. Теперь, послѣ появленія „Мертвыхъ Душъ“, много найдется литературныхъ Колумбовъ, которымъ легко будетъ открыть новый великій талантъ, новаго великаго писателя русскаго—Гоголя... „Мертвыя Души—твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ таинника народной жизни, столько же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервистою, кровной любовью къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта и въ то же время глубокое по мысли, соціальное, общественное и историческое.

*) «Отечественныя Записки» 1842 г., XXIII, № 7.

Бѣлинскій былъ въ такомъ восторгѣ отъ „Мертвыхъ Душъ“, что съ одинаковой похвалой отнесся и къ способности автора объективно изображать дѣйствительность, и къ его собственной „субъективности“, т.-е. ко всѣмъ романтическимъ порывамъ его души. Онъ привѣтствовалъ художника, у котораго такое горячее сердце, такая симпатичная душа и „духовно-личная самобытность“. „Она заставляетъ его проводить черезъ свою душу живу явленія внѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живу“. „Мертвыя Души“, — говорилъ критикъ, не раскрываются вполнѣ съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда не виданное произведеніе. „Мертвыя Души“ требуютъ изученія“.

Какъ рѣдко при первомъ чтеніи можно получить вѣрное понятіе о великомъ произведеніи, это доказалъ самъ Бѣлинскій въ своемъ отзывѣ. „Мы не видимъ въ поэмѣ Гоголя ничего шуточнаго и смѣшного,—писалъ онъ;—ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія смѣшить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ обѣщаетъ еще двѣ такія же большія книги, въ которыхъ мы снова встрѣтимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны... Нельзя ошибочнѣе смотрѣть на „Мертвыя Души“ и грубѣе понимать ихъ, какъ видя въ нихъ сатиру...“ и Бѣлинскій выписываетъ въ своей рецензіи всѣ знаменитыя „лирическія“ мѣста поэмы, не исключая и ультранатріотической картины несущейся во весь духъ тройки. „Грустно думать,—заканчиваетъ онъ свою выписку,—что этотъ высокій лирическій паѳосъ, эти гремящіе, поющіе дифирамбы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія [?], достойные великаго русскаго поэта, будутъ далеко не для всѣхъ доступны, что добродушное невѣжество отъ души станетъ хохотать отъ того, отъ чего у другого волосы встанутъ на головѣ при священномъ трепетѣ...“ Какъ

бы въ смягченіе этихъ восторженныхъ словъ, а на самомъ дѣлѣ въ полное противорѣчіе съ ними [объяснимое только неопредѣленностью перваго сильнаго впечатлѣнія], Бѣлинскій въ той же рецензіи упрекнулъ Гоголя въ излишествѣ „непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства, мѣстами слишкомъ юношески увлекающагося", которое сказалось на нѣкоторыхъ, къ несчастью рѣзкихъ, мѣстахъ, „гдѣ авторъ слишкомъ легко судитъ о національности чужихъ племенъ и не слишкомъ скромно предается мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними".

Таковы были первыя слова, какими Бѣлинскій встрѣтилъ „Мертвыя Души". Все, что въ нихъ было сказано о художественныхъ пріемахъ Гоголя, объ историческомъ и общественномъ значеніи его вымысла, критикъ, повторялъ затѣмъ неоднократно въ своихъ статьяхъ, такъ же кратко, сжато и безъ подробнаго развитія своей мысли, которую онъ надѣялся обставить доказательствами въ задуманной имъ, но не написанной, большой статьѣ о Гоголѣ. Что же касается взглядовъ на „субъективность" Гоголя, на его лирическій пафосъ и на „гремящіе дифирамбы", то Бѣлинскій очень скоро взялъ всѣ свои слова назадъ, и весьма рѣшительно. На измѣненіе образа его мыслей повліяло отчасти болѣе спокойное отношеніе къ произведенію, которое его сразу такъ плѣнило, отчасти выходъ въ свѣтъ одной славянофильской брошюры, до небесъ восхвалявшей Гоголя.

Эта брошюра *) принадлежала перу Константина Аксакова, великаго и страстнаго поклонника Гоголя. У Бѣлинскаго и К. Аксакова его стараго друга, съ которымъ онъ въ это время уже разошелся, завязалась по поводу этой статейки длинная и рѣзкая полемика,—главнымъ образомъ потому, что Бѣлинскій въ своемъ спорѣ съ К. Аксаковымъ имѣлъ въ виду не столько Гоголя, сколько московскихъ славянофиловъ, на которыхъ начиналъ тогда сердиться.

*) *К. Аксаковъ.* «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя Похожденія Чичикова или «Мертвыя Души». Москва. 1842.

Аксаковъ пришелъ отъ поэмы Гоголя въ неописанный восторгъ. „Явленіе ея такъ важно,—говорилъ онъ,—такъ глубоко и вмѣстѣ такъ ново-неожиданно, что она не можетъ быть доступною съ перваго раза". Самъ онъ, однако, взялся судить о ней подъ первымъ чарующимъ впечатлѣніемъ. Аксаковъ увидалъ въ „Мертвыхъ Душахъ" новое откровеніе искусства, оправданіе цѣлой сферы поэзіи, сферы давно унижаемой: ему показалось, что въ „Мертвыхъ Душахъ" передъ нами возсталъ древній эпосъ. Гоголь напомнилъ ему Гомера, а его поэма—Иліаду.

„Созерцаніе Гоголя, говорилъ Аксаковъ, древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; изъ-подъ его творческой руки возстаетъ, наконецъ, древній, истинный эпосъ, надолго оставлявшій міръ, эпосъ самобытный, полный вѣчно свѣжей, спокойной жизни, безъ всякаго излишества. Чудное, чудное явленіе!"

Исчезновеніе этого эпоса, продолжалъ Аксаковъ, очень чувствовалось въ европейской литературѣ. Вмѣсто возвышенныхъ эпическихъ сюжетовъ уже издавна выдвигались происшествія мелкія и мелѣющія съ каждымъ шагомъ, и, наконецъ, весь интересъ устремился на анекдотъ, который становился хитрѣе, замысловатѣе, занималъ любопытство, замѣнившее эстетическое наслажденіе, и эпосъ снизошелъ до романовъ и, наконецъ, до крайней степени своего униженія—до французской повѣсти. Гоголь актомъ своего творчества показалъ намъ, что это сокровище искусства—старинный эпосъ—не погибъ безвозвратно. Онъ явился теперь передъ нами съ новымъ содержаніемъ, съ содержаніемъ русскимъ. Какой же міръ объемлетъ собою поэма Гоголя? Хотя это только первая часть,—отвѣчалъ Аксаковъ,—хотя это еще начало рѣки, дальнѣйшее теченіе которой Богъ знаетъ куда приведетъ насъ и какія явленія представитъ, но мы, по крайней мѣрѣ, можемъ имѣть даже право думать, что въ этой поэмѣ обхватывается широко Русь; и уже не тайна ли русской жизни лежитъ заключенная въ ней? не

выговорится ли она здѣсь художественно? И Аксаковъ вѣрилъ, что она выговорится, и залогомъ этого считалъ все ту же картину несущейся тройки, рисуя которую Гоголь коснулся общаго „субстанціальнаго чувства русскаго, и вся сущность [субстанція] русскаго народа, тронутая имъ, поднялась колоссально, сохраняя свою связь съ образомъ, ее возбудившимъ“. — „Здѣсь,—восклицалъ Аксаковъ, — проникаетъ наружу и видится Русь, лежащая, думаемъ мы, тайнымъ содержаніемъ всей поэмы Гоголя“.

А Гоголь вполнѣ можетъ оправдать такую смѣлую надежду. „Въ самомъ дѣлѣ,—спрашивалъ Аксаковъ,—у кого встрѣтимъ мы такую полноту, такую конкретность созданія? У немногихъ; только у Гомера и Шекспира встрѣчаемъ мы то же; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ этою тайной искусства. Гоголь не сдѣлалъ того теперь [кто знаетъ, что будетъ впередъ?], что сдѣлали Гомеръ и Шекспиръ, и потому, въ отношеніи къ объему творческой дѣятельности, къ содержанію ея, мы не говоримъ, что Гоголь то же самое, что Гомеръ и Шекспиръ; но въ отношеніи къ *акту творчества*, въ отношеніи къ полнотѣ созданія—Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставимъ мы рядомъ съ Гоголемъ. Мы далеки отъ того, чтобы унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту созданія они ниже Гоголя“...

Статья Аксакова, какъ видимъ, имѣла одно безспорное достоинство: она была до дерзости оригинальна; все остальное въ ней было сомнительнаго достоинства. Языкъ былъ тяжелый, напоминавшій трудныя страницы нѣмецкихъ эстетикъ, основная мысль была невѣрна, такъ какъ по „акту творчества“ эпически спокойный разсказъ Гомера едва ли могъ быть сравниваемъ съ разсказомъ Гоголя, мѣстами возвышенно лирическимъ и насквозь пропитаннымъ ироніей, которая въ древнемъ эпосѣ совершенно отсутствовала. Наконецъ, возведеніе Гоголя въ Гомеры и Шекспиры со старшинствомъ передъ всѣми другими писателями міра могло

быть оправдано только лишь патріотизмомъ Аксакова, патріотизмомъ почти слѣпымъ, который не желалъ замѣчать чужого богатства *).

Статья произвела сенсацію и скорѣе навредила Гоголю, чѣмъ превознесла его: она дала обильную пищу для шутокъ: недоброжелатели Гоголя могли лишній разъ прокричать о томъ, какъ друзья захваливаютъ своего кумира, какъ они искусственно муссируютъ его славу. И не только недоброжелатели, но даже и расположенныя къ Гоголю лица должны были быть непріятно поражены этимъ славословіемъ. „Описанія къ поэмѣ Гоголя живы, комическія черты мастерски схвачены, характеры обрисованы чрезвычайно удачно,—писалъ о „Мертвыхъ Душахъ“ критикъ „Сына Отечества“. Гоголь—талантъ необыкновенный, но его захвалили, и онъ, упоенный похвалами, теперь не видитъ уже своихъ недостатковъ. Онъ переходитъ границу вкуса, краски его бываютъ грязны, слогъ небреженъ, онъ слишкомъ много говоритъ о себѣ и своей поэмѣ“, но какъ же ему и не говорить, если его провозглашаютъ Гомеромъ? „А вѣдь всѣ послѣдователи покойнаго, туманной памяти нѣмецкаго философа Гегеля, „всѣ гегелисты“ непремѣнно и „гоголисты“ **).

Статья Аксакова очень разсердила и Бѣлинскаго, который посвятилъ ей нѣсколько страницъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ ***). Не называя автора по имени, Бѣлинскій наговорилъ ему колкостей, впрочемъ, на первый разъ довольно безобидныхъ. Онъ иронически отнесся къ сближенію Гоголя и Гомера, нѣсколько преувеличивъ это сопоставленіе сравнительно съ тѣмъ, какъ оно было высказано у Аксакова. А главное—полемизируя не столько съ истолкователемъ Гоголя, сколько съ московскимъ патріотомъ,

*) Основная мысль статьи легко могла быть подсказана Аксакову самимъ Гоголемъ, который, если и не производилъ себя въ Гомеры, то мечталъ о «поэмѣ», въ которой вся русская жизнь должна была найти свое отраженіе.

**) «Сынъ Отечества» 1842, III, № 6, стр. 1—30, статья *К. Масальскаго*.

***) «Отечественныя Записки», 1842, XXIII, № 8.

онъ заступился—и совершенно правильно—за честь униженныхъ западныхъ геніевъ. „Мѣриломъ при сравненіи одного поэта съ другимъ должно быть содержаніе,—писалъ Бѣлинскій. Только содержаніе дѣлаетъ поэта міровымъ—высшая точка, зенитъ поэтической славы. Міровой поэтъ не можетъ не быть великимъ поэтомъ; но великій поэтъ еще можетъ и не быть міровымъ поэтомъ. Гдѣ, укажите намъ, гдѣ вѣетъ, въ созданіяхъ Гоголя, этотъ всемірно-историческій духъ, это равно общее для всѣхъ народовъ и вѣковъ содержаніе? Скажите намъ, что бы сталось съ любымъ созданіемъ Гоголя, еслибъ оно было переведено на французскій, нѣмецкій или англійскій языкъ? Гдѣ же права Гоголя стоять на ряду съ Гомеромъ и Шекспиромъ? Знаете ли, что мы сказали бы на ушко всѣмъ умозрителямъ: когда развернешь Гомера, Шекспира, Байрона, Гете или Шиллера, такъ дѣлается какъ-то неловко при воспоминаніи о нашихъ Гомерахъ, Шекспирахъ, Байронахъ, и проч... И однакожъ мы сами считаемъ Гоголя великимъ поэтомъ, а его „Мертвыя Души“—великимъ произведеніемъ. Но Гоголь—великій русскій поэтъ, не болѣе; „Мертвыя Души“ его—тоже только для Россіи и въ Россіи могутъ имѣть безконечно великое значеніе.

„Было время, когда на Руси никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ русскій умъ, русскій языкъ могли на что-нибудь годиться: теперь настало другое время, когда намъ уже ни почемъ и Гомеры, и Шекспиры и Байроны, потому что мы успѣли уже позавестись своими—или чужихъ становимъ въ шеренги, словно солдатъ, заставляемъ маршировать и справа, и слѣва, и взадъ, и впередъ, благо бѣдняжки молчатъ и повинуются нашему гусиному перу и тряпичной бумагѣ...

„Юность не хочетъ и знать этого. Чуть взбредетъ ей въ голову какая-нибудь недоконченная мечта — тотчасъ ее на бумагу, съ тѣмъ наивнымъ убѣжденіемъ, что эта мечта—аксіома, что міру открыта великая истина, которой не хотятъ признать только невѣжды и завистники“.

Аксаковъ обидѣлся этими словами и отвѣчалъ Бѣлин-

скому въ „Москвитянинѣ“ *). Ничего новаго не сказалъ онъ въ этомъ отвѣтѣ, повторилъ всѣ свои положенія, упрекнулъ Бѣлинскаго въ умышленномъ искаженіи его словъ и мимоходомъ сказалъ ему также нѣсколько колкостей. Бѣлинскій въ долгу не остался и на вторую статью Аксакова отвѣтилъ довольно длинной филиппикой **). И въ этой второй своей статьѣ онъ также имѣлъ въ виду не столько Гоголя, сколько Аксакова и его разбушевавшійся патріотизмъ.

Оставляя въ сторонѣ этотъ споръ западника и славянофила, — споръ, который не стоитъ въ прямой связи съ интересующимъ насъ вопросомъ, отмѣтимъ тѣ важныя поправки, которыя Бѣлинскій внесъ въ свою оцѣнку творчества Гоголя. Онѣ касаются его взгляда на дальнѣйшую судьбу поэмы и на тотъ патріотическій пафосъ, который критику сначала такъ понравился. Бѣлинскій имѣлъ теперь время освободиться отъ перваго чарующаго впечатлѣнія и задуматься надъ очень серьезнымъ вопросомъ: а не повредитъ ли этотъ патріотическій пафосъ правдивому изображенію русской жизни? и не осилитъ ли въ Гоголѣ романтикъ-патріотъ художника-бытописателя?

„Кто знаетъ, какъ раскроется содержаніе „Мертвыхъ Душъ?“ спрашивалъ въ своей статьѣ Аксаковъ. Именно такъ: „кто знаетъ это?“ повторяемъ и мы,—отвѣчалъ Бѣлинскій.—Глубоко уважая великій талантъ Гоголя, страстно любя его геніальныя созданія, мы въ то же время отвѣчаемъ и ручаемся только за то, что уже написано имъ; а насчетъ того, что онъ еще напишетъ, мы можемъ сказать только: кто знаетъ? Много, слишкомъ много обѣщано [Гоголемъ въ лирическихъ страницахъ, которыя онъ вставилъ въ свою поэму], обѣщано такъ много, что негдѣ и взять того, чѣмъ выполнить обѣщаніе, потому что того и нѣтъ еще на свѣтѣ;

*) «Москвитянинъ», 1842; V. № 9, стр. 220—229.

**) «Отечественныя Записки», 1842, XXV, № 11, статья «Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души».

намъ какъ-то страшно, чтобъ первая часть, въ которой все комическое, не осталась истинною трагедіею, а остальныя двѣ, гдѣ должны проступить трагическіе элементы, не сдѣлались комическими, по крайней мѣрѣ, въ патетическихъ мѣстахъ... Намъ обѣщаютъ мужей и дѣвъ неслыханныхъ, какихъ еще не было въ мірѣ и въ сравненіи съ которыми великіе нѣмецкіе люди [т.-е. западные европейцы] окажутся пустѣйшими людьми... Но мы именно въ томъ-то и видимъ великость и геніальность Гоголя, что онъ своимъ артистическимъ инстинктомъ вѣренъ дѣйствительности, и лучше хочетъ ограничиться, впрочемъ, великою задачею—объективировать современную дѣйствительность, внеся свѣтъ въ мракъ ея, чѣмъ воспѣвать на досугѣ то, до чего никому, кромѣ художниковъ и диллетантовъ, нѣтъ никакого дѣла, или изображать русскую дѣйствительность такою, какой она никогда не бывала...“

Великая правда заключалась въ этихъ словахъ Бѣлинскаго: онъ предугадалъ всю душевную трагедію Гоголя. Со свойственной ему зоркостью критическаго взгляда, онъ предвидѣлъ то время, когда страсть къ обобщенію житейскихъ явленій заглушитъ въ Гоголѣ его умѣнье рисовать эти явленія безъ прикрасъ, когда желаніе философствовать о жизни затуманитъ ясность взгляда художника и потому понизитъ общественную стоимость его произведеній. И Бѣлинскій рѣшился предупредить Гоголя о грозящей ему опасности. „Главная сила Гоголя,—писалъ онъ,—заключается въ непосредственномъ творчествѣ, но эта сила, въ свою очередь, много вредитъ Гоголю. Она, такъ сказать, отводитъ ему глаза отъ идей и нравственныхъ вопросовъ, которыми кипитъ современность, и заставляетъ его преимущественно устремлять вниманіе на факты и довольствоваться объективнымъ ихъ изображеніемъ. Надо желать, чтобы преобладаніе рефлексіи постепенно усиливавалось въ немъ, хотя бы насчетъ акта творчества.

Слова Бѣлинскаго какъ будто противорѣчатъ тому, что

онъ сейчасъ говорилъ о пафосѣ поэта, но это противорѣчіе кажущееся. Бѣлинскій выражалъ лишь пожеланіе, чтобы Гоголь, не отступая отъ правды русской жизни, отнесся бы къ этой дѣйствительности съ большей „рефлексіей“, т.-е. болѣе критически, съ меньшей непосредственностью, съ болѣе сознательнымъ обличеніемъ. Понимая и чувствуя, что Гоголь вовсе не боевая натура, что онъ романтикъ, который мечту и желаемое способенъ всегда принять за дѣйствительное и настоящее, Бѣлинскій съ тревогою думалъ о томъ, что скажетъ теперь, послѣ первой части „Мертвыхъ Душъ“, его любимый писатель; и Бѣлинскій въ заключеніе своей статьи обратился къ русской критикѣ съ воззваніемъ, чтобы она помогла художнику выполнить его трудную задачу. „Истинная критика „Мертвыхъ Душъ“—говорилъ онъ—должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о тройкѣ,—нѣтъ ,истинная критика должна раскрыть пафосъ поэмы, который состоитъ *въ противорѣчіи общественныхъ формъ русской жизни съ ея глубокимъ субстанціальнымъ началомъ*, доселѣ еще таинственнымъ, доселѣ еще не открывшимся собственному сознанію и неуловимымъ ни для какого опредѣленія“, т.-е. истинная критика должна показать, какъ не совпадаютъ факты русской реальной жизни съ тѣми надеждами, которыя дозволительно питать, когда думаешь о многихъ хорошихъ сторонахъ русскаго ума и сердца.

Въ длинномъ рядѣ статей Бѣлинскій хотѣлъ намъ дать образецъ такой истинной критики,—но ограничился только намекомъ. Но этотъ намекъ среди всего, что тогда говорилось о Гоголѣ, былъ, пожалуй, самой цѣнной мыслью.

Къ числу лучшихъ статей, писанныхъ по поводу „Мертвыхъ Душъ“, должна быть отнесена и статья Н. М. „Голосъ изъ провинціи о поэмѣ Гоголя „Похожденія Чичикова или Мертвыя Души“, напечатанная въ тѣхъ же „Отечественныхъ Запискахъ“ *). Статья выдѣлялась серьезностью

*) «Отечественныя Записки» 1843 г. Т. XXVII. Отд. V, стр. 27—28.

своего взгляда одновременно и на художественную и общественную стоимость поэмы. Авторъ обнаруживалъ большую начитанность и тонкій эстетическій вкусъ. Ссылками на мысли объ эстетикѣ Платона, Аристотеля, Тассо, Горація, Цицерона, Квинтиліана, Лонгина, Лабрюэра, Бэйля, Шиллера, Жанъ-Поля, вплоть до Виктора Гюго пытался критикъ обосновать свое сужденіе о красотѣ и жизненности творчества Гоголя. Онъ разбиралъ поэму Гоголя, со стороны ея формы и содержанія, указывалъ на гармоническое ихъ сочетаніе въ „Мертвыхъ Душахъ“ и выносилъ полное оправданіе нашему писателю, какъ художнику, „произведеніе котораго не есть только вѣрная картина жизни, скопированная въ камеръ-обскуру, а представленіе жизни, какъ идеи въ возможности, настолько, сколько поэтъ проникнутъ ею, какъ идеей въ дѣйствительности“. Если такія философскія тонкости, въ которыя авторъ охотно въ своей статьѣ пускался, и были мало убѣдительны для большинства читателей, то иныя, не столь общія мысли, высказанныя въ той же статьѣ, были всѣмъ доступны, и читатель могъ не безъ пользы ознакомиться съ ними. Это были тѣ страницы, на которыхъ критикъ, оставляя въ сторонѣ вопросъ о художественномъ выполненіи поэмы, говорилъ объ ея значеніи для русской жизни. Онъ констатировалъ прежде всего, что въ далекой провинціи поэма Гоголя въ лучшемъ кругу читателей принята съ самымъ искреннимъ участіемъ. Какъ она понятна однимъ изъ лучшихъ читателей—это должна была показать сама статья.

„Поэзія — зеркало, отражающее жизнь, повторялъ критикъ вслѣдъ за Платономъ и Жанъ-Полемъ, и твореніе Гоголя, которое всесторонне касается русской жизни, требуетъ взаимнаго повсемѣстнаго къ себѣ участія. Гоголь оправдалъ слова Виктора Гюго, который говорилъ, что всякій истинный поэтъ, независимо отъ идей, имѣющихъ источникомъ собственную организацію, и идей, сообщаемыхъ ему вѣчной истиной, долженъ совмѣщать въ себѣ

сумму идей своего времени". „Точно ли сфера содержанія поэмы Гоголя есть современная наша дѣйствительность, прозрачно отраженная свѣтлымъ зеркаломъ поэзіи? спрашивалъ критикъ, и очень умѣло отвѣчалъ на этотъ вопросъ утвердительно, доказывая, что всѣ разговоры и крики непонимающихъ людей, не желающихъ видѣть въ словахъ Гоголя правды, считающихъ его карикатуристомъ, что всѣ эти хулы на бытописателя вытекаютъ изъ неспособности нашей замѣчать то, что стоитъ къ намъ слишкомъ близко, что *мы сами*. Критикъ смѣло указывалъ, какъ много среди насъ—Маниловыхъ, Собакевичей, Ноздревыхъ, Чичиковыхъ и Хлестаковыхъ: „Винить ли Гоголя за такую правду? говорить ли о недостаткѣ въ его душѣ патріотизма?—душѣ, которая излилась въ такихъ восторженныхъ пѣсняхъ во славу грядущей доблести и силы Россіи? Если правда то, что Гоголь писалъ въ лирическихъ отступленіяхъ своей поэмы, если, дѣйствительно, другимъ народамъ и государствамъ суждено посторониться и дать Россіи дорогу, то такая будущность возможна лишь при одномъ условіи—при полномъ сознаніи своей грѣховности". Авторъ заключалъ свою статью такими словами: „Все начинается съ сознанія и пока нѣтъ сознанія, не можетъ быть и помину о возможности. Сознаніе—это свѣтлая заря, пророчествующая лучезарный востокъ дѣствительнаго исполненія... Въ этомъ отношеніи національное значеніе поэмы Гоголя столь велико, что если оно можетъ скользнуть безпривѣтно по душѣ кого-нибудь изъ русскихъ, въ патріотизмѣ того, несмотря на всѣ патріотическіе возгласы въ нужныхъ случаяхъ, смѣло усомниться можно... Нѣтъ, сердце сердцу вѣсть даетъ, по выраженію одного изъ старыхъ нашихъ поэтовъ... И вся Русь православная, вопреки крикамъ нѣкоторыхъ критиковъ, давнымъ давно уже усвоила себѣ этотъ драгоцѣннѣйшій подарокъ ей одного изъ сыновъ ея, пламенѣющихъ къ ней, общей нашей матери, чистою, а не лицемѣрною, не безотчетною, а разумною любовью".

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ хулы и восторги, замѣтки и сужденія, какими были встрѣчены „Мертвыя Души“. И отрицательные отзывы и хвалебные говорятъ ясно объ успѣхѣ, какой имѣло это произведеніе въ обществѣ, и каждый серьезный читатель предчувствовалъ, какъ велико должно быть значеніе этого памятника для русской жизни.

Со временъ Пушкина ни одинъ авторъ не заставлялъ говорить о себѣ такъ много, какъ Гоголь, и ни одинъ не возбуждалъ такихъ серьезныхъ споровъ. И, дѣйствительно, никто, кромѣ Гоголя, и не заслуживалъ ихъ. Гоголь не только рисовалъ картины, которыя могли нравиться или не нравиться, онъ типичностью своихъ образовъ наводилъ читателя на мысли о такихъ вопросахъ, въ обсужденіи которыхъ единодушіе, конечно, не могло быть достигнуто. О самой сущности русской натуры, объ ея идеалахъ, ея грѣхахъ, ея силѣ и слабости нужно было говорить, когда разговоръ заходилъ о поэмѣ Гоголя, и нельзя было надѣяться, что при этомъ разговорѣ не будутъ задѣты не только симпатіи и антипатіи, но настоящія страсти. Эти страсти и обнаружились, но только онѣ не нашли себѣ пока еще яснаго и опредѣленнаго выраженія въ печатномъ словѣ. Впрочемъ, могло ли и быть иначе? Чисто внѣшнія стѣсненія очень тормозили это печатное слово, и нѣтъ сомнѣнія, что не будь ихъ, критика, напр., „Отечественныхъ Записокъ“ могла бы формулировать свои сужденія болѣе опредѣленно и точно. Но не въ этихъ стѣсненіяхъ надо искать главную причину той недосказанности, той неполноты въ оцѣнкѣ „Мертвыхъ Душъ“, какая замѣтна во всѣхъ критическихъ отзывахъ. Слишкомъ общій характеръ этихъ отзывовъ объясняется трудностью самой задачи, которая выпала на долю судей. Литература не пріучала ихъ къ критикѣ окружающей дѣйствительности, и въ дѣлѣ развитія нашего историческаго и общественнаго самосознанія романтическая литература тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ сдѣлала чрезвычайно мало. Она почти не давала критику повода углубляться

въ тѣ вопросы, которые, и для словесности, и для ея судей должны были бы быть самыми дорогими и цѣнными, т.-е. въ вопросы не частнаго, а общенароднаго значенія.

Дѣйствительно, если вспомнить, какъ бѣдна была литература николаевскаго царствованія именно такими мыслями, типами, характерами, описаніями, драматическими положеніями, въ которыхъ художникъ становился истолкователемъ цѣлаго историческаго момента, переживаемаго его родиною,— то недомолвки критики о твореніяхъ такого писателя, какъ Гоголь—вполнѣ понятны.

Пусть этотъ писатель былъ консерваторъ по своимъ политическимъ убѣжденіямъ, но онъ былъ строгій моралистъ въ своихъ общественныхъ взглядахъ. Онъ не только описывалъ грѣхъ и зло, которые попадались ему на глаза, онъ разыскивалъ ихъ въ разныхъ слояхъ общества, и потому углублялся въ жизнь. Талантъ помогъ ему создать такую картину, глядя на которую каждый серьезный человѣкъ принужденъ былъ мыслить; и отъ ощущенія прекраснаго, отъ размышленія о нравственной проблемѣ онъ долженъ былъ перейти незамѣтно для самого себя къ раздумью надъ широкими вопросами общественными, которые затѣмъ могли увлечь его и дальше.

Личность художника и его рѣчи были явленіемъ, дѣйствительно, необычнымъ.

XVIII.

Сила личности Гоголя. — Краткій обзоръ исторіи его творчества. — Общественное и нравственное значеніе этого творчества: обличеніе и сострадапіе. — Воспитательное значеніе совѣстливаго отношенія автора къ самому себѣ.

Личность была оригинальная и сильная. Правда, Гоголь не занималъ въ обществѣ такого положенія, которое ставило бы его особенно на виду, и потому кругъ вліянія его, какъ личности, былъ довольно ограниченъ, тѣмъ болѣе, что долгіе годы онъ провелъ внѣ предѣловъ Россіи. Но всѣ, кого судьба съ нимъ сводила, не могли не испытать на себѣ такъ или иначе вліянія той очень своеобразной духовной силы, какою былъ одаренъ этотъ человѣкъ. Иныхъ она покоряла, другихъ отталкивала, но она была все-таки сила, которая, наконецъ, сломила и самого ея носителя. Заключалась она не въ литературномъ только талантѣ, огромномъ и всѣми признанномъ, а въ самомъ, если такъ можно выразиться, строеніи духа писателя. На многихъ этотъ строй духа производилъ непріятное впечатлѣніе.

„Я не знаю ни одного человѣка, который бы любилъ Гоголя, какъ другъ, независимо отъ его таланта, — писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну Ивану *).—Надо мною смѣялись, когда я говаривалъ, что для меня не существуетъ личности

*) «И. С. Аксаковъ въ его письмахъ». Москва. 1888, I, 424.

Гоголя, что я благоговѣйно и съ любовью смотрю на тотъ драгоцѣнный сосудъ, въ которомъ заключенъ великій даръ творчества, хотя форма этого сосуда мнѣ совсѣмъ не нравится". И Аксаковъ, знавшій близко нашего писателя, неоднократно говорилъ, что въ Гоголѣ было что-то отталкивающее, хотя и стремился смягчить свой отзывъ указаніемъ на странность всей душевной организаціи своего друга.

Это признаніе расположеннаго къ Гоголю человѣка можетъ быть дополнено словами другихъ лицъ, какъ, напр., Никитенки, Панаева, также отмѣчавшихъ непріятное впечатлѣніе, какое они выносили, встрѣчаясь съ Гоголемъ не на бумагѣ. Конечно, считаясь съ такими отзывами, должно помнить, что было много лицъ, какъ, напр., Жуковскій, Языковъ, Смирнова, для которыхъ, наоборотъ, Гоголь былъ именно другомъ сердца.

Какъ бы то ни было, но нужно признать, что эта своеобразная личность, дѣйствительно, могла и должна была многимъ не нравиться. И не въ отдѣльныхъ чертахъ характера Гоголя крылась причина этому, а въ ихъ сочетаніи. Гоголя нерѣдко упрекали въ лукавствѣ и хитрости, въ томъ, что онъ утаиваетъ свою мысль или умышленно искажаетъ ее, его упрекали въ томъ, что онъ всегда себѣ на умѣ, насторожѣ; во вторую половину своей жизни онъ въ особенности могъ сердить людей своимъ самомнѣніемъ, проповѣдническимъ тономъ, самозваннымъ учительствомъ — но всѣ эти непріятныя черты характера были неизбѣжны, такъ какъ Гоголь былъ натура очень властная и принадлежалъ, безспорно, къ семьѣ пророчествующихъ, которые на ряду съ откровеннымъ словомъ позволяютъ себѣ и иносказаніе, и умолчаніе, и горделивую небрежность въ обращеніи съ ближними. Пророчилъ ли Гоголь истинное или неистинное— объ этомъ можно спорить, но онъ сознавалъ себя исцѣлителемъ душъ, человѣкомъ, посланнымъ на землю Богомъ; онъ не бралъ на себя умышленно никакой роли, не пози-

ровалъ, когда думалъ и говорилъ о своей миссіи, и только въ виду искренней вѣры въ самого себя онъ и пострадалъ такъ жестоко, когда увидалъ, что Богъ наполнилъ его душу восторгомъ, а слова, для выраженія этого восторга, ему не далъ.

Гоголя иногда сравниваютъ съ Руссо: такъ сравнивалъ его Вяземскій *) и затѣмъ Чернышевскій **), и это — довольно мѣткое сравненіе. И Руссо, и Гоголь были по природѣ своей—искатели Божьей правды на землѣ, обличители существующаго нравственнаго уклада жизни,—люди, давшіе себѣ особыя полномочія, люди властные и во многомъ нетерпимые, скрытные въ вопросахъ мелкихъ и житейскихъ и необычайно смѣлые въ рѣшеніи вопросовъ самыхъ головоломныхъ и сложныхъ. Оба они были сентименталисты и моралисты чистѣйшей крови; оба съ очень нервнымъ и восторженнымъ темпераментомъ, но только Руссо былъ плохой художникъ и апостолъ революціи; Гоголь—художникъ первоклассный и апостолъ консерватизма. Руссо былъ силенъ и великъ проповѣдью политико-общественныхъ началъ, которымъ принадлежало будущее, Гоголь также вложилъ весь смыслъ своей жизни въ такую проповѣдь, но она осталась безъ отвѣта, и, вопреки собственному желанію, онъ былъ понятъ и оцѣненъ не какъ моралистъ и учитель личной и гражданской морали, а именно какъ художникъ.

Отдавая все должное искренности Гоголя, какъ учителя жизни, придется при окончательномъ судѣ надъ его дѣятельностью все-таки остановиться лишь на оцѣнкѣ его литературныхъ заслугъ, такъ какъ этими художественными трудами онъ и оказалъ наибольшее *нравственное* воздѣйствіе на ближняго, который остался глухъ къ его предписаніямъ

*) «Полное собраніе сочиненій» II, 332.

**) *Н. Г. Чернышевскій.* «Замѣтки о современной литературѣ, 1856-1862 гг.». Спб. 1894, 11.

личнаго религіозно-нравственнаго самоусовершенствованія и къ его рецептамъ общественной и государственной мудрости.

Припомнимъ же главнѣйшіе моменты въ исторіи развитія его художественной творческой работы.

Онъ выступилъ со своими первыми повѣстями, когда сентиментальное и романтическое направленіе въ литературѣ были еще въ цвѣту, но когда ощущался уже недостатокъ въ произведеніяхъ, которыя бы отразили не только правду души самого художника, но и правду окружавшей его жизни. Читатель требовалъ народнаго и современнаго, и лучшіе художники тѣхъ годовъ на это требованіе откликались лишь изрѣдка. Гоголь былъ призванъ удовлетворить ему, но и онъ на первыхъ порахъ пошелъ старою дорогой. Прежде чѣмъ стать наблюдателемъ и истолкователемъ дѣйствительности, онъ — по своей психической организаціи мечтатель и романтикъ—далъ въ своихъ первыхъ созданіяхъ лучшіе образцы стараго литературнаго стиля: сентиментальная идиллія съ оттѣнкомъ народности, фантастическая или историческая сказка ни у кого не получила такой литературной и художественной отдѣлки, какъ у него въ его „Вечерахъ на Хуторѣ“; никто изъ его современниковъ не съумѣлъ такъ тонко и правдоподобно анализировать душу романтика, страдающаго отъ разлада мечты и дѣйствительности, романтика, влюбленнаго въ красоту, художника, отданнаго во власть всевозможнымъ искушеніямъ, какъ сдѣлалъ это Гоголь въ своемъ „Невскомъ Проспектѣ“, въ „Запискахъ сумасшедшаго“, въ „Портретѣ“ и во всѣхъ статьяхъ и стихотвореніяхъ въ прозѣ, посвященныхъ вопросу объ искусствѣ, его исторической миссіи и его служителѣ. Кто умѣлъ такъ проникаться стариной, улавливать ея романтическую красоту, превращать разсказъ о ней въ величественную поэму съ удивительнымъ колоритомъ и паѳосомъ, какъ не онъ, авторъ лекцій, сбивавшихся на лирическія пѣсни, и „Тараса Бульбы“—этой рыцарской эпопеи?

Романтическій литературный стиль нашелъ себѣ въ Го-

голѣ лучшаго выразителя, въ созданіяхъ котораго этотъ романтизмъ и сентиментализмъ вспыхнули послѣднимъ самымъ яркимъ огнемъ, прежде чѣмъ угаснуть. Гоголь великъ не только тѣмъ, что онъ завоевалъ для словеснаго творчества новыя области жизни; онъ великъ и тѣмъ, что старые литературные пріемы довелъ до художественнаго совершенства.

Но идя еще по старой дорогѣ, онъ былъ уже предвѣстникомъ новаго. Уже въ его романтическихъ повѣстяхъ проглядывала его необычайная способность живописать съ натуры. Детали и мелочи жизни дѣйствительной художественно размѣщались на страницахъ, полныхъ романтическаго паѳоса или сентиментальнаго чувства. Реальная тенденція въ его творчествѣ начала сказываться рѣшительно и быстро. Она сначала не различала въ жизни важнаго отъ неважнаго. Авторъ писалъ шутки въ родѣ „Носа“ и „Коляски“, выбиралъ темой для своихъ этюдовъ совсѣмъ глухіе уголки жизни, въ родѣ тѣхъ, которые описаны въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ и въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, но всѣмъ этимъ работамъ самъ авторъ не придавалъ особеннаго значенія и всю силу своего юмора и реальнаго письма сосредоточилъ на цѣломъ рядѣ драматическихъ произведеній, съ которыхъ и началась исторія нашей бытовой комедіи. Комедія Гоголя—это было нѣчто новое, созданное въ новомъ стилѣ и не имѣвшее себѣ параллели въ нашей литературѣ. Если въ чемъ нашъ авторъ былъ новаторъ, такъ это, именно, въ комедіи, которая стала теперь самостоятельнымъ родомъ художественнаго творчества, а не литературной формой для сатиры, чѣмъ она была раньше. Реализмъ въ искусствѣ одержалъ свою первую рѣшительную побѣду и за ней послѣдовала вторая и послѣдняя.

Гоголь пожелалъ въ одномъ цѣльномъ связномъ романѣ соединить всѣ свои наблюденія надъ русской жизнью, онъ задумалъ создать поэму, въ которой Россія предстала бы со всѣми ея пороками и добродѣтелями, ея тьмой и свѣтомъ.

Но въ самый разгаръ работы надъ этимъ трудомъ онъ самъ начиналъ изнемогать отъ душевнаго разлада, которымъ болѣла его романтическая душа, не примирившаяся съ тѣми тѣневыми сторонами жизни, которыя ему были такъ хорошо видны. Отъ этого разлада пострадалъ, прежде всего, его талантъ бытописателя и реалиста, и художникъ успѣлъ закончить лишь первую часть задуманной имъ грандіозной работы. Но и этотъ отрывокъ былъ великъ силою своей художественной правды. Если авторъ не всегда выдерживалъ тонъ, начиналъ иногда проповѣдать, вѣщать и наставлять, если въ компановкѣ романа и въ развитіи дѣйствія было нѣчто условное, напоминавшее пріемы старыхъ „нравоописательныхъ“ романовъ, если, наконецъ, многіе образы приближались къ типамъ слишкомъ общимъ и собирательнымъ, то зато, какъ широка была сама картина и сколько въ ней было детальныхъ этюдовъ, силуэтовъ, штриховъ, художественно передающихъ жизнь, если не всѣхъ, то очень многихъ сословныхъ группъ того времени. Ни отъ одного памятника тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ не вѣяло такъ дыханіемъ жизни, какъ отъ „Мертвыхъ Душъ“, въ которыхъ хоть и не вполнѣ были исчерпаны всѣ внѣшнія формы нашего стараго помѣщичьяго и чиновнаго быта, зато схвачена вся его внутренняя сущность.

Мастерству реальнаго письма училъ насъ до Гоголя еще Пушкинъ, и одновременно съ Гоголемъ—Лермонтовъ. Но картина русской жизни, набросанная нашимъ сатирикомъ была несравненно полнѣе и шире, чѣмъ все, что было въ этомъ направленіи создано его предшественниками и современниками. Лишь прочитавъ Гоголя, мы могли сказать, что ознакомились со многими страницами той, тогда только-что раскрытой книги, которая называется русскою жизнью.

Но говоря о Гоголѣ, какъ о бытописателѣ и юмористѣ, нужно помнить, что эта сторона его таланта всегда находилась во враждѣ съ основными чертами его характера и

со складомъ его ума. Гоголь имѣлъ сердце всегда сентиментальное и религіозно настроенное, фантазію богатую, но романтически-восторженную, умъ въ значительно большей степени синтетическій, чѣмъ аналитическій. Приходится удивляться, что при такой душевной организаціи онъ могъ такъ часто забывать о себѣ, иронизировать тогда, когда хотѣлось плакать, разсказывать тогда, когда хотѣлось разсуждать и говорить о всякой житейской мелочи и пошлости, когда душа такъ и рвалась къ возвышенному и вѣчному. Теперь, когда намъ извѣстны вся его жизнь и его интимныя думы, мы поймемъ, что рано или поздно романтическія силы его духа должны были пересилить въ немъ способность спокойно и юмористически относиться къ жизни. Страннымъ можетъ показаться не этотъ поворотъ отъ наблюденія надъ жизнью къ суду надъ нею, отъ ироніи къ молитвѣ, отъ анализа настоящаго къ предвкушенію будущаго; нѣтъ ничего страннаго и въ томъ, что при такихъ условіяхъ процессъ творчества сталъ для писателя изнурителенъ и безплоденъ, что вмѣсто живыхъ образовъ художникъ сталъ создавать лишь символы, что, наконецъ, онъ осудилъ все имъ раньше созданное, и сталъ просить у Бога особой къ себѣ благодати для того, чтобы вновь начать создавать все съизнова. Все это естественно и понятно; необычной можетъ показаться лишь та болѣзненность, съ какою этотъ процессъ совершался въ душѣ Гоголя. Поэтъ страдалъ, онъ былъ боленъ отъ этихъ душевныхъ волненій художника, не находящаго словъ для обступившихъ его мыслей и нависшаго надъ нимъ настроенія. Но эта болѣзненность и есть показатель совсѣмъ особой „пророческой“ организаціи поэта, которая бываетъ вся потрясена и въ минуты наплыва восторга и въ минуты отлива, и Гоголь былъ подвижникъ своей религіозно-нравственной идеи и вѣрилъ, что онъ апостолъ. Вотъ почему онъ сталъ такъ самоувѣренно говорить со своими соотечественниками обо всемъ: объ ихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ Богу, къ

царю, къ родинѣ, къ семьямъ, къ ближнему равному и ближнему рабу; и онъ очень сердился и сокрушался, когда увидѣлъ, что всѣ эти совѣты, которые онъ въ 1847 году огласилъ въ печати какъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, не встрѣтили ожидаемаго сочувствія.

Онъ былъ удрученъ этимъ неуспѣхомъ своей проповѣди и смирился: причину неуспѣха сталъ онъ искать не въ другихъ, а въ себѣ самомъ; онъ удвоилъ посты и молитвы, онъ сталъ истязать свою плоть, чтобы придать духу особую силу и святость, и, доведя свой духъ до значительной высоты религіознаго созерцанія, онъ въ конецъ разрушилъ свое тѣло.

Умиралъ онъ съ самымъ тяжелымъ сознаніемъ, что онъ безсиленъ словами выразить то, чѣмъ было полно его сердце. Онъ сознавалъ себя вполнѣ одинокимъ и не видалъ вокругъ себя человѣка, которому онъ могъ бы довѣрить свои думы.

А между тѣмъ его даръ переходилъ по наслѣдству къ его законнымъ наслѣдникамъ. Но Гоголь не призналъ ихъ. Въ то время, какъ онъ такъ мучился со своими неизреченными словами, его ученики стали продолжать его дѣло художника. Почти въ тотъ же годъ, когда онъ огласилъ свою „Переписку съ друзьями“ были написаны первые „Разсказы Охотника“ Тургенева, „Сонъ Обломова“ Гончарова, „Бѣдные люди“ Достоевскаго и „Банкротъ“ Островскаго. Художникъ-реалистъ не могъ найти лучшихъ наслѣдниковъ. Трудная задача претворенія въ поэзію всей русской жизни во всемъ ея богатствѣ и разнообразіи, со всѣми ея мрачными и свѣтлыми сторонами, начала разрѣшаться, но тотъ, кто мечталъ такъ пламенно объ ея разрѣшеніи и такъ много для этого сдѣлалъ, уже не интересовался этой задачей. Онъ умеръ, силясь забыть о всѣхъ своихъ чисто-литературныхъ побѣдахъ.

Но кромѣ него никто не забылъ ихъ; и сердечное желаніе художника все-таки исполнилось: если общество невнимательно отнеслось къ наставленіямъ своего любимаго

писателя, то именно его литературные труды оказали читателю огромную „душевную“ поддержку и, повліяли прямо на его нравственное, а потому и общественное возрожденіе.

И въ самомъ дѣлѣ, не одной своей красотой были сильны творенія Гоголя, въ нихъ была еще и иная сила, которая давно за ними признана. Ее обыкновенно опредѣляютъ словомъ „обличеніе“. Принято говорить, что какъ обличитель пороковъ, слабостей, пошлости, косности и всякихъ иныхъ личныхъ и общественныхъ недуговъ — Гоголь былъ однимъ изъ передовыхъ нашихъ общественныхъ дѣятелей, и, конечно, никто никогда не отниметъ у него этой нравственной заслуги передъ отечествомъ.

Но при ближайшемъ ознакомленіи съ его творчествомъ видишь, что его сила заключалась не въ одномъ только обличеніи. Сатирикъ былъ въ сущности очень мягкій человѣкъ [т.-е. мягкій не въ отношеніяхъ къ людямъ, которые, наоборотъ, часто жаловались на его эгоизмъ, а мягкій въ томъ смыслѣ, что онъ могъ легко самъ себя разжалобить и поднять со дна своей романтической души цѣлую волну нѣжности], и мы видѣли, какъ много состраданія обнаружилъ онъ ко всѣмъ людямъ, которыхъ обличалъ въ своихъ твореніяхъ. Онъ находилъ слова извиненія и оправданія для самыхъ порочныхъ, онъ даже не любилъ говорить о порокахъ и предпочиталъ говорить лишь о слабостяхъ, и всегда предрасполагалъ читателя въ пользу подсудимаго. Не столько обличеніемъ грѣшниковъ приводилъ онъ людей къ сознанію своей грѣховности, сколько тѣмъ, что будилъ въ нихъ чувство жалости къ ближнему, самого себя обездолившему или обездоленному не по своей винѣ; и тѣ, кто продолжалъ его работу, какъ художника, были и въ этомъ смыслѣ его наслѣдниками. Какъ сатирики-обличители, наши писатели пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ превзошли Гоголя въ силѣ ударовъ, которые они наносили пороку; превзошли его и въ силѣ любви и состраданія къ униженнымъ и оскорбленнымъ.

И не только печаль Гоголя о чужихъ грѣхахъ, но и скорбь его о своихъ личныхъ недостаткахъ, столь рѣзко проступившая наружу въ послѣднее десятилѣтіе его жизни [1842—1852], имѣла общественную и нравственную цѣну.

Къ какимъ бы консервативнымъ или безплоднымъ въ общественномъ смыслѣ взглядамъ ни приходилъ самъ писатель въ эти годы покаянія и самоистязанія духа, какъ бы онъ ни сердилъ читателя своимъ сентиментальнымъ оптимизмомъ, все-таки его *совѣстливое* отношеніе къ каждому своему слову и чувству имѣло воспитательное значеніе. Не соглашаясь съ Гоголемъ въ выводахъ, которые онъ выдавалъ за истину, читатель не могъ не отдать должнаго той строгости къ самому себѣ, съ какой нашъ моралистъ эту истину отыскивалъ. Совѣстливое отношеніе художника къ нравственнымъ проблемамъ жизни передавалось невольно каждому, кто задумывался надъ его словомъ или надъ его трагичной судьбой.

Приложеніе.

Литература двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ въ оцѣнкѣ критики того времени.

Годы, когда Гоголь выступалъ со своими первыми произведеніями, были въ исторіи нашего словеснаго творчества годами переходными: старыя литературныя традиціи падали, подорванныя и обезцѣненныя, а „новое", которое должно было заступить ихъ мѣсто, еще недостаточно окрѣпло и утвердилось. Въ критикѣ шелъ нескончаемый и придирчивый споръ объ этомъ „новомъ и старомъ", о заимствованномъ и народномъ, споръ о старикахъ, которымъ пора перестать поклоняться, и о современникахъ, которые обѣщаютъ много, но пока еще дали такъ мало.

Въ исторіи литературы, какъ и въ иныхъ областяхъ жизни, существуютъ, дѣйствительно, свои переходныя критическія эпохи. Долго царствовавшая традиція—традиція и содержанія, и формы, начинаетъ уступать подъ напоромъ новизны, и эта новизна, еще не систематизированная, не объясненная критически, но сильная сознаніемъ своей житейской правды, начинаетъ требовать для себя признанія и почета, который, конечно, ей приходится брать съ бою. Проводники этого „новаго", въ чемъ бы оно ни сказывалось, въ идеяхъ ли, въ чувствахъ, въ ихъ ли художественномъ

выраженіи, или въ иномъ какомъ-либо способѣ ихъ проведенія въ жизнь—бываютъ всегда слишкомъ прямолинейны и увлечены, чтобы быть справедливыми; имъ всегда кажется, что новое должно начинать собой новую эру, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно только видоизмѣняетъ старую; имъ кажется, что оно есть нѣчто само по себѣ существующее, а вовсе не обусловленное тѣмъ, съ чѣмъ оно такъ задорно воюетъ. Смерть традиціи — таковъ общій смыслъ всѣхъ переходныхъ эпохъ, и забвеніе, что покойникъ былъ нѣкогда живымъ человѣкомъ и въ жизни свое дѣло сдѣлалъ—одна изъ характерныхъ чертъ въ психологіи всѣхъ, кто торжествующему новому пролагаетъ дорогу. Жаль только, что смерть стараго не сразу обозначаетъ торжество новаго, а всего чаще разрѣшается въ состояніе двойственное, неопредѣленное, обильное всякаго рода несправедливостями.

Такой періодъ неопредѣленности и неустойчивости во вкусахъ, настроеніяхъ и сужденіяхъ, такой періодъ не всегда справедливыхъ нападокъ на старое, переживала наша словесность въ концѣ двадцатыхъ и въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда къ старому въ искусствѣ читатели стали охладѣвать, новое предчувствовали, но никакъ еще не могли договориться и условиться, въ чемъ именно заключаются его характерные признаки.

Что однако должны мы понимать подъ этимъ словомъ „старое“, когда говоримъ о литературныхъ теченіяхъ того времени?

Обыкновенно подъ этимъ словомъ разумѣютъ традицію стараго классицизма, нѣкогда столь могущественную у насъ и, безспорно, отражавшую недавнюю правду своего времени — времени внѣшняго лоска, эксплуатаціи чужихъ мыслей, насильно привитыхъ чувствъ и готовыхъ, на прокатъ взятыхъ, формъ и оборотовъ рѣчи. Но что осталось отъ этихъ классическихъ традицій къ тридцатымъ годамъ? Мы этого покойника давно снесли въ могилу и стали забывать

дорогу къ ней. Достаточно перелистать журналы того времени, чтобы увидать, какъ рѣдко мы тревожили тогда прахъ старыхъ писателей XVIII вѣка. Если кого изъ нихъ тогда вспоминали, то развѣ тѣхъ, которые—какъ, напр., Фонвизинъ или Державинъ—сумѣли отстоять свою самостоятельность вопреки господствующему литературному шаблону.

Къ писателямъ современнымъ, придерживавшимся старыхъ литературныхъ формъ и не переступившимъ за черту этого, совсѣмъ истрепаннаго, мнимо-классическаго міросозерцанія, относились мы въ тѣ годы также очень равнодушно. Кто, въ самомъ дѣлѣ, принималъ тогда близко къ сердцу творенія Василія Пушкина, Владиміра Панаева, Михаила Дмитріева и другихъ? Для болѣе рьяныхъ критиковъ эти писатели служили удобной мишенью, стрѣляя въ которую, трудно было промахнуться, для менѣе задорныхъ они просто не существовали. Во всякомъ случаѣ старый классицизмъ, какъ литературная традиція и форма, былъ въ тридцатыхъ годахъ стариной совсѣмъ отпѣтой. Онъ ни кого не стѣснялъ своимъ присутствіемъ и не съ нимъ должна была сводить счеты та новизна, которая уже давала себя чувствовать.

Начиналъ умирать и другой классицизмъ, болѣе молодой годами и болѣе живой по темпераменту — классицизмъ, который въ началѣ двадцатыхъ годовъ пользовался большимъ почетомъ у молодого поколѣнія. Это былъ классицизмъ не совсѣмъ чистой пробы, такъ какъ въ немъ была большая примѣсь моднаго сентиментализма, и либерализма; но онъ всетаки сохранялъ классическую внѣшность и старался поддѣлаться подъ тонъ Анакреона, Тибулла, Горація и Овидія или — когда былъ болѣе серьезенъ — подъ тонъ Тацита, Ювенала и другихъ сатириковъ; нѣкогда подогрѣтый симпатіями всей Пушкинской плеяды, онъ имѣлъ широкій кругъ поклонниковъ; къ тридцатымъ годамъ онъ растерялъ ихъ и влачилъ довольно жалкое существованіе на страницахъ какихъ-нибудь второстепенныхъ альманаховъ. Свое дѣло онъ сдѣлалъ: не такъ давно далъ онъ рядъ красивыхъ образовъ и

готовыхъ мотивовъ для прославленія кипучей молодости и связаннаго съ ней свободомыслія, теперь и онъ вырождался въ настоящій реестръ шаблонныхъ фразъ и словъ, которыя пошли гулять по рукамъ разныхъ бездарныхъ пересказывателей чужихъ пѣсенъ.

Если, такимъ образомъ, подновленный античный стиль въ разныхъ его видахъ совсѣмъ отходилъ въ прошлое, то можно было думать, что тѣ литературныя направленія, которыя болѣе всего способствовали гибели этого классицизма, а именно — сентиментализмъ и романтизмъ — сохранятъ свою власть надъ нами. Дѣйствительно, эти западныя направленія, пущенныя у насъ въ оборотъ Карамзинымъ, Жуковскимъ и отчасти Пушкинымъ и его друзьями, имѣли въ двадцатыхъ годахъ на своей сторонѣ симпатіи почти всей читающей публики. Не было писателя, который не заплатилъ бы своей дани Оссіану, Скотту, Муру, Байрону, Шиллеру, Гёте, Шатобріану—вообще всѣмъ западнымъ авторитетамъ, который не пожелалъ бы такъ или иначе пересадить ихъ красоты на русскую почву или на ихъ ладъ передѣлать русскіе сюжеты.

Попытки такого пересажденія западнаго сентиментализма и романтизма оказали нашей литературѣ и обществу не малую услугу: они пустили въ оборотъ много новыхъ для насъ чувствъ и настроеній, не говоря уже о томъ, что они много способствовали утонченію нашего эстетическаго вкуса. Они служили также лучшими проводниками западныхъ идей и вообще ускорили наше духовное общеніе съ культурнымъ міромъ. Все говорило въ пользу того, что вліяніе этихъ двухъ литературныхъ направленій, и сентиментализма, и романтизма, будетъ весьма продолжительно, что мы не скоро исчерпаемъ ихъ содержаніе и не скоро пресытимся ими, но, несмотря на то, что мы, дѣйствительно, не исчерпали ихъ содержанія, а лишь поверхностно усвоили ихъ, наша критика тѣмъ не менѣе стала очень скоро этими настроеніями тяготиться и готова была и ихъ отчислить въ раз-

рядъ „стараго“, которое должно уступить мѣсто „новому“. Въ тридцатыхъ годахъ къ сентитентализму критика совсѣмъ охладѣла; Карамзинъ съ его школой отошли для нея въ прошлое; Жуковскаго она не переставала уважать, но увлекалась имъ сдержанно [да и самъ онъ сталъ писать мало], на нѣмецкій бурный романтизмъ и на байронизмъ, недавно столь головокружительный, стала смотрѣть косо, и если что еще сохраняло тогда для нея свое обаяніе, такъ это были общеміровые памятники литературы, какъ, напр., поэмы Гомера, драмы Шекспира, поэма Мильтона, романы Гёте и его „Фаустъ“, наконецъ, историческіе романы Вальтеръ-Скотта, т.-е. продолжало нравиться то, что стояло внѣ всякихъ литературныхъ школъ и тенденцій...

Наша критическая мысль опередила, такимъ образомъ, въ эти годы значительно нашу художественную словесность, которая за весьма рѣдкими исключеніями, по прежнему продолжала слѣдовать традиціямъ сентиментальнымъ и романтическимъ. У критики была одна мысль, одно желаніе, которое она высказывала очень опредѣленно и рѣзко—имѣть національную, самобытную литературу, черпающую свое содержаніе и свою форму изъ русской народной жизни. Желаніе было вполнѣ законное, указывающее на сознательное отношеніе критической мысли къ недочетамъ текущей словесности, но вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе трудно исполнимое, такъ какъ національное и самобытное въ нашей литературѣ въ тѣ годы еще совсѣмъ не окрѣпло, и мы переживали тогда, именно, переходный періодъ смѣшенія иноземнаго съ русскимъ, періодъ борьбы подражанія съ самобытнымъ, періодъ отрицанія этого подражанія безъ возможности замѣнить его сразу полетомъ вполнѣ оригинальной фантазіи. Какъ и слѣдовало ожидать, критика была невоздержана и несправедлива въ своихъ нападкахъ на недавнихъ кумировъ, была непослѣдовательна въ ихъ осужденіи и, наконецъ, была не совсѣмъ ясна въ своихъ требованіяхъ „новаго“, которое она опредѣляла однимъ словомъ—„народность“,

пытаясь, но почти всегда безуспѣшно, выяснить, въ чемъ именно долженъ заключаться смыслъ этого таинственнаго слова.

Какъ бы то ни было, но въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Гоголь выступалъ со своими первыми произведеніями— всѣ прежнія литературныя традиціи, и классическія, и сентиментальныя, и романтическія, были уже значительно подорваны критикой и для огромнаго большинства литературныхъ судей была ясна необходимость имѣть нѣчто свое, столь же совершенное и народное, какъ то, чему эти критики покланялись на западѣ. Что касается самой литературы, то, какъ мы сказали, она плохо отвѣчала на эти требованія критики и никакъ не могла взять вѣрнаго самобытнаго тона въ разработкѣ сюжетовъ. Попытки въ этомъ направленіи, конечно, дѣлались, иной разъ — какъ увидимъ — даже успѣшныя, но сколько было писателей, которые пребывали все еще въ разныхъ ученическихъ классахъ, гдѣ писали не съ натуры, а съ образцовъ и моделей. Случалось иногда, что одно и то же лицо, было и критикомъ и художникомъ, и тогда, какъ, напр., у Полевого, Кюхельбекера— получалось странное противорѣчіе между тѣмъ, что творилъ писатель, и тѣмъ, что онъ думалъ о творчествѣ. Какъ художникъ, онъ оставался рабомъ традиціи западной, какъ критикъ, онъ продолжалъ распинаться за народность.

Прислушаемся же къ нѣкоторымъ голосамъ изъ этого лагеря критиковъ и тогда борьба между старымъ и новымъ, споръ заимствованнаго съ самобытнымъ, и надежды, возлагаемыя на „народность“ обрисуются передъ нами очень ясно.

Еще въ серединѣ двадцатыхъ годовъ, т.-е. въ самый разгаръ подражанія иноземнымъ образцамъ сентиментальнаго и романтическаго типа, нѣкоторые, еще очень молодые, писатели стали опредѣленно требовать народныхъ, само-

бытныхъ сюжетовъ и національныхъ пріемовъ въ творчествѣ.

Изъ нихъ наиболѣе характерные, въ то время достаточно популярные, но затѣмъ быстро забытые критики, были: Кюхельбекеръ—одинъ изъ редакторовъ альманаха „Мнемозина“, Александръ Бестужевъ, редакторъ альманаха „Полярная Звѣзда“, Веневитиновъ, членъ редакціи „Московскаго Вѣстника“, Сомовъ — литературный обозрѣватель, и князь Вяземскій—членъ редакціи „Московскаго Телеграфа“.

Въ 1824 году была въ „Мнемозинѣ“ напечатана статья Кюхельбекера „О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилѣтіе“ *). Въ этой статьѣ авторъ резюмировалъ свои мысли, разсѣянныя въ разныхъ мелкихъ критическихъ замѣткахъ, которыя, начиная съ 1820 года, онъ печаталъ въ періодическихъ журналахъ. Критикъ произносилъ очень суровое осужденіе господствующему въ русской литературѣ направленію. Онъ осуждалъ нашихъ поэтовъ за тотъ печальный минорный тонъ, который преобладалъ въ ихъ стихотвореніяхъ. Неистовая печаль не есть поэзія, говорилъ онъ, а бѣшенство. Скучно слушать разныхъ Ивановъ да Ѳедоровъ, которые намъ поютъ про свои несчастія. А кто отучилъ насъ понимать радость жизни и на нее откликаться? Это грѣхъ Жуковскаго, который сталъ подражать новѣйшимъ нѣмцамъ, преимущественно Шиллеру, и грѣхъ Батюшкова, который взялъ себѣ за образецъ двухъ пигмеевъ французской словесности—Парни и Мильвуа. Но больше всѣхъ виновата поэзія романтиковъ. Хороша была эта романтическая поэзія въ Провансѣ и у Данте въ свое время; но теперь, что отъ нея осталось? Одинъ Гете, пожалуй, удовлетворяетъ въ нѣкоторыхъ изъ своихъ произведеній ея требованіямъ, объ остальныхъ поэтахъ говорить не стоитъ; они почти всѣ подражатели, а наша русская романтика есть подражаніе — подражанію.

*) «Мнемозина», II, 29—44.

Сила? гдѣ мы найдемъ ее въ большей части нашихъ мутныхъ, ничего не опредѣляющихъ, изнѣженныхъ, безцвѣтныхъ произведеніяхъ? Богатство и разнообразіе? Прочитайте любую элегію Жуковскаго, Пушкина или Баратынскаго, знаешь всѣ. Чувствъ у насъ уже давно нѣтъ: чувство уныпія поглотило всѣ прочія. Чайльдъ-Гарольды насъ одолѣли, и отчего все это? Оттого, что мы не рѣшаемся быть самобытными. Изъ богатаго и мощнаго русскаго слова мы извлекаемъ небольшой, благопристойный, приторный, искусственно-тонкій, приспособленный для немногихъ языкъ... Печатью народности ознаменованы всего лишь какіе-нибудь 80 стиховъ въ „Свѣтланѣ“ и въ „Посланіи къ Воейкову“ Жуковскаго, нѣкоторыя мелкія стихотворенія Катенина, два или три мѣста въ „Русланѣ и Людмилѣ“ Пушкина. Будемъ благодарны Жуковскому за то, что онъ освободилъ насъ изъ-подъ ига французской словесности, отъ Лагарпа и Батте, но не позволимъ ни ему, ни кому другому наложить на насъ оковы нѣмецкаго или англійскаго владычества. Всего лучше имѣть поэзію народную, но ужъ если подражать, то надо знать кому, а у насъ художественный вкусъ настолько не развитъ, что мы не отличаемъ поэтовъ. Мы одинаково цѣнимъ великаго Гете и недозрѣвшаго Шиллера, огромнаго Шекспира и однообразнаго Байрона... Мы благоговѣемъ передъ всякимъ нѣмцемъ или англичаниномъ. Не довольно присвоить сокровища иноплеменниковъ! Да создастся для славы Россіи поэзія истинно-русская! Да будетъ святая Русь не только въ гражданскомъ, но и въ нравственномъ мірѣ первой державой во вселенной! Вѣра праотцевъ, нравы отечественности, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, вѣрнѣйшіе источники для нашей словесности. Станемъ надѣяться, что наши писатели сбросятъ съ себя поносныя цѣпи нѣмецкія и захотятъ быть русскими.

Статья Кюхельбекера—одного изъ самыхъ закоренѣлыхъ подражателей въ своемъ собственномъ творчествѣ—явленіе

очень характерное; это — прямое порицаніе всему иноземному въ нашей словесности, даже поэзіи Шиллера или байронизму въ русскомъ переложеніи. Кюхельбекеръ недоволенъ унынiемъ, т.-е. одной изъ отличительныхъ и сильныхъ сторонъ тогдашняго романтизма; онъ давно отрекся отъ классическихъ традицій и требуетъ теперь отреченія отъ западнаго сентиментализма и романтизма во имя „народности“, наступленіе которой онъ предчувствуетъ, но на готовыхъ примѣрахъ доказать и провѣрить еще не можетъ.

Въ этомъ же смыслѣ высказывался и его сверстникъ Александръ Бестужевъ — знаменитый впослѣдствіи Марлинскій — въ своихъ критическихъ обзорахъ текущей русской литературы, которые онъ печаталъ въ „Полярной Звѣздѣ“.

Въ статьѣ „Взглядъ на старую и новую словесность въ Россіи“ *) Бестужевъ, не желая, какъ издатель альманаха, ссориться съ писателями, наговорилъ кучу любезностей каждому изъ нихъ безъ различія школъ и направленій. Исполнивъ этотъ актъ приличія, онъ очень вѣжливо сталъ распространяться о причинѣ паденія нашей литературы [совсѣмъ непонятнаго „паденія“ послѣ тѣхъ комплиментовъ, которыми онъ осыпалъ рѣшительно всѣхъ писателей]. Онъ усмотрѣлъ ее въ изгнаніи роднаго языка изъ общества и въ равнодушіи прекраснаго пола [?] ко всему, что на этомъ языкѣ пишется. „Утѣшимся, говорилъ онъ, однако. Вкусъ публики какъ подземный ключъ стремится къ вышинѣ и время невидимо сѣетъ просвѣщеніе“. Въ этихъ словахъ высказанъ только намекъ на то, что два года спустя съ большей силой было сказано въ томъ же альманахѣ — но уже ставшемъ на ноги и завоевавшемъ симпатіи публики и писателей.

„Мы воспитаны иноземцами, писалъ Бестужевъ въ статьѣ „Взглядъ на русскую словесность въ теченіе 1824 и началѣ 1825 года“ **), — мы всосали съ молокомъ безнародность и

*) «Полярная Звѣзда» 1823 года.
**) «Полярная Звѣзда» 1825 года.

удивленіе только къ чужому. Измѣряя свои произведенія исполинскою мѣрою чужихъ геніевъ, намъ свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согрѣтое народной гордостью, вмѣсто того, чтобы возбудить рвеніе сотворить то, чего у насъ нѣтъ, старается унизить даже и то, что есть. Къ довершенію несчастія мы выросли на одной французской литературѣ, вовсе не сходной съ нравомъ русскаго народа, ни съ духомъ русскаго языка... Чтобы все выразить, надо все чувствовать; но развѣ не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? А мы слишкомъ безстрастны и слишкомъ лѣнивы и не довольно просвѣщены, чтобы и въ чужихъ авторахъ видѣть все высокое, оцѣнить все великое".

Замѣтивъ мимоходомъ, что мы начинаемъ уже чувствовать и мыслить, но пока еще ощупью, Бестужевъ выясняетъ значеніе критики у насъ вообще и, послѣ цѣлаго обвинительнаго акта противъ прозаичности нашей жизни, противъ безлюдья и ничтожества, онъ подробно останавливается на томъ, что болѣе всего лежитъ у него на сердцѣ—именно на вопросѣ о „подражаніи". „Насъ одолѣла страсть къ подражанію, пишетъ онъ; было время, что мы невпопадъ вздыхали по-стерновски, потомъ любезничали по-французски, теперь залетѣли въ тридевятую даль по-нѣмецки. Когда же попадемъ мы въ свою колею? Когда будемъ писать прямо по-русски? Богъ вѣсть! До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, наша муза остается невѣстою-невидимкою. Конечно, можно утѣшиться тѣмъ, что мало потери — такъ и сякъ пишутъ сотни чужестранныхъ и междоусобныхъ подражателей; но я говорю для людей съ талантомъ, которые позволяютъ себя водить на помочахъ. Оглядываясь назадъ, можно вѣкъ назади остаться, ибо время съ каждой минутой разводитъ насъ съ образцами. При томъ, всѣ образцовыя дарованія носятъ на себѣ отпечатокъ не только народа, но вѣка и мѣста, гдѣ жили они—слѣдовательно, подражать имъ рабски въ другихъ обстоятельствахъ невозможно и неумѣстно. Творенія

знаменитыхъ писателей должны быть только мѣрою достоинства нашихъ твореній...“

Разсуждать такъ было, конечно, не трудно, и критикъ зналъ, что теоретически онъ совершенно правъ, что лучше имѣть свое, чѣмъ подражать чужому. Но художнику эти замѣчанія критика, при всей ихъ убѣдительности, приносили мало пользы, такъ какъ заставить себя быть „народнымъ“ художнику было невозможно: все зависѣло отъ степени таланта, но и кромѣ таланта нужна была еще школа и опытъ: наша же культурная жизнь была еще слишкомъ молода, чтобы найти себѣ сразу оригинальную форму и самобытное отраженіе въ искусствѣ. Даже тѣ немногія талантливыя натуры, какъ, напр., Батюшковъ, Жуковскій, Крыловъ и Грибоѣдовъ, даже они, при всей силѣ ихъ дарованія, не сразу и не всегда могли освободиться отъ иноземнаго вліянія и русскую дѣйствительность изображали либо рѣдко, какъ напр., Крыловъ и Грибоѣдовъ, либо не совсѣмъ по-русски, какъ, напр., Батюшковъ и Жуковскій. Когда же имъ удавалось взять вѣрный самобытный тонъ, нарисовать правдивую русскую картину нравовъ, какъ это иногда дѣлалъ Пушкинъ, то эта картина была такъ необычна, что критики сами не сразу научались цѣнить ее: такъ случилось, напр., съ „Евгеніемъ Онѣгинымъ“.

Тѣмъ не менѣе критика продолжала твердить свое и требовать „народности“. Въ 1823 году появилась маленькая книжечка О. Сомова, небезызвѣстнаго потомъ беллетриста; книжка была озаглавлена „О романтической поэзіи“ *); на нее обратили мало вниманія, но она его заслуживала. Сомовъ былъ изъ числа первыхъ нашихъ беллетристовъ, которые въ своихъ разсказахъ старались разрабатывать матеріалъ народныхъ сказаній и повѣрій въ болѣе или менѣе реальной формѣ, т.-е. стремились сохранить ихъ колоритъ и наивность. Онъ принималъ „народность“ близко къ сердцу

*) *О. Сомовъ.* «О романтической поэзіи. Опытъ въ трехъ статьяхъ». Спб. 1823 г., стр. 102.

и въ своей книжкѣ о романтизмѣ поставилъ себѣ цѣлью направить наше вниманіе на тѣ богатства, которыя кроются въ нашей старинѣ и которыми нужно воспользоваться именно въ интересахъ „народнаго“ нашего романтизма, а отнюдь не того подражательнаго, который ничего не даетъ для русскаго читателя.

Французская поэзія суха и холодна, говорилъ Сомовъ, и даже среди пресловутыхъ французскихъ классиковъ есть только одинъ хорошій — Парни. Мы дѣлаемъ грубѣйшую ошибку, когда смѣшиваемъ классицизмъ французскій съ античнымъ. Античный классицизмъ полонъ жизни и природа его разнообразна—это классицизмъ „народный“, „мѣстный“, согласный съ нравами и міросозерцаніемъ той страны, въ которой онъ родился; въ этомъ вся его свѣжесть и прелесть, которая отсутствуетъ во всѣхъ попыткахъ воскресить его. У старыхъ мастеровъ должно учиться, но подражать имъ не слѣдуетъ. Народной была и поэзія романтическая, въ тѣ годы, когда она пришла на смѣну классической; народной не перестаетъ она быть и въ наши дни въ тѣхъ странахъ, гдѣ она вытекла изъ жизни, гдѣ она развилась свободно. Словесность каждаго народа есть говорящая картина его нравовъ, обычаевъ и образа жизни—вотъ почему тщетны всѣ надежды возростить самобытную литературу на почвѣ подражанія, и мы русскіе должны наконецъ имѣть свою народную поэзію, въ которой бы отразились отличительныя черты характера нашей націи, какъ, напр., твердость духа, безропотное повиновеніе законнымъ властямъ, радушное гостепріимство и т. д. Сомовъ указываетъ затѣмъ на богатство нашей миѳологіи, на разнообразіе нашей природы, на обиліе всякихъ красотъ въ нашей древней исторіи— все это затѣмъ, чтобы пристыдить насъ и упрекнуть за то, что мы небрежно проходимъ мимо своихъ богатствъ, заглядываясь на чужія. Заимствованіе и подражаніе къ добру насъ не приведутъ: и безъ того въ нашей словесности замѣтно цѣлое наводненіе унылыми элегіями; вездѣ встрѣчаешь

унылыя мечты, желаніе неизвѣстнаго, утомленіе жизнью. Всѣ эти нѣмцеобразныя рапсодіи противны живому и пылкому русскому народу. Онъ долженъ же наконецъ сказать свое слово, и мы можемъ надѣяться: у насъ есть таланты, много обѣщающіе—таковъ юный Пушкинъ, въ вымыслахъ, языкѣ и выраженіи котораго уже раскрываются черты народныя.

Гораздо болѣе сдержанно, хотя въ этомъ же приблизительно духѣ, высказывался въ двадцатыхъ годахъ и князь Вяземскій въ своихъ критическихъ статейкахъ.

Сдержанность его тона и нѣкоторая недоговоренность въ его сужденіяхъ о подражаніи и „народности“ объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что по своему воспитанію и образованію самъ онъ былъ рѣдкимъ примѣромъ запоздавшаго классика, и, во-вторыхъ, тѣмъ, что онъ при широтѣ своего литературнаго образованія, лучше, чѣмъ кто-либо, понималъ, чѣмъ наша культура была обязана западнымъ литературнымъ теченіямъ. Вяземскій въ сущности былъ скорѣе историкъ, чѣмъ критикъ; для настоящаго критика у него не хватало темперамента, и слишкомъ трезвый и холодный разсудокъ уберегалъ его отъ крайностей, которыя въ разгарѣ борьбы не всегда бываютъ лишними. Онъ былъ живой свидѣтель исторіи развитія нашей словесности, начиная съ самыхъ первыхъ годовъ XIX вѣка; для него наши классики и сентименталисты были совсѣмъ родные люди, какъ позднѣе для него родными стали и молодые романтики двадцатыхъ годовъ, въ кругу которыхъ онъ — старшій годами — былъ принятъ на правахъ товарища. Рѣзко судить о нашемъ классицизмѣ и романтизмѣ онъ не могъ, въ силу его способности все понимать, во всемъ оттѣнять достоинство и на все смотрѣть спокойнымъ и уравновѣшеннымъ взглядомъ. Вотъ почему его критическія статьи, собранныя вмѣстѣ, и поражаютъ читателя нѣкоторой неопредѣленностью въ сужденіяхъ. Ласковое слово нашлось у него для всѣхъ: и для классиковъ XVIII вѣка, и для сентименталистовъ Карамзина и Жуковскаго, и для классиковъ болѣе новой формаціи,

какъ, напр., Озеровъ, наконецъ, и для романтиковъ. Онъ симпатизировалъ имъ всѣмъ, правильно измѣряя историческую стоимость каждаго; и никогда у него не повернулся бы языкъ сказать, что Карамзинъ устарѣлъ, что Дмитріевъ плохая копія съ плохихъ оригиналовъ или что Жуковскій навредилъ нашей словесности слишкомъ безотчетнымъ преклоненіемъ передъ нѣмцами. Быть можетъ, въ душѣ Вяземскій все это и чувствовалъ, но извѣстная корректность XVIII-го вѣка не позволяла ему въ данномъ случаѣ оттѣнить свою мысль какъ бы слѣдовало. Впрочемъ, и ему иногда приходилось проговариваться и онъ тогда говорилъ приблизительно то же, что и другіе критики, но говорилъ какъ бы въ скобкахъ.

„Очемъ мы хлопочемъ, кого отстаиваемъ?“ говоритъ Вяземскій по поводу разгорѣвшагося тогда спора между классиками и романтиками. „Имѣемъ ли мы литературу отечественную, уже пустившую глубокіе корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сей поры малое число хорошихъ писателей успѣло только дать нѣкоторый образъ нашему языку; но образъ литературы нашей еще не означился, не прорѣзался. Признаемся со смиреніемъ, но и съ надеждою: есть языкъ русскій, но нѣтъ еще словесности, достойнаго выраженія народа могучаго и мужественнаго *).

„Литература должна быть выраженіемъ характера и мнѣній народа“, пишетъ онъ въ другой статьѣ. „Судя по книгамъ, которыя у насъ печатаются, можно заключить, что у насъ или нѣтъ литературы, или нѣтъ ни мнѣній, ни характера; но послѣдняго предположенія и допустить нельзя. Дайте намъ авторовъ, пробудите благородную дѣятельность въ людяхъ мыслящихъ и—читатели родятся. Они готовы; многіе изъ нихъ и вслушиваются, но ничего отъ насъ дослышаться не могутъ, и обращаются поневолѣ къ тѣмъ, кои не лепечутъ, а говорятъ. Бѣда въ томъ, что писатели наши

*) «О Кавказскомъ плѣнникѣ», повѣсти А. Пушкина. Полное собраніе сочиненій кн. *П. А. Вяземскаго*», I, 74—75.

выпускаютъ мало ходячихъ монетъ. Радуйтесь пока, что хотя иностранныя сочиненія находятся у насъ въ обращеніи; пользуясь ими, мы готовимся познавать цѣну и своихъ богатствъ, когда писатели наши будутъ бить, изъ отечественныхъ рудъ, монету для народнаго обихода" *).

Въ извѣстной статьѣ „Вмѣсто предисловія къ „Бахчисарайскому фонтану". Разговоръ между издателемъ и классикомъ съ Выборгской Стороны или съ Васильевскаго Острова" [1824]—князь Вяземскій беретъ на себя боевую роль защитника новизны въ литературѣ противъ старыхъ традицій. Въ данномъ случаѣ онъ подъ новизной разумѣлъ поэзію „романтическую". Вяземскій стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что всякая поэзія, не насаженная извнѣ, а вырастающая органически на своей почвѣ, среди своего народа—всегда поэзія самобытная, будь она классическая, какъ въ древности, или романтическая, какъ въ настоящее время, въ Европѣ. Народность въ словесности заключена не въ правилахъ, а въ чувствахъ. „Отпечатокъ народности, мѣстности—вотъ что составляетъ, можетъ быть, главное существеннѣйшее достоинство древности и утверждаетъ ея право на вниманіе потомства. Гомеръ, Горацій, Эсхилъ имѣютъ гораздо болѣе сродства и соотношенія съ главами романтической школы, чѣмъ со своими холодными рабскими послѣдователями, кои силятся быть греками и римлянами заднимъ числомъ". Отсюда, повидимому, прямой выводъ, что подражать вообще никому не слѣдуетъ, ни старымъ, ни новымъ, и что современная романтическая литература русская, которую Вяземскій защищаетъ, также есть попытка быть заднимъ числомъ кѣмъ угодно, но только не самимъ собою. Вяземскій это понимаетъ, но принужденъ склониться передъ необходимостью. Онъ признаетъ, что мы, начиная съ Ломоносова, все только подражали, но что дѣлать, если пока нѣтъ своего? „Поэты современники наши, говоритъ онъ, не болѣе

*) «Замѣчаніе на краткое обозрѣніе русской литературы 1822 года». Полное собраніе сочиненій кн. *П. А. Вяземскаго*», I, 103.

грѣшны поэтовъ предшественниковъ. Мы еще не имѣемъ русскаго покроя въ литературѣ; можетъ быть, его и не будетъ, потому что его нѣтъ; но, во всякомъ случаѣ, поэзія новѣйшая, такъ называемая романтическая, не менѣе намъ сродна, чѣмъ поэзія Ломоносова или Хераскова, которую силятся выставить за классическую" *).

Взгляды Вяземскаго на народность, какъ видимъ, въ достаточной мѣрѣ скептичны. Въ его словахъ нѣтъ обычнаго тогда крика: долой иностранцевъ и да здравствуетъ свое національное; и эта сдержанность вполнѣ понятна въ немъ—въ человѣкѣ съ весьма развитымъ и требовательнымъ вкусомъ, съ большой литературной опытностью и вообще съ крайне осторожнымъ умомъ. Но что самъ Вяземскій предпочиталъ національное подражательному — въ этомъ едва ли можно сомнѣваться; онъ только не хотѣлъ увеличивать собою кругъ тѣхъ лицъ, которыя въ первыхъ росткахъ самобытной словесности готовы были видѣть уже осуществленіе своихъ ожиданій.

Полвѣка спустя, когда наша самобытная народная литература уже одержала побѣду надъ Европой, когда всякое подражаніе стало преданіемъ, Вяземскій въ 1876 году сдѣлалъ такую приписку къ одной изъ своихъ старыхъ критическихъ статей **), въ которой онъ разбиралъ вопросъ о романтизмѣ и классицизмѣ: „У насъ не было среднихъ вѣковъ, ни рыцарей, ни готическихъ зданій съ ихъ сумракомъ и своеобразнымъ отпечаткомъ, говорилъ онъ. Греки и римляне, грѣхъ сказать, не тяготѣли надъ нами. Мы болѣе слыхали о нихъ, чѣмъ водились съ ними. Но романтическое движеніе, разумѣется, увлекло и насъ. Мы въ подобныхъ случаяхъ очень легки на подъемъ. Тотчасъ образовались у насъ два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнѣе было то, что налицо

*) «Полное собраніе сочиненій кн. *П. А. Вяземскаго*». I, 169.

**) «О жизни и сочиненіяхъ В. А Озерова». «Полное собраніе сочиненій кн. *П. А. Вяземскаго*», I, 57.

не было ни настоящихъ классиковъ, ни настоящихъ романтиковъ: были одни подставные и самозванцы. Грѣшный человѣкъ, увлекся и я тогда разлившимся и мутнымъ потокомъ". Легко было такъ говорить о мутномъ потокѣ, когда онъ давно изсякъ, но въ двадцатыхъ годахъ, при желаніи имѣть свое „собственное" и при отсутствіи его, оставалось лишь кланяться направо и налѣво—и классикамъ и романтикамъ, что́ Вяземскій и дѣлалъ; разсуждая вполнѣ правильно, что писатели этихъ обоихъ направленій имѣли свои заслуги передъ нашей культурой.

Если Вяземскій былъ такъ остороженъ, какъ третейскій судья между „народностью" и подражаніемъ, то молодой его современникъ — Веневитиновъ былъ въ рѣшеніи этого вопроса выразителемъ самаго крайняго и очень оригинальнаго взгляда. Веневитиновъ былъ одаренъ большимъ критическимъ чутьемъ, и то малое, что онъ успѣлъ сдѣлать [а онъ умеръ двадцати двухъ лѣтъ] показываетъ, какую большую умственную силу мы въ немъ потеряли. Но онъ былъ преимущественно философъ-метафизикъ и потому очень склоненъ къ обобщеніямъ. Мало углубляясь въ факты, онъ предпочиталъ оперировать съ самыми общими формулами. Такую общую формулу примѣнилъ онъ и къ вопросу о самобытности нашей духовной жизни, и къ вопросу о томъ, какъ оградить намъ себя отъ подражанія. Мысли его заключены въ маленькой статейкѣ, въ которой онъ обсуждалъ планъ затѣяннаго имъ и его товарищами философскаго журнала.

„Какими силами подвигается Россія къ цѣли просвѣщенія? — спрашивалъ Веневитиновъ. Какой степени достигла она въ сравненіи съ другими народами на семъ поприщѣ, общемъ для всѣхъ? У всѣхъ народовъ самостоятельныхъ просвѣщеніе развивалось изъ начала, такъ сказать, отечественнаго; ихъ произведенія, достигая даже нѣкоторой степени совершенства и входя, слѣдственно, въ составъ всемірныхъ пріобрѣтеній ума, не теряли отличительнаго ха-

рактера. Россія все получила извнѣ; оттуда это чувство подражательности, которое самому таланту приноситъ въ даръ не удивленіе, но раболѣпство; оттуда совершенное отсутствіе всякой свободы и истинной дѣятельности... мы воздвигли мнимое зданіе литературы безъ всякаго основанія, безъ всякаго напряженія внутренней силы; мы, какъ будто предназначенные противорѣчить исторіи словесности, мы получили форму литературы прежде самой ея существенности. Вотъ положеніе наше въ литературномъ мірѣ—положеніе совершенно отрицательное. Что изъ того, что мода у насъ держится недолго? Давно ли сбивчивыя сужденія французовъ о философіи и искусствахъ почитались у насъ законами? И гдѣ же слѣды ихъ? Освобожденіе Россіи отъ условныхъ оковъ и отъ невѣжественной самоувѣренности французовъ было бы торжествомъ ея, если бы оно было дѣломъ свободнаго разсудка; мы отбросили французскія правила, не отъ того, что мы могли ихъ опровергнуть какою-либо положительною системою, но потому только, что не могли примѣнить ихъ къ нѣкоторымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ правила невѣрныя замѣнились у насъ отсутствіемъ всякихъ правилъ. Языкъ поэзіи обратился у насъ въ механизмъ, онъ сдѣлался орудіемъ безсилія, которое не можетъ себѣ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка".

„При семъ нравственномъ положеніи Россіи одно только средство представляется тому, кто пользу ея изберетъ цѣлью своихъ дѣйствій, — надобно бы совершенно остановить нынѣшній ходъ ея словесности и заставить ее болѣе думать, нежели производить".

Средство, какъ видимъ, радикальное, передъ неисполнимостью котораго Веневитиновъ, однако, не останавливается. „Надлежало бы, говоритъ онъ, нѣкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ, закрыть отъ взоровъ ея всѣ маловажныя происшествія въ

литературномъ мірѣ, безполезно развлекающія ея вниманіе, и, опираясь на твердыя начала философіи, представить ей полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой бы она видѣла свое собственное предназначеніе". Веневитиновъ рекомендуетъ для этого одно средство—философскій журналъ, который заставитъ насъ дѣйствовать собственнымъ умомъ, устранитъ насъ на время отъ настоящаго и, главное, сдѣлаетъ насъ самихъ предметомъ нашихъ разысканій. „Россія нуждается въ твердомъ основаніи изящныхъ наукъ и найдетъ сіе основаніе, сей залогъ своей самобытности, и, слѣдственно, своей нравственной свободы въ литературѣ, въ одной философіи, которая заставитъ ее развить свои силы и образовать систему мышленія". *).

Можно, конечно, только улыбнуться, читая, какъ этотъ восторженный философъ думалъ сразу остановить все развитіе нашей словесности и начать его вновь сначала, заставивъ нашу мысль предварительно пройти строгій и полный курсъ философіи, но значеніе словъ Веневитинова отъ этого не убавится—они ясно указываютъ на то, какъ критическая мысль того времени опережала наше словесное творчество, какъ люди умные были недовольны опекой надъ нами иностраннаго, какъ, наконецъ, имъ хотѣлось имѣть свою самобытную словесность, которая могла бы состязаться съ западной. И все это писалось и говорилось въ тѣ годы, когда власть западныхъ литературныхъ теченій достигала въ нашемъ словесномъ творчествѣ своего апогея. Ничѣмъ въ нашей литературѣ критика тогда не была довольна, и она была права не потому, что въ творчествѣ Жуковскаго, Пушкина, Языкова, Баратынскаго и другихъ не было ничего достойнаго восхваленія, а потому, что то, что этими художниками было создано, обѣщало въ дальнѣйшемъ оправданіе самыхъ смѣлыхъ надеждъ. Читая Жуковскаго, Пушкина и иныхъ, критикъ думалъ, какъ хорошо было бы, если

*) «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала». «Сочиненія *Д. В. Веневитинова*». Москва, 1831 г., II, 25—31.

бы эту силу употребить на разработку истинно-народнаго сюжета и истинно самобытнымъ способомъ.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ критика не менѣе настойчиво продолжала требовать все той же „народности", и мысли самыхъ авторитетныхъ критиковъ, при рѣзкомъ несогласіи во многихъ вопросахъ, совпадали именно въ этомъ— въ желаніи имѣть какъ можно скорѣе литературу, выросшую на русской почвѣ, пропитанную русскихъ духомъ и разрабатывающую русскіе сюжеты. Въ этомъ были согласны трое наиболѣе видныхъ литературныхъ судей начала 30-хъ годовъ—И. В. Кирѣевскій, редакторъ журнала „Европеецъ", Н. А. Полевой, редакторъ „Московскаго Телеграфа", и Н. И. Надеждинъ, редакторъ „Телескопа" — какъ видимъ, предсѣдатели всѣхъ главныхъ литературныхъ трибуналовъ того времени.

Взгляды Кирѣевскаго на назначеніе русской словесности тѣсно связаны съ его общими историко-философскими взглядами. Знаменитый нашъ славянофилъ былъ въ тридцатыхъ годахъ большимъ поклонникомъ Запада. Онъ стоялъ, въ интересахъ русскаго просвѣщенія, за наше тѣсное общеніе съ сосѣдями. Ему хотѣлось, чтобы китайская стѣна, которая отдѣляетъ Россію отъ Запада, скорѣе рушилась. Образованность наша должна возвыситься, говорилъ онъ, до европейской степени и наша обязанность содѣйствовать этому. Существуетъ одинъ важнѣйшій вопросъ для всѣхъ образованныхъ людей русскихъ: это вопросъ объ отношеніи русскаго просвѣщенія къ просвѣщенію остальной Европы; отъ его рѣшенія зависитъ вся совокупность нашихъ мыслей о Россіи, о будущей судьбѣ ея просвѣщенія и о нашемъ настоящемъ положеніи.

Кирѣевскій рѣшаетъ этотъ вопросъ не въ пользу тѣхъ лицъ, которыя говорятъ о просвѣщеніи національномъ, которыя не велятъ заимствовать и хотятъ возвратить насъ къ коренному и старинно-русскому. Все благоденствіе наше, думалъ Кирѣевскій, зависитъ отъ нашего просвѣщенія, а

искать у насъ національнаго значитъ искать необразованнаго; не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы его, если не изъ Европы?

Повидимому Кирѣевскій оставаясь послѣдовательнымъ, долженъ былъ стать рѣшительно въ ряды сторонниковъ всякаго подражанія, въ томъ числѣ и литературнаго. Но мысль Кирѣевскаго нельзя понимать такъ просто. Онъ соглашается, что мы смѣшны, подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ неловко и не вполнѣ. Когда наше сближеніе съ Западомъ станетъ болѣе тѣснымъ, тогда только и окажутся плодотворныя послѣдствія этого сближенія. Утраты національности намъ бояться нечего: наша религія, наши историческія воспоминанія, наше географическое положеніе, вся совокупность нашего быта столь отличны отъ остальной Европы, что намъ физически невозможно сдѣлаться ни французами, ни англичанами, ни нѣмцами. „До сихъ поръ національность наша была національность необразованная, грубая, китайски неподвижная. Просвѣтить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развитія можетъ только вліяніе чужеземное; и такъ какъ до сихъ поръ все просвѣщеніе наше заимствовано извнѣ, такъ только извнѣ можемъ мы заимствовать его и теперь, и до тѣхъ поръ, покуда поравняемся съ остальною Европой. Тамъ, гдѣ *обще-европейское* совпадетъ съ нашею *особенностью*, тамъ родится просвѣщеніе истинно русское, образованно національное, твердое, живое, глубокое и богатое благодѣтельными послѣдствіями“.

Мысль Кирѣевскаго стала теперь совсѣмъ ясна и для самолюбія нашего не обидна. Критикъ хочетъ сказать, что мы должны идти въ школу общечеловѣческую, усвоить себѣ все, что до насъ было сдѣлано въ области духа и, окончивъ этотъ курсъ ученія, сочетать это „общее“ съ тѣмъ „частнымъ“, которымъ мы одарены отъ природы. Не чужое эхо должны мы изображать собою, мы должны только обработать хорошо нашъ голосъ; теперь еще рано, но при-

детъ время, когда мы запоемъ свою пѣсню. А школа намъ пока не опасна, уже по одному тому, что въ настоящую минуту [т.-е. въ началѣ XIX вѣка] она учитъ очень хорошему.

А чему можетъ научить насъ современное просвѣщеніе Европы? спрашиваетъ Кирѣевскій, и на этотъ вопросъ у него есть отвѣтъ очень характерный и очень опредѣленный. Кирѣевскій начинаетъ съ того, что указываетъ, какъ вообще истинная поэзія въ его время на Западѣ пала, какъ *соотвѣтственность съ текущею минутою* стала первымъ требованіемъ, которое предъявляетъ общество писателю, какъ отъ этой погони за современностью понизился уровень творчества и какъ все указываетъ на то, что въ обществѣ начинаетъ преобладать исключительное стремленіе къ практической дѣятельности. Все это факты, повидимому, неутѣшительные, но Кирѣевскій изъ нихъ дѣлаетъ очень любопытный выводъ. „Неужели,—спрашиваетъ онъ,—въ этомъ стремленіи къ жизни дѣйствительной нѣтъ своей особенной поэзіи? Именно изъ того, что жизнь *вытѣсняетъ* поэзію, должны мы заключить, что стремленіе къ жизни и къ поэзіи *сошлись* и что, слѣдовательно, часъ для поэта жизни наступилъ. То же сближеніе жизни съ развитіемъ человѣческаго духа наблюдается и во всѣхъ остальныхъ сферахъ духовной дѣятельности человѣка. И философія открываетъ теперь новую цѣль и прокладываетъ новую дорогу. Она стремится къ истинному познанію, положительному, живому, составляющему конечную цѣль всѣхъ требованій нашего ума, и это познаніе не заключается въ логическомъ развитіи необходимыхъ законовъ нашего разума. Оно *внѣ* школьно-логическаго процесса, и потому *живое*; оно *выше* понятія вѣчной необходимости и потому *положительное*; оно существеннѣе математической отвлеченности, и потому *индивидуально-опредѣленное*, *историческое*. Это требованіе исторической существенности и положительности въ философіи сближаетъ весь кругъ умозрительныхъ наукъ съ жизнью и дѣйствительностью. То же стремленіе къ существенности, то же

сближеніе духовной дѣятельности съ дѣйствительностью жизни замѣтно въ настоящее время и въ религіи. Всѣ самыя разнообразныя современныя религіозныя партіи, которыя въ такомъ множествѣ волнуются теперь по Европѣ и которыя не согласны между собой во всемъ остальномъ, всѣ однакоже въ одномъ сходятся: въ требованіи бо̀льшаго сближенія религіи съ жизнью людей и народовъ. Это сближеніе замѣтно и на всей европейской образованности. Вездѣ господствуетъ направленіе чисто практическое и дѣятельно положительное: дѣло беретъ верхъ надъ системой, сущность надъ формою, существенность надъ умозрѣніемъ. Человѣкъ нашего времени уже не смотритъ на жизнь, какъ на простое условіе развитія духовнаго; но видитъ въ ней вмѣстѣ и средство, и цѣль бытія, вершину и корень всѣхъ отраслей умственнаго и сердечнаго просвѣщенія. Ибо жизнь явилась ему существомъ разумнымъ и мыслящимъ, способнымъ понимать его и отвѣчать ему, какъ художнику Пигмаліону его одушевленная статуя".

„Въ наше время всѣ важнѣйшіе вопросы бытія и успѣха таятся въ опытахъ дѣйствительности и въ сочувствіи съ жизнью общечеловѣческой, говоритъ Кирѣевскій, уже обращаясь прямо къ поэту, а потому поэзія, не проникнутая существенностью, не можетъ имѣть вліянія довольно обширнаго на людей, ни довольно глубокаго на человѣка".

Если это такъ, то наше общеніе съ западнымъ просвѣщеніемъ въ данную минуту, чѣмъ оно будетъ тѣснѣе, тѣмъ для насъ полезнѣе. Мы научимся цѣнить дѣйствительность и существенность, мечтательность перестанетъ искажать правильность нашего взгляда на жизнь, мы въ угоду старинѣ не будемъ жертвовать настоящимъ и сентиментальное и романтическое отношеніе къ жизни уступятъ трезвому взгляду на нее.

„Мы должны всему этому учиться, чтобы готовиться къ той роли, которая намъ предстоитъ, а вся наша роль въ будущемъ, а не въ настоящемъ. Судьба Россіи заключается

въ ея просвѣщеніи: оно есть условіе и источникъ всѣхъ благъ. Когда эти всѣ блага будутъ нашими, мы ими подѣлимся съ остальной Европой и весь долгъ нашъ заплатимъ ей сторицею. Пока мы можемъ спокойно усваивать себѣ умственныя богатства чужихъ странъ. Чужія мысли должны быть полезны только для развитія собственныхъ. Придетъ время, и мы будемъ имѣть и свою философію, которая должна будетъ развиться изъ нашей жизни, создаться изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ интересовъ *нашего* народнаго и частнаго быта. Когда и какъ, скажетъ время. Блестящее поприще открыто еще для русской дѣятельности; всѣ роды искусствъ, всѣ отрасли познаній еще остаются неусвоенными нашему отечеству, намъ дано еще надѣяться... А пока надо учиться".

Таковы общіе взгляды молодого Кирѣевскаго, высказанные имъ не всегда безъ противорѣчій на разныхъ страницахъ его критическихъ статей. Критикъ не систематизировалъ ихъ, но и въ этомъ разрозненномъ видѣ они показались нашей цензурѣ настолько оскорбительными для русскаго самолюбія, что она прикрыла журналъ, гдѣ они были напечатаны *).

Этими общими взглядами Кирѣевскаго опредѣляются и его сужденія о русской литературѣ. Заранѣе можно сказать, что къ этой литературѣ, живущей, главнымъ образомъ, насчетъ запада, онъ отнесется мягко, какъ къ ученику, который учится прилежно. Съ другой стороны, принимая во вниманіе его требованія, чтобы литература сближалась съ жизнью и съ дѣйствительностью, нельзя ожидать отъ него милостиваго отношенія къ классическимъ, сентиментальнымъ и романтическимъ традиціямъ. Наконецъ, зная его мысли о великомъ будущемъ нашей родины, можно

*) Всѣ эти взгляды взяты изъ разныхъ критическихъ статей Кирѣевскаго за періодъ отъ 1829—1830 г. См. «Полное собраніе сочиненій *И. В. Кирѣевскаго*», Москва. 1861 г. I, 72, 82, 83, 108—109, 67, 69, 71, 72, 137, 46, 33, 15.

быть увѣреннымъ, что свой оптимизмъ онъ проявитъ и въ отношеніи русской словесности. Дѣйствительно, критика его въ общемъ очень мягкая: въ ней нѣтъ вызывающаго, насмѣшливаго, не говоримъ уже—ругательнаго тона, которымъ иногда злоупотребляли его современники, какъ, напр., Полевой и Надеждинъ. Стоитъ только просмотрѣть „Обозрѣнія русской словесности за 1829 и 1831 годъ“, чтобы увидать, какъ Кирѣевскому непріятно сказать что-либо рѣзкое. Онъ для всѣхъ находитъ слова ободренія, въ комъ только видитъ искреннее желаніе служить литературѣ. Но эта мягкость не мѣшаетъ ему критически отнестись даже къ лицамъ, къ которымъ онъ питалъ большое уваженіе, и еще строже не къ отдѣльнымъ лицамъ, а къ литературѣ вообще. Отдавая все должное заслугамъ Карамзина, онъ опредѣляетъ причины, почему образъ его мысли, нѣкогда для Россіи столь плодотворный, сталъ для насъ теперь неудовлетворительнымъ; онъ видитъ причину этой неудовлетворительности въ томъ, что идеальная, мечтательная сторона человѣческой жизни, которую преимущественно развиваетъ поэзія нѣмецкая, оставалась у насъ еще невыраженной; онъ указываетъ на то, что люди, которые начали воспитаніе мнѣніями карамзинскими, съ развитіемъ жизни увидѣли неполноту ихъ и чувствовали потребность новаго. Для молодой Россіи нуженъ былъ Жуковскій. Его поэзія, хотя совершенно оригинальная въ средоточіи своего бытія [въ любви къ прошедшему], была, однакоже, мало оригинальна, Она передала намъ идеальность, которая составляетъ отличительный характеръ нѣмецкой жизни, и на этомъ роль ея кончилась. Лира Жуковскаго замолчала, но развитіе духа народнаго не могло остановиться. Народъ искалъ поэта. Народу необходимъ былъ наперсникъ, который бы сердцемъ отгадывалъ его внутреннюю жизнь, и въ восторженныхъ пѣсняхъ велъ дневникъ развитію господствующаго направленія, народу нуженъ былъ проводникъ народнаго самопознанія. И вотъ, явился Пушкинъ. „Въ его поэзіи со-

впалъ французскій сентиментализмъ съ нѣмецкимъ идеализмомъ и поэзія эта выражала собой стремленіе къ лучшей дѣйствительности. Сначала поэзія Пушкина была веселая, затѣмъ байронически разочарованная. Но въ обоихъ случаяхъ она выражала двѣ крайности. Между безотчетностью надежды и байроновскимъ скептицизмомъ есть однако середина: это—довѣренность въ судьбу и мысль, что сѣмена *желаннаго будущаго* заключены въ *дѣйствительности настоящаго*; что въ необходимости есть Провидѣніе; что если прихотливое созданіе мечты гибнетъ, какъ мечта, зато изъ совокупности существующаго должно образоваться лучшее прочное. Оттуда *уваженіе къ дѣйствительности*, составляющее средоточіе той степени умственнаго развитія, на которой теперь остановилось просвѣщеніе Европы и которая обнаруживается историческимъ направленіемъ всѣхъ отраслей человѣческаго бытія и духа".

И вотъ этого то уваженія къ дѣйствительности, или, выражаясь проще, этого правдиваго реализма, Кирѣевскій и не находилъ въ современной словесности. Хоть критикъ и отстаивалъ самобытность Пушкина противъ обвиненій, которыя на поэта сыпались за его „подражаніе" Байрону, хоть онъ и утверждалъ, что Пушкинъ уже почувствовалъ силу дарованія самостоятельнаго, свободнаго отъ посторонних вліяній, но все-таки Пушкинъ въ его глазахъ еще не оправдалъ всѣхъ надеждъ, которыя Кирѣевскій возлагалъ на истиннаго „поэта жизни"; и даже послѣ хвалебнаго разбора „Бориса Годунова" нашъ критикъ замѣтилъ, что Пушкинъ выше своей публики, но что онъ былъ бы еще выше, если бы былъ общепонятнѣе. „Своевременность—говорилъ Кирѣевскій, столько же достоинство, сколько красота, и „Промеѳей" Эсхила въ наше время былъ бы анахронизмомъ, слѣдовательно ошибкой".

О литературѣ же нашей вообще, безъ отношенія къ какой бы то ни было личности, Кирѣевскій говорилъ болѣе строго. Общій характеръ всѣхъ первоклассныхъ стихотворцевъ на-

шихъ, а слѣдовательно, и характеръ нашей текущей словесности вообще, выражается въ сочетаніи „собственнаго“ съ вліяніемъ шести чужеземныхъ поэтовъ: Гете, Шиллера, Шекспира, Байрона, Мура и Мицкевича. Это добрый знакъ для будущаго, говоритъ Кирѣевскій. А для настоящаго? Очевидно, что даже въ отношеніи къ первокласснымъ стихотворцамъ Кирѣевскій объ этомъ настоящемъ былъ не особенно высокаго мнѣнія. Что же касается литературы вообще, какъ всего итога дѣятельности писателей, то нашъ критикъ видѣлъ въ ней нѣчто совсѣмъ не самобытное, а продуктъ соединеннаго вліянія почти всѣхъ словесностей. „Нѣмецкое и французское вліяніе у насъ господствуютъ, говорилъ онъ, замѣтно много мотивовъ Байрона и Оссіана, вліяютъ также и подражанія древнимъ, Италія имѣетъ среди насъ своихъ представителей въ видѣ Нелединскаго и Батюшкова. Все это живетъ вмѣстѣ, мѣшается, роднится, ссорится и обѣщаетъ литературѣ нашей характеръ многосторонній, когда добрый геній спасетъ ее отъ безхарактерности“. Изъ словъ Кирѣевскаго, однако, видно, что пока еще такого добраго генія среди насъ не имѣется. „Будемъ же безпристрастны, говоритъ онъ, и сознаемся, что еще нѣтъ полнаго отраженія умственной жизни народа; у насъ еще нѣтъ литературы. Но утѣшимся, у насъ есть благо, залогъ всѣхъ другихъ: у насъ есть надежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества! А пока всѣ движенія нашей словесности похожи на нестройныя движенія распеленатаго ребенка, движенія, однако, необходимыя для развитія силы, для будущей красоты и здоровья *)“.

Таковы взгляды Кирѣевскаго на наше литературное движеніе того времени: все у насъ въ будущемъ, а въ настоящемъ только намеки. Настоящая народность еще должна появиться, и мы пока въ ожиданіи истиннаго „поэта нашей жизни“.

*) Полное собраніе сочиненій *И. В. Кирѣевскаго*, I, 22, 23, 24, 14, 94, 43, 38, 44, 19.

Гораздо болѣе суроваго и язвительнаго судью, вооруженнаго далеко не такой глубокой мыслью, какъ Кирѣевскій, но языкомъ болѣе острымъ, нашла себѣ наша молодая словесность въ Н. А. Полевомъ. Положеніе его въ данномъ случаѣ было трудное; онъ былъ признанный и самый откровенный защитникъ „романтизма“, т.-е. всего новаго въ западной словесности его времени. Его журналъ „Московскій Телеграфъ“ былъ проводникомъ этого западнаго романтизма у насъ въ Россіи; всѣ самыя злыя статьи противъ враговъ романтики были написаны имъ и его сотрудниками и ему же пришлось теперь творить свой судъ и расправу надъ учениками тѣхъ самыхъ учителей, которымъ онъ поклонялся. Онъ это сдѣлалъ со свойственной ему откровенностью, выясняя значеніе западныхъ мастеровъ, защищая ихъ отъ разныхъ нелѣпыхъ нападокъ, которымъ они подвергались со стороны слишкомъ ярыхъ поборниковъ всего національнаго, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ же былъ и свирѣпымъ гонителемъ всякаго подражанія. И у него, несмотря на его преклоненіе передъ западомъ, была завѣтная мысль о народной русской словесности, о „самобытномъ“, которое онъ искалъ въ текущей словесности съ терпѣніемъ муравья и которое стремился, но съ малой удачей создать самъ въ своихъ повѣстяхъ и драмахъ.

Когда онъ говорилъ о старикахъ, о классикахъ, даже о сентименталистахъ, онъ, конечно, не испытывалъ никакого стѣсненія въ мысляхъ и рѣчи: онѣ были его добычей, и онъ расправлялся съ ними жестоко и смѣло. Надобно было быть смѣлымъ, чтобы написать такую статью, которую онъ написалъ о Дмитріевѣ, въ годы, когда Дмитріевъ былъ еще литературной иконой. И Полевой попалъ вѣрно; старому классику было отведено подобающее мѣсто; судъ былъ произнесенъ не только надъ нимъ, но и надъ всѣми, кто съ нимъ во главѣ думалъ такъ неумѣло воскресить классическое въ XIX вѣкѣ. Полевой у Дмитріева отнялъ сразу право на званіе поэта, онъ же назвалъ его космополитомъ,

въ твореніяхъ котораго нѣтъ ничего русскаго, ни по уму, ни по языку. Критикъ вышутилъ классическую литературную традицію, всѣхъ этихъ цыганокъ, восклицающихъ „Эвое!“ въ Марьиной рощѣ, всѣхъ этихъ пернатыхъ сиренъ на Волгѣ, и онъ подъ своими шутками похоронилъ и маститаго старца Ивана Ивановича, и его родственника, продолжителя семейныхъ литературныхъ традицій — Михаила Александровича Дмитріева, надъ которымъ онъ издѣвался, какъ надъ мальчишкой *).

Въ сужденіяхъ о новыхъ писателяхъ романтикахъ приходилось, конечно, быть болѣе сдержаннымъ въ отзывахъ, такъ какъ въ данномъ случаѣ были затронуты интересы самого критика. Онъ любилъ романтиковъ истинныхъ, западныхъ. Когда Надеждинъ обрушился на нихъ своею тяжеловѣсною диссертаціей, Полевой поднялъ перчатку. Въ очень остроумной, самой своей злой, статьѣ принялся онъ метать ядовитыя стрѣлы противъ своего врага и попадалъ вѣрно. Мѣрить западныя литературныя теченія аршиномъ прописной морали и реторическаго патріотизма, какъ это дѣлалъ Надеждинъ—Полевой считалъ непорядочнымъ и неумнымъ пріемомъ со стороны критика. Онъ видѣлъ—и справедливо—нѣкоторую нечистоплотность въ частыхъ указаніяхъ Надеждина на французскую революцію, какъ на источникъ романтическаго настроенія, и полагалъ, что клеймить Байрона клеймомъ Каина надо предоставить кому угодно, но только не литератору **).

Съ горячностью отстаивая всѣхъ великихъ художниковъ романтической школы на западѣ, Полевой поглядывалъ однако очень косо на ихъ русскихъ учениковъ. Самый сильный изъ этихъ учениковъ, съ которымъ Полевому при-

*) Статьи: «Сочиненія И. И. Дмитріева» и «Стихотворенія Михаила Дмитріева». «Очерки русской литературы» *Н. Полевого*. Спб., 1839, II, 451—482, II, 439—447.

**) Статья «О началѣ, сущности и участи поэзіи, романтической называемой. Сочиненіе Н. Надеждина». «Очерки русской литературы». *Н. Полевого* II, 284—298.

шлось сводить свои счеты, былъ Жуковскій. Оцѣнить его поэзію вѣрно и безпристрастно, опредѣлить точно его значеніе для Россіи было въ тѣ времена очень трудно, какъ вообще трудно писать о живыхъ, еще въ полномъ цвѣту находящихся, писателяхъ, портретъ которыхъ нужно, однако, нарисовать съ соблюденіемъ исторической перспективы.

Полевой не убоялся трудности, и статья вышла справедливая, но строгая и выдержанная въ спокойномъ, для Полевого рѣдкомъ, ровномъ тонѣ. Она помимо цѣнности критическихъ взглядовъ, въ ней высказанныхъ, замѣчательна и по тому историческому взгляду, который проведенъ въ ней. „Въ наше время годами проживаютъ десятки лѣтъ — говорилъ критикъ. Духъ испытательности сорвалъ съ глазъ нашихъ всѣ повязки, развилъ въ душахъ нашихъ новыя, невѣданныя отцамъ нашимъ струны. Наступило и время суда надъ Жуковскимъ. Заслуги его велики и говоря о немъ, никогда не должно забывать, что мы теперь выросли и усвоили всѣ духовныя богатства запада. Чтобы судить Жуковскаго, надо быть и критикомъ, и историкомъ. Онъ явился среди насъ въ безцвѣтную эпоху нашей словесности. Онъ замыкалъ собою тотъ періодъ свѣтскости, любезности, невѣрныхъ, но положительныхъ понятій, періодъ сентиментальный и лощеный, когда не было различія между переводомъ и сочиненіемъ, не было слова о народности, когда никто не прислушивался къ родному голосу... Въ этотъ періодъ безцвѣтный и несамобытный, когда мы отъ кафтановъ переходили къ фракамъ, отъ Корнеля къ Дюсисамъ, когда единственнымъ лучшимъ памятникомъ вѣка, со всѣми признаками тогдашняго образованія, была „Исторія Государства Россійскаго“; когда самыя великія явленія Европы оставались неизвѣстными и никто объ этомъ не безпокоился; когда все было усыпано эпиграммами, мадригалами акростихами, баснями, тріолетами, романсами, рондо, дистихами, которые писались на розовыхъ листочкахъ — въ это время явился на сцену Жуковскій и съ нимъ вмѣстѣ живое

чувство и идеальный взглядъ на жизнь. Онъ сталъ у насъ проводникомъ не щегольской, а истинной меланхоліи, пѣвцомъ неопредѣленнаго, очень искренняго, но неглубокаго чувства, которое одушевляетъ лишь юношу мечтателя. И даже языкъ, на которомъ этотъ юноша изъяснялъ любовь свою чужестранкѣ, даже этотъ языкъ былъ невѣренъ, ошибоченъ, хотя и пламененъ. Жуковскій взялъ его у нѣмцевъ, да и самъ поэтъ очень скоро, послѣ краткой вспышки „собственной“ поэзіи, превратился въ смиреннаго переводчика и подражателя. Ходъ развитія его идей остановился, онъ застылъ задумчивымъ мечтателемъ, любовникомъ всего прекраснаго въ мірѣ, безотчетно мечтающимъ о небѣ и недоступнымъ высокому міру фантазіи, какой развили для насъ питомцы Шекспира и философіи, германская и англійская новѣйшія музы. Однообразіе мысли Жуковскій замѣнялъ только разнообразною формою стиха. Какъ за двадцать лѣтъ не зналъ онъ національности русской, когда писалъ „Марьину рощу“ и старался обрусить Ленору, такъ онъ и въ тридцатыхъ годахъ остался незнакомъ съ этой національностью, пересказывая на русскій ладъ сказку Перро о спящей царевнѣ. Принято думать, что Жуковскій представитель современнаго романтизма. Это невѣрно; онъ былъ представителемъ только одной изъ идей его и міръ новаго романтизма проходилъ и проходитъ мимо него такъ, что онъ едва успѣваетъ схватить и разложить одинъ изъ лучей, какими этотъ романтизмъ осіялъ Европу. Чего же Жуковскому недоставало? Въ прозѣ—идей; въ стихахъ—глубины восторга, но звуки его были прелестны. Читая созданія Жуковскаго, вы не знаете: гдѣ родился онъ, гдѣ поетъ онъ? хочетъ ли онъ передать вамъ чужое, оно обращается въ его собственное; собственныя же созданія Жуковскаго, напротивъ, до такой степени *космополитны* въ мірѣ литературномъ, что едва отличите вы ихъ отъ переводовъ. При такомъ направленіи эта поэзія и не могла быть народной и народности нечего искать у Жуковскаго. Онъ живетъ ду-

хомъ не на землѣ и что ему въ положительныхъ земныхъ формахъ?“ *).

Произнеся такой строгій судъ надъ старикомъ, Полевой совсѣмъ иначе отнесся къ его великану наслѣднику. Въ одной изъ своихъ статей критикъ далъ цѣлый историческій очеркъ развитія творчества Пушкина. Онъ судилъ поэта, если не всегда вѣрно, то все таки объективно. Онъ привѣтствовалъ „Руслана“, какъ блестящее прекрасное начало, въ которомъ хотя и не было тѣни народности но зато были краски. Онъ ставилъ Пушкину въ заслугу, что онъ не увлекся тогдашнимъ классическимъ громкословіемъ и не замечтался въ блѣдныхъ подражаніяхъ Жуковскому. Положимъ, что свѣтское карамзинское образованіе тяготѣло надъ его дѣтствомъ, и Байронъ былъ игомъ его юности, но Пушкинъ отъ этихъ опекуновъ скоро избавился. Онъ заплатилъ, впрочемъ, довольно дорого за свое увлеченіе Байрономъ: блѣденъ и ничтоженъ былъ его „Кавказскій плѣнникъ“, нерѣшительны его „Бахчисарайскій фонтанъ“ и „Цыгане“ и легокъ „Евгеній Онѣгинъ“ — русскій снимокъ съ лица Донъ-Жуанова, какъ кавказскій плѣнникъ и Алеко были снимками съ Чайльдъ-Гарольдова лица. Но съ каждымъ шагомъ Пушкинъ становился выше, самобытнѣе, разнообразнѣе и единство его генія прояснялось болѣе и болѣе. Ростъ его таланта всего яснѣе сказался на отдѣльныхъ пѣсняхъ „Евгенія Онѣгина“. Первая глава пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена поэзіи; вторая впадаетъ въ мелкую сатиру, но въ третьей Татьяна уже есть идея поэтическая; четвертая облекаетъ ее еще болѣе увлекательными чертами; пятая—сонъ Татьяны—довершаетъ поэтическое очарованіе; въ шестой поэтъ снова впадаетъ въ тонъ насмѣшки, эпиграмму, и то же слѣдуетъ въ седьмой, но поединокъ Ленскаго съ Онѣгинымъ искупаетъ все, а въ восьмой послѣднее изображеніе Татьяны показываетъ, какъ возмужалъ поэтъ

*) Статья: «Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго». «Очерки русской литературы». *Н. А. Полевого*, I, 95—144.

семью годами... Идея народности появляется наконецъ въ „Полтавѣ“, и Русь отзывается сквозь байроновскую оболочку даже въ „Братьяхъ Разбойникахъ“. А сколько у Пушкина художественныхъ мелкихъ стихотвореній и сколько чисто народнаго въ его „Вступленіи къ Руслану“, въ „Женихѣ“ и „Утопленникѣ“! Пушкину не чуждо было и есть все, что волновало, двигало, тревожило нашъ разнообразный вѣкъ. Всего болѣе онъ подчинялся могуществу Байрона, но и другія силы романтизма ярко отражались на немъ: баллада испанская, нѣмецкая, поэзія восточная и библейская, эпопея и драма романтическая, разнообразіе юга и сѣвера вдохновляли его лиризмъ, стремящійся къ эпопеѣ и драмѣ. Все это, выражая характеръ современности, составляя характеръ Пушкина, должно было напослѣдокъ привести его къ драмѣ и роману. Романъ ему не удался, какъ прозаическое отдѣленіе, но онъ создалъ „Бориса Годунова“, который удовлетворилъ бы всѣмъ условіямъ настоящей исторической и самобытной драмы, если бы Карамзинъ своимъ освѣщеніемъ эпохи Бориса не сбилъ поэта съ толку *).

Воздавъ такую хвалу Пушкину, Полевой остался все-таки при своемъ мнѣніи, что наша словесность пока еще переживаетъ періодъ младенчества. Въ своихъ фельетонахъ, которые Полевой помѣщалъ въ „Телеграфѣ“ подъ разными заглавіями и которые потомъ объединилъ въ шести томахъ „Новаго живописца общества и литературы“, онъ, пользуясь правомъ не называть никого по имени, далъ цѣлый рядъ памфлетовъ, въ которыхъ осмѣивалъ нашу литературную братію того времени. Памфлетами были иногда и его критики въ самомъ журналѣ. Доставалось всѣмъ, и молодымъ, и старымъ, и доставалось главнымъ образомъ все за ту же страсть къ подражанію. Все прильнуло къ намъ снаружи, говорилъ онъ. Мнѣнія русскихъ классиковъ, какъ и русскихъ романтиковъ, представляютъ нелѣпую смѣсь,

*) Статья «Борисъ Годуновъ», «Сочиненіе А. С. Пушкина. Очерки русской литературы» *Н. Полевого* I, 160—188.

разнородную странную сложность противорѣчій. „Наши романтики большею частью показываютъ тоже дѣтство образованія, какое видимъ въ нашихъ классикахъ, дѣтство, повторяю, ибо все, что мы замѣчаемъ смѣшного въ тѣхъ и другихъ, совсѣмъ не доказываетъ, чтобы наши классики и романтики были злые люди и глупцы: нѣтъ, это недоученыя дѣти, такъ какъ и наше русское [литературное] образованіе еще не вышло изъ пеленокъ и едва, едва ходитъ на помочахъ, нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ, схоластическихъ, всякихъ—только не самобытныхъ русскихъ *)". На нашемъ Парнассѣ толкутся—какъ говорилъ критикъ—разные Ѳеокритовы, Шолье Андреевы, Гамлетовы, Анакреоновы, Обезьянины, Демишиллеровы **), пишутъ они въ стихахъ и въ прозѣ — и толку отъ нихъ никакого. Всѣ эти Талантины, Аріостовы, Оріенталины, Эпитетины витаютъ мечтой, кто на востокѣ, кто на западѣ, кто любитъ пальму Ливанона, кто испанскій романсъ, кто Петрарку, кто Шиллера за его романсъ „Kennst du das Land", кто, наконецъ, бредитъ народностью и думаетъ, что будетъ истинно самобытенъ, если напишетъ романъ, въ которомъ Наполеона русская баба бьетъ башмакомъ и гдѣ у маршала Нея голодная кошка выхватываетъ жареную ворону... Чужое надо намъ, какъ образецъ; отчего же и не составить планъ новой поэмы: основаніе взять изъ Гяура, дѣйствіе перенести на Кавказъ, началомъ сдѣлать разговоръ Ромео и Юліи, и потомъ вывести Миньону, похищенную черкесами? ***).

Всего ядовитѣе и злѣе бывала шутка Полевого, когда онъ направлялъ ее противъ всевозможныхъ попытокъ молодой поэзіи создать насильственно во что бы то ни стало что нибудь „народное" и „самобытное". Эта „народность"

*) «Очерки русской литературы» *Н. Полевого* II, 286, 288.

**) «Новый живописецъ общества и литературы». Москва, 1832 г., II, 181. «Поэтическая чепуха».

***) «Новый живописецъ общества и литературы», IV, 202—204. «Бесѣда у молодого литератора или старымъ бредитъ новизна».

была для самого Полевого вопросомъ больнымъ: онъ самъ изо всѣхъ силъ старался быть въ своемъ творчествѣ русскимъ по преимуществу, и собственная неудача озлобляла его противъ другихъ — надо признаться не болѣе счастливыхъ—конкурентовъ.

Что онъ самъ понималъ подъ словомъ „народность". это изъ его рѣчей не вполнѣ ясно: слово „народность" онъ произносилъ часто, обставлялъ его пышными эпитетами, но изъ его же собственной критической оцѣнки Онѣгина мы могли видѣть, что онъ не всегда обладалъ этимъ чутьемъ народности. Одно не подлежитъ сомнѣнію: и онъ былъ недоволенъ направленіемъ текущей русской словесности и понималъ, что наше творчество — за исключеніемъ развѣ поэзіи Пушкина — расходится съ русской дѣйствительностью, вмѣсто того, чтобы съ нею сближаться. Продумавъ надъ этимъ вопросомъ много лѣтъ, онъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ, уже послѣ Пушкина и послѣ выхода въ свѣтъ всѣхъ повѣстей Гоголя, пришелъ къ такому безотрадному выводу: „Народность бываетъ двоякая, писалъ онъ, всѣ народы испытываютъ первую — не всѣ достигаютъ до второй. Первая народность та, которую можно назвать дѣтскимъ возрастомъ каждаго народа. Климатъ, мѣстность, происхожденіе, обстоятельства придаютъ особенную физіономію самому дикому и первобытному обществу... Но есть и высшая народность; она не можетъ быть создана; она создается сама собою, какъ создается сами собою, исторически, временемъ, изъ народовъ государства и изъ множества народныхъ жизней самобытная жизнь государственная. Стремясь къ сей цѣли. народы переходятъ періодъ подражанія чужеземцамъ—стараніе переработать въ свою самобытность хорошее чужое— и потомъ періодъ тщетныхъ усилій образовать систематически свою народность въ литературѣ... Мы русскіе, мы дошли до эпохи государственной народности и она создается у насъ трудами правительства и нашею исторіею, въ государственныхъ постановленіяхъ, нравахъ, обычаяхъ, законахъ

гдѣ всюду появляется русскій самобытный духъ добрый, сильный, православный. Но словесность наша едва только касается сего періода. Она только что перешла періодъ подражанія, кипитъ, какъ ключъ подъ землею, новою самобытностью, но ключъ еще не пробился на поверхность... Время, когда насильно стараются создать народную словесность, при высшей государственной гражданственности, представляетъ всегда усилія безплодныя и нерѣдко забавныя. Мы теперь находимся въ такомъ времени. Самая простая и обольстительная идея прежде бросается въ глаза: обратиться къ первобытной народной поэзіи. Но это все равно, что завернуть взрослаго въ пеленки и завязывать его покромками". И съ большой грустью Полевой заканчиваетъ свою статью словами: „И кто знаетъ будущее? оно такъ обманчиво: сколько было прекрасныхъ началъ, по которымъ мы ворожили счастье и богатство нашей словесности? А чѣмъ кончалось? скучнымъ ничтожествомъ" *).

Совсѣмъ иначе смотрѣлъ на будущее современникъ Полевого и его большой противникъ Н. И. Надеждинъ. Полевой былъ рыцарь романтизма, осужденный карать его слабыхъ адептовъ; Надеждинъ былъ защитникъ классицизма—воспитанный на немъ и ожидавшій отъ него спасенія для нашей юной словесности. Но какъ бы эти два критика ни ссорились, они сходились въ одномъ: въ недовольствѣ современнымъ имъ положеніемъ дѣлъ на литературномъ рынкѣ.

Критическіе взгляды Надеждина выражены очень ясно въ отрицательныхъ положеніяхъ и очень неопредѣленно и неясно въ положеніяхъ утвердительныхъ. Критикъ безъ стѣсненія, иногда даже неприлично, разноситъ своихъ враговъ, но когда ему приходится говорить о томъ, что онъ желалъ бы видѣть на мѣстѣ разрушеннаго, онъ теряется въ общихъ словахъ и мысль замѣняетъ патетической реторикой.

*) Статья «Чарп». Сцены изъ народныхъ былей и разсказовъ малороссійскихъ. «Очерки русской литературы», *Н. А. Полевого*. II, 483—487, 510.

У Надеждина былъ одинъ непримиримый врагъ, это—современное ему западное романтическое движеніе и преимущественно его выраженіе во французскомъ романтизмѣ и байронизмѣ; къ нѣмцамъ онъ былъ болѣе снисходителенъ, хотя и поругивалъ Гете за его „Фауста“. Но въ своей брани на романтизмъ Надеждинъ не зналъ границъ. Въ этой брани было кое-что и вѣрнаго, но въ общемъ она указывала на малое эстетическое пониманіе и развитіе критика.

„Романтизмъ въ настоящее время, разсуждалъ Надеждинъ, совершенный анахронизмъ. Беззаботное удальство, заставлявшее нѣкогда рыцарей мыкаться по бѣлому свѣту и доискиваться приключеній, нынѣ возбуждаетъ не почтительное изумленіе, но улыбку сожалѣнія, если еще не презрѣнія. Тоскливыя жалобы и грустныя томленія безутѣшной мечтательности сами нагоняютъ тоску, и не вымаливаютъ привѣтный отзывъ изъ оглушаемаго ими серца. Если человѣкъ нынѣ не такая уже неподвижная статуя, каковою представлялся онъ въ панорамѣ поэзіи классической, то, конечно, не такой же летучій змѣй—игралище буйныхъ вихрей необузданнаго произвола, носимое по безмѣрнымъ пустынямъ фантастическаго міра, каковымъ его изображала романтическая поэзія... Чтобы воскресить нынѣ эту поэзію, надлежало бы измѣнить весь настоящій порядокъ вещей и воззвать къ жизни святую старину среднихъ вѣковъ, и право смѣшно заставлять теперь поэтическую фантазію безпрестанно скитаться со странствующими рыцарями по вертепамъ колдуновъ, страшилищъ и привидѣній, какъ безсмысленно и смѣшно принуждать ее вертѣться до упаду вокругъ Иліонскихъ стѣнъ и отпѣвать безконечную фамилію Атридовъ и Пріамидовъ... И зачѣмъ намъ все это, когда наше время значительно выше во всѣхъ смыслахъ временъ прошлыхъ? Человѣкъ классическій былъ покорный рабъ влеченія животной своей природы; человѣкъ романтическій былъ своенравный самовластитель движеній своей природы. И тамъ, и здѣсь упирался онъ въ крайности, или какъ не-

вольникъ вещественной необходимости, или какъ игралище призраковъ собственнаго своего воображенія, но нашъ вѣкъ выше всего этого: онъ стремится къ соединенію сихъ двухъ крайностей чрезъ упроченіе,—освященіе узъ общественныхъ, и существенный характеръ періода, въ которомъ живемъ мы, это возвышеніе и просвѣтленіе гражданственности. Въ этомъ-то гражданскомъ смыслѣ и вреденъ нынѣ романтизмъ: самонравная покорность своимъ прихотямъ, мечтамъ и страстямъ, составлявшая душу временъ романтическихъ въ настоящее время есть преступное буйство; романтизмъ—славословіе порока и грѣха, онъ явная несправедливость и клевета на природу человѣческую, которая устроена такъ, что всѣ частные ея разногласія и перекоры спасаются во всеобщей гармоніи. А что силится прославить современная романтика? Жалкія и отвратительныя судороги бытія: наша романтическая поэзія есть лобное мѣсто—настоящая торговая площадь. Мы охотнѣе позволимъ неподвижнымъ статуямъ, выписаннымъ изъ древняго міра, истязать слухъ нашъ чиннымъ разглагольствованіемъ, чѣмъ представлять взорамъ нашимъ жизнь человѣческую въ столь ужасныхъ конвульсіяхъ или со столь отвратительными гримасами. Это лжеромантическое неистовство способно совратить даже великаго генія. Примѣръ тому знаменитый Байронъ: онъ представляетъ плачевный примѣръ того всегубительнаго эгоизма, который, ярясь на все, добирается, наконецъ, до себя самого и истребивъ собственное бытіе, низвергается съ шумомъ въ мрачную бездну ничтожества. Онъ родственникъ Вольтера, этого выродка подновленнаго фальшиваго классицизма. Байронъ и Вольтеръ — двѣ зловѣшія кометы, производившія и производящія доселѣ сильное и пагубное давленіе на вѣкъ свой и они, несмотря на ихъ видимое другъ отъ друга различіе, только отсвѣчиваютъ мрачное пламя одной и той же эсѳетической преисподней; британскій ненавистникъ показываетъ ужасный примѣръ души, которая, закатившись въ безпредѣльную бездну самой себя, обруши-

вается собственною тяжестью глубже и глубже до тѣхъ поръ, пока, оглушенная безпрерывнымъ риновеніемъ, ожесточается злобною лютостью противъ всего сущаго и изрыгаетъ собственное свое бытіе въ святотатскихъ хулахъ съ неистовыми проклятіями".

„Если таковъ самъ Байронъ, то что же сказать объ его подражателяхъ: объ этихъ весеннихъ мошкахъ, съ ихъ писклявыми жалобами и кислыми гримасами на все, не исключая своей человѣческой природы? О, времена! о, нравы! *)".

А кто опредѣлитъ сколько нанесла вреда эта романтическая поэзія намъ русскимъ? Мы теперь безъ ума отъ нея, и что же такое наша изящная словесность?

„Въ политическомъ состояніи отечества нашего все обстоитъ благополучно. Подъ благодатною сѣнью Промысла, при отеческихъ попеченіяхъ мудраго правительства, мать святая Русь исполинскими шагами приближается неукоснительно къ своему величію... Но наше просвѣщеніе и преимущественно наша литература, составляющая цвѣтъ народной образованности? Можно ли указать въ толпѣ безчисленныхъ метеоровъ, возгорающихся и блуждающихъ въ нашей литературной атмосферѣ, хоть одинъ, въ коемъ бы открывалось таинственное пареніе генія въ горнюю страну вѣчныхъ идеаловъ? — даромъ что мы перечитали всѣ нѣмецкія эсѳетическія теоріи о поэзіи. По сю пору, говоритъ критикъ, близорукій взоръ мой, преслѣдуя неизслѣдимыя орбиты хвостатыхъ и безхвостыхъ кометъ, кружащихся на нашемъ небосклонѣ, сквозь обливающій ихъ чадъ, могъ различить только то одно, что всѣ онѣ влекутся, силою собственнаго тяготѣнія, въ туманную бездну пустоты или въ страшный хаосъ".

„Нашъ Парнассъ не трудно спутать съ желтымъ домомъ. Богъ судья покойному Байрону. Его мрачный сплинъ зара-

*) «О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи» [отрывокъ изъ диссертаціи *Н. И. Надеждина* 1830 г.] — перепечатано въ полномъ изданіи сочиненій Бѣлинскаго. *С. А. Венгерова*, I, 501—511.

зилъ всю настоящую поэзію и преобразилъ ее изъ улыбающейся хариты въ окаменяющую медузу. Всѣ наши доморощенные стиходѣи, стяжавшіе себѣ лубочный дипломъ на имя поэтовъ, загудѣли à la Byron“ *).

„Нельзя, конечно, отрицать, что сближеніе съ Европой принесло намъ великую неоцѣненную пользу; оно вдвинуло насъ въ составъ просвѣщеннаго міра, но за это мы заплатили весьма дорого; мы стали пересаживать къ себѣ цвѣты европейскаго просвѣщенія, не заботясь, глубоко-ль они пустятъ корни и надолго ли примутся. Это иногда удавалось: и отсюда тѣ блестящія, необыкновенныя явленія, кои изумляютъ наблюдательность, блуждающую въ пустычяхъ нашей словесности. Сіи явленія суть или переводы, или подражанія: они не самородныя русскія, хотя часто имѣютъ русское содержаніе и составлены изъ чисто русскаго матеріала. Такъ растенія иноземныя, лелѣемыя въ нашихъ садахъ, питаются русскимъ воздухомъ, сосутъ русскую почву, а все не русскія! Тяжело, а должно признаться, что доселѣ наша словесность была, если можно такъ выразиться, барщиной европейской; она обработывалась руками русскими не по-русски; истощала свѣжія неистощимыя силы юнаго русскаго духа для воспитанія произрастеній чуждыхъ... Благодатный весенній возрастъ словесности, запечатлѣваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободною естественностью и оригинальною самообразностью, у насъ, напротивъ, обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной принужденности. Всѣ наши литературныя направленія весьма быстро выцвѣтали: отцвѣли Ломоносовъ и классицизмъ; Карамзинъ съ его незабудками, розами, горленками и мотыльками. Зазвучали серебряныя струны арфы Жуковскаго, настроенныя нѣмецкою мечтательною музою, и все бросилось подстраиваться подъ тонъ, имъ заданный: фантазія переселилась на кладбище, мертвецы и вѣдьмы по-

*) «Литературныя опасенія за будущій годъ». Статья *Н. И. Надеждина*, 1828 г. Перепечатана у *Венгерова*. I, 455—465.

тянулись страшною вереницею, и литература наша огласилась дикими завываніями, коихъ запоздалое эхо отдается еще нынѣ по временамъ въ мрачныхъ руинахъ „Московскаго Телеграфа“. Новое броженіе, пробужденное своенравными капризами Пушкина, метавшагося изъ угла въ уголъ угрожало также всеобщею эпидеміею, которая развѣялась собственной вѣтротлѣнностью. Кончилось тѣмъ, чѣмъ обыкновенно оканчивается всякое круженіе—утомленіемъ, охладѣніемъ, усыпленіемъ: литература онѣмѣла, подобно ратному полю, и минувшій годъ [1831] является молчаливымъ пустыннымъ кладбищемъ, на которомъ изрѣдка возникаютъ призраки усопшихъ воспоминаній *)“.

Такова картина развитія нашей литературы, которую нарисовалъ такъ поспѣшно этотъ желчный критикъ, не углубляясь въ факты, не споря по существу, а держась лишь самыхъ общихъ мѣстъ и опредѣленій. Ученаго значенія эта критика, конечно, не имѣла, она была простымъ крикомъ недовольства на скудость реализма, правды и самобытности въ искусствѣ, крикомъ иногда совсѣмъ неприличнымъ, когда рѣчь заходила о молодомъ Пушкинѣ, въ которомъ Надеждинъ видѣлъ главнаго виновника нашего байроническаго бѣснованія.

Что касается положительной стороны въ сужденіяхъ Надеждина, то она грѣшила большой неясностью. Прежде всего, полагалъ онъ, необходимо придумать что-нибудь, чтобы остановить этотъ потокъ романтизма, который грозитъ обратить нашу литературу въ грязную лужу; и Надеждинъ хотѣлъ вѣрить, что намъ въ данномъ случаѣ можетъ оказать большую помощь истинное классическое образованіе.

„Дѣйствительное и цѣлебное противоядіе романтизму, думалъ Надеждинъ, заключается въ возвращеніи къ тщательному и благоговѣйному изученію священныхъ памятниковъ

*) «Лѣтописи отечественной литературы». Статья *Н. И. Надеждина*. 1831 г., перепечатана у *Венгерова*, I, 527—529.

классической древности: разумѣется, не въ поддѣльныхъ французскихъ слѣпкахъ, но въ самыхъ чистѣйшихъ оригинальныхъ источникахъ. Вездѣ и всегда изученіе классической древности поставлялось во главу угла умственнаго и нравственнаго образованія юношества, какъ первоначальная стихія развиваемой духовной жизни. Пусть въ этой правдѣ убѣдятъ насъ примѣры великихъ мужей, которыми хвалится наше время. Припомнимъ Клопштока, который любилъ классическую древность, Гете, автора „Ифигеніи“, Шиллера, который съ классическимъ міромъ былъ знакомъ гораздо раньше, чѣмъ познакомился съ Шекспиромъ. У грековъ и римлянъ должны мы учиться истинной поэзіи, и если мы этого не дѣлаемъ, то потому, что такое изученіе сопряжено съ большими трудностями и мы ихъ боимся“. Надеждинъ понимаетъ, однако, что средство имъ рекомендуемое не вполнѣ современно и онъ спѣшитъ оговориться: онъ отнюдь не желаетъ вернуть нашу словесность къ старому, но ему хотѣлось бы, чтобы новая словесность представляла собою разумное сочетаніе романтическаго съ классическимъ; какъ „эти *полярныя* противоположности должны быть возведены къ *средоточному* единству“—на это у Надеждина, конечно, нѣтъ яснаго отвѣта, и мысль его, развивая этотъ взглядъ, окончательно теряется въ реторическихъ фигурахъ и въ разныхъ ничего не говорящихъ сравненіяхъ.

Но какова же наконецъ должна быть наша народная современная словесность и что такое эта желанная „народность“, которая придетъ же наконецъ на смѣну тому литературному хаосу, который насъ окружаетъ?

„Судьбы, коими благодатное Провидѣніе ведетъ, питаетъ и раститъ колоссъ Россійскій, поистинѣ удивительны!—восклицалъ Надеждинъ. Уже вся Европа или, лучше, весь земной шаръ, осужденный быть благоговѣйнымъ свидѣтелемъ ея дивнаго могущества, величія и славы—объемлется трепетнымъ изумленіемъ. Не можетъ же такая страна не имѣть своей словесности, не можетъ же статься, чтобы живое со-

знаніе внутренней своей гармоніи она не выразила внѣшнимъ гармоническимъ пѣснопѣніемъ? Тѣмъ болѣе, что былъ же у насъ Ломоносовъ, по превосходству поэтъ русскій, въ коемъ его великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя, былъ же Державинъ,—второе око нашего поэтическаго міра, коимъ ни одна страна и ни одинъ вѣкъ не посовѣстились бы хвалится, былъ и Жуковскій, но только не „пѣвецъ Свѣтланы“, а „пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, въ коемъ столь торжественно гудитъ величественное эхо святой любви къ отечеству; была же у насъ и басня въ лицѣ Хемницера, Дмитріева и Крылова, ознаменованная печатью высочайшей народности — вѣстовщица духа и характера русскаго... Чудное и достойное великаго народа направленіе! И—о, несчастіе! уже скудѣетъ сіе благородное стремленіе, гаснетъ сіе небесное пламя, умолкаетъ сія священная поэзія! Въ писателяхъ какъ будто перестаетъ течь кровь русская и они хотятъ быть только романтиками!..“ Но Надеждинъ былъ оптимистъ. „Святая Русь, говорилъ онъ, которая маніемъ Промысла предназначается разыгрывать первую роль въ новомъ дѣйствіи драмы судебъ человѣческихъ, создастъ свою поэзію. Эта поэзія придетъ на смѣну и классицизму и романтизму, набогатившись ихъ неистощимымъ богатствомъ, и муза наша воспрянетъ тогда къ живой и бодрой самодѣятельности“...

„Мало, конечно, можно надѣяться, но не должно и отчаяваться! Подождемъ внимательно, что принесетъ намъ поздній вечеръ“, — заканчиваетъ свою мысль Надеждинъ, какъ бы устыдившись своего слишкомъ громкаго патріотическаго „энѳузіазма“ *).

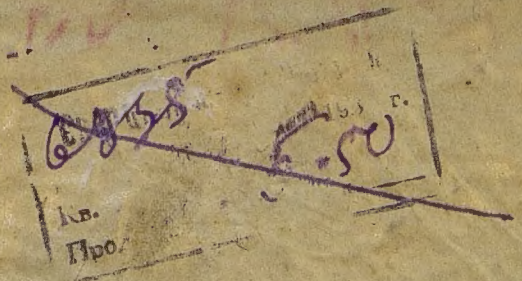
Но всѣми этими словами понятіе о „народности“ въ литературѣ мало выяснялось, въ особенности со стороны эстетической, и самъ Надеждинъ, все время говоря объ искус-

*) «О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи», статья *Н. И. Надеждина*, перепечатана у *Венгерова*, I, 517—524.

Новая продажная цена
Руб. 20 квит. №

ствѣ, какъ будто не хотѣлъ съ этой точкой зрѣнія считаться, браня напропалую Пушкина. Въ 1831 году онъ, впрочемъ, значительно смягчилъ свой отзывъ. Сказавъ нѣсколько словъ одобренія такимъ писателямъ, какъ Орловъ, Гурьяновъ, Кузмичевъ съ братіею, которые „какъ самородная трава, на подобіе мха и плѣсени, стали пробиваться изъ чисто народной почвы", Надеждинъ замѣтилъ, что въ русской словесности близокъ долженъ быть поворотъ отъ искусственнаго рабства и принужденія, въ которомъ они доселѣ не могли дышать свободно, къ естественности и къ народности" *).

И, дѣйствительно, времена „искусственнаго рабства и принужденія" въ литературѣ проходили.

1941 год НС
Р. Ц.
Уральский Госуниверситет
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

*) «Лѣтописи отечественной литературы. Отчетъ за 1831 г.», статья *Н. И. Надеждина*, перепечатана, у *Венгерова* I, 530, 531.